

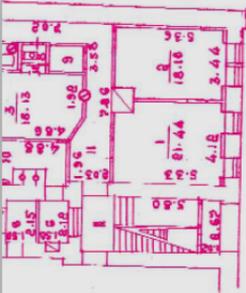
Ольга Вельчинская

Квартира № 10

Мое
Московское ассорти
окрестности

КОПИРОВАЛА Фраза
19.11.2000 — 18.11.01 г.

Старший архитектор
Федорковская Э.Т.С.



M:1/2000



Ольга Вельчинская

Квартира № 2 и её окрестности



Ольга Вельчинская

**Квартира
№2**
и её окрестности

*Московское
ассорти*

Москва•Русский путь•2009

УДК ??????
ББК ???????
В-???
ISBN ????????

ISBN ????????



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Дизайн Е.Л. Вельчинского

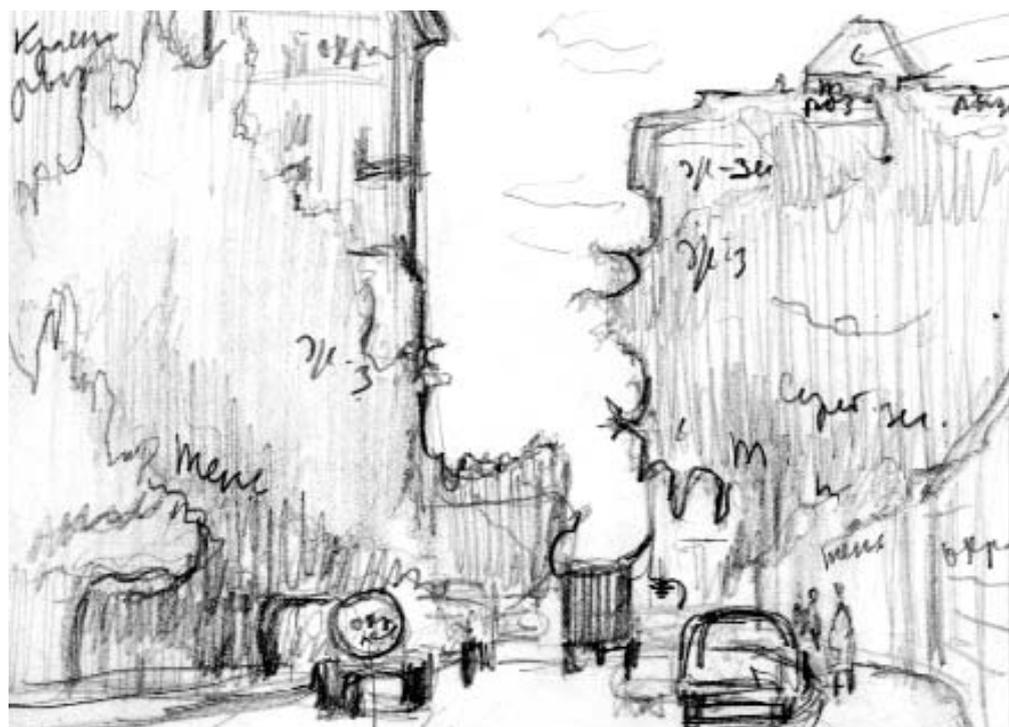
*В оформлении книги
использованы
рисунки А.С. Айзенмана
из серии
«Где-то в Москве» (1930–1990-е гг.)
и материалы
из семейного архива автора*

© О.А. Вельчинская, 2009
© Е.Л. Вельчинский, дизайн, 2009
© Русский путь, 2009

*Моим родителям –
Алексею и Изольде*

Содержание

Квартира № 2 и ее окрестности	9
— Предыстория с участием писателя Заяицкого. — Такие разные Хрюковы. — Морозовская пастораль и блистательные Людаевы. — Димерджи, Бобров и Сумароков. — КОАПП. — Сага о Газенновых. — Марыхна. — Секс-символ квартиры Маня Лошадкина. — Истцы и ответчики. — Связь времен. — Двор и флигель.	
О моем отце, художнике Алексее Айзенмане	59
О маме	73
Со стороны отца. <i>Взгляд со своей колокольни</i>	89
Детская пастораль в летнем колорите. <i>De profundis</i>	135
— Крюково–Москва. — Москва–Тучково (деревня Петрово). — Кремень I–Кремень II. — Калистово. — Плаксинино.	
Подруга дней моих суровых на фоне городского пейзажа	155
Под сенью нянюшек в цвету. <i>Элегические записки о мыле и мыловарении</i>	175
— История первая. — История вторая. — История третья. — История четвертая. — История пятая.	
Триптих детский тоталитарный	185
Встреча в метро	197
Кунсткамера или пейзаж 90-х. <i>Работа с натуры</i>	211
Безымянный тупик, 4	217
В обратной перспективе	242
Витя Гордон и все-все-все	265
Истории из истории советского костюма, а также сопутствующие им истории в жанре эго-истории	299
— Про то, во что одевались мы и наши родители. — Про синее, хлопчато-бумажное, с белой каемкой. — Про вязальный бум. — Про воплощения горного козла. — Про куртку из выворотной кожи. — Про плюшевый шушун. — Про овчинный тулуп. — Про лайковый пиджак. — Про болгарскую дубленку. — Про шляпы и про тараканов. — Про джинсы и батники. — Про обувь.	
«Если мне что-то дано, я должна это высказать»	351



Квартира №2
и её окрестности



Предыстория с участием писателя Заяицкого Ощущая себя Карабасом–Барабасом с игрушечным театриком в кармане, ничего не могу поделать с потребностью выпустить на подмошки персонажей, с которыми семья наша соседствовала долгие годы, с желанием перебрать мозаики судеб и житейских историй. Быт, временами похожий на бред, то и дело всплывает на поверхность памяти. Поток всякой всячины пронесся по коридору нашей квартиры, сквозь комнаты, комнатки, кухню и закутки. Облики и повадки соседей прошлого должны были бы забыться, память о них — стереться в прах, испариться. Но произошло обратное — каждый обратился знаком, стал символом, именем нарицательным, навеки поселился в той комнате, которая, долго ли коротко ли, была его пристанищем. Да и в конце концов, память ведь тоже нуждается в вентиляции. Короче говоря, графомания, как профилактика зловещей болезни Альцгеймера.

Итак, предпринятая в ожидании моего рождения попытка создать сепаратное жизненное пространство для нашей маленькой семьи — отделить девятиметровый кусочек жилплощади от общей комнаты и прорубить в закутке этом окно, привела к череде заявлений и веренице резолюций. Вот парочка документов эпохи:

СССР

Управление МВД по Московской области

Управление Ордена Трудового Красного Знамени

Пожарной Охраны

гор. Москвы

ИНСПЕКЦИЯ Фрунзенского района

14 июля 1947 г. № 1198

Гражданину Айзенману С.Б. Мансуровский пер. д.5 кв.2

На Ваше заявление от 10/VII–47 г.

Инспекция Пожарной Охраны МВД Фрунзенского Района гор. Москвы сообщает, что против установки беспустотной оштукатуренной с двух сторон перегородки в вашей комнате с 20% остеклением в верхней части ее, согласно представленного плана, возражений не имеет, при условии устройства в этой перегородке двери и согласования с Межведомственной комиссией при Фрунзенском Райисполкоме.

Начальник ИПО МВД Фрунзенского Района г. Москвы

Капитан Никульченко

Инспектор ст. лейтенант Чистов

*В Межведомственную Комиссию
при Исполкоме Фрунзенского р-на
гор. Москвы*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить мне произвести в одной из двух занимаемых моей семьей комнат следующую перестройку в интересах удобного размещения пяти членов моей семьи с учетом пола и возраста.

I. В комнате размером 5.40 x 3.40 установить легкую перегородку, не доходящую до потолка (для нормальной циркуляции теплого и холодного воздуха) и с запасным проходом в перегородке на случай пожара.

II. В отделяемой перегородкой части комнаты, лишаящейся большей части дневного света, пробить в кирпичной стене, примыкающей к пустырю соседнего владения № 7, окно шириной 1 м и высотой 2 метра.

Заключения соответствующих организаций, копия поэтажного плана и схематический план при сем же.

Айзенман С.Б. 30-VII-1947

Малая жилищная эпопея завершилась успешно, а по тем временам триумфально, и к тому же в сжатые сроки. И в результате я родилась в комнате с окном, а теперь, полвека спустя, держу в руках тщательно вычерченный на пожелтевшем кусочке кальки план нашей квартиры.

Все комнаты, комнатки и каморки дотошно пронумерованы. Чертежница по фамилии Фелькир вычертила поэтажный план нашей квартиры 19 июля 1947 года, за полгода до моего рождения и через двадцать девять лет после того, как по совету бабушкиной гимназической подруги Наташи Заяицкой дедушка снял это темное, сырое и неудобное жилье в Мансуровском переулке.

Кстати говоря, прежде чем бригадирша Аграфена Мансурова наградила переулок своей фамилией, он назывался Мосальским, а еще раньше Талызиным (тоже по фамилиям домовладельцев).

Итак, весной 18-го года наши — бабушка, дедушка и четырехлетняя тетушка поселились в Мансуровском переулке. Время и само по себе было страшноватое, а тут еще ожидалось рождение второго ребенка, моего отца. Вышвырнутые из-под прежнего своего крова, растерявшиеся в обрушившейся и распавшейся жизни, дедушка с бабушкой согласились на первый попавшийся вариант. Лишь бы было где переждать Катастрофу и как только все утрясется подыскать более пристойное жилье. А вышло так, что четырехлетняя тетушка, весной 18-го года водворившаяся в новой квартире, прожила в ней последующие семьдесят пять лет своей жизни.

Дом был небольшой, трехэтажный, выстроенный из красного кирпича, оштукатуренного уже в позднейшие времена. С признаками скромного, без претензий, модерна. С переулка квартира наша представляла собой бельэтаж, а со стороны двора — глубоко вросший в землю первый. Прежде жил здесь Наташин

брат, журналист и писатель Сергей Сергеевич Заяицкий. Повести Заяицкого: «Жизнеописание Лососинова», «Баклажаны» и отменные его рассказы открылись лишь в конце 80-х и оказались изумительными.

Выяснилось, что человек этот был веселым мистификатором, щеголем и горбуном. Носил фраки, цилиндры, перчатки и кружевные жабо, одним словом, поражал воображение. Нередко, шествуя по Пречистенке в сторону Пречистенских ворот, встречал Сергей Сергеевич кого-нибудь, чересчур откровенно изумлявшегося его экзотическому облику. Не ленясь, Сергей Сергеевич садился в трамвай, шедший в обратном направлении, проезжал остановку и снова направлялся к Пречистенским воротам. Бестактный прохожий вновь встречал странного горбуна и изумлялся вдвойне. Заяицкий снова садился в трамвай и проделывал фокус с самого начала, вводя встречных в транс. Неутомимому Сергею Сергеевичу шутка неизменно удавалась, потому что до октябрьского переворота трамваи по Пречистенке ходили регулярно.

Некто, теперь уже навсегда неведомый, жил здесь и до Заяицкого (дом-то, судя по первому слою газет под обоями, выстроили в XIX веке), так что биографию квартиры придется начинать с Сергея Сергеевича. Жизнеописание же комнат — с крошечной каморки, обозначенной в поэтажном плане номером четыре.

В 20-е годы семейство наше «уплотнили» (отняли две комнаты). От соседей первого призыва остался скромный след, нечто вроде легчайшего вздоха. Гражданки Глухова и Талалаева обратились в жилтоварищество с заявлением «*об открытии комнат (кладовок), занятых гр. С.Б. Айзенманом*», каковые, в соответствии с постановлением Жил. Т-ва от 15 апреля 1927 года и распахнулись перед ними, наподобие двух сезамов (первый площадью 3 кв.м 18 см, второй — 3 кв.м 58 см).

Восьмиметровая же комнатуха № 4 все еще оставалась в распоряжении нашей семьи. В ней поселилась приехавшая из Казани любимая бабушкина племянница Верочка Самойлова (потом-то Верочка стала ученым-метеорологом и прогнозировала погоду во времена челюскинской эпопеи, да так замечательно, что ее наградили орденом Трудового Красного Знамени, а Верочкин портрет напечатали на обложке журнала «Огонек»).

Но в те давние годы соседи, до глубины души возмущенные проживанием в квартире человека без постоянной московской прописки, постановили Верочку выселить, а комнатенку отнять. Чтоб неповадно было нарушать паспортный режим! И дедушка получил предписание:

Гр-ну Айзенману С.Б.

*Правление Ж/Т-ва предлагает Вам
освободить комнату № 4,
согласно решения Губсуда.*

Предправления Ж/Т-ва Тихомиров 13/II-30 год

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ХРЮКОВЫ И в комнате № 4 поселился с женой и маленьким сыном Аркаша Хрюков. Волна коллективизации, от которой, бросив родную деревню, Аркашино семейство кинулось спасаться в город, прибила его к нашему Мансуровскому берегу. Но вскоре Аркашина жена умерла, и пришлось бедняге выписываться из деревни новую.

Говорили, будто Аркашиного сыночка, имени которого история не сохранила, новая жена Дуся то ли уморила, то ли куда-то подбросила с помощью «француженки» Марьи Степановны с третьего этажа. За небольшую мзду Марья Степановна оказывала соседям по дому мелкие услуги.

Я родилась в апогее Дусиной силы и славы и, едва научившись ходить, сразу же стала рваться в гости к Хрюковым. Дело в том, что я всей душой привязалась к глиняному петушку-копилке, жившему на высоком хрюковском комодe под сенью вазы с красными бумажными розами и кукарекавшим хозяйскими голосами в тот самый миг, когда я опускала в щель копейку. В ажиотаже я бежала к маме за следующей монеткой, а алчные Хрюковы страсть мою поощряли — кукарекали и кукарекали. Копеек мама не жалела, но огорчалась, когда я возвращалась от Хрюковых без очередного носового платка, любовно обвязанного мамой изящным кружевом. У Хрюковых было тесно, весело, духовито, радио не выключалось никогда, работало от гимна до гимна.

Романтической героиней моего дошкольного детства стала Аля Хрюкова, красивая, как киноактриса, кудрявая и дружелюбная. Аля была хороша и в натуральном виде, но продолжала стремиться к совершенству — слишком черно красила брови, чересчур ярко румянила щеки и даже на мой восхищенный взгляд выглядела немного вульгарно. Аля пользовалась бешеным успехом в окрестных дворах и переулках. Ежевечерние ее свидания с бесчисленными поклонниками происходили на площадке между первым и вторым этажом, возле полуциркульного лестничного окна. Квартира чутко прислушивалась к звукам, доносившимся с площадки, и по-своему их трактовала. На площадке у окна происходило загадочное, и Алины свидания комментировались образно и беспощадно. Все это придавало Але дополнительную прелесть, и делало ее изюминкой нашей квартиры. Аля Хрюкова стала причиной единственного моего конфликта с бабушкой.

Осенью 53-го года в квартире появился телефон. Мы с папой вернулись откуда-то, а на стене висит новенький черный аппарат, и у него даже есть номер — Гб-16-99. В марте умер Сталин, в июне покончили с Берией, к власти пришла троица — Хрущев, Булганин и Маленков. Маленков, казавшийся добродушным толстяком (что вовсе не соответствовало действительности), вскоре подевался куда-то, а Булганин с Хрущевым ненадолго поселились по соседству с нами, в Еропкинском переулке. Высокие каменные ограды их особняков располагались наискосок от наших деревянных дворовых ворот. И как только Хрущев с Булганиным водворились в новых своих резиденциях, во всех квартирах всех окрестных домов в одночасье поставили телефоны. Счастливым этим событием мы были обязаны какой-то тайной необходимости.

Алины поклонники звонили и днем и ночью, но к телефону звали не Алю, а Мурку. Алино прозвище, хорошо известное по популярной песенно–уголовной эпопее, соответствующим образом характеризовало в глазах соседней и саму Алю, и ее приятелей. Однажды Аля попросила меня подойти к телефону и сказать, что Мурки нет дома. Я выполнила Алино поручение с блеском, совсем как взрослая, и очень этим гордилась. Еще бы, когда к пятилетнему человеку обращаются с такой взрослой просьбой, он просто не может не чувствовать себя польщенным.

Внезапно в коридоре появилась бабушка. Грузная, почти слепая, бабушка обыкновенно сидела в кресле, вставала с него редко и с большим трудом. Но в этот раз она едва ли не выскочила из комнаты с небывалой ловкостью и темпераментом. Бабушка кипела от негодования. Ко мне, обманщице и лгунье, она отнеслась с презрением и потребовала сурового наказания. Вранье считалось величайшим грехом, и я это знала. И все же бабушкина реакция меня огорошила. Взрослый человек дал мне важное поручение, и я прекрасно с ним справилась. Так в чем же моя вина? Алю же бабушка не заметила вовсе, ей не сказала ни слова. И это тоже показалось мне странным. Если ругать, то и Алю, ведь это ее взрослую просьбу я выполняла.

Через полгода после нашего конфликта не стало бабушки, через три месяца после бабушкиной смерти чудом выжила Аля, но, честное слово, я часто вспоминала о странном эпизоде. В воспоминаниях реакция бабушки осталась неадекватной моему проступку. И только теперь, спустя сорок пять лет, кое–что прояснилось. Передо мной сложенное треугольником письмо, написанное Алей Хрюковой 7 июля 51–го года, за два года до описываемых событий. Письмо адресовано бабушке:

*Здравствуйте дорогая многоуважаемая Ольга Александровна,
с приветом Аля.*

Дорогая Ольга Александровна я время провожу здесь интересно и весело. Очень много в лесу земляники, а скоро будут грибы и орехи. Часто хожу на речку купаться. У нас в саду прекрасные три яблони и на них очень много яблок средней величины. Дальше идет узкая тропинка, а с двух сторон вишни раскинули свои ветви. Слева на большом расстоянии тянутся кусты черной смородины, крыжовника и малины. Справа растут овощи, а именно: капуста, огурцы, чеснок, лук, репа, морковь. А в самом конце сада растет клубника. Все ягоды уже поспели. Ольга Александровна я зарисовала наш дом, когда был закат. Очень хорошо были расположены тени. Все никак не удастся нарисовать коров. Они из стада ворачиваются домой вечером и никак не постоят спокойно на месте, то нагнутся, то идут. Я сделала только наброски. Нарисовала кур, коз и гусей. Я очень загорела. Только не знаю поправилась я или нет, потому что тетя Фима, у которой я живу, говорит что я не замечаю. Ну вот когда я приеду, тогда вы сами увидите.

Недавно ходила в кино, на станцию. Смотрела: «Дети капитана Гранта» и «Спортивная честь». Ну вот и все, что я хотела вам написать. Передайте привет Тане и Семену Борисовичу. До свидания. Крепко вас целую.

Хрюкова Аля

С начала 20-х годов и до самого конца жизни бабушка учила детей рисовать. Широко образованная и разнообразно одаренная, она занималась с детьми не только рисованием, но и историей искусства, рассказывала о музыке и литературе, об итальянских впечатлениях своей молодости. В 30-е годы группы ее обрели особую популярность. Сужу об этом и по воспоминаниям учеников, и по записным бабушкиным книжечкам, мелко исписанным многочисленными фамилиями.

Традиционно, из года в год, на занятия приглашались соседские дети. Вот и Аля Хрюкова была среди них. Увы, человеческие отношения многослойны, переживают разные этапы. Бабушка, в лучших традициях российской интеллигенции, пыталась воздействовать на окружающий социум, цивилизовать его. Ей казалось, что в случае с Алей она потерпела поражение. Аля жестоко ее разочаровала. Мне же кажется, что на Алиной жизни общение с бабушкой, занятия и разговоры, отразились благотворно, хотя и не так кардинально, как хотелось бы бабушке. Во всяком случае, Аля была другой, чем остальные Хрюковы.

Соседей детства я любила как близких родственников. Хотя и присутствовала при жестоких боях, разыгрывавшихся на кухне и в коридоре в начале 53-го года, в апофеозе «дела врачей». К нашей семье битвы эти имели отношение косвенное. Изрыгая сочные проклятия, соседи метали друг в друга кипящие чайники и раскаленные чугунные утюги. Один такой снаряд пролетел однажды мимо нас с мамой, когда мы очутились случайно в эпицентре баталии.

Сыр-бор разгорался из-за территории, которую соседям предстояло поделить между собой в самое ближайшее время. Соседи Хрюковы и соседи Газенновы никак не могли прийти к соглашению, как они поделят две принадлежавшие нашей семье комнаты после того, как нас вышлют в город Биробиджан.

Товарищ Сталин, желая уберечь московских евреев от народного гнева, обрушившегося на наши головы по вине врачей-отравителей, намеревался именно таким образом осуществить гуманную свою задумку. Со дня на день ожидая высылки, мама старалась купать меня как можно чаще, чтоб «надольше» хватило. В очередной раз водружая на обеденный стол жестяную ванночку, разбавляя холодную воду кипятком из зеленого эмалированного чайника и помещая в ванночку пятилетнюю меня, горестно задумывалась: где и когда доведется купать дочь в следующий раз?

Ванные комнаты, конечно же, существовали в нашем доме, но коллективный разум жильцов репрофилировал их и назначил кладовками. Умывались на кухне, под единственным краном, а по субботам ходили в Усачевские бани. У нас-то, по счастью, были гостеприимные родственники, использовавшие свои

ванные по прямому назначению. Бабушка с дедушкой «брали ванны» у племянницы, жившей неподалеку, в Сивцевом Вражке, родители ездили на Каляевскую, к маминной тетушке, меня, как уже было сказано, купали дома, на обеденном столе.

В те же дни произошел странный эпизод, о котором мама вспоминала редко, со страхом и недоумением. Пасмурным февральским деньком, ближе к концу этого зимнего месяца, мы с мамой гуляли в «иностранном» скверике (на Метростроевской, возле Института иностранных языков). Мама мерзла на скамейке, съевшись и засунув руки в рукава пальто, думала грустную думу, я у ее ног безмятежно манипулировала деревянной лопаткой и жестяным ведерком, пекла куличи из сырого снега. Рядом с мамой сидела незнакомая, закутанная в платки старушка, тоже гуляла. Вдруг старушка положила руку в варежку на рукав мамино пальто и сказала ласково: — Успокойтесь, деточка! Все обойдется. Напрасно он за евреев взялся, ваш бог этого не допустит. Теперь—то ему самому скоро конец. — И хотя имени того, о ком шла речь, названо не было, мама окоченела от ужаса, схватила меня за руку и утащила со скверика, оставив старушку в одиночестве и ни разу на нее не оглянувшись. Так что же это было?

Но настал день, и апрельским утром папа ворвался в квартиру, размахивая над головой газетой «Правда». — Они не виноваты! Они не виноваты! — кричал папа. На что Анна Ивановна Газеннова, сердито пробурчав: — Мне—то чего? Да на кой ляд они мне сдались? Мне на их вопще насрать! — с досадой хлопнула дверью угловой своей комнаты № 3.

И все же мне казалось, что обмен квартиры, переезд куда—то — это предательство, скандал, вроде развода с мужем или женой. И когда пришло время расставаться с соседями детства, я и вправду грустила.

Итак, Хрюковы, семья романтической Али. Низенькая, не лишенная злодейского обаяния тетя Дуся с гладкими, расчесанными на косой пробор и стянутыми в тугий узел темными волосами, многообещающе сомкнутыми в зловещей усмешечке тонкими губами и хитроватым прищуром зеленоватых глаз. Короткое время лютая Дуся исполняла обязанности моей няни — сажала на горшок, разогревала суп и котлеты, а потому пользовалась полным моим доверием.

Няней моей Дуся была по совместительству, в свободное от основной работы время. На самом же деле она служила в зоопарке, кормила жирными кроваво—красными червячками золотых рыбок, плававших в мрачноватых аквариумах, вмурованных в бетонные стены зоосада. А приземистый кривоногий и простоватый дядя Аркаша, муж готовой на все тети Дуси, работал грузчиком в подвале магазина «Диета» на Арбате. «Работаю в сетях!», горделиво сообщал Аркаша, имея ввиду сети торговые.

Старшая Дусина дочь, до прозрачности тоненькая Тоня, вернулась в Мансуровский, отбыв срок за кражу гардеробного номерка, получения по нему чужой шубы и последующей ее продажи. В лагере она полюбила Сашу Крикунова, сидевшего за бандитизм, и родила сына Славика. Славик так и остался бледным тюремным ребенком, заморышем и альбиносом, хоть и пробыл в заключении всего—нав-

сего два года — освобожден вместе с отцом, вышедшим на свободу раньше Тони. Сначала Славика воспитывали Сашины родители в городе Белгороде, а после Тониного освобождения все трое водворились в Мансуровском.

Семейство Хрюковых в составе шести человек жило в восьмиметровой комнате № 4, за окном которой свет едва брезжил, ибо выходило оно в стену нашего же дома, выстроенного в форме буквы «Е» с укороченной средней палочкой. Так как улечься спать всем одновременно в этом малюсеньком помещении было трудно, Хрюковы захватили каморку напротив нашей комнаты, одну из тех, что экспроприировали у нашей семьи еще в 27-м году гр-ки Глухова и Талалаева. В каморке площадью 3 кв.м и 58 кв.см Саша с Тоней ночевали. Высоченный Саша не умещался в углу пространства целиком, даже по диагонали. По этой причине каморка не закрывалась, крупные Сашины ступни перегородивали неширокий коридор и почти упирались в противоположную стену. Проходя в темноте мимо супружеского ложа, приходилось делать привычный зигзаг, протискиваясь между стеной и мозолистыми Сашиними ступнями. Добродушный Саша ничуть не обижался, если его задевали, только большими пальцами во сне пошевеливал.

Саша с Тоней были славными и приветливыми людьми. В заключении они пристрастились к чтению и мы обменивались с ними книгами. Однажды, в обмен на толстый бестселлер под названием «Тарантул» (добытый у школьной подружки и запойно прочитанный за два дня) Тоня предложила мне «Мадам Бовари». Я принялась было за чтение, с увлечением прочла страниц двадцать, но тетушка моя Татьяна, обнаружив в моих девятилетних руках этот взрослый роман, расхохоталась так саркастически, так насмешливо, как только она одна и умела, книгу отобрала и отбила охоту читать ее вообще. Так и не прочла я «Мадам Бовари» до сих пор и вряд ли уж соберусь.

Однако вернемся к романтическому сюжету — к красавице Але, младшей дочери Хрюковых. Одним из страстных Алиных поклонников был ее собственный двоюродный брат. Кузен пребывал в тюрьме и писал Але письма. Отправляясь отсиживать срок, он был обнадежен, и считал Алю своей невестой, что к моменту его освобождения уже не соответствовало истине. На самом деле таких женихов, как кузен, у Али была половина Фрунзенского района.

Летом 54-го Алин брат-уже-не-жених освобожден по амнистии и вышел на свободу. Торжественная встреча происходила в комнатке Хрюковых. Из дальнего Подмоскovieя прибыли родители кузена, семья громко радовалась воссоединению, выпивала и закусывала. Женщины плясали — без обуви, в одних только рыжих чулках в резинку. Обувь снимали не потому, что боялись потревожить соседей — просто берегли башмаки. Да и колотить пятками по прохладному крашенному полу было очень приятно.

Я обожала хрюковские пляски, и до сих пор жалею, что не научилась плясать так же зажигательно, «по-хрюковски». Плясали под простенькие переборы деревянной Аркашиной гармошки, хотя пятки колотили пол в африканском ритме. Было, было в хрюковских плясках нечто африканское, ритуальное. Я мгновенно

узнала этот ритм, когда, годы спустя, увидела по телевизору фильм о путешествии в глубины африканского континента.

Итак, кузен, все еще ощущавший себя женихом, вернулся из заключения к невесте, давно уже таковой себя не считавшей и откровенно в этом экс-жениху признавшейся. Объяснение происходило поздним июньским вечером во дворе возле хрюковского окна. Узнав правду и не раздумывая ни секунды, брат пырнул Алю финкой, целясь точно в сердце (по свидетельству очевидцев финка, вывезенная кузеном из заключения, была чудо как хороша — затейливый черенок набран из многослойной разноцветной пластмассы).

Дядя Аркаша, мгновенно протрезвевший и выскочивший на Алин крик из окна, попытался зажать рану ладонью, но струя крови отбросила отцовскую руку. Наша Аля оказалась подстать легендарной Мурке, но гораздо удачливее. Нож прошел в миллиметре от Алиного сердца, скорая помощь приехала вовремя и Алю спасли. Аля долго лежала в больнице, выздоровела, но к нам не вернулась. Вместо этого вышла замуж за славного Сашу, жителя верховьев Метростроевской улицы. Саша преданно навещал Алю в больнице, нежно ухаживал за ней и был вознагражден по заслугам. Аля переселилась в его миролюбивую семью, а про нас позабыла. Зато у нашей квартиры появился романтический ореол. Квартира гордилась Алей.

Ну а кузен добровольно сдался и отправился отбывать новый срок, дожидаться амнистии, и на прощанье посулил насмерть зарезать Алю уже после следующего своего возвращения. Незлопамятные Хрюковы отправляли племяннику посылки, собирая их из продуктов, которые дядя Аркаша добывал на хлебной своей работе. Провизию дядя Аркаша притаскивал домой мешками — мешок сухофруктов, мешок риса, мешок вермишели. А однажды приволок в мешке огромного осетра с острым хребтом и хищной пастью. Царь-рыба, ростом почти что с Аркашу, была так великолепна, что Аркаша не удержался — похвастался диковинкой перед соседями. Вот только рыбина явственно пованивала, видно, не первой, да и не второй свежести была осетринка. Наверное, по этой причине и попало чудо природы в Аркашин мешок.

К счастью, под комнатой Хрюковых существовал земляной погреб, равный по площади самой комнатушке, так что было где хранить продовольственные запасы. Согбенный под тяжестью неподъемного мешка, мелкий, но крепкий Аркаша на полусогнутых, дробно и звонко топоча подкованными сапогами, стремительно пронесился по длинному, загнутому углом коридору. Тяжеленный мешок подталкивал Аркашу в спину, придавал ему ускорение.

Вскоре после Алиного замужества у Тони с Сашей родился Вовка, зачатый в темном чулане качественный плод свободной и сытной жизни. Вовку прописали на восьми квадратных метрах, а Аля с метров этих выписалась, и таким образом в небольшой комнате № 4 продолжали жить шестеро.

Подросший, но все еще мелкий Славик готовил уроки, сидя по-турецки в уголке узенького коридорчика, в который выходила дверь Хрюковской комнаты.

Устраивался Славик уютно, сооружал из ящика маленький столик, ему ничуть не мешало, что через него ежеминутно перешагивали. Я завидовала этому коридорному комфорту, мне о таком и мечтать не приходилось. Взрослой судьбы Славика я не знаю. Мы расстались с Хрюковыми, когда он перешел в третий класс. Но своеобразие в Славике было. Этот мальчик, например, умел добывать деньги. У него это получалось. И распоряжался Славик добытыми деньгами необычно. Может, он теперь «новый русский», благотворитель?

Наступали очередные ноябрьские или майские праздники. Мы ждали их, готовились, заранее договаривались с родителями о сумме, назначенной для праздничных наслаждений. До реформы 61-го года пределом мечты была десятка. Этого вполне хватало на покупку пронзительного шарика уди-уди, набитого опилками и упакованного в разноцветную фольгу мячика на резинке, порции мороженого и еще чего-нибудь очень праздничного.

Насладившись зрелищем возвращавшихся с парада по Садовому кольцу пушек и ракет, собирались в своем дворе. Самым бойким удавалось добыть заманчивую и загадочную вещь, своего рода символ эпохи. Предмет этот не продавался, но его можно было выклянчить у возвращавшихся с Красной площади демонстрантов. Иррациональная вещица представляла собою ветку березы (осины, тополя, клена) к Первому Мая ожившую, с проклюнувшимися листочками, к Седьмому Ноября сухую, мертвую, но и весной и осенью с прикрученными проволокой пышными аляповатыми цветками, сооруженными из цветной гофрированной бумаги. Проходя мимо мавзолея, граждане вздымали ветки с бумажными цветами, имитируя цветущий и колышущийся под свежим ветром бело-розовый, независимо от времени года, сад. После демонстрации фальшивый предметец не выбрасывали, а приносили домой и помещали на видное место: ставили в хрустальную вазу или засовывали за зеркало. Там-то свидетель светлого праздника и пылился месяцами.

Итак, мы возвращались во двор и хвастались праздничными трофеями. Карманы Славика были полны сокровищ. Значительную часть огромных своих сбережений он тратил на покупку значков, жестяных брошек, карамелек, остальное превращал в металлическую мелочь. И для Славика наступал апофеоз праздничного дня. Встав посреди двора и широко расставив ноги в коротких вельветовых штанах с манжетами, белобрысый Славик горстями вынимал из карманов значки, карамельки, монеты и, подобно сеятелю, разбрасывал это звенящее богатство вокруг себя. С наслаждением наблюдая, как дворовые наши девчонки, все как одна старше Славика, бросаются подбирать дармовые драгоценности, отталкивают друг друга, ссорятся, галдят, заискивают. С жутковатой усмешечкой бабушки Дуси наблюдал Славик свою человеческую комедию. Что за этим стояло, во что вылилось? Не узнать никогда.

Мы прожили рядом с Хрюковыми до конца 50-х. Добрый Хрущев переселил наших соседей в трехкомнатную квартиру одной из своих пятиэтажек, и мы расстались навеки. Хрюковы оказались среди первых счастливиц, получивших отдельные квартиры. А незадолго до переезда у жестокосердой, непробиваемой

тети Дуси случился обширный инфаркт. Оказалось, что и ей не чуждо ничто человеческое. Лежа среди подушек на высоченной никелированной кровати, тетя Дуся сдюжила, выжила и не только благополучно переехала в Черемушки, но и сохранила пыл для невинных розыгрышей и шалостей. Время от времени звонила по телефону и, не слишком старательно изменяя голос, произносила нечто загадочно-зловещее, надеясь поселить в наших душах смятение и ужас. Между прочим, выжила наша соседка не только благодаря мощному организму и недюжинной жизненной силе, но и стараниями знаменитого доктора Вотчала, собственноручно лечившего тетю Дусю каплями своего имени. С доктором Вотчалом тете Дусе крупно повезло.

Одновременно с Хрюковыми покинуло нашу квартиру и семейство Газенновых, речь о котором впереди. Вместе с Газенновыми и Хрюковыми переехали в Черемушки и остатки семейного столового серебра — ошметки бабушкиного приданого с заветными, почти онегинскими вензелями на черенках — каллиграфическими «О» и «В». На память о былом осталось несколько чайных ложечек, чудом не экспроприированных соседями на совместном жизненном пути. В открытке, отосланной тетушке, уехавшей осенью 58-го года в Питер, я написала: *Дорогая Таня! У нас большая радость. Уехали Газенновы. В их комнате поселились муж и жена, Иван Григорьевич и Анна Васильевна Морозовы.*

МОРОЗОВСКАЯ ПАСТОРАЛЬ И БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДАЕВЫ И действительно, пожилым супругам, одному Ивану Григорьевичу и жене его Анне Васильевне, дали в нашей квартире сразу две комнаты, большую — газенновскую и маленькую — хрюковскую. В комнатке Хрюковых поселилась слепая старушка в чепце — Варвара Алексеевна, мать Ивана Григорьевича. Эпоха Морозовых, славных чудаковатых людей, была самой пасторальной в истории нашей квартиры. Тихая, спокойная, но чуть-чуть скучноватая. У моих родителей сложились с Морозовыми самые теплые, почти родственные отношения.

Ознаменовалось начало морозовской эпохи глобальной реформой — перенесением вешалки для верхней одежды из комнаты в коридор. Стало очевидно, что Морозовы не сопрут наших пальто и не станут шарить по карманам папиных телогреек. Папа приколол вешалку в коридоре, и в нашей квартире наступила хрющевская оттепель.

Иван Григорьевич — небольшой, светло-рыжий, приветливо лукавый человек с хитрецой и приятным подходцем. Анна Васильевна, в противоположность мужу — смуглая, серо-седая, мрачноватая и прямолинейная, с трагическими кругами вокруг глаз. Однако без признаков коварства и недоброжелательства. Хотя и без чувства юмора. Некоторые шероховатости случались у Анны Васильевны только с моей тетушкой, ироничной, априори склонной к конфронтации (иронии моей тетушки хватало бы на нескольких московских интеллигентов).

Но что это были за шероховатости! Шероховатости на высочайшем духовном уровне. К примеру, тетушка моя постоянно слушала Баха и Генделя, отгоражи-

ваясь с помощью этой громкой и содержательной музыки от мелкотравчатого и рутинного квартирного быта, сосредотачиваясь под ее защитой на своей работе — главном деле жизни. Утомленная музыкальной классикой, дождавись Таниного появления в кухне, Анна Васильевна спрашивала задиристо: «Татьяна Семеновна, что за ужасную музыку вы день и ночь слушаете: все бах да бах, бах да бах?»

«Это Бах!», ликуя от неожиданного, с неба свалившегося каламбура, радостно восклицала моя остроумная тетушка. А на запальчивый вопрос Анны Васильевны по поводу личности невежливой дамы, время от времени звонившей по телефону, но пренебрегавшей общепринятыми «пожалуйста» и «будьте добры», а вместо этого повелительно произносившей низким голосом: «Татьяну Семеновну!» — следовал убийственный ответ: «Эта дама — Анна Ахматова!»

В интонациях тетушкиных ответов Анне Васильевне небезосновательно мерещился сарказм. Вспыхнув, она обиженно умолкала и удалялась в свою комнату, мерцавшую зелеными аквариумами и голубым телевизионным экраном. Короче говоря, шероховатости бывали, но пустяковые, несравнимые с теми, что случались у нашей Тани с прежними соседями, однажды чуть не убившими ее дубовой дверью ванной комнаты.

На дальнем Севере, откуда приехали к нам Морозовы, Иван Григорьевич лишился ноги. Почему и когда они там оказались, долго ли прожили, что пережили, при каких обстоятельствах пострадала нога, мы так и не узнали. Ясно одно — в дальние края ездили Морозовы не за длинным рублем и не по собственной воле.

С мебелью у Морозовых было скудно, и мама с восторгом сбаврила соседям мебельные излишки, без толку загромождавшие небольшую нашу комнату, посередине которой возвышался папин мольберт. Перво-наперво мы избавились от глубокого зеленого кресла. В младенчестве оно служило мне колыбелью, а 5 декабря 1953 года, сидя в нем, скоропостижно скончался дедушка. И после дедушкиной смерти кресло стало просто громоздким вместилищем наших пожиток. Вслед за креслом Морозовым отдали тонетовский столик красного дерева с маленькой круглой столешницей. Бывало, что ни положишь на этот столик, все с него сваливается. Толку никакого, одна красота. Но до красоты ли нам было в нашей-то тесноте? И, наконец, отдали бессмысленную в быту, хоть и музейную вещицу — толстенную ампирную колонку, выточенную из цельного ствола карельской березы. Мастеровитый Иван Григорьевич имущество подновил и приспособил к своей жизни.

Приволакивая протез, предприимчивый, любопытный, соскучившийся по столице Иван Григорьевич сновал по Москве, что-то придумывал, мастерил, занимался безобидной коммерцией. Увлеченно разводил аквариумных рыбок — люминесцентных неонов и агрессивных ультрамариновых петухов, торговал ими на Птичьем рынке.

Иван Григорьевич интересовался всем, что происходило в Москве в ту отепельную пору. С энтузиазмом посещал международные выставки, открывавшиеся то в Сокольниках, то в ЦПКИО им. Горького, то в Манеже. Терпеливо выстаивал

на единственной своей ноге суточные очереди, добывал в смертельных схватках бесценные сувениры и возвращался домой ликующим победителем — то с десятком одноразовых финских рубашек, то с дюжиной бумажных носовых платков в крупную клетку, то с полными карманами разноцветных, похожих на леденцы значков с выставки чешского стекла. Иван Григорьевич по-детски радовался столичным сюрпризам.

Хитровато прищурившись и лукаво поглядывая сквозь толстые линзы очков, Иван Григорьевич говаривал: «А в проклятое—то царское время курица стоила две копейки...» или: «А при царе—то кровососе пуд огурцов за рубль отдавали». Анна Васильевна, коричневыми кругами вокруг глаз напоминавшая актрис немого кинематографа, испуганно одергивала мужа и меняла тему разговора.

Так бы и жили мы вместе с Морозовыми долго и счастливо, но умерла слепая старушка в цепце (мать Ивана Григорьевича), существовавшая бесплотной тенью в хрюковской комнатке, и возникла опасность, что Морозовых уплотнят, а крошечную комнатенку отнимут. И хотя при Хрущеве вроде бы никого не уплотняли, Анна Васильевна с Иваном Григорьевичем поспешили обменять две невзрачные темные комнаты на одну большую и светлую — по соседству, в Соймоновском проезде, с видом на бассейн «Москва».

В новом доме им жилось плохо, соседи оказались злыми, неприветливыми, а когда Морозовых переселили в дальний район, в отдельную квартиру, в одиночестве им стало совсем невмоготу. И в результате очутились они на станции Левобережная, в доме для престарелых, и мама моя ездила к бывшим нашим соседям до конца их дней, завершившихся сначала для Ивана Григорьевича, а потом уж для Анны Васильевны. Хотя и была она старше мужа на целых двенадцать лет.

На смену славным Морозовым, почти что родственникам нашим, явились чуждые Людаевы во главе с крупным черно-белым животным — кошкой Маркизой. Красивая, но необаятельная, Маркиза строго надзирала за своими хозяевами и обладала статусом повыше, чем сам Федор Григорьевич — отец семейства и важный человек. Федор Григорьевич курировал по неведомой нам линии московские рестораны, носившие имена столиц стран социалистического лагеря. То есть присматривал и за «Пекином», и за «Будапештом», и за «Софией», и за «Прагой».

Федор Григорьевич вел себя солидно — был молчалив (голоса его я не помню), не вертел шеей, не разворачивал корпуса, не выгибал торса, не втягивал живота и минимально шевелил руками и ногами. Если возникала необходимость разминуться с соседом (а такое изредка случалось в тесном квартирном пространстве) приходилось вжиматься в стену, потому что Федор Григорьевич совсем не умел маневрировать.

Каждый день перед отбытием Федора Григорьевича на службу жена его Валентина Алексеевна исполняла в коридоре утренний ритуальный танец. Нарочито торжественно подавала мужу монументальное габардиновое пальто, закутывала любимое горло волосатым мохеровым шарфом (диковинною в те времена вещичей), подносила пыжиковую шапку, похожую на пышный ржаной каравай. Суетли-

во забегая вперед, отпирала входную дверь и передавала супруга с рук на руки личному его шоферу, как две капли воды похожему на Федора Григорьевича.

Этот солидный господин (тоже в пыжике, но не таком пышном как у патрона), бережно усаживал Федора Григорьевича в серую персональную «Волгу», а Валентина Алексеевна, маленькая, мяконецкая, расторопная, в мелких папилютках, не делая даже краткой паузы, сразу же принималась готовиться к вечернему возвращению мужа. Усердно кроша что-то, взбивая или размешивая, Валентина Алексеевна горделиво поясняла: — Федор Григорьевич у нас гурман, он к фуршетам привык. — Слово «гурман» Варвара Алексеевна произносила на южнорусский манер — с фрикативным «г» и ударением на первом слоге.

То есть уже в те давние вполне кондовые времена наш Федор Григорьевич пристрастился к ненашенским экзотическим «фуршетам», о которых никто еще и слыхом не слыхивал. Посольства всех дружественных государств, родственных подведомственным ему ресторанам, постоянно приглашали Федора Григорьевича на эти самые «фуршеты», но более всего нравились ему те, что сервировались в посольстве Китайской Народной Республики. Судя по всему, наш Федор Григорьевич действительно был гурманом — любителем китайской кухни.

Маленькая же хрюковская комнатка принадлежала отныне бело-розовой тридцатилетней Анжелике, обладательнице тучи золотых тициановских волос. Юрист по образованию, Анжелика служила в прокуратуре и одевалась потрясающе. В начале 60-х Москва вступила в эпоху костюмов «джерси» и итальянских туфель на гвоздиках, красотой своей ошеломивших столицу. Мало кто мог мечтать даже об одном костюме «джерси» и об одной паре итальянских туфель. Костюм стоил сто двадцать рублей, а шпильки — целых шестьдесят! А у нашей Анжелики были костюмы «джерси» всех цветов радуги и соответствующие туфли ко всем костюмам!

Вместительный хрюковский погреб залили цементом и навек замуровали, простонародный крашеный пол покрыли дубовым паркетом и застелили пушистым ковром. Свой будуар Анжелика оборудовала, наподобие примерочной, большим напольным зеркалом, красиво расположив его под углом и под небольшим наклоном.

Каждый вечер, возвратившись с работы, Анжелика надевала красный «джерсовый» костюм, прелестные ножки обувала в красные лакированные туфельки, распускала по круглым плечикам золотые кудри и в таком поражающем воображение виде, как по подиуму, шествовала, гарцуя и цокая каблучками, по нашему длинному, кособокому, загнутому углом коридору в комнату родителей, чтобы порадовать их своей нарядностью и красотой. Возвратившись к себе, Анжелика переодевалась во все зеленое, сооружала на голове что-нибудь замысловатое и отправлялась тем же маршрутом. Затем наступал черед белого, голубого, золотистого... Наконец уставшая от переодеваний Анжелика выходила из своего будуара в халате, шлепанцах, «бигудях», с лоснящимся от крема лицом и остаток вечера смотрела с родителями телевизор.

И каждый вечер мы испытывали жестокое разочарование, потому что ожидали романтического продолжения переодеваний. Нам упорно мерещились свидания, рестораны, красивая жизнь, которой заслуживали наряды Анжелики, золотые кудри и вся ее белорозовая стать. И лишь однажды бойкая черноглазая подруга Аня чудом вытащила нашу Анжелику в гости к молодому, но уже успешному художнику Илье Глазунову.

Потрясенная галантностью маэстро, роскошеством угощения и необъятностью мастерской, Анжелика с упоением вспоминала этот единственный ночной визит. Мы же тщетно мечтали о его повторении. Но по вечерам и воскресеньям Анжелика танцевала твист не в блистательном обществе Ильи Сергеича, а перед сидящими в чешских креслах умиленными родителями. И танцевала превосходно!

Было нечто загадочное в том, что семья вельможного, привыкшего к «фуршетам» Федора Григорьевича, прозябала в нашей убогой квартирке. Со временем выяснилось, что Людаевы просто–напросто боялись ограбления, а жизнь в общей квартире казалась безопаснее жизни в квартире отдельной. Но в конце концов мы опротивели Людаевым и особенно Анжелике. Она даже стол свой кухонный развернула таким образом, чтобы наши физиономии не маячили у нее перед глазами. Ну а нам в таком ракурсе было еще удобнее любоваться кругленькой ее спинкой, хорошенькими ножками и роскошными волосами. Дело кончилось тем, что терпение Людаевых лопнуло, они согласились на отдельную квартиру, канули навсегда и увезли с собой тайну одиночества златокудрой красавицы Анжелики.

ДИМЕРДЖИ, БОБРОВ И СУМАРКОВ Людаевы канули в Лету в 65–м, и в квартире наступили очередные новые времена. В комнату Газенновых, сохранившую на веки вечные название именно этого периода своей истории, въехало молодое семейство Димы Димерджи, тбилисского грека и московского радиожурналиста, женившегося на нашей соседке по переулку — Ларисе, коломенской версте античных пропорций. У Димы с Ларисой только что родилась дочка, жилищные условия Ларисиной семьи улучшили — выдали ордер на темноватую сырую комнату, впитавшую кухонные ароматы всех прошедших эпох. Семейство Димерджи в исторической ретроспективе нашего паноптикума оказалось вполне симпатичным. Несомненное обаяние придавали ему Димина тбилиско–греческая фактура, располагающий акцент, о котором сам он и не подозревал, и, конечно же, маленькая Маринка, доросшая на просторах нашего коридора до второго класса французской школы.

Квартиру периодически заполняли поющие и танцующие Ларисины сестры. Двух младших, двоящихся в глазах близнецов Свету и Люсю, солисток вокально–инструментального ансамбля с модным названием «Ивушка», окружал ореол славы. Они ездили на международные фестивали и форумы, украшали тоненькими, на удивление синхронно звучащими голосами комсомольские тусовки высокого ранга, и семья гордилась их благополучным звездным сиянием. И слабенькие

их голоса, и не слишком выразительная внешность от возведения в квадрат обрели иное качество и звучание. Общий голос близнецов звучал звонко, а черты лиц, удвоившись, оказывались миловидными. О мощных свойствах своего тандема сестры знали и никогда не разлучались.

Раз в год являлась из Тбилиси Дими́на мама, славная женщина Нина Дмитриевна — с тюками, с чемоданами, с банками черешневого варенья, чурчхелами, аджиками, кинзой и прочим тбилисским провиантом. Багаж свой она исчисляла «кусками», говорила: — Сегодня привезла пятнадцать (двадцать, тридцать) кусков. — Невестка Лариса, скрепя сердце, терпела или не терпела свекровь, а та, пожив месяца полтора и совершив московские покупки, со вновь образовавшимися «кусками» и обидами, возвращалась в Тбилиси.

Однажды Нине Дмитриевне необычайно повезло, она купила в ГУМе огромную черную цигейковую шубу. Шубы выбросили в продажу совершенно неожиданно и как раз в тот момент, когда Нина Дмитриевна проходила мимо мехового отдела. Редкостная по тем временам удача. Нина Дмитриевна была счастлива. Мы оценили покупку и порадовались за Нину Дмитриевну, но удивились, зачем ей такое жаркое одеяние в южном городе Тбилиси. — Теперь, — объяснила она мечтательно, не скрывая радостного предвкушения, — мне не стыдно будет ходить на похороны знакомых.

Через несколько лет Дима получил квартиру от своего радиокомитета, нас пригласили на новоселье, и некоторое время отношения пунктирно поддерживались. Дальнейшие приключения семьи Димерджи происходили уже на другой территории, а на память об остроумном греке остался транспарант, приклеенный к стене над телефонным аппаратом: «Интимный голос — союзник успеха. (Эдиссон)». Совет изобретателя был актуален, потому что среди жильцов квартиры, а особенно среди членов нашей семьи, принято было беседовать по телефону в полный голос, проще говоря — орать. После отъезда греческого семейства темную и душную комнату № 3 удалось перевести в категорию нежилых помещений, и новые жильцы на сей раз не появились.

Одновременно с семьей Димерджи в комнату № 4 имени Хрюковых въехал Владимир Михайлович Бобров — разлапистый шумный человек за тридцать. Очки с сильными диоптриями придавали новому соседу псевдо-интеллектуальный вид, впечатление от которого развеивалось в первые же секунды общения. Персонаж этот, напоминавший гигантскую, топорно выполненную марионетку, эдакого нелепого ушастого Гурвиника с ежиком волос, был открыт, приветлив, дружелюбен. Он сразу же обратился к маме с проникновенной просьбой: — Прошу вас, будьте моей мамой!

Владимир Михайлович был так своеобразен, что хрюковская комнатка сразу же перестала называться «хрюковской» и стала «бобровской». Главным в Боброве были: неприкаянность, ничем и никем не утоляемая жажда общения, непрерывный беспокойный поиск. Этот человек не выносил одиночества и метался, стараясь заполнить вечную брешь. Сквозь неуютную и безалаберную бобровскую

комнату пронеслась в бешеном вихре вереница женщин. Каждый вечер близорукый Бобров неуклюже топтался возле станции метро «Парк Культуры» – кольцевая, отлавливая новых и новых подруг.

И топтался небезуспешно. Не различая в темноте возраста дамы, заговаривал с женщинами, не обращая внимания ни на внешность, ни на комплекцию потенциальной подруги. Да это и не имело никакого значения, потому что встречи в большинстве своем ограничивались единственным кратким эпизодом и, выпроводив очередную возлюбленную, минут через сорок Владимир Михайлович возвращался со следующей. В коридоре раздавались приглушенные голоса разнообразнейших тембров, походки и поступи широчайшего диапазона. Кое-кто появлялся вторично и даже персонифицировался. Случалось, Бобров попадал в десятку, и возникали красавицы наподобие статной Галины, потрясшей квартиру сочностью форм и роскошеством рыжих волос.

Были в запасе у Боброва и рабочие лошадки вроде кургузой, коротконогой и плосколицей Нины, использовавшейся преимущественно по хозяйству и вызывавшейся для большой стирки и уборки мест общего пользования. Нина безропотно и благодарно исполняла повинность, наскоро вознаграждалась, и была искренно привязана к Владимиру Михайловичу. С трудолюбивой Ниной связана прелестная история.

Однажды августовской ночью, не зажигая света, Дима Димерджи курил у раскрытого окна своей комнаты — на расстоянии вытянутой руки от окна Боброва, тоже открытого. Сам Владимир Михайлович отлучился в Астрахань, к маме, крупной мосластой тетеньке, чрезвычайно похожей на сына. А на время своего отсутствия поселил в комнате подругу Нину.

Покуривая и поглядывая то на сиреневое августовское небо, то на черные дворовые кучи, Дима заметил, что к окну бобровской комнаты, крадучись, приблизился человек, и не просто приблизился, но и занес через подоконник ногу. То есть незнакомец пытался влезть в окно комнаты № 4 через тот же невысокий подоконник, который в обратном направлении запросто перемахнул пятнадцатью годами раньше Аркаша Хрюков, спешивший на помощь к истекающей кровью дочери Але.

Неуклюже переваливаясь через подоконник, посетитель замешкался. А Дима мешкать не стал — в тбилисском человеке очнулся витязь в тигровой шкуре, а очнувшись, схватил оказавшийся под рукой топорик для разделки мяса, выпрыгнул из окна, замахнулся кухонным орудием на ночного визитера и потребовал предъявить документы. Угрожая при этом немедленной расправой и вызовом милиции. В темном оконном проеме медузой колыхался бледный Нинин силуэт.

Проснувшись от гортанных Диминых воплей, мы выскочили из своих комнат. Человек, оседлавший подоконник, умоляюще скулил: — Не вызывайте милицию, я сам милиционер, — и протягивал удостоверение своей личности. Строгий Дима убедился, что посетитель не врет, что он действительно милиционер, более того, наш собственный участковый уполномоченный. Смиловитившись, Дима от-

пустил участкового, а история эта заняла свое место среди квартирных апокрифов, пополнила мифологический ряд.

Простодушие Боброва не знало границ. Однажды Владимир Михайлович представил нам трех разновозрастных субъектов и отрекомендовал школьными друзьями из города Астрахани. Друзьям детства негде было переночевать, Владимир Михайлович решил приютить их, а мы с поразительным бесстрашием одобрили гуманное его намерение. То есть простодушие было характерной чертой всех жителей нашей квартиры. Приютив друзей, сам Владимир Михайлович удалился к одной из подруг, потому что вчетвером в крошечной его комнатке было не уместиться.

Комната № 5 к этому времени возвратилась в нашу семью, и с некоторых пор это была наша с мужем моим Евгением собственная комната, а отделялась она от комнаты № 4 тонкой дощатой перегородкой. То есть жизнь Боброва и его гостей происходила не более чем в десяти миллиметрах от изголовья нашей кровати. На рассвете услышала я шебуршенье, суету, поспешные шаги по коридору, хлопок парадной двери, а еще через пару часов возбужденный голос вернувшегося домой и мечущегося по квартире Боброва, отчаянно взывающий: — Где мои друзья? Где они?

Оказалось, что со школьными друзьями Бобров познакомился накануне на площади трех вокзалов, и что вместе с ними исчезла единственная ценность нищего Владимира Михайловича — немецкий фотоаппарат, с помощью которого изредка удавалось подработать. А еще гости прихватили финский нож, разыскав его в недрах гардероба.

Как ни странно, но в те времена преступников иногда разыскивали, и вскоре друзей детства настигли в городе Волгограде, а потерпевшего Боброва телеграммой вызвали в суд. Фотоаппарат к этому времени друзья загнали, а на вопрос судьи — зачем взяли финку, один из подсудимых, тоже простодушный человек, объяснил, что захватили ее на тот случай, если бы в коридор вышел кто-нибудь из соседей.

Владимир Михайлович жаждал не одних только женщин. Был у него и преданный друг — томный, изящно сложенный Стасик. Посещения смуглого Стасика чередовались с визитами дам. Приходил Стасик надолго, оставался на несколько дней. Атмосфера в дни его посещений была покойной, благостной, а Владимир Михайлович не метался и казался умиротворенным. В те годы рейтинг нетрадиционных сексуальных отношений не был еще так высок, как ныне, и тем более удивителен наш поощрительный интерес к этой нежной мужской дружбе. Вот какие мы были терпимые!

Однажды Владимир Михайлович со Стасиком попали в переплет. Стасик очутился в отделении милиции, а Владимир Михайлович спасся, в возбуждении ворвался в спальную квартиру и принялся яростно накручивать телефонный диск, дозваниваясь до все более и более высоких милицейских инстанций. Всю ночь под дверью нашей комнаты он отчаянно вопил в телефонную трубку: — Немедленно

возместите мне моего друга Станислава Анатольевича! — К счастью, утром Стасика выпустили из кутузки невредимым, очевидно, испугавшись напора Владимира Михайловича и поняв, что *такого* друга возместить невозможно.

Случались истории и иного рода, грустновато–лирические. Однажды появилась в квартире милая женщина Таня. Гордо и нежно Владимир Михайлович отрекомендовал Таню своей женой. Оглушенная произошедшим с нею чудом, Таня рассказала, как накануне оказалась на дне рождения подруги; как, давно уже не надеясь на перемену участи, скромно сидела в уголке; как внезапно дверь распахнулась и в комнату вошел Владимир Михайлович (мы хорошо представляли себе напористое его явление); как близорукий и одновременно ястребиный взор его мгновенно обнаружил и настиг Таню. Блестяще владевший двумя–тремя драматическими приемами, Бобров впечатляюще воскликнул: — Это моя жена! — стремительно пересек комнату и взял женщину за руку. Ошеломленная Таня не сопротивлялась судьбе и не вернулась в родной Ногинск ни в этот вечер, ни на следующее утро. Без раздумий поселилась Таня в комнате № 4.

Обыкновенно Владимир Михайлович легко решал проблему расставания с чрезмерно увлекшимися и потерявшими чувство реальности дамами. Способ был один–единственный, но отшлифованный до совершенства. Назначалась очередная встреча, на которую Владимир Михайлович не являлся, но и домой в вечер свидания не возвращался. Расстроенная и обескураженная дама, прождав понапрасну сколько хватило сил, еще с вечера оборвав телефон, на следующий день наконец–то дозванивалась до возлюбленного. А Владимир Михайлович с потрясающей душу натуральностью разыгрывал шекспировскую по силе и страсти роль обманутого мужчины, целую ночь тщетно прождавшего возлюбленную в назначенном месте. Никакие объяснения и оправдания не принимались, прощения не было никому!

— Над Бобровым не издеваются! Боброва не обижают! Бобров не прощает! — басил Владимир Михайлович в трубку (привычка говорить о себе в третьем лице прибавляла ему значительности). И до конца дней, ощущая себя жертвой чудовищного недоразумения и одновременно чувствуя свою вину, дама сетовала на судьбу–злодейку, разрушившую почти состоявшееся счастье.

Близился и Танин час «X». Но опять вмешалась судьба и отсрочила развязку — Таня сломала ногу. Перелом оказался сложным, со смещением, и Бобров, добрый в сущности человек, не стал выгонять женщину из дому в таком жалком виде, а скитался где–то целых полгода, изредка навещал Таню, и только после того, как нога срослась, отправил ее восвояси. За то время, что Таня прожила в нашей квартире, мы подружились и, как могли, подготовили славную женщину к неизбежному финалу. Так что отложенного на полгода спектакля Владимиру Михайловичу разыгрывать не пришлось. Таня и сама рада была унести ноги, в том числе и благополучно сросшуюся.

Прошло время, и неожиданно для всех, деловито и предприимчиво Бобров обменял свою крошечную душную комнатенку на просторную и светлую в

квартире напротив. Более того, он взаправду женился на симпатичной толстушке, тоже Татьяне, и, казалось бы, зажил своим домом. Пастораль эта стала возможна потому, что теперь Владимир Михайлович снабжал чем-то нужным геологические партии и постоянно разъезжал по стране, благодаря чему мятежная его душа и мятежное тело удовлетворяли мятежные свои потребности где-то там, вдалеке.

Давним летом встретила я Боброва у подъезда нашего дома в последний раз. Владимир Михайлович рассказывал о тяжелых разъездных впечатлениях, о чемоданах колбасы для друзей, живших и работавших в тех медвежьих углах, куда забрасывала его жизнь, о безысходности их существования. Долго рассказывал, не мог остановиться. И тем же жарким летом умер скоропостижно, в сорок два года, то ли от инфаркта, то ли от инсульта, в переполненном московском автобусе. Где-то хранится обертка от шоколадки «Люкс», красная с голубым бантом, с трогательной надписью: «Ольге в день ее рождения на долгую память от Владимира Михайловича Боброва». А в квартирном лингвистическом арсенале осело шуливо-зловещее предостережение, обращенное к очередной подружке: — Мы еще будем посмотреть на твое поведение! А надо будет — клизму из битых лампочек поставим. — И многозначительное предупреждение: — Наши люди в унитазе...

Столь предприимчиво Владимир Михайлович обменялся комнатами с личностью душераздирающей — с Николаем Александровичем Сумароковым, маленьким жалобным неопределенного возраста человечком с огромными серыми глазами удивительной красоты. Опустившийся на самое глубокое, самое тинистое дно, никому не нужный, оголодавший, вечно топчущийся у ближайшего продовольственного магазина, Сумароков был «человеком со стаканом». Желающие выпить «на троих» арендовали стакан, а Сумарокову в качестве гонорара предоставлялась возможность высосать последнюю бутылочную каплю. Описывать этого несчастного человека и его приключения нет сил. Жить бок о бок с Сумароковым было тяжело. Период этого грустного соседства сохранился в памяти чередой тягостных эпизодов.

Вхожу в подъезд и вижу Сумарокова, копошащегося у входной двери и тщетно пытающегося ее открыть. Жду, но дело не сдвигается с места. Решаю открыть своим ключом, подхожу ближе и вижу — вместо ключа сосед наш упорно всовывает в замочную скважину карамельку в фантике.

Из кухни несется гортанный Димин вопль. Кастрюля с кипящим диминим супом открыта, а сам крупный брутальный Дима, кипя от негодования сильнее своего супа, схватил за руку щедедушного Сумарокова, поднял ее, эту тощую скрыченную лапку со стекающими каплями мясного бульона, и с кавказской страстью обличает похитителя говядины. На следующий день, оставив якобы без присмотра скворчащие на сковороде котлеты, Дима притаился за дверью своей комнаты, расположенной вплотную к кухонной. И конечно же подстерег Сумарокова, схватившего с раскаленной сковороды недожаренную котлету. Темпераментный, суматошливый, но незлой Дима суетился просто так, из любви к истине. Он не бился устраивать расправу, просто хотел расставить точки над «і».

Отважно похищая котлеты, совершая набеги на наши кастрюли и сковороды, Сумароков оставался человеком робким и случалось целыми днями не решался выйти из комнаты. Выглядывал в щелку как мышонок и прятался обратно. Голоса Сумарокова мы не слышали никогда, в памяти остался только шелест. Зато тягостный запах, увы, очень помнится, да и мудрено его забыть. Запах сопутствовал соседу, тянулся за ним шлейфом, обретал материальность и окутывал квартиру наподобие дымовой завесы. В ожидании Наташиного рождения я старалась выходить в коридор как можно реже, ибо из-за сумароковского запаха токсикоз мой становился угрожающим.

Апофеоза запах достигал тогда, когда Сумароков приносил с магазинной помойки огромную кость, погружал ее в гигантскую жестяную кастрюлю, тоже помоечного происхождения, и варил свой собственный бульон. Тогда все прочие запахи меркли, исчезали, заменялись адской вонью, а воздух обретал плотность «стюдня». Не такие мы были сволочи и конечно же делились с Сумароковым и супом и котлетами, но, увы, этого было недостаточно, да и поздновато.

А вот эпизод иного рода. Возвращаюсь как-то с прогулки с двухнедельной дочерью. Дома никого нет, а я еще не привыкла к своему свертку, не наострилась включать свет локтем и двигаюсь по загнутому черному коридору на ощупь. И в районе ванной в кромешной тьме наступаю на что-то мягкое. Видно, жизнь в коммунальной квартире укрепляет нервную систему. В постоянной готовности к неожиданностям не пугаюсь, не вскрикиваю, не спотыкаюсь, кулек не роняю, а переступаю через нечто, отпираю дверь, помещаю Наташу в деревянную клетку-кроватьку и только потом выясняю, через что же именно пришлось мне переступить.

А это сосед Сумароков лежит поперек узкого коридора, голову под чугунную нашей ванной, в довольной большой, уже подсыхающей луже крови, и сладко посапывает. Пытаясь вписаться в дверной проем своей комнаты, не дошел двух шагов и вписался в дверь ванной. Наши ожидали только к вечеру, так что пришлось позвонить в милицию и жалобным голосом, представившись кормящей матерью (что соответствовало истине) упросить добрых милиционеров приехать и поднять соседа. И что удивительно: приехали и подняли! Подняли, доволокли до комнаты и уложили в кровать!

Душераздирающим эпизодам подобного рода несть числа. Вспоминать их тяжело, а тогда сумароковская ситуация казалась безысходной, и мы с нею смирились. Но произошла очередная смена декораций.

КОАПП Однажды (вскоре после ванно-милицейского эпизода), возвращаясь со своим младенцем с прогулки, я увидела возле подъезда компанию бородатых очкариков средних лет, вроде бы того же профсоюза, что и наше семейство. Интеллигенты вбегали в распахнутую дверь нашей квартиры, выбегали из нее, резво сновали по коридору и вносили в комнату № 4 тяжелые связки журналов «Знание-сила» и «Наука и жизнь». Боясь поверить забрезжившему счастью, с трепетом наблю-

дала я за новым поворотом квартирной судьбы. В этот момент вошел в раскрытую дверь квартиры наш приятель — художник Лева Мороз, случайно проходивший по переулку и заметивший странное оживление. Вошел и с радостным возгласом обнялся с одним из очкариков. Я приободрилась — померещилась перемена участи. И действительно, новый жилец оказался литератором, автором всеми любимой в те тухловатые времена детской радиопередачи «КОАПП» (комитет охраны авторских прав природы), а вдобавок еще и приятелем нашего приятеля. Я восприняла его явление едва ли не как пришествие мессии. Каким же образом этот самый мессия по имени Майлен оказался в нашей квартире?

Майлен владел неплохой комнатой в приличной квартире с одной-единственной соседской семьей. Но жить в этой хорошей комнате опасался из-за гнусной парочки супругов-стукачей, доставших Майлена до самой печенки. Ваяя еженедельную популярную передачу и неплохо зарабатывая, Майлен решил построить кооператив. А когда дело было уже на мази и получение квартиры стало реальностью, вроде бы задумал наказать гнусных соседей, с вожделием ожидавших освобождавшейся жилплощади.

Тем более, что у проблемы этой был и другой аспект. При окончательном утверждении состава будущего жилищного кооператива мог произойти казус, и существовал риск, что к владельцу относительно приличного жилья придерутся и откажут в квартире. Поэтому стоило подстраховаться и обрести жилье похуже. И приятельница Майлена нашла подходящий вариант — нашего Сумарокова с его вонючей каморкой. Таким образом, взамен талантливого литератора соседи-стукачи обрели человека со стаканом. По слухам, они помучились-помучились, да и подсунули несчастному Сумарокову рыбные консервы сомнительного качества. Как бы там ни было, но вожделенной жилплощадью они таки завладели.

В коммуналке нашей Майлен не собирался жить ни дня, в ожидании кооператива снимал квартиру. Но и нас в одиночестве не оставил. Через несколько дней представил нам Валентину, аспирантку сельскохозяйственной академии, писавшую кандидатскую диссертацию о курах. Валентина бескорыстно делилась с Майленом нужной для радиопередачи КОАПП куриной эрудицией и благодарный Майлен решил отплатить Валентине добром.

Валентина приехала в Москву с Урала, ради научной карьеры оставив двух малолетних детей на попечении старушки-матери. Майлен рассказал нам, как Валентина бедна, как она одинока в чужом городе, как неуютно живет ей в сельскохозяйственном общежитии. Еще не веря в освобождение от Сумарокова и сопутствующих ему тягостных ощущений, мы были согласны на все. Валентина перевезла скудные свои пожитки, заползла сама, но оказалась отнюдь не в одиночестве. Вместе с нею в комнате № 4 поселился красавец араб, специалист по ближневосточным курам. Само собой, не говорящего по-русски араба, Валентина представила нам, как жителя города Баку.

Конечно же, ничего не стоило попереть араба из нашей квартиры. Но Валентину с ее птичьими правами мы пожалели, представили, как уныла и беспро-

светна ее уральская жизнь, вообразили бескрайнюю птицеферму с тысячами истеричных кур, ощутили запах куриного помета (а в запахах мы знали толк), подумали о том, с какой легкостью можем разрушить кратковременное Валентино счастье. Валентине было за сорок, а аспирантура в жизни женщины случается лишь однажды. Красивый араб одевался опрятно, даже нарядно, носил вельветовые джинсы горчичного цвета, вел себя скромно. Пару они с Валентиной составляли трогательную, а к страстям за фанерной перегородкой мы привыкли с бобровских еще времен. И зажили себе дальше с арабо–курино–аспирантской парочкой за стенкой.

Так прошло еще полтора года. Валентина окончила аспирантуру, друг ее вернулся в арабскую страну, а Майлен дождался кооператива. Комната № 4 освободилась. Жилищная проблема, испортившая москвичей, существовала по–прежнему, но жилье такого качества спросом уже не пользовалось. В результате восемь с половиной квадратных метров жилой площади под номером четыре вернулись в семью, и малолетняя Наташа стала обладательницей собственной комнаты.

Сага о Газенновых Раскинутое здесь эпическое полотно (или одеяло), выполненное в лоскутной технике (patch–work по–нынешнему), для полноты картины необходимо надставить еще несколькими кусками. Семейство Газенновых, например, жившее в комнате № 3 еще до Димерджи, Людаевых и Морозовых, семейству Хрюковых ничем не уступало. Поневоле приходится перемещаться во времени, фланировать по прожитым десятилетиям, неприкаянно слоняться туда–сюда.

Когда–то, в папином и Танином детстве, еще до пришествия Газенновых, жил в ближайшей к кухне комнате № 3 холостяк–инженер по фамилии Ромбой. Не столько самого инженера, сколько редкостную его фамилию папа частенько вспоминал. Семейство же Газенновых, еще до войны сменившее одинокого Ромбоя, состояло из Ивана Ивановича (которого я уже не застала среди живых), жены его, мясисто–мучнистой, вислозадой, страдающей «перетонией» Анны Ивановны, и семерых дочерей. Четверо старших принадлежали одному Ивану Ивановичу, а трое младших произведены были на свет совместными усилиями супругов Газенновых.

В нашем дворе Анна Ивановна прославилась декларацией о вреде ношения панталон. Сама Анна Ивановна никогда не пользовалась этой второстепенной частью туалета и другим не советовала. Анна Ивановна считала, что залог здоровья семьи в постоянной вентиляции женского организма.

Дочери Ивана Ивановича жили сами по себе. Где–то на отшибе, в Марьиной Роще, существовала Маруська, выданная замуж за племянника Хрюковых — однорукого фронтовика Володьку. Таким образом, соседи наши, давние враги и собутыльники, еще и породнились. И когда Володька с Маруськой приезжали на праздники в гости, обе семьи дружно гордились заправленным под офицерский ремень пустым рукавом Володькиной гимнастерки.

Дуська с дочерью Галькой жили в глубоком подвале дворового флигеля. Гальку Уточкину, как и прочих дворовых детей (из тех, что стремились к знаниям),

предварительно поднатаскав по русскому языку и литературе, мама моя определила учиться в свой институт, так что Галька со временем сделалась химиком, а скорее всего и кандидатом химических наук. Лозунг «коммунизм есть советская власть плюс химизация всей страны» мама последовательно проводила в жизнь задолго до того, как Хрущев его провозгласил. Не одни только наши дворовые стали химиками благодаря моей маме, на этот путь неотвратимо вступали почти все дети, встречавшиеся на ее жизненном пути. Смутная угроза стать химиком витала и надо мной.

Тетя Катя Королева с Наташкой и Витькой жила в той же подвальной утробе, что и Дуська Уточкина. Катину комнату отделяла от Дуськиной тоненькая фанерная перегородка. Комнатки-каюты были совершенно одинаковые, в них свободно помещалось по две никелированных кровати, разделенных маленьким столиком. Окна-иллюминаторы, расположенные под подвальным потолком, высывались из-под земли сантиметров на двадцать и от серого брандмауэра соседнего пятиэтажного дома отделяло их не более трех шагов.

А для того, чтобы попасть в это черное и склизкое подземелье следовало спуститься на восемнадцать ступенек вниз. Многонаселенное жилье, у входа в которое по вечерам горела лампочка 15 ватт, походило на корабельный трюм. Множество знакомых моего детства жило под землей и лица их совпадали по цвету и тону с картофельными ростками. Жизнь заранее, еще до рождения, опустила их ниже уровня мирового океана, и андеграунд сформировал мироощущение и здоровье подземного поколения.

Тетя Катя подметала Еропкинский переулок, и несколько месяцев я паслась в ее подвале, потому что в этот период она была по совместительству еще и моей няней (всего в течение первых восьми лет жизни у меня было пять нянь). Я хорошо помню аромат тети-Катиного подвала. Скомпонованный из запахов щелока, керосина, кислой капусты, кипящегося белья и сырой земли, он не был противным, а казался жилым, уютным и даже вкусным. И когда баба-Яга в предвкушении аппетитной трапезы, поводит носом и восклицает: — Чу, человечьим духом пахнет! — я представляю себе запах тети-Катиного подвала.

Четвертая дочь Ивана Ивановича, Галина, с сыном, опасным подростком и голубятником Сашкой, и дочерью Лидкой, моей ровесницей и подружкой, жила на втором этаже, точно в такой же комнатенке, как наша № 4. И в ней я провела немало времени, потому что в отсутствие тети Галины, сутками работавшей в общепите, Лидка приглашала нас в гости. С детьми Галина не миндальничала, предчувствовала раннюю свою смерть и всерьез готовила их к жизни: — Сашка, стой на месте и бей в морду! — инструктировала она сына, навалившись грудью на подоконник и наблюдая сверху за происходившими во дворе событиями.

Старшая из общих дочерей Анны Ивановны и Ивана Ивановича, забитая мужем-алкоголиком, изнуренная жизнью худосочная Варька жила в соседнем дворе под загадочным названием Рабфак (в честь рабочего факультета курсов иностранных языков, располагавшегося здесь в 20-е годы), густо населенном крутым

криминальным элементом. Подвальные катакомбы торжественного ампирного дворца Еропкиных (прежде просто Института иностранных языков, а потом имени Мориса Тореза), застроенный сараями огромный двор — все это населял народ пьющий, азартно играющий, вооруженный холодным оружием. Посещение двора сопряжено было с риском, поэтому впервые я переступила опасную черту уже после отъезда подавляющего большинства «рабфаковцев» в Черемушки. И муж Варькин, и старший сын Игорек достойно представляли свою территорию.

Со зловещим Рабфаком связано воспоминание иного рода. В первом классе в школу меня провожал папа. Из дома мы выходили с черного хода и со двора сворачивали в переулочек. Нам предстояло обогнуть институтское здание по периметру — пройти вдоль его еропкинского торца, мимо выходящего на скверик фасада с десятью белыми колоннами, увенчанными коринфскими капителями и опирающимися на девять арок-ниш (пространство детских игр), и дойти до моей школы вдоль противоположного институтского торца, по Померанцевскому переулку. И вот что случалось зимними утрами на коротком отрезке Еропкинского переулка.

Хотя солнце к этому раннему часу успевало подняться невысоко, оно уже сияло из-за тургеневского домика, того самого, в котором обитали некогда Герасим со своей собачонкой. И каждое утро мы с папой шли навстречу рассветному зареву, разноцветным замоскворецким дымам, в унисон восхищаясь неземной их красотой. А навстречу нам со стороны Метростроевской двигался высокий крутобокий конь с всадником — усталым чернобородым цыганом в распахнутом овчинном тулупе. Всадник с конем медленно проплывали мимо и сворачивали в Рабфак. В клубах общего их дыхания, в контражуре, конь и всадник казались единым целым. И ничто не мешало предположить, что на самом деле мы встречали не возвращавшегося с ночной работы старого цыгана на лошади, а последнего московского кентавра.

Две младших газенновских дочки жили в нашей квартире. Злобная Нюрка была особенно необаятельна. Все вокруг люто ее ненавидели, и однажды кто-то из соседей проклял необычным проклятием, сказав, что никогда не выйти ей замуж, а если кто-нибудь на такую заразу и позарится, то только милиционер. Так и случилось — стервозная Нюрка вышла замуж за милиционера Колю Ганина, славного добродушного человека. Проклятие обернулось для Нюрки благом.

Свадьба Нюркина удалась, погуляли неплохо — были и драки, и кровь, и покалеченный народ. Разошлись довольные. Наутро обнаружилось, что днище здорового жестяного бака для кипячения белья продавлено, а окропленная кровью вмятина определенно имеет форму чьей-то головы. Как выяснилось позже, головы Варькиного мужа Вальки. В тот раз Валька остался жив, утонул он позже.

Приглашенные на свадьбу мои родители, отведав праздничного «стюдн» и «винегрета», ретировались до начала настоящего веселья и всю ночь прислушивались к взвизгам, крикам и дробному топоту под гармошку, боялись, как бы не вышибли отделяющую нас от свадьбы хлипкую застекленную дверь. К счастью, детская ванночка, висевшая по обыкновению коммунальных квартир над дверью,

упала от сотрясавших квартиру страстей и перегородила подход к комнате. А нау-тро замужня Нюрка, напевая, прохаживалась по коридору и гордилась удавшимся торжеством. — Правда, хорошо погуляли? — с пристрастием допрашивала она мою маму.

Вскоре у Нюрки с Колей родилась Лидочка, и когда пришло время учиться ходить, девочке вручили пустую водочную бутылку. Лидочка крепко ухватывалась за свою бутылку и уверенно шагала по коридору. Но стоило бутылку отобрать, как Лидочка мгновенно падала. Бутылка придавала Лидочке устойчивость. А самому Коле Ганину придавала устойчивость дочка Лидочка. При входе в метро, в преддверии контролера (надо ли напоминать, что автоматическими турникетами московское метро оснастили много позже), возвращавшемуся из гостей пьяному в дым Коле вручалась Лидочка, и с ребенком на руках наш милиционер двигался уверенно и абсолютно вертикально.

У самой младшей газенновской сестры, рябой Зинки, на заре туманной юности случилась несчастная любовь. Некогда, увлекшись молодым человеком, Зинка вытатуировала на запястье его имя, кажется — Витя. Первая любовь рассалась и спустя время возникла следующая. Но новый возлюбленный поставил жесткое условие — пообещал жениться только после того, как Зинка вытравит «Витю». Зинка травила Витю кислотой, выжигала огнем, но Витя упорно проступал и Зинка осталась незамужней.

Работала Зинка медсестрой в лечебном учреждении, но на службе ее не ценили. Это было обидно и для того, чтобы отомстить врагам, Зинка выбрала эффективный и короткий путь — вступила в партию. Решение оказалось верным — Зинку сразу же назначили старшей сестрой. На новой должности партийная Зинка лютовала по-страшному, с врагами расправлялась беспощадно, но перегнула палку, переборщила и ее выдворили из больницы «по статье». Однако все обернулось к лучшему, Зинка нашла себя в новом качестве и до самой пенсии проработала проводником в поездах дальнего следования.

А вот в мелочах Зинке не везло. Апофеозом Нюркиной свадьбы стал на удивление громкий, зубодробительный треск раздираемого крепдешина. Кто-то из приглашенных, не в силах обуздать страсть, в неистовом порыве разодрал новое, сшитое к свадьбе сестры голубое Зинкино платье сверху донизу.

— Милицию вызвать! — визжали женщины.

— Не вызывайте, я сам милиционер! — кричал в ответ жених Коля Ганин.

Время свидетельствует, что диалог этот звучал в нашей квартире с определенной периодичностью, примерно раз в пятнадцать лет, отделявших давнюю Нюркину свадьбу от будущей ночной встречи участкового инспектора с радиожурналистом Димой Димерджи. Неглупо сказано, что все возвращается на круги своя!

Между тем, Зинке Газенновой я обязана жизнью. Ранней весной 54-го года наша детская компания гуляла во дворе. Снег бурно таял, наступило время ручьев и потоков. Под домом существовал глубокий подвал, фрагмент необъятных московских подземелий. Ключом от подвала единовластно владел дядя Паша Кро-

шин, кряжистый, наголо бритый человек в синих галифе, сапогах гармошкой и длинном кожаном пальто (то ли времен Очакова, то ли Перекопа). Дядя Паша был мужем еще одной моей няньки — тети Поли, под крылом и под сенью фикусов которой я провела полгода, вознесшись из тети-Катиного трюма на третий этаж нашего дома. Подвал был недоступен и, конечно же, хранил тайну. Правда, ходил слушок, будто тайна эта — всего лишь бочка крошинской квашеной капусты, хранящаяся в подвале противозаконно.

Короче говоря, мощные весенние потоки с бешеной скоростью пронеслись сквозь таинственный подвал, а крышка канализационного люка в центре двора была сдвинута. Сгрудившись вокруг люка, мы с любопытством и ужасом заглядывали в бездну, смотрели на пенившийся в преисподней поток. Внезапно в люк свалилась чья-то калоша. Взволнованные происшествием, мы подошли ближе. Край люка обледенел, я поскользнулась и свалилась в люк вслед за калошей. К счастью, крышка люка сдвинулась не более чем на две трети, а пальто на мне было зимнее, неуклюжее, на толстом ватине. Инстинктивно расставив локти, я повисла над пучиной. Итак, высота подвала метра четыре, по дну его несется настоящий Терек, я вишу над этим ужасом, расставив локти, а мои друзья и не думают звать на помощь, стоят и с интересом ожидают продолжения событий. Я парализована ужасом, но понимаю безысходность ситуации (ощущения свои помню отчетливо).

На мое счастье вернувшись с ночного дежурства и уже отоспавшаяся Зинка, в те времена еще медицинский работник, опершись локтями о подоконник и оттопырив («отключив», как говаривала моя няня Аня Гордеева) зад, глядела в кухонное окно. В те дотелевизионные времена, когда смотреть в свободное от работы время было абсолютно не на что (разве что в стену), жильцы подолгу стояли у окна и наблюдали за тем, что происходит во дворе или на улице. Нет, Зинка не кинулась опроретью вытаскивать меня из люка, но не поленилась оборотиться в сторону нашей комнаты и зычно гаркнуть маме: — Слышь, Ольга—то твоя в люк провалилась! — Большое ей за это спасибо! Мама выбежала и спасла меня. А калоша уплыла—таки в Москва—реку.

А вот еще один семейно-квартирный апокриф, родившийся благодаря своевременному вмешательству Ивана Ивановича Газеннова. Когда-то в гостях у нашего семейства бывали приличные люди. Постоянно заходил друг семьи, кудрявый красавец и пианист Эммануил Гроссман. Лауреат музыкальных конкурсов, Эмик концертировал с шести лет, будущее его казалось блестящим, но произошла трагедия — совсем молодым он заболел болезнью Паркинсона и умер, не дожив до сорока.

Однажды Эмик пришел в гости вместе с учителем своим, Генрихом Густавовичем Нейгаузом. А в доме нашем жил превосходный бабушкин рояль. Это был не просто замечательный инструмент, подаренный бабушке ее отцом, но и своего рода золотой запас семьи. Не раз нависала над семьей угроза расставания с роялем (особенно острая во время войн), но до поры до времени роялю удавалось выжи-

вать, и бабушка продолжала на нем играть. И все же, в конце 40-х на крутом житейском витке рояль продали. И остались от семейного Бехштейна прекрасные воспоминания да ветхая бумажонка:

*Р. С. Ф. С. Р.
КОМИССИЯ
ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
при Отделе Народного Образов.
М. С. Р. Кр. и Кр. Д..
№ 20071.
8 Марта дня 1921 г.
МОСКВА.
Петровка, 2, бывш. Голофт. пасс.
Тел. 48 46, 1 24-20*

ВРЕМЕННОЕ ОХРАННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Музыкальный инструмент Рояль № 107313. фирмы Бехштейн принадлежащий Айзенман (Бари) Ольга Александр. находящийся Остоженка Мансуровский пер. д. 5.кв. 2. состоит на учете в Комиссии по учету и распределению Музыкальных инструментов и согласно постанов. Президиума Моск. Совдепа от 5/ХІ — 20 г. никакими другими учреждениями кроме Комиссии не может быть реквизирован и без разрешения Комиссии не может быть перевозим в другое помещение.

Настоящее охранное свидетельство имеет силу в течении 2-х месяцев со дня его выдачи.

*Председатель Комиссии (неразборчиво)
Секретарь Погоржельский*

А в тот давний довоенный вечер Генрих Нейгауз играл на нашем Бехштейне своего любимого Шопена. Надо думать, играл замечательно. Как вдруг разъяренный Иван Иванович, разбуженный громким и бессмысленным шумом, выскочил в одном исподнем из своей комнаты № 3, расположенной напротив нашей № 1, выхватил полено из поленницы, сложенной в коридоре (в квартире пользовались печным отоплением), и принялся поленом этим дубасить в дверь, требуя прекратить безобразие и дать людям покой. Свое требование Иван Иванович, конечно же, облек в некорректную форму.

Гостей и хозяев неожиданный эксцесс ничуть не удивил, он органично вписался в длинный ряд подобных — прошлых и будущих. Тем более, что всему нашему дому известна была нелюбовь Ивана Ивановича к серьезной музыке. Еще в те времена, когда семейство Газенновых жило не в нашей квартире, а этажом выше, в квартире № 4, Иван Иванович неоднократно и недвусмысленно давал понять это окружающим.

В семейном архиве хранится соответствующий документ, ибо в 1935 году дедушка мой исполнял обязанности председателя домового товарищеского суда. Вот оно, документальное свидетельство фобии, которой страдал Иван Иванович Газеннов:

*В товарищеский суд ЖАКТ `а 907
от Юрия Богословского (прож. кв. 4)*

По роду своей работы — музыкально-композиторской деятельности — я принужден иногда по вечерам работать за роялем до 11, 12 часов. Мой сосед Газеннов после 10 часов вечера грубым стуком в стену вынуждает меня прекращать работу. Прошу товарищеский суд оградить меня от грубости соседа, разъяснив ему мое право в своей комнате работать, согласно постановления Моссовета, до 12 часов ночи. В течение уже нескольких лет, боясь грубых выходов соседа (были случаи, когда он врывался в комнату) я принужден прекращать занятия около 10 часов вечера, испытывая помимо большого ущерба в работе угнетенное состояние, что не может не отражаться на творческой работе.

7 янв. 35г.

Ю.Богословский

Не знаю, может я и не права, но в конфликте Газеннова с Богословским я на стороне Ивана Ивановича. Утром композитор мог подольше поспать, а Иван Иванович отправлялся на работу в шесть часов.

После того, как и Газенновы переехали в Черемушки, славный Нюркин муж Коля Ганин продолжал работать по соседству, в районном отделении милиции. Иногда, после очередной милицейской операции заходил передохнуть, чайку попить. Однажды пришел запаренный, уставший, пожаловался, что очень сложная разборка была — пришлось утихомиривать разбушевавшихся сотрудников одного из африканских посольств. Дело-то простое, нехитрое, но очень уж неудобно эти африканцы устроены. Волосики у них коротенькие, курчавые, их, как наших, за космы не ухватишь, по лестнице не сволочишь. Пришлось за уши тащить. А уши у африканцев этих потные — из рук так и выскальзывают...

И все, все они уехали в Черемушки... А как хороши, как свежи были розы!

МАРЫХНА Переселившаяся к нам с третьего этажа Мария Мартыновна Недзельская казалась в те далекие времена смешной, назойливой и нелепой старухой. А сейчас вспоминаю ее с щемящим чувством и удивляюсь, как она выживала, на что жила — одна-одинешенька, без работы, без пенсии. До чего была беззащитна, беспомощна!

Давным-давно, при неведомых обстоятельствах, Мария Мартыновна покинула Польшу. Каким образом и когда очутилась она в Москве? Во времена ком-

мунального нашего общежития никто и ничего о себе не рассказывал. Казалось, у людей не было прошлого. Каждый из наших соседей, даже самый ничтожный, хранил никогда и никем не разгаданную тайну. Годами живя бок о бок с множеством разнообразнейших персонажей, мы ничего не знали о том, что было с ними прежде, откуда они взялись, почему покинули родные места. Никто не рассказывал о своем детстве, о родителях, о дедушках и бабушках. А ведь наши квартирные монстры–гегемоны явились в Москву не от хорошей жизни. Они бежали из деревень от голода, от колхозов, а прошлое решили забыть или хотя бы скрыть от окружающих. Так и канули все они в вечность неразгаданными, не открывшимися, навсегда испуганными, с кляпом во рту.

Смутно мерещился в прошлом Марии Мартыновны муж, учитель танцев — фигура небывалая, фантастическая, не из нашей жизни. Тень его возникала изредка в воспоминаниях об огромной зале, о навощенном паркете, о мазурке... Вспоминая мужа, мазурку и зеркальный паркет, Мария Мартыновна привставала на цыпочки, изящно изгибалась, грациозно взмахивала руками и становилась похожа на птицу.

В российской действительности Мария Мартыновна адаптировалась плохо. По–русски говорила неважно, зато квартира охотно повторяла польские ее выражения. — Яки пенкны квяты! — неизменно восклицали жильцы при виде любых цветов, — Бардзо добже! пшистка добже! — восхищаясь, чем ни попадя.

Более всего Мария Мартыновна напоминала классную даму того модуля, по которому кроились фильмы о тоскливой жизни дореволюционных детей. Серая юбка до полу, серый валик волос надо лбом, прямая спина, пресное лицо с поджатыми губами, длинноватым острым носом и маленькими зоркими глазками.

Соседи запросто звали ее «Марыхна», фамильярничали, обращались на «ты» и постоянно подшучивали с разной степенью безобидности. В хорошую минуту, по заказу соседей и под поощрительное их похихатывание Мария Мартыновна исполняла слабеньким дребезжащим голоском невинно сомнительный куплетик:

В магазине По
Продавали жо...
Не подумайте худого,
Желтые ботинки.

Мама жалела Марию Мартыновну, приглашала в гости, чем–нибудь угощала. И Мария Мартыновна старалась принести пользу нашей семье. Например, безуспешно пыталась научить меня хорошим манерам и красивой походке. Шаг должен был начинаться с носка. Сама она умела так ходить и серой летучей мышью скользила по коридору. Пробовала она приохотить меня и к специальным упражнениям, с помощью которых нос мой мог бы стать покороче и поизящнее. Но для этого нужно было особым образом ежеминутно теревить его, ни на минуту не забывая об упражнении, и потратить на это благое, но очень скучное дело годы и годы.

Мария Мартыновна владела одним—единственным ценным предметом — многоярусным, вроде бы даже серебряным сооружением — вместилищем для специй (к стыду своему не знаю названия этого удивительного, не слишком актуального ныне предмета). Экзотическая вещь в преддверии католических праздников торжественно выносилась в кухню и разбиралась на множество составных частей. Хрустальные части отмывались и протирались до брильянтового блеска, металлические чистились до молниевоего сверкания, а Мария Мартыновна ими гордилась.

На наших глазах случилось в жизни Марии Мартыновны чудо. Летом 57-го года, в вихре московского фестиваля молодежи и студентов, в нашей квартире материализовался высокий блондин Станислав — внучатый племянник Марии Мартыновны, натуральный иностранец, варшавянин, явившийся в Москву в составе польской делегации. Забрехала призрачная надежда... Увы, ничего судьбоносного не произошло, мираж развеялся, но осталось воспоминание о пришествии белокурого пана в сером костюме.

С годами Мария Мартыновна становилась все более странной. Выходила из комнаты в длинной ночной рубашке и в слезах, сообщала, что получила из Польши письмо со страшным известием — утонул брат. Дрожащей рукой протягивала пожелтевший конверт, датированный июнем 27-го года. Наутро являлась радостная, с подробным описанием свадьбы племянницы. Свадьба действительно состоялась, но лет тридцать назад, и член фестивальной польской делегации Станислав как раз и являлся плодом этого брака. Навещала Марию Мартыновну одна только Леокадия Яновна, курировавшая ее по католической линии. Католики не оставляли своих стариков без поддержки. Возможности их были мизерны, но все же...

Практичная и распорядительная Валентина Алексеевна Людаева учуяла в Марии Мартыновне опасность для безоблачного благополучия золотоволосой дочери своей Анжелики, и определила старуху сначала в психиатрическую больницу, а потом в дом престарелых. Там и закончилась одинокая жизнь Марии Мартыновны. Навестив ее однажды, мама вернулась огорошенная, подавленная, убитая, обнаружив Марию Мартыновну в огромной палате, сидящей на железной койке среди множества других наголо обритых старушек. При всем своем мужестве на повторное посещение богадельни мама так и не решилась.

А однажды, поздней осенью, в квартиру вломилась бесцеремонная ватага под предводительством домоуправа Миронова. С двери Марии Мартыновны сорвали сургучную печать, растерзали скудное ее имущество в поисках драгоценностей, нашли мизерную записку дореформенных, вышедших из употребления денег, похватили подушки, прибор для специй, больше ничего полезного не нашли, наследили калошами и сапогами и убежали. Так мы узнали о смерти Марии Мартыновны.

Комнату ее после многомесячных мытарств удалось получить нам. Доломали полуразвалившуюся печку, сгнившие доски пола заменили новыми, прорубили второе окно, переведя комнату из вечно вечернего состояния в стабильно суме-

речное. Мне было пятнадцать, собственной комнаты не было ни у одной из моих подруг, и я зажила в ней с ощущением небывалого, сказочного счастья.

Одна из стен чудесной моей комнаты пребывала в вечной испарине. Весной и летом капли набухали, превращались в гроздь и стекали струйками и ручейками. Влажный комнатный климат пришелся мне по душе, и в мучительное лето 72-го года, посреди полыхавшего жаром, затянутого дымом подмосковных пожарниц города, нам с Женей дышалось легко. В ожидании рождения дочери Женя самоотверженно осушал стену, покрывал ее бесчисленными слоями олифы, но стена, как живая, продолжала набухать и сочиться.

Прошли годы, и случилось так, что после нашего отъезда из Мансуровского переулка в комнате № 5 поселились две пестрые курочки и такой же петушок. Да-да, комната стала самым настоящим курятником — с клетками, гнездами, яйцами и петушиным пением. Случается в Москве и такая экзотика. А может быть это куриная аспирантка Валя, уральская жительница, засеяла нашу квартиру особыми куриными семенами. Но это уже совсем другая история. А от Марии Мартыновны Недзельской остался и прижился в семье маленький сундучок, обшарпанный, с оторванной крышкой, но странно трогательный.

Секс-символ квартиры Маня Лошадкина Не написать нескольких строк о первой моей, младенческих времен, няне Мане Лошадкиной было бы просто свинством, если уж я перечислила всех этих Хрюковых да Газенновых. Тем более, что Маня была женщиной редкостной сексапильности, и, сложись ее судьба иначе, запросто составила бы конкуренцию Мерилин Монро.

Жила Маня в каморке при кухне. Размер каморки под номером шесть, в соответствии с поэтажным планом, равнялся трем метрам восемнадцати квадратным сантиметрам. Некогда задумывалось это убогое помещение, как комната для прислуги. Окошко кухонного закутка располагалось под потолком и выходило на лестницу нашего дома, в подъезд. Каморка была не просто душной, а душливой.

Но что за чудо? На пространстве чуть более трех квадратных метров каждый вечер собиралось множество молодых мужчин вполне человеческого и даже приятного облика (в те времена мужской генетический материал был еще очень неплохого качества). А царила в этом тесном пространстве маленькая, бесшабашная, веселая и своя в доску Маня. Дым стоял коромыслом, страсти кипели. Маня владела магическими женскими секретами и волшебными рецептами, не скрывала этого и уверяла, что может не только покорить, но и удержать при себе любого мужчину на любой нужный ей срок. Маня знала себе цену — была спокойна, весела, уверена в себе.

По утрам к подъезду подкатывал грузовик, и на его гудок Маня выскакивала в переулок. Упершись кирзовым сапогом в ребристое колесо, ухватившись рукой за кромку дощатого борта, сверкнув рыжей в рубчик коленкой и голубой полоской байковых трико, вспархивала в кузов, уже набитый оживленными женщина-

ми с лопатами. Женщины взвизгивали, выкрикивали смешные словечки, бранились с клубящимися за бортом мужиками в ватных штанах. Ватные мужики балагурили и пытались посадить Маню. Маня огрызалась, брыкалась, совсем как та лошадка, от которой произошла озорная ее фамилия. Целыми днями в развеселой компании разъезжала Маня по окрестным дворам и переулкам, выскакивала из кузова, орудовала лопатой и лихо взлетала обратно. Таким образом, не только вечера, но и дни свои Маня проводила весело.

В те времена главным Маниным возлюбленным был обаятельный мужчина брутального облика, шофер Володя Ульянов. Генеральский сын, умеренно выпивавший и прилично зарабатывавший, Володя обожал Маню. Все складывалось неплохо... Но вдруг из Маниного прошлого возник другой Володя, тот, которого Маня любила прежде и на свою беду приворожила известными ей магическими способами.

Володя Второй (а на самом деле первый) вернулся из заключения к любимой женщине и обнаружил измену. Неверности своей Маня не скрывала, она ею даже бравировала. Оскорбленный Володя разъярился и первым делом спокойно и методично, без спешки, разодрал на узкие полосы все Манино постельное и носильное белье, а также все юбки и кофты. Потом разбил чашки и тарелки, громоздившиеся в небольшом количестве на подоконнике узенького окошка под потолком Маниной комнатухи, сломал то небольшое, что еще можно было сломать, и уж после этого погнался за Маней, собираясь как следует ее покалечить, а если получится, то и убить. Маня укрылась в нашей комнате, дверь мы заперли на крючок.

Лето, окно открыто. Мальвы в палисаднике в тугих зеленых бутонах. На фоне мальв прекрасное видение — русоволосый гигант в белой рубашке с воротником апаш. Наш подоконник ему по колено. Маня в полураспахнутом ситцевом халатике, закинув за голову обнаженные руки, возлежит на спине поперек моего диванчика в той свободной и соблазнительной позе, в которой обыкновенно коротает редкие свободные вечера у нас в гостях. И Володю при этом не только не боится, но глядит на него с задором.

В ужасе от происходящего только мы с мамой. Красавец–блондин, как за гипнотизированный кролик, замирает по ту сторону подоконника, перешагнуть который ему ничего не стоит («дерьма пирога», как говаривали в нашей квартире), и внезапно исчезает, испаряется, истаивает. Чем закончился этот романтический сюжет, один из многих в Маниной жизни, не знаю. Помню только, что в тот день и на следующий по квартире летал пух из Маниных подушек, а за окном — пух тополиный. Стало быть, дело было в июне.

Хрущев улучшил жилищные условия славной моей первой няни, и она тоже переехала в Черемушки. После Маниного отъезда кладовка вернулась во владение нашей семьи, я втащила в нее старинное семейное кресло, занавесилась тюлевой занавеской (при закрытой двери не задохнуться в кладовке можно было в течение десяти минут, не более) и обрела приют. Шумная и пахучая кухонная жизнь, кипевшая в шаге от кресла, уединения моего не нарушала.

Годы спустя, во время традиционного засора канализации, когда квартира наша в очередной раз превратилась то ли в клоаку, то ли в маленькую зловонную Венецию, а многодневные экскременты всего трехэтажного дома, наподобие гондол, пересекали водное ее пространство, в панике дозваниваясь до аварийной службы, я снова услышала голос Мани, теперь уже диспетчера, влиятельного человека. Мы очень обрадовались друг другу. Аварийную бригаду Маня прислала мгновенно, а мы почувствовали себя увереннее и защищеннее в борьбе с вечно бушующей фекальной стихией.

Как и следовало ожидать, Манина жизнь сложилась удачно. У Мани давно уже был послушный непьющий муж, дочь — студентка медицинского института, двухкомнатная квартира на Усачевке и престижная работа. Мы порадовались за Маню, подивились тому, как удалось ей в бурной жизни не растратить понапрасну волшебные знания и магические навыки. А мама вспомнила, как некогда, в кухонной каморке, ей пришлось принимать у Мани преждевременные роды.

Мама сделала все, что полагается в таких случаях, приехавшая скорая увезла Маню с младенцем (живой девочкой), но так как домашние роды были не случайны, а продуманы Маней до мелочей, то ребенок, как и полагалось по сценарию, через несколько дней умер. Собственно говоря, младенец должен был умереть еще во время родов, но мама, по призванию (не по судьбе) медик, удачно их приняла.

Маня не была злодейкой! Она была молодой женщиной, веселой и бесшабашной, жившей в нечеловеческих условиях. Куда бы она принесла ребенка, останься он в живых? Что стало бы с ним в этой бесприютности, неустроенности, духоте и тесноте? На этих трех квадратных метрах восемнадцати продолговатых сантиметрах нежилой площади? Я даже не знаю, была ли у Мани постоянная московская прописка? Зловещий вопрос, не потерявшей актуальности и сегодня.

Истцы и ответчики В затаяншемся повествовании представлены основные экспонаты нашего квартирному паноптикума. Вкратце, в соответствии с поэтажным планом, изложены биографии комнат № 3, № 4, № 5, каморок № 6 и № 7. А в комнатах № 1 и № 2 всегда жила наша семья. Много чего можно рассказать и о ней, но это отдельный сюжет.

Ясно одно — отношения между жильцами нашей квартиры складывались почти пасторально. По сравнению с атмосферой, царившей в других квартирах нашего дома. Оставляя для колорита авторскую орфографию, стилистику, а также пунктуацию, подкрепляю сравнение приложением — заявлениями, поступившими в товарищеский суд нашего Жилтоварищества в тот краткий период, когда возглавлял его мой дед (до октябрьского переворота присяжный поверенный, в советское время юрисконсульт), а также решениями товарищеского суда. Ведь для чего-то сохранились и всплыли из глубин времени пожелтевшие бумажонки с забытыми и полузабытыми именами.

От жильцов квартиры № 4

ЗАЯВЛЕНИЕ

Все жильцы квартиры № 4 ниже подписавшиеся, просят товарищеский суд обратить серьезное внимание на наше заявление по отношению гр-ки Сергеевой. Она не возможно держит себя на кухне, часто совершенно беспричинно начинает оскорблять жильцов разными площадными словами, это повторяется почти каждый день, редко случается тот день, когда на кухне не слышно Сергеевой.

22/VI гр-ка Сергеева вышла на кухню, села на пол и начала перетряхивать волос из матраца; не один из жильцов не сказал ей что-бы она ушла со своей работой из кухни, во избежании с ней скандала, хотя кухня и не для того существует, что-бы трясти пыль, где стоят кастрюли с пищей. Одна из жилищек прийдя на кухню посмотреть свое кушанье попросила очень вежливо Сергееву, что-бы она на одну минуту прекратила свою работу пока она перевернет свое мясо. Тогда Сергеева повысив голос начала говорить совершенно не существуя вставляя бранные слова задевая и других.

Кроме того просим товарищеский суд еще раз воздействовать на Сергееву более реально чем предупреждение (это было ей уже сделано по заявлению Богословского) по отношению площадных выражений в кухне при детях, да и вообще взрослым не особенно приятно часто слышать из уст Сергеевой безобразные словечки.

Фыряев, Богословские, Давыдовы, Лейшке 24 IV 1935 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

27/VI с/г. гр-ка Сергеева, узнав, что на нее имеется заявление в товарищеский суд почему-то вообразила, что это заявление подал на нее я, она вбежала в соседнюю с нами ком. Газенновых начала кричать и всячески оскорблять: «это я знаю, он проклятый жид, вор, обворовал колхоз» и т.д. долго продолжая ругаться в комнате Газенновых в присутствии Газеннова. Спустя некоторое время продолжала ругаться на кухне в таком же духе — в это время я шел по коридору по направлению к выходу, встретила гр-ка Бродская.

Сергеева увидев меня, опять начала уже в присутствие Бродской кричать и ругаться, повторяя вышеуказанные выражения. Указанные выходки Сергеевой повторяются неоднократно что становится не выносимо.

Фыряев 29/VI — 35

ЗАЯВЛЕНИЕ

Гр-ка М.Ф. Давыдова систематически полоскает свои ночные горшки в умывальнике, был случай уменя заболел глаз, на мой предупреждений не обращает внимания, это совестно взрослый человек организовал целую

уборную в комнате и тем разрушая свою жилую площадь и разводят сырость не думая о ремонте. Жена гр-на Богословского не однократно называла мою жену проституткой и сифилиткой и тем наносила как ей так и мне оскорбление этим. Когда я приходил с работы мне нужно было умыться как только я возвращался у дверей кв-ры, она сейчас занимала ванную комнату на несколько часов, не давая этим возможности мне умыться. Письма, когда я навел справки у пачталиона, который опускал их в ящик Богословского почему то исчезали и после всего этого у тех людей потерявших чувство солидарности начали обвинять других, а себя этим выгораживать якобы они правы, я прошу обратить на них внимание по сорезней, что-бы впредь не создавали квартирной травли и не нарушали внутреннего распорядка кв-ры.

29/IV 35 г. В.К.Сергеев

Заявление от гражданки Е.М.Чистяковой. проживающей в кв. № 5.

Прошу товарищеский суд разобрать такое дело что граж. Бродская живущая тоже в кв. № 5 часто устраивает скандалы и вот поссорилась со мною 9-го сентября называла меня всяческими словами так сумашедшая баба старая дура хамка стерва сволочь мерзавка как только могла и этого ей мало она мне плюнула в лицо в присутствии Н.П.Иванова. А когда Н.Пав. ушел она бросилась ко мне с ножом в руках ударила меня по лицу и так ушла в комнату с ножом. Я искала искала нож, не нашла. Утром нашла нож на плите в согнутом виде и тут же я показала этот нож людям которые на суде могут подтвердить.

Е.Чистякова 10-го сентября

РЕШЕНИЕ

6-го апреля 1935 года Товарищеский Суд ЖАКТ`а №907 в составе Председательствующего С.Б.Айзенмана и членов П.М.Третьякова и Р.С.Азарх рассмотрел дело по жалобе А.Л. Маят на Е. Бродскую. Гр-ки Маят и Бродская являются соседками по кв. № 5 д. № 5 по Мансуровскому пер., в которой обе живут. Гр-ка Маят жалуется на гр-ку Бродскую, утверждая, что последняя угрожала 2- IV с/г размозжить ей голову за то, что она делала замечания по поводу неправильного будто бы отношения гр. Бродской к своему ребенку. Гр. Бродская не отрицает, что она сказала, что бросит в гр. Маят что у нее будет в руках, если еще раз услышит замечания гр. Маят. Суд считает, что факт угрозы бросить в гр. Маят чем попало доказан и потому, принимая во внимание выяснившуюся на суде напряженность отношений между сторонами постановила объявить гр. Бродской предупреждение.

Председатель: С.Айзенман

Члены Суда: Азарх, Третьяков

РЕШЕНИЕ

6-го апреля 1935 года Товарищеский Суд ЖАКТ^а №907 в составе Председательствующего С.Б.Айзенмана и членов П.М.Третьякова и Е.М.Чистяковой рассмотрели дело по жалобе Ю.М.Богословского на М.М.Сергееву. Гр-не Богословский и Сергеева являются соседями по квартире № 4 д.№ 5 по Мансуровскому пер., в которой живут оба. Гр. Богословский жалуется на то, что гр. Сергеева часто бранит его и членов его семьи бранными, неприличными словами. В частности, 3-го сего апреля гр. Сергеева назвала трехлетнюю дочь гр. Богословского за то, что она пробежала по коридору: «зараза», самого гр. Богословского назвала «дурак-ненормальный», а няню гр. Богословского — «стерва старая». Гр. Сергеева отрицает слова «зараза» и «стерва», но признает, что назвала ребенка «чертенком», а гр. Богословского дураком за то, что ребенок шумел в коридоре. Выслушав стороны, Суд считает обвинение в оскорблении словами доказанным и постановил объявить гр-ке Сергеевой предупреждение.

Председатель: С.Айзенман

Члены Суда: Третьяков, Е.Чистякова

РЕШЕНИЕ

Сентября 17 дня 1935-го года Товарищеский Суд ЖАКТ^а № 907, в составе Председательствующего С.Б.Айзенмана и членов А.В.Бруновой и В.Н.Михельсон разобрал дело по жалобе Е.М.Чистяковой на Е.А.Бродскую.

Гр-ка Чистякова жалуется на то, что 9 сент. с/г гр-ка Бродская обругала ее старой дурой и нахалкой, словом начинающимся с буквы «б» и другими бранными словами. Со своей стороны Бродская обвиняет Чистякову в том, что та ее обругала также дурой и нахалкой, а также проституткой* и жидовкой. Обе жалуются, что каждая из них плюнула в другую. Чистякова признает слова «дура» и «нахалка», сказанные по адресу Бродской. Остальные бранные слова отрицает. Бродская обвиняет Чистякову в том, что та схватила ее за волосы и ушибла ей затылок. Чистякова отрицает побои, в которых обвиняет ее Бродская.

В качестве свидетелей допрошены т.т. Иванов, Маят, Шепет и Салтыкова, из показаний которых суд не видит, чтобы оскорбления и побои, в которых взаимно обвиняют друг друга Чистякова и Бродская были доказаны, кроме того, доказано лишь, что каждая обозвала другую дурой и нахалкой и что обе ссорились. Суд принимает во внимание, что Чистякова Товарищеским Судом еще не была осуждена, а т. Бродская по суду получила предупреждение, а потому Суд решил: Чистяковой объявить предупреждение, а Бродской общественное порицание.

*Слово «проституткой» нежелательно.

Председатель С.Айзенман

Члены Суда: Брунова, В.Маят

РЕШЕНИЕ

Октября 18–го дня 1935–го года Товарищеский Суд ЖАКТа №907 в составе Председательствующего С.Б.Айзенмана и членов П.М.Третьякова и В.И.Ковалева разобрал дело по жалобе гр. Фыряевой на гр. Сергееву Марию Митрофановну. Гр. Фыряева жалуется на то, что гр. Сергеева 15 октября, около 13 часов дня, возмущенная чадом от примуса, случайно погасшего в кухне, накинулась с бранью на нее и семью, назвала их «сволочами», бранила площадными словами, которых они не могут повторить. Тов. Сергеева не отрицает, что назвала Фыряеву сволочью, но утверждает, что и Фыряева ее ругала. Свидетель Богословский показал, что Сергеева обругала Фыряеву сволочью и другими бранными словами, но со стороны Фыряевой бранных слов он не слышал.

Считая, что обвинение в отношении Сергеевой доказано, а в отношении Фыряевой не доказано, Суд решил, принимая во внимание, что тов. Сергеева однажды уже осуждена за оскорбление соседей, объявить тов. Сергеевой порицание общественное.

Председатель С.Айзенман

Члены Суда: Ковалев, Третьяков

СВЯЗЬ ВРЕМЕН Квартиры нашего дома, зеркально повторявшие планировку друг друга, представляли собой сообщающиеся сосуды в количестве шести штук. Родившись через тринадцать лет после того, как дедушка мой возглавил товарищеский суд (в старых традициях уважительно именуя его Судом с большой буквы), я со многими из вышеперечисленных фигурантов успела повстречаться, мне известны судьбы некоторых истцов и ответчиков, членов Суда, а также детей их, внуков и отчасти правнуков. Можно потянуть за любую из ниточек, и она окажется бесконечной.

Истец Ю.М. Богословский канул в ополчении, а вот жену его, сухощавую, похожую на лисичку тетю Марусю, я хорошо знала и дочкой Надей, приветливой, оживленной, вечно спешащей большеглазой девушкой с виолончелью, восхищалась. Надя изумительно выглядела не только в жизни, но и на развешенных по городу рекламных плакатах — в чередке фей, одетых в белые платья с тончайшими талиями и широчайшими воздушными юбками — Надя играла на виолончели в женском оркестре под управлением Романа Романова (был такой на рубеже 50–х и 60–х годов). Серые Надины глаза с пушистыми ресницами, ее торопливый бег по лестнице, лоснящийся виолончельный футляр, все это подтверждало существование иной жизни, происходившей за стенами мансуровского дома.

О семье ответчика Газеннова, мешавшего творческой работе Надиногo отца, композитора Богословского, уже рассказано, и довольно подробно, ибо, как и полагается содержимому сообщающихся сосудов, Иван Иванович с чадами и домочадцами еще до войны переместился из квартиры № 4 в нашу № 2.

История семьи истца Фыряева, жившей в комнате, соответствовавшей нашей № 5, но только на втором этаже, тоже хорошо мне известна. С младшей его дочерью я прятельствовала не менее четверти века, до тех пор, пока некогда веселая, «духарная» Ленка, хулиганка и заводила дворовых игр, после череды удручающе-тусклых приключений не повстречала наконец свою судьбу — крохотного ливанца, человечка карманного формата, и не перебралась на ПМЖ в далекий город Триполи. И Ленка, и старший брат ее Генка детство и юность потратили на то, чтобы оторваться от тягостных своих корней — бледной, замученной жизнью матери и сварливого, вечно конфликтующего отца.

Домашняя портниха тетя Валя Фыряева была очень уязвима. Над нею и над стареньким ее «Зингером» круглосуточно витал зловещий дух всемогущего фининспектора, который мог нагряться в любой час дня и ночи и учинить нечто ужасное, непостижимое. Однажды бледная, в холодном поту, она вбежала в нашу комнату со спрятанным на груди отрезом шевиота. Отрез принадлежал заказчику, тетя Валя только-только собралась его раскроить, как вдруг, с высоты своего второго этажа, из окна, выходящего во двор, заметила фининспектора, для конспирации и неожиданности подкрадывавшегося к жертве с черного хода. Тетя Валя схватила противозаконный отрез, сунула его за пазуху и по парадной лестнице опрометью кинулась вниз, к моей маме. У мамы была репутация надежного человека, а кроме того она отличалась понятливостью и быстротой реакции. В мгновение ока выхваченный из-за пазухи отрез спрятали в тайное место, а тете Вале накапали на кусочек сахара сердечные капли. Между тем, кравшийся по двору человек оказался вовсе не фининспектором, а случайным прохожим, решившим справить малую, а может и большую свою нужду на нашей черной лестнице.

В другой раз сюжет с фининспектором и отрезом принял оборот позаковыристей. Во времена моего детства слово «отрез» означало не просто кусок ткани, из которой можно сшить пальто, платье или костюм. Наличие даже одного отреза, а тем более двух, трех, четырех и более, свидетельствовало о степени благосостояния и социальной защищенности гражданина. «Отрез» был валютным эквивалентом, способом сохранения сбережений. Однажды и мы стали обладателями отреза — отрезка добротной дорогой материи.

Кому-то из знакомых сшили пальто. И от драгоценного отреза остался кусочек, ровно такой, из какого можно соорудить пальтишко некропному семилетнему ребенку. Отрезок задешево достался нам, и обрадованная мама заказала тете Вале пальто, в котором мне предстояло пойти в первый класс.

Не успела тетя Валя приступить к работе, как нагрелся фининспектор, на этот раз настоящий, а не мнимый. Проверив содержимое фыряевского гардероба («мой дом — моя крепость» сказано не про нас), «фин» (так называли инспектора в народе), обнаружил наш отрез-отрезок. Пойманная с поличным тетя Валя придумала сказать, будто из этой материи собирается сшить пальто для собственной дочери. Коварный «фин» отрезал уголок ткани и сказал, что через месяц явится снова и проверит, из какого материала в действительности будет сшито пальто для до-

чери. Вот и пришлось из редкостного, чудом доставшегося нам отреза, шить пальто не мне, а Ленке, с которой мы то водились, то ссорились

Со временем тетя Валя возместила ущерб, сшила пальто и мне, но из какого-то плохонького дешевого матерьяльчика, потому что была человеком бедным. И до тех пор, пока я безнадежно не выросла из постылого пальто, а произошло это очень-очень нескоро — тетя Валя-то шила с большим запасом (подол и рукава отпускали не однажды), я ощущала привкус обмана, подмены, надувательства. Вот, мол, вместо замечательного пальто ношу какую-то дрянь! В то время как истинное мое пальто носит Ленка и еще воображает.

А когда семейство Фыряевых переселилось в Черемушки, на улицу имени Гарсиа Хулиана Гримау — деятеля испанского рабочего движения, подгадавшего со своей кончиной к моменту завершения ее (улицы) строительства, в их комнате поселилась роскошная пара. Породистые и элегантные молодые супруги, похожие друг на друга как брат с сестрою, Эдик с Леночкой были чудо как хороши. То ли статные эти брюнеты намеревались строить кооперативную квартиру, то ли «сидели в отказе»... Ясно было одно — это птицы нездешние, перелетные, а незавидное их обиталище временное.

Въехав в комнату Фыряевых совместно, Эдик с Леночкой вскоре расстались и стали жить по отдельности, каждый сам по себе. Квадрат угловой фыряевской комнаты площадью 14 квадратных метров, Эдик с Леночкой разделили по диагонали. Фанерную перегородку, как это было принято прежде среди расстававшихся супругов, ввиду излишней ее фундаментальности воздвигать не стали, ограничили бельевой веревкой и занавеской на кольцах. И стали жить сепаратно — каждый в своем собственном равносоставленном прямоугольном треугольнике со своим личным окном во двор. В каждом из треугольников шла своя собственная дневная и ночная жизнь, со своими друзьями и посетителями.

Возмущив экзотическим присутствием спокойствие нашего патриархального дома, поразив соседей нетрадиционным семейным раскладом, через пару лет после чудесного своего явления, Эдик с Леночкой «покинули пределы», и в комнате Фыряевых поселилась белобрысая Нинка со своим бой-френдом. А так как Нинкина (бывш. Фыряевых, бывш. Эдика с Леночкой) комната располагалась непосредственно над нами, то частенько летними ночами сон наш нарушался, и мы с мужем моим Женей волей-неволей прослушивали очередной Нинкин перформанс, неизменно состоявший из трех, приблизительно равных по времени, частей. Причем Нинкиного бой-френда я ни разу так и не видела, и голоса его никогда не слышала.

Действие начиналось часа в два ночи с эмоционального и продолжительного Нинкиного вступления. Во второй, основной его части, мимо нашего растворенного окна водопадом низвергалось множество предметов. Летели тарелки и мыльницы, лифчики и кастрюли, туфли и юбки, предметы мелкие и предметы крупные. Кое-что повисало на ветвях персидской сирени.

Когда предметы иссякали, наступало третье действие. В полупрозрачной ночной рубашке, шмыгая носом, жалуясь на жизнь, скуля и жалобно матерясь, сна-

чала во тьме, а потом в лучах восходящего солнца, Нинка ползала на четвереньках под нашим окном, нащупывала и собирала свое имущество. То есть промежуток между временем разбрасывания камней и временем их собирания получался наикратчайшим.

В памяти сохранилась тень странного эпизода, похожего на сон: товарищеский суд в интерьере родного ЖЭКа (жилищно-эксплуатационной конторы); я — отчего-то в качестве свидетельницы с Нинкиной стороны; вопрос, ребром поставленный передо мною председателем суда: — Подтверждаете ли вы факт дебошей, учиняемых гражданкой Х совместно с не прописанным на ее жилплощади гражданином Y? — И свой категорический ответ: — Не подтверждаю! — Хорошо еще на Библии или на Законе Российской Федерации не пришлось клясться.

Каким образом малознакомая Нинка вовлекла меня в сомнительную тяжбу — не помню, но догадываюсь, что дело было в чувстве благодарности. Ведь именно она, Нинка, продумала и осуществила судьбоносный обмен комнатами между несчастным Сумароковым и светлой личностью — литератором Майленом. Именно эта женщина освободила нас от щемящего, надсадного, тревожащего душу, совесть и обоняние тягостного соседства.

Однако вернемся к истцам, свидетелям и ответчикам более давнего, довоенного периода. То ответчица, то истица, то член товарищеского суда попеременно, высокая толстуха Ефросинья Чистякова, в 35-м году обзывавшая соседку свою, Бродскую, жидовкой, все долгое мое детство простояла монументом в нише нашего подъезда рядом с низенькой толстушкой тетей Марусей Третьяковой, вдовой другого, давно уже покойного члена товарищеского суда. В подъезде старушки гуляли и наблюдали протекавшую мимо жизнь.

А дочь Ефросиньи, Лина, сразу после войны счастливо вышла замуж за боевого летчика, тихого еврея, с которым и прожила жизнь удивительно спокойно и счастливо. Трогательная пара не расставалась никогда. Обыкновенно массивная (вся в мать) представительная Лина, неторопливо переступая крупными ногами, двигалась по мостовой, а муж ее, худенький человек с усиками, поспешал за женой по тротуару. Таким образом, разница в росте сокращалась на целый тротуарный торец, и Ленин муж оказывался ненамного ниже Лины.

ДВОР И ФЛИГЕЛЬ Не в силах расстаться с сюжетом, всплывшим из глубин памяти и подернутым мелкой, но такой приятной ностальгической рябью, приступаю к описанию двора. Ибо двор наш заслуживает отдельного рассказа. Жаль было бы проскочить мимо, пренебрежительно оставив двор за рамками повествования. Удивительным было уже то, что двор нашего дома под номером пять по Мансуровскому переулку числился одновременно двором дома номер шесть по переулку Еропкинскому. То есть и дом наш, и двор были двулики, к одному переулку повернуты четной своей стороной, к другому — нечетной. Дом № 5/6 — в этой дроби была какая-то загадка...

В описываемые времена двор наш не пустовал. А в теплое время года становился продолжением квартиры. Не нужно было спускаться на лифте (по причине его отсутствия), надевать уличную одежду. Дверь черного хода во все времена запиралась на ночь на крошечный, размером с детский мизинец, кованый крючок чисто декоративного свойства. Днем же не запиралась вовсе. И за долгие десятилетия ни разу не проник в нашу квартиру ни один злоумышленник. В самой квартире подворовывали, это правда, но исключительно собственными силами.

В связи с нашим черным ходом вспоминаю, как однажды, торопясь во двор, распахнула дверь и уткнулась носом в высоченную фигуру в длинной солдатской шинели. Не успела я головы поднять, как шинель распахнулась и взору моему открылось женское тело, крупное, белое, очень худое. И женский же голос произнес: «Помогите погорельцам чем можете, подайте на пропитание!» В ужасе я позвала маму, а какова была ее помощь и в чем она выразилась, теперь уж не помню.

Дворовые реалии то и дело без всякого спроса проникали в нашу квартиру. Окно комнаты № 5 по причине сырого климата в первые же весенние дни открывалось настежь. Куст персидской сирени только это и ждал и сразу же врвался в комнату. На все лето, до поздней осени. Внутри комнаты мощная ветвь и расцветала, и отцветала, и затягивалась осенней паутиной. Ну не изгонять же сирень из дома! И до первых холодов окно оставалось открытым. В него заходили кошки, заглядывали знакомые и случайно забредшие во двор люди.

Над небольшим нашим двором нависал уходящий в поднебесье брандмауэр пятиэтажной цитадели. Площадь его была пожалуй что и побольше всего нашего двора. Брандмауэр не пропускал во двор ни одного солнечного лучика, мы жили в вечной и плотной его тени. Кроме сумеречности, брандмауэр создавал ощущение уединенности и защищенности от внешнего мира. Стена была так надежна, что казалось, будто опасность не грозит нам даже с неба.

Когда-то едва ли не треть двора занимал огромный дровяной сарай, годами хранивший в своих недрах энергетические запасы дома и флигеля. Но провели центральное отопление, и в одночасье, в соответствии с правительственным указом, сарай снесли. На его месте, под сурдинку фестиваля молодежи и студентов, остро нуждавшегося в символах мира, Сашка Гутаков завел голубятню, а некоторые жильцы (из бывших деревенских жителей) огородили заборчиками кусочки земли и засадили их кто чем смог. А после того, как государственные руки дотянулись и до заборчиков, зеленые насаждения одичали, но не зачахли, так что двор продолжал вырабатывать толику кислорода своими собственными силами. Как ему это удавалось в вечной тени брандмауэра — тоже загадка.

Что правда, то правда — двор нашего дома был и маловат и мрачноват, но жизнь в нем протекала точно такая же, что и в просторных солнечных дворах. В начале 50-х, во времена красавицы Альки Хрюковой, во дворе собирались чужие взрослые парни зловещего облика. Пришельцы оснащены были фиксами, кепками, сапогами, длинными черными пальто и белыми шелковыми кашне — непременным щегольским атрибутом тех лет.

Парни приглушенно беседовали, ежеминутно смачно сплевывали и виртуозно сморкались при помощи одного только большого пальца правой или левой руки. При этом дымили папиросками и поглядывали исподлобья на Алькино окошко. Обычных имен у пришельцев не было, их звали: Козел, Барин, Гусак, Топор. Серый брандмауэр, как уже сказано, придавал двору вечно сумеречный колорит, солнце к нам не заглядывало, и встречи пришельцев под Алькиным окном казались загадочными и опасными. Вместе с Алькой исчезли со двора и Козлы с Гусаками.

После того давнего летнего вечера, когда машина скорой помощи, завывая, увезла нашу Альку с хлеставшим из красивой ее груди фонтаном крови, вакансия первой красавицы дома опустела, а через пару лет, за неимением лучшего, даром досталась бледненькой Томке Крошиной — младшей дочери коренастого дяди Паши (хранителя подвального ключа) и кубышки тети Поли (селекционера фикусов и одной из моих многочисленных нянь).

Обыкновенно Тома выходила на улицу не парадным, а черным ходом. Неторопливо пересекая двор, Тома позволяла разглядеть очередной свой наряд. Запомнился один — совершенно необычайный! Оранжевое чешуйчатое Томино одеяние называлось платье-чулок. Добыто было по благу у знакомых спекулянтов и натягивалось на Тому с помощью старшей сестры Шуры. Платье-чулок так плотно облегало Тому и так туго стягивало ее ноги, что ими едва можно было переступить. Оранжевая чешуя переливалась серебром и золотом и требовала от человека змеиной пластики. Тома преодолевала пространство двора японскими семящими шажочками. Ходил слух, будто Тома ради узкого платья и модной в том сезоне походки стягивала ноги выше колен эластичным бинтом. Я—то думаю, это враки.

На Томиной голове увидели мы и одну из первых московских бабетт (прическа, названная в честь героини фильма «Бабетта идет на войну» и представлявшая собой гигантский начес, необратимо уничтожающий женские волосы). Правильные, но слишком уж мелкие черточки небольшого Томиного личика на несколько лет затерялись в войлочной копне. А когда Тома наконец сменила прическу, личико ее было уже не таким юным, а от волос остались одни только серые перышки.

Каждая из шести квартир нашего дома смотрела во двор пятью окнами. Плюс флигель со своими четырьмя. Итого, одновременно во двор смотрело тридцать четыре любопытных окна. Таким образом, жильцы темных второсортных комнат, выходивших окнами в сумеречный наш двор, знали о жизни дома существенно больше тех, кто жил в комнатах светлых, обращенных в переулок.

В теплое время года окна распахивались, жильцы свешивались наружу, комментировали происходящее, вступали в диалоги и споры, давали советы, настаивали на своем, а при необходимости выскакивали во двор. Бытовали полемическая манера общения и грубоватый, без фиглей—миглей, тон. Чтобы докричаться до дна дворового, неглубокого, но все же колодца, жильцам третьего этажа приходилось орать. Поэтому склочность жильцов возрастала пропорционально высоте проживания. И только зимой, когда кричать нужно было через открытую форточку, между двором и домом возникала дистанция.

О подвале дворового флигеля, деревянного здания на каменном цоколе, выстроенного в первой половине XIX века и об отдельных его обитателях, перебранных в городское подземелье со своих малых родин, рассказано выше. И если в подвал вела темная и склизкая лестница, то для того, чтобы попасть в аристократическую (бельэтажную) часть флигеля, нужно было подняться на высокое крыльцо с широкими деревянными ступенями. Эта часть флигеля была отчуждена, холодна и практически недоступна жильцам дома. Мне удалось посетить флигель лишь однажды, хотя сестры Макаровы, в качестве второстепенных членов входившие в нашу дворовую компанию, вместе с дедом, бабкой, матерью и отцом-пограничником проживали как раз во флигеле.

Дед и бабка Макаровы, угрюмые и неприветливые, взрастили под зарешеченным своим окошком прехорошенький садик. Узенькая, тщательно обработанная земляная полоска украшала наш двор. Старики Макаровы воссоздали кусочек родной деревенской флоры — золотые шары, мальвы и турецкий горох. Впрочем, палисадник, принадлежавший нашей квартире и засаженный дикорастущими растениями, ничуть не уступал макардовскому. Наши сорняки были сочными, разлапистыми и неистребимыми. Кроме сорняков, в нашем палисаднике росла, как уже было сказано, пышная и очень живучая персидская сирень, могучая бузина и одно-единственное дерево, заслуживающее отдельного абзаца, а может быть даже двух.

Дело в том, что наш сосед — милейший милиционер Коля Ганин, муж Нюрки Газенновой, никогда не возвращался с ночного дежурства с пустыми руками. А если семье милиционера ночная его добыча не могла пригодиться, ее тут же загоняли незадорого кому-нибудь из соседей по дому. Но вот за саженец австралийского клена, расторопно спертого Колей во время одного из ночных дежурств, никто не давал ни копейки. И пришлось Коле Ганину даром посадить клен во дворе.

Известно, что все краденое великолепно растет. А австралийские клены и без того быстрорастущие деревья. По этой-то самой причине ими и озеленяли Москву в преддверии Первого международного фестиваля молодежи и студентов. Наш клен с лихвою оправдал и свои генетические возможности, и наши российские приметы — в кратчайшие сроки вырос до небес и превратился в мощное дерево.

И могучая бузина выжила после того, как в более поздние времена разъяренный радиожурналист Дима Димерджи, остро наточив топорик для разделки мяса (тот самый, которым замахивался на участкового уполномоченного, явившегося на ночное свидание к Нине, подруге Боброва), изрубил бузину в пух и прах в отместку за то, что ветви куста исцарапали маленькую Маринку, забравшуюся в его гущу. К счастью, богатырские Димины силы, помноженные на отцовскую ярость, к успеху не привели. Бузина пострадала, но выстояла, раны залечила и ущерб, нанесенный мстительным радиожурналистом, восполнила к следующему лету.

Таким образом, ухоженному макардовскому палисаднику с его красивенькими цветочками противостоял наш — дикий, неуправляемый, во главе с австралийским кленом, жизнеспособной бузиной и персидской сиренью. Наш палисадник вырабатывал уйму хлорофилла, побольше макардовского.

Неизвестно, какую такую границу охранял Ляли–Галин отец, пограничник Макаров, но каждое утро длинный и сутулый, в плащ–палатке и фуражке с зеленым верхом он возникал на высоком крыльце флигеля, а мама Макарова, коренастая крошка с распущенными по спине длинными серыми волосами прикивала бледненьким личиком к грубому брезенту, облакавшему фигуру мужа. Выглядело это ежедневное щемящее прощание бесконечно трогательно.

Старики Макаровы (истинной их фамилии никто не знал, двор присвоил им фамилию зятя) командовали безгласной дочерью, зятем–пограничником и двумя внуками, до середины лета безропотно изнывавшими в чулках с резиновыми подвязками, темно–красных вязаных кофтах на вырост и фетровых капорах цвета бордо — чтоб не застудить уши. Лялю с Галей выпускали во двор редко, но всегда с бутербродами, сооруженными из разрезанной вдоль городской (французской) булки, намазанной густым клюквенным вареньем. Ляля с Галей хвалились, что клюкву папка ведрами привозит со своей границы. Хвастались: клюквы на границе — завались, собирай — не хочю. А если чужой забредет, пограничники сразу его пристрелят, не станут разбираться — наш он или не наш. Переваренное клюквенное варенье в точности совпадало по цвету с макаровскими кофтами и капорами, и Ляля с Галей сохранились в памяти девочками цвета бордо.

Здесь же, во флигеле, проживала Ляли–Галина крестная — проводник поезда дальнего следования в черной железнодорожной шинели и форменном берете с эмблемой. Крестная происходила из той же деревни, что дед и бабка Макаровы. Так ее все и звали — Крестная. Одинокая женщина, возвратившись из рейса в узенькую каморку–келейку, запойно вышивала. Стоило Крестной затеять стирку и развесить во дворе белье, как наш серый двор расцветал кармином, ультрамарином, кобальтом голубым и кобальтом зеленым. Все пододеяльники, простыни, наволочки и накидки Крестная украшала венками из васильков, корзинами роз, букетами незабудок, целующимися голубками и кудрявыми вензелями. Вся эта роскошь вышивалась гладью китайскими нитками мулине (дефицитное китайское мулине отличалось от отечественного шелковистостью и переливчатостью).

В стены дома и флигеля прежние поколения жильцов вбили железные крюки наподобие пыточных, инквизиторских. А в каждой квартире имелись свои собственные жерди–мастодонты, из макушек которых торчала пара ржавых гвоздей в форме латинской буквы V — виктория. Победительными этими жердями подпирали бельевые веревки, натянутые через весь двор — от стены дома до стены флигеля. В дни одной большой стирки или нескольких малых двор напоминал парусную флотилию. Убогую, потерпевшую крах флотилию с покосившимися мачтами и потрепанными парусами. Но если стирала Крестная ветер надувал паруса, они сияли, источали озон и отливали небесной и морской голубизной. Крестная была феей вышивки и стирки.

Как–то раз, в лютый мороз, Крестная в очередной раз украсила двор розами и кружевами. Красота мгновенно заледенела. Кто–то из нас, пробегая под веревкой с бельем, ударил деревянной лопаткой по заледеневшей накидке, вышитой

розами с васильками и отороченной кружевами. Накидка зазвенела стеклянным звоном и разбилась на множество разноцветных осколков. Крестная отнеслась к происшествию кротко — вышла с венником и без слова упрека смела в совок осколки роз, васильков и кружев.

Во дворе я совершила единственный в своей жизни обмен, конечно же, неудачный. Мама подарила мне драгоценное рубиновое стеклышко. Стеклышко это она много лет носила в сумочке, дожидаясь, когда же я подрасту. Наконец мама решила, что этот момент настал. Получив чудесное стеклышко, я немедленно вышла во двор и принялась рассматривать сквозь него все подряд: небо, флигель, золотые шары в макаровском палисаднике, нашу бузину. В этот момент забрел во двор случайный прохожий, по виду школьник третьего класса. Пришелец увидел мое стеклышко и предложил поменяться. К этому времени я еще не научилась отказываться от сомнительных предложений, тем более что в обмен на стеклышко предлагалась вещь неплохая, а именно орден Красного Знамени. И мы с пришельцем обменялись предметами.

Когда я предъявила орден дома, родители ничуть ему не обрадовались, более того, рассердились. Во-первых, мама огорчилась до слез из-за любимого своего стеклышка, во-вторых, возмутилась школьником, похитившим боевой орден у отца или деда. Короче говоря, велела немедленно найти владельца ордена и совершить обратный обмен. Но владелец — то уже испарился, навсегда исчез с моего горизонта. В растерянности стояла я во дворе с орденом Красного Знамени на ладони, соображала, куда бы его подевать. Тут на мое счастье выполз из своего подвала Витька Королев, почти взрослый парень. И сразу же предложил мне взамен ордена отличную свинцовую битку. Я радостно согласилась, одним махом избавилась от ордена и обрела неплохой предмет, пригодный для игры в классику. Но маминого рубинового стеклышка жаль до сих пор.

Существует фотография, снятая кем-то, канувшим в Лету, летом 54-го года. На скамье, на фоне не снесенного еще сарая, сидят основные персонажи дворовой компании. За спинами сидящих девочка с короткими косичками и в тюбетейке. Это Верка Крохина — подвальная жительница лет двенадцати. Слева, поближе к своему крыльцу — дочери пограничника в фетровых капорах. Справа Наташка Королева в обнимку с Ленкой Фыряевой и Лидкой Дудаковой.

Наташка Королева единовластно и деспотично управляла дворовым царством, она была старше нас, крупнее, опытнее, игры выбирала по своему вкусу, распределяла роли, устанавливала субординацию, требовала беспрекословного подчинения. Выражение Наташкиного лица не оставляет сомнения в том, что девочка эта владеет ситуацией, а все мы ее вассалы.

Однажды, зимним вечером, в те же приблизительно времена, когда я паслась в Наташкином подвале под присмотром мамы ее, дворничихи тети Кати, Наташка с таинственным видом собрала нас и разъяснила, что с этого дня водиться можно только с теми девчонками, чьи фамилии оканчиваются на букву «а». Остальные — еврейки и могут нас отравить. Вникнув в Наташкино распоряжение, я похо-

лодела — моя фамилия, единственная во дворе, не оканчивалась на букву «А»! Но тут пригодился блат, временная моя принадлежность к подвальному миру. Оборотившись ко мне, Наташка наморщила лоб, подумала и распорядилась, что отныне я буду именоваться Ольгой Азеймановой, чтобы «никто ничего такого не подумал».

Наташкина предусмотрительность не помогла и инсинуации в мой адрес имели место. Причем позволяли их себе не дети, а взрослые. Помогло, как ни странно, другое. Мама моя, воспитанная в интернациональных традициях, бывавших некогда в тех сибирских городах, где довелось ей жить и учиться в детстве и юности, недолго думая, отправилась к строгому участковому уполномоченному товарищу Щербакову и потребовала восстановить в нашем дворе ленинские нормы жизни. И товарищ Щербаков (судя по всем, тоже интернационалист) в тот же день посетил моих обидчиков, нарушителей вышеупомянутых норм, и строго побеседовал с ними. Таким образом, интернационализм в нашем дворе не то чтобы восторжествовал, но слегка потеснил националистические настроения.

В центре фотографии 54-го года маленький Димка в бескозырке, слева от него сестра его Наташа, справа автор текста (девочка с белым бантом и глуповатой улыбкой во всю физиономию). Димка с Наташкой — внуки члена товарищеского суда Матвея Самойловича Азарха. Азархи тоже были аборигенами нашего дома. Вот и с Наташей дружим мы со дня ее рождения, случившегося через десять месяцев после моего. До нашего появления на свет дружили родители наши и тетушки. Добрые отношения сложились некогда между дедушками и бабушками. То есть связи потеснее и покрепче некоторых родственных. Детство Наташино (в отличие от моего) складывалось драматически. Наташина и Димкина мама — пышноволосая и приветливая тетя Нюся умерла, оставив сиротами семилетнюю дочь и четырехлетнего сына.

Женщины нашего дома винили в Нюсиной смерти ее саму — сдержанность ее, неконфликтность, попросту говоря, кротость. Говорили, что если бы Нюся не таила переживания и обиды, не копила бы горечь, а выплескивала ядовитую эту субстанцию — кричала бы, скандалила с мужем и соседями, болезнь не настигла бы ее так стремительно и коварно. О Нюсе горевали все жители дома — добрые и злые, хитрющие и простодушные. И со дня Нюсиных похорон ор, крики, скандалы, перманентно происходившие во всех квартирах, обрели статус профилактических, оздоровительных, полезных для здоровья процедур.

На Нюсины похороны явились все жильцы. Горше всех, всех безутешнее рыдала Нюсина соседка Богаткина, известная дому и его окрестностям как редкостная сволочь. Богаткиных дружно ненавидели все. Одни за сволочизм, другие за чудовищное по меркам нашего дома богатство. Ибо Жан (а именно так и только так звался глава семейства Иван Богаткин) привез с войны вагон трофеев. Одной только мебели у Богаткиных было столько, что пришлось расставить ее по периметру комнаты не в один плотный ряд, а в два. То есть к тем набитым трофейным добром гардеробам, что расположены были у стен, приблизиться не было никакой возможности.

На самом-то деле богатеньким Богаткиным завидовать не стоило, потому что один из трофеев Жана, а именно кожаное пальто-реглан, сыграло в жизни семьи роковую роль. Из-за злополучного кожаного реглана сын Богаткиных Рудик, загремел в лагерь строгого режима. Говорили, будто Рудик отпечатался в зрачках убитой им девушки. В народе существовало мнение, что то последнее, что видит человек перед смертью, навеки отпечатывается в его зрачках. И какой-то мужчина в точно таком же кожаном реглане и белом шелковом кашне, как у Рудика, отпечатался в зрачках мертвой девушки. По этой-то якобы улике Рудика нашли и арестовали.

В отпечатки в зрачках во дворе верили, а в вину Рудика нет. Ходил слух, будто накануне убийства Рудик одолжил трофейный реглан приятелю, а коварный приятель выпросил пальто специально для того, чтобы отпечататься в зрачках своей жертвы в виде Рудика. И вроде бы приятель этот накануне задуманного убийства специально смотался в парикмахерскую на Метростроевской улице, выкрасил волосы в русый цвет и уложил их точно так же, как это делал Рудик — косыми крупными волнами. Богаткинское рыдание на Нюсиных похоронах удивительным образом подействовало на мою маму. Она навсегда переменяла отношение к гнусной бабе и отныне все ей прощала. Что бы ни сотворила Богатиха, какую бы пакость не учинила, мама непременно восклицала: — Да, но как она рыдала на Нюсиных похоронах! — Плач этот стал для Богатихи вечной индульгенцией, не нуждавшейся в обновлении.

Большая часть возникших в тексте персонажей давно сошла с жизненной сцены и сохранилась только в моей мелкотравчатой памяти. Странно, но на смену тем детям, что сидели весной 54-го года на деревянной дворовой скамейке, никто не пришел. К началу 60-х дети с фотографии подросли, а следующие, изредка все же нарождавшиеся в доме, в тесном и темном нашем двореике не гуляли. Двор одичал и обезлюдел, флигель опустел — окна и двери его давным-давно заколотили досками. А вот в самом доме жизнь долго еще теплилась.

Но прошедшей весной, за два года до конца тысячелетия и ровно через семьдесят лет после того, как дедушка мой снял для своей семьи квартиру в Мансуровском переулке, я неожиданно очутилась возле нашего дома. Вовсе не собиралась сворачивать в переулок, торопилась по делам, но неведомая сила изменила маршрут и возле нашего дома я очутилась как раз в тот миг, когда рабочие заканчивали потрошить его внутренности. Более того, именно тогда, когда разрушали белую кафельную печку, одним углом выходящую в нашу комнату, а другим в тетушкину. Печка, давным-давно не топившаяся (хотя ладони помнят тепло блестящих ее изразцов), одушевляла обе комнаты, вроде бы даже защищала Дом от неведомого зла. Печкины изразцы рабочие вышвыривали из окна, прорубленного в ожидании моего рождения и обращенного к «домику застройщика», из того самого окна, глядя в которое я почерпнула значительную часть тех сведений о жизни, которыми на сегодняшний день располагаю. Ну не странно ли, что в последние минуты печкиной жизни я оказалась возле нее? Похоже, это не простая случайность.

1998



О моем отце,
художнике
Алексее
Айзенмане



Горемыки мы все-таки, горемыки.
Горемыки потому, что приходится
расставаться.

Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире

Как хотелось бы думать, что он был счастливым человеком, как легко стало бы на душе. Хотелось бы, да что-то не получается. Потому что любой человек мог бы быть гораздо, гораздо счастливее, если бы близкие люди относились к нему справедливее, если бы не множили только на первый взгляд пустяковые обиды, вроде бы взаимно не придавая им значения, то и дело не ухмылялись саркастически, не придирались бы по мелочам, слушали бы и слышали. Если бы не скупались на похвалы и признания в истинных своих чувствах. Увы, поздновато осеняет очевидная эта истина. А ведь сколько раз призывал нас поэт «жить, во всем друг другу потакая», остерегал и напоминал, «что жизнь короткая такая». Вроде бы и цитировали, и подпевали, а все без толку!

И все же, оставив за рамками этого текста, а также на собственной, многожды отягощенной совести, все горькое и очень горькое, умолчав о всех несправедливостях, всех обидах и всех печалях, выпавших на его долю, будем исходить из того, что судьба моего отца, живописца Алексея Айзенмана, сложилась счастливее судеб множества других художников благодаря нескольким жизненным удачам. То есть речь здесь пойдет исключительно об удачах, ни о чем другом.

Первой и главной удачей отца стала рано открывшаяся ему ослепительная красота окружающего мира. И хоть родился он не в самые пасторальные времена, а именно 3 сентября 1918 года, родители его: присяжный поверенный и поэтически одаренный человек Семен Айзенман и художница Ольга Бари, вовремя открыли сыну сияющее это великолепие. И отца моего, и сестру его Татьяну родители научили не просто любить красоту Божьего мира и замечать ее повсюду, но и ликовать от этой красоты, и ежеминутно ощущать свою сопричастность с нею.

Опасаясь, как бы жизненные реалии при пособничестве чудища по имени Быт не затмили, не закоптили этой красоты, как бы не сожрали сына и дочь с потрохами, родители воспитали детей в ощущении безусловного приоритета Духа, расставили нужные акценты. И сделали это с блеском. Пожалуй, что и перестарались. Естественно, монстр мстил, но до конца своих дней и отец мой и тетюшка, искусствовед Татьяна Айзенман (Семенова), плевали на них, в повседневной жизни довольствовались малым, жили Искусством, Творчеством, Работой.

Итак, родителям своим обязан мой отец главным – обретением удивительного мироощущения, озарившим Живописью всю его жизнь. Красота виделась ему во всем: в облачном небе, в мокром асфальте, в покореженном листе ржавого кровельного железа, в пятнах света и тени на покосившемся заборе (перечень объектов восхищения бесконечен).

Никакие беды, неурядицы, семейные и мировые катаклизмы не могли затмить божественной красоты мира, заглушить звуки его и запахи. Самое гнусное и раздрызганное душевное состояние, любая, самая горькая обида меняли знак только отцу моему выйти на улицу, оглянуться окрест и увидеть небо, сияющее в просветах деревьев. Слова: «ЖИЗНЬ» и «ЖИВОПИСЬ» оказались синонимами. Отец надеялся на живопись, он опирался на нее. За неделю до конца, измученный болезнью, напутствовал ученицу: «Держитесь за живопись, живопись вам поможет!»

С детства сосредоточившись на живописи, в школе отец проучился всего год, в седьмом классе. По случаю поступления в этот один-единственный класс получил в подарок книжечку под названием «Девятьсот пятый год» с напутствием: *«Дорогому Алеше поздравительный подарок к дням его вступления в школу с пожеланиями счастливого плавания и переплывтия, от души Б. Пастернак»*. И успешно переплыв неширокое школьное пространство, отец поступил в Изотехникум памяти все того же 1905 года.

В Изотехникуме «имени памяти» опять повезло – на третьем курсе его отобрал в свою группу «станковистов» давно любимый художник, изумительный пейзажист Николай Петрович Крымов. Слухи о Крымове жили в семье с давних пор, еще со времен «Голубой Розы», и после крымовской оценки студенческих папиных этюдов – У вас в крови чувство пейзажа – отец сразу же очутился на седьмом небе.

В Крымове-человеке обаяние сочеталось с желчностью, юмор с язвительностью, учителем он оказался требовательным, даже суровым, но отец боготворил его всю свою жизнь. Рассказывал: – Часто вижу сон, что я у Николая Петровича, что-то делаю для него, счастливое ощущение быть в его комнате.

Следующей жизненной удачей отца стала встреча с моей мамой. Тут надо отдать должное его интуиции. Ведь знакомство это поначалу не сулило успеха. Просто однажды со всеми живописными причиндалами папа явился в малознакомый дом, чтобы написать портрет ученицы своей сестры, обладательницы изумительного цвета лица и чудесных золотисто-рыжих кос. Заманчивой модели не оказалось дома, и дверь открыла ее кухня, в противоположность сестре бледная и черноволосая. Открыла в кромешной тьме, потому что электричество в тот день отключили.

Несмотря на отсутствие света, отец все же разглядел его в конце тоннеля и мгновенно начал осаду, периодически сменяя ее атаками, поначалу не слишком удачными. Однако обстоятельства были на папиной стороне. Папа жил в полутора минутах ходьбы от маминого института. И куда бы он ни направлялся (к примеру, чинить примус), всякий раз оказывался у порога этого самого института. И стоило маме выйти на улицу, как в пределах видимости тут же обнаруживался папа, то с примусом, то с этюдником и холстом на подрамнике. Его любимыми пейзажными сюжетами стали те, что окружали Институт иностранных языков.

Мама оценила преданность моего отца, вышла за него замуж и сходу включилась в нелегкую жизнь семьи. Сирота 37-го года, повидавшая в жизни всякое, она без труда освоила колючее квартирное пространство и отчасти цивилизовала зловещий быт. Свободная от страсти к изобразительному искусству, не встречав-

шая в прежней жизни людей этого мира, приоритет живописи в жизни мужа мама, тем не менее, признала сразу, как аксиому.

Не приспособленный к жизни, по-детски простодушный, одержимый живописью отец обрел в маме гаранта творческого своего осуществления. В мамином лице он нашел защиту от разрушительных житейских волн, моральную поддержку, физическую помощь и душевный комфорт. Эти редкостные и такие необходимые художнику условия почти полвека обеспечивала отцу моя мама. Художник нуждается в меценате, и в нашей семье, неожиданно для себя, им стала мама.

Сфера живописных интересов отца широка. Он любил Волгу под Казанью, Оку, Прибалтику, Северный Кавказ, Кольский полуостров, короче, все те места, куда забрасывали его обстоятельства. Но во все времена года и во всех обличьях главной его страстью оставалась Москва.

Все здесь восхищало его: центр и окраины, индустриальные районы и спальные. Он умудрялся видеть особенное, острое, выразительное в любом закоулке, в любой подворотне, и писал Город не только с натуры, но и по памяти. Позволял себе роскошь свободных, вольных московских импровизаций. Из такого рода поэтических сочинений и сложилась серия работ под названием «Где-то в Москве». Отец грезил Москвой, мечтал о ней, Москва ему снилась. Есть даже пейзаж под названием: «Мне снился утренний город».

Поэзия Города мерещилась ему в бегемотистых силуэтах ТЭЦ и в жирафообразных башенных кранах, клубилась разноцветными заводскими дымами, человеческими толпами на перронах вокзалов, сутолокой московских рынков. Новостройки виделись причудливыми сталагмитами. Троллейбусы, трамваи, грузовики и легковушки казались живыми существами, торопящимися по своим делам, притупившимися у обочины, вросшими в сугроб.

Отцу казалось, что «силуэты машин и людей особенно выразительны зимой на фоне снега. В этой цветовой и тональной контрастности есть что-то праздничное, бодрящее». Он ценил все праздничное, бодрящее, и кажется, будто в большинстве своем работы написаны в радостном, мажорном настроении, что автор их безудержный оптимист.

И правда, отец умел смотреть на мир глазами ребенка, каждый миг видеть его заново, как бы впервые, а увиденному радоваться и изумляться. Самое удивительное, что настроение это заразительно! Художника уже нет, а давняя его радость, изумление, восторг никуда не делись, пережитые им прекрасные мгновения не исчезли и даже не остановились, они все еще длятся.

Когда-то, вдалеке от Москвы, с аппетитом предвкушая скорую встречу с нею и трепеща, как бы встрече этой что-нибудь не помешало, на листке из клеенчатой папки отец распланировал свое ближайшее будущее:

Если ничего не случится, сразу же, в августе, свежо обежать Садовое кольцо и другие заветные места, поймав и вспомнив намечавшиеся за теи, всколыхнув ход к московским грезам и снам: поэтические нагроможде-

ния утренних и вечерних домов; сумеречные загадочные очарования; страшно преувеличенную лавинность машин (как стадо с огромными «бычками» – автобусами и грузовиками, «коровами» – Чайками и Волгами, и «овечками» – Москвичами и Запорожцами, в неистовом пробеге по ущельям из домов-скал); идеализированную наивную уютность московских дворов; возведенную в замковую торжественность цитадельность домов Старого Арбата; тихую интеллигентность Кропоткинской, ул. Герцена, Воровского, домашность Остоженки...

Отец осваивал Москву на всех уровнях, упивался «небесными спектаклями», с восхода до заката разыгрывавшимися над городом, любовался Москвой сверху, с большой высоты. Рассказывал:

Много лет работаю из окон, с лестничных клеток тех домов, откуда обнаруживаю заманчивые для себя пейзажи. С годами выработалась привычка запросто «проникать» в незнакомые дома. Очень редко встречаются жильцы, проявляющие неприветливость по отношению к зашедшему в их дом художнику.

Он забирался даже на крыши высотных зданий. Но для этого требовались специальные разрешения, и приходилось их добывать. Кстати говоря, до поры до времени специальные разрешения требовались не только для работы на стратегически важных крышах высоток. Вот случайно сохранившееся свидетельство эпохи:

СССР
МИНИСТЕРСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
22 ноября 1949 г. № 255-23 гор.Москва
Действительно при предъявлении
служебного удостоверения

РАЗРЕШЕНИЕ

на право проведения зарисовок

АЙЗЕНМАНУ Алексею Семеновичу – художнику Московского Товарищества художников разрешается производить зарисовки в городе Москве по тематике:

1. Улица Горького от Охотного ряда до площади Пушкина.
2. Площадь Кропоткина (Кропоткинские ворота).
3. Улица Кропоткина.
4. Метростроевская улица.
5. Крымская площадь

Действительно по 1-е июня 1950 года.

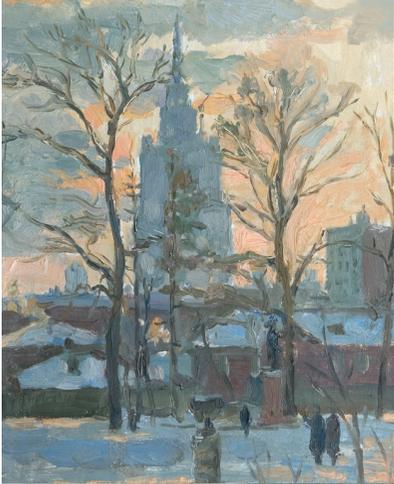
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МГБ СССР Полковник Новик

И все равно папа то и дело попадал в милицию по подозрению в шпионаже. Все, к счастью, заканчивалось благополучно, из отделения звонили в Союз художников, выясняли папину личность, через пару часов отпускали с миром. Однажды и меня чуть было не арестовали вместе с папой. Дело было году примерно в 56-м. Шли мы ранним погожим вечером по Крымскому мосту, папа, как обычно, то и дело останавливался, шалел от закатной красоты, любовался Стрелкой Москвы-реки, делал наброски. Нашел точку, с которой назавтра же, не откладывая в долгий ящик, решил написать пейзаж, и сделал заметку – на одном из серебристых столбиков-растяжек нарисовал карандашом свою фирменную букву «А». Не успели мы пройти десяти шагов от отмеченной точки обзора, как буквально из-под земли, подобно духу моста, вырос человек в серой шляпе с широкими полями и длинном сером плаще и предложил пройти в отделение милиции. Папа не стал спорить и взявшись за руки мы побрели вслед за серой личностью. Но по дороге дядька передумал, может, побоялся, что в милиции его поднимут на смех за задержание малолетней шпионки. Все вместе мы вернулись на место преступления, и под строгим дядькиным надзором папа стер ластиком нашу шифровку, адресованную вражеской агентуре. Перед расставанием серый дядька предупредил, чтобы больше не попадались, пригрозил, что в следующий раз нам уж точно не поздоровится, и мы отправились восвояси. По пути домой папа похохатывал, а я мечтала о том, как задержу настоящего шпиона, которые, судя по всему, развелись в Москве в изобилии.

Разлучаясь с Москвой физически, душевно отец не расставался с ней никогда. Давним летом мы очутились в городе Бердянске. Отец наслаждался жарой, морем, но никак не мог подступиться к бердянскому пейзажу. Не в силах и дня прожить без работы, а не то чтобы полтора месяца, он тут же нашел выход, и на мольберте посреди хаты возникла зимняя Москва – Остоженка в ее устье со знакомыми силуэтами заснеженных деревьев, с виадуком, перекинутым через Крымскую площадь, с круглым вестибюлем станции метро Парк Культуры-радиальная. От холмоватого голубого картона веяло московской зимой, освежавшей душевное, звенящее мухами и пованивающее рыбой бердянское лето. Шагнув в темноватую горницу из пережаренного бердянского дня, около окошка, распахнутого в белую московскую зиму, можно было отдышаться.

Эпицентр московского живописного обитания отца – Кропоткинская площадь. Большая картина, одна из последних, так и называется: «Моя любимая площадь». Между Пречистенкой и Остоженкой прошла вся его жизнь. Здесь же в Полуэктовом (Сеченовском) переулке на четвертом этаже дома № 8 жил Учитель – Николай Петрович Крымов, в этой же местности располагались последовательно мастерские отца, все три. Да-да, к пятидесяти годам отец обрел и это благо – помещение для работы!

В прежние времена, сильно постаравшись, обалдев от многомесячного (или многолетнего) марафона по бесконечным инстанциям, обретя в пути десятки резолюций и неврозов, в случае удачи, художнику удавалось обрести мастерскую!



Алексей Семенович Айзенман (1918–1993)



В саду дома Кузнецовых. Москва. 1946.
Холст, масло



На берегу. Тучково. 1951.
Холст, масло



Высотный дом на площади Восстания. Москва. 1953.
Холст, масло



На Гоголевском бульваре. Москва. 1950-е гг.
Холст, масло



На набережной. Москва. 1950-е гг.
Картон, масло



Весна в Люблино. Москва. 1953.
Картон, масло



Двор на Маросейке. Москва. 1965.
Холст, масло



Московские крыши. 1965.
Картон, масло



Весна на Метростроевской. Москва. 1964.
Картон, масло



Станция метро «Кропоткинская». Москва. 1960.
Холст, масло



Старый тополь на Кропоткинской. Москва. 1971.
Холст, масло



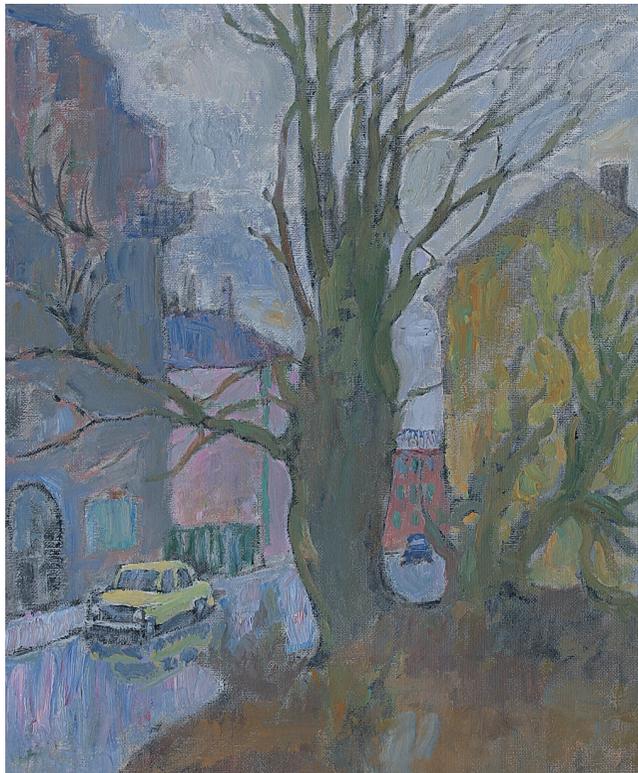
В Потаповском переулке. Москва. 1971.
Картон, темпера



Рождественский бульвар. Москва. 1979.
Оргалит, темпера



Пейзаж с трамваем. Москва. 1989.
Картон, темпера



Знакомое дерево. Москва. 1978.
Оргалит, темпера



У Яузских ворот. Москва. 1981.
Оргалит, масло



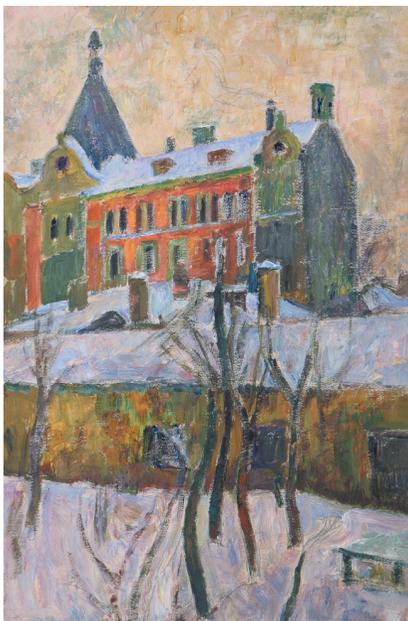
Апрель. Москва. 1981.
Оргалит, темпера



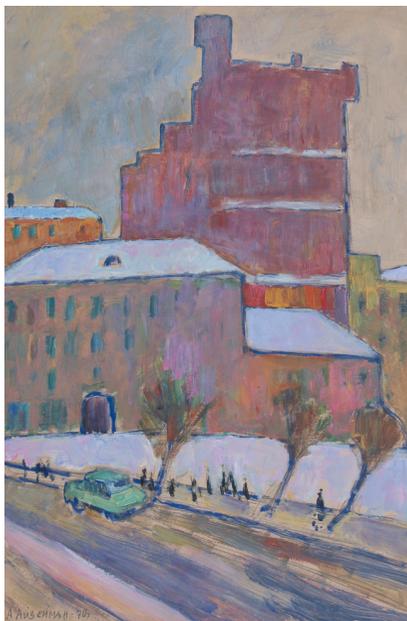
Вид из дома знакомых. Москва. 1980.
Оргалит, масло



В Телеграфном (Архангельском) переулке. Москва. 1971.
Картон, темпера



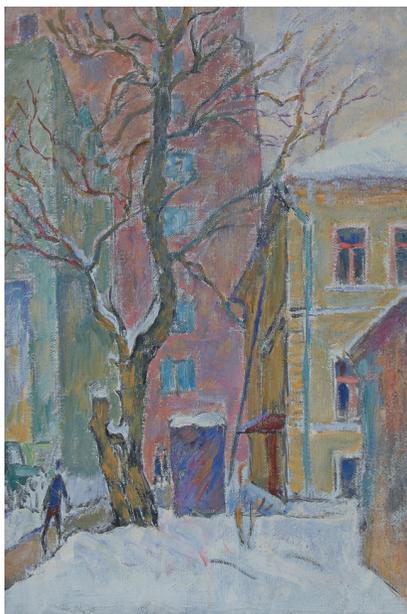
Цитадель. Москва. 1970-е гг.
Картон, темпера



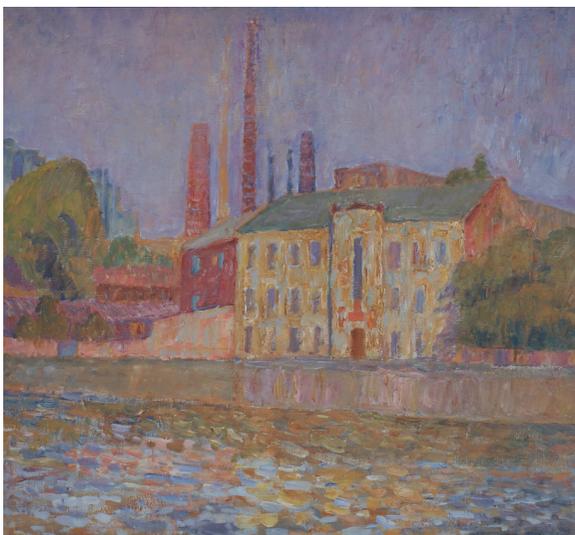
В Театральном проезде. Москва. 1970.
Картон, темпера



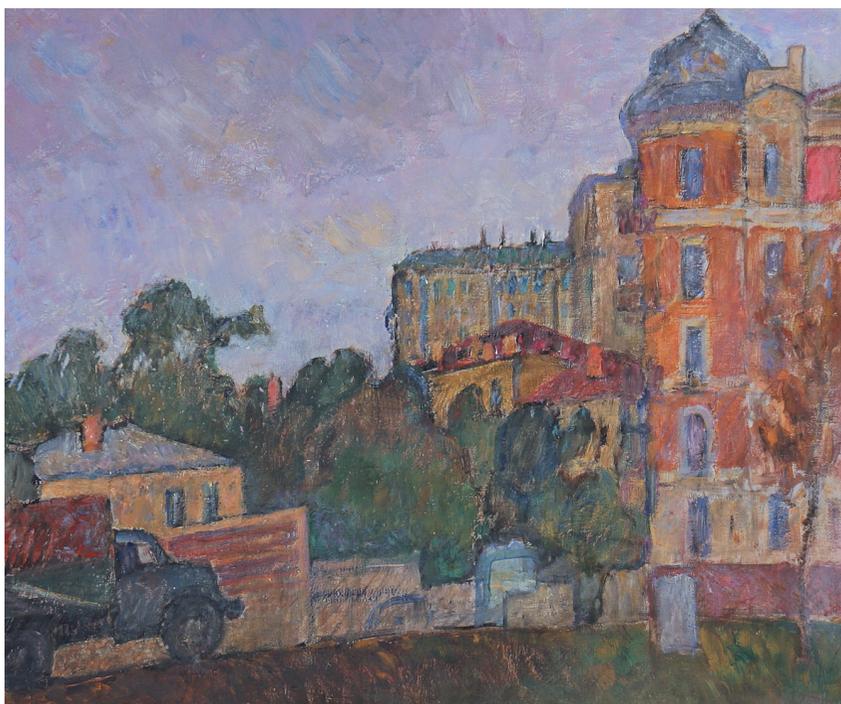
В проходном дворе. Москва. 1980-е гг.
Картон, темпера



В переулке. Москва. 1980-е гг.
Картон, темпера



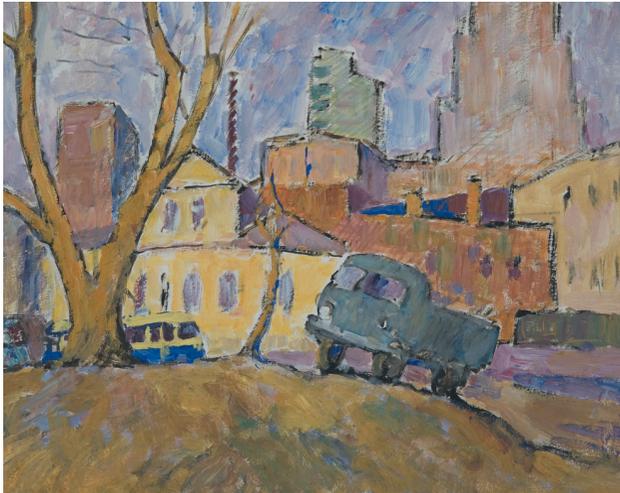
У Москвы-реки. 1980.
Холст, масло



У Кировских ворот. Москва. 1972.
Холст, масло



Моя любимая площадь. Москва. 1991.
Оргалит, темпера



Снова весна! Москва. 1983.
Оргалит, масло

Обыкновенно, помещения эти были отнюдь не художественными ателье наподобие парижских мансард, а сырыми и душными подвалами, в лучшем случае, полуподвалами. Чаще всего в таких помещениях не было дневного света по причине отсутствия окон, ну а если окна существовали, то это уже была роскошь. И вот удача – во всех мастерских отца окна были!

Первая мастерская во Всеволожском переулке помещалась в глубоком подземелье (двенадцать ступенек вниз), однако в маленьких окошках под потолком свет все-таки брезжил. Этот домик сломали, и вторая мастерская, расположенная в уютнейшей двухэтажной пристройке к трапезной Зачатьевского монастыря, оказалась действительно божественной, а самое главное – с настоящими окнами. А когда и эта чудная мастерская свое существование прекратила, отца не вышвырнули на улицу, а дали небольшое помещение по соседству, в Коробейниковом переулке, и тоже с окнами. То есть произошла целая череда удач, и спасибо советской власти!

Семь лет отца моего нет на этом свете, и за время его отсутствия многое в Москве переменялось. Некоторые дома исчезли вовсе, другие обрели новый, неузнаваемый облик, изменились очертания улочно-переулочных берегов, облысели после апокалипсического урагана, пронесшегося над Москвой 20 июня 1998 года, скверики, погибли, казавшиеся вечными, любимые папины деревья. Те, о которых он написал когда-то: «Есть у меня в разных частях Москвы давно знакомые, любимые деревья-«личности». Это старый тополь на Кропоткинской и другой высокий тополь на Рождественском бульваре, при спуске к Трубной площади. С детства знакомы мне тополя и ветлы в Савельевском и Зачатьевском переулках. Когда вдруг оказывается срубленным какое-то из давно знакомых деревьев, я ощущаю почти физическую боль».

Представляю, как изумили бы отца все эти перемены. Снобом он не был, и хотя многое бы его огорчило, а что-то рассмешило, свежие сюжеты и новые ракурсы непременно воодушевили бы. А сколько бумаги понадобилось бы для того, чтобы все это нарисовать! Рисовал-то он непрерывно, и с жадностью. На улице, в любом помещении, в метро, рисовал набросок за наброском, боясь упустить еще одно впечатление, еще одну пейзажную или жанровую ситуацию, еще один сюжет.

Войдя в вагон метро, деловито проходил в его торец, вставал поустойчивее (ноги на ширине плеч), и раскрывал клеенчатую папку. Обыкновенно граждане вели себя кротко, конфликтов с моделями не возникало. То же происходило в магазине, на почте, в ближайшей сберкассе, ставшей для отца едва ли не тренажерным залом. Ощувив внутренний зов, утром, днем, вечером, он внезапно собирался и отправлялся туда на часок порисовать, подзарядиться энергией. Отец мой, проживший в любом, самом неожиданном месте (иногда и на разделительной полосе, посреди проезжей части), стал привычным для местных жителей лицом. Название книги Генриха Белля «Город привычных лиц» казалось ему исчерпывающе точным. Он жил среди привычных лиц и сам был им для своих земляков, пречистенско-остоженских аборигенов.

Ну, а для того, чтобы понять глубину еще одной жизненной удачи отца потребуется отступление, и довольно длинное. Мало кому из художников удастся зарабатывать на жизнь кистью, не приспособившись к чужим вкусам, не идя наперекор самому себе. Общеизвестно, что большинство художников живопись кормит плохо или не кормит вообще. Однако всем художникам без исключения требуются кисти, краски, еда и даже питье. Так что стабильный заработок, не мешающий творческому процессу – извечная мечта любого художника. И к тому времени, когда проблема эта разрешилась для моего отца наилучшим образом, за плечами его уже была довольно мучительная одиссея. Среди прочих был в трудовой его биографии и такой, растянувшийся на годы, томительный эпизод – работа в портретно-копийном цехе. Коротенькая справка (отступление внутри отступления), касающаяся этого чудовищного феномена социалистической жизнедеятельности, любопытна в качестве еще одного свидетельства «прекрасной эпохи».

Портретно-копийный цех устроен был по образцу производственного цеха. Каждый день, под аккомпанемент заводских гудков (а в те времена московские заводы по утрам гудели!), художники являлись в цех, вставали за мольберты и под присмотром «бригадиров», приступали к опасной для творческого здоровья художника работе – к копированию. Целыми днями, а перед художественными советами и по ночам, художники писали не что-нибудь, а портреты прежних и нынешних вождей, а также членов Политбюро, всех поголовно. Портретов требовалось великое множество, ведь именно ими украшали улицы и площади страны Советов в дни революционных торжеств. И ни одно советское учреждение, ни одна школа, и ни один кожно-венерический диспансер не смогли бы обойтись без продукции папиного цеха.

Кроме портретов вождей изготавливались в цеху и копии наиболее актуальных живописных полотен кисти лучших советских художников, достоверно запечатлевших эпизоды из жизни все тех же персонажей. К примеру: «В.И. Ленин в Кремлевском кабинете», «Ходоки у Ленина», «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов на прогулке в Кремле». Эпохальные, значительные сюжеты слегка разбавлялись другими, просто любимыми народом и полезными для его душевного здоровья. Большею частью брутально-патриотическими «Три богатырями», душещипательным «Иваном-царевичем на сером волке» и трогательной «Аленушкой». Пришлось и отцу моему поднатореть в копировании портретов и полотен.

Мучительный трудовой эпизод пришелся на годы борьбы с космополитизмом. Многие наши знакомые и родственники оказались тогда без работы, а вот отца моего напасть эта обошла. То есть нужда в портретах вождей была так велика, что для их производства годились даже безродные космополиты. В этот период папе особенно удавался образ Лаврентия Берии, он, как говорится, набил на нем руку.

Тут-то отец мой и мог пропасть как художник, навсегда увязнуть в копийной тине-паутине (что, увы, и произошло со многими его товарищами). И чтобы уцелеть, не свихнуться от чудовищной работы, каждый обеденный перерыв отец раскрывал этюдник и писал из окна копийного цеха очередной пейзаж. Эти чудес-

ные маленькие этюды, обеденные глотки кислорода, неплохо сохранились сами и сохранили в моем отце художника.

И опять отцу повезло – неожиданно времена переменялись, борьба с космополитами как-то заглохла, и мама вернулась на свою прежнюю работу. На следующий же день после этого радостного события отец подал заявление «по собственному желанию» и расстался с копийным цехом.

Итак, возвращаюсь к началу лирического отступления. Учебное заведение, о котором пойдет речь, сыграло в жизни отца спасительную роль. Более семидесяти лет существует в Москве Заочный народный университет искусств, сокращенно ЗНУИ. И в прежние времена человек любого возраста, с каким угодно образованием (хоть с двумя высшими, хоть с одним начальным), или вовсе без него, проживавший в любом, самом захолустном уголке, но ощутивший порыв, зов, желание заняться тем или иным видом искусства, за мизерные, скорее символические деньги, мог потребность эту удовлетворить. В те времена Заочный университет состоял из нескольких факультетов: музыкального, театрального, фотографического, а в нашем случае, факультета изобразительного искусства. Любому гражданину: горожанину, сельскому жителю, солдату срочной службы, инвалиду, прикованному к кровати или коляске, офицеру из дальнего гарнизона, заключенному, отбывавшему срок в тюрьме или в колонии, подростку и старушке, на склоне лет впервые взявшей в руки карандаш, Заочный университет дарил новую жизнь.

Ежемесячно, год за годом, самодеятельные художники присылали в университет свои работы, а художники профессиональные, назначенные им в учителя, отвечали ученикам подробными письмами, анализировали достоинства и недостатки присланных работ и давали такие советы, которые могут дать одни только профессионалы. Полный курс факультета изобразительного искусства рассчитан был аж на шесть лет, и результаты бывали потрясающие. Случалось, за несколько лет люди перерождались, меняли судьбу.

Около ста художников одновременно (живописцев, графиков, скульпторов, ювелиров, керамистов, модельеров и т.д.) составляли штат факультета. А учащихся одновременно же собиралось тысяч до пятнадцати. Тюками приходила в университет ежедневная почта. Если кто-то из педагогов прежде знал географию страны нетвердо, то работа в ЗНУИ этот недостаток компенсировала в кратчайшие сроки.

Удивительная работа позволяла художникам: во-первых – не выходя из собственного дома или мастерской, нести культуру в народ, а во-вторых – зарабатывать на жизнь благородным делом, не нанося ущерба собственному творчеству. Разумеется, о больших заработках речь не шла, но на хлеб хватало. Заочный университет стал для многих и многих московских художников спасительной гаванью. Кто только не работал в ЗНУИ за семьдесят лет его существования! Не избежали его даже такие антиподы, как Роберт Фальк и Борис Иогансон, стоявшие у истоков учебного заведения.

В процессе многолетней переписки между учителями и учениками завязывались удивительные отношения. Московскому педагогу писали о том, о чем невозможно рассказать близким людям, советовались о самом главном. Письма учеников с описанием житейских коллизий более всего похожи на исповеди. Нетрудно представить, что значило для человека, живущего в дальнем поселке (лагере, военной части, инвалидном доме), одинокому среди вовсе не понимающих его людей, ежемесячное уважительное письмо из самой Москвы.

Письмо московского педагога, напечатанное на солидном бланке с внушительной типографской шапкой, производило впечатление и на самого адресата и на окружающих (родственников, соседей, начальников, командиров). А главное, кроме профессиональных советов и рекомендаций, оно полно было искреннего сочувствия, внимания и человеческого участия. Традиции ЗНУИ были таковы, что на долгие годы здесь задерживались только качественные, добрые люди. Остальные проходили сквозь решето и исчезали в тумане. Для них работа эта была обременительна и скучна.

Тридцать пять лет преподавал в ЗНУИ мой отец, работой своей дорожил, увлекался ею, ценил ее необычайно и добросовестен был до крайности. Благодаря этой работе, не отвлекаясь на халтуру, он мог заниматься главным делом жизни – Живописью. К счастью, всем необходимым для работы в ЗНУИ отец обладал изначально: добротой, педагогическим талантом, литературным даром, жадным интересом к жизни и к людям, ко всем без исключения. Более того, умел восхищаться людьми и ценить их индивидуальность. Педагогическая работа не обременяла отца, она не только не мешала собственной его живописи, но таинственным образом способствовала ей. Отец утверждал, что и сам постоянно учится у своих учеников.

Свой день отец укомплектовывал плотно, делил его между мольбертом, пишущей машинкой и блужданиями по городу, о которых написал однажды:

Мое излюбленное «лакомство» это шагать по Москве с папкой, делая наброски, быстрые. Это неуголенная возможность ОТКРЫВАНИЯ новых для меня пейзажей. Откровенно говоря, мне не так уже хочется объехать земной шар, как успеть обойти Москву, в разных концах которой наверняка «притаились» еще не открытые мною пейзажи.

Кстати говоря, замечательный скульптор Иван Ефимов шуточно упрекал друга своего и соседа, художника Владимира Фаворского: *Фаворский! Ты гуляешь мало. Ты хороший художник, а гуляешь ты, как плохой художник.*

Москвичи, жители Подмосковья и ближайших областей не присылали бандеролей с работами, а привозили их сами. Так называемая очная группа собиралась дважды в неделю, по вечерам, в Потаповском переулке, в уютнейшем, похожем на катакомбы подвале со сводами XVII века. Вечерние эти сборища более всего напоминали творческий клуб, сообщество интересных друг другу людей. А педагог был эпицентром этого сообщества, его ментором и доброжелательным судьей.

Все вместе рассматривали работы, обсуждали их, а если по ходу дела возникала необходимость в экскурсах, углублялись в неожиданные и увлекательные дебри. Отцу было, что сказать ученикам! К концу вечера никто не чувствовал себя усталым, обиженным или исчерпанным, все были бодры, воодушевлены, взаимно заряжены творчеством и добрым отношением друг к другу. Отец принадлежал к тем людям, чья человеческая и профессиональная щедрость, вроде эстафетной палочки, передается из руки в руку и из души в душу.

Нужно сказать, что среди учащихся Заочного университета встречались люди удивительно талантливые и самобытные. Некоторые давно уж стали музейными художниками, классиками наивного искусства, не слабее Руссо и Пиросмани, вот только по-русски не раскрученными. Были такие и среди учеников отца. Заметить уникальный талант, деликатно отнестись к нему, помочь раскрыться, а главное – не погубить, не нивелировать, все это требует от педагога проницательности, такта и редкостных человеческих качеств.

Ну а если ученик обладал не столько талантом, сколько душераздирающей судьбой, что требовалось от педагога в этом случае? В таких случаях отец не считал возможным ограничивать общение перепиской. Если учащийся-инвалид находился хотя бы в относительной досягаемости, отец регулярно навещал его. Добирался с пересадками, на электричках и автобусах, погружался в чужую, немислимую по трагизму жизнь, глубокой ночью возвращался потрясенный и начинал действовать.

Теребил местную власть, являлся ко всяческим председателям и секретарям, ошарашивал их напором и страстными речами, бомбардировал звонками и письмами. И добивался-таки участия и конкретной помощи. Горкомы-исполкомы не выдерживали папиного натиска, помогали больному заброшенному человеку. К примеру, устраивали выставку, публикацию в местной прессе, оказывали материальную и медицинскую помощь, и в результате, оказавшись в центре внимания, человек воодушевлялся, обретал друзей, получал жизненный заряд и преображался.

Завязывались эпистолярные отношения с командирами частей, в которых служили ученики-солдаты, с начальниками лагерей, где отбывали сроки ученики-заклученные. В те времена письмо из Москвы производило сильное впечатление, в просьбах редко отказывали, и у московского педагога была реальная возможность помочь своему ученику. Этот шанс отец использовал всегда.

Кроме писем, высылались по разным адресам бандероли с ленинградской акварелью и кисточками, с книгами по искусству и лекарствами. Случалось, по просьбам учеников писались умиротворяющие письма взбунтовавшимся мужьям и женам. Деятельностью такого рода занимались все педагоги ЗНУИ, потому что жалели людей и хотели хоть чем-то помочь им. Дистанцироваться от чужих судеб, сохранять безразличный нейтралитет было и невозможно, и как-то не принято. И поэтому с окончанием курса обучения человеческие связи не обрывались, а преобразовывались в дружбы, в длившиеся десятилетиями переписки.

Существовала в ЗНУИ еще одна форма преподавания – выезд педагога на семинары. Центральный дом народного творчества (ЦДНТ) финансировал семинары в самых разных географических точках, а педагоги заочного университета эти семинары проводили. Самодеятельные художники, прибывавшие из медвежьих (и не медвежьих) углов, собирались в каком-нибудь доме отдыха или пансионате, с утра до ночи рисовали, задавали бесконечные вопросы и приобщались к искусству (теперь это называется «методом погружения»). Отец обожал такие поездки и, благодаря им, побывал в разных краях. С аппетитом соединял приятное с полезным. К примеру, на семинар во Владивостоке отправился поездом, а не самолетом, чтобы насладиться долгим путешествием, проехать сквозь всю страну, полюбоваться ею из окон вагона и главное – порисовать.

Кроме удач глобальных, наподобие факта рождения у близких по духу родителей (что, увы, случается не так уж часто), обретения замечательной жены и удачного трудоустройства, в жизни отца случались удачи помельче, но тоже очень важные. И тут надо отдать должное не то чтобы советской власти, но кое-чему такому, что существовало только при ней, то ли благодаря ей, то ли вопреки. Благо это называлось Домом творчества.

Совершенно бесплатно, за счет Союза художников, два месяца в году художник, не думая о хлебе насущном, мог только работать (рисовать, писать, лепить). Его кормили, поили, предоставляли спальное место и мастерскую, и все это на свежем воздухе в каком-нибудь чудном уголке. Разумеется, по окончании райской жизни спрашивали отчет о проделанной работе, но к этому времени художник и сам стремился показать то, что он там понаделал за два месяца, и со своими товарищами, и с сановным художественным начальством – проверяльщиками из Москвы, торжественно, с помпой, прибывавшими в конце «срока» «принимать заезд». В Домах творчества художники приходили в себя, вспоминали, для чего они родились на свет, а по окончании двухмесячного блаженства принимались мечтать о его повторении.

Конечно же, прежде чем получить путевку в Дом творчества, приходилось поволноваться, потрепетать. Но наступал день, когда отец забывал обо всем на свете (в том числе и о ЗНУИ), упаковывал холсты, картоны и краски и отправлялся в Дом творчества, где занимался одним только главным своим делом – ЖИВОПИСЬЮ. Любимейшим местом стала Таруса. Десять месяцев в году он мечтал о двух осенних или весенних месяцах в Тарусе. И в Тарусе, наслаждаясь Тарусой, писал не столько Тарусу, сколько, по своему обыкновению, Москву.

И еще удача на грани чуда – явившись на свет веселым, доверчивым и приветливым человеком, вопреки историческим, бытовым и человеческим пропискам, отец умудрился таким и остаться – доверчивым, приветливым и веселым! Так и не стал удручающе взрослым, назидательным, угрюмым. Среди засилья угрюмых, назидательных и взрослых навек сохранил детскую восторженность, простодушную готовность к радости и удивлению. И на людей смотрел не то чтобы сквозь розовые, но через какие-то лучезарные очки. Видел их не в кривом зерка-

ле, а в таком, которое не только не замечает разного рода уродства, внешние и внутренние, но по ходу дела еще и исправляет их.

Казалось, будто всегда и везде его окружают одни только первоклассные, талантливые, добрые люди. Вроде бы злыдни разного калибра: завистники, злопыхатели, хамы, подлецы – большая редкость. Если живописная его работа предусматривала непременно отбор самого важного, единственно нужного из всего окружающего многообразия, то и в людях отец замечал только то, что было ему по душе. Конечно же, время от времени встречались персонажи-исключения, но только такие, которые подтверждают правила.

С уходом отца картина мира существенно переменялась. Изменился ее колорит – поскучнел, потускнел, стал значительно холоднее и потерял прежнюю упругость. Поубавилось в пространстве разноцветных искр: импровизаций, изумленных возгласов, смешных стишков и куплетов. Видно, не достает ему (пространству) какого-то благотворного витамина, жизненного тонуса отца, творческого его азарта, вечного удивления, без которого не бывает, просто не может быть Художника. Похоже, отец от рождения владел той главной мудростью, на обретение которой полагается потратить целую жизнь, а, обретя, не успеть ею воспользоваться. А папа этой мудростью владел изначально, и каждый Божий день запросто употреблял по назначению.

Когда-то, по привычке записывать дела, наблюдения, свои и заинтересовавшие его чужие мысли, на случайном бумажном клочке он сформулировал нечто, подобное манифесту: *Неповторимость зримого мира. Никогда не утоляемая тяга к встречам с природой в ее поразительном разнообразии состояний. Беспредельное извлечение красоты из обыденности.* То есть всю жизнь отец следовал совету своего учителя, Николая Петровича Крымова, считавшего, что в интересах живописного дела не следует суетиться и метаться в поисках красот, нужно просто-напросто «искать золото под ногами». Иными словами:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Коричневая плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.



О маме



Если этапы жизни семьи моего отца запечатлены в целом ворохе бумажек, оставшихся от всех времен и всех семейных перипетий, то о жизни маминой семьи свидетельств немного: десяток фотографий, пачка почтовых открыток, несколько ветхих бумажек и две справки: одна, почти истлевшая, с расплывшимися чернильными буквами и выцветшей печатью — о смерти бабушки, и свежая, новенькая, напечатанная на принтере — о дедушкином расстреле. Между справками расстояние в шестьдесят лет, а между смертями ровно год, день в день.

Дедушка мой, Фауст Львович Дасковский, родился в селе Бурынь Курской губернии 20 июля 1883 года, по старому стилю 2 августа. Из сохранившегося черновика анкеты, которую заполнял дедушка для поступления на работу, известно, что окончил он пять классов гимназии, в царской армии не служил, не служил также ни в Белой армии, ни у дашнаков, ни у грузинских меньшевиков, ни у муссаватов, ни в белозеленых отрядах, ни у Махно, ни у Петлюры, ни у Гетмана, а также не имел отношения к басмачеству. Однако проживал в городе Белгороде, на территории, временно занятой белыми и до революции служил управляющим на сахарном заводе Воскресенского.

Судя по художественным открыткам, отовсюду посылавшимся сначала невесте, а потом жене, бабушке моей Рахили Исааковне Спиваковой, при царском режиме дедушка много разъезжал по служебной надобности и часто наведывался в Москву. Но стоило произойти октябрьскому перевороту, как он сразу же начал расплачиваться за предыдущую свою жизнь, за службу у сахарозаводчика.

Вот эпизод раннего маминого детства: летний Курск, площадь, стенд с длиннейшими списками «лишенцев». Принятая в 1918 году первая советская конституция в ст. 7 декларировала, что «эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти», и определяла круг лиц, которые «не избирают и не могут быть избранными». А конституция 1924 года отнесла к разряду «лишенцев» не только тех, кто использует чужой труд или живет на «нетрудовой доход» ныне, но и тех, кто был таковым до революции. Таким образом, лишение избирательных прав по политическим и экономическим мотивам существовало в стране с 1918 по 1936 годы. В списке этих людей оказался и мой дедушка.

Еще курский эпизод, более поздний. Снова летняя площадь, наверное, та же самая. Дедушка арестован, а бабушка узнала, что в этот день мужа ее должны из одного тюремного здания перевести в другое. Вместе с младшей дочерью — малолетней моей мамой, бабушка пришла сюда, чтобы увидеть мужа, взглянуть на него издали. Терпеливо ждали и дождались — из здания, расположенного с одной сто-

роны площади, вышел дедушка в сопровождении двух конвоиров и прошел через площадь в другое здание, симметричное первому. И был в жизни семьи недолгий, странный, почти счастливый период, когда дедушка только ночевал в тюрьме, а днем работал в городе и иногда забегал домой.

Мало веселого помнила мама о своем детстве. Одно из немногих светлых воспоминаний: весенний день то ли в Курске, то ли уже в Харькове, старший брат Лева возвращается с ярмарки и приносит младшей сестре горсть глиняных бирюлек — крошечных тарелочек, чашечек, кувшинчиков, птичек. Если и случались в детской маминной жизни другие счастливые события (а они наверняка случались), то сопутствовавшие детству и последовавшие вслед за ним скитания и несчастья, напрочь стерли радостные воспоминания.

В Курске мама прожила дошкольное свое детство. Из Курска перебрались в Харьков. Из Харькова — в Новосибирск, поближе к отцу, сосланному в Колпашево, столицу Нарымского края. Из Новосибирска — в Томск. В Томске семейство оказалось уже без матери. Бабушка моя в это время лежала в клинике имени Скворцова–Степанова, в Ленинграде, у Ивана Петровича Павлова. Увы, трагическая жизнь сломила бабушку, ее настигло тяжкое психическое заболевание, она впала в глубочайшую депрессию и умерла сорока шести лет от роду.

Есть фотография, сделанная в июне 1936 года. На фотографии восьмой класс Новосибирской школы № 50 (а в общей сложности за десять школьных лет, меняя адреса и переезжая из города в город, маме пришлось сменить девять школ). Мама моя в центре группы, в среднем ряду. Выглядит она на этом парадном, заранее запланированном фото, странно, одета небрежно — воротничок блузки, выпущенный поверх джемпера, смят и перекошен, взгляд отсутствующий, нездешний. А дело в том, что этот июньский день стал для мамы одним из самых горьких остановившихся мгновений жизни, и фотография зафиксировала это мгновение.

Как уже было сказано, бабушка лежала в клинике доктора Павлова, и Иван Петрович сам курировал ее лечение. И шло оно вроде бы успешно, брезжила надежда на бабушкино выздоровление, на скорое ее возвращение домой. Но в феврале 1936 года Павлов умер, надежда рухнула, и в этот самый июньский день пришло известие, что домой бабушка не вернется.

Глядя на фотографию, мама всякий раз вспоминала, как пришла в тот день в школу, раздавленная и оглушенная страшной вестью. Как все уже приготовились фотографироваться. Как подруга ее Оля Лысяк (так на последующие шестьдесят три года, до самой своей смерти, маминной подругой и оставшаяся) выбежала ей навстречу, схватила за руку, втащила в центр группы и заставила сфотографироваться вместе со всеми. И еще моя мама вспоминала о том, как за год до этого июньского дня, еще в Новосибирске, она, полная надежд, провожала свою маму в Ленинград, в знаменитую клинику, как вернулась с вокзала домой и с ужасом обнаружила чисто вымытые соседкой по квартире, влажные еще полы. А ведь всем известна верная примета: если человек уезжает из дома, пусть даже ненадолго, то в этот день ни в коем случае нельзя ни подметать, ни мыть полы в квартире. А если

вымести или вымыть следы уехавшего человека, то человек этот может и не вернуться. И зачем, для чего эта соседка, конечно же, зная страшную примету, вымыла после бабушкиного отъезда пол в их общей квартире?

Бабушка умерла 29 января 1937 года. 19 декабря того же года арестовали дедушку, а 29 января 1938 года его расстреляли. Ровно через год после смерти жены. Последнего своего ареста дедушка ожидал, всех его сослуживцев к этому времени уже арестовали, на свободе оставался он один. Почему—то надеялись, что после 12 декабря 1937 года — дня выборов в Верховный Совет СССР, аресты прекратятся. Однако мистическая надежда не оправдалась. Уже после ночного обыска, перед самым своим уходом, в дверях, дедушка обернулся к семнадцатилетней дочери и грустно порадовался: «Хорошо, что мамы нет».

Решили, что передачи в тюрьму будет носить Иза, выглядевшая подростком. Старшего брата Леву следовало поберечь, он и так вел себя героически — наотрез отказался отрешиваться от репрессированного отца и был изгнан из комсомола. А для того, чтобы предупредить о случившемся сестру Татьяну, жившую с новорожденным младенцем в пригороде Томска, маме моей на следующий день после дедушкиного ареста (в целях конспирации не утром и не днем, а поздним декабрьским вечером) пришлось поехать в глухой незнакомый поселок, не зная адреса, чудом отыскать сестру и запретить ей появляться в городе.

Однажды мама чуть было не встретилась с дедушкой. На удивление симпатичный следователь по фамилии Кожевников, к которому маму провели бесконечными тюремными коридорами, разрешил передать дедушке запасные очки взамен разбившихся, и пообещал, что прямо сейчас, сию минуту, устроит свидание с ним. К несчастью, в этот самый момент привезли новую партию заключенных, началась суматоха, и Кожевников пообещал устроить свидание в следующий раз. А когда в назначенный день мама пришла в тюрьму снова, оказалось, что и сам Кожевников арестован.

Передо мной последняя весточка от дедушки, написанная корявыми крупными буквами—инвалидами, тупым синим карандашом. Конечно же, ни письма, ни самой короткой записки дедушка прислать не мог. Последняя весточка — это всего лишь доверенность. Вот ее текст: *Настоящим доверяю моему сыну Льву Фаустовичу Дасковскому получить причитающуюся мне зарплату и оплаченные билеты «Займа Обороны Страны». 21/XII 37 г.* Ниже полустершаяся треугольная печать «Томский сектор УНКВД». Чувствуется, что писал доверенность полуслепой измученный человек. Что произошло за эти два дня и две ночи с моим дедушкой, что к этому моменту он уже претерпел, и что ему претерпеть предстояло? Последний дедушкин почерк ничуть не похож на четкую компактную графику открыток, которые он отовсюду посылал бабушке. Доверенность сохранилась потому, что деньги по ней получать не стали. И по странным законам времени должно было пройти более шестидесяти лет прежде чем скорбный документ, в следующем уже веке, всплыл из жалких останков семейного архива передо мной, внучкой — теперь уже ровесницей деда. Недлинная фраза из—за крупных близоруких букв (по-

нятно, что очки дедушкины уже были разбиты, и можно догадаться при каких обстоятельствах) не уместилась на тетрадном листке, дописывать пришлось на обороте. И случилось так, что этот незначительный документ стал последним посланием, отправленным дедом со своего крестного пути длиною в сорок дней. Удивительно, но ветхий листок, содержащий минимум информации, сохранил дедушкину муку и еще нечто такое, что трудно сформулировать, но можно ощутить.

Весной 38-го года мама узнала о дне и часе, когда где-то, то ли на окраине, то ли в пригороде Томска, родственникам заключенных сообщат приговоры, вынесенные их близким. Собралась толпа. Ждали долго, но закончилось все быстро. Всех впустили в просторный двор, вынесли трибуну, на нее вскарабкался человек со стопкой бумажных листков. Сначала он перечислил фамилии людей (по маминим воспоминаниям десятка полтора, не более), получивших небольшие сроки. А потом зачитал длиннейший список и остальным собравшимся: женам, мужьям, детям, отцам и матерям, сообщил один общий приговор: «остальным — десять лет без права переписки». Как выяснилось впоследствии — шифр расстрела. И в результате этого приговора, спустя пятьдесят восемь лет, в наших с мамой руках оказался документ:

06 декабря 1996 г. № Д-23/10-11-2441

Уважаемая Изольда Фаустовна!

На Ваше заявление сообщаем, что согласно документов архивно-следственного дела значится Дасковский Фауст Львович, 2 августа 1883 года рождения, уроженец с.Бурынь Утинского уезда Курской губернии, начальник базы снабжения спортобщества «Динамо», проживал в г. Томске по ул. Тверской, 59, кв. 3, был арестован 19 декабря 1937 года и необоснованно обвинен как «участник контрреволюционной шпионско-диверсионной террористическо-повстанческой «Польской организации войск» по ст. 58-2, -6, -8, -9, -10, -11 УК РСФСР.

Постановлением НКВД СССР от 14 января 1938 года был приговорен к ВМН — расстрелу. 29 января 1938 года приговор приведен в исполнение в г. Томске. В настоящее время в бюро загс Советского района г. Томска направлено извещение для регистрации смерти, откуда Вы получите свидетельство о смерти отца.

Дасковский Ф.Л. реабилитирован 8 апреля 1958 года военным трибуналом Сибирского военного округа, определение № 425.

На момент ареста в состав семьи входили:

сын — Дасковский Лев Фаустович, 22 года, студент 3 курса Томского индустриального института;

дочь — Дасковская Татьяна Фаустовна, 23 лет, домохозяйка;

дочь — Дасковская Изольда Фаустовна, 17 лет, учащаяся 10 класса.

Все проживали в г. Томске по ул. Тверской, 59, кв. 3.

Начальник подразделения А.Д. Захаров

К сведению читателей: 58–2 — подготовка вооруженного восстания и захвата власти; 58–6 — шпионаж; 58–8 — терроризм; 58–9 — диверсии на железной дороге; 58–10 — контрреволюционная пропаганда; 58–11 — участие в контрреволюционных заговорах и организациях.

Мама моя, прочитав страшный документ, не заплакала, а вздохнула с облегчением. Обрадовалась, что миновали дедушку этапы и лагеря, обрадовалась тому, что дедушкины муки не растянулись на годы, а закончились через сорок дней после ареста.

Обретением этого документа мы обязаны Марине Поливановой. Марину пригласили в город Томск на торжества памяти ее деда, философа Густава Густавовича Шпета. В этот город Шпета сослали (и некоторое время он преподавал в Томском университете), там же арестовали, а 16 ноября 1937 года расстреляли. И когда выяснилось в случайном разговоре, что и моего деда арестовали в том же городе, Марина предложила узнать о его судьбе. В культурном университетском Томске в начале 90–х издали книгу «Боль людская», посвященную памяти людей, репрессированных в 30–е, 40–е и 50–е годы. Раскрыв ее, Марина сразу же обнаружила фамилию моего деда.

Марина побывала там, где погребены тела расстрелянных, теперь это мемориальное кладбище, и привезла фотографию этой местности. В тюрьме дедушки наши не встретились, разошлись во времени (Густава Густавовича убили накануне ареста Фауста Львовича), но погребены они, надо думать, неподалеку друг от друга. По Марининой просьбе сотрудник Томского «Мемориала» Николай Кандыба помог нам обрести трагическую справку, успокоившую мою маму. Большое ему спасибо, ведь на наши запросы ответов из Томского ФСБ мы не получали.

Со дня дедушкиного ареста начались одинокие мамины скитания и мытарства. Из дома ее вышвырнули (брат с сестрой давно уже жили отдельно), имущество семьи конфисковали. Случившееся так оглушило маму, что десятилетия спустя она не смогла ответить на мой вопрос: — А где и на что ты жила после ареста дедушки?

Мама немного помнила об этой зиме, о весне. Вспоминала только, что когда в июне 38–го окончила школу, день этот, для кого–то радостный, для нее оказался грустным — не с кем было поделиться этим событием, никто за нее не порадовался. Так случилось, что ни брату, ни сестре дела до нее не было. Впрочем, маме повезло. Ведь и ее могли арестовать, и она могла пройти тот ужасающий путь, которым прошли и на котором погибли тысячи тысяч ее ровесниц.

К собственному изумлению мама с легкостью поступила в Томский мединститут (ведь она с детства мечтала стать врачом), но проучилась всего семестр. Выяснилось, что детям репрессированных родителей учиться разрешается, но стипендии и общежития им не полагается. Зато всем без исключения стипендию давали на десятимесячных курсах немецкого языка при Томском педагогическом, и мама поступила туда. Хотя в школе немецкий язык ненавидела, и в страшном сне не могло ей привидеться, что он станет ее профессией. Но выбирать не приходилось, де-

лать было нечего, мама сосредоточилась, окончила курсы и получила распределение в среднюю школу шахтерского города Прокопьевска.

А все мамыны однокурсники, молодые врачи, девочки и мальчики (за исключением одной только маминной подруги Лиды Змиевой, рано вышедшей замуж и родившей дочку), сгинули на войне. В самом страшном ее начале мамин курс выпустили досрочно и отправили на передовую.

Мама прожила в Прокопьевске всего год, а в начале лета уехала в Москву, поступила в Институт иностранных языков и поселилась в семье тетки, сестры матери. Татьяна Исааковна Спивакова и муж ее, Наум Наумович Зислин, не побоялись приютить мою маму — дочь репрессированного человека.

При поступлении в московский институт судьбу отца мама утаила, воспользовалась тем, что числилась некогда на иждивении матери и вписана была в ее паспорт. Мама легко сдала все экзамены, кроме последнего, самого страшного — немецкого сочинения. Сочинения мама боялась ужасно и не сомневалась в провале. Когда в день злосчастного экзамена абитуриенты пришли в аудиторию, обнаружилось, что свежевыкрашенные столы еще не просохли. Пришлось доставать из портфелей газеты и стелить их на липкие столешницы. Вот и мама моя поступила так же.

Объявленные темы ужаснули маму. В одной из них предлагалось проанализировать значение Горького для советской литературы. Мама приуныла, понурилась, но постепенно зрение ее сфокусировалось на газете, постеленной на липкий стол. Оказалось, что на газетном этом листе напечатана статья о роли Горького в советской литературе. Маме оставалось только перевести ее на немецкий язык, что она с успехом и сделала. А следующим летом началась война.

Кстати говоря, до шестнадцати лет маму звали не Изольдой. Она была просто Изой, есть такое еврейское имя. Но когда мама пришла в райотдел милиции получать паспорт, начальник паспортного стола категорически отказался признать существование этого имени и своей властью переименовал маму из Изы в Изольду.

Чтобы не упустить и не позабыть то немногое, что известно о семье бабушки Рахили Исааковны, придется попятиться во времени. Спиваковы жили в черте оседлости, в местечке Тростянец Сумского уезда. История семьи перенасыщена трагедиями. Прадед служил по торговой части, но однажды его ограбили, украли казенные деньги, и Исаак Маркович впал в глубочайшую депрессию. В соответствии с какой-то передовой для того времени медицинской методикой или просто в порядке эксперимента прадеду сделали пункцию спинного мозга, но так неудачно, что его необратимо парализовало. И на целых пятнадцать лет, до самой своей смерти, остался прадедущка Исаак в таком горестном состоянии на руках прабабушки Софьи Борисовны.

Старшая дочь Рахиль прожила мучительную жизнь и отчасти повторила судьбу отца. Сын Матвей восемнадцатилетним мальчиком умер от разрыва сердца, спасаясь от погони. Второй сын, Борис, и жена его Мария погибли в Мариуполе, в оккупации, а их единственный сын, мамин ровесник и друг детства, летчик Марк

Спиваков — в воздушном бою. Дочь Полину (в замужестве Лебединскую), внуку Шуру и пятилетнего правнука Марка расстреляли в Харькове, в Дробицком Яре.

В октябре 41-го пришла телеграмма с сообщением о том, что все они: Поля, Шура и Марк едут в Москву. Но последний поезд из Харькова пришел без Лебединских. Со слов несостоявшихся их попутчиков вся семья уже сидела в вагоне, когда на вокзал прибежала невестка тети Поли, красавица Алла — русская жена сына Бориса, сапера-фронтовика, и напористо уговорила и без того сомневавшуюся свекровь остаться в городе. Зачем она это сделала, для чего ей понадобились родственники мужа — неразгаданная загадка. По рассказам соседней по дому Шуры удалось однажды выбраться с тракторного завода, из гетто, она пришла к Алле и умоляла ее переправить Марка в деревню к старым надежным друзьям. Была еще такая возможность, и были люди, успевшие ею воспользоваться и спасти детей. Алла в просьбе отказала, позволила Шуры вымыть голову и выпроводила из дома.

Узнав о гибели родных и о том, что после освобождения Харькова Алла уехала с немцами, офицерский свой аттестат Борис Лебединский стал высылать моей маме. А после войны женился на львовской девушке Анне, чудом пережившей войну в лесах, настрадавшейся, уцелевшей, но потерявшей всех родных. Отца ее и братьев выдали немцам то ли польские, то ли украинские крестьяне. И в конце 50-х, благодаря довоенной принадлежности Львова Польше, Борис с Анной и сыном Соломоном уехали в Израиль и поселились в Иерусалиме. По слухам, строительная специальность Бориса пригодилась, он был востребован и благополучен, но на исторической родине прижился плохо, иврита толком не выучил, тосковал по России. А однажды, в начале 70-х, в радиопередаче «Где-то вы теперь, друзья-однополчане?» какой-то фронтовик призывал откликнуться своего друга, капитана саперных войск Бориса Лебединского.

Война нанесла огромный урон семьям Спиваковых и Дасковских. Дедушкины братья и сестры с чадами и домочадцами погибли в тех украинских городах и местечках, где жили до войны. Прабабушка Софья Борисовна Спивакова скончалась в 42-м одновременно с дочерью Полиной, сыном Борисом, мариупольским внуком-летчиком, харьковской внучкой, маленьким правнуком и другими близкими и дальними родственниками. Но не в гетто, а в эвакуации, в больнице уральского поселка Дегтярка.

Но маму мою Господь хранил. Еще в самом начале войны, когда тетушка настаивала на мамином отъезде в Мариуполь, туда, где жила и вскоре погибла семья Бориса Спивакова, покладистая мама, к собственному удивлению и изумлению окружающих, взбунтовалась, разрыдалась и категорически отказалась уезжать. Вместо Мариуполя вместе с бабушкой поехала на Урал, в Свердловскую область, в поселок Дегтярка Ревдинского района (теперь это город Дегтярск). И переехала к себе из Ижевска кузину Нелли, эвакуированную туда со школой в самом начале войны.

Путешествие за Нелли в город Ижевск осенью 41-го года было непростым предприятием. С боем прорываясь на переполненный пароход, мама, выглядев-

шая моложе своих двадцати лет, упирала на то, что едет за ребенком. Это производило впечатление. Совсем девочка с виду, а уже мать! Возвращались мама с Нелли на том же пароходе, с теми же попутчиками. — Где же ваш ребенок? — спрашивали попутчики. — Да вот он! — указывала мама на статную девушку с чудными бронзовыми косами, выглядывшую крупнее и представительнее тщедушной в те времена мамы, Нелли — то как раз и выглядела двадцатилетней. Эффектную Нелли окружили восхищенные военные, но мама стояла на страже, обеспечивала сохранность и абсолютную неприкосновенность сестры. Во всеуслышание объявила, что сестре ее всего четырнадцать и категорически прекратила намечавшийся флирт. Конечно, Нелли возмутилась и обиделась, но зато мама выполнила стоявшую перед ней задачу.

В Дегтярке мама с Нелли поселились в семье славной женщины, в доме на опушке соснового бора. Нелли училась в школе, мама работала в местном архиве. Оказалось, что у старинной чертежной кальки, захламлявшей помещение архива, батистовая основа. Сотрудницы размачивали древнюю кальку, кипятили ее, и регенерированный батист обменивали на молоко. А еще в Дегтярке у мамы открылся талант гадалки. Приходили соседки, за гадание расплачивались молоком, а иногда даже яйцами. И в результате мама, приехавшая в Дегтярку с открытой формой туберкулеза, вернулась в Москву выздоровевшей, с зарубцевавшимися кавернами. Оказывается, сосновый воздух и молоко самые необходимые для излечения туберкулеза компоненты. Таким образом, в эвакуации, не догадываясь об этом, мама попала в санаторные условия.

Уберегла судьба маму и от большой беды. Семья хозяев, коренных уральских жителей, состояла из кладовщицы дегтярской шахты Марьи Ивановны, старшей и любимой дочери Тоси — семнадцатилетней красотки, не слишком красивой, но доброй и работающей Магдалины — девочки четырнадцати лет, и восьмилетнего Володи. Старший сын Марьи Ивановны, Аркадий, воевал. Маму с Нелли поселили в комнате Аркадия, на первом этаже двухэтажного дома. Первый этаж, огород и «стайка» за огородом — все это принадлежало Марье Ивановне. Стайкой на Урале называют хлев, и, стало быть, в стайке жила кормилица — корова.

Хозяева оказались гостеприимными людьми, эвакуированных девушек встретили приветливо. Кроме мамы и Нелли у Марьи Ивановны квартировал еще лейтенант Володя из формировавшегося в Дегтярке танкового полка. И у Володино друга Саши, тоже лейтенанта, завязался с красавицей Тосей пылкий роман. Марья Ивановна бурно протестовала, ссорилась с Тосей, уверяла ее, что Саша женат, грозились лишить наследства и выгнать из дому, запирали в комнате, отбирала одежду. Естественно, мама помогала Тосе, почти ровеснице, одалживала единственный приличный костюм, выпускала на свидание через окно своей комнаты, на рассвете впускала обратно.

Между тем наступило лето 43-го года, москвичи начали возвращаться в столицу. Нелли получила вызов первой, со дня на день ждала его и мама. И в один из последних дегтярских маминых дней случилось несчастье с лейтенантом Воло-

дей, тем самым, что квартировал у Марьи Ивановны. Володя учил солдат разряжать гранату, неудачно выдернул чеку, граната взорвалась, и в муках, по дороге в госпиталь, Володя скончался. Марья Ивановна пришла в отчаяние, расплакалась и сказала маме: — Чувствую, не увижу я больше своего Аркадия /старшего сына/. Знаю, он погиб.

А на следующий день у Марьи Ивановны пропала корова. Обыкновенно корова паслась самостоятельно и с наступлением темноты дисциплинированно возвращалась с выгона в свою стайку. Но на этот раз не вернулась. Магдалины в Дегтярке не было, вместе с классом она уехала на торфяные разработки. Остались дома четвером: Марья Ивановна с маленьким Володей, Тося и мама. Всю ночь и еще день Марья Ивановна понапрасну прождала корову. В двух шагах от дома стеной стоял настоящий дремучий бор, корова могла заблудиться, ее могли задрать волки.

На рассвете следующего дня в мамину комнату постучали, и Марья Ивановна попросила запереть за нею входную дверь. Мама вышла в коридор и спросонья увидела на фоне открытой двери, в контражуре, женскую фигуру в желтом репсовом платочке, том самом, который сама она и подарила Марье Ивановне. Дверь закрылась, мама ее заперла и побрела досыпать. А Марья Ивановна отправилась в лес искать корову. Через несколько часов явился посланец с шахты. На шахте Марья Ивановна заведовала съестными припасами, но на работу в этот день не вышла. Мама знала, в кармане какого халата лежат ключи от кладовки, и отдала их посланцу.

Марья Ивановна не объявилась ни в этот день, ни в следующие. А вот корова нашлась — сама вернулась. Через день после исчезновения Марьи Ивановны мама заглянула в хозяйскую комнату и в широкой материнской кровати увидела Тосю с Сашей. Но отчего-то кровать поменялась местами с платяным шкафом. Мама перепугалась, спросила Тосю, что же будет, когда мать вернется. — Да ничего не будет! — беспечно и весело ответила Тося.

Тем временем по поселку прошел слух, будто по лесу бродит женщина в желтой косынке, определенно не в себе. Подразделение солдат отправили на поиски, обшарили местность — безрезультатно. Вызвали Магдалину, из дальнего поселка приехали сестры Марьи Ивановны. На Урале существует поверье, будто бесследно пропавшего, потерявшегося человека нужно отпеть в церкви. И если он жив, то после отпевания непременно вернется. Марью Ивановну отпели, но она не вернулась. Тося с Магдалиной поделили имущество. Магдалине досталась материнская шуба, кое-какой домашний скарб, и со всем этим добром она перебралась жить к теткам. Дом, корова и маленький братец остались Тосе. Неожиданно, среди лета, Тося попросила маму помочь ей истопить громадную русскую печь. Зимой в этой печи хозяева и белье кипятили, и еду готовили, и даже мылись, а летом пользовались времянкай.

К концу августа мама получила вызов из института, пришла пора отправляться в путь (ближайшая к Дегтярке железнодорожная станция называлась «Ка-

пралово»). Погрузили вещи на подводу, стали прощаться. Тося так радовалась за маму, так нежно с нею прощалась, что растрогала маму до слез. Возвращение в Москву и самой ей казалось небывалым счастьем. А поздней осенью Нелли получила письмо от одноклассницы, и в письме рассказ о развязке дегтярской драмы.

Итак, вскоре после маминого отъезда соскучившаяся по дому Магдалина приехала навестить сестру и брата. Но особенно соскучилась Магдалина по корове, которая прежде была на ее попечении. Приехала и сразу же отправилась в стайку. Тося плохо заботилась о корове, хлев запустила. Магдалина взяла лопату, принялась чистить хлев и обнаружила присыпанное землю корыто. А в корыте — разрубленную на куски Марью Ивановну.

На следствии обнаружилось, каким хладнокровным, коварным и физически сильным человеком оказалась хрупкая тоненькая Тося. И каким страстным!

Марья Ивановна всегда спала вместе с маленьким сыном. В ту самую ночь, когда в доме остались четверо, Тося осторожно перенесла брата в смежную комнату, вернулась, зарубила топором спящую мать, проделала ряд последующих ужасающих процедур, а утром ей хватило сил инсценировать уход Марьи Ивановны на поиски пропавшей коровы. Спросонья мама и голос Тосин приняла за голос Марьи Ивановны, и фигура ее в дверях почудилась. На самом же деле Марье Ивановне принадлежал один только желтый репсовый платок. А шкаф пришлось передвинуть потому, что кровь брызнула на стену. И печь Тося решила протопить для того, чтобы прокалить топор, удалить следы крови.

Во время следствия открылось, что лейтенант Саша, как и чувствовала Марья Ивановна, и вправду женат, что у него двое детей, а от Тоси он категорически отказался. Свидетели показали, будто Тосе во всем помогала эвакуированная девушка-жиличка из Москвы. Плохи были бы мамыны дела, если бы не Тося, заявившая, что сделала все совершенно самостоятельно, а если бы москвичка вздумала помешать, то зарубила бы и ее. К счастью, мама в ту страшную ночь крепко спала.

Тосю осудили на десять лет. Приговор смягчили, потому что дядюшка лейтенанта Саши, большой военный чин, организовал чьи-то показания о том, что убиенная Марья Ивановна имела обыкновение ругать советскую армию. Тося не пережила Сашиного отречения, разорвала на полосы юбку и удавилась в тюремной камере. А старший сын Марьи Ивановны, Аркадий, не погиб на войне, остался жив и вернулся в Дегтярку. Но с матерью, как и предчувствовала Марья Ивановна, не встретился.

До двадцати шести лет мама скиталась по чужим домам и углам, сначала с семьей, потом в одиночестве. И уже в Москве, когда случалось ей брести по вечернему городу, мама смотрела на разноцветные окна, представляла, как, должно быть, уютно живется за ними людям, и мечтала о своем собственном окне. Мечта эта казалась ей фантастической.

Но в 1946 году мама вышла замуж. Свадьбы не было, просто сложила вещишки (набралось их всего—то полчемодана, да и то только те, что купили в складчину институтские подружки) и на троллейбусе «Б» вместе со свежеиспеченным му-

жем минут за двадцать доехали по Садовому кольцу до Зубовской площади, а оттуда не более семи минут до нашего Мансуровского переулка. Так что за полчаса мамина жизнь переменялась, и теперь ей стало рукой подать до института. В семье тетки маминому замужеству не обрадовались, к отцу моему отнеслись скептически. — Не знаю, Иза, — сказал маме дядя Наум, — будут ли у тебя маленькие дети, но большим ребенком ты себя обеспечила.

Выйдя замуж, мама обрела пристанище, но пока еще не окно. Семья мужа жила в двух смежных комнатах, в одной из которых для молодой семьи выгородили восьмиметровое жизненное пространство. В выгороженном пространстве имела дверь, но не окно, свет брезжил из-под потолка, из-за перегородки. Свое собственное, теплое, светящееся по вечерам окно появилось через два года, перед самым моим рождением. Не хотела мама растить ребенка в вечных сумерках и добилась разрешения пробить окно в кирпичном брандмауэре нашего дома.

Поселившись в семье мужа, неленивая мама мгновенно включилась в нелегкий коммунальный быт. После войны он навалился особенно яростно, и семейное хозяйство упрощено было до крайности. И действительно, кухонно-коридорное общение с квартирными нашими шариковыми с их уголовными повадками и хамскими выходками хотелось свести к минимуму. Это потом уже мама приручила соседей, освоила квартирное пространство, и я не чувствовала себя чужой на дремучих ее просторах. Короче говоря, с маминым появлением у семьи отца появился шанс хотя бы отчасти укротить быт. Маму не пугала ни вечная борьба с керогазом, ни бельевые баки, ни дежурства по квартире, ни плотное общение с гегемонами. Она и не такое видывала.

Жизнь преподала маме науку общежития, научила строить отношения с людьми разных профсоюзом. В мамином общении с самыми разнообразными персонажами не было и тени фальши. В ее характере напрочь отсутствовали спесь и высокомерие, но присутствовало столько интереса к людям, живого участия и желания помочь, что люди сразу же ощущали качество и объем ее душевных ресурсов. В мамином представлении о человеческом общении на первом месте стояли сочувствие и действенная помощь.

И дружила она с женщинами удивительными. Нельзя сказать, что благодаря маме сквозь жизнь нашей семьи прошли люди редкостных душевных качеств. Они не прошли сквозь нее, а сплелись с нею. Многие из них были на поколения старше мамы. Что, в контексте раннего маминого сиротства, не удивительно. И она преданно заботилась о своих старших подругах до конца их жизней. А друзьям позднейших призывов мама была верна до конца своих дней.

И хотя всю свою жизнь мама была оплотом семьи и опорой друзей, сама она жила, по выражению Анны Андреевны Ахматовой (услышанном и записанном тетушкой моей Татьяной 23 февраля 1957 года), «оглушенная шумом внутренней тревоги». Этим неизбывным и мучительным свойством мама обязана драматическим, нестабильным, а порой и трагическим обстоятельствам детства и юности. Запас нервной, физической и психической прочности на весь свой век человек полу-

чает в детстве. От чего зависят объем его и качество? От условий жизни? От воспитания? От доставшихся ему генов? Ресурс, отпущенный ей, мама использовала правильно и израсходовала его полностью. Она мужественно справилась с обстоятельствами, грозившими заблокировать судьбу и перекрыть все пути, выучилась, создала семью и обеспечила ее существование. Про запас, для себя, для собственного комфорта сил нервных и психических не оставила ни капли. Уровень маминой тревожности во много раз превышал норму (если таковая существует) и изнурял ее. Повышенная ее уязвимость требовала от близких людей особого отношения.

Увы, но вошедшую в дом мою маму семья отца встретила настороженно. И правда, мама принадлежала к иному кругу, чем тот, в котором вырос отец. Мало ли чего можно было ожидать от этой провинциальной сироты из совсем другого, чужеродного мира. Удивительно, отчего у близких, любящих людей так плохо обстоит с интуицией? Со здравым смыслом? С терпимостью? Но с другой стороны, как было догадаться, что маму послал моему отцу сам Господь Бог?

Вовсе не обладая крепким здоровьем и большим запасом физических сил, мама безропотно, как само собой разумеющееся, взвалила на себя все заботы, сопутствовавшие жизни семьи. Работая на полной ставке в своем институте, параллельно вела языковые группы в нескольких НИИ, давала частные уроки, уставала до изнурения, до обмороков. И при такой нагрузке, используя любую паузу, умудрялась много читать.

А еще в детстве моем и отрочестве мама увлеченно вышивала, потому что всю жизнь испытывала потребность в творчестве. Привлекали ее исключительно крупные формы. Всякая мелочь, вроде салфеток и воротничков, маму не интересовала. Она вышивала огромные скатерти и щедро дарила их окружающим. А потом увлеклась вязанием. Страстно погрузилась в эту стихию и связала сотни изумительных, небанальных, творческих вещей. Все созданные (а не просто связанные) ею вещи оказывались неповторимыми, уникальными. Вязала мама, как уже было сказано, с азартом и с таким пылом, что одела в свои произведения множество родственников, знакомых и даже полужнакомых людей. А в последние годы вновь принялась за вышивание. Я бесконечно дорожу неожиданными по композиции, сложными и тонкими по колориту мамиными вышивками. Работы эти более всего похожи на живопись, хотя утилитарно это всего лишь подушки. Что-то важное зашифровано в странных, иррациональных изображениях — временами фигуративных, иногда абстрактных.

Последняя вышивка не окончена. В отличие от предыдущих композиций на этот раз мама задумала жанровый и вроде бы банальный сюжет — лодку с фигуркой, пересекающую водное пространство, плывущую к домику замысловатой архитектуры, виднеющемуся на дальнем берегу. Мама вышила домик, небо, склоны, лодку и фигурку. А самое важное — воду, оставила напоследок. Придумала, как будет ее вышивать, подобрала нитки множества сложных оттенков и с нетерпением и азартом, знакомыми каждому художнику, предвкушала этот этап работы. Но до воды дело не дошло, для воды сил не осталось, пластическую свою идею ма-

ма осуществить не успела. Иголка с вдетой в нее синей ниткой так и осталась воткнутой в канву.

Обстоятельства жизни сформировали маму таким образом, что вообразить ее в состоянии бездействия, ничегонеделанья невозможно. И когда в ее юности (в уже московские, но еще довоенные времена) кто-нибудь изумлялся Изиному трудолюбию, тогда еще живая мамина бабушка Софья Борисовна объясняла: — Никакая Иза не трудолюбивая, если б она могла, то ничего бы не делала, просто у нее другого выхода нет. — Выхода действительно не было, и в более поздние, послевоенные, студенческие годы, кузина ее Нелли, студентка МГУ, удивлялась: — Легко же учиться в вашем институте, если ты можешь одновременно картошку чистить, стирать и к экзаменам готовиться.

Трудовая мамина эпопея, развернувшаяся по второму заходу уже после ее выхода на пенсию, заслуживает отдельного отступления. Прослужив тридцать лет в своем институте, к изумлению сослуживцев оставив должность заведующей кафедрой, мама ушла с работы. Первое время давала частные уроки, недостатка в учениках не было. Но наступил предел ее педагогического терпения. — Больше о преподавании думать не могу! Устала! — сказала мама. — А работать буду.

С трудовой книжкой, в которой вписано было одно-единственное место службы, мама принялась искать работу по душе и за несколько лет испытала себя в разных областях и обстоятельствах. Всюду ее принимали с радостью и отпускать не хотели. Превосходно справляясь с любыми обязанностями, мама не прикипела душой ни к работе страхового агента, ни к должности кассира в книжном магазине «Дружба», не почувствовала себя на своем месте в ларьке «Спортлото», в химической лаборатории, в районной библиотеке, а также на других, уже позабытых мною службах. Но неожиданно нашла свою нишу — нашу родную районную поликлинику. И проработала в ее регистратуре целую эпоху (да еще какую — с 1982 по 1999 год), то есть полных семнадцать лет. Несмотря на скромную должность, мамин статус в этом лечебном учреждении был высок. Не погрешу против истины (так как знаю об этом от ее сослуживиц и сослуживцев — медицинских сестер и врачей, относившихся к маме с уважением и нежностью), если скажу, что мамино присутствие в этом казенном и не слишком приветливом учреждении украсило, смягчило и облагородило его. Дружбой и даже приятельством с мамой гордились, ей исповедовались, а советы ее высоко ценились.

Возвращаясь же в давние годы, нельзя не посоветовать, что бабушка с дедушкой спасительности маминого явления в папиной жизни не ощутили. Да и можно ли их за это упрекнуть? Тетушка — то моя, Татьяна, прекрасно поняла это со временем, а бабушка с дедушкой не успели оценить жизненной удачи сына-художника. А ведь могло сложиться иначе. На парном портрете 46-го года две женские фигуры в интерьере: Танина — стоящая, и мамина — сидящая, обе написаны с поразительным сходством и большой любовью. В Таниных руках книга, вероятно, она читает вслух, а мама (и дедушка с бабушкой, на картине не изображенные, но в комнате, несомненно, присутствующие), слушают. В доме холодновато — Та-

ня прислонилась спиной к кафельной печке, мама сидит на диване, накинув на плечи зимнее пальто. Портрет чудесный — из серии остановившихся мгновений.

Тане, человеку блестящему, а при желании и неотразимому, ничего не стоило покорить маму. Девушка из иной среды, оказавшаяся в кругу московской художественной интеллигенции, мама, хоть и робела, но радовалась семье мужа. Увы, новые родственники не помогли ей преодолеть стеснительность и прочие, неизбежные в этой ситуации комплексы, поспешили дистанцироваться от новорожденной семьи, посеяли зерна, из которых произросли отчуждение и обида. Проиграли все: бабушка с дедушкой, нуждавшиеся в простой житейской заботе и человеческом тепле — именно в том, чем с избытком могла и хотела поделиться с ними моя импульсивная, активно добрая мама; папа, обреченный на метания между женой и родителями, перепады отношений с любимой сестрой; мама, с погребенной под лавиной нестареющих обид, разрушенной мечтой о семье мужа, как о своей родной; тетушка, и сама страдавшая от собственного, временами колючего нрава и покореженных ненужными испытаниями семейных отношений; я, сначала малолетняя, но постепенно подраставшая свидетельница и участница семейных перипетий.

Разумеется, ни скандалов, ни грубостей, ни запальчивых сцен в семье не случалось, но бывали угрюмые молчания, отчужденные взгляды, мамины слезы. К счастью, глобального зла взаимные обиды и корявости не породили. А главное, несмотря на эти ненужные испытания, родители мои оценили друг друга, сроднились, срослись и за прожитые вместе сорок семь лет жизни о встрече своей ни разу не пожалели.

Пятнадцать лет нет на свете отца моего и тетушки, семь лет, как ушла мама, идет время, которое, по слухам, лечит, но я пока не ощущаю его благотворного воздействия.



Со стороны отца
Взгляд со своей колокольни



Смутный детский эпизод — вечер накануне давнего, когда-то нового года — начало череды немногих собственных и множества чужих воспоминаний, дверца в изобилующий тупиками и навечно замурованными нишами лабиринт.

Елка наряжена не в нашей крошечной комнатке, а в просторной комнате бабушки, дедушки и тетушки моей Тани. Дрожащие на неощутимом сквозняке язычки елочных свечек лакают теплый комнатный воздух, пахнет стеарином и хвоей. Поблескивает в углу белая кафельная печь, высокая, до самого потолка. Но и в помине нет благостного предновогоднего настроения — это чувствую даже я в свои неполные пять лет.

Мы с мамой возле елки, в области света, а бабушка, дедушка и Таня остаются в сгустившемся комнатном сумраке. Они молчат, и об их присутствии можно догадаться лишь по скоплениям крошечных свечечек на крошечных елочках, шестикратно отраженных в тонких стеклышках двух пенсне — бабушкиного и дедушкиного, и в выпуклых, с большими диоптриями, круглых стеклах тетушкиных очков. Комнатное пространство напряжено, коряво и состоит из сплошных ухабов.

Папы дома нет. Вдруг звонок. Мама устремляется ему навстречу и возвращается со странным человечком. Пришелец маленького роста, в черном тулупе, огромных валенках, в нахлобученной на глаза шапке-ушанке и косо натянутых на нос очках. Клочковатая борода похожа на кусок слежавшегося старого ватина, обитающего на сундуке за шкафом. За плечами дерюжный мешок. Мешок тощий, и я догадываюсь, что старичок обошел много домов, прежде чем добрался до нас.

Дед Мороз, а это несомненно он, опускает мешок на пол, долго с ним возится, с трудом развязывает, суетливо разгружает. Хорошенько рассмотреть гостя не удастся не только из-за темноты, но и потому, что он старательно от меня отворачивается. Что-то небольшое вручает бабушке, что-то дедушке, что-то Тане и маме. Мне достается несколько подарков. Подаркам я рада, но огорчена тем, что папы нет дома, что он пропустил приход Деда Мороза. Глупо получилось, что именно сейчас папа ушел к Милидееву, и я надеюсь, что вот-вот он вернется и еще застанет гостя.

Милидеев художник, он работает с папой в портретно-копийном цехе. А живет по соседству, на Кропоткинской, в глубинах закоулочного двора напротив нашего переулочка. У Милидеева собственная машина, невероятная по тем временам роскошь. Еще у Милидеева есть одна-единственная рубашка с про-

тертым воротником и рваный плащ, в котором он ездит на машине в любую погоду. И в жестокие морозы тоже. Машина заменяет Милидееву все, даже теплую одежду. Какая нелепость, что именно сейчас, когда уже зажжены свечи, перед самым приходом Деда Мороза, папа зачем-то к нему отправился. Будто нельзя было подождать немного или сходить пораньше.

То, что Дед Мороз не нарядный волшебник, а неказистый мужичок, меня расстраивает меньше, чем папино отсутствие. Ничего не поделаешь, бывают и такие Деда Морозы — маленькие, всклокоченные. Уж какой достался! Но откуда мама знала о его приходе? А она знала, потому что приготовила подарок, и довольно странный — темно-красный галстук в светлую крапинку! Зачем нашему простецкому Деду Морозу галстук? При огромных его валенках, тулупе, свалявшейся бороде? Однако своему подарку Дед Мороз радуется, веселеет и уходит довольный. А буквально через минуту возвращается от Милидеева папа! Я бросаюсь навстречу, рассказываю, что тут произошло в его отсутствие, сообщаю о подаренном галстуке, огорчаюсь, отчего папа реагирует на мой рассказ так вяло, не вскрикивает от изумления.

Тем временем материализовавшийся за своим бюро дедушка заводит музыкальную шкатулку, и я внимательно слежу за вращением латунного игольчатого барабанчика в деревянном нутре замечательной музыкальной шкатулки, впитываю семейную мелодию. Шкатулку эту дедушка подарил бабушке в первый их общий, семейный Новый год — 1914. Заводить шкатулку можно было только в новогодние дни, пока горят свечи на елке. Все остальное время она хранилась в глубинах старого шкафа, и речи не могло быть о том, чтобы завести ее в другие вечера. Никакого застолья, чаепития вслед за тем не последовало, и мы втроем: мама, папа и я, удалились в свое восьмиметровое жилое пространство. Невесело семья наша встретила новый 1953 год.

Тоскливое, тревожное время. Не пройдет и двух недель, как оно станет леденящим. Вот-вот опубликуют в газетах письмо зловещей Лидии Тимашук, разоблачившей врачей-отравителей. К этому времени бабушка исчерпала свои физические ресурсы. Ей нет и семидесяти пяти, но она кажется совсем дряхлой — грузная и почти слепая, целыми днями сидит в кресле, а если и поднимается, то с большим трудом.

Физическая немощь ничуть не повлияла на блестящий бабушкин интеллект, и он нисколько не потускнел. Не потускнело и красивое ее лицо. Волосы, уложенные в ту же прическу, которую носила бабушка в начале века, пронзительный (невзирая на фактическую слепоту) взгляд, посадка головы, все свидетельствует о том, что десятилетия советских реалий не уничтожили породистого облика. И дедушка все еще работает юрисконсультom в своем Главсланце, и будет работать там до последнего дня жизни. День этот не за горами. Дедушка умер скоропостижно пятого декабря того же 53-го года, в день Сталинской конституции.

Казалось, мы с папой только что говорили с дедушкой, только что небольшая его фигурка в каракулевом пирожке и длинном черном пальто мед-

ленно спускалась по ступенькам соседнего магазина. А мы с папой как раз собирались по этим ступенькам подняться. Встреча наша была немногословной, самой обыденной. Скучный диалог между папой и бабушкой касался какой-то селедки, которую «давали» в тот день в магазине, известном в народе под названием «Четвертый». Да и какой она могла быть, эта встреча, если мы только что виделись дома и не более чем через полчаса столкнулись бы в нашем коридоре снова, и произойти это могло еще много раз в течение праздничного выходного дня.

И действительно, мне еще предстояло увидеть бабушку, и очень скоро, но только один-единственный раз, последний. Бабушка неподвижно сидел у окна в темно-зеленом кресле с высокой спинкой, и над запрокинутой его головой клубился морозный пар из открытой форточки.

Вечером меня увели к троюродным сестрам, в Сивцев Вражек, и оставили там на ночь. Темноватая чужая квартира, непривычная еда, жесткая щетка для волос. Бабушку мне больше не показали. И на поминках по бабушке я не была, но знаю, что вечером Борис Леонидович Пастернак зашел к нам в Мансуровский и читал стихи из романа, в том числе автоэпитафию «Август», стихотворение, написанное совсем недавно, прошедшим летом.

Ужас, пережитый в первые месяцы судьбоносного 53-го года, сократил жизнь моего деда, а вслед за ним и бабушки. Одно утешает — ровно на девять месяцев, день в день, бабушка пережил-таки Сталина. А бабушка умерла через четыре месяца после бабушки, 31 марта 54-го года. Со смертью бабушки фактически закончилась и ее жизнь. К этому времени я подросла, мне исполнилось шесть, и на этот раз меня оставили дома. Я стояла на стуле возле гроба, понимала, что момент скорбный, кажется даже, что глаза мои увлажнились, но, скользнув взглядом по неподвижному бабушкиному лицу, я уставилась на корзину затуманенных малиновых цикламенов, потому что, к моему изумлению, папа сказал, будто цветы эти бабушке от меня.

Бабушкиной смерти предшествовало исчезновение снегиря. Ручной снегирь летал по комнате, садился на ладонь и плечи, а в клетку возвращался поклевать зерен и попить воды. Прежде у нас жили щеглы, и каждую весну мы отправлялись в Архангельское и выпускали щеглов на волю. Прожив с нами зиму, щеглы оставались чужими, а вот снегирь стал совершенно своим. И накануне бабушкиной смерти исчез. Решили, что в беспокойстве и суматохе последних дней в комнату пробралась соседская кошка Мурка и сожрала снегиря. А в начале лета снегирь отыскался, но неживой и бесплотный. Мумия снегиря лежала на сундуке за шкафом под ворохом летней одежды. Как он туда забрался, наш снегирь, непонятно. Грудка снегиря была того же, подернутого сизым туманом малинового цвета, что и цикламены у бабушкиного гроба.

Бабушки с бабушкой, как явствует из этого текста, нет на свете уже более полувека, умерли мои родители, тетюшка, так может быть, пришла пора совершить небольшой экскурс в семейную историю?

Бабушка с дедушкой познакомились на XVI Всероссийской торгово–промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. Инженерная контора прадеда, гражданина Северо–Американских Соединенных Штатов, Александра Вениаминовича Бари, выполнила заказ на строительство выставочных павильонов. Автором блестящих инженерных проектов был Владимир Григорьевич Шухов, организатором работ — Александр Вениаминович Бари. Сотрудники его конторы приехали в Нижний Новгород с семьями. И прадед прибыл со старшими своими детьми, среди которых была и будущая моя бабушка.

На вершине остро современной по тому времени «гиперболоидной» водонапорной башни, самого высокого выставочного сооружения, значилось: «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА ИНЖЕНЕРА А.В. БАРИ». Так что все сотрудники прадеда чувствовали себя именинниками и гордились участием в грандиозном деле. Настроение было праздничное, и после нижегородского триумфа на документах конторы Бари появился герб Российской империи, придавший конторе прадеда и ему самому статус «поставщика двора Его Величества».

Накануне открытия выставки и приезда в Нижний Новгород императорской семьи на город обрушился град и побил часть стекол в куполе главного выставочного павильона. Заменить выбитые стекла новыми времени не было. Прадед вышел из положения с блеском. Со словами: — Разобьем и остальные, авось завтра будет погода — вскарабкался вместе с рабочими на крышу павильона, и совместными усилиями уцелевшие стекла разбили. Погода на следующий день действительно выдалась чудесная, довольный выставкой Государь особо отметил ослепительную чистоту сияющего «стеклянного» купола. А в 1910 году из конструкций, перевезенных в Петербург из Нижнего Новгорода после закрытия Всероссийской выставки 1896 года, в Кронверкском парке построили Народный дом, громадное здание, превратившееся со временем в кинотеатр «Великан».

Итак, бабушка приехала на выставку с отцом и сестрами, а дедушка с родным своим дядей Григорием Михайловичем Фарбштейном, инженером и сотрудником конторы Бари. Повстречав семнадцатилетнюю бабушку, семнадцатилетний дедушка мгновенно в нее влюбился и следующие семнадцать лет добивался взаимности. И только 15 сентября 1913 года бабушка с дедушкой обвенчались в храме Архангела Гавриила в Архангельском переулке. Этот храм известен как Меншикова башня, лучший образец московского барокко. Два храма: Архангела Гавриила и Феодора Стратилата составляют ныне Антиохийское подворье в Москве.

Очевидно, дед мой принял православие, дабы преодолеть черту оседлости и продолжить образование, а при каких обстоятельствах состоялся бабушкин переход в православную веру из евангелическо–лютеранской и состоялся ли, мне неизвестно. Во всяком случае, при крещении, как и полагается лютеранам, бабушка получила три имени — Вера–Ольга–Амалия. В жизни же звалась Ольгой, и именины праздновала 24 июля. А родилась она в Петербурге, в доме № 63 по Сергиевской улице 25 января 1879 года. Бабушкиной крестной стала родная

ее тетка по матери, Екатерина Яковлевна, жена генерала Валентина Серафимовича Кохманского.

Кстати говоря, внук бабушкиной крестной, Борис, сын дочери ее Софьи Валентиновны и Юлиана Игнатьевича Поплавского — яркая и трагическая фигура русского литературного зарубежья. Один из многочисленных его воспоминателей, поэт Николай Оцуп, назвал Бориса Поплавского, художника и поэта, «монпарнасским царевичем». Трагический конец тридцатидвухлетнего Бориса окутан тайной. «Монпарнасский царевич» умер 17 октября 1935 года, судя по всему, от передозировки какого-то наркотика, и неясно, была эта смерть случайностью или преднамеренным убийством. Потому что приятель Бориса, некто Ярхо, вроде бы задумал самоубийство, но боялся пуститься в последний путь в одиночку и искал спутника. Спутником этим, неведомо для себя, стал внук тети Кати Кохманской. Предположение не случайно, оно основано на письме этого самого Ярхо, отправленном невесте незадолго до общего их с Борисом ухода.

После Бориса осталось огромное наследство, художественное и литературное, последние годы его активно публикуют. Стихи, рисунки, автобиографический роман «Аполлон Безобразов», а также дневники Поплавского, в соответствии с желанием Бориса, родители его Юлиан Игнатьевич и Софья Валентиновна, передали Дине Татищевой (урожденной Шрайбман) — сначала возлюбленной Бориса, а потом преданному его другу. Ну а после смерти Дины, случившейся в 40-м году, архив остался в семье Татищевых, и только через шестьдесят лет младший сын Дины Шрайбман и Николая Татищева, тоже Борис, передал его России.

После смерти Бориса Поплавского Владимир Набоков написал о нем:

Я не знал умершего молодым Поплавского — далекой скрипки среди близких балалаек... Его заунывного звука я никогда не забуду, как не прощу себе раздраженной рецензии, с которой напал на пустяковые недочеты его неоперившихся стихов.

А вот удивительные слова, сказанные самим Борисом, трагическим нашим родственником:

Искусство есть частное письмо, посылаемое наугад друзьям, и как бы протест против разлуки любящих в пространстве и во времени.

Нужно сказать, что за семнадцать лет, разделивших встречу бабушки и дедушки в Нижнем Новгороде и день их свадьбы, много чего произошло в жизни обоих. Во-первых, осенью 1900 года бабушка поступила на историко-филологическое отделение вновь открывшихся после перерыва Высших женских курсов и получила билет № 9 за подписью В. Герье. Учением увлеклась необычайно.

Любимейшими учителями стали Виппер и Трубецкой. С увлечением слушала Ключевского, Виноградова, Герье. Не склонная к мажору, бабушка писала на первых порах:

До чего у нас хорошо на курсах! Чудо! Я прямо таки счастлива. Если мне удастся много и толково заниматься, я буду положительно счастливым человеком. Так светло впереди... Хочется много, много знать, жить! Во мне никогда не было столько энергии и силы!

А весной 1902 года бабушка впервые очутилась в Италии. Страна и ее искусство так потрясли бабушку, что, вернувшись в Москву, она переменяла участь. Начала учиться живописи у Леонида Осиповича Пастернака, а вскоре и выставлять работы на выставках «Мира искусства», «Московского салона», «Союза русских художников».

Судя по всему, выбор учителя отчасти определило семейное почитание Толстого, роман которого «Воскресение» так прекрасно проиллюстрировал Леонид Пастернак. Прадед был знаком с Толстым и связан с ним делами. В частности, финансировал переезд в Канаду группы опекаемых Львом Николаевичем духоборов. А Толстой, в свою очередь, заинтересовался котлостроительным заводом Бари (после революции «Парострой», ныне завод «Динамо»). До него дошел слух, будто на этом заводе рабочие живут неплохо и даже участвуют в прибылях.

Занятия с Пастернаком привели к тому, что на долгие годы две семьи связали приятные отношения. На форзаце первого издания поэмы «Девятьсот пятый год» дарственная надпись:

Дорогой Ольге Александровне в день ее рождения на добрую память и в воспоминание о нашем семейном нашествии в ночь, когда Училищу Живописи угрожали штурм или осада.

Б.Пастернак

7.II.28.

Суть надписи прояснилась, когда я прочла книгу Евгения Пастернака «Борис Пастернак. Материалы для биографии». Оказывается, в конце октября 1905 года Пастернаки всей семьей «на несколько дней перебирались в знакомый дом инженера А.В. Бари, за почтамт, на угол Кривоколенного и Телеграфного (Архангельского) переулков». А девочки Пастернак, Лида и Жоня (Жозефина) в тяжелое это время, как на грех, болели скарлатиной.

С головой погрузившись в занятия живописью, каждую весну бабушка устремлялась в Италию, а для удобства обитания в этой стране выучила в дополнение к немецкому, французскому и английскому языкам еще и итальянский. В семье нашей поселились с тех пор чудесные предметы, привезенные бабуш-

кой из итальянских путешествий. В первую очередь — трогательный Бамбино, гипсовый слепок головки младенца Иисуса работы Верроккьо. Это не просто слепок, а по семейному ощущению почти живое существо, обитающее с тех давних итальянских времен в нашем доме. И еще один Вероккьо — голова Давида, сразившего Голиафа. Кудрявая голова Давида, по общему мнению, наклоном, улыбкой и выражением лица похожа на бабушку в молодости (а ведь легенда гласит, что своего Давида Вероккьо лепил с молодого Леонардо да Винчи).

Висит на стене маленький, ремесленный, но очень мастерский акварельный этюд Венеции с бледным зеленовато-голубым венецианским небом, каналом и, разумеется, гондольером. Склеен, но жив слепок танагрской терракоты — женской фигурки с веером. Короче говоря, память о судьбоносной бабушкиной Италии материализована и жива.

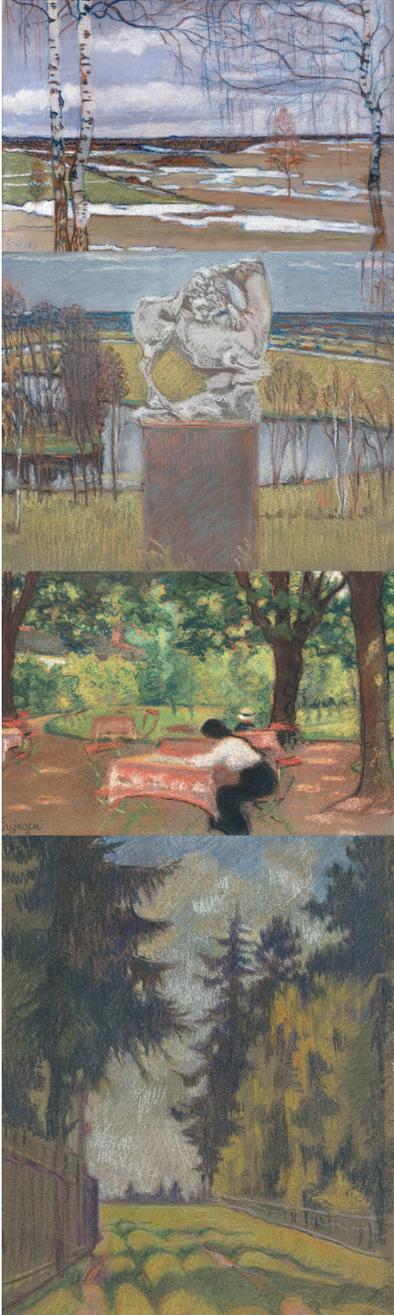
За годы, отделившие первую встречу бабушки и дедушки от их венчания, бабушка испытала многое: увлечения, разочарования, депрессии и даже тяжелую нервную болезнь. А в апреле 1913 года потеряла отца. Вот строки из бабушкиного письма, написанного в самом начале девятисотых: «Мало людей знают и ценят папу. Это лучший человек! Это человек в полном смысле слова! Если есть настоящие христиане, то — вот папа. Если бы я сию минуту видела бы Толстого, я бы спросила его о папе. Какая это душа. Для меня это воплощение добра и вообще всего, из-за чего только стоит жить на свете». Между бабушкой и ее отцом всегда существовало глубокое взаимопонимание. Письма свои к бабушке прадед подписывал — «твой друг и Папа».

Дедушка же мой, Семен Айзенман, все эти годы находился в пределах досягаемости, писал бабушке письма, посвящал стихи, присылал букеты к дням рождения и именинам, навещал в Москве и на даче, страдал — одним словом, был рядом. А кроме этого окончил юридический факультет Московского университета, стал присяжным поверенным с собственной практикой и внештатным корреспондентом нескольких московских газет.

Сохранилось немало стихотворений, написание которых вдохновила дедушку бабушка. Вот несколько строф из одного, под названием: «К букету из белой и золотой ромашки», датированного 25 января 1907 года, днем бабушкиного двадцативосьмилетия:

Замерзли воды, листья пали,
Настала снежная зима.
Звучал рояль в холодном зале
Глядела в окна злая тьма.

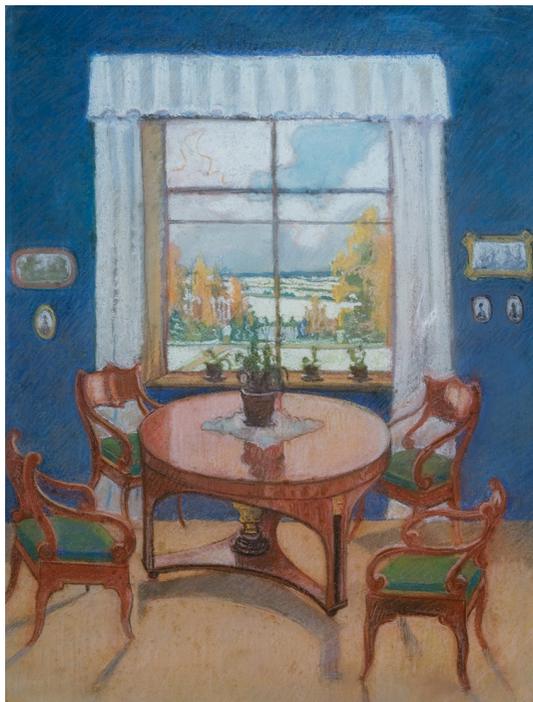
Твои мелькали быстро руки,
От них на пол ложилась тень.
И плыли стонущие звуки...
Я вспомнил дальний летний день.



Ольга Александровна Бари-Айзенман (1879–1954)



Белый дом. Райки. 1914.
Холст, масло



Интерьер. Райки. 1913.
Бумага, пастель



Пейзаж со скульптурой. Райки. 1913.
Бумага, пастель



Зимняя терраса. Райки. 1914.
Бумага, пастель



Окно. Райки. 1913.
Бумага, пастель



Весна. Райки. 1911.
Бумага, пастель



Поздняя осень. Райки. 1913.
Бумага, пастель



Ивы. Бородино. 1914.
Холст, масло



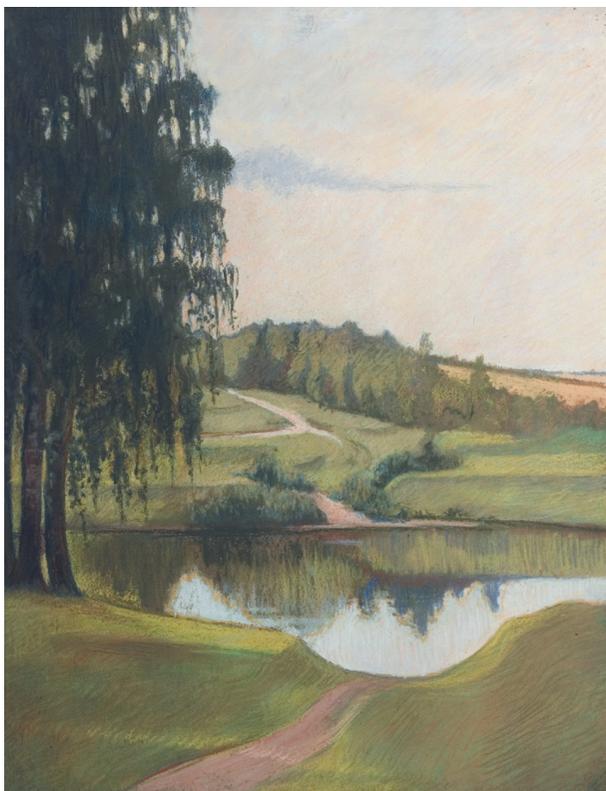
Пруд. Быково. 1916.
Холст, масло



О.А. Бари-Айзенман на этюдах. Быково. 1916.
Фотография С.Б. Айзенмана



Интерьер. Быково. 1918.
Бумага, пастель



На Пахре. 1912.
Бумага, пастель



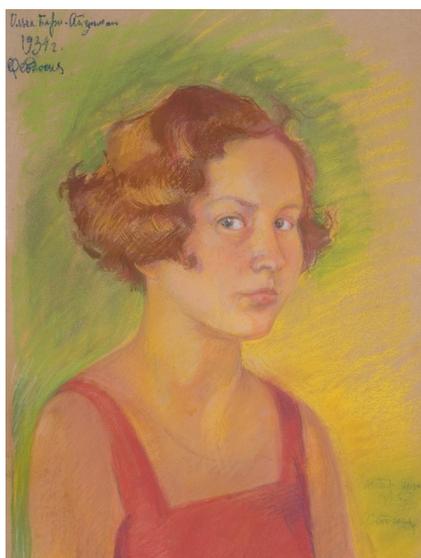
Прудик. Быково. 1916.
Холст, масло



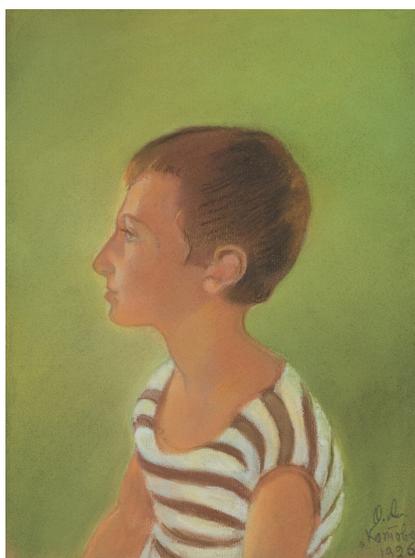
Перед грозой. Стога. Быково. 1916.
Холст, масло



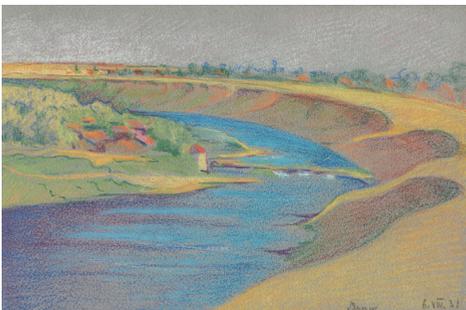
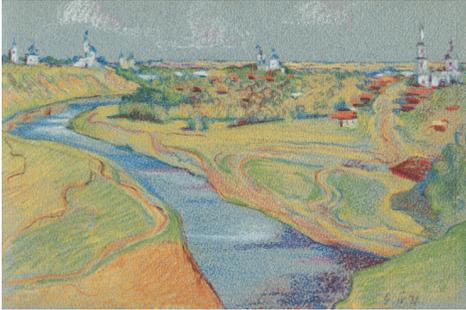
На пляже. Геленджик. 1927.
Бумага, пастель



Таня. Феодосия. 1934.
Бумага, пастель



Алеша. Котово. 1926.
Бумага, пастель



Вид на Мценск со Стрелецкой слободы. 1931.
Бумага, цветные карандаши

Пейзаж с дубом. Таруса. 1929.
Бумага, цветные карандаши

Мценск. 1931.
Бумага, цветные карандаши

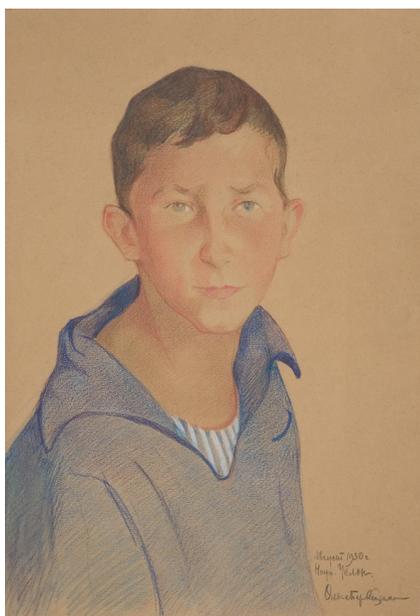
В Тарусе. 1929.
Бумага, цветные карандаши

Картофельное поле. Мценск. 1931.
Бумага, цветные карандаши

Летом. 1935.
Бумага, цветные карандаши



В саду. Мценск. 1932.
Бумага, цветные карандаши



Алеша. Нижний Услон. 1930.
Бумага, цветные карандаши



Зимняя Москва. 1930-е гг.
Бумага, пастель



На пленэре. Афинево. 1938.
Бумага, пастель



В ЦПКИО имени Горького. Москва. 1947.
Бумага, цветные карандаши



Перед грозой. Крюково. 1948.
Бумага, пастель



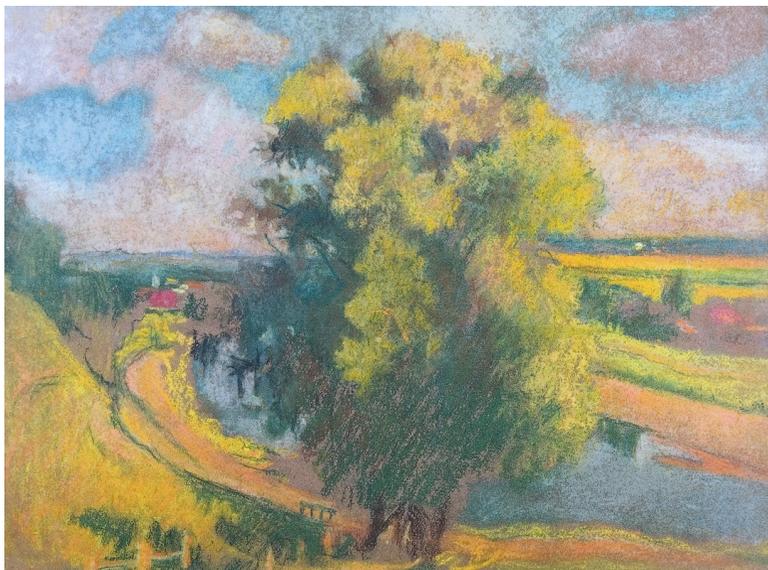
Одинцово. 1944.
Бумага, пастель



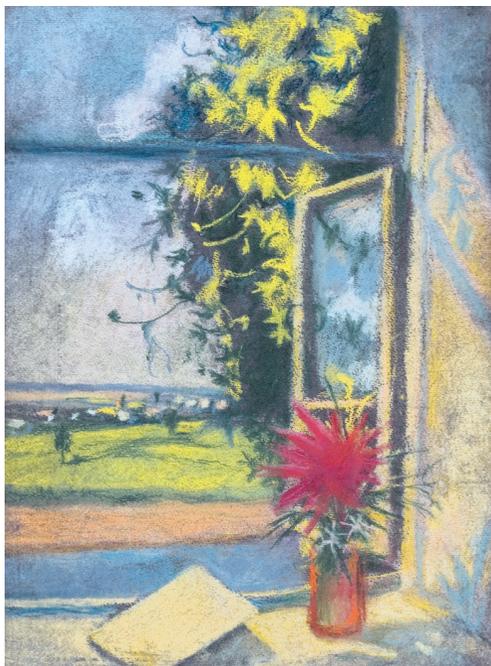
Домик с оранжевой крышей. Одинцово. 1949.
Бумага, пастель



Крюково. 13 июля 1948.
Бумага, пастель



Вид с Городка. Звенигород. 1952.
Бумага, пастель



Георгин на окне. Звенигород. 1953.
Бумага, пастель



Васильки на окне. Звенигород. 1953.
Бумага, пастель

Тогда мы в лодке с кем-то плыли,
 Но видел я тебя одну...
 Лучи косые золотили
 Твоей одежды белизну.

О, как тогда все было ясно!
 Все солнце сделало простым.
 Ты, как теперь, была прекрасна.
 Была ты в белом с золотым...

Лодка, река, белые одежды, рояль в холодном зале — не поэтическая фантазия. Это подмосковное имение «Райки», в котором несколько лет снимала дачу семья Бари. А бабушка жила там не только летом, но и осенью, и зимой, и ранними веснами. Пианисткой она, кстати говоря, была отменной. Долгие годы и очень серьезно занималась с прекрасным московским педагогом — Эмилией Исааковной Огус-Шапкевич.

Там же, в «Райках», по совету Бари, на три лета поселилась и семья Пастернаков. Райская, судя по всему жизнь, шла в Райках — череда семейных праздников, иллюминаций, веселых прогулок и путешествий по окрестностям. От совместной с мальчиками Пастернаками поездки на Медвежье озеро сохранилась стопка фотографий, а в письме, отправленном родителям в Берлин, гимназист Борис Пастернак так описал одно из райковских гуляний:

Вчерашний ваш отъезд мы справили «венецианским» гулянием с иллюминацией, песнями, под благонадежным надзором. В черной змейками колеблющейся маслянистой жидкости пруда металлически-яркое отражение фонариков. — Это было замечательно. Луна была первостатейная. Бари знают уйму шансонет на всех языках и такую же массу народных...

Невозможно представить бабушку, распеваящую французские шансонетки. Поразившую мальчиков Пастернаков эрудицию продемонстрировали, конечно же, младшие Бари. Дело в том, что бабушка в семье своей родной, хотя и не казалась девочкой чужой, но с некоторых пор существовала особняком. В своего рода вакууме, образовавшемся между сестрами, вышедшими замуж и жившими жизнью своих семей, и младшими — из-за возраста, да и по иным причинам, в те времена не близкими.

Что вовсе не исключало родственных, взаимно заинтересованных отношений, о которых свидетельствуют сотни писем, которыми пять сестер из шести: Анна, Ольга, Евгения, Лидия и Мария обменивались на протяжении всей своей жизни. Жизнь шестой, самой младшей сестры Екатерины прошла вдали от России. Кстати говоря, сохранностью семейного архива, включающего в себя мно-

жество писем, бабушкины дневники, кучу документального праха: записок, случайных текстов, справок и удостоверений, мы обязаны ряду обстоятельств.

Дело в том, что, поселившись весной 1918 года в Мансуровском переулке, семья наша никуда не переезжала, не делала основательных ремонтов, кардинальных перестановок, не злоупотребляла генеральными уборками. Никому из членов нашей семьи, удрученных бытом и одновременно переполненных творческими замыслами и озабоченных их воплощением, не приходило в голову даже в самые суровые времена просмотреть семейные архивы на предмет уничтожения опасных бумажек. Так эти бумажные слои и пролежали в ящиках, шкафах, коробках, папках и чемоданах до сегодняшнего дня.

Давние письма сестер, в незапамятные времена вкладывавшиеся в выполненные на заказ чудные конвертики с инициалами; далее, по мере развития российской истории, посылавшиеся в склеенных из газет самодельных конвертах; множество довоенных открыток с призывами вроде нижеследующих: «Дадим тару социалистическому государству! Развернем промысла: рогожное, ящичное, бондарное и корзиноплетение», «Общество «Друг детей», будь в первых рядах борцов за выполнение пром-фин-плана!»; треугольники военного времени — все они сохранили историю семьи и судьбы девятерых детей (трех сыновей и шести дочерей) Александра Вениаминовича Бари и жены его Зинаиды (Эды) Яковлевны (в девичестве фон Грюнберг).

Множество фотографий, запечатлевших детей Бари оптом и в розницу, с родителями и без них, во всех возрастах, неопровержимо свидетельствуют о том, что были они здоровыми и красивыми. Дочери, все без исключения, обладали прелестной внешностью, умом, разнообразными талантами и истинной жизнестойкостью, все до единой оказались яркими и сильными личностями. Жизни пятерых сестер, прожитые ими в России, прошли на глазах друг у друга. О жизни младшей сестры, красавицы Кати, известно немного. В эмиграции ей пришлось много трудиться, она оказалась человеком талантливым и работоспособным, стала художником по фарфору.

Но однажды дошла до Москвы странная весточка от Кати. В шестнадцатом номере журнала «Экран» за 1927 год появилась ее фотография с подписью:

Героиня очередной американской сенсации, Екатерина Бэри, нанесящая пощечину гастролирующему в Нью-Йорке Керенскому. За это «оскорбление действием» она оштрафована судом на 4 1/2 доллара. А сколько она получила от желтых газет за доставленную им сенсацию?

Тетя Катя с победительной улыбкой и растрепанным букетом в руках, который предполагалось поднести Александру Федоровичу от всей русской эмиграции, выглядит на фото удивительно эффектно, хоть и постарше своих в ту пору тридцати шести лет. Видимо, сфотографировали Катю сразу же после ее выходки.

После войны очень уже немолодая Катя вышла замуж за Ивана Ивановича Язвинского, некогда танцовщика Императорского Большого театра, затем актера Дягилевской труппы, после смерти Дягилева танцевавшего в труппе Анны Павловой, а после кончины Павловой работавшего хореографом в музыкальных театрах Парижа и Монте-Карло у Рене Блюма. На склоне жизни у Ивана Ивановича была собственная балетная школа в Нью-Йорке. Рудольф Нуриев считал Язвинского величайшим танцовщиком. По слухам, тетя Катя унаследовала от мужа, умершего в 1973 году, часть дягилевского архива, но сундук с бесценными документами затопило в подвале нью-йоркского дома для престарелых, где окончила свои дни восьмидесятисемилетняя Екатерина Бари.

Не знаю, уступали ли дочерям сыновья, их жизни прошли вдали от России, и мы знаем о них немного. Известно только, что все дети, невзирая на широкий спектр разного рода каверз, драм и трагедий, предложенных им эпохой, дожили до старости. Меньше всех, семьдесят два года, прожила на свете старшая — Анна. Самая долгая жизнь оказалась у Лидии, скончавшейся в здравом уме накануне своего девяностосемилетия. В общей сложности девять детей Александра Вениаминовича и Зинаиды Яковлевны прожили на свете семьсот пятьдесят шесть лет. Вот такая внушительная семейная статистика.

Возвращаясь в лето 1907 года, в подмосковные Райки, во времена, когда все еще были живы, нужно сказать, что юный Пастернак заметил бабушкину непохожесть, ощутил непростое ее устройство. Тогда же, быстро пресытившись райковскими развлечениями, написал родителям:

Здесь нет никого, никого интересного, единственный человек, с которым мне бы хотелось поговорить, это Ольга Александровна, но это не придется наверное...

С годами разница в возрасте утратила значение, и совсем в другие времена, шагая по Москве, Борис Леонидович изредка забредал к нам в Мансуровский и приносил бабушке коробочку шоколадных конфет — красно-золотую, с оленем. Это называлось: «пришел поэт — принес конфет». Наутро мне доставались дубовые листочки и желуди — маленькие плоские шоколадки без начинки. А вот при чтении стихов, по причине моей мелкости, мне присутствовать не полагалось. Поэтическое пастернаковское гудение я слушала из-за двери и мелодию эту, как ни странно, хорошо помню.

А в то давнее райковское лето семнадцатилетнему гимназисту говорить с двадцативосьмилетней женщиной было, видимо, непросто. Бабушка же внимательно наблюдала за жизнью пастернаковских детей и сообщала Леониду Осиповичу и Розалии Исидоровне, что видит детей ежедневно, и живут они благополучно и радостно.

Из груды райковских фотографий возникла одна, запечатлевшая общество на террасе. В центре композиции, на ажурном диванчике, плотный вальяж-

ный господин с галстуком–бабочкой и тростью. Это искусствовед, собиратель, а в те годы еще и банковский служащий, Павел Давыдович Эттингер. Справа от него Розалия Исидоровна Пастернак с дочерьми — Лидией и Жозефиной. Мужчины Пастернаки: красавец Леонид Осипович в свитере и Боря с Шурой — в гимназических фуражках, оседлали перила. Авантажный мужчина с усам и ромашкой в петлице о перила облокотился. Это друг Эттингера и Пастернаков, хороший бабушкин знакомый доктор Лев Григорьевич Левин. Тот самый Левин, который в советские времена лечил сановников самого высокого ранга, а потом был уничтожен вместе с коллегой своим доктором Плетневым. Через двадцать девять лет после того райковского лета кремлевских врачей Плетнева и Левина, а также добровольно (и предусмотрительно) ушедшую из жизни доктора Каннель, обвинили в убийстве Горького.

На пасторальной райковской фотографии моя молодая бабушка, вся в белом, сидит в кресле, слева от Павла Давыдовича. Бабушка задумчива, поза ее грациозна, кажется, будто она только что вышла из дедушкиного стихотворения о белом и золотом.

Некогда Райками владел Н.В. Путята. Потом чудное имение по примеру чеховского вишневого сада перешло в руки предприимчивого человека Некрасова, который стал сдавать под дачи разнокалиберные флигели и хозяйственные постройки. Райки и сейчас существуют, туда несложно добраться, если сесть на электричку на Курском вокзале и доехать до станции «Чкаловская». В советские времена в Райках помещался санаторий министерства иностранных дел (а не склад, не колония для малолетних преступников, не машинно–тракторная станция и не птицеферма) и поэтому имение хорошо сохранилось.

Нигде так продуктивно не работалось бабушке, как в Райках. Она наслаждалась райковской природой, ее переполняли идеи. Дневниковые записи того периода испещрены замыслами пейзажей. Райковские работы имели успех, и именно ими дебютировала бабушка на XIX выставке картин Московского товарищества художников. Представить, как выглядела бабушка в те годы, можно не только по дедушкиным стихам и сохранившимся в изобилии фотографиям, но и по письму брата Володи, учившегося в Германии, в городе Карлсруэ. Стоксовавшись по дому, в июле 1912 года Володя писал старшей сестре Ольге, с которой очень дружил в детстве и ранней юности:

Я например ясно–ясно вижу, как я с тобой в Благородном собрании на концерте Гофмана или Никиша. Ты в темном бархатном платье, улыбающаяся, и два локона по бокам лица; ты немного сгорбилась и наклонила голову набок; там внизу бесятя, шумят, а мы на хорах спокойно сидим, в ушах еще Chopin` овский этюд.

Я представляю себе даже запах, исходивший от бабушкиного концертного платья, потому что в моем комодке до сих пор лежит флакон духов «Lilas pour-

рге» фирмы Coty с хорошо притертой пробкой. Флакону не менее ста лет, он заключен в черную кожаную коробочку, давно пуст, но если вынуть пробку, то оказывается, что воспоминание о былом запахе сохранилось. Лет сорок назад, когда я впервые вдохнула старинный аромат пурпурной сирени, он ощущался гораздо явственнее, чем сегодня. Что и говорить, перед мысленным взором возникает привлекательный женский образ, объясняющий семнадцатилетнее дедушкино ожидание.

А с польским пианистом Иосифом Гофманом, упомянутом в Володином письме, бабушка познакомилась еще в юности, в Бад–Киссингене, в Баварии, в том же 1896 году, что и с моим дедушкой. Сохранилась наклеенная на паспарту фотография миловидного Гофмана — нежного мальчика во фраке, с многозначительной дарственной надписью, возможно даже подразумевавшей нечто романтическое.

Бабушка посещала все концерты знакомого своей юности (Гофман давно уже стал звездой первой величины и гастролировал в Москве каждую зиму), а спустя шестнадцать лет, в июле 1912 года встретилась с ним в том же Киссингене, на том же Strand`e, по которому прогуливались отдыхающие шестнадцать лет назад. Три недели бабушка с Гофманом подолгу гуляли вдвоем и бесконечно разговаривали. Вопреки обыкновению Гофман разрешил бабушке присутствовать на своих занятиях. Прогулки с Гофманом, разговоры, впечатления от его игры бабушка подробно и точно описывала. Образовалась толстая стопочка двужычных дневниковых записей, сделанных по самым свежим впечатлениям. Речи Гофмана записаны по–немецки, бабушкины комментарии по–русски.

Тогда же бабушка познакомилась Гофмана с Леонидом Осиповичем Пастернаком и женой его Розалией Исидоровной, блестящей пианисткой. Висящий на стене карандашный портрет Гофмана за роялем один из тех, что сделал Леонид Осипович тем киссингенским летом, 29 июля 1912 года. Знакомство Пастернаков с Гофманом и рисовальный сеанс подробно описаны в бабушкином дневнике. Один из двух рисунков, сделанных в этот день, Леонид Осипович предложил бабушке выбрать себе в подарок. Бабушка выбрала этот за наибольшее сходство с моделью.

А Иосиф Гофман оказался не только гениальным пианистом и музыкальным теоретиком — автором книги о фортепьянной игре. Страстный автомобилист и изобретатель, именно он первым придумал такую остроумную и актуальную штуку, как автомобильные «дворники». На счету Гофмана–изобретателя и другие технические чудеса.

Через год с небольшим после гофмановско–киссингенского лета дедушкины испытания закончились, и состоялась скромная свадьба. Скромной свадьба была не только потому, что жених и невеста не любили пышности, но и оттого, что в апреле того же, 1913 года умер Александр Вениаминович Бари.

Подарив детям семьсот пятьдесят шесть лет жизни, сам Александр Вениаминович прожил всего шестьдесят шесть и из жизни ушел, как вскоре выяс-

нилось, вовремя. Потому что умер «до всего»: до империалистической войны, до февральской революции, до октябрьского переворота. Как сложилась бы жизнь семьи, не скончался прадед в ночь с 5 на 6 апреля 1913 года, представить трудно. Американский гражданин и российский патриот, все свои капиталы Александр Вениаминович вложил в российскую промышленность. Хотя ничуть относительно российской реальности не обольщался и часто повторял, что «лучше быть кондуктором трамвая в Цюрихе, чем миллионером в России». Еще в сентябре 1905 года писал жене из Петербурга: «Не весело теперь в России, а надо сидеть и терпеть». А в августе 1906—го в письме к дочери Ольге: «На всех покушение на Столыпина произвело удручающее впечатление. Мрак и ужас впереди, картина печальная». Прадед трезво оценивал российскую ситуацию.

Александр Вениаминович Бари прожил блестящую жизнь. Шестнадцатилетним юношей, оказавшись вместе с семьей в Швейцарии, Александр Бари закончил в Цюрихе Политехническую школу и поступил механиком на пароход *Regier*, двенадцатого августа 1870 года покинувший город Гавр. Добравшись до Северо-Американских Соединенных Штатов, прадед натурализовался и провел в этой стране семь лет. Блестящую свою карьеру начал помощником инженера на мостовом заводе в Детройте.

В 1875—1876 годах Александр Бари принял участие в конкурсе по строительству павильонов Всемирной выставки в Филадельфии, посвященной столетию независимости Североамериканских Соединенных Штатов, и получил за свой проект Гран-при и Золотую медаль. Впервые в инженерной практике США Александр Бари спроектировал и построил здания с купольной системой световых фонарей и сетчатым остекленным каркасом перекрытия. В 1990 году в Филадельфии побывал Евгений Борисович Пастернак и обнаружил, что Центральный павильон Всемирной выставки 1876 года, выстроенный Бари, все еще функционирует.

Там же, в Филадельфии, в доме старшего брата Генри, Александр Бари познакомился с женою своей Эдой (Зинаидой) фон Грюнберг. Фон Грюнберги обрусели еще при Екатерине. Эда, младшая сестра Веры, жены Генри, приехала из России вместе с сестрой и в ее доме обрела восхитительного мужа. Редкостный семьянин, Александр Вениаминович был еще и красавцем, к тому же отменно фотогеничным. На всех фотографиях, во всех возрастах прадед, без преувеличения, ослепителен.

В Россию образовавшаяся в Америке семья вернулась в 1877 году, потеряв сына Александра, но родив Анну (семейное имя Биба — от *baby*). Вернулись, главным образом, по настоянию Зинаиды Яковлевны, стремившейся на родину. В Петербурге Александра Вениаминовича пригласил на службу Людвиг Нобиль. Два года прадед прослужил в его фирме главным инженером. Прекрасно организовав нефтяное дело в Баку и Грозном, заслужил прозвище «Грозный Бари». Однако он стремился к собственному делу и вскоре переехал с семьей в Москву, где и развернулся во всю свою профессиональную мощь.

Александр Бари купил участок земли в Симоновой слободе, выстроил котлостроительный завод, организовал строительную контору и пригласил на службу в качестве ее технического директора и главного инженера Владимира Григорьевича Шухова, с которым познакомился еще в Филадельфии на Всемирной выставке, куда в составе делегации русских ученых приезжал этот совсем еще молодой инженер. Двадцатисемилетний Бари сопровождал русскую делегацию и по достоинству оценил двадцатитрехлетнего Шухова. Удивительный этот тандем — гениальный инженер и незаурядный предприниматель с блестящим инженерным образованием — за тридцать пять лет альянса сотворил в России уйму добрых дел, воплотившихся, без преувеличения, в тысячах и тысячах разнообразных сооружений. Это нефтепроводы, газгольдеры, водонапорные башни, нефтеналивные баржи, водотрубные паровые котлы, шпалопропиточные заводы, доменные печи, комплексы зерновых элеваторов, более четырехсот железнодорожных мостов, полторы сотни гиперболоидных сетчатых башен, свыше 400 000 кв. м металлических сетчатых перекрытий, воздушно-канатные дороги, маяки, заводы-холодильники, дебаркадеры, водопроводы, вагоностроительные заводы.

Строительная контора Бари принимала участие в создании уникальных инженерных сооружений. В Москве это: световые фонари Верхних торговых рядов (ГУМ), Петровского пассажа, гостиницы «Метрополь», магазина Мюра и Мерилиза (ЦУМ), Музея Императора Александра III (ГМИИ им. Пушкина), перекрытие дебаркадера Киевского вокзала, Центральный холодильник возле Павелецкого вокзала, типография И.Д. Сытина «Русское слово», Московский почтамт, многоярусная вращающаяся сцена МХАТа, реконструкция Московского училища живописи, ваяния и зодчества, Высших женских курсов (МПГУ им. Ленина), депо, трамвайные парки, заводские здания.

И хотя злые, а, скорее всего, просто завистливые языки называли строительную контору Бари «конторой по эксплуатации изобретений Шухова», известно (и документально подтверждено, благодаря существовавшей в фирме «прозрачной бухгалтерии»), что бывали годы, когда заработки Шухова существенно превосходили доходы владельца фирмы. Процентные же бумаги и акции конторы Шухова держал наравне с членами семьи Бари, и получал солидные доходы.

А самое главное, в течение тридцати с лишним лет сотрудничества с фирмой Бари Шухов мог воплощать в жизнь все свои замыслы в небывало комфортных условиях, о которых творческий человек может только мечтать. Существует карта работ фирмы, составленная к тридцатилетнему юбилею ее существования. Сам Александр Вениаминович называл эту карту «Песней без слов» (Lied ohne Worte).

Много лет назад друг нашей семьи Никита Константинович Мельников совершил немислимый для себя поступок, вероятно, единственный подобный в своей жизни. Он аккуратно вырезал из библиотечного (!) журнала «Исторический вестник» (№ 9 за 1896 год) пожелтевшую страничку — фрагмент статьи

Б.Б. Глинского «Фабрично–заводская Россия». Мне было лет десять, я интересовалась многим, но только не историей собственной семьи. А Никита Константинович знал, как ценны даже крупницы сведений о людях, с которыми мы связаны кровно, особенно в нашу кастрированную эпоху.

Итак, Никита Константинович торжественно вручил мне пожелтевшую страничку, строго предупредил, чтобы я никогда не поступала с книгами подобным образом, и велел, во что бы то ни стало, листочек этот сохранить. Не особенно вникая в содержание статьи, загипнотизированная удивительным поступком и наставлениями Никиты Константиновича, страничку я сберегла. И привожу этот текст, занимательный для потомков Александра Вениаминовича:

... и мне удалось побывать на одном заводе, где введен совершенно новый строй рабочей жизни. Завод этот (котельный) — инженера А.В.Бари, беседу с которым я привел выше (увы, текста беседы нет, позволить себе вырезать из журнала целых две страницы Никита Константинович, конечно же, не мог). Я не стану по недостатку места описывать оригинальной постройки этого завода с его крышей в виде опрокинутой воронки широкого диаметра, еще не оцененной нашими инженерами, не стану описывать и, так сказать, лагерного, подвижного способа работать во всевозможных углах России фирмы почтенного инженера. Остановлюсь лишь на рабочем режиме, установленном энергичным хозяином. Рабочий день на заводе г. Бари измеряется всего лишь десятичасовой работой, причем это сокращение рабочего времени не имеет никакого влияния на размер заработной платы: она выше платы на остальных фабриках на 10%. Система штрафного наказания совершенно здесь изгнана, а увольнения рабочих практикуются только в исключительных случаях. Рабочие получают в день от завода совершенно бесплатно по 6 кусков сахара на человека и чай 2 раза в день, без всякого ограничения порции, а также обед, состоящий из двух блюд: 1) супа с мясом (порция 1/2 ф.) и 2) каши с салом, при чем хлеба можно потреблять вволю.

Я явился на завод экспромтом с одним из своих товарищей по работе исследования торгово–промышленной Москвы и регистрации фабрик и застал рабочих за обедом. Представьте себе длинный деревянный барак (к сожалению, несколько темноватый), где за столами, разделенные на десятки, с своими десятскими во главе, сидят тихо, чинно целых 700 человек. Ложки быстро мелькают в воздухе. И проголодавшиеся на тяжелом труде рабочие вволю насыщаются вкусным, здоровым и бесплатным обедом. Не думайте, чтоб их порции супа (при мне была картофельная мясная похлебка и каша) были на немецкий манер аккуратно развешаны и определены. Нет — хочет десяток еще есть десятский берет опорожненную миску, идет к буфетной стойке, и

фельдшер, наблюдающий за кухней, наливает новую: кушайте, мол, братцы, на здоровье, набирайте сил — они нужны заводу.

Не думайте, говорил мне при свидании А.В. Бари, чтоб мною руководили какие нибудь филантропические затеи. Я кормлю рабочих за свой счет потому, что мне это выгодно. Их еда (9–10 коп. на человека в день) меня не разорит, а напротив дает прибыль на количестве и качестве работ. Я экономизирую здоровье, время, расположение духа рабочих и тем выиграю только в барышах. Подумайте только: русский рабочий, существовавший доселе впроголодь и кормившийся разной мерзостью, вдруг получает вволю хлеба, мясной суп, кашу и излюбленный им чай, — подумайте только, каков отсюда должен быть подъем его духа, его самочувствие, и вы поймете, почему он работает у меня самым добросовестным образом, и почему случаи увольнения с моего завода редки. Здесь не возникнет вопроса о стачках, и я решительно не знаю, как отбояриться от предложения рабочих рук. Большинство моих рабочих живут у меня годами, а есть и такие, которые всецело принадлежат заводу уже десять — двенадцать лет и которые успели, благодаря существованию сберегательной кассы, скопить себе тысячный капиталчик.

Действительно, подъезжая к заводу, вы уже издалека видите большой анилаг, оповещающий о существовании сберегательной кассы государственного банка при заводе г. Бари. Еженедельно, по субботам, сюда приезжает чиновник ко времени расчета и принимает от рабочих сбережения, пока те еще не перешагнули порога конторы и не успели насладиться прелестью соседних кабаков.

Приемный покой при заводе представляет собою образец порядка и чистоты, но что важнее всего — заболевшие рабочие сохраняют свою заработную плату в течение первой недели в полном размере, а потом в половинном. Этот остроумный и гуманный порядок повел к тому, что количество больных на заводе значительно сократилось: рабочему нечего перемотаться, и он прямо идет к доктору. Два–три дня полного отдыха на хорошей пище быстро восстанавливают железное здоровье русского мужика, и он спешит из скучной больничной комнаты снова к своему молоту и станку. Семьи умерших также не остаются на миру: завод принимает на себя заботу о них, и вдовы, в виде пожизненной пенсии, получают половину годового заработка покойных мужей. Нечего и говорить, что европейски образованный инженер, г. Бари, сумел устроить на заводе усовершенствованные ретиряды, дезинфицируемые паром, отличную вентиляцию и прекрасное освещение всех отделений завода. В текущем году г. Бари имеет в виду устроить для рабочих квасоварню и бесплатную баню.

Два часа, проведенные мною здесь, на заводе, на живописном берегу Москвы реки, остаются лучшим воспоминанием моей московской по-

ездки: я видел уголок, где русскому чернорабочему живетъ сьтно и хорошо, где около него имеются интеллигентные люди, которые ценят его, и как силу нравственную, и как великопепное живое орудие производства. Если бы пример г. Бари, основанный на практическом и умном расчете, нашел себе побольше подражаний... Но пока, увы! Такие, как г. Бари, более чем малочисленны.

После смерти прадеда, случившейся через семнадцать лет после того, как Б.Б. Глинский посетил котлостроительный завод в Симоновой слободе, в газетах появились некрологи. Вот фрагменты нескольких текстов, опубликованных в газете «Утро России»:

...Достаточно сказать, что первый наливной пароход в России построен был по чертежам А.В. Бари. Первый паровоз с нефтяным отоплением был пущен на рельсы — тем же Бари.

...В Москве А.В. Бари устроил русско-американскую компанию керосинового завода, учредил московское нефтепромышленное о-во в Грозном, Мытищенский вагоностроительный завод и выстроил образцовый котельный завод близ Симонова монастыря. Организация «дела» Бари была так обширна и интересна, что он одновременно мог строить: мосты в Оренбурге, стальные баржи на Дунае и паровозные мастерские в Вологде.

...Особенно выдвинулся А.В. Бари, построив для казны все здания всероссийской выставки 1896г в Н.-Новгороде, огромный эллипс в Петербурге.

...При иных условиях, в другой стране А.В. Бари стал бы Пирпонтон Морганом или стальным королем — Карнеджи, но он был русский по духу, любил свою родину и, ворочая десятками миллионов, львиную долю своих доходов отдавал своим сотрудникам, рабочим и так щедро помогал бедным, что его стипендиаты буквально насчитывались сотнями...

7 апреля 1913 года

Памяти А.В. Бари (письмо в редакцию)

Я часто посещал покойного Александра Вениаминовича, который принимал меня, как и всех своих посетителей с особенной, только одному ему присущей радушностью. Однажды я пришел к нему с бывшим директором Дружковского завода г. Наскье; во время нашей беседы докладывают о приходе гр. Л.Н.Толстого. Поздоровавшись, Лев Николаевич заявляет, что он очень спешит, потому что у подъезда его дождается собака. А пришел он просить о приеме обратно на завод выздоравливающего после болезни рабочего. Александр Вениаминович довольно скромно заявил своему просителю, что еще вчера им сделано

было распоряжение о выдаче этому рабочему по 50 рублей в месяц, и чтобы он оставался дома три месяца до полного выздоровления, — и тогда только он будет принят обратно на завод.

Вот какое счастье выпало на долю мне и моему директору французу одновременно видеть перед собою гиганта—учителя, совместно со своим последователем, совершающими великий завет любви к малым сим.

И.М. Гальперин

10 апреля 1913

А вот краткое, но выразительное описание похорон прадеда:

Вчера состоялись похороны скончавшегося в ночь на 6 апреля известного инженера и заводчика А.В.Бари.

Гроб с телом покойного из дома его, в Архангельском пер., рабочими и служащими, в сопровождении множества почитателей умершего, был перенесен в лютеранскую церковь свв. Петра и Павла. Церковь и хоры, задрапированные черной материей, были полны молящимися, в числе которых находились многие представители науки и торгово—промышленного мира. Присутствовали профессора: Я.В. и А.Ф. Самойловы, С.А. Федоров, А.И. Сидоров, И.М. Гольдштейн, Л.Г. Крефер и Н.А. Алексеев; гг.: Г.А. Крестовников, Ю.П. Гужон, Г.М. фон—Вогау, Г.М. Марк, К.К. Арно, А.Д. Шлезингер, Прохоровы, Грачовы, Н.А. Куров, Ю.И. Поплавский и др., директора заводов, инженеры, многочисленные друзья и знакомые почившаго, служащие его и рабочие.

Заупокойное богослужение совершал настоятель церкви Р.К. Вальтер. Пели хоры — хор немецкого общества квартетного пения «Лидертафель» и русский хор слепых приюта общества призрения слепых детей, при звуках органа.

Р.К. Вальтер во время богослужения произнес речь, посвященную памяти А.В., на немецком, а затем на русском языках, в которой охарактеризовал покойного, как энергичного, неутомимого работника, безукоризненного и добрейшего человека, строгого к себе и снисходительного к другим. Соединенным хором после речи г. Вальтера было исполнено «Отче наш» и «Со святыми упокой».

По окончании богослужения гроб с телом А.В. вынесли из церкви рабочие и впереди траурной процессии несли на руках до самой могилы, на Введенских горах, где было совершено погребение. Громадную траурную процессию замыкали пять больших колесниц с венками. Среди венков были: «Дорогому хозяину — от его рабочих», «Дорогому и горячо любимому А.В. Бари — от рабочих котельного завода», от служащих этого завода, от главной конторы, от сочленов комитета по железнодорожным делам при московской бирже, от «глубоко—призна-

тельного Комиссаровского, технического училища», от общества для продажи изделий русского металлургического завода, от очень многих фирм и отдельных лиц...

13 апреля 1913

На одной из пяти цветочных колесниц был и венок, присланный в дом Бари с приложенной к нему и сохранившейся в семейном архиве скромной карточкой с лаконичным текстом: «Просят возложить на гроб. От неизвестных». Кто эти «неизвестные»? Наверное, кто-то из тех, кому прадед помог в трудную минуту.

Из воспоминаний бабушкиной сестры Евгении Александровны Нерсесовой, написанных ею в конце жизни:

Когда нас зачисляли в слушательницы курсов, старушка письмоводительница, дойдя до моей фамилии, вдруг вскочила, отвела меня в сторону и спросила очень взволнованно: «Скажите, Вы не родственница Александру Вениаминовичу Бари?» Я ответила, что это мой отец. Тогда она умоляла меня подождать, когда все разойдутся, чтобы ей поговорить со мной. Я подождала. Освободившись, старушка усадила меня и начала свой рассказ. «Я работаю здесь очень давно, жалование получаю небольшое, живу с сестрой Седовой. Она тоже работает, и мы с ней вместе поднимаем ее детей, воспитываем их. Нелегкое это дело, а тут болели дети, болела сестра, вышли из бюджета, наделали долгов. Надо было их платить. Продали все, что могли. Положение было безвыходное. Тут я услышала, что в Москве есть один человек, который помогает совершенно незнакомым людям в беде и никому не отказывает. У него можно попросить в долг даже большую сумму и долго не возвращать занятые деньги. Долго не могла я решиться, но все же пошла. Тяжело просить у совершенно незнакомого человека, зная, что вернуть нечем будет очень долго. Пришла в большую техническую контору на Мясницкой улице. С трудом решилась позвонить, и просила повидать Александра Вениаминовича. Меня очень вежливо провели в кабинет, и скоро вошел пожилой исключительно красивый человек. Он меня усадил, велел подать чаю (как сейчас помню, с лимоном) и как-то удивительно ласково и весело стал расспрашивать о моем деле. Вот уж поистине у него был дар помогать. Я не заметила, как рассказало ему свою беду, рассказала просто и легко, как будто знала его всю жизнь, и как будто он был для меня близким и родным. Я не заметила, как в руках у меня очутились нужные мне 500 рублей (большая сумма в то время). Я сказала, что вернуть смогу не раньше, как года через два, частями. Он на все соглашался, шутил, ободрял. Я удивилась, что он мне верит, совсем меня не зная. Он отвечал, что верит каждому, кто его еще не обманул. Я ушла как зачарованная, веселая и счастливая. Вся

тяжесть роли просительницы не существовала при нем. Как на крыльях летела домой... Я вернула ему свой долг частями года через два. Каждый раз шла к нему как на праздник, радовалась, что увижу этого удивительного человека. Он каждый раз шутил, смеялся, и так уютно было сидеть у него в кабинете. Когда я отдала весь долг, он мне его весь вернул обратно. Я возражала. Он сказал, что, когда мне эти деньги будет легко отдать, я могу отдать их любому нуждающемуся человеку вместо него. Я просила у него разрешения раз в год приходить посмотреть на него, поговорить с ним. Он и это разрешил. Мне слишком скучно было бы не встречать его больше. А Вы, душенька, попросите у него мне на память его фотографию. Я ее повешу возле своей кровати и буду смотреть на нее постоянно до смертного часа, буду радоваться на него. Счастливица Вы, что имеете такого отца»... Я в тот же вечер попросила у него фотографию для старушки. Он дал ее с удовольствием, но вспомнить ее он не смог, и как-то смущенно сказал, что у него очень много таких старушек... Когда он скончался, то трое суток дверь нашей квартиры была открыта, и шли без конца эти старушки, старички, калеки, сироты, шли прощаться с ним, плакали о нем, потеряли в нем отца и друга. Он и нищим на улице подавал как-то по-своему: пошутит, расспросит, даст закурить. Мне рассказывал артельщик его любимый, которому он поручал ходить и относить помощь по письмам, которые ему присылались ежедневно. Артельщик этот рассказывал с умилением, как хозяин просил относить не только деньги, а еду тоже и папиросы, если просители были курящими. Он вносил в эту помощь тепло и заботу. А когда мама скажет, что пора ему сшить новый костюм, он засмеется и предложит перевернуть старый. На себя ему было жаль тратить...

Однажды Зинаида Яковлевна, с юности настроенная материалистически, предложила мужу: — Если ТАМ что-нибудь есть, пусть первый из нас, кто умрет, во сне явится другому. — Соблюдая договоренность, после смерти своей Александр Вениаминович приснился жене, причем так явственно, что она утверждала, будто было это наяву, а не во сне.

— Как ты? — спросила мужа Зинаида Яковлевна.

— Запомни, Ида, тут не только каждое доброе дело, но каждое доброе слово горит немеркнущим светом, — ответил Александр Вениаминович.

В сознании внуков и правнуков (и далее по нисходящей) образ Александра Вениаминовича окружен ореолом. Судя по всему, небезосновательно. А Зинаиде Яковлевне предстояло прожить еще двадцать семь лет и умереть вдали от России на следующий день после своего девяностолетия.

Смерть прадеда ускорила бабушкино замужество. Через одиннадцать дней после смерти отца бабушка написала в дневнике:

...Папочки нет, ушла с ним главная основа нашей общей жизни, а все мы существуем, едим, разговариваем, одеваемся, обсуждаем наше лето! ...Некоторые считают, что когда есть такое ужасное горе — помогают заботы, впечатления и т.п. А мне кажется это все тягостным и как-то оскорбительным для памяти папочки. Или потому так, что я одинока, — вижу, что Бибе, Жене, Лиде — приходится думать и заботиться о детях, т.е. строить планы жизни, — а у меня в душе — смерть. Может быть, дети — это спасение?.. Мужья их утешают, поддерживают в их горе, — а дети заставляют жить, заботиться о жизни... Может быть, это «закон жизни» — облегчает горе?

И 15 сентября 1913 года бабушка с дедушкой обвенчались. Бабушкин брак семья Бари единодушно признала мезальянсом, семнадцатилетнее дедушкино служение казалось родственникам не более чем настырным ожиданием богатой невесты. Замужество тридцатичетырехлетней бабушки отчего-то не укладывалось в сознании семьи. Не знаю, сумели ли развеять семейные подозрения последующие сорок лет, прожитые дедом и бабушкой в дружбе и взаимной преданности.

Дедушка мой, Семен Борисович Айзенман, родился в Ялте 7 июня 1879 года. Мать его Клара Михайловна рано рассталась с мужем и растила детей своих, сына и дочь, одна. Растить детей помогал брат, тот самый инженер Григорий Фарбштейн, сотрудник конторы Бари, с семьей которого и приехал в Нижний Новгород мой семнадцатилетний дедушка. Мать и сестра поначалу тоже не одобрялись этому браку. Но скоро все утряслось, и бабушка подружилась со свекровью и золовкой. В письме, отправленном из города Армавира, где жили дедушкины родные, в Сорренто, в октябре 1913 года, Мария Борисовна написала брату:

К женьтибе твоей мы уже тоже привыкли, и у меня уже начинает развиваться какое то родственное чувство к твоей жене. Ее письмо произвело на нас с мамой замечательно приятное впечатление. Если у нее наполовину такой спокойный и мягкий характер, как мягко ее письмо и спокоен почерк, то все всегда будет хорошо.

Отправляясь в свадебное путешествие, бабушка мечтала показать мужу любимую свою Италию. Но, видно, не очень везучий человек был мой дедушка, потому что, едва добравшись до Флоренции, заболел паратифом. Десять дней метался в жару и бреду. Сохранились температурные сводки тех дней — диаграммы с островерхими пиками, аккуратно вычерченными синим и красным карандашами температурными пиренеями. Стараясь успокоить больного и молодую его жену, призвать их к терпению, флорентийский доктор, знавший несколько русских слов, во время визитов своих повторял: — Тэрпиньо, тэрпиньо... — Так это «тэрпиньо» и прижилось в семейном лексиконе.

Дедушка болел, а бабушка за ним ухаживала, хоть и сама чувствовала себя неважно, а временами отвратительно. И в результате плохого бабушкиного самочувствия, уже в Москве, 29-го, а по старому стилю 16-го июня 14-го года, явилась на свет тетушка моя Татьяна. То есть Таня побывала в Италии еще до своего рождения. Конечно же, бабушка предвкушала, как привезет дочь в эту изумительную страну и покажет ей все ее чудеса. Увы, случилось иначе.

Вернувшись из не слишком-то удавшегося свадебного путешествия, бабушка с дедушкой поселились в двухэтажном доме с мансардой, купленном прадедом в 1901 году. Дом этот стоит в хорошем месте, на пересечении трех переулков: Архангельского, Кривоколенного и Потаповского. При доме двор и флигель XVII века — скромная городская усадьба. По достоверным сведениям во флигеле располагалась некогда масонская ложа, которой в течение ряда лет принадлежал храм Архангела Гавриила (Меншикова башня). В те давние времена стены храма украшали масонские знаки, впоследствии сбитые. Позже здесь же располагалось консульство США. А в советские времена на первом этаже дома Бари много лет обитало представительство винно-водочного предприятия «Арарат». Ну а совсем недавно на стене дома появилась мемориальная доска следующего содержания:

*Памятник истории и культуры
Жилой дом Фроловых — А.В. Бари
XIX–XX вв.
Архитектор Ф.Ф. Воскресенский
Здесь в 1918 — 1934 гг. жил и работал инженер
Владимир Григорьевич Шухов
Охраняется государством*

Любопытно было бы узнать что-нибудь о Фроловых, связанных отныне с семейством Бари тире и мемориальными узами. А семья Шуховых, изгнанная из собственного дома на Новинском бульваре, переехала в Архангельский переулок после революции. В глубоко советские времена, полвека спустя после вселения в дом московских Бари, лубянское ведомство надстроило дом тремя этажами, и в таком виде он сейчас и существует.

В 1913 же году, после возвращения из Италии, на первом этаже дома у бабушки с дедушкой образовалось свое жилье — отдельная небольшая квартира. С детской, разумеется, комнатой, в которой поселилась новорожденная моя тетушка. Рождение дочери стало радостью необыкновенной. Обоим родителям было по тридцать пять, и можно представить, как они оценили и ощутили свершившееся счастье. Тем более что тетушка моя оказалась прелестным созданием. Ожидая младенца, бабушка представляла его сыном и писала в дневнике: *А как я его уже люблю! Такого маленького, черненького, слабенького.* А тетушка родилась крепкая, золотисто-кудрявая. Всю жизнь она была очень миловидной:

хорошенькой девочкой, прелестной девушкой, привлекательной женщиной. Но главное — обладала оригинальным умом, творческой энергией и талантом.

До самого рождения моего отца, произошедшего в непростом 1918 году, бабушка вела дневник, в котором записывала эпизоды Таниного детства и каждодневные достижения маленькой дочери. Одна из первых «таниных» записей в бабушкином дневнике:

9 июля Семен написал Тане стихи, — первые стихи ей!

9.VII .14 — Бородино

Я, Таня, был сейчас в лесу.
Вот первый гриб тебе несусу.
Ах, как там пахнет земляничкой
И красною лесной гвоздикой.
Бегут извилисто тропинки
Паук развесил паутинки.
Я взять тебя с собой не мог
И потому для милой дочки
В дневник пишу я эти строчки.

Как уже было сказано, Таня родилась 29 июня 1914 года, не подозревая о том, что накануне ее рождения, 28 июня, человек по имени Гаврило Принцип, член террористической организации «Молодая Босния», в городе Сараеве убил наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Убийство это, как известно, послужило поводом для того, чтобы через месяц, 1 августа 1914 года, Германия объявила войну России. Короче говоря, для молодой семьи бабушки и дедушки, как и для бесчисленного множества других семейств, началась иная жизнь, совсем не та, которой жить предполагалось. Вспоминаются строки Ахматовой:

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.

Атмосфера, неуклонно сгущавшаяся со дня смерти Александра Вениаминовича, в марте 18-го года вытолкнула маленькую семью Айзенман из лона семейства Бари. Справедливости ради надо заметить, что характер у бабушки моей был не простой. Судя по ее дневникам и переписке с сестрами, была моя бабушка человеком не гибким, к компромиссам не склонным, не всегда снисходительным к окружающим. От тех дней сохранилась мольба о помощи, обращенная бабушкой к другу, Павлу Давыдовичу Эттингеру:

Большая просьба к Вам, Павел Давыдович! Может быть, поможете нам? Нас выселяют из нашей квартиры. Выселяют мои родные. Они решили взять верхнюю квартиру всю под контору, а нашу квартиру — для себя. А мы... — куда хотим. В 4–5 дней мы должны им освободить квартиру. Будь я здорова — еще не так жутко было бы. Может быть, Вы сегодня порасспросите или разузнаете у кого-либо, — хоть полквартиры, 3 комнаты, но без мебели. Нам и мебель некуда девать. Пыталась Вам звонить, но «аппарат испорчен». Если можно — известите сегодня же, есть ли хоть что-нибудь в виду или нет, — чтобы уж знать.

В тяжкие времена, притом, что бабушка была на четвертом месяце беременности (ожидалось рождение моего отца), пришлось покинуть фамильное гнездо. Бабушка с дедушкой растерялись. Непрактичные, в борьбе с житейскими бурями еще не закаленные, они согласились на первое попавшееся жилье, и на всю оставшуюся жизнь поселились в темной и сырой квартире в Мансуровском переулке. Квартира эта стала родной для всех нас, а тетушка моя прожила в ней семьдесят пять лет жизни, вдобавок к тем четырем годам, что провела в Архангельском переулке. Поселившись в Мансуровском, дедушка с бабушкой окунулись в совсем иную жизнь, чем та, которой жили прежде. Приблизительную картину ее могут дать несколько реальных текстов.

Удостоверение

Настоящим Д./К. удостоверяем, что у гражд. Семена Борисовича Айзенмана, проживающего в д. № 5 по Мансуровскому пер., в кв. № 2, родился сын, которому около 1 1/2 м-ца.

Выдано на предмет получения продовольственной, хлебной, керосиновой и детской продовольственной карточки.

За председателя — подпись

Секретарь — подпись

Печать: Домовый Комитет д. № 5 по Мансуровскому пер. 1–го Пречистен. Комиссариата.

Домовый Комитет № 155

д. № 5 по Мансуровскому пер. 1–го Пречистен. Комиссариата.

Д./К. 3 155 по Мансуровскому п.д.5 Пречистенск. Комис. № 46

Удостоверение

Настоящее удостоверение выдано Семену Борисовичу Айзенману, проживающему Пречистенского Ком. по Мансуровскому пер. д.5, кв. 2, в том, что он имеет двух малолетних детей — 6 мес. и 4–х лет, — и нуждается в керосине для быстрого согревания воды, молока и другой пищи.

Марта 16 дня 1919 г.

За Председателя Д.К. — подпись

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение выдано Татьяне Семеновне Айзенман 5-ти лет в том, что она пользовалась моим лечением в следствие нарывов на ногах (характера *impetigo*), полученных из-за отсутствия у нея крепкой обуви, что обусловило промачивание и остуживание ног.

Нарывы и в настоящее время не прошли еще. Для полного излечения и устранения возможности повторения болезни Татьяна Айзенман нуждается в крепкой и теплой обуви.

1.IX.19

Врач В.Всесвятский

Печать: Московский Губернский Совет Р. и Кр. Д.
Руковишниковская лечебница

Неотправленное письмо бабушки матери Кларе Михайловне и сестре Мане в Армавир:

21 марта/3 апреля 1919 г.

Дорогие мама и Маня!

Не знаю, дойдет ли до вас это мое письмо. Но хочется хотя бы дать вам о себе весть, если нельзя получить и о вас. Может быть, и дойдет.

Жить нам очень трудно. Но, напрягая все физические, душевные и денежные силы и средства, нам удастся пока весьма быть здоровыми. Таня даже удивляет всех своим здоровым видом (красная щеки). Алеша тоже здоровый мальчик. Сегодня ему исполнилось семь месяцев. Он особенно трогателен своей приветливостью и веселостью. Мы очень часто вспоминаем вас и именно в связи с детьми. Жалеем, что вы их не видите. А мы с Олей очень устали и физически и морально. Хотя у нас есть одна прислуга, но работы так много (добывание продуктов), что нам приходится без усталости работать. Планов на будущее не имеем, живем сегодняшним днем. Очень хотелось бы знать, что с вами. Здоровы ли.

Я продолжаю служить в Центротекстиль. Жалованья получаю 1360 р. в месяц, а на днях оно будет увеличено до 1750 или даже до 2-х тыс. Но мука стоит 1200 — 1400 руб. пуд, фунт конины 14 — 17 руб., масло 110 — 150 руб. фунт. Вот тут и живи. Продаем понемногу вещи, а теперь должны будем особенно усиленно этим заняться, так как кроме моего жалованья и продажи вещей впредь никаких доходов не предвидится. Очень боялись мы холода в эту зиму. Но, закрыв и почти не отапливая две из пяти наших комнат, мы протопились кое-чем, и хватит дров и до лета. Но по временам очень зябли. По утрам бывало + 6 градусов. Но потом стали больше топить, и стало теплее. К счастью, одна комната, в которой у нас детская, значительно тепле. О многом бы хотелось и рассказать и расспросить, но всего не скажешь...

Неотправленное письмо бабушки сестре Бибе в Казань:

Москва 28 апрел /15 мая 1920 г.

Дорогая моя Бибочка! Как давно ты мне не писала. Кажется, больше чем 2 месяца... Соскучилась я по Тебе. Как давно это было, когда мы с Тобой виделись... Идут годы и такие тяжелые, а мы вдали друг от друга и так редко обмениваемся письмами. Переживаем такую тяжкую жизнь и даже не можем поделиться друг с другом своими переживаниями. Скоро совсем старые станем от этой жизни...

У меня все по прежнему мало времени и много дела, потому не писала давно. Меня связывают дети, т.е. Алеша. Его нельзя сейчас ни на минуту оставить одного. Вот неделя, как его выпустили из детской, он бегает и по другим комнатам, падает и ушибается. Он живой и капризный. Оба томятся в комнатах, а выходим — самое большее на 1 1/2 — 2 часа на бульвар. В жару, когда полный разгар лета, — конечно, это тяжело. А вопрос с дачей у нас все еще в зачаточном состоянии. Ехать надо, — слишком у нас плоха квартира, сырая, тесная, грязная; ни сада, ни двора.

Продажа вещей идет плохо. Дров нет и видов на другую квартиру на зиму тоже нет. Получили, наконец, вести из Армавира. Слава Богу они там здоровы и благополучны, хотя и пережили очень много. Город 5 раз переходил из рук в руки, бои шли в самом городе; много было у них трудного, но все же сейчас, да и раньше у них сытнее и лучше, чем здесь. Они радуются приходу советской власти, так как «слишком уж досадила всем добрармия». Зовут нас приехать. Но мы, несмотря на самое горячее желание вырваться, видим, что делать этого нельзя. Отовсюду приходит слышать, что хуже всего тем, кто оторвался от своего дома, где бы он ни был...

Неотправленное письмо бабушки дедушкиным родным в Армавир:

Милые мама и Маня! Получили ваше письмо с оказией. Не писала я — потому, что никогда не имею времени. Всегда усталая, всегда спешка, недосыпание и пр. Едва ли вы в состоянии представить себе нашу жизнь. Это не жизнь, а лишь существование с постоянными заботами и усилиями не потонуть, продержаться, как-нибудь насытиться.

Тяжело писать о нашей жизни! Не хочется жаловаться, а между тем, что можно написать утешительного?! Разве только то, что у нас не было сыпного тифа, нас не обокрали, Семен ни разу не был арестован... Да, писать трудно.

Не хочется вас огорчать описанием нашего существования... Мы, как две замученные лошади везем-везем тяжести без отдыха и без надежды на отдых; правда, везем в ногу, вместе, дружно, — но радости

такая непосильная, трудная, тревожная, угнетающая жизнь не может дать. Боюсь, что скоро притупятся в нас последние чувства и мысли. И сейчас мы — неузнаваемы, — и внешне и внутренне...

Думаю, что вы понятия не имеете о нашей жизни, если спрашиваете о книгах, общественной деятельности и т.п. Не только не видели ни одной книги, но и не знаем есть ли, появились ли они. Наша жизнь — это жизнь чернорабочих, ничего общего не имеющая с жизнью культурных людей. Мечты не идут дальше того, чтобы поесть, помыться, одеться, согреться и выспаться.

Увы, все это осуществляется редко и в малой степени. — Теперь утешением является то, что мы на даче. У нас лето и лето жаркое. Мы отдыхаем от сырости, мокрых заплесневелых стен и холода и моемся и носим на себе легкая одежды... Ну, а в остальном плохо: голод, и заботы, и безденежье, и страх за будущее и всякия уплотнения и пр.

Едим мы плохо. Каждый день то же: картошка, пшенная каша и какой-нибудь суп. Днем суп и картошка, к ужину каша и молоко к ней. И какими трудами добывается эта картошка, это пшено, и молоко! — Семен приезжает на дачу только по воскресеньям и всегда нагруженный тяжестями, измученный до последней степени. Про него могу сказать, что он в этой жизни — герой.

Работает отчаянно много, ходит по Москве громадные концы и, конечно, всегда недоедая. Кроме того, обязанности «председателя» домового комитета предполагают в себе обязанности дворника, разсылного и т.д. так что и это он должен исполнять... И он никогда не жалуется.

Ну, а я не героиня, нет! Я постоянно плачу от этой жизни и часто теряю последнее мужество и охоту жить. Давным давно забыты и рояль, и живопись, и книги. Даже вспомнить странно, что все это было когда-то моей жизнью. Книг я не видала года 2, (очень многие из наших продали; особенно художественные издания), а газета меня интересуется только, как обертка и для надобностей Алеши!..

Можно ли еще долго прожить такую жизнь?! Возможно, что да, но, конечно, подобно тому, как высохли и потухли наши лица, высохнут и потухнут наши чувства и мысли...

Все тяжело и невесело. Однако сыпным тифом не болели, обокрадены не были, дедушку арестовали лишь однажды и наутро, после ночи, проведенной на Лубянке, отпустили восвояси. Более того, имелась прислуга, и даже ездили на дачу. С трудом, но что-то продавали. А самое главное — все жизненные тяготы преодолевали в ногу, вместе, дружно. К тому же, от разного рода реквизиций семью спасали охранные грамоты, вроде нижеследующей, сохранившейся в семейном архиве:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ–ЖИВОПИСЦЕВ
В МОСКВЕ «СОЖИВ» Гранатный переулок 2 кв.20
№ 1247 29 октября 1918 г.

ОХРАННЫЙ ЛИСТ

На основании удостоверения за № 5165 от 24 августа 1918 года, выданного ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СОЮЗУ ХУДОЖНИКОВ–ЖИВОПИСЦЕВ Москвы НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ по ПРОСВЕЩЕНИЮ А.В.ЛУНАЧАРСКИМ, СОЮЗ удостоверяет, что драпировки, ткани, ковры, костюмы, фарфор и прочие предметы и аксесуары для живописи в мастерской художника Бари–Айзенман Остоженка Мансуровский пер. д. 5 кв. 2 РЕКВИЗИЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА Игнатий Нивинский

Действительна до 1 января 1919 года

Уплотнения бабушка боялась не зря. В начале 20–х настала тягостная, так никогда и не закончившаяся коммунальная пора. Хотя встречались коммуналки и похлеще нашей. Наша–то была более или менее вегетарианской. Кстати говоря, давно уже пришла пора создания коммунальной антологии, пока еще живы участники и очевидцы, пока дети и внуки хранят семейно–коммунальные апокрифы. Ведь опыт такого рода (в каждом отдельном случае уникальный) имеется у одних только советских граждан.

Как бы то ни было, но годы Гражданской войны и военного коммунизма прожили, наступил нэп. К этому времени бабушка нащупала свою нишу — организовала детскую группу, поначалу широкого профиля, о чем упоминает Евгений Пастернак в комментариях к переписке родителей в книге «Существованья ткань сквозная»:

Какое–то время меня водили в группу художницы и дедушкиной ученицы Ольги Александровны Бари, где занимались ритмикой и рисованьем, водили гулять на скверы у Храма, чем–то кормили.

Позже группы бабушкины стали исключительно рисовальными. Несмотря ни на что, московская интеллигенция продолжала учить своих детей не только насущному. В своей книге «Арбат, дом 4» (М.: Новый хронограф, 2006), искусствовед Татьяна Павловна Каптерева–Шамбинаго, вспоминая бабушкины уроки, пишет: *Особая роль принадлежала общению с Ольгой Александровной, полной жадного интереса к жизни, к нашей культуре, и словно вечно молодой.*

Передо мной блокнот 30–х годов с именами множества учеников, посещавших бабушкины группы, собиравшиеся в знакомых домах («у Россолимо, у Василенко, у Запорожцев, у Ильзен»), давно уж не существующие, но тем более милые сердцу арбатско–остоженские адреса, шестизначные номера телефонов.

По-разному сложились судьбы этих детей, мальчики в большинстве своем канули на войне, но кое для кого бабушкины уроки оказались стартовой площадкой для будущей профессиональной жизни. Боря Биргер, Таня Лифшиц, Ника Гольц, Оля Немчинова стали профессиональными художниками, Женя Завадская, Таня Каптерева–Шамбинаго, Машура Милотворская — искусствоведами, Зига Шмидт — ученым–историком. Однажды встретился мне доктор математических наук, радостно вспоминая бабушкины уроки.

Бабушка с дедушкой старались устроить папино и Танино детство по образу и подобию своего собственного. Устраивали утренники и вечера, ставили всамделишные спектакли с костюмами, декорациями, программками и зрителями. Автором стихотворных пьес неизменно бывал дедушка, актерами — дети друзей, бабушкины ученики, кузины и кузены.

Сохранилась книжечка, в которой бабушка записывала «культурные мероприятия», посещавшиеся семьей в течение десяти сезонов — с 1929 по 1939 год. Недели не проходило без выхода в концерт, на поэтический вечер или в театр. Приоритет принадлежал фортепьянным концертам. Эта записная книжечка не просто ценный документ, но увлекательное и напряженное чтение. По записям можно реконструировать целую эпоху культурной жизни Москвы. А если представить себе, на какие годы пришлась эта эпоха, каков был фон, каково душевное напряжение граждан, что происходило в стране, и что претерпевали люди на этом временном отрезке, еженедельные бабушкины записи обретают едва ли не драматическое звучание.

Спасали семью летние месяцы. Бабушка с дедушкой научили детей наслаждаться природой, насыщаться красотой ее и силой. Даже мне, родившейся спустя десятилетия, канувшие в вечность летние сезоны 20–х, 30–х годов, прожитые нашими на Волге, недалеко от Казани — в татарских деревнях Нижний Услон, Матюшино и Бахчисарай; на Черном море — в Геленджике, Архипосиповке, Феодосии; в Мценске, в Тарусе, в Ейске, видятся издали не забытыми и безликими, а яркими и вполне конкретными. И не только потому, что живы чудесные бабушкины альбомы (зимой бабушка почти не рисовала, зато летом погружалась в эту стихию с головой), но и благодаря рассказам и ярким воспоминаниям, десятилетиями сохранявшимся в семье.

Кстати говоря, у времени в обтянутых серым холстом и сшитых из бумаги разных оттенков серого, палевого и коричневатого цветов бабушкиных альбомчиках своя собственная драматургия. Купив у Мюра и Мерилиза (или же в магазине Дациаро на Мясницкой) аппетитные эти изделия в спокойные, благополучные времена, бабушка бумагу не экономила, не заполняла изображением все страницы подряд, а выбирала для очередного рисунка фон подходящего оттенка. А когда времена переменились, и на долгие десятилетия наступил бумажный дефицит, бабушка продолжала рисовать в тех же самых альбомчиках.

Таким образом, время в бабушкиных альбомах то ли растянулось, то ли сжалось, сразу и не скажешь. Вслед за наброском, датированным одним из

900-х или 10-х годов, следует пастель 46-го года, за 46-х — карандашный рисунок 29-го или акварель 34-го. Художник то стар, то снова молод, то он на склоне лет, то в апофеозе зрелости, диаметрально обстоятельства его жизни и состояния души. Сложные и сильные чувства возникают у человека, перелистающего не страницу за страницей, но эпоху за эпохой. А если человек этот внучка или правнучка художника?

Оказавшись летом 1927 года в Геленджике, бабушка писала давнему своему другу и вечному корреспонденту Павлу Давыдовичу Эттингеру: «А пока скажу, что я счастлива и часто мне не верится, что это действительно «я». Какое наслаждение жить у моря! Вечное солнце, веселое, радостное».

Судя по папиным и тетушкиным рассказам, до войны в доме нашем бывали гости. Не только сохранившиеся, не канувшие и не сгинувшие давние друзья бабушки и дедушки, но и молодежь. Часто приходили жившие неподалеку, на Остоженке, друзья и соседи, брат и сестра Гроссман: Эмик (Эммануил) — ученик Нейгауза, красавец и фортепьянный лауреат, и сестра его Эмма — инженер-металлург. Эмик играл на бабушкином рояле, прекрасном инструменте, не экспроприированном в свое время благодаря одной из охранных грамот. Заходил Кирилл Кондрашин, Танин одноклассник и будущий дирижер, читал вслух бестселлер — только что изданные «Двенадцать стульев». Забегали кузены и кузины, навещали бабушкины ученики разных призывов, бывали Танины друзья и подруги, папины товарищи — молодые художники, студенты Училища памяти 1905 года.

Через много лет, в 1952 году, Танина подруга с подростковых еще времен, с музейного искусствоведческого кружка, Валя Старикова, волею судьбы поселившаяся навеки в далеком Хабаровске, писала бабушке:

Дорогая Ольга Александровна! За последний год я окунулась здесь во мрак, такой холод и голод духовный, а подчас и физический, что Вы, Ваш дом кажутся каким-то лучезарным воспоминанием из жизни великих людей. Поэзии каждого Вашего дня здесь вполне хватило бы на год.

Два последних лета своей жизни бабушка с дедушкой провели в Звенигороде. Таня сняла для отца и матери дачу на Городке, на высоком берегу Москвы-реки. По выходным дедушка навещал бабушку, а в будние дни писал письма — о делах текущих и о жизни вообще:

...мы с тобой, как Филимон и Бавкида, гармонично едим кашу с молоком и картошку с салатом и созерцаем без конца ни с чем несравнимый вид на замоскворецкие дали, подаренные нам нашей доброй дочерью. Жизнь наша была безоблачна даже при самом большом сгущении облаков (бывало, что значительно «выше среднего») и при ветрах западном и других...

Рисовала бабушка до тех пор, пока что-то видела. Последние ее пастели — розовые лесные тропинки и голубые небесные просветы среди оранжевых звенигородских сосен. Последняя ее фотография за полтора года до смерти сделана мальчиком Сашей Дорошевичем (сыном подруги всей Таниной жизни — Клары Петровны Полонской). Бабушка, сидящая в кресле на фоне звенигородских сосен, такая же фотогеничная, как и отец ее, красавец Александр Бари, выглядит на фото замечательно. Бабушкино лицо светится юмором, ясно, что отношение ее к юному фотографу самое доброе. На последней фотографии бабушка на целую вечность старше своих изображений на роскошных римских фото начала девятисотых годов, но ничуть от этого не проигрывает.

Да, рисовала бабушка до последней физической возможности, несмотря на катастрофически исчезающее зрение. Но за два с половиной года до смерти ей пришлось пережить гадость, оценить которую по достоинству трудновато человеку, не жившему в то благословенное время. В конце войны бабушка, по неизвестным мне причинам не сделавшая этого прежде, вступила в Московский союз художников (МОСХ). Необходимо было обрести статус, позволявший изменить категорию продовольственных карточек (бабушка получала карточку иждивенческую, а членам творческих союзов полагалась рабочая). Среди семейного хлама сохранились и такие бумажонки:

*Р.С.Ф.С.Р.
МОСКОВСКИЙ СОЮЗ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ
Москва 1, Ермолаевский пер., № 17.
Телефоны Д-1-45-36, Д-3-17-41, Д-1-51-19,
главная бухгалтерия Д-1-51-19*

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение выдано художнику БАРИ-АЙЗЕНМАН Ольге Александровне в том, что она состоит членом Московского Союза советских художников по живописной секции с 20-го апреля 1945 года.

Членский билет № 1429. Выдано взамен членского билета.

*Председатель Правления Московского Союза Художников
Народный художник СССР С.Герасимов
Управляющий делами М. Шахунянц*

И вроде бы дела ее МОСХовские шли неплохо — в 47-м году, в дни пышного празднования восьмисотлетия Москвы, бабушке даже предоставили на улице Горького витрину, в которой она смогла выставить свои работы. Как вдруг, через пять с половиной лет, в октябре 51-го года, в самом разгаре борьбы с космополитизмом, бабушка получила извещение. Вернее, отрывок бумажного листа, третью или четвертую бледную машинописную копию. Бабушкины имя и отчество в документе этом вписаны от руки фиолетовыми чернилами. В это время бабушке шел семьдесят третий год.

Уважаемый товарищ Ольга Александровна.

Извещаем Вас, что при утверждении состава Московского Союза советских художников Оргкомитетом ССХ СССР, Вы не утверждены членом МОССХ и отчислены из состава Союза в соответствии с разделом 4-ым Устава МОССХ

Основание: Постановление Секретариата Оргкомитета ССХ СССР, протокол № от 12/Х 1951 г.

ПРЕЗИДИУМ МОСХ

Судя по копирке, такие же оплеухи получили в те дни многие художники. Отчасти представляя себе то время, уверена, что для большинства жертв борьбы с космополитизмом потеря МОСХ`овского статуса стала настоящей бедой, а для кого-то, быть может, и катастрофой.

С бабушкой Ольгой Александровной и дедушкой Семеном Борисовичем, мы ненадолго пересеклись в этой жизни, и я кое-что о них помню. Например, увлекательные дедушкины импровизации про мальчиков Колю и Васю и про подружек их Кланю и Мотаню. И бабушкины рассказы про то, как «мы с Бибочкой были маленькие» и как «Таня с Алешей были маленькие». Я усаживалась на низенькую корявую скамеечку у бабушкиных ног и выслушивала очередную историю. Например, о том, как ко дню рождения «папочки» (прадеда Александра Вениаминовича) шестилетняя Биба решила выучить трехлетнюю Лелю грамоте. А для того, чтобы вышел сюрприз, учились под столом, занавешенным до самого пола скатертью. И в день рождения отца, а именно 6 мая 1882 года, бабушка вышла на середину комнаты и совершенно свободно, не по слогам, прочла целую страницу.

Но больше доисторических приключений бабушки и ее старшей сестры меня интересовали более близкие и понятные истории из папиной и Таниной жизни. Про то, как летом на даче восьмилетний Алеша каждое утро отправлялся за молоком к молочнице. Молоко наливали в крынку, обливную, коричневую, с ручкой и высоким полосатым горлом. Однажды Алеша шел лугом, распевал песню, любовался небом («небесные представления» всю жизнь были любимым папиным зрелищем) размахивал крынкой, не заметил привязанного к колышку теленка, столкнулся с ним на полном ходу, и кусочек крыночного горлышка откололся. Я горячо жалела теленка и тут же рассматривала ущерб, причиненный крынке давним столкновением папы-мальчика с мальчиком-бычком. Потому что красивая полосатая крынка все еще жила в доме, более того, она прочно вошла в наш обиход и стала равноправным членом семейного натюрмортного фонда. Все бабушкины и папины ученики, и я, а спустя годы и моя дочь множество раз рисовали и писали эту крынку.

А еще бабушка рассказывала про то, как четырехлетняя Таня в день своего рождения оказалась в прекрасном, полном цветов саду. И хозяйка сада разрешила Тане рвать все цветы, в любом количестве, и собрать себе в подарок

букет из всего, что ей понравится. Таня пришла в восторг, долго бродила по саду и собрала небольшой букет, поразивший гостей и хозяев чувством меры и изысканностью. Из всего садового разноцветья Таня выбрала одни только сиреневые и лиловые цветы разных оттенков.

И тем же летом, в конце его (по старому стилю) или в самом начале осени (если по новому), когда Таня снова гуляла в саду, к ней подошел мой молодой еще дедушка, протянул большую шоколадку и произнес значительно и очень торжественно: «Поздравляю тебя, Таня, сегодня у тебя родился брат! Теперь ты старшая сестра». Брат родился третьего сентября в подмосковном Быково, на даче. Традиции еще были живы, и роды принимала семейная акушерка. А откуда в 18-м году взялась шоколадка, этого я не знаю, тоже, наверное, из прежнего времени. Я заказывала бабушке сюжет, она рассказывала историю и смотрела на меня так же пристально и с тем же юмором, как смотрит с фотографии мальчика Саши Дорошевича.

Удивительный букет, собранный Таней в самом начале жизни явственно просигналил не только о прекрасном ее вкусе, но и о будущем предназначении. Если родившийся тем давним летом брат стал художником, то старшая его сестра, тетушка моя Татьяна, выбрала в качестве жизненной стези искусствоведение. Личностью своей Таня увлекала, сама страстно увлекалась людьми и умела самозабвенно дружить. Ярким, оригинальным, сложным человеком была наша Таня. При маленьком росте и прелестной внешности, увенчанная золотистым облачком вьющихся волос, походкой тетушка моя обладала мужской, шагала широко, засунув руки в карманы, и лишена была таких необходимых для благополучного прожития женской жизни свойств, как гибкость и способность к компромиссу. Она, не задумываясь, вступала в споры и всегда готова была к противостоянию. Кажется, что и сама временами досадовала на отсутствие в характере одних качеств и наличие других. Несомненно одно — тетушка моя Татьяна была Личностью!

Характер человека — его судьба. Главным в Таниной жизни, а значит и в судьбе, стало творчество, работа. Все остальное существовало на задворках. Блестящий Танин ум рождал идеи, совершал открытия и находки. Но пробивать блистательные свои озарения, извлекать практическую пользу, добиваться материального, социального эквивалента Таня сначала не умела, а потом и не хотела. Попытки поступить в аспирантуру и защитить диссертацию (Таня была гордостью педагога своего, профессора Натальи Николаевны Коваленской) успехом не увенчались. Неудачные для подобной задумки времена стояли на дворе.

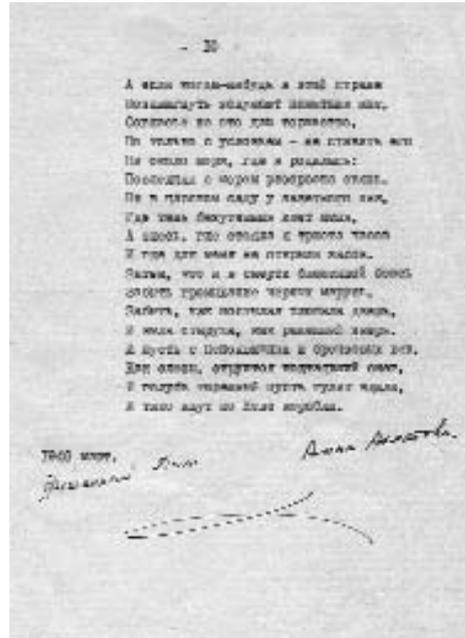
Сохранилось письмо, в котором изложена история единственной Таниной попытки осуществить общепринятую карьеру, письмо, написанное в поисках справедливости самому товарищу Сталину еще в октябре 44-го года. Цитировать письмо вождю целиком не вижу смысла, хотя сам по себе жанр «письма товарищу Сталину» достаточно интересен. Привожу выдержку, в которой изложено простодушное Танино предположение:

Одновременно со мной были отклонены Наркомпросом — без каких бы то ни было причин — еще пять кандидатов в аспирантуру филологического факультета, как и я, отличники, выдвигавшиеся кафедрами, деканатом и ректоратом. Ввиду того, что все они, как и я, евреи, возникает предположение, что именно это и является причиной отказа.

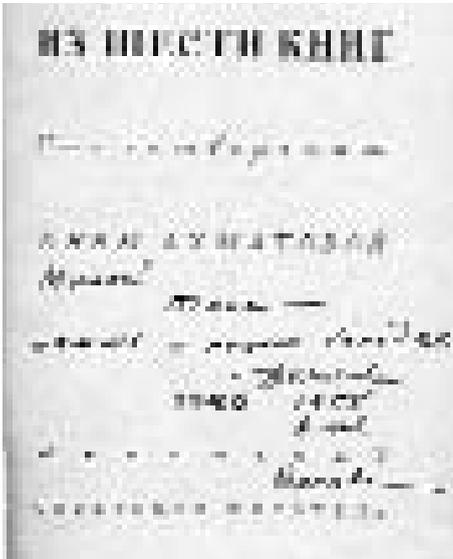
К счастью для семьи отослано письмо не было, так и пролежало более полувека вложенным в пожелтевший конверт, до тех пор, пока не попало в мои руки. Ну а после войны наступили времена еще более жесткие в том самом смысле, о котором писала Таня своему предполагаемому защитнику.

Но, невзирая на разного рода пакости, Таня состоялась как глубокий и тонкий знаток искусства в широком смысле этого слова и автор удивительных исследований в области искусства народного. Имя ее высоко котируется среди специалистов. Вот что написала о нашей Тани искусствовед и многолетний ее друг Елена Борисовна Мурина, предваряя публикацию статьи «О художественном пространстве в народном искусстве» (Вопросы искусствознания. М., 1994. № 4/93), вышедшую, увы, через полгода после Таниной смерти:

Речь идет о личности крупной и даровитой, но закрытой, далекой от «общественности», или, как она любила говорить, от «ярмарки тщеславия», нашедшей смысл существования в одиноком искусство–познании. Именно «познание» искусства, а не «знание» было сокровенным смыслом ее постоянных размышлений и точкой приложения всех ее исканий, в том числе и проблем самопознания и духовной жизни. <...> Искусство всегда имело для Т.С. приоритетное значение. И каковы бы ни были перипетии ее далеко не благополучного профессионального пути (в 1939 году она окончила искусствоведческое отделение МИФЛИ), она всегда выбирала, не колеблясь, Искусство, а не соблазны внешнего успеха. Несмотря на то, что ее выдающиеся способности остались невостребованными, а сама она, как и все ее поколение, была не только свидетелем, но и объектом перманентных идеологических кампаний, мне бы не хотелось говорить о «трудной судьбе» Т.С. Она с достоинством и мужеством принимала все испытания, выпавшие на долю гуманитариев ее склада и убеждений. Более того, Т.С. считала себя «удачницей», так как прошла свой путь, не запятив совести и не сломившись. И когда пришло время, оказавшееся для многих ее сверстников крушением «идеалов», она бодро и во всеоружии навестала упущенное, обретя призвание в изучении народного и самодельного искусства. Вспоминаю, с какой самоотверженностью, на свои жалкие гроши, она ринулась в поездки по стране, осваивая мир народного искусства не по музейным образцам, а в живом общении с мастерами немногих сохранившихся промыслов. Ее книги — «Художники Полховского



Автографы А.А. Ахматовой
на самиздатском экземпляре поэмы «Реквием».
Титул и последняя полоса. Москва. 1963



Автограф А.А. Ахматовой на книге «Из шести
книг. Стихотворения Анны Ахматовой».
Л.: Советский писатель, 1940»

Автограф А.А. Ахматовой на книге
«Бег времени. 1909-1965».
Л.: Советский писатель, 1965»

Майдана и Крутца» («Советский художник». М. 1972), «Народное искусство и его проблемы» («Советский художник». М. 1977) — при глубине и новизне поставленных автором проблем получили подпитку из самой жизненной стихии, формирующей это искусство... Привычному представлению о народном искусстве Т.С. противопоставила свою оригинальную концепцию, рассмотрев различные виды народного искусства из разных регионов страны как «проявление духовной жизни народа».

И действительно, немолодая уже Таня с катастрофическим своим зрением отважно пускалась в дальние одинокие экспедиции: в Дагестан, в коми-пермяцкую глушь, в российскую глубинку. Находила сюжет, погружалась в него, двигала видимые его границы, вникала в суть не как узкий специалист, а как оригинальный мыслитель, которым обещала стать еще в юности и стала.

Некогда, на форзаце книги «Второе рождение» Борис Леонидович Пастернак написал:

Дорогой Тане с очень теплым чувством и сожалением, что у меня нет книги более достойной, в надежде когда нибудь поправить эту оплошность.

Верю в Вас.

Б. Пастернак

12.IX.32

А через тридцать четыре года Анна Андреевна Ахматова сделала надпись на титуле только что вышедшего долгожданного томика «Бег времени»:

Милому другу Тане Айзенман с любовью Ахматова.

17 января 1966 Москва

С Ахматовой Таню познакомила ее подруга, писательница Наталья Иосифовна Ильина, человек с необычной судьбой, «харбинка», блестящая женщина и блестящий сатирик. Произошло знакомство в начале 1956 года, переросло, как явствует из вышеприведенной дарственной надписи, в дружбу, длившуюся до конца жизни Анны Андреевны.

Ахматова скончалась 5 марта 1966 года. И в одной из самых последних больничных ее записей от 14 февраля две строки о Тане:

...Просят дать статью о Шостаковиче. Я — о музыке? Забавно... Поговорю с Таней Айзенман. М. б. несколько человеческих слов. Как раз сейчас передают по радио о «1905» Дмитрия Дмитриевича»

(Записные книжки Анны Ахматовой: 1958—1966, М.; Torino, 1996.

С. 710)

Танино имя встречается и в «Записках об Анне Ахматовой» Л.К. Чуковской. Одно из упоминаний связано с нашей семейной реликвией — Библией на французском языке в тисненном кожаном переплете, единственным предметом, оставшимся в семье от сестры моего деда, Марии Борисовны Айзенман, в замужестве Ферлиевич. Вот титульный лист этой Книги:

LA SAINTE BIBLE OU
L'ANCIEN ET LE NOUVEAU TESTAMENT
VERSION DE OSTERVALD
NOUVELLE EDITION REVUE
Paris: Rue de Clichy 58
Bruxelles: Rue de la Pepinier 5
1890

На обороте форзаца дарственная надпись. Не уместившись на одной странице, она заняла еще и второй форзац. Вот она, эта дарственная надпись:

19 мая 1892 г.

Давая тебе в руки эту книгу, справедливо именуемую «книгою книг», я считаю себя обязанным обратить твое внимание на некоторые особенности этой книги и дать тебе кой-какие указания, как тебе относиться к ним.

Ты встретишь в этой книге много такого, что покажется тебе непонятным, неестественным, невероятным. Не пытайся объяснять или истолковывать те места, это сизифов труд, который тщетно старались преодолеть величайшие умы человечества.

Верь — если твое сердце внушит тебе веру, но не отрицай с легким сердцем того, что постичь ты не можешь. Пусть эти темные места останутся для тебя загадкой еще не разгаданной. Каковы бы они ни были, мы дорожим ими: они формы, в которые вылился творческий дух нашего народа, они остаток его своеобразной культуры.

Ты в этом томике найдешь основания двух религий: иудейства и христианства. Ты их невольно будешь сравнивать. Но сравнивать можно только величины однородные и ты должна уметь их отыскивать. Чтобы не быть введенной в заблуждение, ты это должна сделать сама. Избегай готовых формул, сравнений сделанных другими, даже признанными авторитетами, ибо и они не свободны от пристрастия, от склонности предпочитать свое чужому. Проверяй все сноски и цитаты, они часто неверны, и трудно решить плохо ли они истолкованы или просто фальсифицированы. Не упускай из виду, что Ветхий Завет есть не только нравственно-религиозный кодекс, но и свод гражданских и уголовных законов, Новый же Завет обнимает исключительно

область религиозно–нравственную. Не сравнивай поэтому сентенций из этих двух редко совпадающих областей, что часто делается с тенденциозной целью возвысить одну религию в ущерб другой. Руководствуясь этими указаниями, ты не будешь осуждать, что осуждения не заслуживает и не станешь увлекаться красивыми словами, не испытывав, насколько они исполнились и насколько они вообще исполнимы.

И. Фрид...

Увы, краешек страницы оторван, и так жаль, что теперь уж не узнать, кем приходился (или приходилась?) нашей семье И. Фрид..., автор этого посвящения–напутствия, мудрый человек, подаривший Мане французскую Библию.

Шло время, в 1897 году Маня окончила ялтинскую гимназию, продолжила образование, стала врачом–офтальмологом и много лет, до самой своей гибели, жила и работала в городе Армавире. В этом же городе Мария Борисовна встретила со своим мужем, пациентом туберкулезного санатория. Брак оказался недолгим, бездетным. Муж Марии Борисовны скончался от своей болезни, и давно уже не у кого узнать, когда это случилось.

А сама Мария Борисовна погибла вместе со всеми евреями города Армавира 27 августа 1942 года. Расстреляли армавирских евреев в пригороде, и погребены они в противотанковом рву. Сохранилось письмо Евы Христофоровны Аксентовой, друга и соседки Марии Борисовны, почти родственницы. Вроде бы была возможность сойти за члена этой армянской семьи, не выйти на казнь вместе с другими евреями. Но Мария Борисовна сделать этого не захотела.

И 6 апреля 1943 года пришла из Армавира в Москву телеграмма от Евы Христофоровны: «МАРИЯ БОРИСОВНА РАССТРЕЛЯНА НЕМЦАМИ».

А в начале лета получили письмо:

Уважаемый Семен Борисович!

Марии Борисовны нет. Ее расстреляли немцы вместе с другими евреями. Немцы предложили зарегистрироваться всем евреям, а потом заставили носить на груди звезду. 27 VIII всем евреям с вещами было предложено собраться на окраине города около кирпичного завода, откуда якобы их должны были отправить на Украину в гетто. Мы ее проводили на кирпичный завод в 5 час. дня, там было уже много народу, начиная с грудного возраста и кончая глубокими стариками, с чемоданами, узлами и другим скарбом. Забраны были даже дети из детдомов. Когда на другое утро я опять пошла туда, то там уже никого не было — оставались только их вещи и немецкие солдаты, охранявшие эти вещи. Расстреляли их, как говорят, в противотанковом рву за Армавиrom. Уходя, Мария Борисовна верила, да и мы тоже, что их действительно отправят на Украину, где они будут жить в гетто. Все, что можно было взять из мягких вещей, Мария Борисовна взяла с собой, а

мебель и все остальное вплоть до картин рисованных Ольгой Александровной и Алешей конфисковано «Гестапо».

Город наш, главным образом центр, вся промышленность разрушены немцами. В Армавире и прилегающих станицах немцы расстреляли в свое пребывание около 6 тысяч человек. Мы оставались в Армавире, так как эвакуироваться было невозможно.

Мы с Марией Борисовной сожгли нашу домовую книгу и ее паспорт, и таким образом казалось, что можно было бы скрыть ее еврейское происхождение, но в последний момент она передумала, зарегистрировалась, и вот какой ужасный незаслуженный конец. Данциги тоже погибли.

Потеря Марии Борисовны для меня так же тяжела, как и для Вас. Для меня она была близким и родным человеком. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что ее нет. Мне ее всегда не хватает. Мне очень одиноко и тоскливо без нее.

Напишите мне о себе и Вашей семье.

С приветом Е. Аксентова

21/V/43 Армавир, Халтурина 58

Вот все, что известно о гибели Марии Борисовны. Одним словом, французская Библия единственный сохранившийся в семье предмет, принадлежавший некогда тете Мане.

Во втором томе книги Л.К. Чуковской «Записки об Анне Ахматовой», в записи, датированной 25 июня 1960 года, рассказано следующее:

... Я спросила, собраны ли у нее «А.А. Ахматовой» уже, наконец, дома все ее стихи. Все ли записаны?

Тут последовал не монолог — взрыв.

— Записываю ли я свои стихи? И это спрашиваете вы — вы!

Она подошла к табуретке, на которой стоял чемоданчик, и с яростью принялась выкидывать оттуда на тахту рукописи, книги, тетради, папки, блокноты.

— Как я могу записывать? Как я могу хранить свои стихи? Бритвой взрезают переплеты тетрадей, книг! Вот, вот, поглядите! У папок обрывают тесемки! Я уже в состоянии представить коллекцию оборванных тесемок и выкорчеванных корешков. И здесь ТАК, и в Ленинграде — ТАК! Вот, вот!

(Она швыряла на стол тесемки и картонки. Господи, думалось мне, ну зачем выдергивать тесемки? Ведь их развязать можно).

— Я попросила у Тани Айзенман французскую Библию — Эмме «Герштейн» понадобилась для Лермонтова — это вообще редкость, да к тому же семейная реликвия! И не успела передать ее Эмме, как сейчас же был взрезан переплет. Не знаю теперь, как Тане буду и в глаза глядеть...

Корешок Книги действительно наискось взрезан бритвой. Как поступить теперь, следует ли реставрировать книгу? Или пусть так и останется явным след происшествия, случившегося летом 1960 года с французской Библией, подаренной в 1892 году девочке Мане Айзенман и так огорчившего Анну Андреевну?

Упомянутые в письме Евы Христофоровны Аксентовой друзья Марии Борисовны, Данциги, это родная тетка Лили Брик — музыкант Ида Юльевна и ее муж Киба. Мать Лили Брик, Елена Юльевна, эвакуировавшаяся в начале войны к сестре в Армавир, скончалась 12 февраля 1942 года от болезни сердца.

Тетушке моей Ахматова сама вручила «Бег времени». Но не всем, кому хотела, успела раздать экземпляры книги. Остался перечень друзей, заслуживающих этого подарка. В списке сто фамилий. Тетушка моя в этом перечне под шестнадцатым номером. Следуя списку, пришел однажды к Тане филолог Роман Тименчик, исследователь творчества Ахматовой, ныне профессор Иерусалимского университета. Тетушка подружилась с Ромой и с женой его Сусанной Чернобровой, художником и поэтом. Несколько лет назад Сусанна прислала мне книжечку своих стихов (*Черноброва С. На правах рукописи. Иерусалим, 1997*) со стихотворением, посвященным Тане:

Памяти Т.С. Айзенман

Мне снилось, что Вы здесь, на расстояньи взгляда
И как теперь без Вас, где встретиться во мгле,
Остаться в редком дне, июльском снегопаде,
На скользкой и пустой, как палуба, земле.

Как осторожно жить, чтоб не разбить при споре
Хрустальные лучи последнего дождя,
Вдали среди ветвей из них соткалось море,
Деревья и костры, не плачьте, уходя.

1993

А в девятом номере «Иерусалимского журнала» за 2001 год Сусанна опубликовала славные свои мемуары под названием «Вид на живопись». В тексте, написанном ею о Тане и о большом Танином друге художнице Александре Давыдовне Лукашевкер, есть такие строки:

Когда мы собирались уезжать, дочь спросила меня: «А где ты найдешь таких людей как Алечка и Татьяна Семеновна?» В то мгновение разлуки были единственным доводом не в пользу репатриации, а с ними обеими я уж точно прощалась навсегда. Приехав к нам в последний раз, Т.С. восприняла известие о нашем скором отъезде с горечью, и меня не покидает чувство вины.

В последние свои дни, погибая от острого лейкоза и теряя остатки зрения, Таня без остатка тратила заканчивающееся земное время на очередную идею, «концепцию», как она шуточно именовала эту неуловимую субстанцию. Мозг ее бурлил, его переполняли идеи. Таня торопилась их записать, рассказывала о них каждому, кто приходил ее навестить. Записи последних месяцев — не расшифровываемый ребус, древняя клинопись. Причина — чудовищный Танин почерк в сочетании с почти полной слепотой и катастрофическим физическим состоянием.

Наши отношения с тетушкой на протяжении долгих лет складывались волнообразно: из пропастей запальчивости и обид мы взвивались к вершинам восторженной дружбы и взаимной увлеченности, бурного общения и любви. Мама всегда напоминала мне о том, что, во-первых, наша Таня человек редкостного ума и таланта, а во-вторых, про катастрофическое Танино зрение и про то, что в любой момент она может ослепнуть, и за одно это ей можно простить прямолинейность ее и резкость.

И теперь остается только впасть в отчаяние, задумавшись о том, отчего, полжизни прожив рядом, во многом разминулись, проглядели друг в друге главное, не отшелушили второстепенное, недооценили, прохлопали, отгородились стенами взаимного непонимания, не поговорили... Можно ли было прожить жизнь иначе? Боюсь, только гипотетически. Время, проведенное на этой земле совместно, а тем более годы, прожитые в одной квартире, могли и должны были бы быть плодотворнее и радостнее, но только в сослагательном наклонении. Закон (или правило) жизни — самых близких людей обыкновенно держат в черном теле. Двудликие (а может и многодликие) Янусы, мы лучшие свои лики от близких людей отвращаем. И ничего тут не поделаешь, ведь не скажешь родному человеку: — Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к лесу задом.

Одним словом, ушедшие ранее оказываются в выигрыше, задержавшимся на этом свете остаются сожаления и нечто, вроде заезженной пленки, запечатлевшей невозвратные кадры. Воображаемую пленку эту до конца дней можно прокручивать от конца к началу и от начала к концу, но перемонтировать, увы, нельзя.

2001–2007



Детская
пастораль
в летнем
колорите
De profundis



Крюково — Москва Серые городские осени и белые зимы простеганы разноцветными нитками летних воспоминаний. В памяти сохранились все лета детства, за исключением двух первых, младенческих. Ранние — редкими эпизодами, поздние — множеством. Самые ценные — дошкольные. В сотах памяти летнее хранится отдельно от зимнего.

От первого, младенческого лета осталась прозрачная бабушкина пастель, заменившая собственные воспоминания. Светло-зеленые картофельные грядки, уходящие вдаль, к серому домику с террасой; за редкой изгородью дорога, идущая в гору, рыжая и разъезженная; на пригорке — одинокие деревца; на горизонте синяя полоса дальнего леса. День не слишком погожий, но и не безнадежно пасмурный — дождевые облака, сизые сверху, снизу подбиты серебряным светом, в небе проглядывает синева, солнце где-то поблизости. Под пейзажем дата — 13 июля 1948 года.

Мне почти полгода, а деревня называется Крюково. В домишке на краю огорода живет художник Даня Костяев, папин товарищ по портретно-копийному цеху. Тому самому, в котором кондовые реалисты, подпольные импрессионисты, бывшие и будущие авангардисты, одаренные и не очень, с разномастными судьбами, закапывали поглубже отпущенные богом таланты, удобряли ими ненасытную почву эпохи. Многие и самих себя похоронили в копийном цехе, зато выкормили детей.

Во времена крюковского лета папа специализировался на портретах Лаврентия Берию. Стоя за мольбертами, художники множили изображения вождей, трепались, выпивали, трепетали в ожидании художественного совета. Были среди художников личности инфернальные, записные остряки, хронические алкоголики, опасные хамы, тихие интеллигенты, просто скромные люди. Даня Костяев и был таким скромным, славным, наивным человеком. Папа вспоминал о нем с нежностью, потому что вскоре после того крюковского лета Даня Костяев умер. Простой человек, Даня писал вдохновенные стихи о Сталине, а приезжая в Москву, опасался наступать на трамвайные рельсы, боялся, как бы током не убило.

Встречались среди художников-копиистов и большие хитрецы. Огромным спросом в стране пользовалась картина Вл. Серова «В.И. Ленин в Кремлевском кабинете». Художественный совет, наподобие страшного суда, был суров и неподкупен. Одному маэстро, специалисту по Ленину в кабинете, удавалось придумывать спасительные трюки. Однажды, скопировав картину, он «забыл» изобразить мельчайшую деталь — перышко, вставленное в ручку-вставочку — орудие ленинского труда. Художественный совет, как на удочку, попался на это перышко и под хохот

присутствующих повелел якобы сконфуженному копиисту исправить картину «в рабочем порядке». Развеселившиеся судьи не обратили внимания на все остальное. А исправления «в рабочем порядке» принимал не леденящий душу художественный совет, а свой брат — бригадир. По образу и подобию заводского цеха в портретно-копийном существовали бригады и производственные планы. Итак, в качестве воспоминания о первом лете жизни и о папином приятеле Дане Костяеве имеется бабушкина постель, а это немало. Свидетельство вполне материальное.

Ну а от второго лета жизни осталось лишь горестное мамино воспоминание о мелкой моей фигуре, пасущейся среди душного городского июля на мавританском газоне опустевшего «иностранного» скверика, и видом своим терзающей материнскую душу. Не смогла мама увезти меня тем летом из Москвы.

Москва — Тучково (деревня Петрово) Из состояния младенческого анабиоза удалось выйти только к третьему лету жизни, точнее говоря, к третьей весне. И первое собственное воспоминание легко датируется. Это май 50-го года. Не торопясь, то и дело останавливаясь и глаза по сторонам, плетемся мы с папой по Гоголевскому бульвару от станции метро «Дворец Советов» к Арбатской площади. Справа, в самом начале бульвара, там, где он изгибается дугой, сияет яркой-преяркою, зеленой-презеленой травой раннего лета высокий-превысокий газон-гора. На зеленом склоне аппетитными желтками-солнышками сияют новорожденные одуванчики. На мне очень черное пальто и очень белый платок. Глубокий черный цвет пальто, ярко-зеленый газон и ослепительно желтые одуванчики — колорит первого запомнившегося эпизода личной жизни. Пальто было бархатным, вот откуда этот глубокий черный цвет.

Второе собственное воспоминание — того же времени, тех же ярких майско-июньских дней. Я все еще почти младенец, все еще «прикреплена» к молочной кухне, и мы с папой (мама без усталости работает) каждое утро спускаемся по Савельевскому (ныне Пожарскому) переулку к реке. Направляемся за младенческой провизией, для памяти скандируя по дороге: «Два молока, два киселя, один кефир, один творог».

В молочной кухне нам выдают кусочек творога в мокрой бумажке и тяжелые стеклянные бутылочки с выпуклыми мерными шкалами на зеленоватых боках. Узкие бутылочные горлышки закупорены плотными влажными кусочками ваты. Нести бутылки нужно осторожно, сумкой не размахивать, чтобы не вылетели ватные пробки, а кефир, кисель и молоко не пролились на клеенчатое дно черной кошелки. Папа обожает мутный клюквенный кисель с крахмальной проседью. Для него-то мы и берем кисель на молочной кухне, потому что от склизких крахмальных комков мой организм содрогается так же бурно, как от пенки в кипяченом молоке.

Мы с папой идем вдоль ограды старинного одичавшего сада. В саду одинокий дом изумительной красоты с полукруглой террасой и крошащейся каменной лестницей, круто спускающейся к мертвому фонтану. Обрамленный садом дом

необычайно хорош, но обшарпан, заброшен, сиротлив. А самое удивительное — земля сада покрыта ковром незабудок — ярчайшим, плотным, голубым. Я втискаю лицо меж прутьев ограды и узнаю, какая бывает на свете голубизна! И каждую следующую весну надеюсь увидеть это чудо снова. Все еще надеюсь... Но никогда больше в саду этом, все таком же заброшенном и пустынном, не наблюдалось никаких признаков удивительных незабудок 50-го года.

В том же пальто застал меня июнь того же года, на даче в деревне Петрово. Вместе со смутно помнящейся хозяйской то ли дочкой то ли внучкой, большой уже девочкой, спускаемся к речке, продираемся сквозь заросли диковинных цветов. Вслед за нами, окружая нас и тесня, плетутся, спотыкаясь и устрашающе гогоча, нелепые существа моего роста — толстые белые гуси. Побаиваюсь я их не зря, через несколько дней один из монстров ущипнет меня за ногу.

Наверное, лето 50-го было стабильно прохладным, потому что с бархатным пальто я не расставалась. Именно в нем навещала папу, писавшего этуод на берегу Москвы-реки. Однажды папа писал большой куст бурно цветущей золотой пижмы. В густой траве вокруг пижмы мелькали редкие васильки. Их-то я и вождедела. На самом ли деле они нужны были папе или он воспитывал мою волю, а может быть, просто такую игру затеял, но срывать васильки разрешалось только по мере их написания. Я не сводила с этуода глаз, и как только папа ставил очередную голубую точку, алчно срывала увековеченный василек.

От того лета и следующего, тоже тучковского, сохранились этуоды. Чаще всего это берег Москвы-реки с высоким пирамидальным тополем — доминантой пейзажа. На горизонтальном этуоде две крошечные фигурки, сидящие на береговом откосе — мы с мамой. Мама с пучком на затылке и я в бархатном пальтишке.

Второе тучковское лето ознаменовалось встречами не столько с цветами и домашнею птицей, сколько с людьми. К примеру, интересным знакомством с дяденькой во френче из кабины грузовика, под дождем подвозившего нас с папой откуда-то куда-то по осклизлой лесной дороге. Папа забрался в кузов, а я всю дорогу сидела на коленях у дяденьки военного и подробно отвечала на его приветливые расспросы. Чудесно было ехать в кабине грузовика и беседовать с военным человеком.

Всерьез озадачила дискуссия, разгоревшаяся между большими девочками, деревенской и городской, спорившими возле жестяного рукомоиника о том, когда же на самом деле нужно мыть руки — перед едой или после. Убедительнее казались аргументы деревенской, настаивавшей на мытье рук, испачканных в процессе еды.

Кстати говоря, щи и кашу в деревне Петрово варили точно в таком же горшке, который я использовала совсем для других целей. Из этого же горшка и ели. Синий, как ночное небо, горшок вынимали из печного жерла, ставили в центр стола, хозяйская семья усаживалась вокруг и принималась за еду.

Ничего странного в этом не было. Любой бытовой предмет, а особенно эмалированный, был во времена моего детства большой ценностью, дефицитом. Мой ночной горшок тоже достался нам по счастливому случаю. Как-то раз соседка тетя

Дуся Хрюкова шла по Метростроевской улице мимо хозяйственного магазина и в глубине подворотни увидела очередь (дефицит всегда «давали со двора»). В тот раз давали ночные горшки. Само собой, «по одному в руки». И хотя у Хрюковых один горшок уже был, тетя Дуся очередь выстояла и горшок «взяла», на всякий случай! Счастливый для нас случай. Горшок с небольшой наценкой был предложен нашей семье и оказался ей по карману. То есть неожиданно—негаданно, за реальные деньги, не затратив никаких усилий, мы стали обладателями первокласснейшей дефицитной вещи. Он так и стоит перед моими глазами, наш замечательный горшок — емкий, эмалированный, с крышкой. Аппетитного шоколадного цвета снаружи и нежно—сиреневый, в трогательных крапинках, изнутри.

В деревне Петрово на хозяйском столе царил горшок цвета ночного неба, а в самом ночном небе царила неправдоподобно огромная рыжая луна. Как—то слишком уж низко повисала она меж черных тучковских елей летом 51—го года. О моем глубокомысленном соображении, что, дескать, «луна это мать, а месяц — мужик» папа, озабоченный тем, как убедить родных своих в том, что я достаточно умна, талантлива и наблюдательна, поспешил сообщить в письме к бабушке, жившей в то лето у племянницы в поселке Софрино.

Отношения со сверстниками складывались непросто. Благородного Борю, сына тетушкиной подруги, я обижала и даже била. Боря был старше года на два, ему ничего не стоило стереть меня в порошок. Но Боря не бил девочек. Так уж он был воспитан, этот чудесный Боря. Однако без равновесия в природе не обойтись, и меня лупила малолетняя Наташка, соседка по московскому дому. Наташина семья тоже снимала дачу в Петрово. Наташа моложе меня на десять месяцев, но энергичнее. Так что за безответного Борю мстила малолетняя Наташа.

Потом—то у Бори все сложилось неплохо — он давным—давно живет в Иерусалиме и растит в этом городе троих сыновей. Ну а мы с Наташей по—прежнему в Москве («москвички — в жопе зажженные спички» — как говаривала моя няня) и утешаемся сомнительной поговоркой: дескать, где родился, там, якобы, и пригидился. Так ли это — вот вопрос?

Тем же тучковским летом на моих глазах произошла казнь петуха. Крупное тело петуха с хвостом, похожим на разноцветный салют, вырвалось из рук казнившей его хозяйки, деловито пробежало по двору и скрылось в темном сарае. А петушиная голова со свернутым набок трепещущим красным гребнем и затянутыми серо—голубой пленкой глазами так и осталась лежать на березовой плахе.

Как ни странно, но обезглавленный петух и ночной горшок на деревенском столе, сохранились не только в моем, забитом мусорными воспоминаниями сугубо местного значения, сознании, но и в памяти Бори, бывшего чудесного мальчика. Несмотря на то, что прошедшую с тучковских времен половину века Боря прожил содержательно и разнообразно, поездил по миру и повидал много чудесного. Почудеснее петуха и ночного горшка с борщом.

Прошлым летом Боря посетил Москву. Человек основательный, преданный собственному прошлому, Боря запланировал посетить места, в которых прошла по-

ловина его жизни, решился пройти прежними тропами и повстречаться с теми, кто еще не покинул Москвы и ее окрестностей. Первым делом, полный ностальгического задора, белозубый, загорелый, спортивный Боря посетил одну подмосковную деревню. Здесь в младшем школьном возрасте он провел несколько летних сезонов у родственников соседки по коммунальной квартире. Боря помнил адреса, и по одному из них сумел найти и даже опознать товарища детских игр — старенького, пьяненького, вялого. Боря бросился дядьке на грудь, ошарашил признанием, что приехал к нему аж из самого Израиля (с ударением на втором и), пропьянствовал с другом детства полночи и обнаружил, что дядька Борю не помнит. Но появилась надежда, что Борю вспомнит другой деревенский мальчишка, давно переехавший из родной деревни в еще более дальнее Подмоскovie. Наутро, переполненный дружескими чувствами, Боря готов был отправиться ко второму приятелю (Боре очень хотелось, чтобы его вспомнили и признали), но первый друг так и не очнулся, не преодолел хроническое свое похмелье и не смог проводить Борю к общему другу детства.

И сама деревня огорчила и разочаровала Борю. Раньше это было многолюдное поселение с широкой проселочной дорогой, МТС (машинно–тракторной станцией), с молотилкой, гумном, птицефермой, стадом, со множеством мужчин, женщин и детей. Теперь она превратилась в заросшее лопухами, пустынное и безнадежно деклассированное пространство.

Среди многих неутешительных впечатлений, географических и человеческих, Боря обратил внимание и на то, что на московских улицах реже, чем двадцать лет назад, встречаются интеллигентные лица. Увы, крыть мне было нечем!

КРЕМЬЕНЬ I — КРЕМЬЕНЬ II Следующее лето — одно из двух, проведенных нашей семьей на Оке, в деревне Кременье. Говорили, будто царь Петр ссылал сюда староверов, и они–то и выстроили вдоль реки это длиннущее село. Тем первым кремьеньевским летом каждый божий день посреди ясного солнечного дня сильнее безоблачное небо раскалывалось с оглушительным треском, взрывалось грохотом и ослепительным сиянием. Над нами разыгрывались небывалые, невиданные и неслыханные сухие грозы. Горячий солнечный свет и неистовое холодное сияние обезумевших молний совместными усилиями создавали особенные, театральные эффекты. Видно, грозы эти предвещали нечто. Предупреждали о грядущих катаклизмах. На дворе–то стояло лето 52–го года!

Было жутко красиво и просто жутко. К вечеру приходили сообщения о жертвах — одиноких путниках на полевых дорогах, коровах, пасшихся в стороне от стада, спаленных дотла дубах и расщепленных до основания соснах. Но на первом месте этого лета воспоминание об Оке и о лодке, сдававшейся внаем вместе с дачей.

На закате подплывали мы к ошестинившемуся удочками местному рыбаку. Неподвижная его фигурка в брезентовом капюшоне с раннего утра маячила посреди реки. Со dna своей лодки рыбак выхватывал крупную трепещущую рыбину и на мгновение превращал ее в рыбу летучую, с красными крыльями–плавниками. Раз-

брызгивая мелкую воду, всегда, сколько ни вычерпывай ее ржавой консервной банкой, стоявшую на дне нашей лодки, рыбина шумно плюхалась нам под ноги. Острый рыбо-речной аромат запомнился в букете с отраженным в Оке необъятным закатным небом. Поскрипывая уключинами, поплескивая веслами, между берегом и берегом, небом и небом, мимо покачивающихся на волне полосатых баке-нов, плыла наша лодочка в золотом вечеряющем пространстве.

Изредка по реке проплывал буксирчик с развалистой баржой и кишачим на ней крошечным мирком, по какой-то причине оторвавшимся от берега. Перед сном папа читал мне вслух повесть «Прекрасная Нивернезка». «Нивернезкой» называлась то ли баржа, то ли какое-то другое плавсредство. И на этой самой «Нивернезке» с милыми и добрыми людьми происходило что-то грустное и трогательное. Жизнь, протекавшую на отдаленной во времени и пространстве чужеземной «Нивернезке», хотелось перенести на проплывавшую мимо отечественную баржу. Увы, фокус не удавался! А все из-за того, что на барже шла на удивление тоскливая жизнь. Баржа двигалась медленно, и ее обитатели простодушно распахивали перед проплывающим мимо миром незавидный свой быт.

Дядька с фиолетовой татуировкой на поникших плечах, свесив с кормы толстые кривоватые ноги, покурил сигарку. Выцветшие его кальсоны с трепыхающимися тесемками сохли на веревке. Дядька вяло переругивался с теткой в розовом бюстгальтере. Тетка суетилась по хозяйству — раздувала керогаз, манипулировала стиральной доской, тазами и шайками. Семейная перебранка и риторические угрозы, обращенные к расхристанным детям, очумело носившимся по барже, разносились над рекою звонко и внятно. Тексты произносились с такой изумительной дикцией, какой владели в те времена одни лишь старейшины Малого театра, голоса которых каждый день звучали на всю страну в передаче «Театр у микрофона». И зачем это было нужно — отправлять в дальнее плавание по широкой и чистой реке такой неряшливый и неаппетитный осколок земной жизни?

По реке плыла баржа, поднимала волну, достигавшую в конце концов берега, вдоль которого, погрузившись в воду по самые бедра, брели согбенные и скобоченные женские фигуры, облепленные мокрыми сорочками. На одной согнутой женской руке висело жестяное ведро, другая по плечу погружалась в реку. Бабы зорко высматривали что-то в речных глубинах. Медленно бредущие по воде фигуры напоминали стадо, пришедшее на вечерний водопой.

Дело в том, что в деревне Кременье свиней откармливали мясистыми речными улитками. Их-то женщины и собирали предвечерней порой. Раковины попадались крупные, с небольшую ладонь величиной. Набрав с полведра, бабы рассаживались на берегу, распускали по спине отсыревшие волосы, раскидывали посиневшие от холодной воды ноги, ставили меж бедрами ведра, и небольшими ножиками с короткими и широкими лезвиями ловко лущили раковины: одним движением раскрывали створки, другим — выковыривали и швыряли в ведро улитку, третьим — отбрасывали в сторону ребристо-бугристую рябую ракушку с опустевшим перламутровым нутром.

Между делом волосы и сорочки просыхали, бабы натягивали тугие юбки и расходились по дворам встречать скотину. А на берегу оставались горки разверстых ракушек, за годы и годы усеявших сверкающими осколками речной откос. Любопытно, надолго ли хватило деревенским свиньям этого улиточного изобилия? И водятся ли улитки в водах Оки теперь? Как там вообще с экологией? В описываемые времена все обстояло благополучно: в реке водилась рыба, речное дно населяло множество улиток, в зеленоватом вечернем небе с механическим жужжанием метались мириады красно-коричневых майских жуков и золотисто-зеленых бронзовок.

А тем временем в косо нанизанном на золотые закатные лучи клубящемся пыльном облаке возвращалось домой деревенское стадо. Торжественно шествовали коровы, сновали придурковатые овцы, деревенская улица дымилась, мычала, бляяла, щелкала кнутом, окликала хозяйскими голосами, скрипела воротами.

Дворы в Кременье были просторные, крытые по периметру дранкой, с квадратом неба посередине — наподобие римских патио. В каждом дворе жили: корова с теленком, полтора десятка овец, откормленная речными улитками многодетная свинья, штук двадцать кур и цыплята без счета.

Вся деревня выходила поглядеть, какая корова идет первой. Если шла рыжая с белыми пятнами, народ радовался — завтра день будет погожий. Если лидировала черная, население беззлобно материлось. Ежевечерняя детская удаль состояла в вычленении из общей массы собственных овец. Вооружившись хворостинами, занимались этим промыслом и дети-дачники. Овцы не только дворов своих не отличали от соседских, но и забредали невесть куда и дотемна шлялись по канавам. То ли от слабоумия, то ли из озорства.

Чтобы не путать овец с соседскими, хозяйки метили своих фирменным цветом: кто синькой, кто зеленой, кто красной жидкостью кастеляни (кастелянкой), кто попросту, фиолетовыми чернилами. Без разноцветных хозяйских отметин под толстыми овечьими хвостами ни за что было не разобраться в овечьей принадлежности. А вот умные коровы безошибочно сворачивали в свои дворы. Коров встречали, ворота распахивали настежь. В Кременье бытовало три коровьих имени: Милка, Зорька и Красавка. А глупые овцы проживали свои жизни безымянными.

Коровы разбредались по дворам, хозяйки принимались их доить, остальные жители деревни Кременье выходили на пристань встречать вечерний паром. Наступал апофеоз дня, чреватый сюрпризами, ожидаемыми и неожиданными приездами.

Стоим себе на берегу, вглядываемся в сторону города Кагановича (в современной жизни Каширы-II), а парома нет и нет — опаздывает паром. Наконец появляется дымок. Я восклицаю: — Слава богу! — Соседская тетка, тощая, жилистая, не старая, но противная, спрашивает ехидно: — Ты что это, в бога веруешь? И родители твои веруют?

Воспитанный ребенок, обыкновенно на взрослые вопросы я отвечаю вежливо и внятно, но не в этот раз. Дома у нас разговоров о боге не ведется, и хотя родители мои, судя по всему, натуральные атеисты, они всегда так говорят: — Сла-

ва богу! Дай бог! Не дай бог! — А тетке не отвечаю, потому что знаю откуда-то — ни на какие каверзные вопросы о родителях отвечать нельзя. Не то плохо будет!

Храм в Кременье — колокольня на берегу Оки с ампутированным куполом и изувеченной звонницей. Церковь не горела, но кажется опаленной. В алтаре и приделах бороны, сеялки, тракторные прицепы. Технику со скрежетом втаскивают внутрь сквозь вечно распахнутые церковные двери.

Возможно, жители деревни Кременье и пахали, и сеяли. Но в большинстве своем работали в городе Каганович или даже в самой Кашире. По воскресеньям буюнили, били посуду. Звон бьющейся посуды разносился над деревней вместо колокольного звона. Из страсти отцов и дедов к битью посуды родилась страсть дочек и внучек к коллекционированию черепков, в изобилии валявшихся по придорожным канавам. И я пристрастилась к собирательству. Аккуратно раскладывала черепки по ячейкам картонных коробок из-под папиных тубиков.

Не помню дороги из Москвы в Кременье, не знаю, как добирались туда в реальности: на поезде и парохоме или на грузовике и пароме, в кабине ехали или в кузове. Однако сохранился в памяти множество раз повторявшийся сон.

Уезжаем на лето в Кременье. Я вхожу к бабушке попрощаться. Бабушка сидит в кресле и близоруко всматривается в меня сквозь пенсне. Вдруг дверь открывается, и в комнату входит Волк, тот самый, из «Красной Шапочки». Волк в чепце, то есть в самом зловещем, коварном своем обличье, когда настоящая бабушка Красной Шапочки уже съедена, а сам Волк цинично ею прикидывается. Ясно — настала очередь и моей бабушки. Оставить ее наедине с Волком то же самое, что отдать ему на съедение. Но за окном гудит грузовик, пора ехать, я ухожу, а бабушка остается. Жутковатый сон повторялся и повторялся, и при бабушкиной жизни, и после ее смерти. Сказка про Красную Шапочку — детский Апокалипсис. Псевдо-утешительная концовка со вспоротым волчьим брюхом и якобы торжествующей справедливостью только добавляет сказке жути. Спасители-охотники страшнее Волка.

С дачными хозяевами Александром Ивановичем и Клавдией Ивановной мы подружились. По своему обыкновению детей их: взрослую Симу (мать приятеля моего Алика) и только что окончившего школу Леню мама моя определила учиться в свой институт. Прошло не более пятнадцати лет и Леня стал то ли деканом, то ли заведующим одной из кафедр этого института. У мамы на химиков рука была легкая.

А в ряду удовольствий того кременьевского лета существовала еще и дневная дойка. В полдень стадо пригоняли на водопой, и хозяйки с ведрами и низенькими скамеечками являлись туда же. Тугие молочные струи звонко ударяли в жестяные днища, и струйный этот оркестр на берегу Оки звучал жизнеутверждающе. Я увязывалась за Клавдией Ивановной и домой возвращалась с ощущением причастности к главному деревенскому делу. И с тем же чувством поела тарелку земляники, залитую тем самым парным молоком.

То яркое грозное лето было еще и ягодным, земляничным. И сейчас жива корзинка, наскоро сплетенная Александром Ивановичем на лесной поляне, ког-

да маме уже не во что было собирать ягоды. И стеклянные крынки с красно-коричневым крапчатым вареньем урожайного 52-го года существовали в доме бесконечно долго. В мире происходили и ужасы, и чудеса, а мы никак не могли его доесть.

Годами я изводила домашних изнурительным процессом еды. Няня моя, Аня, едою дирижировала, ритмично, не без садизма повторяя часами: — Жуй — глотай! Жуй — глотай! — В эти минуты Аня меня ненавидела, и ее можно понять. Мучительный процесс увековечен. Юная бело-розовая красотка с черным бархатным бантом, студентка суриковского института Лора Рыбченкова, специалистка по пасторальным детским портретам, написала маслом и мой. Толстощекая девочка с ложкой замерла над тарелкой с голубой каемкой. Содержимого тарелки не видно, но я-то помню любимую свою еду — гречневую кашу с молоком, явственно пахнущую незабудками.

И без того насыщенные впечатлениями кременьевские лета оживлялись путешествиями в город Каганович, дымившийся трубами на другом берегу Оки — наискосок от нашей деревни. Через реку переправлялись на пароме. Из Кагановича везли живых кур в кошелках. Кое-кого варили сразу, а некоторые умудрялись нести яйца в течение трех летних месяцев, и только в конце августа попадали в суп.

Куры не персонифицировались. Запомнилась одна только серенькая рябая курочка с отморозенными лапками и бледным, слабеньким, свернутым набок гребешком, по причине ущербности полученная в нагрузку к полноценной сестрице. Звали курочку Хромоножкой, выглядела она не взрослой птицей, а отроковицей, и яиц не несла. Но и суп из нее не варили, очень уж она была мала и трогательна. А в конце лета курочка всех удивила. Вскрабкалась на колени к няне моей Ане, нежно привязавшейся к Хромоножке, и снесла ей в ладонь крошечное яичко.

Вторым кременьевским летом, наступившим через два года после первого, был заложен первый кирпич в фундамент многоэтажного долгостроя, сооруженного из сожалений, угрызений, разного рода вин, черствости, язвящих душу компромиссов и другого подходящего материала, из которого обыкновенно выстраивается человеческая жизнь. Одним словом, «камень на камень, кирпич на кирпич...»

Итак, история первого кирпича. Сразу за домом и за опушкой, розовой от полевой гвоздики, начинался перелесок из невысоких кряжистых дубов и густого орешника. Рассекавшая перелесок тропа выводила к бескрайнему полю, а за полем голубели те самые дремучие леса без конца и края, куда деревенские ходили за грибами и малиной. На этой-то опушке в пятнистой орехово-дубовой тени мы с мамой проводили многие летние часы. Являлись с одеялами, шезлонгом, с книгами и едой. И обязательно в чьей-нибудь компании. Опушка и сейчас еще существует — на холсте. Тем летом папа написал нас с мамой в зеленой ее тени. Мама читает, я слушаю.

В отдалении обыкновенно пасся бык Гришка, пятнистое черно-белое чудище. Прикованный цепью к одинокому дубу, росшему посреди поля, Гришка слонялся по своему лукоморью и внутренне бунтовал. Существо редкостной силы, время

от времени Гришка сбрасывал оковы. За быком числились проделки разной степени тяжести — порушенные плетни, вспоротая овца, испуганная Гришкой и преждевременно, но благополучно разродившаяся близнецами местная женщина, а также неизвестный прохожий, якобы поднятый Гришкой на рога.

В описываемый день в обществе хозяйских внуков сидели мы с мамой в изумрудной тени и читали вслух то ли «Приключения Травки», то ли «Алешу–Почемучку». Сначала Гришка пасся на своей территории, но вдруг стал увеличиваться в размерах, и притом стремительно. Короче, прямо на нас мчалось галопом разъяренное чудовище с кольцом в носу. Гришкин галоп сопровождался топотом — земля тряслась!

Про быков мы знали только одно — красный цвет их бесит. Сведения эти почерпнули из слухов о жизни испанских тореро, вечно размахивавших перед бычьими мордами черными плащами с красным подбоем. А я в тот день была как раз в красном платье. Перепуганная мама велела бежать домой и звать на выручку папу. Сама же не ушла, а осталась защищать семейные ценности — шезлонг, одеяло и Алешу–Почемучку.

В ужасе бросилась я за помощью, но моментально отстала от резвых хозяйских детей. Я и так бегала медленно, а тут еще бег мой замедлялся истерическими рыданиями. Лесная дорога выходила к дому, и я сразу же увидела папу, писавшего пейзаж посреди деревенской улицы. Как всегда во время живописной работы выражение искаженного гримасой папиного лица в надвинутой на глаза кепке было зверским.

Из последних сил я прорыдала, что маму забодал бык. Но папа не всполошился, не бросил все как есть, не кинулся опрометью в лес, а принялся недовольно вытирать кисти, чистить палитру и складывать этюдник. И только после этого отправился спасать маму.

Я и сейчас вижу себя — распростертую в дорожной пыли, размокшую, разбухшую, раззявившую пасть, ревущую в голос, а на крыльце няню свою, Аню, погожим летним днем закутанную в серый шерстяной платок, нахохлившуюся, устремившую угрюмый взор в никуда. Возможно, в этот день у Ани обострилось нажитое в войну хроническое воспаление среднего уха. А может быть, она переживала кризисный женский возраст (Ане было двадцать шесть). Или просто была недовольна всем вокруг и нашей семьей в частности. Во всяком случае, утешать меня Аня не собиралась.

К стыду своему в эти ужасные полчаса я думала об одном: с кем теперь, когда родителей моих забодал бык, я буду жить. Бабушка с дедушкой умерли прошедшей зимой, не вынесли жизненного марафона, достигшего апофеоза в предыдущем 53-м году. О тетушке своей, Тане, я почему-то забыла.

И решила просить соседку нашу, веселую Маню Лошадкину, взять меня к себе. Я понимала, что у Мани тесновато (она жила в крошечной темной каморке при кухне), однако не сомневалась в ее доброте. Больше рассчитывать было не на кого. И едва только, решив этот ключевой вопрос, я начала успокаиваться, как из ле-

су неторопливо вышли нагруженные вещами веселые родители. Кроме радости обретения испытала я и некоторое разочарование от того, что не смогу теперь поселиться у Мани Лошадкиной и принимать участие в ежевечернем ее веселье. Увы, я оказалась расчетливым и рациональным ребенком.

КАЛИСТОВО Два кременьевских лета прослоились еще одним, летом 53-го года, проведенным нашей семьей врозь. Мама, изо всех сил старавшаяся удержать на плаву семейную лодку (корабль, челн, баркас), бралась за любую работу. Вот и в то лето подрядилась во время отпуска работать в экзаменационной комиссии. Тем более, что часть прошедшего года, как и все остальные «безродные космополиты», провела вообще без работы. Папу безработица миновала, но только потому, что в эту пору стране требовалось особенно много портретов вождей, и папин копийный цех стал цехом «горячим». А ближе к лету, в связи с произошедшими подвижками и заменой одних фигурантов другими, работы стало просто невпроворот.

Ее было так много, что папа совсем изнемог. Он всей душой рвался прочь от постылых вождей, жаждал настоящей живописи, алкал волжских пейзажей. Папа еле-еле дождался лета и ринулся на Волгу, на дачу к нашим казанским родственникам. Мама же осталась в Москве, чтобы спокойно, без помех поработать в свое удовольствие и подправить семейный бюджет. На фотографиях того лета она неправдоподобно худа — ни капли жира, скулы туго обтянуты кожей.

Итак, папа уехал на Волгу — писать пейзажи и кататься на лодке под парусом в компании милой казанской родни, мама осталась в Москве, а меня отправили в подмосковный поселок Калистово. Детям копийного цеха дали путевки в детский сад какого-то завода, я впервые оказалась в коллективе и провела лето с пользой.

Удивительное началось в Москве. Одежда моя обрела особенный вид. Майки, трусы, панамки и даже носовые платки оказались моими однофамильцами. Моя фамилия, старательно выписанная фиолетовым химическим карандашом, появилась на всех этих предметах. А на голубом стаканчике для полоскания рта папа нарисовал масляной краской дважды пузатую цифру «8». Восьмерка всегда казалась мне успокоительным числом, гарантирующим благополучный исход дела. С красной цифрой «8» на голубом дне пластмассового стаканчика я чувствовала себя увереннее.

Лето 53-го было холодным и кстати пришлось удивительная униформа, взятая заводским детсадом на вооружение. Каждому ребенку выдали странное одеяние, нечто среднее между халатом и пальто, но более всего напоминавшее монашескую рясу. Рясы сшиты были из уютнейшего, мягчайшего плюша, возможно, что и занавесочного. Рясы младшей, средней и старшей групп различались по цвету. Старшая группа носила изумрудные рясы. Младшая — рясы драгоценного гранатового (кардинальского) цвета. Наша средняя — глубокого шоколадного. Наш цвет был не так эффектен, зато очень аппетитен и успокоителен.

Из-за постоянных, не совпадавших друг с другом карантинных младшая, средняя и старшая группы гуляли по отдельности. Казалось, будто по дачному поселку бродят вереницы маленьких монахов, принадлежащих к разным монашеским орденам.

Стоило мне надеть рясу, как я сразу почувствовала себя покойно и защищенно. А через три месяца, когда пришлось с рясой расстаться, возникло и осталось навеки чувство неуверенности. Никогда больше не было у меня такого надежного одеяния-убежища.

В Калистове я узнала о жизни много нового и познакомилась со шкалами основополагающих ценностей. Выяснилось, например, что ржаная горбушка, расторопно выхваченная из горки нарезанного к обеду хлеба — жизненная удача целого дня. Нет, кормили нас хорошо, но черной горбушке завидовали все, именно она создавала ощущение удачливости, везения, превосходства.

А однажды я заслужила расположение мальчика, раздаривавшего симпатичным ему детям кусочки кожи, постоянно облезавшей с бледного его тела. Мне достался довольно крупный полупрозрачный кусок мальчишеской кожи. Я брезговала этим куском, меня подташнивало от его вида, но остальные, отмеченные удивительными знаками расположения, так радовались им, так бережно их хранили, что и я сделала вид, будто очень рада. Да и как было отказаться от подарка, не обидев человека и не показавшись высокомерной. Эфемерный подарок я с отвращением спрятала под матрас и постаралась о нем забыть.

Тем летом произошло в моей жизни и лингвистические подвижки. Я твердо усвоила, что нет ничего отвратительнее и пошлее слова «попка», а тем более «попа», от которого может даже стошнить, как от пенки на кипяченом молоке. Что эту часть тела уважающие себя граждане называют исключительно жопой, в крайнем случае, задницей. Соответственно, омерзительны слащавые эвфемизмы «по-большому» и «по-маленькому». Существуют достойные, пусть и грубоватые синонимы для обозначения соответствующих потребностей и действий.

Узнала я и о том, как непросто обстоят дела с таким, простым на первый взгляд сюжетом, как ночное отправление естественных потребностей. С одной стороны, посреди палаты ставили цинковое ведро (мне и невдомек было, что оно называется «парашей»), которым, якобы, каждый ребенок в случае надобности мог ночью воспользоваться. С другой стороны, ночная нянечка строго запрещала это делать. Заслышав звук струи, яростно ругалась. Вот и происходило еженощно по несколько несчастных случаев.

Я и сама пострадала однажды, не сумев прошмыгнуть между сциллой необходимости и харибдой запрета. Боясь гнева нянечки, не дотерпела до утра. За что и поплатилась вместе с другими опростоволосившимися, выставлена была для всеобщего обозрения и собственного позора на специальную скамью. В голом, между прочим, виде! А те, кому в эту ночь удалось дотерпеть до утра, громко смеялись над осрамившимися. Мальчик Феликс, сын папиного сослуживца по копийному цеху, даже предложил объявить нам бойкот. Во времена Калистова Фе-

ликс был редкостной прелести чернокудрым ребенком, душою общества, мечтой девочек средней группы.

Через сорок лет, в пасхальные дни на стыке 80-х годов с 90-ми, в галерее на Ордынке вновь повстречала я Феликса. Галерея помещалась в храме, еще не возвращенном верующим. На гладко выбеленных стенах представлены были роскошные «ню», замечательно эффектно написанные знакомым художником Иваном — крупным, осанистым, окладистым человеком истинно российского, православного облика. А в алтаре, на элегантных стеклянных столиках, золотилось в хрустальных бокалах диковинное итальянское шампанское. На алтарном этом фуршете и повстречалась я с бывшим кумиром средней группы.

Небольшой бородатый широкогрудый Феликс, облика, в противоположность Ивану, отнюдь не православного, но однозначно библейского, был, как и прежде, очарователен, но плешив, а остатки бывших кудрей стягивал аптечной резинкой. В распахе джинсовой феликсовой рубахи виднелся православный крест на серебряной цепочке. Мы обрадовались друг другу: — Христос воскрес! — Воистину воскрес! — обнялись и троекратно расцеловались. За прошедшие сорок лет Феликс стал художником-мозаичистом, очень, кстати говоря, талантливым. И я простила ему ту суровость, с которой он обошелся со мною в середине лета 1953 года.

Чем-то для меня непонятным я отличалась от контингента кадровых детсадовцев и значительную часть этого холодного лета провела в одиночестве. Сначала в изоляторе, но не оттого что болела, а как раз потому, что была совершенно здорова. Болели все остальные, и меня от них изолировали. Но в один прекрасный день изоляция сменилась полной свободой.

Меня поселили в семье милой, вечно занятой дамы — заведующей детским садом. В ее доме мне предстояло скрываться от охватившей детский сад эпидемии свинки. Не знаю, долог ли был этот период. Мне он показался целой жизнью — жизнью свободного человека. Прошлым летом, в Кременье, с меня глаз не спускали, поставили в угол, когда с соседскими ребятами я убежала метров за сто от дома. А теперь, всего через год, я стала сама себе хозяйкой и свободным человеком.

Заведующая жила вместе с дочерью, внуком — рыжим первоклассником Колей, и Колиной нянькой. За Колей следили неусыпно, а я жила сама по себе. Семейство относилось ко мне благожелательно, но безучастно. С рыжим Колей мы спали в одной комнате, на соседних топчанах. Перед сном Колина мама переодевала сына в полосатую пижаму, взбивала Колину подушку, укутывала сына одеялом, нежно целовала на ночь. А я укладывалась самостоятельно и довольно странным образом.

Дело в том, что одежда девочки 53-го года представляла собой сложную конструкцию. Вдобавок к тягостному лифчику со многими пуговицами на спине и к чулкам с отстегивающимися резинками, поверх платья полагался обязательный фартук. И без того непростая конструкция фартука осложнялась замысловато переkreшивающимися лямками, перепонками, крылышками и застежками. Правильно

распределить все эти детали удавалось только чудом. Лямки и перепонки перекручивались, жали, стягивали, корезили. И мой любимый фартучек в мелкую синю-белую клетку тоже вел себя безобразно. В группе одеваться помогали нянечки, а в семье заведующей я жила одиноко, окружающие меня не замечали, и неохота было обращаться к ним за помощью.

И вместо того, чтобы по два раза на дню мучиться со всей этой упряжью я нашла конструктивное решение — перестала раздеваться вообще. Снимала только сандалии, залезала под одеяло и укрывалась до подбородка. С сандалиями тоже была морока, со всеми этими пряжками, ремешками и дырочками. Можно было и сандалии не снимать. Эту мысль я всерьез обдумывала, но осуществить не успела.

Просыпалась бодрая, уже одетая, готовая к новому дню. Завтракала на террасе вместе с семьей заведующей. Кормили гречневой кашей с молоком. Эту еду я любила, в особенности за то, что каша пахла незабудками. И после завтрака, до самого обеда, жила своей жизнью — кроме свободы непереодевания пользовалась еще и свободой передвижения.

Отправлялась в гости к приятельницам, веселым девушкам-маляршам, жившим в скукоженной избушке в лесной чаще. На самом деле домик стоял на отшибе от деревни, за перелеском, но мне представлялся лесной избушкой. Девушки угощали баранками, оживленно со мною беседовали, я провожала их на работу. Потом прогуливалась по деревне, навещала свою группу, коллективно болевшую свинкой и по этой причине арестованную в своем плешивом дворике. Повисала на заборе в расслабленной позе свободного человека, хваталась вольным житьем, и, потрепавшись вдоволь, отправлялась бродить вдоль заболоченного ручья, протекавшего в зарослях мелких незабудок, явственно пахнувших гречневой кашей с молоком.

Я понимала, что свобода моя нелегальна. Просто никто о ней не догадывался. Ни занятая делами заведующая, думавшая, что я сижу себе целый день на террасе и раскрашиваю цветными карандашами картинки в книжке-раскраске, ни мама, навещавшая меня по воскресеньям. Свобода и одиночество были моей тайной, и в любой момент я могла их лишиться. Потому-то я так оценила и запомнила этот чудесный эпизод.

Изоляция от общества не спасла от свинки, и в один прекрасный день меня раздуло. Не успела я оправиться от болезни, как чудесное лето внезапно закончилось. Приехала мама и увезла меня в Москву. В переполненной электричке, в чаще из брюк и подолов, я сидела на потертом своем чемодане и вроде бы радовалась возвращению домой, но и грустила об утраченной свободе.

Короче говоря, холодное лето 53-го года семья наша провела неплохо: мама — в столице нашей Родины, порте пяти морей, я — в красивейших ее (столицы) окрестностях, папа — на берегу великой русской реки, бабушка с дедушкой в Подмосковной Швейцарии, в избушке с видом на Звенигородский Кремль. А могло бы сложиться иначе...

Плаксинино Ну а последнее дошкольное лето я провела в настоящем пионерском лагере. Опять из-под кровати достали тот самый потертый чемодан, на котором с позапрошлого еще лета сохранилась моя фамилия. Подновили чернильные буквы на не до конца еще сношенных трусах и майках, надписали новые пионерские вещи, купленные по специальному списку, и в назначенный день явились на сборный пункт — к подъезду маминного института. С небольшим опозданием.

Оказалось, что всех пионеров уже погрузили в грузовики. Снизу не было видно, ни кто они, эти пионеры, ни сколько их там. И меня тоже принялись запихивать в этот неведомый, полный гвалта кузов. Окоченев от ужаса, я попробовала было вцепиться в борт грузовика, как-то туда вскарабкаться. Безуспешно. И вдруг на фоне сияющего июньского кучевого облака возник ангельский лик.

В ореоле белой панамки, наподобие того, как утреннее светило восходит над горизонтом, над серым деревянным бортом грузовика взошла приветливая физиономия большой девочки в круглых очках и красном галстуке. Девочка гостеприимно улыбалась и протягивала руку, которую я тут же судорожно схватила. И в следующий миг очутилась в кузове. Не замеченная пионерами, затерялась в толпе и успокоилась. Девочка-ангел оказалась дочерью начальницы пионерского лагеря, маминной сослуживицы — доброй красавицы Марии Борисовны Польшковской. Верочкину доброту я запомнила, и спустя сорок лет очень обрадовалась, обнаружив совсем уже взрослую Веру среди сотрудников солидного литературно-художественного журнала.

Тем первым пионерским летом я впервые узнала, как прекрасно может быть женское сообщество, если не заражено оно микробом недоброжелательно-го соперничества. Меня, еще дошкольницу, приняли в свою компанию и взяли под защиту три больших и всеми уважаемых девочки. Суровая сероглазая красавица Оля Никонова стала нашим лидером. Могучая и добрая Лена Миронова — душой компании. А стараниями Иры Зыриной, смелой и предприимчивой девочки-авантюристки, лагерная наша жизнь стала увлекательной, разнообразной и не лишенной некоторого риска. Я выступала в роли восторженного наблюдателя и восхищенного ученика, изумлялась талантам подруг и впитывала их жизненный опыт. С легких детских рук Оли, Лены и Иры во всех возрастных и социальных группах мне все встречаются и встречаются женщины замечательные — добрые, могучие, талантливые.

В течение дня жизнь в лагере напоминала дачную, вот только утро начиналось побудкой и пионерской линейкой с поднятием флага на мачте. Прямыми, не сгибающимися в коленях ногами пионерские вожак вышагивали по периметру плаца, резко разворачивались под прямыми углами, как игрушечные механические человечки вскидывали руку в пионерском салюте и звонкими голосами людей с кристальной совестью рапортовали. Боже, как мне нравился этот ритуал!

Счастливец, вызванный из рядов для утреннего поднятия флага, до самого вечера находился в приподнятом настроении. Я мечтала об этой чести, как о самом большом счастье. Но когда этот звездный час настал, конечно же, не справи-

лась с простейшим устройством — колесиком и шнурком — блоком, посредством которого флаг ежеутрене взвивался в синюю или пасмурную высь.

Вечерняя линейка отличалась от утренней отсутствием пафоса и чудовищным количеством комаров. Небо над головой зудело и звенело, а выстроившееся в каре окровавленное лагерное поголовье извивалось и хлопало себя по частям тела в дерганных ритмах недалекого будущего. На дворе пока еще стояла эпоха танго, а мотивчиком того лета был томительный фокстрот: «Я помню было нам семнадцать лет...»

Точно так же, как когда-то полюбилась мне детсадовская плюшевая ряса, так и теперь пришлось по душе лагерная униформа — черные, поблескивающие поначалу крахмалом, сатиновые шаровары: короткие — дневные и длинные — для прохладных вечеров. Короткие пышные шаровары — одежда эпохи Ренессанса.

Обязательным и мучительным мероприятием был «мертвый час». Конечно же, мы ни минуты не спали, развлекались как могли. Молниеносная Ирка Зырина виртуозно ловила мух в полете. В литровой Иркиной банке они жили сотнями. Ирка не забывала о мухах и нежно за ними ухаживала: запихивала в банку кусочки подсахаренных блинов с полдника, капала воду, перевязывала баночную горловину марлей.

Отмучившись во время злосчастливого часа, мы делали все, что хотели. Разгуливали по окрестностям, обследовали заросшие окопы, обнаружили заколоченную колокольню посреди лесного болота, устроили штаб-квартиру в заброшенной лесной бане. Разгуливали, где хотели, распевали что хотели, никто нас не искал, а мы ничего не боялись.

Интереснейшим местом оказалось кладбище за лагерным забором. Лесное, на крутом речном склоне, многоярусное и перенаселенное, с теснящимися, наползающими друг на друга пирамидками и крестами, с тонко позванивающими жестяными венками на сосновых ветках, кладбище было таинственным и нарядным. К тому же на могилах росла земляника небывалого качества, та самая, которой «крупнее и слаще нет». И однажды, в преддверии родительского дня, мы решили набрать этой гигантской земляники для родительского угощения. Взяли синие детские ведерки и очень быстро, с полчаса побродив среди могил, наполнили их доверху. А вечером, не удержавшись, съели ягоды сами.

И ночью в животах наших началось ужасное. Мы корчились от колик. Палата не спала и с интересом наблюдала за нашими мучениями. Было ясно, что мы отравились трупным ядом. Азартно спорили об исходе — совсем смертельном или не очень. Мы плакали и представляли себе, что будет, когда наутро родители наши не застанут нас в живых. Однако все обошлось, к утру мы оклемались, вот только родителям ни одной ягоды не досталось.

Апофеозом каждой пионерской смены (всего их было три) становилась военная игра. Сюжет игры был прост и актуален — ловили шпиона, похитившего знамя пионерской дружины. Пионеры делились на желтых и голубых (в середине 50-х цвет этот еще не был дискредитирован) и нашивали на плечи соответствующего

цвета бумажные погоны. Знамя нужно было найти прежде, чем это сделает противник. Шпион прятал знамя в лесной чаще и для того, чтобы его (знамя) все-таки нашли, оставлял не только следы, но и прямые указания, где искать. Коварный шпион вырезал стрелы на стволах деревьев, выкладывал их на лесной дороге из коры и сосновых шишек, вырезал в форме стрелы шляпки крупных подберезовиков, короче говоря, дурил пионеров. В процессе поиска следовало собирать вещественные доказательства. Мы приносили в штаб все, что находили в лесу: обрывки газет, бутылки из-под пива, какие-то перезимовавшие под снегом мерзостные клочки подозрительного вида (справедливости ради надо сказать, что в те времена лес еще не был замусорен так, как ныне).

Однажды нашли свежий, еще не слипшийся презерватив. Смутно догадываясь о назначении предмета, подозревая, что вещь ненашенская, шпионская, превозмогая брезгливость, несли улику по очереди, держа за краешек и отставив руку подальше. И благополучно доставили в штаб. Командиры наши — старший пионервожатый, председатель совета дружины и физрук, ражие румяные хлопцы, отнеслись к находке несерьезно, и от смеха только что со стульев не попадали. Мы же почувствовали себя оскорбленными в патриотических чувствах и заподозрили обман.

Если в процессе поиска знамени попадался противник, следовало настигнуть его, не миндальничать, а повалить на землю, слегка поколотить и сорвать погоны. Один сорванный погон означал ранение, два — гибель. Игра длилась весь день, вместо обеда выдавали сухой паек, мертвый час отменяли. Целый день ошалевшие дети бегали по лесу и люто ненавидели противника. Занятие увлекательное, удивительно только, что ничего плохого ни с кем из нас ни разу не приключилось. Знамя к концу дня находилось само, а шпиона некто из штаба доставлял на погранзаставу. Где именно в подмосковных Бронницах располагалась эта погранзастава так и осталось тайной.

У всех пионеров имелись продовольственные запасы. Раз в неделю из Москвы приезжал грузовичок с передачами. Дети сбивались в кучу у откинутого заднего борта, и человек, стоящий в кузове, зычно выкликал фамилии и раздавал перевязанные бечевкой серые бумажные пакеты. Не скрою, я умирала от зависти, потому что мне передач не присылали. Пакет с яблоком, калорийной булочкой и помидором папа сам ежевечерне просовывал мне сквозь планки лагерного забора.

На всякий случай родители снимали угол в соседней деревне Плаксинино. Надзор их был необременителен, родители существовали на периферии, за забором, а я, как и все остальные, по ночам чавкала, жевала и заглатывала. Ибо трапезы наши были ночными, и отдельные везунчики, обладатели сахарного песка в бумажных пакетах, полночи шуршали и хрустели на всю палату.

А днем делали заготовки впрок. Популярностью пользовалось лакомство, для приготовления которого требовалось всего лишь: найти на кладбище зеленую бутылку из-под вина, наполнить ее любыми лесными ягодами, засыпать сахарным песком, туго утрамбовать с помощью очищенной от коры палочки, закопать в ук-

ромном месте, затаиться и выждать десять дней. Употреблять этот нектар (смешанный с амброзией) следовало при помощи той же палочки, многократно засовывая ее в бутылку и смачно облизывая и обсасывая. У меня не было ни бутылки, ни сахарного песка, так что о деликатесе этом я и не мечтала. И кайфа от всеобщего любимого лакомства — эскимо на палочке, слепленного из куска блестящего черного вара, не ловила никакого. Вар намертво прилипал к зубам и избавиться от него не удавалось долго.

Дошкольное детство длилось и длилось, а завершилось неожиданно, одновременно с первым пионерским летом. Я пошла в школу, и в первый же школьный день какая-то мучнистая роса, серая плесень проникла в детский организм и отравила его. И впредь все без исключения августы омрачены были грядущими сентябрюями. Так пусть уж дошкольные лета плавают в своем собственном соку. Не стоит нарушать их экологию и смешивать с позднейшими, тоже неплохими.

Нынешним маем шла я по Гоголевскому бульвару от Арбатской площади к метро «Кропоткинская» (бывшая станция «Дворец Советов»). А навстречу мне, в том самом месте, где бульвар изгибается плавной дугой, меланхолично брели молодой отец и маленькая дочка. Конечно же, девочкин папа был повыше и понаряднее моего, и самой девочке было не два с половиной года, а лет пять. И за руки они не держались, не глазели по сторонам, ни о чем не беседовали, каждый шел сам по себе, думал свою думу. Однако лицо молодого отца показалось мне довольно приятным, почти интеллигентным, и девочка в шортах, хоть и выглядела усталой, была очень и очень мила.

С сентиментальной готовностью вспомнила я зеленый склон пятидесятилетней давности, одуванчики, наш с папой давний маршрут, рассекавший век точно по его середине, и с симпатией уставилась на славную парочку. Девочкин папа шел налегке, а дочка, немного отстав от отца, тащила большую нарядную коробку. И как раз в тот момент, когда мы с ней поравнялись, что-то такое с коробкою произошло, она раскрылась, и на землю Гоголевского бульвара выпала чудная кукла с кудрявыми каштановыми волосами. Девочка остановилась в растерянности и окликнула задумавшегося о своем отца. А отец обернулся к дочке и сказал ей без всякой досады, но с мягкой укоризной: — Ядрить твою мать, Стэлла, заколебала ты меня на хуй.

2000



Подруга
дней моих
суровых
на фоне
городского
пейзажа



Главной моей няне, Ане Гордеевой, прибывшей после войны из разоренной деревни не на пустое место, а к собственным родителям, дворникам тете Тане и дяде Ване, запрещалось ночевать там, где жили отец, мать и братья. Среди ночи являлась милиция, проверяла московскую прописку, штрафовала, а иногда этапировала «не прописанных» граждан в отделение милиции. Долгие годы ночевала Аня в подвале соседнего дома, в котельной, которую по совместительству с дворницей своей должностью обслуживал дядя Ваня. Пробиралась поздним вечером, тайком от жильцов пятиэтажного дома, и спала там, не раздеваясь, под тупом, на топчане за котлом. А на рассвете так же скрытно выходила на поверхность. Раз в три месяца мама моя оформляла Ане временную московскую прописку, но все равно права ее оставались птичьими. Разговоры о прописке и связанные с нею тревожения, рефреном сопровождали тогдашнюю жизнь. Прописка—управдом—участковый — бермудский треугольник эпохи.

Двадцатитрехлетняя Аня приехала в Москву из деревни, названия которой я так и не удосужилась узнать, и прожила в столице более тридцати лет, так и оставшись диковатой деревенской жительницей. Судьба Анина сложилась нелепо. Пересаженная в чуждую почву, покинувшая родную среду, она обжилась, но не адаптировалась в городском пространстве. Статная, с красивым лицом венециановской жницы, Аня сторонилась, а может, просто боялась мужчин, надо думать, не без причины.

Обстоятельства ее деревенского детства и юности мне неизвестны, знаю только, что девочкой Аня оказалась в оккупации, в одну из военных зим жестоко простудилась и частично лишилась слуха. Однако осталась здоровой и сильной. К Ане сватались солидные люди, однажды даже овдовевший батюшка из недалекого храма предложил поселиться в его доме на правах хозяйки. На ранних стадиях сватовства Аня проявляла к процессу живой интерес — делала в парикмахерской шестимесячную завивку, доставала из сундука выходную кофту (зеленую, чисто шерстяную, с карманами и пояском), в сопровождении очередной свахи отправлялась к кому-то в гости и даже позволяла на себя посмотреть. То есть вводила участников процедуры в заблуждение, потому что после смотрин неизменно резюмировала: — Дуру нашли — портки чужие стирать! — Очередного жениха, повадки его, внешность и жилище, угощение и сопутствующие сватовству эпизоды наблюдательная Аня описывала виртуозно, с беспощадными скрупулезными подробностями и так потешно, что от смеха у нас случались колики в животе. Судя по всему, артистичная и литературно одаренная Аня и знакомилась—то с женихами ради будущих своих рассказов.

Мне было десять месяцев, когда Аня появилась у нас и сразу же покорила маму восторженным восклицанием, обращенным ко мне, толстому младенцу: — Ну, роза-беломоза! — Аня приходила по утрам, целый день пасла меня, кормила, выгуливала, а вечером возвращалась к родителям и белобрысым братьям — взрослому Анатолию и маленькому Вовке, моему сверстнику.

Гордеевы жили в кособокой дворовой пристройке соседнего дома. Служебное их жилище представляло собой подобие крошечной комнатки с низеньким перекошенным окошком и подобием же терраски. Разумеется, без каких бы то ни было удобств. Находясь внутри гордеевского домика с его микроклиматом и запахами, с мироощущением самих жителей, трудно было представить, что за окном не глубокая провинция, а центр Москвы, что до Кремля двадцать минут неторопливого ходу.

В жилище отца и матери Аня существовала нелегально, ежеминутно ожидая явления участкового. Ночевать, как уже было сказано, уходила в котельную. Московские прелести и городские возможности Аню не привлекали. Она о них вроде бы и не ведала. Не ходила ни в кино, ни в ЦПКиО имени Горького — центр притяжения местного населения, ни куда бы то ни было еще. Маршруты наших совместных прогулок и одиноких ее хождений ограничивались отрезком Метростроевской улицы, расположенным между сквериком Института иностранных языков и Дворцом Советов.

К сведению будущих поколений: Дворцом Советов называлась огороженная забором обветшавшая стройплощадка, неряшливое пространство, в стародавние времена именовавшееся Чертольским холмом, с середины XVI века до 1837 года занятое Алексеевским женским монастырем, позже Храмом Христа Спасителя, потом бассейном «Москва», а ныне снова Храмом Спасителя. Бытует легенда, будто место это проклятое, потому что настоятельница обители, оскорбленная сносом древних построек Алексеевского монастыря, напророчила, что ни одно здание не простоит на этом месте более пятидесяти лет.

Храм Христа Спасителя, памятник, воздвигнутый на народные деньги в честь победы России над Наполеоном, простоял на Чертольском холме сорок восемь лет, около тридцати просуществовало выморочное пространство, на котором могло (если бы карта легла иначе) вознестись циклопическое сооружение, увенчанное гигантской фигурой Ленина. Бассейн «Москва», то бишь заполненный водою котлован, вырытый под фундамент Дворца Советов, окутывал окружающую местность хлорными миазмами еще лет тридцать. Теперь время пошло для новой модификации Храма Спасителя. Дворец Советов так и остался в проекте, зато архитекторы Душкин и Лихтенберг выстроили станцию метро имени тоталитарного фантома (ныне станция «Кропоткинская») — изящное архитектурное сооружение, из лучших в Москве.

Итак, этот московский фрагмент: «иностраннный» скверик — Дворец Советов, мы изучили до последнего закоулка. Во всех метростроевских дворах довелось нам потоптаться в многочасовых очередях, бережно лелея чернильный номерок на запястье. Хитрые и опытные, мы с Аней знали, что у номерка на ла-

дони век короче, а риск стереться значительно больше. Номерок на запястье позволял даже мыть руки перед обедом, ради которого Ане приходилось уводить меня из очереди.

Разумеется, покидая очередь, мы запоминали тех счастливцев, которые заняли ее раньше нас, а также тех бедолаг, что прибежали позже. А так как в очередях скапливалось и, тесно прижавшись друг к другу, часами существовало все окрестное население, возникало чувство родства со всем этим человеческим множеством. Мы ощущали себя земляками, ибо пришлому, жителю другого района, не было места в наших рядах!

Очереди за яйцами (ласково звавшимися в народе «яичками»), за мукой (в комплекте с дрожжами), за «русским» (топленным) маслом, за стегаными ватными одеялами и розовой бязью для «наперников» были нашей стихией. А обшарпанные дворы–колодцы с ржавыми пожарными лестницами, со свисающими из форточек авоськами с бумажными свертками, с копошащимися в мусорных баках котами и кошками — нашей с Аней средой обитания.

Небо, перед ноябрьскими праздниками хмурое, чуть–чуть светлее серого асфальтового дна дворовых колодцев, к Первому мая обыкновенно голубело. Очереди за дефицитом и связанный с ними ажиотаж соотносились по времени с канунами революционных торжеств (а весенние еще и с Пасхой — о ней не говорилось, но она подразумевалась). Чернильные же номерки роднили нас с вожделенными яичками, аппетитными, гладенькими, украшенными точно такими же фиолетовыми клеймами, что и наши ладони и запястья.

Полноправными участниками очередей были дети. Права детей в социалистическом государстве соблюдались свято, и каждому ребенку, независимо от возраста, даже самому мелкому «колясочному» младенцу, выдавали «в одни руки» его законный десяток яиц, а то и два. От самого ребенка требовалось немного — всего лишь отстоять, отсидеть или отлежать очередь от начала до конца. Ощущение собственной значительности не покидало тех, кто уже кое–что смыслил. А кроме того, в очередях за яичками, мукой и наперниками ребенок исподволь проходил азы жизненной школы.

— В четвертом яички дают! — услышав этот клич, народ хватал черные клеенчатые кошелки и мчался в очередь, уже на стадии своего зарождения мистическим образом оказывавшуюся гигантской. — В одни руки, в одни руки... — витало над очередью, и под этот рефрен из обитой жестью узкой щели исторгающая брань личность в заскорузлом халате могла выдать (а могла и не выдать) вожделенный продукт. Личность владела ситуацией, властвовала над очередью и властью своей упивалась.

Все окрестные магазины назывались своими, выстраданными поколениями местных жителей, именами: «четвертый», давным–давно расставшийся с этим номером; «инвалидный», к которому во времена карточной системы «прикреплены» были инвалиды всех прошедших войн; «на ступеньках» — с одной–единственной выщербленной ступенькой (остальные, как под вулканической лавой, скры-

лись под многими асфальтовыми слоями); «серый», располагавшийся в доме вечно серого цвета; «каторжанский», отоваривавший политкаторжан, безвозвратно сгинувших в 30-х годы.

Но украшением Метростроевской улицы, несомненно, был магазин «Поросенок». В его зеркальной витрине скакал на задних конечностях крупный (в человеческий рост) улыбающийся поросенок в ожерелье из сосисок и с подносом колбас в передних конечностях (руках? ногах? копытах?) Аборигены любили розового, вставшего на дыбы поросенка — он вносил цветную звонкую ноту в монохромный пейзаж эпохи и хотелось улыбнуться ему в ответ.

Окормляли мы с Аней и пречистенские пространства, ходили за готовыми обедами в диетическую столовую в Чистом переулке. К середине 50-х годов во многих московских домах появился удивительный предмет — серебристые алюминиевые судки, три легких кастрюльки, одного диаметра, но разные по высоте, поставленные одна на другую и нехитрым образом соединенные общей ручкой. Нижняя в этой пирамиде кастрюлька предназначалась для супа, средняя для второго блюда и верхняя для компота или киселя. Возникли судки потому, что государство позаботилось о гражданах и предписало московским столовым освоить новый вид обслуживания — обеды на дом. И правда, быт отдельных граждан существенно упростился. Появилась возможность сэкономить время и силы: не стоять часами в очередях и у плиты, а утолить голод семьи готовым обедом, незатейливым, но вполне съедобным. Вот и в диетической столовой в Чистом переулке существовало окошко, в которое судки протягивали пустыми, а обратно получали полными.

Обыкновенно мы с Аней приносили еду домой, но иногда, вместе с родителями, обедали прямо там, в диетической столовой. Не помню, вкусна ли была еда (дешева была очень), но помню особую атмосферу этого общепитовского заведения. В темноватом подвальном помещении со стенами, выкрашенными грязноватой кофейной краской, собирался цвет остоженской, пречистенской и приарбатской публики. Посетители органично вписывались в интерьер столовой, потому что одежда их была в той же хмурой гамме.

Немолодые интеллигентные люди приходили в одиночку и парами, выстраивались вдоль жестяного прилавка, уставленного яствами (система самообслуживания уже вступила в свои права), загружали пластмассовые подносы первым (чем-то диетическим, протертым), вторым (по желанию состоявшим из одного гарнира) и третьим (компотом из сухофруктов или малокровным клюквенным киселем), расплачивались в кассе, усаживались за столики и приступали к скромной трапезе. Иногда вместо супа брали на первое полстакана сметаны — популярное и очень питательное блюдо.

Диетическая столовая в Чистом переулке не была клубом или его подобием и собирала в своих стенах не сообщество, но контингент. Потертым жизнью и наученным горьким опытом людям не приходило в голову громко переговариваться, вступать в явные контакты, оживленно беседовать. Однако успокоительно действовало присутствие социально близких сограждан. Лица вокруг были привычные,

кое–кто кое с кем раскланивался, кто–то кому–то кивал, но чаще просто фиксировали присутствие друг друга. Годами приходили в определенное время, чтобы оказаться в подобии своей компании. Облики многих посетителей свидетельствовали о драматических судьбах, что в середине 50–х никого не удивляло. Оживляли диетический пейзаж и радовали глаз, слух и прочие органы чувств студенты циркового училища, молодые, забавные, раскованные ребята — девочки и мальчики. Одетые не в серое и коричневое, а во что–то яркое, цирковое, иногда даже с блестками.

Но большую часть времени мы с Аней проводили на Остоженке, на скверике возле Института иностранных языков. На его скамейках няня моя и множество окрестных няnek с детьми чувствовали себя как дома. Нескончаемые их разговоры касались исключительно «хозяев» (а в особенности «хозяек»), обстоятельств их семейной жизни, приключений прямых и косвенных «хозяйских» родственников, соседей и родственников соседей. Предтеча и живая модель бразильских сериалов далекого будущего.

Все няньки были в курсе всех жизненных сюжетов всех хозяев, и если появлялась возможность, принимали в этих сюжетах участие, хотя бы в качестве статистов. Однажды в одном из хозяйских семейств кто–то умер, и давним морозным утром закутанные в шали няньки со своими воспитанниками собрались на Пречистенке напротив нарядного доходного дома, принадлежавшего некогда домовладельцу Исакову.

Дети, как в ложах бенуара, угнездились меж колонн цокольного этажа дворца Долгоруких, няньки заняли стоячие места в партере — на тротуаре перед Академией Генерального Штаба. Ждали долго, до оконченения. Кульминация события не оправдала ожиданий, она заняла всего пару минут. Дверь подъезда отворилась, закрытый гроб вынесли, погрузили в автобус и увезли. Дети были разочарованы мизерностью впечатлений, а няньки довольны. И оживленно обсуждая событие, гуртом отправились на «иностранный» скверик догуливать положенные часы.

К этому времени я давно уже не умиляла Аню, напротив, раздражала. «Роза–беломоза» осталась в далеком прошлом, на смену ей пришли «кулема», «косо–рылиха», «чехмориха», «бабка–тюльпаниха», а также риторические вопросы типа: — Ты чего это из себя меня корежишь, чуфырла?

Во время весенних каникул 56–го года мама отправила нас с Аней в Абрамцево — навестить папу, писавшего этюды к заказной картине «Весна». Папа снимал угол у славной старушки, и вместе с ним в избе жил белый козленок, веселый и прыгучий, с легкостью вскакивавший на высокую лежанку, с лежанки на стол, а со стола — на печку.

Для диковатой Ани эта принудительная поездка стала истинным подвигом. Гуляя по весеннему лесу, продавливая синими следами хрустящую мартовскую глазурь, мы с папой тащились вслед за разъяренной Аней и записывали в блокнот те удивительные прозвища, которыми она нас обзывала. Природный артистизм превозмог Анину рассерженность, а наш интерес польстил ей и подстегнул творческую фантазию. Аней овладел словотворческий азарт, и она развернулась во всю свою

фольклорную ширь. Каких только сочных словечек не наслушались мы в тот день! Каких только прозвищ не заслужили! Всего набралось около полусотни. Ужасно жаль, что запись эта не сохранилась!

Почти родственные узы, связывавшие нашу семью с Аниной, открыли мне поэзию дворницкого труда. Все нравилось мне в этой работе! Но особенно зимние ее орудия: широкая оцинкованная лопата в искрящихся звездочках изморози, черный чугунный лом, маленький зазубренный скребок — восхитительные предметы! На улице еще ночь, снежинки мельтешат в фонарном нимбе, а тетя Таня с дядей Ваней уже скребут тротуар под нашим окном. В дошкольном детстве это звучало чудесно. Дворники проснулись, скребут тротуар, долбят наледи, сгребают в сугробы выпавший за ночь снег, заботятся о людях, а я лежу себе уютненько и снова засну, если захочется. А вечером и сама поскребу скребком, погребу снег гигантской лопатой. С наступлением беспросветного школьного мрака все переменялось. Звук скребков под окном означал только скорое вставание и погружение в беспросветную, без конца и без края, мутную школьную хмарь.

Кстати говоря, наша половина переулка, та, которую обихаживали тетя Таня с дядей Ваней, интересна и сама по себе. Как уже было сказано, казенная квартира Гордеевых (попросту говоря, дворницкая) представляла собой избушку, пристроенную к двухэтажному дому, в котором в 1914 году родилась Вахтанговская студия, предтеча знаменитого театра. Первая принцесса Турандот — актриса Цецилия Мансурова (урожденная Воллерштейн), взяла свой псевдоним в честь нашего переулка, породнившись, таким образом, с купчихой Аграфеной Мансуровой, домовладелицей.

Из дневниковых записей девятилетней девочки Али Эфрон, бывавшей с мамой своей, Мариной Цветаевой, в мансуровской студии, я узнала, что в маленьком двухэтажном особняке существовал всамделишный зрительный зал с настоящей театральной сценой. Трудно удержаться и не вспомнить колоритную пару, жившую в этом же домике, по соседству с Гордеевыми, уже на моей памяти: высокого худого старика породистого облика в серой полотняной паре со старенькой палевой левреткой, тоже очень породистой. А на латунной табличке, привинченной к двери, ведущей в квартиру старика (бывшую вахтанговскую студию), выгравированную красивым курсивом редкую фамилию — Морской.

А во времена «Принцессы Турандот» костюмер нашелся поблизости, в том же самом дворе. И стал им не кто-нибудь, а сама Надежда Петровна Ламанова, до переворота имевшая статус Поставщика двора Ея Величества и одевавшая дам артистического и аристократического бомонда. Для первой постановки «Принцессы Турандот» (премьера спектакля, навеки ставшего символом Вахтанговского театра, состоялась в 1922 году) по эскизам художника Игнатия Нивинского (давнего бабушкиного знакомого) Ламанова сшила костюмы из бельевой бязи, магически преобразив простецкую ткань в шелка, парчу и бархат.

Квартиру на пятом этаже нового доходного дома, выстроенного во дворе, соединявшем два переулка — Мансуровский и Еропкинский, муж Ламановой, успешный человек, председатель страхового общества «Россия» Каютов, купил для

жены в 1911 году. Ламанова обставила ее золоченой мебелью в стиле III Рококо, но вскоре, как и для прочих российских граждан, для Надежды Петровны настала иная пора. Ламанову «уплотнили», кроме неперемных чекистов вселили в просторную квартиру множество разношерстного люда, но оставили в ее владении самую большую комнату, а в нагрузку к комнате должность «ответственного квартиросъемщика».

Живо представляю себе, как великая Ламанова, взгромоздившись на колченогую табуретку (а может и на золоченый стул из рокального гарнитура), снимает показания электросчетчика, делит эту цифру на души квартирному населению, перемножает (в столбик) полученный результат на членов каждого из соседских семейств, составляет на разграфленном тетрадном листке ежемесячную сводку, прикипчивает ее к стене коммунальной кухни и собирает деньги, деликатно стуча в соседские комнаты и напоминая о долге неплательщикам. Надеюсь все же, что у нее были помощники. Уж чего-чего, а дефицита домработниц (в отличие от всего прочего) в 20-е и 30-е годы в Москве не наблюдалось. И в квартирных коридорах до поры до времени находилось место для огромных сундуков — традиционных спальных мест прислуги.

В советскую эпоху Ламанова обслуживала большевистскую знать, желавшую одеваться не хуже императорской семьи, и по-прежнему обшивала актрис. Одной из ее заказчиц и была принцесса Турандот — Цецилия Мансурова, являвшаяся на примерки в дом № 4 по Еропкинскому переулку, но входившая в него с переулка Мансуровского. Известно, что роскошную ее шубу, предмет зависти московских модниц, тоже сшила Ламанова.

Надежда Ламанова прожила по соседству с нашей семьей до октября 1941 года, до тех пор, пока не скончалась скорострительно на скамейке в скверике Большого театра. В те времена давно уже служила она во МХАТе, собиралась с театром в эвакуацию, в назначенный день добрела до театра с сестрой своей, передвигавшейся с большим трудом, но никого уже не застала. То ли сестры опоздали к назначенному часу, и ждать их не было возможности, то ли в панике и ужасе тех дней о Ламановой просто забыли. Как бы то ни было, но на дверях театра сестры увидели объявление: «Театр уехал в эвакуацию».

В растерянности и смятении по дороге домой сестры Ламановы присели передохнуть на скамейке возле Большого театра. Тут начался авианалет, и потрясенная всем совокупным ужасом, здесь же, на скамейке, во время бомбежки, семидесятидевятилетняя Ламанова скончалась. Эти печальные сведения сообщил мне историк моды Александр Васильев.

Александр Васильев рассказал также, что дальние родственники и наследники Ламановой дожили в доме до начала 70-х, а когда уезжали (ныне они живут в Тамбове) ненужное им тряпье — кучу расшитых бисером древних шифоновых лоскутов, связали в узел и вынесли на помойку. А ведь мы Женей в поисках прекрасного постоянно обследовали окрестные помойки, и случалось, обретали жемчужные зерна.

Собственно говоря, помоек было две. И не узнать теперь, которая из них приняла в свои недра шифоново-бисерные ламановские шедевры. Первая помойка находилась в ближайшей к нашему дому подворотне и ничем особенным не отличалась.

Вторую, в глубине двора, осенял изумительный витраж в стиле русского модерна — огромное окно, принадлежавшее кожно-венерическому диспансеру. В отрочестве с нарывающим пальцем я побывала однажды в этом загадочном заведении. Изумрудные, синие, золотые и гранатовые рефлексы от огромного витража сочно расцветчивали транспарант, натянутый над окошком регистратуры. Транспарант гласил: «Привлекли в диспансер источник своего заражения!» Загадочный призыв заинтриговывал.

А со стороны Пречистенки соседствовали с нашим два небольших, но необычных в советской действительности «собственных» дома — настоящие городские усадьбы, только крошечные. Дома эти и огороженные заборами дворы всегда принадлежали своим хозяевам. Дальний, под номером одиннадцать (он же № 12 по Еропкинскому переулку) семье архитектора Александра Васильевича Кузнецова, в XX уже веке перестроившим старенький ампиный особнячок и чудесным образом сохранившим в доме обаяние века предыдущего.

Усадьба под сенью древнего тополя, жемчужина переулка, и сейчас принадлежит Кузнецовым. Ее изюминка — крошечная калиточка в каменной ограде. Из Мансуровского переулка проникнуть в усадьбу можно только через нее. Самый маленький лилипут или ребенок не старше четырех лет могут войти в калитку, не сгибаясь в три погибели. Все остальные в нее ныряют. Отсюда возникла легенда о человеке-карлике, некогда выстроившем дом с учетом собственных параметров.

И еще одно переулочное чудо — густо, до самой крыши завитый девичьим виноградом брандмауэр соседнего с кузнецовским высоченного трехэтажного дома. Поколения мансуровских жителей сменяют друг друга, а виноград, посаженный архитектором, вьется и вьется, завивает и завивает стену, к осени багровеет, облетает, веснами возрождается. А поколения Кузнецовых героически отстаивают виноградные заросли от местного домоуправления, посягающего на него во время изредка случающихся ремонтов.

Висит на стене пейзаж: лето 1946 года, кузнецовский дворик под кроной древнего тополя в густой июньской тени, разбавленной солнечными бликами. На крыльчке моя юная мама листает конспект, готовится к госэкзамену. Видно, Ирочка, Ирина Александровна Кузнецова, давняя, с детского искусствоведческого кружка тетушкина приятельница, всю свою долгую жизнь проработавшая в ГМИИ им. Пушкина, позволила отцу моему написать будущую мою маму в своем саду.

В войну Кузнецовы не покидали своего домика. Из семейных бумажных залежей возникло письмо, посланное на Урал, в эвакуацию, тетушке моей Татьяне 3 июля 1942 года. Вот несколько строк, сохранивших подробности жизни домика в дни войны:

Мы живем по-старому в нашем маленьком домике, который в свое время храбро выдержал 3 «зажигалки» свалившиеся ему на крышу. В саду же у нас Верушка навела всякие эстетические усовершенствования и даже щель (которую мы выкопали в углу сада у ворот) всю засадила мавританским газоном. Сейчас у нее вид безобидной клумбы, а помню, как бывало мы бегали туда в чудные лунные ночи (я теперь всю жизнь не смогу глядеть на луну, не вспоминая бомбежек) или в ноябрьские дни, когда тревоги бывали по 6, по 7 раз в сутки, и надо было урывками ловить время, чтобы сбегать за хлебом и что-нибудь сварить на обед. Меня эти дневные тревоги, по правде говоря, даже забавляли. Мне нравилось спешно закрывать ставни, проверять воду и лопаты, бегать туда и обратно. Торопиться перехватить чего-нибудь поесть и т.д. В реальную опасность днем как-то не верилось, а в то же время необычность обстановки действовала как-то возбуждающе и «интересно». Ночью — это было, конечно, другое дело. Но и тут должна сказать, что бояться мы все очень скоро перестали. Сидя в щели, читали французские романы, рукодельничали (у нас туда проведено электричество), я связала себе целых 2 пары нарядных летних перчаток, в которых щеголяю сейчас, и которые были сделаны только за часы тревог. Как только стрельба немного утихала, мы с папой вылезали и разгуливали по саду, болтали с соседом Топлениновым, потом опять прятались.

А в 1994 году в журнале «Наше наследие» (№№ 29–30) Ирина Александровна рассказала о своем доме. В ее воспоминаниях «Между Остоженкой и Пречистенкой» есть трогательные строки:

Когда в темный осенний вечер я спешу с работы домой, то, едва войдя в свой переулочек, начинаю всматриваться вперед, и какое-то радостное успокоение проникает в сердце, как завижу под деревьями очертания знакомого ампирного особняка и засветившиеся в нем окошки. «Здравствуй, милый домик, здравствуй, мой родной, я пришла» — шепчу я ему, и знаю, что он слышит мои слова.

Бывало, идешь мимо кузнецовского домика, а из маленькой калиточки (почти из-под ног твоих) выпархивает, как птичка из гнезда, Ирочка Кузнецова, худенькая, гладко причесанная, волосы с проседью, очки с толстыми линзами. Выпархивает, то ли загадочно, то ли мечтательно улыбается чему-то и летит, летит по переулку, торопится в свой музей.

Второй «собственный» дом, № 9 (до середины 50-х отделенный от нашего одноэтажным, с мансардой, домом № 7, на наших глазах разобранным по бревнышкам и перевезенным в неизвестном направлении), почему-то именовался аборигенами «домом Власовой». Какой такой Власовой — неизвестно. В противоположность благородному ампиному облику кузнецовского особняка — с невысо-

кой каменной оградкой и кованой решеткой поверху, этот дом — деревянный, на высоком фундаменте, с глухим забором, напоминает замоскворецкое купеческое жилье. В переулке жило предание о таинственном декрете, якобы подписанном самим Лениным, оставившим дом хозяевам в вечное владение в благодарность за приют в критические, дискомфортные для Ильича дни. Тот самый вымысел, в котором есть доля правды. Ибо Владимир Ильич действительно жил в нашем переулке, но останавливался вовсе не в «доме Власовой», в чем и признался на одном из допросов: *По возвращении из-за границы я прямо поехал к матери в Москву: Пречистенка, Мансуровский переулок, дом Лоськова.* То есть ленинская мать жила окна в окна с давними жильцами нашей квартиры. Вот только скромный деревянный домишко сгорел в 1901 году, и на его месте крестьянин Лоськов воздвиг причудливое сооружение.

В основе архитектурного замысла нового дома Лоськова средневековый замок с круглой угловой башней, острой готической кровлей и винтовой лестницей. К фасаду готического замка прилеплен был мавританский балкон, а стены щедро орнаментированы. И в результате этой эклектики вышло нечто фантастическое, своего рода китч, но очень славный. Грезы крестьянина Лоськова, «нового русского» начала века, воплощенные в жизнь архитектором Зеленко, чем-то похожи на архитектурные фантазии нынешних «новых». Вот только дом Лоськова камернее и теплее сегодняшних новорусских сооружений, а архитектурно гораздо убедительнее.

В конце июля 1917 года, освобожденный Временным правительством от должности Верховного главнокомандующего, в фантастическом лоськовском гнезде (Мансуровский переулок 4, квартира 7) купил квартиру генерал Алексей Алексеевич Брусилов. Вот что я узнала из очерка военного историка А.Г.Голикова. Оказывается «во время революционных боев в Москве при обстреле артиллерией восстановивших здания штаба военного округа мортирный снаряд попал в квартиру Брусиловых. Алексей Алексеевич получил тяжелое ранение в ногу и до июля 1918 г. находился на излечении в клинике». Хотя за всю свою предыдущую боевую жизнь генерал ни разу не был ранен!

А дело в том, что между Мансуровским и Еропкиным переулками, то есть по нашему двору и по садику Кузнецовых, проходила граница между красными и белыми. Вот как Евгений Багратионович Вахтангов описывал те дни:

У нас на Остоженке, в Мансуровском переулке, пальба идет весь день почти непрерывно. Выстрелы ружейные, револьверные и пушечные. Два дня уже не выходим на улицу. Хлеб сегодня не доставили. Кормимся тем, что есть. На ночь забываем окна, чтоб не проникал свет. Газеты не выходят, в чем дело, и кто в кого стреляет — не знаем...

За пару месяцев до рождения моего отца, тоже Алексея, Алексей Алексеевич Брусилов вернулся из клиники домой, а еще через восемь лет, 21 марта 1926

года, инспектор красной кавалерии скончался от паралича сердца, и папа мой на всю жизнь запомнил торжественные похороны по высшему советскому разряду с тьмой запрудивших переулков кавалеристов и оркестров. Почет, которым, казалось бы, пользовался генерал в советской республике, не защитил его семью от «уплотнения». Генерал жил в коммунальной квартире, потому что из восьми комнат Брусиловым оставили три, в остальные, на всякий случай, подселили чекистов. И в славный домик Кузнецовых в те же годы въехала огромная семья Гая Дмитриевича Гая — личного друга Семена Буденного, командира легендарной «Железной дивизии».

Еще через шестьдесят лет, в середине 80-х, в квартире нашей раздался звонок. Я открыла дверь и обнаружила за нею приятного джентльмена — военного историка Александра Георгиевича Кавтарадзе, интересовавшегося, не осталось ли в нашем доме долгожителей, помнящих, где именно проживал генерал Брусилов. Я радостно сообщила военному историку, что такие долгожители имеются — это отец мой и тетушка. И я могу даже предоставить военной науке фотографию брусиловского дома, сделанную в 1913 или 1914 году (замечательное фото подарил нам друг наш, художник Андрей Костин). Но теперь я опасаюсь, что ввела военного историка в заблуждение, потому что Ирина Александровна Кузнецова настаивает, что на самом деле генерал жил не в большом доме, а во флигеле с островерхой кровлей и эркерами. На наших глазах в особнячке этом случился пожар, жителей в мгновение ока переселили куда-то, и выстроили на освободившемся пространстве многоэтажное кооперативное жилье. Ирина Александровна вспоминает, как однажды, в октябрьские дни 1917 года (виднo, накануне, а может и в день своего ранения) Алексей Алексеевич по-соседски зашел к Кузнецовым обсудить происходящее, посоветоваться, проникнув в дом через крошечную садовую калитку, для чего ему пришлось согнуться в три погибели.

Ну а большой дом Лоськова-Брусилова сохранял первоначальный облик до середины 60-х. А потом перенес многолетний ремонт, два криминальных пожара, реставрацию-кастрацию, избавился от существенной части красот и излишеств и стал резиденцией военного атташе Сирии. Таким образом, у жителей нашего дома появилась возможность наблюдать дипломатические приемы по случаю сирийских торжеств из своих собственных окон.

Дипломатические приемы в многочисленных посольствах, занимавших (и занимающих ныне) все приличные особняки в пречистенско-остоженских переулках, во времена моего детства были любимейшим развлечением окрестного населения. Обыкновенно на склоне дня кто-нибудь из местных жителей громко оповещал публику: — У итальянцев (австрийцев, канадцев, кубинцев) прием! — Услышав волнующую весть, взрослые и дети в возбуждении мчались к упомянутому посольству, часами простаивали в толпе, скопившейся на противоположном тротуаре, приподымались на цыпочки, подпрыгивали, силились заглянуть в праздничное посольское нутро, с увлечением созерцали прибытие и отъезд дипломатических особ со спутницами, одетыми в вечерние туалеты или в экзотиче-

ские национальные одеяния, вслушивались в громоподобные возгласы распорядителя церемонии. Убедившись воочию, что где-то и вправду существует разноцветная, ярко освещенная жизнь, в сумерках, в приподнятом настроении, со смутным ощущением причастности бог весть к чему, возвращались на тусклые коммунальные кухни и допоздна делились впечатлениями с соседями, пропустившими волнующее зрелище.

Итак, ленинское прошлое «дома Власовой» оказалось химерой, однако дом от этого не проиграл. Более того, выиграл! Потому что на самом деле принадлежал он братьям Топлениновым, друзьям Михаила Афанасьевича Булгакова, и фигурирует в знаменитом романе в качестве «дома застройщика». В подвальных комнатах, приютивших Мастера и Маргариту, в реальности находилась мастерская театрального художника Сергея Сергеевича Топленинова (с ним-то и болтали соседи Кузнецовы в перерывах между бомбежками 41-го года). Сирень, липа и клен, которыми Мастер с Маргаритой любовались из маленьких оконцев над самым тротуарчиком, виднелись из окна, прорубленного мамиными стараниями в красно-кирпичном брандмауэре нашего дома. Одиноким циклопьем глазом взирало окно на «дом застройщика» и не подозревало ни о Мастере, ни о Маргарите.

А не более чем в метре от нашего окошка прилепилось к брандмауэру убогое строение, то ли мазанка, то ли ласточкино гнездо. В незавидной халупе, бывшей дворницкой, проживал полковник интеллигентного облика с женой, писаной красавицей, и сыном Сашей, мальчиком моих лет. Я восхищалась Сашей, потому что этот дошкольник изумительно рисовал толстым карандашом «Кремль» (аппетитным, ребристым) красные пятиконечные звезды. Да не простые, плоские, а выпуклые, граненые, точь-в-точь такие, как на кремлевских башнях. Во взрослой жизни Саша употребил свой талант правильно, стал успешным плакатистом, любимцем Политиздата, и ваял многотиражные триптихи с изображениями любимых своих звезд, знамен и чеканных профилей строителей коммунизма. Кумачовые триптихи обновлялись в преддверии революционных торжеств и в застойные брежневские времена украшали столицу круглый год.

А во времена нашего с Сашей дошкольного детства полковник обихаживал крошечный палисадник, общий для двух наших семейств. При полковнике в палисаднике цвели розовые мальвы (крупные, сочные, сортовые) и мощно кустились золотые шары. А когда полковник сумел добыть для своего семейства приличное жилье и покинул неказистую, но уютную дворницкую, мальвы выкопала наглая тетка в ватнике. Похищение мальв произошло на моих глазах, но я не сумела призвать тетку к порядку, растерялась, замешкалась, упустила момент. В отсутствие мальв палисадник заполонила сахалинская гречиха. Бороться с ней мы не стали, нам и она показалась красивой.

А для халупы настали новые времена. В жилище полковника открылся пункт приема вторичного сырья. Бизнес этот традиционно, с царских еще времен, принадлежал татарской диаспоре, поэтому в домике обосновался старьевщик Кясым (для нас Костя), человек славный, миролюбивый, вежливый. Костя-Кясым

улыбался, водки не пил, говяжьи мослы с мясокомбината деликатно вываливал не под самым нашим окном, а чуть-чуть в сторонке. В Костиной халупе и вокруг нее тихо, но круглосуточно кипела деловитая тайная жизнь.

Отношения у нас сложились добрососедские. Время от времени Костя стучал согнутым пальцем в окно и говорил Жене: — Зайди-ка... — Женя отправлялся в пункт вторсырья, и мы задешево обретали нечто прекрасное. В Костины времена возникли в доме кое-какие предметы: круглый стол, проданный добрым старьевщиком всего за десятку, стул с резной спинкой, за прошедшие тридцать пять лет так и не отреставрированный. А однажды причалил к нашему окну самосвал с самоварами. В возбуждении Женя ринулся к Косте, но обнаружилось, что почти все самовары сплющены и необратимо искорежены. С большим трудом удалось отыскать в гряде самоварного металлолома один-единственный относительно целый экземпляр. Стоит ли говорить, что с тех пор он загромождает наше жилище?

Нам и раньше нравилось жить на первом этаже, поближе к почве, к народу, но с некоторых пор мы ощутили себя зрителями театрального партера, а площадку перед пунктом вторсырья сценой с динамично сменяющимися друг друга сюжетами и персонажами. Их стало особенно много, когда для Кости и остальных московских старьевщиков наступил звездный час, растянувшийся на годы и годы. А настал он тогда, когда весь советский народ простодушно поверил в то, что он-то и есть самый читающий народ в мире и увлекся обменом макулатуры на книжки. Процесс обмена старых книжек на новые книжки был не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Костя-Кясым владел пачками талонов разного цвета и различного достоинства, соответствовавших разному количеству сданной макулатуры. Для того, чтобы сделать первый шаг на пути к обретению романа Александра Дюма «Графиня де Монсоро» требовалось сдать двадцать килограмм макулатуры, в то время как «Винни Пуху» хватало и десяти. Братья Стругацкие стоили дороже «Проклятых королей» Мориса Дрюона, а два томика приключений Шерлока Холмса в мягкой обложке равнялись одному «Лунному камню».

Население охватило библио-безумие. В погоне за графиней де Монсоро народ шел на все: кроме газет и журналов вязанками тащил к старьевщикам классиков марксизма-ленинизма в красных переплетах, темно-зеленые томики Диккенса, скопившиеся в домах собрания сочинений отечественных авторов. Без разбору освобождал книжные полки от бумажного старья, среди которого попадались чудом осевшие в домах библиографические редкости. Костя по-соседски разрешал нам порыться в сданной макулатуре, и кое-что интересное мы обретали, например дореволюционные издания разноязычных словарей. Языков мы с Женей до сих не выучили, но словари бережем, вдруг пригодятся.

Макулатурных талонов не хватало на всех. Мы-то получали их по блату, а обычные люди, истинные библиоманы, занимали очередь с ночи. В любое время года часам к пяти утра под окном нашим скапливалась немалая толпа. Зимой народ мерз, бегал кругами, подпрыгивал и больше помалкивал, а в теплое время го-

да библиоманы уютно сидели на своих связках, стопках и вязанках. Попривыкнув друг к другу, в ожидании открытия пункта, люди мирно беседовали, рассказывали житейские истории, делились впечатлениями об уже обретенных и прочитанных книгах. Порою находили иные занятия.

Однажды в конце весны Костина кошка принесла потомство. И ночь за ночью добрые люди, любители и любительницы Дюма и Дрюона, пестовали котят, тетешкали, кормили принесенными из дома лакомствами, умиленно причитали, сюсюкали, мешали моим родителям спать. Несколько ночей мама терпела, но однажды распахнула окно в майскую ночь и, встав в оконном проеме, произнесла не без некоторой патетики: — Товарищи! Хватит здесь ныть! — Мама не видела людей, к которым обращалась так проникновенно, в предутренних сумерках клубилось нечто невнятное, зыбкое, какая-то бубнящая человеческая масса. Но люди вняли маме, притихли, а мамин призыв: «Товарищи! Хватит здесь ныть!» мы с папой взяли на вооружение.

Так вот, для того чтобы купить «Графиню де Монсоро» мало было отстоять ночную очередь. Получив талоны нужного номинала, следовало на следующее же утро записаться в другую очередь, многодневную, формировавшуюся в книжном магазине в верховьях (или в устье?) Метростроевской улицы. Записаться, оставить открытку с адресом и ждать сигнала. Хотя и это не гарантировало обретения вожденного тома. Графини де Монсоро не хватало на всех.

Напоминаю, что книжный марафон стартовал в двух шагах от «домика застройщика». К дням макулатурной библио-лихорадки все уже прочли роман Булгакова, но никто еще не подозревал об узах, связывавших Мастера и Маргариту с нашим Мансуровским переулком. Открытие это то ли еще не было сделано, то ли булгаковеды не торопились поделиться им с широкими народными массами. А если бы ночная очередь знала о том, что от подвальчика Мастера отделял ее всего лишь старый щелястый забор, наполнило ли бы ее (очередь) знание это иным смыслом и содержанием?

Итак, возвращаясь к няне моей Ане Гордеевой, вспоминаю зимние вечера со скребками и лопатами в руках. После снегопадов вся семья Гордеевых выходила на работу: скребла, долбила, сгребала. Один только Анатолий, старший Анин брат, не трудился вместе с нами. Осенними, зимними и весенними вечерами Анатолий одиноко стоял у своих ворот, помаргивал белесыми ресницами, дожидаясь встречи с суженой. И встретил—таки свою судьбу — широкоскулую Фроску из соседнего двора, дочь страшноватого старика по прозвищу «красная шапка». Отец с дочерью жили в деревянном двухэтажном доме с эркером, сохранившимся с допозжарных времен. С конца XIX века дом принадлежал Екатерине Александровне Гольц (урожденной фон Мюнхаймер) — бабушке девочки Ники, ученицы моей бабушки, выросшей в художника Нику Георгиевну Гольц.

Поселившийся в бывшем Никином доме сумасшедший старик в распахнутой долгополой шинели, галифе, галошах на босу ногу и фуражке с малиновым верхом, ненавидел соседских детей. Завидев детскую компанию, «красная шапка»

впадал в бешенство, хватал толстенную дубину и с утробным урчанием гонялся за охваченными ужасом и восторгом ребяташками. Однажды, так никого и не догнав, «красная шапка» злобно воткнул дубину в землю. Весной дубина пустила корни, а к осени превратилась в тополь. Тополь срубили совсем недавно, лет десять назад. А тихая Фрося унаследовала душевное отцовское нездоровье, только в иной, кроткой форме. Всю их совместную жизнь Анатолий терпеливо ухаживал за больной женой. Даже наша Аня, не склонная к сопереживанию, жалела Фросю и сочувствовала Анатолию.

Отношение Ани к нашему семейству менялось. Однажды, в поисках лучшей доли, она покинула нас ради соседей по лестничной площадке, ушла растить подружку мою Наташу и нянчить брата ее, маленького кудрявого Димку. Тогда родители попытались определить меня в прогулочную группу немки Эммы Федоровны, обитавшей на просторах все того же «иностранныго» скверика. Голова Эммы Федоровны в надвинутой на огромные роговые очки шляпе, в платке поверх шляпы, а сверху еще и закутанная в серую пуховую шаль, каждое утро проплывала, колыхаясь, мимо нашего окна в направлении «иностранныго» скверика, а вечером — в обратную сторону, на Пречистенку.

С трудом доплетаясь до цели на своих слоновьих, отечных ногах, обутых в монументальные фетровые боты, Эмма Федоровна грузным многослойным кулем проваливалась в чугунную, прежних еще времен, скамью «иностранныго» сквера. Скамьи скверика рассчитаны были на многочасовое комфортное сидение, и у Эммы Федоровны имелась своя, постоянная. Окрестные няньки не посягали на персональную эту скамейку, и Эмма Федоровна намертво срасталась с нею на весь свой рабочий день. Няньки роились в другой части сквера, ближе к Померанцеву переулку, и Эмма Федоровна единовластно царила на своей, еропкинской половине. Никаких соприкосновений между няньками и Эммой Федоровной, а также между подведомственными им детьми, никогда не случалось. Хоть няньки и посмеивались злобноватенько над чудаковатой бонной, место свое на социальной лестнице сквера знали, субординации не нарушали.

В середине дня воспитанников уводили обедать, а Эмма Федоровна доставала из ридикюля бумажный сверток с чем-то съестным и маленький ненашенский термос-флягу. В этом же ридикюле хранилась картонная книжечка — ведь прогулочная группа Эммы Федоровны была не простая, а специализированная, немецкая! В немецкой книжке фигурировали мальчики-чернички и девочки-землянички. Под яркими аппетитными картинками крупным готическим шрифтом набрано было несколько немецких слов. Именно эта книжка обеспечивала группе Эммы Федоровны статус немецкой, и ее прочтением ограничивался ежедневный немецкий урок.

Эмма Федоровна — еще один парадокс эпохи. Как удалось этой фрау, переместившейся в нашу действительность из сказок братьев Grimm и навсегда сохранившей сильный немецкий акцент, в самом начале 50-х проживать в центре Москвы? Что уберегло ее от высылки из столицы? Вникнуть в судьбу Эммы Федо-

ровны не пришлось, потому что в первый же прогулочный вечер она напрочь забыла обо мне. Увидев огромную ее голову, перемещавшуюся в сгустившихся сумерках в сторону Пречистенки, мама в ужасе бросилась на сквер и обнаружила забытую меня, одиноко соорудившую куличи в опустевшей песочнице. Пришлось покинуть немецкую группу и отправиться в люди: сначала спуститься в подвал тети Кати, потом вознестись на третий этаж — к фикусам тети Поли. Аниному капризу я обязана бесценными жизненными наблюдениями, новыми знакомствами и разнообразными сведениями обо всем на свете.

Спустя время Аня запросилась обратно. К обоюдной радости блудная дочь вернулась в лоно семьи. Этот новый этап, закончившийся к моему восьмилетию, естественным образом перерос в родство и длился еще четверть века. Последние годы, обретя московскую прописку, Аня жила с родителями в одном дальнем районе, а работала на меховой фабрике совсем в другом, тоже новом и тоже дальнем. Но не было дня, чтобы после работы Аня не приехала к нам в Мансуровский, ставший для нее эквивалентом родной деревни, малой родины. Обыкновенно проводила вечер у нас, а если никого не было дома, прогуливалась с подружкой по переулку, стояла у чужих подъездов.

Всем своим приятельницам Аня давала прозвища, в точности соответствовавшие облику подруги. При постоянном существительном, варьируя одни только определения, Аня создавала точные женские образы. Толстуха Лиза называлась «жопа в три раствора», тощая скукоженная Катя — «печеная жопа», суетливая Танька — «москвичка — в жопе зажженная спичка». Постаревшую и еще более скукоженную «печеную жопу» я встречала до недавнего времени, и так хотелось окликнуть ее по-свойски, по-Аниному: — Эй, жопа печеная! Откудова пресси?

Работа на меховой фабрике оказалась для Ани роковой. А ведь мы с мамой мечтали для нее о другой доле. Давно уж присмотрели чистую, полезную для здоровья работу. Неподалеку от нас, у самой реки, в двухэтажном кирпичном домике прошлого века всегда существовала маленькая фабричка по изготовлению постного сахара — любимого Аниного лакомства. Многие поколения окрестных жителей выросли в его приторном аромате. Конечно, если ветер дул из Замоскворечья, этот простецкий, но сладостный аромат, заглушали аристократические запахи шоколада, долетавшие с «Красного Октября» (б. Эйнем), с давних пор приютившемся на Стрелке Москвы-реки. Но ведь от шоколадного производства нас отделяла река, оно было недостижимо и воздействовало исключительно на обоняние. В то время как постный сахар творился на наших глазах.

Прильнув к окошкам, затянутым мелкой металлической сеткой, мы наблюдали за процессом от начала и до самого конца. Опрятные женщины в белых халатах и платочках, повязанных «а-ля Солоха» (кончиками вверх), заливали огромные, величиною со стол, противни чудесным составом — розовым, светло-зеленым (салатовым), цвета слоновой кости, давали составу остыть и с помощью стальной нити нарезали застывшие пласти на квадраты, ромбы и прямоугольники.

Сладким духом веяло из теплого фабричного нутра. Изредка в форточке появлялась добрая женская рука и протягивала горсточку разноцветных бракованных кусочков с отломанными уголками. А ближе к вечеру к окнам причаливал маленький крытый фургончик, зарешеченное окошко распахивалось, и деревянные подносы с готовой продукцией через окно перемещались в нутро фургончика. Мы с мамой мечтали увидеть Аню среди женщин, аппетитно трудившихся за огромными столами и были уверены, что это дело пойдет у нее хорошо. Мама даже побывала у фабричного директора и обо всем договорилась. Но совершенно напрасно.

Аня была упряма. Еще во времена Аниной службы у нас мама пыталась пристроить ее к полезному делу — спонсировала Анины занятия на курсах кройки и шитья. Но Аня не желала впитывать новые знания, осваивать городские умения и навыки, изо всех сил сопротивлялась маминым попыткам расширить ее горизонты. Выкройка трусов из темно-синего сатина, первое практическое задание, так и осталась распятой на куске картона, наподобие огромной ночной бабочки из древней запылившейся коллекции, не превратилась в изделие, годами ветшала, то и дело попадалась под руку.

Прожив в Москве более тридцати лет, Аня, как уже было сказано осталась дикаркой. Если по телевизору показывали балет, Аня валилась от хохота на диван, хлопала себя по коленям, вскрикивала: — Гляди, гляди, мужик без порток! — А во время передачи «В мире животных», при виде жирафа или зебры, алчно восклицала: — Вот бы мне такую шубейку!

При всем при том Аня была ярким и талантливым человеком. Рассказов таких же смешных и образных, как Анины повествования о происшествиях и диалогах, случавшихся на фабрике, в транспорте или в очередях, характеристик более едких и точных никогда уж не услышать. Анины рассказы были сочными, смачными, изумительными, а исполнение — высочайшего артистизма! Удивительно, но даже матерные словечки, появившиеся в Анином лексиконе одновременно с поступлением на меховую фабрику, не звучали в ее устах бранью, не становились словесным мусором. Употребленные к месту означали только то, что должны были означать и придавали повествованию дополнительный шарм.

Всю жизнь Аня тосковала по родной деревне, но не явно, а скрытно. Никогда и ничего не рассказывала о деревенской своей жизни, о детстве и юности, о войне, вот только вспоминала изредка о погибших в пожаре сундуках и самоварах. А выбиралась в родные края раз в год, в двухнедельный отпуск. Зато в тех деревнях, где Аня проводила лето вместе с нами, она сразу же находила себе занятие — с поразительной сноровкой собирала ягоды, чувствовала себя человеком на своем месте. А вот в городе места своего не нашла, в городе—то и жила как в диком лесу. На фабрике работу выполняла самую черную — сортировала меховые отходы. С той же сноровкой и ловкостью, с какой собирала когда—то лесную землянику, Аня сортировала и паковала в мешки обрезки старого меха. Через руки ее и легкие прошли горы мехового сора, тонны смертельной заразы. Здоровый

человек, до пятидесяти лет ни разу не побывавшая у зубного врача, Аня рухнула мгновенно. Больная, почерневшая, заработала максимальную по тем временам пенсию, но до получения ее не дожила полгода.

Годами Аня копила деньги. Мыла полы, собирала бутылки, отказывала себе во всем. Если и покупала по настоянию благополучных своих теток что-нибудь сносное, прятала обновку в сундук, надевала раз в год — на октябрьские праздники или на Пасху. После долгих лет невостреманности неношенные кожаные сапоги съезживались, не налезали на ногу, китайскую шерстяную кофту поедала моль.

Десятилетиями носила экономная Аня залатанные, многократно заштопанные одеяния, не в силах расстаться с лохмотьями. Сбережения свои хранила в чулке, не потратила из них ни копейки. И достались тяжкие Анины денежки чужому человеку — нелюбимой невестке, Вовкиной жене Алевтине.

В церковь Аня не ходила, но годами мечтала о золотом крестике. Наконец, после долгих сомнений, купила. Но золотой крестик нуждался в золотой цепочке. А на цепочку потратиться Аня не решилась и надеть крестик ей не пришлось. Я не была на Аниных похоронах, потому что накануне этого жаркого июльского дня наша семилетняя дочь оказалась в больнице, в тяжелом состоянии, вдалеке от Москвы. Но это совсем другая история.



Под сенью
нянюшек
в цвету
*Элегические записки
о мыле и мыловарении*



Детство мое прошло под ампирной сенью дворца Еропкиных (в прежней жизни Коммерческого училища, в нашей — Института иностранных языков), маминой альма-матери, а моей, соответственно, альма-бабки. Благодаря роскошному желто-белому фасаду с многоколонным, опирающимся на арки портиком, «иностранный» скверик выглядел нарядно круглый год. Но особенно хорош он был летом, когда еропкинский ампир оживляли яркие мавританские газоны. Куда-то они подевались, эти чудные мавританские газоны, состоявшие из сочной зеленой травы вперемешку с васильками, мелкими маками и пестренькими безымянными цветочками. На фоне мавританского газона, посеянного весной 53-го года, привиделось мне однажды страшное.

Уровень «иностранный» скверика значительно выше остоженского тротуара. Кроме высокого парапета окружает скверик чугунная ограда. Многие поколения остоженских детей, крепко держась за чугунные трубы, год за годом огибали скверик по его периметру. Маршрут проходил по внешнему краю парапета, то есть представлял некоторую опасность — опасность сверзиться на тротуар. Не смертельно, но все же...

Итак, иду я как-то обычным своим маршрутом и вижу: на парапете, наискосок от тургеневского домика (того самого, злополучного, за стенами которого, по легенде, мамаша Ивана Сергеевича измывалась над людьми и животными) и почти напротив мужского парикмахерского зала лежит развернутая газета, а на газете горка говяжьих сахарных косточек. Видно, добрый человек выложил их здесь для бездомной собачки (в память незабвенной Муму). Однако, в тот же день (или ночь) снится мне сон, будто снова иду я по парапету, снова вижу газету, а на газете этой лежат не говяжьи косточки, а маленькие ручки, ножки и другие части крошечного младенческого тельца. Одним словом, явственно вижу расчлененного младенца на сияющем фоне мавританского газона.

Ужас! Сон и явь перемешались, поменялись местами, память это зафиксировала, и только во взрослые годы я с трудом убедила себя, что явью были говяжьи косточки, а расчлененный младенец — сном. Надо думать, между сном и явью вклинились леденящие кровь рассказы об убиенных и переваренных на мыло младенцах, девушках, старичках и старушках.

Няньки наши, в послевоенные годы лавиной хлынувшие в Москву из ближних и дальних деревень, в большинстве своем были девушками с незамутненной фантазией, и блуждавшие по Москве жутковатые истории смело адаптировали к уже освоенной местности и с аппетитом расцвечивали сочными жизненными реа-

лиями. Что и делало истории эти почти достоверными. В рассказах этих, как в капле воды... и т.д. и т.п. Вот реконструкция нескольких «мыльных» историй, бытовавших некогда среди нянек «иностранныго» скверика.

История первая: — Одна женщина, сватья нашей соседка (они за Абельмановкой живут), послала своих детей, мальчика и девочку, в булочную за хлебом. Парня—то она в войну нагуляла, а девочку от мужа прижила. Муж ейный, хотя партийный и на протезе, запрошлый еще год к девке молодой с ихнего двора жить перешел. А девочке своей (дочери тоись) по исполнительному листу легулярно плотит. Каждый месяц, ну прям как часы. А получает—то хорошо.

Они с энтой девкой, к которой он жить—то перешел, обои на «Парижской Коммуне» работают. Сам—то в управлении, а девка бухгалтером. Вместе на работу ездют, чисто голубки. Она его в транвае и подцепила — место ему вишь уступила, как инвалиду войны. Хитрющая... А сама из себя кулемистая, жопой асвалът метет, очкастенькая и белая что твоя мышь. Ну вылитая моя хозяйка — в выходной надушится «Красным маком», на диван брякнется и всю дорогу книжки читает. На хозяина ноль внимания, фунт презрения. Ни кожи ни рожи, только что волос богатый, никакой гребень не берет. Ну вот, а отчим девкин—то (муж материн) на левую сторону парализованный и нонешний год ему от района комнату в новом доме обещали. Как герою гражданской.

А парень—то с девочкой как пошли за хлебом, так и не вернулись. Мать заявила участковому, да без толку! Недели через две глянула утром в окошко, смотрит — в палисаднике у забора детки ее стоят. Мать обрадовалась, выбежала, дотронулась до ребят, а они не живые, а сделанные из мыла. И главное: сандалики на их — чистое шевро, рубашечки глаженные, волосики вьющие и расчесаны на пробор. У девочки—то глазки голубенькие, точь—в—точь, как у матери, а у парня карие, не поймешь в кого — отца—то его сроду никто не видел. И реснички точь—в—точь настоящие. Ну как живые, хотя из мыла! А в авоське хлеб свежий, теплый еще — черного кирпич, батон и булка калорийная. И при хлебе записка: «Кушай, матушка, хлебушек и деток своих вспоминай!»

По записке и раскрыли. Милиция стала разбирать, кто да что, всему двору допрос сделала. Так что оказалось? Девки энтой мать, которая за полпарализованным живет, деток и уморила! Зять ейный, муж девкин, который от дочери родной к ей жить перешел, по записке сразу признал. — Материн это почерк, — говорит, — тещи моей.

После она и сама повинилась. — Я — говорит, — грех на душу взяла, деточек погубила. Надоело, что зять каждый месяц алименты старой жене плотит, от семьи отрывает. Хотела, чтоб дочке моей больше досталось (это бухгалтерше очкастой значит).

А они и взаправду, как детки эти запропали, сразу гардероп зеркальный купили трехсворчатый, кровать никелированную двухспальную и тюлю кружевного на два окна, в новую-то фатеру. Да еще на ковер записались, три на чепуре. И надо ей было, дуре, записку-то писать? Без записки б никто б и не прознал...

Баба энта и на сестру свою показала, с которой ребят изводила. Сеструха в Тарасовке в сельмаге работает. У ей там пятистенка своя за высоким забором, собака злющая на цепи — делай что хошь, кричи не кричи — никто не услышит (мыло-то оне в баньке варили — баньку деверь ихний сзаду к дому пристроил).

Стали обыск делать. Добра в подполе нашли — ужась! Тюлю одного пять лурунов, кофт китайских пуховых (и красных тебе, и салатных, и тебе бирюзовых) — видимо-невидимо! Еще одеяла стеганные атласные, ботов теплых ненаших сорок пар, чулков фельдикосовых несчитано, платков кашемировых, отрезков шевиетовых — страсть сколько! И сандаликов детских полная кадушка, точно как на ребятах давеча были. Обехеэс за ей давно следила, за продавщицей-то, теперь уж точно не отвертится, на всю катушку получит! А то и откупится...

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: — Перед самыми ноябрьскими одна женщина с «Красной Розы» заняла очередь за яичками. А коляску с ребеночком на тротуаре оставила. Взяла три десятка (и постояла-то всего часа полтора), выходит — нету ребеночка! Туды-сюды — никто не видал. Муж как узнал, что она ребеночка потеряла, говорит: — Не буду с тобой жить, уйду к матери (мать его на Плющихе, в бараке живет, вход со двора отдельный).

А на Восьмое марта женщина энта, которая с «Красной Розы», посылочку получает. Глядит — обратный адрес свекровкин. И в посылочке три куска розового мыла. Женщина сама себе и думает: — С чего это свекровка раздобрилась?

Но мыло взяла, пошла в субботу в Усачевские бани, стала мылиться. Вдруг видит — из мыла мизинчик торчит, с ноготочком, точь-в-точь как у ее ребеночка. Она и домываться не стала, побегла в милицию, да все и рассказала.

Поехали к бабке. А бабка энта тюльпаниха в школе работает, в которой за прошлый год всю дорогу детишки пропадали. Нянечкой в гардеропе. Приглядит ребеночка поупитанней, заманит в подсобку и поминай как звали! Вот те крест не вру — золовка хозяйкина говорила, она в РОНО главная заведущая.

Приехали мильцанеры к бабке, дверь выбили, а бабке хоть бы что — стоит себе у плиты и мыло в котле кочергой размешивает. И внучка своего родного, карга старая, не пожалела! Вон как сноху-то свою возненавидела! Ну, милиция разобралась что да как, бабку эту засудили, а сын ейный (муж той женщины, которая перед ноябрьскими яички брала) мать свою проклял и к родной жене вернулся. Еще и прощения попросил! Теперь они промежду собой хорошо живут.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ: — Две девушки с нашего двора, студентки, между собой сестры, пошли в выходной в парк Горького прогуляться. На старшей еще танкетки были — белые, чехословацкие, в Марьинском Мосторге брала. Она татарочки, из себя красивенькие, хотя старшая красивше — бровки тоненькие, как по линейке нарисованные, волос длинный, блестящий, что твой шелк. Идут сестрички по дорожке, гуляют, а за ими два мужчины. Интересные такие, в возрасте. На одном брюки серые, пинжак и рубашка апаш, на втором очки золотые. Вроде как из евреев али из армян, кто их разберет... Подошли они к девушкам, познакомились, сказали, что сами братья, а хозяйки их на югах. Сначала мороженым плонбир угостили, а после в гости позвали. Сестрички и согласились. Только вышли из парка — из-под моста ЗИМ черный вырывает, с занавесками. Сели, поехали, крутили-крутили, ехали-ехали, остановились. Выходят из ЗИМа, смотрят — дом высоченный, в двадцать этажей, с лифтом, лестница мраморная. Поднялись на самый верх, в квартиру зашли. Квартира богатая, двухкомнатная. Портьеры красные плюшевые, люстра хрустальная, на столе шанпанское, конфеты шоколадные дорогие. Мужчины эти и говорят девушкам: — Вы тут закусывайте, делайте чего хотите, только во вторую комнату дверь не открывайте. — А сами ушли. Сестры конфет поели, на диванах сидели, скучно им стало, младшая и говорит старшей: — Давай во вторую комнату заглянем! Хотя б через щелочку! — Старшая-то сперва не хотела, а потом и согласилась. Открыли она дверь, глядят — двенадцать девушек молодых стоят. Все высокие, фигуристые. Волосы у их белые, что твой лен, да кучерявые. Красивенькие — ужась! Какие в комбинациях кружевных немецких, какие вообще без ничего. Молчат, не двигаются, перед собой смотрят, а руки по-разному держат. Потрогали их сестрички, а девушки эти холодные и твердые, что твое мыло! Сестры перепугались, из комнаты выскочили, трясутся... Старшая и говорит младшей: — Ты в милицию беги, а я тут подожду, чтоб мужчины эти чего не подумали. — Младшая побежала в отделение, мильцанеров привела, а квартира пустая — ни мужчин этих, ни сестры старшей, ни девушек. Так и не нашли никого. Только на кухне чан обнаружили здоровенный. Чугунный, в котором мыло варили. А через месяц младшая сестричка пошла на Дорогомиловку танкетки себе посмотреть. Видит, баба одна точно такими, как у сестры были, торгует, недорого просит. Девушка приценилась, да и купила. Пришла домой, стала мерить, глядит — правая стелька отклеена. А с исподу химическим карандашом написано: «Прощай дорогая сестричка, не поминай лихом!» Сестрины это были танкетки-то! А бабы той с Дорогомиловки и след простыл.

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ: — Давеча (акkurat перед праздниками было) бабулька одна с Курсового (с крестной с моей с одной деревни) своих проводила (сын у ей на «Красном Октябре» на полторке шоферит), пацана подняла, жопу ему намыла, а тут и тесто подошло (опару-то она с ночи поставила). На праздники

к им родня собиралась черкизовская, вот она и намылилась пирожки печь. Прошлый день с после обеда в инвалидном муку давали, по два кила в одни руки, и дрожжей палку. Так сноха бабкина вперед всех очередь заняла (она в домправлении диспечером, им там заране говорят), бабка в обед отмечалась, а к вечеру взяла.

Только разбежалась начинку рубить (от студня еще мясо вареное оставалось), вдруг звонок. Глянула через цепочку — мужчина стоит незнакомый. В усах и в кашне в крупную клетку. В левой руке у его чемоданчик дерьматиновый, а в правой мясорубка. И говорит этой бабке: — Отпирай, мать! Меня Люська прислала (а Люськой сноху бабкину звать), велела мясорубку передать, мясо для пирожков крутить.

Бабулька и рада — мясорубку—то она у соседей брала, да запрошлую неделю сноха ихняя с Люськой насмерть переругалась. До драки дошло, до крови. Люська баба лютая — харю ихней снохе начистила по первое число.

Бабка этому мужику и отперла. Тот на кухню взошел, глянул, нет ли кого, да как замахнется мясорубкой. И хрясть бабку по кумполу! Бабка салазки и откинула. Много ль ей надо? В чем только душа держалась? Одно слово — божий одуванчик. Мужик этот бабку в мешок захал, веревкой завязал, на горб закинул и давай бог ноги. А мясорубку на тубаретке забыл.

А малой под столом сидел, в машинку играл и все видел. Со страху—то он и не пикнул — мужик его и не приметил. А как мужик—то ушел, пацан к соседям побег и все рассказал. Соседи погнались за мужиком (он как раз на Бутиковский сворачивал), мужик испугался, мешок с бабкой кинул, шмыг в подворотню и проходными на Метростроевскую утек.

Вызвали милицию, мешок развязали. Бабка—то померла, а глаза не закрыла... И в ейных зрачках этот мужик с мясорубкой весь как есть отпечатался. Что на твоей фотке. Милиция его к вечеру и взяла. По кашне опознали и по усам. У сеструхи своей скрывался на Льва Толстого. Слесарь это оказался с соседнего домправления. Люська, сноха, любовь с им крутила. И мыло они вместе варили. Жир у их на мыло шел, а мясо они через мясорубку крутили, и фарш сестрин хахаль на Черкизовском рынке продавал. Многие брали...

Свекруху—то свою Люська давно извести хотела. На кой ей бабка сдалась? Когда еще своей смертью помрет! Пацана только жалко — мать засудят, бабка померла, отец через две смены на третью в ночную шоферит, куда парня девать, разве что в ентернат.

История пятая: — Один дедок, интелехентный такой старичок, вежливый, бабку свою схоронил, а сам, пердун старый, молодую привел. Тоська, подружка моя, прошлый год у этого деда жила, за дедовой бабкой ходила, а как та померла, к писательше слепой на Померанцев жить перешла. Таперича там в

прислугах. Покойница дедова с писательшей этой бельмастой до революции в гимназиях вместе учились, на балах отплясывали, с графьями шуры-муры крутили. Вот Тоська от бабки—то и перешла к ей жить.

А дедок вдовый академиком в институте работает, денег получает — страсть сколько! Баба—то молодая, которую он вместо покойницы взял, сама из аспиранок. Из себя здоровущая, гладкая, поперек себя шире, а на лицо интригосная и себя блюдет — маникюр красит, шестимесячную завивает.

Раньше—то у бабы у этой молодой был, тоже из ихних — из аспиранов. Он ее на этого дедка и навел. — Ничего, — говорит, — потерпи заради нашего будусчего! Ему и нужно—то всего ничего, разве что погреться.

А у деда—то квартера пятикомнатная, в каждой комнате по гардеропу, да по люстре хрустальной, да по ковру. Добра набито! Одних брульянтов бабкиных бочонок цельный из—под сахару на шесть кило, да шуб каракулевых трое. А отрезов... и габардиновых, и драповых, и креп—жоржетовых. Бери не хочю. Еще дача в два этажа и машина в гараже. Вот и считай! Есть заради чего потерпеть.

Дедок этот, когда баба—то молодая за его шла, вроде как совсем ветхий был, вроде как на ладан дышал. А тут ожил чевои—то, стрепенулся. Костюм в ателье пошил шевиетовый за две тыщи, бороду подрезал, бабу молодую за жопу стал цапать. Жопа—то у ей и взаправду, Тоська говорит, богатая — в три раствора.

Баба молодая перепугалась, да и говорит молодому: — Дед этот еще тыщу лет проживет, еще на наших похоронах простудится. Делай что хошь, а меня от хрена старого свободи! Видеть его не могу. Трясуся вся от отвращения, когда он меня лапает.

Дык чего эта возлюбленная пара удумала? Аспиран—то в лаборатории работал химической, в которой мыло делают. И дедок тоже по мылу академик, все рецепты досконально знает. Его со всего свету про мыло спрашивают, что да как. Вот аспиран этот хитрожопый и удумал, как ему дедка—то в лабораторию заманить. Вроде как совет ему надо спросить — с чем мыло варить, чтоб ландышом пахло.

А у их там в лаборатории три ступеньки — к чану, в котором мыло кипит, подниматься. Молодого—то бес и попутал, нашептал дураку: как дедок на третью ступеньку взойдет, толкани его чуток, он за ступеньку—то запнется, да в чан и кувырнется. Вроде как и не виноват никто.

Да дедок—то не промах, даром что ль академик? Он этого молодого давно раскусил. И как к чану подниматься—то стали, оболочотился на молодого, вроде как ослаб. Да сам первый и пхнул. Аспирант этот и кувырнулся вверх тор-машками, только пузыри пошли.

А чужырле той молодой, аспиранке—то, дедок ящик мыла послал, которое в этом чане варилось. И при мыле записку: «Прошу свободить жилплощадь! Даю 24 часа во избежание милиции! Не ройте другому яму, медам! Фокус ваш не прошел!» А сам на дачу уехал, дача у его в Малаховке в два этажа.

Баба—то рада была ноги унести. Взяла два чемодана, с какими к деду приперлася, да и увистала! Дед с дачи приехал, а след простыл. Поскучал конечно немного, хрен старый, а таперича бабки—покойницы двоюродную племянницу с Пензы выписывает, за собой ходить. Она женщина простая, безвредная, не то что та фря. Тоща только больно! Да ничего, может еще и отъестся на дедовых—то хлебах.

Видеть настоящие мавританские газоны мне с тех пор не приходилось, но стоит только вспомнить о них, как перед глазами возникает страшная кучка на газете. Многое переменялось в окружающем мире, но только не парикмахерская на Остоженке. С нежностью гляжу я на мужской парикмахерский зал в доме, похожем на кусок праздничного торта. Зал этот, глядящий на «иностранный» скверик двумя громадными окнами—витринами, был здесь всегда, и именно сюда в раннем детстве я водила папу стричься и бриться. Здесь замороженно наблюдала за волшебной процедурой.

Парикмахер в халате и усиках усаживал папу в крутящееся—вертящееся кожаное кресло. Не успевала я позавидовать папе, как он скрывался под необъятной простынею, в мгновение ока отделявшей его ото всего, что происходило снаружи — в парикмахерском предбаннике, на улице, в недалекой нашей квартире. От отца моего оставалась одна только голова, увенчивающая собой белый простынный конус. Очутившись под простыней, папа замирал, будто только что заключился с усатым парикмахером на «замри—отомри». Странность происходящего усугублялась еще и тем, что парикмахер поворачивал папу лицом к огромному зеркалу, и с этой минуты, сидя ко мне спиной, папа смотрел на меня из зазеркалья. Почти не моргая, но время от времени корча смешные рожи.

На следующем этапе буквально из воздуха возникала летающая машинка. Дяденька—парикмахер вроде бы и не притрагивался к ней, а только дирижировал ее полетом и краем глаза наблюдал за тем, как с осиным жужжанием она набрасывается на папины виски и затылок. После каждой такой атаки волос на папиной голове становилось меньше и меньше.

Вслед за машинкой в руках цирюльника оказывалась миска с горой блистающей мыльной пены, похожей на июльское кучевое облако. Пена колыхалась, меняла очертания, отсвечивала радужно, издавала тихие лопающиеся звуки и что—то пришепывала. Коротким толстеньким помазком парикмахер зачерпывал аппетитные мыльные шмотки и щедро обмазывал ими папу. Возникавшее по ходу дела сходство папиной головы с пирожным «буше» в белой глазури создавало праздничное настроение, отчасти разрушавшееся в тот момент, когда одной рукой парикмахер бесцеремонно хватал папу за нос, а другой с щелканьем раскрывал складное бритвенное лезвие.

Не давая себе передышки и яростно соскребая мыльную пену с папиных щек и шеи, парикмахер то и дело вытирал страшное лезвие о ту самую простыню, в которую сам же так тщательно закутывал моего отца всего несколько минут назад.

После чего простыню срывал, с отвращением комкал и брезгливо отшвыривал в угол, на кучу других простынных комков. Казалось бы, все кончено — *finita la comedia!* Однако апофеоз процедуры был впереди.

— Вас освежить? — смилив профессиональную ярость и церемонно склонившись над папой, учтиво спрашивал парикмахер. Иногда папа отказывался, но если в кармане оказывались лишние двадцать копеек, величественно кивал и делал значительное лицо. Престранной вещицей, состоявшей из пузатого флакона рубинового цвета, гибкого хоботка и резиновой груши, одетой в зеленую шелковую сеточку, парикмахер пшикал несколько раз, и папу (а вместе с ним и меня) окутывало едкое облако одеколona «Шипр». И хотя после заключительной процедуры у нас пощипывало в носу, мы уходили из парикмахерской в приподнятом, благоухающем настроении. Нужно заметить, что в те времена отец мой, будучи темным шатеном, носил небольшие ярко-рыжие усики.

В самом начале перестройки, на нежно-розовой заре демократии, безымянное прежде парикмахерское заведение неожиданно обрело имя, причем зловещее. Что примерещилось хозяину парикмахерского бизнеса? Почему он назвал свое дитя «Авелем»? Что это — профессиональная солидарность с коварно убиенным коллегой, перестригшим некогда множество ветхозаветных овец? Или леденящее душу провидение? Какие тайные узы связывают новообретенное парикмахерское имя, расчлененного агнца из детского сна и две давних жертвы русского крепостничества? И отчего образы ни в чем неповинных младенцев, девушек, старушек, собачек и пастухов склублились именно на этом крохотном кусочке московской земли? Что за бермудский треугольник образовали совместными усилиями еропкинский дворец, тургеневский домик и мужской парикмахерский зал «Авель»?

Кстати говоря, на втором этаже, прямо над мужским парикмахерским залом находилась некогда мастерская Владимира Евграфовича Татлина. Именно здесь осуществлял он свои знаменитые контррельефы (живописные рельефы с использованием разнородных и неожиданных материалов). Разумеется, к мыльным сюжетам этот замечательный художник не причастен. Так просто, к слову пришлось, а пропос...

Как видно из вышесказанного, детство мое прошло под сильным мыльным влиянием. Не склонная к собирательству, однако более или менее чуткая к прекрасному (спасибо еропкинскому ампиру), в десятилетнем возрасте я собрала одну-единственную в своей жизни коллекцию. Разумеется — мыла! Самые ценные экземпляры — мыльные фигурки китайского производства: голубые мальчики, розовые девочки, разноцветные зайчики и слоны. Мыльные раритеты все еще целы, не смылились, и хранятся на антресолях в рыжем дерматиновом чемоданчике, точно таком же, как тот, с которым в одно предпраздничное утро явился перед несчастной старушкой усатый слесарь в клетчатом кашне.



Триптих
детский
тоталитарный



1 Едва успев вырасти, зубы мои сразу же начинали болеть и мы ехали в зубную поликлинику на Маросейке. Украшала зал ожидания гостеприимной поликлиники редкостной красоты картина, изображавшая черноволосую девочку с шелковистой челкой в объятиях товарища Сталина. Вся страна знала, что девочка отличилась на уборке хлопка и зовут ее Мамлакат. Крепко обхватив Сталина за шею, Мамлакат с восторгом прижималась щекой к гладкому, украшенному густейшими усами сталинскому лицу и жмурилась от удовольствия. Счастливая, счастливая Мамлакат! Яркая нарядная картина висела высоко под потолком и хорошо смотрелась отовсюду. Картины красивее этой мне видеть не приходилось. А уж картин—то я навидалась, особенно изображений вождей! И вовсе не потому, что родители были людьми правовежными. Отнюдь нет! Просто папа мой зарабатывал на жизнь в том самом портретно—копийном цехе, где плодились бесчисленные портреты вождей всех призывов, в которых во все времена остро нуждалась необъятная наша Родина. Я лишь однажды побывала в папином цехе, но хорошо представляю себе его окрестности, потому что каждый день в обеденный перерыв папа писал из окон копийного цеха маленькие этюды. Пейзажи эти оказались чудесным противоядием, благодаря которому папа дотерпел до освобождения из копийного рабства и не погиб как художник. Папино освобождение произошло благодаря внезапному окончанию кампании по борьбе с космополитизмом, которое в свою очередь случилось вследствие нежданной—негаданной кончины товарища Сталина. Мама вернулась на свою работу, и папа тут же ушел из страшноватого цеха, в котором столько народу погубило свои таланты. Что же касается спасительных этюдов, то для некоторых заказывались рамки и по вечерам мы с папой ездили к столяру Михаилу Климовичу, жившему в Успенском переулке в подвале огромного доходного дома. Я любила ездить к Михаилу Климовичу по двум причинам: во—первых, мне очень нравился маленький его внук, похожий на крошечный веселый грибок в байковых коричневых шароварах, а во—вторых, сам Михаил Климович был вылитый маршал Буденный, во всяком случае усы у него были точно такие же. Поездки к столяру вдохновили меня на создание небольшой поэмы. Писать я не умела и диктовала текст папе. Увы, в памяти сохранились всего две строки, зато лирические: «Деревья тихонько пестрели,/По улице бегал столяр». Так вот, отношение к портретам вождей в семье нашей было особым еще и потому, что не один только папа, но и мы с мамой принимали участие в их изготовлении.

Вечер, круглый стол под оранжевым абажуром с обугленной макушкой. На столе распластан большой лист мучнисто—белой кальки. На кальке бледный контур

огромного ленинского лица, кусочек шеи, воротничок рубашки, галстук в ромбик, отвороты пиджака, пуговица. Низко склонившись над калькой, мы втроем (мама, папа и я) толстыми швейными иглками прокалываем дырочки по нескончаемому ленинскому контуру. Работа кропотливая, многочасовая, сосредоточенная. Мне доверены пиджачные отвороты и пуговица.

Наконец контуры проколоты и наступает заключительный этап татуировки. Затаив дыхание, берем кальку за четыре угла, кладем на загрунтованный девственный холст, осторожно разглаживаем и тугим тряпочным тампоном мама старательно втирает в дырчатые ленинские контуры синьку (ту самую, для подсинивания белья). Снимаем кальку и... о чудо! — на холсте узнаваемый Ильич василькового цвета, подготовленный к дальнейшей живописной работе. Отсюда и особый мой интерес к портретам вождей, и ощущение их одомашненности. И на праздничных первомайско–ноябрьских прогулках по городу при виде очередного портретного ряда я без запинки называла всех фигурантов и осведомленностью своей щеголяла. Я даже знала, что огромные уличные портреты написаны в технике сухой кисти масляной краской сиена натуральная! Более того, чуть ли не с рожденья мне открылось редкостное слово «гризайль»!

Самым близким и понятным вождем казался Берия, потому что он, как и дедушка с бабушкой, носил пенсне. А самым неприятным — тонкогубый изнуренный Шверник с ввалившимися щеками — натуральный Кощей Бессмертный. Особняком, вне конкурса, существовал маршал Буденный — вылитый столяр Михаил Климович. Моя эрудиция распространялась не только на членов Политбюро. Еще я знала наизусть стихотворение Пушкина «Зимняя дорога». Более всего волновало меня в этом стихотворении загадочное слово ОДНЕ! «Только версты полосаты попадают одне»? Что за ОДНЕ? Кто такие?

В комнате бабушки и дедушки я с выражением читала Пушкина, и любящим родным мерещился шанс вырастить меня культурным человеком. Порадовав семью, в артистическом запале я выбегала в кухню и с еще большим энтузиазмом исполняла иной репертуар. Прижавшись бумазейной спиной к пупырчатой кухонной стенке, я радовала соседей славным стишком, которому выучила меня Настасья Филипповна — косматая старуха–соседка, здорово похожая на Бабу–Ягу. Стараясь быть ближе к первоисточнику, тщательно оберегая интонации и особенности произношения носителя языка, я проникновенно декламировала:

Нонче праздник воскресенье
Мамка пышек напекеть.
И помажить, и покажить,
А покушать не даеть.

Соседи простодушно восхищались и декламацией и душевным стишком. Тайный же мой позор состоял в том, что понимая в жизни практически все, зная толк в классической поэзии, в фольклоре, регулярно посещая зубную поликлини-

ку, я все еще не могла заснуть без соски! Если терялась соска, теряла себя и я. Чтобы унять мои рыдания папа бежал среди ночи в дежурную аптеку за новой соской. Кстати говоря, дети в те времена сосали отвратительные соски — клеклые, горчичного цвета, с резиновым запахом. Однако рассказ этот затеян вовсе не для того, чтобы пожаловаться на качество советских сосок. Просто по ходу повествования придется вернуться в сумеречное утро 8 ноября 1951 года. Я только что проснулась, а папа уже стоит возле моей кровати, затаенной для безопасности веревочной сеткой, держит в руках свежий номер «Правды» и с выражением читает о том, как накануне, во время праздничной демонстрации, Сталин опять приглубил чью-то чужую девочку. Я в отчаянии! Снова не я! Взывая к моему здравому смыслу, мама говорит: — Подумай, Оля, а вдруг Сталин однажды возьмет тебя на руки и спросит: — Девочка, ты сосешь соску? И что ты ему ответишь? — Сердце мое падает...

Остановившееся мгновение: серый грузовик почти упирается в наше окно кособоким кузовом. Я принимаю решение — прошу маму выбросить соску в форточку, соображаю, что если она попадет в кузов, у меня не будет пути назад. Мама открывает форточку, послушно выбрасывает соску и грузовик уезжает. Завершен жизненный этап. Несколько ночей я не сплю, родители умоляют воспользоваться соской, суют ее мне под нос (мамино бросательное движение оказалось ложным), но я непреклонна. Я хочу на Красную площадь, на трибуну мавзолея, на руки к Сталину!

Мечта моя осуществилась лишь отчасти. 7-го ноября 52-го года, ровно через год после отречения от соски, мы с копийным папиным цехом отправились на демонстрацию. Я двигалась по Красной площади на плечах высокого дядьки-художника и видела живого Сталина, одинокую серую фигурку на трибуне мавзолея. Сталин пристально смотрел на меня и вяло помахивал рукой. И нисколько не был похож на свой портрет в зубной поликлинике на Маросейке. В тот день Сталин взобрался на мавзолей в последний раз в жизни, через четыре месяца ему пришлось опуститься в его глубины. И мартовским утром 1953 года я проснулась от горького бабушкиного плача за перегородкой, разделявшей небольшую нашу комнату на две крохотных клетушки. Сталин умер, и она боялась, что теперь уж никто не спасет нас от расправы, что теперь будет еще хуже. Существовала иллюзия, будто Сталин все же лучше тех, кто придет ему на смену. Впереди маячил образ Берии. Кто бы мог подумать, что тем же летом во дворе нашем запоют на мотив лирической песни Бориса Мокроусова на слова Михаила Зубкова «Горят костры далекие»:

Цветут инжир и алыча
 Не для Лаврентья Палыча.
 А для Климент Ефремыча
 И Вячеслав Михалыча...

А прибежав с гулянья, я задам маме загадку: — Отгадай неприличное слово из пяти букв. Первая буква Б. — И объяснив мамино смятение незнанием отгадки, торжествующе сообщу: — Это Б-Е-Р-И-Я!

2 Из своего портретно–копийного цеха папа принес билеты на первое в моей жизни новогоднее представление в ДК имени Зуева. Представление навсегда связано с воспоминанием о тусклом, плохо освещенном зале и полутемной пустынной сцене. И люди вокруг серые и коричневые. В зале множество пионеров и некоторое оживление вносят в скучную цветовую гамму белые пятна рубашек с красными кляксами галстуков. Но все равно это почти гризайль, черно–белое кино. Зал переполнен детьми 52–го года.

Сразу же огорчила Снегурочка. Внучка, девочка, она оказалась тетенькой постарше моей мамы. Две белых косы ничуть не молодят утомленное ее лицо. Из всех сил старается Снегурочка воодушевить зал, суетится, приплясывает, намекает, будто бы под елкой целая гора новогодних подарков. За Снегурочку отчего–то стыдно, ее жаль. И жиденькая елочка в углу сцены мала, неказиста, украшена скудно. Ее и сравнить нельзя с той, что у меня дома — зеленой, дремучей, населенной игрушками, живущими в семье с незапамятных времен папиного и тетушкиного детства. Из глубины этих времен подаются тайные, но внятные знаки матовый малиновый шарик и мерцающие ребристые цилиндрики синих бус; Сэм и Салли — парочка негрятят, сшитых бабушкой из старых чулок; Красная Шапочка, одетая в гофрированную бумажную юбочку. На моей елке серебряный самовар с крошечным чайничком, Арлекин в розовом колпачке, снежинки из соляных кристаллов. По вечерам дедушка заводит музыкальную шкатулку. Под лаковой ее крышкой медленно вращается латунный барабанчик с шипами и от этого вращения в результате какого–то чуда рождаются старинные рождественские мелодии. Тоненькие свечки пахнут воском и мандаринами, дрожат и множатся в черном окне.

Но это дома. А теперь я сижу в первом ряду тусклого зала, глубоко под сценой, с самыми мелкими (мне еще нет четырех) и не вижу той горы подарков, на которую, в ожидании Деда Мороза, то и дело указывает Снегурочка. Меня гложет нетерпение, я надеюсь на прекрасное развитие новогоднего сюжета, задираю голову, подпрыгиваю на стуле, пытаюсь что–нибудь разглядеть. Наконец, возбужденная снегурочкиными восклицаниями и намеками, неожиданно для себя срываюсь с места, взбегаю по боковой лесенке на сцену, кидаюсь к елке. И вместо обещанного изобилия (подразумевалось, что под елкой приготовлены подарки для всех детей в зале) вижу всего–навсего обшарпанный грузовик с зеленым жестяным кузовом и убогую куклу. Все ясно — нас обманули! Решив развеять иллюзии зала, все еще надеющегося на прекрасное, выбегаю на авансцену, размахиваю руками и кричу: — Ребята, идите сюда! Откуда взялась эта безоглядная смелость, каким образом рассчитывала я разоблачить обман, что именно собиралась прокричать дальше, не знаю, потому что неведомая сила подхватила меня под мышки и унесла со сцены. Под конвоем двух пионеров, возникших из–под земли наподобие джиннов, отправилась я на свое место и просидела в скособоченной позе до самого конца представления. Опасаясь рецидива, пионеры цепко держали меня под руки.

Они и не подозревали, что мизерную дозу отпущенного судьбою общественного темперамента я исчерпала с лихвою при первой же попытке как–то его исполь-

зовать. А эмбрион моей социальной активности зачах в момент своего зачатия. Никогда больше не рвалась я на сцену или трибуну. На первом же новогоднем празднике усвоила трамвайный закон.

Сосредоточиться на представлении я так и не смогла. Из всего театрального действия запомнила только Нечистую силу на ходулях с головою, сооруженной из черного чемодана, беспорядочно метавшуюся по черной сцене. А мама моя забилась подальше от позора в задние родительские ряды и затаилась там до конца праздника, оставив меня во власти джиннов с красными галстуками.

3 В школу я пошла в сентябре 55-го, через два с половиной года после смерти Сталина. Вождь умер, но дело его было живо и особенно в нашей школе. Коридор четвертого этажа украшали эпизоды из жизни усопшего вождя и среди них мой любимый сюжет — с Мамлакат. Однако тусклые коридорные изображения не шли ни в какое сравнение с незабываемой картиной в зубной поликлинике на Маросейке.

Учительница наша Тамара Ивановна ежедневно выкраивала минутку—другую, чтобы провести класс по коридору и еще раз растолковать смысл изображенных на картинах сцен. Мы со своей стороны соблюдали условия игры: внимательно, будто впервые, слушали, проникновенно вглядывались, внимали.

Тамара Ивановна, немолодая, но очень еще эффектная брюнетка с алым ртом и ястребиным взором, внушала священный ужас. Ни перед кем в своей жизни не трепетала я так, как перед Тамарой Ивановной. А ведь в те времена я была отличницей. Каково же приходилось остальным? Подружку мою, высокую, слегка заторможенную девочку Машу, уже в те ранние годы вылитую «Незнакомку» Крамского, Тамара Ивановна, крепко ухватив за две толстенных косы, била головой о классную доску. Таким способом учительница вырабатывала у Маши быстроту реакции. А Валю Темкина удобнее было бить головой о батарею, потому что из-за малого Валиного роста макушка его оказывалась на уровне желобка для мела и до доски не доставала. Валя был личностью замечательной — диссидентом и независимым человеком. Рыжий, веснушчатый, большеротый, духом Валя обладал негибким, бесстрашно противостоял учителям, одноклассникам, всему миру. Для простоты Тамара Ивановна постановила считать Валю дебилом, что ничуть не соответствовало действительности. Неустанно и храбро эпатировал Валя публику доступными ему невинными способами и в пределах своих возможностей проявлял необычайную изобретательность. Вызванный на уроке пения к роялю для исполнения песни «То березка, то рябина» Валя вынимал изо рта горсть пережеванного рафинада, мокрую эту и липкую массу временно клал на клавиши и изображал кроткую готовность спеть все, что угодно. В ужасе и смятении учительница отказывалась от намерения слушать Валино пение и отсылала его на место. Валя неторопливо сгребал сладкую кучу, старательно выковыривал частички, попавшие в бороздки между клавишами, запихивал всю эту субстанцию обратно в широкую свою пасть, руки вытирал сначала о крышку рояля, потом о свою гимнастерку и оставлял брезгливую учительницу пения содрогаться от омерзения, а класс — от хохота.

Тамару Ивановну Валя не очень боялся и на ее уроках засовывал ноги под крышку парты, в отделение для учебников и тетрадей. Крошечный, он устраивался очень уютно. Но чтобы выйти к доске Вале приходилось выкарабкиваться из ящика, и он устраивал из этого процесса отменную клоунаду с падениями, эквилибристикой, нелепыми ситуациями. До тех пор, пока разъяренная Тамара Ивановна не выдергивала его из парты, как редиску с грядки и не вышвыривала к доске или за дверь, в зависимости от настроения. С чернильницей Валя проделывал нечто невозможное — его чернила тухли, бродили, смердели, пузырились и даже издавали утробные звуки. А вылить их было невозможно, потому что чернильницы наши были «непроливашки». Тамара Ивановна вызывала Валину маму — рыжую Лизу. Лиза с Валею жили в нашем переулке, в глубоком подземелье без окон.

Пытаясь подработать, Лиза поднимала спустившиеся петли на «поехавших» капроновых чулках едва ли не всей Метростроевской улицы. Тамара Ивановна кричала на Лизу, топала ногами, угрожала сослать Валею во вспомогательную школу. Лиза плакала, задабривала учительницу, поднимала на ее чулках петли, но Валя позиций своих не сдавал. И все же в третьем классе Валею выпихнули из нашей школы. Но он выжил, вырос, занялся биологией, оказался, как и следовало ожидать, талантливым человеком. А когда учился в нашем классе, скрашивал нашу жизнь — оттягивал на себя изрядную долю внимания и ярости беспощадной Тамары Ивановны.

Тамара Ивановна расправлялась с классом безжалостно. Мы никогда не знали, удастся ли на этот раз добраться до дома. В раздевалку спускались строем, и каждый день перед нами маячила перспектива остаться в школе навечно, потому что на долгом лестничном пути с четвертого этажа могло произойти всякое. Хулиган Гуськов мог толкнуть сонного неповоротливого Сухарева и тот вываливался из строя. Толстый Финогенов громко пукал, а Трубачев хохотал.

В этом случае все возвращались в класс и стояли за партами, вытянувшись в струнку, минут двадцать. Если крышка чьей-нибудь парты случайно хлопала — срок наказания автоматически удваивался. Повторный казус на лестнице карался тем же способом. Смрадный принцип коллективной ответственности внушался с первого класса. Стояние и хождение вверх-вниз сопровождалось бесконечными монологами нашей учительницы. Между тем, надо отдать должное педагогической сноровке Тамары Ивановны. Если мне и удалось усвоить хоть что-нибудь из школьной программы, то только то, что преподавала нам Тамара Ивановна.

Однажды вечером Тамара Ивановна пришла к нам домой. Тогда принято было вот так, без предупреждения, с неумолимостью рока материализовываться в жилищах учеников, чтобы застать родителей и детей врасплох, с поличным. Налет классного руководителя мог произойти в любую минуту дня и ночи, коммунальные наши квартиры не были крепостями. В тот вечер дома оказались только мы с тетушкой моей Таней. И стоило школьному божеству возникнуть на нашем пороге, как меня парализовало от ужаса. Онемев, стояла я соляным столпом посреди комнаты, пока тетушка пыталась развлечь насупившуюся Тамару Ивановну светской бесе-

дой. К счастью, условия моей жизни показались учительнице удовлетворительными, и больше она у нас не появлялась. А вот условия жизни многих моих одноклассников удовлетворительными не были. Жертвы послевоенного демографического взрыва, сплошь безотцовщина, жили в основном в глубоких подвалах. Худосочные заморыши, рахитики, дети подземелья.

Правда, было в нашем классе и нечто особенное — белокурая девочка Айно Репселяйнен, дочка шофера — сотрудника финского посольства. Каждый год, 8 марта, Айно дарила Тамаре Ивановне экзотический подарок — красный тюльпан в маленьком горшочке. Увы, через несколько лет семью Айно выслали из СССР за то, что добрый господин Репселяйнен привозил из города Хельсинки не одни только тюльпаны в горшочках, но и дефицитные шерстяные кофточки и продавал их изголодавшимся по красивой жизни москвичкам. Нечто красное и розовое в руках возбужденных учительниц, с пуговками и рюшами от господина Репселяйнена, мелькает на периферии памяти. Жаль было расставаться с Айношкой, добродушной инопланетянкой, придававшей нашему классу нездешний шарм.

А ведь так понятно, что в эпоху господства китайских байковых штанов «Дружба» — добротных, с начесом, жила в народе мечта о роскошной, нарядной вещи. Отчасти мечта эта сублимировалась в постоянной озабоченности родительского комитета приобретением подарка для учительницы к грядущей праздничной дате. Проблема очередного подарка более всего заботила мамаш-активисток и стояла на повестке дня постоянно.

Председательница родительского комитета, мама Коли Писарева, черноокая и чернوبرовая казачка в сером платке и коричневой вигоневой кофте, всю свою физическую и интеллектуальную мощь тратила на сбор средств и добывание подарка. И обыкновенно ей удавалось достать что-нибудь восхитительное, какое-нибудь кружевное или хрустальное чудо. Столпившись в школьной уборной для девочек, мамыши алчно ощупывали сиреневую комбинацию, пеной вздымавшуюся из глянцевиной коробки, перевязанной атласной лентой «салатного» цвета. Дождавшись конца перемены, цугом входили в класс, чинно выстраивались вдоль доски. Подарок подносили на вытянутых руках, как хлеб-соль, торс подносящей изгибался в церемонном полупоклоне. Учительница принимала подношение благосклонно, но сдержанно, без восторгов. Родительницы стремились к разнообразию, и если к юбилею Октябрьской революции дарилось нижнее белье, то к Новому году — хрустальная ладья. Так что черед следующего гарнитура наступал не раньше Восьмого марта, а хрустальных фужеров — только Первого мая. Впрочем, лирическое это отступление не имеет отношения к истории, о которой пойдет речь.

Однажды мама спросила меня, с кем я дружу. Не от высокомерия, а только стремясь к точности, я ответила: — С троечницами. — Слово «троечник» было таким же общеупотребительным, как «хорошист», «отличник» или «двоечник». Имен отчего-то не употребляли, вместо них к фамилиям присовокуплялось одно из этих исчерпывающих определений. Отличница Иняева, твердая хорошистка Лесохина, троечница Баскова, двоечник Гуськов. И я действительно дружила с

двумя троичницами — Лидой Басковой и Людой Тихоновой. Услышав слово «троичница», ненавидевшая высокомерие демократическая моя мама огорчилась и решила принять срочные меры. Встревоженная, на следующий же день она отправилась к Тамаре Ивановне посоветоваться о моем воспитании. Ни о чем не подозревая, боясь Тамары Ивановны не более обыкновенного, я пришла в класс и приготовилась к уроку. День этот запомнился мне навсегда. Дверь стремительно распахнулась и в класс ворвалась Тамара Ивановна. Пронзив меня огненным взглядом, прорычала: — К доске! Лицом к классу! — Ошарашенная добрела я до лобного места и окаменела. Сообщив классу, что ее замучили родители учеников, то и дело жалующиеся на безобразное мое высокомерие и произнеся ужасающую обвинительную речь, Тамара Ивановна призвала выступить пострадавших.

Более всего потрясло меня то, что ребята, с которыми я и слова ни разу не сказала, наперебой тянули руки и сообщали небывалые факты и случаи из моей собственной биографии. Запомнились свидетельские показания крошечной, похожей на пузатую синичку девочки — Светы Куликовой. Возбужденно дрожали Светины косички, на глазах ее выступили слезы. Много чего порассказала обо мне Света, а в апофеозе своих показаний сообщила, что на каждой переменке я говорю ей, будто учительница наша Тамара Ивановна дура.

Слова для защиты мне не дали. Да мне и в голову не пришло бы оправдываться. Я была раздавлена! Мне показалось, что казнь растянулась на целый урок. Наверное, все закончилось гораздо быстрее, но в этот день репутация моя погибла! Не знаю, долго ли помнили о моем позоре одноклассники. Сама я запомнила его навсегда. Педагогический эксперимент удался на славу, увенчался полным успехом — высокомерие в моем характере вроде бы отсутствует. Родителям о случившемся ужасе я не рассказала, это было бы слишком стыдно. О мамином участии в моем персональном деле узнала много лет спустя, когда решилась наконец поведать о своем позоре дома.

Мама моя, конечно же, ни в чем не виновата, просто она идеализировала советскую школу, доверяла педагогу и хотела воспитать приличного человека. Не так давно в своем радио-интервью сын Тамары Ивановны, горячо любимый всем женским населением страны поэт, рассказал с любовью и гордостью о рано умершем отце и о замечательной своей маме, несгибаемых чекистах, принесших бездну добра населению Северного Кавказа, бок о бок с которым они трудно и счастливо жили и самоотверженно боролись в славные 30-е годы. Тут-то и вспомнилась мне складная обличительная речь Тамары Ивановны, игрушечный судебный процесс, сымпровизированный ею с блеском и вкусом. Всего лишь воздушный поцелуй, посланный счастливому прошлому.

А еще через год случился XX съезд. И однажды вечером родители мои и тетюшка в атмосфере тайны отправились куда-то (куда именно — не знаю до сих пор), где им в общих чертах изложили содержание хрущевского доклада. В этот день я болела и лежала в одиночестве и полутьме на родительской кровати. Родственники вернулись молчаливые и какие-то особенные.

Тетушка моя Таня сразу же уселась возле меня и внятно, толково и очень доходчиво пересказала услышанное. Сделала она это так талантливо, так меня рассказом своим потрясла, что к его окончанию на родительской кровати вместо грезившей о сталинских поцелуях девочки лежала законченная антисталинистка. После болезни я пришла в школу полная новым знанием (к счастью, родители успели предупредить меня, что все рассказанное Таней пока еще страшная тайна). И когда на перемене Тамара Ивановна, как обычно, повела класс изучать жизненный путь усопшего вождя, возникло жутковатое ощущение пропасти между мною и классом. Тайное знание отделило меня от всех еще ощутиее, чем прошлогодний позор. И вдруг я встретилась взглядом с троечником Лейкиным и поняла, что Лейкин тоже ЗНАЕТ! С этого дня на ежедневной сталинской экскурсии мы с Лейкиным многозначительно переглядывались, ощущая себя обладателями опасной тайны. Но ни разу ни одного слова друг другу не сказали. Картины же с эпизодами жития вождя висели в коридоре еще долго, до самого ухода на пенсию директора Федора Гавриловича по прозвищу Колобок, друга и единомышленника нашей Тамары Ивановны.

Не хочется быть свиньей, и поэтому нужно признаться, что Тамаре Ивановне я обязана не одним только ощущением позорной бездны. Благодаря ей я испытала и восторг. Тамара Ивановна продемонстрировала мне всю шкалу чувств, от низшей ее отметки до высшей.

Накануне Нового 58-го года нашему классу выделили три билета на Кремлевскую елку. Елка в Кремле — счастье, равное почти что Артеку, доступное только избранным! Ведь гипотетической возможности наивысшего счастья приватной встречи со Сталиным на трибуне мавзолея к тому времени давно уж не существовало.

Билеты на елку предстояло распределить самим путем демократического голосования. При непременно условии — хорошей успеваемости и примерном поведении кандидата. Так что «двоечникам» и «троечникам» Кремль не светил. Но в классе хватало и «хорошистов» и «отличников».

В первую очередь избрали Галю Иняеву, девочку—совершенство. Второй счастливницей оказалась Люда Хляп, отличница и звеньевая, в любую минуту и перед любой аудиторией готовая сплясать залихватский украинский танец гопак. Необходимый для создания украинского колорита венки из бумажных роз и разноцветных лент Люда Хляп в нужный момент чудесным образом извлекала из каких-то таинственных недр.

Помня о своем позоре, за два года не потускневшем, я о кремлевской елке и не помышляла. Как вдруг Валера Петров, крупный второгодник с выбритой по ГОСТу того времени головой и крошечным, оставленным на развод соломенным чубчиком, назвал мою фамилию. И все проголосовали «за»! Коллективная доброта класса потрясла меня!

Елка в Кремле! Белый Георгиевский зал, узорчатая Грановитая палата, вожделенный кремлевский подарок в сундучке — и все это мне! В первый же день

третьей четверти Тамара Ивановна задала сочинение на тему: «Как я провел каникулы». Конечно же, я описала Елку в Кремле. Сочинение заканчивалось апофеозом: «На макушке Кремлевской ели сияла и переливалась рубиновая звезда!»

Фразу эту Тамара Ивановна подчеркнула красными чернилами, двойной волнистой линией, а на полях поставила жирный восклицательный знак и пятерку с плюсом! Красноречие мое сразило несгибаемую учительницу. За четыре года симбиоза с нашим классом Тамара Ивановна только однажды поставила эту отметку отличнице всех времен и народов Гале Иняевой. Моя, вторая в истории класса пятерка с плюсом оказалась посильнее Кремлевской елки. Ликования такой убойной силы мне не доводилось испытывать ни до, ни после этого случая.

А Валера Петров, инициатор моего нечеловеческого счастья, остался в третьем классе на третий год, а еще через пару–тройку лет попал в колонию для малолетних преступников. В колонии он усердно трудился, старательно учился, возглавил комсомольскую организацию и на свободу вышел досрочно с чистой совестью и прекрасной характеристикой. А через неделю после освобождения все еще несовершеннолетний Валера зарезал неверную свою любовницу и возвратился в колонию.

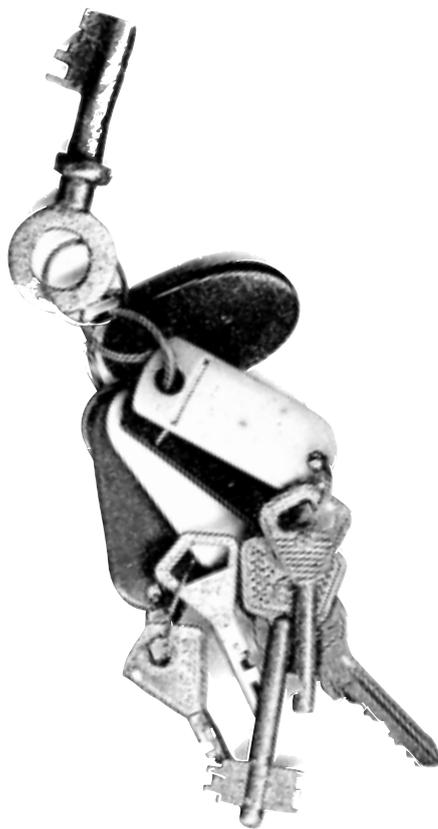
В середине четвертого класса Тамара Ивановна по семейным обстоятельствам ушла из школы — вышла на пенсию. Расставание с нею оставило тяжелый осадок. Обладая драматическим талантом, Тамара Ивановна рассказала нам об уходе своем, причинах его и сопутствующих обстоятельствах так ярко и выразительно, что все девочки разрыдались. А Мила Пышкова даже заголосила. Я же ни одной капельки влаги ни из одного глаза выжать не сумела. Собственная черствость и самой мне показалась неприличной. Галя Иняева тоже не плакала, но, воспитанная девочка, прилично и скорбно прикрыла глаза ладонью.

Все, что ни делала Галя Иняева, получалось у нее изумительно. И печаль ей тоже удалась. Я решила поступить так же и прикрыла глаза ладонью. Но ничего хорошего из этого не вышло. Более того, Тамара Ивановна подумала, будто я закрыла лицо для того, чтобы скрыть душивший меня смех, вспылила и вышвырнула из класса под заплаканными и укоризненными взорами всего 4–го «В». Со стен пустынного коридора на меня взирали с разными выражениями лиц (грозными, непроницаемыми, ухмыляющимися) многочисленные изображения Иосифа Виссарионовича, среди которых было и то самое, мое любимое.

Тамару Ивановну я встречала и во взрослые годы. Опираясь на палочку, с ярко накрашенным ртом, иссиня–черными волосами и гугчим взором, старушка бодро прохаживалась возле подъезда своего дома на Пречистенке (в те времена Кропоткинской улице). Она сохранила о нашем классе самые добрые воспоминания и была со мною приветлива и даже нежна. Я же продолжала ее побаиваться и увидав издали прихрамывающую фигурку в черном каракуле норовила юркнуть в Малый Левшинский переулок, плавно переходящий в улицу братьев–архитекторов Весниных (ныне, как и встарь, Денежный переулок).



Встреча
в метро



Кое–кто не любит московского метро. Дескать, духота, давка, миазмы, того гляди, с ног соьбьют... Короче, преисподняя. А для меня метро — увлекательная и плодотворная среда обитания. Где еще увидишь такие самозабвенные дуэты, такие замысловатые многофигурные композиции? Они возникают, клубятся и распадаются только в калейдоскопах эскалаторов, вагонов и переходов. Есть ли еще место на земле (или под землей), где среди человеческого множества можно так глубоко задуматься, так доверчиво уснуть, так сладко помедитировать? Личности подземных спутников интригуют, завораживают их лица, повадки и одеяния!

Бывает, оглушенная метро–симфонией, утомленная напряженным ее звучанием, упрощаю созерцательную задачу — сосредотачиваюсь на одних только ногах, ушах или шляпах пассажиров. В такую вот дыхательную паузу, посвященную ногам сидящих напротив граждан, наткнулась я взглядом на скрещенные, просто душно открытые взорам попутчиков женские ноги в туфлях на низком каблуке. Замечательные ноги, без варикозных вен, подагрических шишек и пигментных пятен. И хотя лично мне по душе ноги иной конфигурации, с более выразительным перепадом между икрой и щиколоткой (только без излишней вычурности), а те, что напротив, огорчали излишней равномерностью по всей немалой своей длине, все же это были неплохие, уверенные в себе ноги. Они–то, качественные ноги визави и заставили селезенку мою екнуть.

Бледнолицая, с круглыми темными глазами на плосковатой скуластой физиономии, юная женщина в синем тренировочном костюме, отнюдь не дурнушка, вошла в наш 2–й класс «В» в сентябре 1956 года. Обыкновенная на первый взгляд девушка с толстой косой, питоном свернувшейся на темени. Зловещий питон не насторожил нас. Не встревожило и многообещающее имя–отчество — Жанна Феликсовна. Нам было по восемь лет, младенческая интуиция уже не срабатывала, а та, что приходит с опытом, еще не явилась. Мы восхитились молодостью новой учительницы, спортивными ее разрядами, чудесной косой. Не подозревая о предстоящем ужасе, умилились обслынявленному младенцу на фото — крошечной учительской дочке. Но с первого же урока «физ–ры», происходившего по причине нашей незначительности не в спортивном зале, а в коридоре четвертого этажа, того самого, украшенного живописными сценами из жизни товарища Сталина, стало ясно — мы влипли, попали в переплет.

Полная сил и молодой ярости, Жанна Феликсовна сразу же принялась обучать нас ориентироваться в пространстве. Помнится, что и до встречи с Жанной Феликсовной я различала «право» и «лево». Но если раньше различала, то теперь

различать перестала. Все первое полугодие, в бешеном темпе, под истошные вопли: «Направо! Налево! Налево! Направо!» — сорок пять кроликов, очумев от ужаса и ничего не соображая, крутились под питоньим оком громкоголосой фурии. На выполнение команды отпускаясь доля секунды, но от страха она исполнялась с точностью до наоборот. Учительница не деликатничала, самолюбий не щадила, ярилась, а безнадёжных тупиц безжалостно вышвыривала из рядов. А я как раз и была тупицей!

Мы не были безразличны нашей учительнице или противны ей. Жанна Феликсовна не скучала с нами. Адреналин обильно сочился из молодых ее пор, а временами вскипал и бил фонтаном. К несчастью, я оказалась среди тех, кто способствовал особенно бурному выделению этого судьбоносного вещества — путала «право» и «лево», смехотворно медленно бегала, прыгала безобразно близко и низко, промахивалась, пытаясь ударить по мячу. Кроме спортивной несостоятельности имелось во мне еще нечто, что с первого же взгляда вызвало у Жанны Феликсовны устойчивую идиосинкразию. Может быть, во всем виноваты очки? И сами по себе во времена моего детства, очкарики не вызывали у окружающих большой симпатии, а уж в таких очках, как у меня, и подавно.

Очки и вправду были необыкновенные, точь-в-точь как у Александра Сергеевича Грибоедова, автора бессмертной комедии в четырех действиях. Еще в первом классе я то и дело жаловалась на головную боль, а Тамара Ивановна, строгая наша учительница со славным чекистским прошлым, ничего не принимала на веру и заподозрила меня в симуляции. «Доверяй, но проверяй!» — основополагающий лозунг школьного детства. Отправились к врачам, добрались до окулиста, и что же? Диагноз — дальнозоркость и астигматизм!

Мама пришла в восторг. Оказывается, с детства она мечтала о таких очках, как у Грибоедова — кругленьких, в тоненькой золотой оправе. Самой маме не повезло, у нее было хорошее зрение, но появилась возможность нацепить грибоедовские очки на собственную дочь! Радостное известие взбудрило вымотанную за день маму, мы ринулись на Арбат к знакомому оптику Беркину и вслед за снежной поземкой завихрились в подворотню того самого, еще не знаменитого двора, где тогда уже жил мало кому известный Булат Окуджава.

Скорее всего, Беркин и Окуджава сталкивались в своей подворотне, а может быть и раскланивались. Вполне вероятно, что Беркин помнил Окуджаву маленьким мальчиком, а Окуджава Беркина нестарым еще человеком. Как бы то ни было, но в тот вечер из подворотни со знаменитым будущим мы свернули направо, спустились в полуподвал и очутились в небольшой золотистой комнате. Оптик Беркин оказался строгим старичком с венчиком седых волос и в очках с почти шарообразными стеклами. То есть «сапожник без сапог» сказано не про нашего старичка-оптика. У нашего оптика были великолепные очки!

Посреди комнаты на круглом столе под золотистым низко свисавшим абражуром с густой бахромой обнаружилась обувная коробочка, полная разнообразнейших оправ без стекол: роговых, железных, пластмассовых. Мама отвергла все и

твердо объяснила, какая именно нужна нам. Старичок призадумался, но пообещал изготовить то, что нужно. И действительно, через два дня у меня появились уморительные очки — маленькие, кругленькие, в железной оправе золотого цвета, с тоненькими дужками. Одним словом, они явились на свет одновременно и по соседству — ранние песни Окуджавы и мои первые грибоедовские очки. Первые потому, что были и вторые, и третьи, и четвертые. Я росла и вместе со мной подрастала моя голова. Расширялись скулы, утолщалась переносица, что-то происходило с ушами, удлинялся ко всеобщему огорчению нос. И хотя глаза по-прежнему оставались маленькими, раз в год приходилось заказывать новые очки.

Наступала очередная зима и теперь уже с папой мы сворачивали в арбатскую подворотню и спускались в полуподвал оптика. Старичок Беркин твердо усвоил мамины требования, модель очков оставалась прежней, грибоедовской. В домашней кунсткамере хранится несколько пар грибоедовских очков, от крошечных до почти взрослых, совсем как в анекдоте про скелет Чапаева в детстве. Удивительные цепочки умудряется выстраивать жизнь — ничтожная детская дальность посредством арбатской подворотни оказывается связанной с октаэдрическим алмазом «Ших» весом в 87 карат, поднесенным императору Николаю в 1829 году персидским принцем Хозроем в качестве контрибуции за растерзанного российского посла... и за растоптанные его очки.

Итак, очки. Увы, но о главном изъяне нашей семьи я знала с глубоко дошкольных времен. И родители мои, и бабушка с дедушкой, и тетушка, были самой настоящей «интелехенцией». А вся «интелехенция» поголовно носила разные виды очков и за это ее, «интелехенцию» эту, в нашем дворе откровенно презирали. Тетушка моя, например, носила круглые очки в толстой роговой оправе. Бабушка с дедушкой — пенсне, овальные стеклышки без оправы и дужек, нервно подрагивающие, но чудом удерживающиеся на переносице с помощью какой-то эфемерной прищепки. У родителей же очков по молодости лет не было, а значит и у меня оставался шанс сойти во дворе за свою. Нацепив грибоедовские очки, я раз и навсегда рассталась с иллюзиями и принялась нести свой собственный «интелехенский» крест. Действительно ли социально я была так далека от учительницы физкультуры или причины злокачественной идиосинкразии в ином?

Однажды случилось непоправимое, я забыла дома наиважнейший элемент физкультурной формы — плоские кожаные тапочки со шнурками. Неискушенная в уловках, тупо соврала, будто плохо себя чувствую. — В медпункт! Без справки не возвращаться! — проорала Жанна Феликсовна (учительница наша не говорила — она орала и вопила жестяным голосом). Четырехэтажный спуск в медпункт я бы охотно сравнила с подъемом на Голгофу, если бы в ту пору подозревала об этом маршруте. Однако доплелась кое-как, поскреблась в дверь и она сразу же открылась.

Врата отворила женщина в белом одеянии, гладко-темноволосая, с пучком, смугло-румяная и приветливая. Дрожащим голосом я невнятно пробормотала имя Жанны Феликсовны, и в глазах женщины-ангела сверкнула молния. Сезам

открылся, меня усадили на топчан, обласкали, утешили и отпустили со спасительной справкой в кулаке, предписывавшей немедленно отпустить ребенка домой. Никакой температуры у меня не было и в помине, просто женщина–ангел знала о незаурядных возможностях Жанны Феликсовны и спасла меня от расправы. Прошло не более пятнадцати лет, и я явилась на свадьбу подруги Иры. Позвонила в дверь квартиры юго–западной пятиэтажки, и точно так же, как это уже произошло однажды, дверь отворилась, а за нею обнаружилась давняя моя спасительница, в новой реальности оказавшаяся Ириной свекровью.

В те годы, когда Жанна Феликсовна преподавала нам физкультуру, высочайшего качества ее ног мы оценить не могли. В те далекие времена она носила синие тренировочные штаны, довольно складные, даже щегольские, на коленях почти не вытянутые. Между тем, окончив четвертый класс, лето, отделявшее нас от пятого, мы провели в эйфории, уверенные, что расстались с Жанной Феликсовной навсегда, навеки оставили ее в начальной школе. Ужас обуял нас, когда на первом же уроке ботаники уверенным спортивным шагом в класс вошла Жанна Феликсовна, теперь уже не в штанах, а в юбке. Кстати говоря, в максимально короткой по тем пуританским временам юбке. Вот при каких обстоятельствах встретила я лицом к лицу с этими самыми ногами во всей их красе. А встретившись раз, насмотрелась вдоволь. Опасаясь питоньего взора учительницы, годами смотрела на ее ноги.

Оказалось, что пока мы получали начальное образование, Жанна Феликсовна приобретала высшее и теперь выступала в новом качестве. За ботаникой последовала зоология, за зоологией биология. Но и биологического диплома способной женщине показалось мало, диапазон ее знаний продолжал расширяться, и когда к прочим предметам добавилась химия, она взялась преподавать и ее. Одним словом, у явления под названием «Жанна Феликсовна» не оказалось ни конца, ни края. На нескончаемом совместном пути учительница наша ни разу не проявила слабости, во всех ситуациях была ровно беспощадна, в каждом провидела и разоблачала мерзостное, такое, о чем сами мы и не догадывались. В итоге леденящее дыхание педагога–универсала навсегда отвратило меня от спорта, подморозило множество встреченных в жизни тычинок, пестиков и семядолей, коснулось простейших и пресмыкающихся, внушило стойкий негатив к отдельным неорганическим соединениям и к большинству органических структур.

Добрый Хрущев оживил свою эпоху заманчивым обещанием: дескать, нынешнее поколение советских людей так будет жить при коммунизме. Назначены были сроки и солнечным днем ранней осени в разлинованном классиками школьном дворе мы высчитывали, сколько же лет нам стукнет, когда придет это потрясающее время. Картина складывалась неутешительная, выходило, что к моменту наступления райской жизни мы станем тридцати–с–чем–то–летними старушками и старичками, а в таком возрасте нам врядле понадобятся обещанные блага. Какие уж там потребности в тридцать–то с чем–то лет! И все же коммунистические перспективы приятно возбуждали. Но как же я растерялась, когда в один прекрасный день Жанна Феликсовна величественно простерла длань и указав на меня перстом

(а персты тоже были отменные, качеством и прямымизною ногам не уступавшие), произнесла с пафосом, как прокляла: — А вот ее мы в коммунизм не возьмем!

Не такая я была дура и понимала, что технически не взять меня в коммунизм будет не так-то просто, но все равно ощутила себя отщепенцем, изгоем. Перспектива оставить меня за бортом грядущего коммунизма показалась Жанне Феликсовне чересчур отдаленной, ей захотелось немедленной расправы, и она выставляла меня из класса, запретив впредь переступать его порог. В чем состояла моя провинность, не помню, ведь я не была ни хулиганкой, ни двоечницей, а в те времена даже прогульщицей. Бедному папе пришлось идти на поклон к яростной женщине, вымаливать прощение.

Отвлечясь от этого ужаса, отогреться душой удавалось на уроке домоводства под крылом доброй Веры Петровны. Прежде приходилось натягивать черные сатиновые халаты и в мрачноватом полуподвальном помещении, склонившись над тисками, выпиливать ножовками лопатки для неведомого детдома и крюки непонятого назначения. Уроки домоводства сменили слесарное дело и мы принялись усваивать полезные для будущей женской жизни знания: учились заваривать чай, сооружали подобие торта из смазанного вареной сгущенкой магазинного печенья, кроили по косой бейки, обтачивали проймы, изучали тамбурный шов и манипулировали с выточками разнообразных конфигураций. По ходу дела Вера Петровна пыталась дать нам хоть какое-то представление о цивилизованной жизни и приличных манерах, скорректировать дикарское наше воспитание. С помощью этой рыхлой, дряхлеющей, но элегантной дамы, принадлежавшей к неведомым нам кругам впавшего в упадок бомонда, мы оказывались в ином измерении.

Вера Петровна не укоряла нас убиенными пионерами-героями, которых мы и так любили без памяти, не сулила светлого будущего. На ее уроках мы жили сегодняшним днем и обсуждали сюжеты позабавнее. Для наглядности Вера Петровна выбрала конкретную фигуру. В центре постоянного и пристального внимания оказалась девочка, наша ровесница — принцесса княжества Монако. Вера Петровна приносила в класс невиданные журналы, и из-под чуть-чуть приподнявшегося железного занавеса мы рассматривали принцессу, удивлялись веселой ее мордашке, приветливой улыбке, красивым принцессиным платьям, купальникам и шляпкам.

Мы и раньше догадывались о существовании иной жизни, более того, подглядывали за ней, ибо многочисленные школьные окна, выходявшие в переулок, смотрели в одно-единственное, но гигантское окно иностранного посольства, занимавшего небывалой красоты особняк, выстроенный архитектором Шехтелем на пике русского модерна. Мы учились во вторую смену и вечерами, с четвертого школьного этажа, из унылого актового зала, окруженного по периметру заборчиком заклинаний, выписанных по кумачу аккуратными белыми буквами, в огромном, высотой с дом, окне особняка напротив видели другую залу — с камином, сияющей люстрой и зеркальным паркетом. Девочка нашего возраста в белой пачке отражалась в сверкающем паркете и под присмотром тонкой женщины в черном бесконечно повторяла балетные па.

Иностранная девочка училась танцевать, а мы с туповатым любопытством пялились на чужую, похожую на мираж жизнь. Ну а Вера Петровна взяла да и приблизила невероятную эту жизнь, остроумно вплела в учебный процесс не сказочную, а всамделишную, современную принцессу. Вера Петровна не развивала в нас комплекса Элочки Щукиной, мы не завидовали принцессе, а изучали фасоны ее платьев и пытались сшить себе похожие. Плели из скрученной в жгуты гофрированной бумаги точно такие же шляпки, как у принцессы, а для прочности и нарядного блеска покрывали их канцелярским клеем.

На пляжных фотографиях детскую грудь принцессы Монако прикрывала узенькая полоска на бретельках, и мы загорелись идеей соорудить к лету такой же предмет туалета. На своих уроках Вера Петровна делилась с нами незатейливыми, но полезными житейскими сведениями, о которых позабыли и мамы наши, и бабушки, у кого они были.

Увлеченно следя за жизнью принцессы, внимательно выслушивая наставления Веры Петровны, я ни на минуту не забывала о семейной точке зрения, с которой воспринимались подобные занимательные сюжеты у нас дома. Дома высмеивали пошлость и презирали мещанство. А как еще назвать все эти женские секретки и уловки, если не пошлостью и мещанством? Рассказами из репертуара Веры Петровны я так успешно смешила домашних, что тетушкина подруга Наташа, писавшая уморительные пародии и осваивавшая в те времена плодородную тему советской школы, чрезвычайно ими заинтересовалась и раззадорилась побеседовать с Верой Петровной, намереваясь высмеять по-доброму мещанские грезы и дурацкие бредни — весь этот слащавый ливер, которым добрая женщина фаршировала податливые наши мозги.

А надо сказать, что Наташа, блистательно боровшаяся с вездесущим мещанством и повсеместным засильем воинствующей пошлости, была человеком особенной судьбы. Ребенком она очутилась в Харбине, там же окончила гимназию, из Харбина перебралась в Шанхай, занялась журналистикой, а в конце 40-х возвратилась в СССР. Поначалу Наташа попала в Казань, но вскоре поступила в Литературный институт имени А.И.Герцена на Тверском бульваре в Москве и принялась мыкаться по столичным углам и подвалам. Но без московской прописки и по подвалам не помыкаешься, поэтому тетушка моя, горячо подружившаяся с Наташей, прописала ее в своей комнате. В те времена Наташа писала не только пародии и фельетоны, но еще и длинный автобиографический роман. А потом вышла замуж за своего профессора — известного ученого, интеллектуала и остролова, купила жилье в писательском доме и жизнь свою стабилизировала.

Итак, заинтересовавшись преподаванием домоводства в советской школе вообще и ролью принцессы Монако в этом процессе в частности, Наташа решила посадить меня в свою «Волгу» и покатать по Москве. Предполагалось, что в непридуманной дорожной атмосфере мы поболтаем, Наташа соберет материал, углубит его и разовеет и в результате автомобильной прогулки родится новая блистательная пародия.

Мне уже приходилось ездить в Наташиной серо-голубой «Волге». Дело в том, что Наташа была из тех, кто состоял при Анне Андреевне Ахматовой, в команде ее фанатов. И помимо прочих обязанностей выполняла еще и шоферские. Собственных машин в те времена не было почти ни у кого, и Наташа возила Анну Андреевну в гости и на прогулки. Раза два или три в загородные поездки с поэтом брали и меня. Заманчиво поделиться впечатлениями от встреч с великой современницей, но, будучи подростком стеснительным, я глаза поднять боялась, а не то чтобы взглянуть в лицо Ахматовой. И даже букетик белых весенних цветочков, собранный по тетушкиному наущению на лесной архангельской обочине, помнится, протянула Анне Андреевне набывчившись, насупившись, полуотвернувшись. Сидя на заднем сиденье Наташиной «Волги», плетясь в арьергарде по мартовскому Коломенскому или майскому Архангельскому, рассматривала затылок поэта, серебряные волосы, массивную фигуру (вид сзади). А когда Ахматова величаво поворачивала голову к собеседнице, мне удавалось разглядеть ухо, щеку, веко, а иногда и знаменитый профиль целиком.

Увы, я не запомнила ни одного слова из тех, что произносила Анна Андреевна на прогулке и в машине, по пути туда и обратно. Слова Ахматовой меня, малолетнюю дуру, интересовали меньше Наташиных острот, действительно отменных. Только однажды увидела я поэта анфас, да и то против света. 20 марта 1960 года (дата установлена по тетушкиному дневнику) Анна Андреевна побывала у нас, и в тот момент, когда я вошла в комнату, стояла спиной к окну. В тот раз я увидела Ахматову точно такой, какой вижу вот уже много лет на подаренной мне фотографии. Фотография смутная, рука придерживает у горла вязаную шаль, лицо изначально отдалено во времени, смягчено и размыто в пространстве. Будто человек смотрит не из сегодняшнего (тогдашнего) дня и не из вчерашнего, а из будущего, и знает обо всем, чему предстоит случиться.

А на фото, сделанном 17 мая 1957 года в фонетической лаборатории МГУ, присутствуют трое: профессор с запутавшейся в бороде растроганной полуулыбкой, умиленная Наташа и Ахматова с лицом, в противоположность слушателям, строгим, даже надменным, с головою, едва повернутой к фотографу. Отчего веки Анны Андреевны так скорбно прикрыты, почему вокруг носа ее и губ такие суровые складки, во что так проникновенно и ласково вслушиваются Наташа с профессором? Не узнать никогда.

Из-за подростковой застенчивости не разглядела я как следует лица живого поэта. А 5 марта 1966 года Ахматова скончалась, и в одно из промозглых утр вместо школы я отправилась на гражданскую панихиду в морг Института имени Склифосовского. Долго искала калитку в бетонном заборе, нашла наконец, поднялась по лестнице и вошла в длинное помещение. И в дальнем его торце, ближе к мутному окну, увидела стол. А на столе — Анну Ахматову. В эту раннюю минуту в помещении было пустынно, чьи-то бесплотные силуэты почти сливались со стенами. Я смутилась и спустилась во двор, усыпанный колючим ледяным крошевом. Минут через двадцать потянулся народ, и с этим потоком я снова вошла внутрь. Людей станови-

лось все больше, а уходить не хотелось. И чтобы не мешать человеческому колдованию я поступила так же, как седая стриженная женщина рядом — влезла на скамью у стены. Поток вливался в дверной проем, обтекал гроб и вытекал из помещения. Некоторые проходили круг не по одному разу, кое-кто принес вербы. Я никого не знала в лицо и из человеческого множества идентифицировала только Евтушенко, с любопытством Буратино вертевшего головкой на петушьей шее, и многозначительную, закутанную в шарфы чету Слуцких. Возле стола колыхалась прозрачная Аня Каминская — девушка-анемон. И вдовье выражение ее лица, и скорбная поза, и лишние хлопотливые движения до чрезмерности соответствовали моменту. В серебристом вербном оперении, в чем-то сиреновом, лежала на белом столе Анна Ахматова, люди вращались вокруг нее, и со скамеечной высоты происходившее казалось (и оказалось!) воронкой, втягивавшей прощавшихся в свой водоворот.

На скамейке я простояла до конца скорбной церемонии. Потом все столпились во дворе, кем-то было сказано что-то, и пока выносили гроб и втискивали его в автобус, Виктор Ефимович Ардов — пожилой господин с тростью, приземистый Мефистофель в пальто песочного цвета, со ступеней морга строго scomандовал всем расходиться. Гроб с телом поэта отправился в аэропорт, оттуда в Ленинград, в Никольский собор, в Комарово, а я села в троллейбус «Б» и поехала в школу. Успела к пятому уроку, к химии. В классе сказала, что была на похоронах родственницы. Мне и в голову не пришло назвать имени Ахматовой, я точно знала, что никто из моих одноклассников ни разу его не слышал.

Возвращаюсь к Наташе и к нашей заранее запланированной поездке. Высокая и длинноногая, обладавшая внешностью из разряда «на грани прекрасного и ужасного», Наташа размашисто двигалась, оживленно реагировала на окружающую жизнь, носила свободные пальто верблюжьего цвета, удобные туфли на низком каблучке и мягкие клетчатые шарфы. То есть отличалась ненашенной элегантностью. А как Наташа курила! Как эффектно держала папиросу, как шикарно ею затягивалась, какой роскошный дым выпускала из ноздрей! Наташа и без того здорово смахивала на лошадь, а с дымом из ноздрей — на Сивку-бурку вещь Каурку.

Прежде чем отправиться в путь Наташа совершила ритуал, странноватый с точки зрения человека 90-х годов текущего (вытекающего) столетия. Привычным жестом Наташа достала из кожаной сумки небольшого блестящего оленя и водрузила его на капот автомобиля. Дело в том, что статуэтки оленей, выполненные из хромированной стали, украшали первые выпуски автомобиля «Волга». Оленю полагалось создавать поэтический образ — лететь впереди авто и будто бы влечь его за собою. Но стоило только оленям появиться на московских улицах, как на них началась охота. Вандалы безжалостно отламывали оленей, и пришлось усовершенствовать конструкцию — сделать животных съёмными. Выходя из машины, Наташа снимала оленя со штыря и помещала его в сумку, а отправляясь в путь, из сумки вытаскивала и на штырь насаживала. Застыв в хромированном экстазе,

олень, тем не менее, вел подвижный образ жизни. Вместе с Наташей посещал редакцию сатирического журнала и множество московских домов (в том числе и «легендарную Ордынку»).

Вместе с оленем в недрах иноземной Наташиной сумки путешествовали другие замечательные предметы: кожаный блокнот, самопишущая ручка Паркер, невиданная в наших широтах зажигалка. Из тех же глубин Наташа извлекала большую круглую пудреницу, шикарным жестом раскрывала ее, откидывала голову и, победоносно глядя в зеркальце, размашисто пудрилась пуховкой. Наташа заботилась о сохранности слоя и то и дело, не жеманясь, публично поправляла лицо. Манипуляция с пудреницей была фирменным Наташиным жестом, чередой жестов, а облачко пудры то и дело клубилось вокруг вздернутого Наташиного носа. Разумеется, яркая, почти экзотическая в тогдашней московской жизни Наташа не могла не стать героиней эффектных городских легенд. Один из апокрифов родился благодаря этой самой круглой пудренице, многолетней спутнице и соседке упоминавшегося выше хромированного оленя.

Итак, легенда гласит, что в одном достойнейшем доме происходило застолье, и гости тоже были найдостойнейшие, подстать дому. Велись разговоры, и Наташа по своему обыкновению то и дело доставала из сумки пудреницу и пудрилась. К тому, что пудреница всегда у Наташи под рукой, все давно привыкли. Одним словом, народ беседовал, а Наташа пудрилась и пудрилась. Внезапно хозяин дома, профессиональный сатирик и один из остроумнейших людей своей эпохи (а статус этот предполагает быстроту реакции), как бы нечаянно выбил из Наташных рук раскрытую пудреницу. Немыслимый поступок и невероятный результат — пудреница упала, пудра рассыпалась, а под ее слоем обнаружился крошечный магнитофончик!

Вроде бы неслучайно хозяин дома проявил в тот вечер такую расторопность. Будто бы был он незадолго до того вызван в соответствующее учреждение, где ему предъявили текст, произнесенный в его доме лишь однажды в присутствии некоторого количества гостей. Тех же гостей, в том же составе, собрали снова, но теперь хозяин был настороже. То есть устроил ловушку, в которую и угодила писательница. В конце сюжета сатирик–хозяин якобы спустил сатирика–гостью с лестницы. Как это произошло технически — неясно, Наташа была крупной спортивной женщиной.

Кое–кого убеждала в достоверности происшествия именно эта опознавательная деталь — вечные Наташины манипуляции с пудреницей. Судя по всему, это действительно легенда, потому что остракизму Наташа не подверглась, продолжала водиться с достойными людьми (а достойные люди охотно водились с нею, высоко ценили блистательный Наташин юмор и незаурядное ее обаяние) и в 80–е годы издала книгу воспоминаний о своей жизни, об Ахматовой и о ее окружении.

К предстоящей поездке в Наташиной «Волге» я подготовилась, запасла множество уморительных рассказиков, собиралась блеснуть остроумием и от нетерпения ерзала на кожаном сиденье. Как вдруг, глядя сквозь ветровое стекло на

то, как Наташа насаживает на штырь оленя, сообразила, что точно так же собираюсь поступить с Верой Петровной, хочу выставить на осмеяние добрую, страдающую астмой женщину, с самыми лучшими намерениями делившуюся со мной уютными своими знаниями. Представив, какой деликатес изготовит из моих рассказиков Наташа, что за форшмак получится из Веры Петровны и принцессы Монако, из всех наших вытачек и пройм, бретелек и славных разговоров, я ужаснулась и сникла. К счастью, прозрение пришло вовремя и в потасовке совести с синдромом «ради красного словца не пожалею родного отца» в тот раз победила совесть, подсказала выход, и вместо отретпетированных хлестких рассказиков я пробубнила нечто скучновато-невнятное, истинные перлы утаив. Наташа заподозрила неладное, попыталась меня разговорить, но безуспешно, и поколесив минут двадцать по центру, вернула домой. Наташу я разочаровала, но зато по-прежнему дважды в неделю в нелегкой школьной жизни наступала успокоительная пауза и под крылом доброй женщины мы укрывались от жаждущего свежей крови педагога-вурдалака.

С годами «ндрав» Жанны Феликсовны не смягчался. Манией величия я не страдала и не считала, что меня ненавидят больше остального школьного поголовья. Однако сознавала, что в этом ряду я не из последних. А вот с клиническими хулиганами Жанна Феликсовна жила душа в душу, с ними была участлива и дружелюбна. Одни только настоящие и будущие уголовники, непосредственно из школы попадавшие в колонии, не боялись ярости нашей учительницы.

Остальные, ярости боявшиеся, учили химию не по обычным школьным учебникам, а по толстенному Некрасову для студентов химических вузов. Времена стояли хрущевские, лозунг «коммунизм есть советская власть плюс химизация всей страны» позиции Жанны Феликсовны укреплял, от страха мы выучивали химию назубок и невольно втягивались в предмет. Выбора не оставалось — народ брел по химической стезе, а педагогические методы Жанны Феликсовны подтверждали право на существование. Только за большие деньги можно было подготовиться на химфак так же успешно, как это делала «за бесплатно» Жанна Феликсовна. Из года в год лоно недюжинного педагога исторгало полчища химиков, матерью которых была сама Жанна Феликсовна, а отцом этих легионов — Ужас, ею же рожденный. То есть ситуация складывалась однозначно кровосмесительная, инцест в квадрате.

Но однажды случилось невероятное — мы с Жанной Феликсовной оказались по одну сторону баррикады. Дело в том, что молодому Острову Свободы с его неокрепшей независимостью понадобилась наша с Жанной Феликсовной солидарность. А мы — то готовы были наизнанку вывернуться, лишь бы угодить бородатому душке Фиделю, бившемуся в бухте Кочинос с американскими злыднями. Дело в том, что учащиеся нашей школы и весь его педагогический коллектив любили Остров Свободы с особенной страстью. В отличие от других приверженцев героического острова нас отделял от него не здоровенный кусок материка и огромный океанище, а всего лишь неширокий переулочек, ибо посольство Кубы располагалось на-

искосок от школы и занимало нарядный особнячок с садом за высокой каменной оградой. И если посольская домина того же архитектурного стиля, но по другую сторону от школы, была бесконечно чужда нам, кубинский домишко казался близким и родным.

Само собой, стоило только агрессорам посягнуть на независимость соседей, как уроки отменили, и мы наполнили узенький переулок громокипящей своей солидарностью. — Куба си! Янки но! — скандировали мы, обезумев от сопереживания. Сбегали домой, похлебали холодного супа из алюминиевых кастрюлек, вернулись обратно и до позднего вечера поддерживали страдальцев. Удивляло только, что сами кубинцы не выглядели обеспокоенными. Усатые молодцы в вельветовых пиджаках, развалившись в оконных проемах и свесив наружу огромные ножищи в ярких носках и замшевых штиблетах, зубасто хохотали и поощрительно помахивали загорелыми ручищами с браслетами на волосатых запястьях. Легко представить, как выглядела из их окон, с высоты куриного полета, наша обтерханная, заполошно голосащая солидарная масса. Но Жанна Феликсовна была рядом с нами, она пылала тем же гневом, что и мы, и возникало чудесное ощущение — в главном мы заодно!

Время шло, и Жанна Феликсовна помягчала ко мне. Обнаружилось, что я могу изготавливать химические стенгазеты со смешными рисунками, и их не стыдно выставить на конкурс. А конкурсы и олимпиады Жанна Феликсовна обожала. Тем более, что недостатка в новых жертвах не ощущалось, каждый учебный год поставлял педагогу парные (в смысле свеженькие). Концентрации ответной нелюбви Жанна Феликсовна не замечала и свою подростковую, до оторопи похожую на маму дочь, бесстрашно определила в нашу школу.

Коллективная ненависть рождала легенды. Якобы однажды окончился педсовет, и из учительской вывалилась гурьба педагогов. Прижимая к грудям и подмышкам классные журналы, учительницы заспешили по своим делам. А навстречу им прошлогодние выпускницы, то ли просто так зашедшие в школу, то ли по делу. И среди них белокурая Лена Киреева, девушка-лидер, вдоволь натерпевшаяся от Жанны Феликсовны и удивившая таки в расположенный неподалеку от школы Институт тонкой химической технологии. Завидев Лену, не помнящая собственного зла Жанна Феликсовна разулыбалась, раскрыла объятия, воскликнула нечто радостное. Но вместо встречных объятий Лена притормозила, взглянула исподлобья на мучительницу, набычилась, да и плюнула ей под ноги (свидетели уверяли, харкнула). Скорее всего, случая этого не было, а была стремившаяся к материализации мечта, навязавшая Лене роль школьного Робин Гуда.

Однако пора возвращаться во взрослую жизнь, в вагон метро. И так, гляжу я на знакомые до боли ноги визави и думаю — да может ли быть, чтобы по прошествии стольких лет они ничуть не изменились? Рассуждаю вот так, а глаза поднять по школьному обыкновению побаиваюсь. Поборолась сама с собой, да и переборола первобытный ужас. Так и есть, прямо из детства на меня смотрели в упор те самые, питоньи, черные глаза без блеска, глаза Жанны Феликсовны. Насмешливо

глядели, пристально, выжидающе. Видно, не впервой им было испытывать свою власть на повзрослевших, постаревших, но все еще трепещущих бывших жертвах. Да и бывших ли, если лет двадцать после нашего расставания Жанна Феликсовна все еще являлась мне в ночных кошмарах?

В бледном плосковатом лице педагога изменений оказалось побольше, чем в неподвластных времени ногах. Но это была она, наша учительница, отравившая десяток лет из нескольких отпущенных на жизнь десятилетий. Я не успела сообразить, как следует поступить: изумиться ли встрече, поинтересоваться ли жизнью, предаться ли воспоминаниям? Мне было не до размышлений — к горлу подступил комок, и я едва успела выскочить из вагона. Желудочный (или мозговой?) спазм по счастью совпал с остановкой. А что следовало сделать, если организм среагировал помягче? Может, тоже плюнуть под ноги?

Загадочную концовку школьного мемуара подбросила сама жизнь. В прошлом году дядюшка мой, кандидат химических наук и глубокий пенсионер, в поисках приработка набрел на мою родную школу. Предшественница его, целую вечность преподававшая здесь химию (по контексту легко догадаться, как звали эту отличницу народного образования), вышла на пенсию, и место оказалось вакантным. Дядюшке понравилась и сама школа, и прекрасно оборудованный химический кабинет. Из личных вещей прежнего педагога остался в лаборантской один-единственный неожиданный предмет — плетеный кожаный хлыстик. То ли учительница наша увлеклась с годами верховой ездой, то ли какое-то иное назначение было у хлыстика... Все-таки интересно, как использовалась плеточка до того, как оказалась в руках двоюродного моего дядюшки?



Кунсткамера,
или
Пейзаж 90-х
Работа с натуры



Разветвленное сложноподчиненное старомосковское пространство с придаточными предложениями переулков и деепричастными оборотами подворотен давно уже не живет прежней своей жизнью. Превенная жизнь угасла, скукожилась, сошла на нет, канула, новая не наступила. Пустынны одичавшие дворы, захлавлены, оставлены. Не бeсятся детские компании на весенних их просторах. Одинокая фигурка в перспективе воскресного переулка — почти редкость! Немногие, закатившиеся в щели, позабытые в превнних, некогда обитаемых жилищах старинные жители глядятся заброшенными сиротами. Знакомые, полужнакомые, просто привычные лица, населявшие прежде опустевшие ныне окрестности, исчезли, испарились.

Глуловато предаваться ностальгическим трелям о минувших временах. Не о скученном же житье–бытье тосковать, не о грозовых тучах перебродившей до взрывоопасной консистенции психологии, переполнявшей до обморочной духоты квадратные и кубические метры жилой площади. Но останавливаешься, обалдеваешь перед геологическими срезами, собраниями окаменелостей, свидетелями недавнего прошлого и времен доисторических — родительских неолитов и прародительских палеолитов. И без атомного взрыва на стенах живых еще домов отпечатались воспоминания о погибших, бывших — домах, мирах, лицах. Отпечатки подробные, внятные. То ли отпечатки, то ли географические карты, то ли древа жизни, сохранившие изгибы и ароматы человеческих судеб. Вот красно–кирпичный треугольник несуществующей уже крыши, отпечатавшийся на стене соседнего, живого еще дома, вот след от печной трубы на бывшем ее коньке, вот остаток потолочной лепнины и бронзовая печная заслонка — приметы чужого цивилизованного уюта. А это следы фанерных перегородок, разрезавших, поделивших древний уют (залу, гостиную, детскую — нечто просторное, светлое, пропорциональное) на темноватые норы и убогие отсеки, в которых прошли детство, юность, зрелые годы, а также заключительные отрезки жизней жителей Остоженки, Пречистенки и множества переулочков, соединяющих эти старые московские русла и ответвляющихся от них. А вот и коммунальные пиктограммы. Склизкие сталактиты и сталагмиты мест общего пользования с тюльпанными силуэтами на совесть послуживших людям унитазов, ржавая труба, произрастающая из смятой гармошки нависающего над двором радиатора парового отопления, замысловатыми петлями ветвящаяся с одного несуществующего этажа на другой, тоже несуществующий. Вот следы от украшавших жилища фотографических портретов и почетных грамот, отпечатки гардеробов, комодов и зеркал — заплатки на потускневших и выцветших прямоу-

гольниках бывших стен бывших комнат бывших жильцов бывшего дома. Гербарии прожитых жизнью. Только на первый взгляд отпечаток дома двухмерен, на самом деле это спрессованное время и спрессованное пространство, вместившее сотни судеб, житейских коллизий, гроздь лиц. И облупленная, многократно перекрашенная филенчатая дверь высоко над головой, забитая и забытая, ведущая из ниоткуда в никуда, если и открывается, то в это самое испарившееся время и исчезнувшее пространство.

Настенные послания из прошлого напоминают о детских «секретиках», сокровенном тайном творчестве, загадочном девчоночьем увлечении. Горстка эфемерных пустяков — цветки сирени, конфетная фольга, разноцветный фантик, обрезок атласной ленты, компактно и красиво уложенные на кусочке разметенной от мусора земли и придавленные стеклянным осколком, в одно мгновение из случайного скопления праха, мусора, превращались в бесценный клад. Сотворив красоту, следовало тут же ее зарыть — присыпать слоем земли, разровнять как ни в чем не бывало, местность замаскировать и жить дальше с ощущением прекрасной тайны. Дворовая этика позволяла не только искать и находить чужие «секретик», но завладевать ими, безжалостно разрушать, присваивать лучшие компоненты. Самым удивительным в феномене «секретиков» было то, что волшебною красотой следовало любоваться тайно, в полном одиночестве, дождавшись, когда во дворе не будет ни души. А похвастаться, не удержавшись, покажешь подруге, и лишишься «секретика», не убережешь его. Испытание, но и урок будущей женской жизни. Зловещее предостережение: мол, молчи, скрывайся и таи ... И еще одно мистическое свойство «секретиков» — способность исчезать бесследно, навсегда. Казалось бы, точно помнишь местонахождение «секретика», уверена, что со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра найти его никто не мог. Роешь—роешь, ищешь—ищешь, все надеешься нащупать гладкое стеклышко, смахнуть пыль, заглянуть в зазеркалье, но напрасно — ни самого чуда, ни следов его не находишь. Скорее найдешь чужой «секретик», а свой — никогда. Расплющенные стеклышками «секретик» и отпечатки на старых стенах родственны друг другу. Чем—то окончательно свершившимся, необратимым, превратившимся в факт и прах одновременно.

Следы прежних цивилизаций сохранили не только стены. Асфальтовая дворовая плешь, окруженная старыми деревьями, тоже напоминает о некогда существовавшей здесь жизни. На ближних подступах к Кропоткинской площади есть такой двор. На стенах его нет следов, потому что и стен, бывших тут во множестве, давно уже нет. Зато при входе во двор, в узкой его части, остался утопанный, не растающий сорняками прямоугольник земли, размером двадцать шесть моих шагов на шесть моих же. Одна его сторона ограничена брандмауэром высокого дома, другая огрызком каменной ограды, еще две хилыми тополями — старичками—недоростками. На прямоугольнике этой московской земли существовала некогда пристройка к высокому дому, кособокое строение с покатою крышей и перекошенными окнами. Сооружение ветхое, временное, но... временное, как известно, и есть самое постоянное. Я была в нем однажды, а сегодня, проходя мимо, вспомни-

ла о человеке, о котором давно уже вспоминать некому. Воспоминание о Елене Осиповне я и начала с подсчета шагов, обмерила место бывшего ее обитания.

Всю долгую школьную жизнь я мечтала о любимом учителе. Точно знала, что чудо такое в природе существует, и не так уж редко, но роковым образом вожденная персона так и не возникла на педагогическом горизонте. Хотя школа наша расположена в самом центре Москвы, и проучилась я в ней, ожидая встречи с Учителем, целых одиннадцать лет. Был краткий эпизод, казалось бы, мелькнул истинный словесник, но поздновато, в одиннадцатом классе, оставив одно только сожаление о запоздалой встрече. Остальные же учителя, попадавшиеся на томительном школьном пути, в массе своей были мало симпатичны и профессионально не слишком компетентны. Такое невезение! А может, я их просто не разглядела, этих прекрасных учителей?

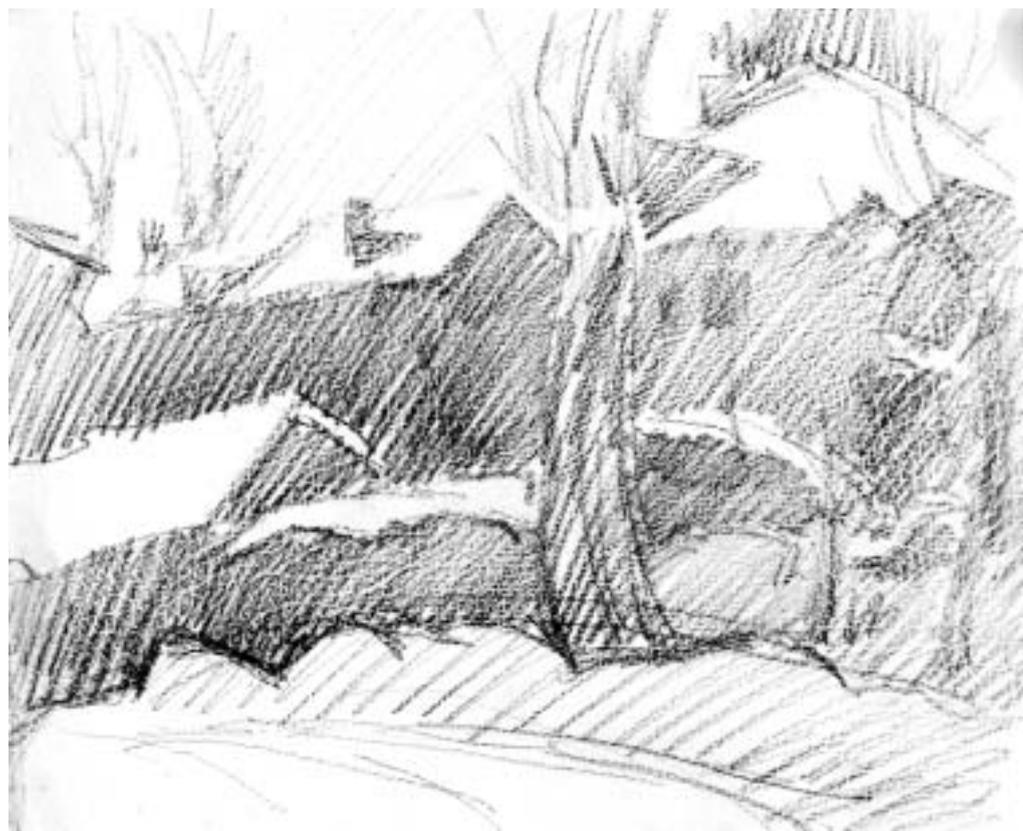
В пятом классе Елена Осиповна была нашим классным руководителем и считалась преподавателем русского языка и литературы. Пожилая солидная женщина приятной наружности с прекрасной осанкой и тяжелым пучком золотисто-седых волос, она все же не тянула на даму, хотя и теткой ее не назовешь. Елена Осиповна была человеком незлым, даже кротким, то есть обладала именно теми качествами, в которых не нуждалась советская педагогика. Так разнузданно и безобразно, как в пору ее классного руководства, мы не вели себя никогда. Сохранилась запись в школьном дневнике, сделанная учительницей для сведения родителей: *На уроке физкультуры ваша дочь зажалась в раздевалке*. Ознакомившись с беспомощно-трогательным текстом и восхитившись формулировкой, родители не стали меня ругать. Что заставило Елену Осиповну стать словесником, в результате какого абсурдного жизненного поворота произошла эта нелепость, неизвестно. Профессиональным ее апофеозом стал один из четвертных диктантов, присланных нашим Фрунзенским РОНО. Расположившись за столом и отведя подальше от глаз бумажный листок, Елена Осиповна приготовилась прочесть название диктанта. Внимательно вглядевшись в текст, с некоторым сомнением Елена Осиповна произнесла непонятное: «докёры генУи», с ударением на букву «у». Понять эту абракадабру не смогли ни мы, ни наша учительница. Пришлось прочесть во второй, и в третий раз. Озадаченная Елена Осиповна настойчиво и раздраженно повторяла свое: «докёры генУи», мы упорно не понимали. Наконец, вполне кондово-го, но сообразительного мальчика, сына школьного завхоза Анны Алексеевны, Леньку Архипкина, осенило: — Докеры! Генуи! Город такой! В Италии! Там всегда докеры бастуют! — радостно прокричал Ленька. Елена Осиповна облегченно, хоть и досадливо вздохнула, а класс покатился со смеху. С тех пор «докёры генУи» стали притчей во языцех, а об учительницу нашу мы разве что ноги не вытирали, и никогда так откровенно не бездельничали, как на уроках Елены Осиповны. А кроткая женщина обреченно терпела все наши безобразия.

Как бы то ни было, но вдруг Елена Осиповна заболела, и надолго. Замелькала череда мстительно-злых и тоскливо-бесцветных учительских теней-призраков. От бесхозности своей класс приуныл. Что-то все-таки было в нас челове-

ское, если мы, три девочки, решили больную Елену Осиповну навестить. Самая смелая узнала в учительской адрес, и мы отправились в устье того самого, ныне опустевшего двора вблизи Кропоткинской площади, в коммунальное жилье, по длинной стороне равное двадцати шести шагам, а по короткой шести.

Дверь со двора открылась сразу, потому что на замок не запиралась, и мы очутились в коридоре, оказавшемся одновременно и кухней. В густых пряных клубках серого пара тетка в черном сатиновом халате мешала деревянной палкой кипящее в баке белье. Мы что-то провякали, дескать, пришли учительницу навестить, и тетка благодушно и вполне по-домашнему крикнула куда-то вбок: — Лен, ученики к тебе пришли! — В направлении крика обнаружилась узкая комнатка — продолжение кухни-коридора. То ли двери не было вообще, и отделялась комната от коридора одной только занавеской, то ли была она совсем хлипкой, эта дверь, во всяком случае, клубы бельёвого пара наполняли и комнату. Узкое пространство занимала неширокая никелированная кровать (высокая, с множеством подушек, с кружевным подзором, с ковриком на стене) и большой сундук, отстоящий от кровати на длину ступни десятилетней девочки (мы втроем уселись на сундуке и еле-еле уместили в проходе ноги, небольших еще в те времена размеров). В дальнем комнатном торце, на окошке, среди вышитых «ришелье» занавесок — заросли розовых фуксий. Одним словом, нарядная, ухоженная комнатка, только очень уж узенькая. Нарядно выглядела и сама Елена Осиповна с распущенными по плечам пушистыми рыжеватыми волосами, в рубашке с мережками, вытянувшая поверх сияющего накрахмаленного пододеяльника худые желтые руки. Клубы бельёвого кухонного пара странным образом дополняли празднично-кружевной комнатный ландшафт. Елена Осиповна обрадовалась нам. Не вставая с постели, вытащила из-под кровати маленький сундучок. Из подкроватного сундучка-буфета достала три шоколадных конфеты «Красная Шапочка». В узенькой комнатке роскошные конфеты в желтых обертках показались неправдоподобно большими и украсили наш визит. Мы решили, что не так уж плохо живется нашей учительнице, если у нее наготове такое отменное угощение. Переглянувшись и молча поделившись друг с другом этим ображением, мы инстинктивно дистанцировались от возникшей в незлых наших душах жалости, и вскоре оставили одинокую Елену Осиповну в кружевной ее норке. Да и говорить было как-то не о чем. Посещение наше оказалось не только кратким, но и единственным. Была мысль навестить Елену Осиповну еще раз, но мы побоялись, как бы она не решила, будто мы явились к ней в гости в расчете на угощение. А вскоре выяснилось, что из-за болезни Елена Осиповна в школу не вернется, и больше мы никогда ее не встречали и о ней не слышали. Свинство конечно, но в кунсткамере памяти воспоминание о Елене Осиповне расположилось в том же ряду, что и отпечатки погибших домов, и ушедшие в землю сокровенные «секретики». Вот и учительница наша в кружевом обрамлении комнатки-пенальчика помнится нарядной сухой стрекозой с аккуратно сложенными поблескивающими крылышками, старенькой Белоснежкой в прозрачном узеньком саркофаге.

1999



Безымянный
тупик, 4



Серебристо–серый, заплетенный по самую крышу девичьим виноградом, дом с мансардой стоял посреди сада. Гибкие побеги множества новых весен, сплетаясь с одревеневшими плетями предыдущих лет, опутывали дом крепнувшей год от года виноградной сетью. Куст белой сирени приникал к трехстворчатому итальянскому окну. Сруб на высоком фундаменте, сложенный из толстенных, со слоновью ногу, морщинистых бревен, сооруженный еще крепостными, перевезли сюда, в подмосковную Малаховку, из города Переславля–Залесского в призрачном 21–м году. Здесь дом был выстроен заново и обзавелся новым адресом — Безымянный тупик, дом 4.

Сюда привезла меня мама сияющим июньским утром 56–го года. Хозяев дома и сада давно уже нет на этом свете, но я каждый день думаю о них, об их саде и о доме — приюте множества людей. И горюю, что дочери моей не пришлось повстречаться с хозяйкой этого дома и этого сада — с Елизаветой Александровной Барыковой. Елизавета Александровна умерла через неделю после дня своего рождения, на семьдесят втором году жизни. На стуле возле ее кровати еще стояла та темно–красная роза, которую я ей привезла. И я храню эту розу, засохшую четверть века назад.

Елизавета Александровна обладала особенной, собственной статью и удивительно авторитетной манерой поведения. Из–за уверенных, не допускавших возражений интонаций и дистанции, возникавшей с первой минуты общения, Елизавета Александровна казалась человеком строгим и безапелляционным. А на самом деле вовсе им не была, хотя в жизни своей придерживалась самых твердых правил.

В больших роговых очках на крупном носу и в вечной головной повязке, самой запоминающейся детали ее облика, она действительно выглядела сурово. Внимательно, без улыбки, без какого бы то ни было специального «детского» подхода, она вгляделась в меня, задала какой–то конкретный вопрос, потребовавший такого же определенного ответа, серьезно его выслушала и в ту же секунду превратилась в самого авторитетного человека, заслуживающего абсолютного доверия. И для меня осталась таким человеком навсегда. А даром особой авторитетности Елизавета Александровна действительно обладала. К примеру, безобиднейшая сентенция, произнесенная лишь однажды и услышанная мною лет в двенадцать: — Женщина не должна пахнуть ничем, только хорошим мылом, — запала в голову так основательно, что навсегда отвратила от употребления духов.

Головную же повязку Елизавета Александровна носила из–за сильнейших мигреней, мучивших ее с ранней юности. Повязка крепко стягивала голову и боль

стихала. Существовала, правда, версия, что не одна только хроническая мигрень заставляла Елизавету Александровну носить повязку. Вроде бы в молодости с помощью этого изобретения Елизавета Александровна корректировала высоту лба, казавшуюся ей чрезмерной. Лоб действительно был высоким, может быть и корректировала. Елизавета Александровна работала вместе с мамой на кафедре иностранных языков Московского института тонкой химической технологии (МИТХТ) и на всех кафедральных фотографиях она в повязке и в черном английском костюме. А дома Елизавета Александровна носила свободные штапельные платья с короткими рукавами. Теплостройной, ей всегда было жарко, и круглый год приходилось одеваться по-летнему. А повязка до поздней осени заменяла шляпу.

Елизавета Александровна доверяла моему вкусу и поручала выбирать материю для платьев и халатов. Ей нравился стиль Ар нуво (то бишь модерн), она любила лиловое и усталое розовое в сочетании с зеленым и коричневым. Я вкус ее чувствовала, и мои покупки она одобряла. Рассматривая ткани в магазинах, я и сейчас отмечаю те, что пришлись бы ей по душе.

В юности Елизавета Александровна училась прикладному искусству, была изумительной мастерицей и всю жизнь дарила свои произведения друзьям. Однажды я достала на своей работе (в швейном заведении) и привезла в Малаховку грудку разноцветных лоскутов — ярких, нарядных, отборных. Обыкновенно невозмутимая, Елизавета Александровна пришла в детский восторг, оживилась, развеселилась, откуда-то взялись силы, и в мгновение ока она превратила пеструю тряпичную грудку в ворох лепестков, а эту цветную трепещущую субстанцию — в коврики-клумбы. Коврики-клумбы живут в нашем доме больше четверти века.

А до тех пор, пока Елизавета Александровна не вышла на пенсию и не осела насовсем, безвыездно, в Малаховке, она раз в неделю приходила в наш дом, в нашу коммунальную квартиру, и вместе с мамой сочиняла учебник, предназначенный для быстрого обучения второму языку тех, кто уже знал один — немецкий или английский. Мама трудилась над немецкой частью учебника, а Елизавета Александровна — над английской. Полезный учебник написали, но наивные попытки издать его успехом не увенчались.

Прихода Елизаветы Александровны я ждала с нетерпением, потому что кроме радости видеть ее, существовала еще одна причина, простительная для ребенка, но все же корыстная. Елизавета Александровна непременно приносила кулек шоколадных конфет в разноцветных фантиках и обеспечивала нашей семье еще одну неделю сладкой жизни.

Муж Елизаветы Александровны, Никита Константинович Мельников, был человеком во всех отношениях удивительным. Начиная с того, что явился на свет вовсе не Никитой Константиновичем Мельниковым, а Матвеем Кондратьевичем Мельником, в качестве которого и прожил детство и раннюю юность. Но накануне первой русской революции ему пришлось сменить и имя и фамилию.

Никита Константинович (в начале жизни Матвей) родился в 1890 году в селе под Киевом и с гордостью называл себя хохлом, а украинский язык считал са-

мым красивым в мире, самым поэтичным и музыкальным. Мать его служила экономкой в интеллигентной киевской семье, сын жил с нею, и хозяева сумели разглядеть в маленьком мальчике одаренного человека. Эти благородные люди помогли Матвею подготовиться в гимназию и взяли на себя часть расходов по обучению.

В одном классе с Матвеем учился мальчик Глеб, сын киевского профессора Федора Мищенко. Ребята подружились, Матвей стал своим человеком в семье Глеба и судьбы их переплелись. О семье Мищенко Никита Константинович говорил взволнованно, с особенным чувством. Кстати говоря, в одном классе с Глебом и Матвеем учился будущий ученый, полярник–челюскинец Отто Юльевич Шмидт.

О Киеве Никита Константинович вспоминал часто и с нежностью. Мы с мужем попали в этот город на Страстной неделе 1979 года. Бродили по Лавре, по Владимирской горке, по Андреевскому спуску, заглядывали в подворотни, за которыми открывались не дворы, а виды на Днепр и заднепровские дали. И ощущали Никиту Константиновича своим спутником.

К весне 79–го Подол опустел. В преддверии Олимпиады (в жертву которой принесли не только Москву, но и Киев) реконструкция города шла полным ходом. Но нас не оставляло острое чувство, будто на самом деле мы бродим не по безлюдным спускам, переулкам и опустевшим дворам, что пространство это густо населено, а не покинуто, что мы сталкиваемся плечами с вечными киевлянами, а воздух наполнен их дыханием и вибрирует от множества голосов. Отъезд из Киева пришелся на Страстную субботу. До самого вечера гуляли мы по Подолу и покидали его под звуки странной какофонии. Нескончаемая барабанная дробь в солдатских казармах во что бы то ни стало пыталась заглушить перезвон колоколов в маленьком Храме по другую сторону узенькой улочки.

А в ту холодную апрельскую неделю мы настойчиво разыскивали здание Второй Киевской гимназии, где учились Матвей и Глеб, приставали с расспросами к пожилому прохожим, казавшимся нам старожилками, и нашли то, что искали. Вернувшись в Москву, сразу отправились к Никите Константиновичу и подробно рассказали о том, что увидели и ощутили в городе, по–прежнему населенном людьми, родившимися здесь, прожившими в Киеве длинные или короткие жизни и при разных обстоятельствах город покинувшими. Рассказом нашим с легким мистическим привкусом Никита Константинович, вроде бы прагматик и материалист, наслаждался.

В гимназии Никита Константинович (тогдашний Матвей) заразился революционным вирусом, по заданию меньшевика Ларина (будущего тестя Николая Бухарина) организовал подпольную типографию, принялся печатать прокламации. Шрифт для своей полуигрушечной типографии тайно вынес из настоящей, куда был вхож по какому–то знакомству. Типографию раскрыли, Матвея арестовали и приговорили к заключению в исправительной колонии для несовершеннолетних преступников, где он и пробыл несколько месяцев. Но однажды было получено предписание о переводе Матвея куда–то, где против него могло быть возбуждено новое, «взрослое» дело. Начальник колонии, благородный человек, пожалел Мат-

взяв и отпустил его на волю, воспользовавшись правом досрочного освобождения несовершеннолетних, если они хорошо себя зарекомендовали. Начальник даже пошел на фальсификацию и оформил освобождение Матвея числом, предшествовавшим злополучному дню получения зловещего предписания. Таким образом от тюрьмы и ссылки удалось спастись, но от «волчьего билета» было не отвертеться. То есть Матвей лишился права продолжить образование в российских учебных заведениях.

И пригорюнившийся Матвей вернулся домой, в родное село. Дед Матвея, растивший мальчика после гибели его отца, железнодорожного машиниста Кондратия Мельника, отправился к волостному писарю и за четверть горилки (бутыль 2,5 литра) и половину свиньи писарь отдал Матвею паспорт почти что его ровесника, умершего за несколько месяцев до того в соседней деревне. Покойный Никита Мельников приходился Матвею двоюродным братом, и благодаря Матвею, ставшему Никитой, чудесным образом ожил и сумел прожить замечательно долгую жизнь. Вот только Матвей, превратившись в Никиту, в соответствии с новым паспортом помолодел на год.

Став Никитой Мельниковым, бывший Матвей отправился в Москву, экстерном сдал экзамены за курс классической гимназии, получил соответствующий документ с новой фамилией и поступил на филфак Московского университета. В ту пору помочь ему было некому, учеба стоила денег, и однажды студент Мельников присел на стул, стоявший в вестибюле университета на Моховой и призадумался о том, как ему жить дальше, вернее — на что? В такой вот момент и обратился к нему прежде незнакомый человек по фамилии Цой: — Коллега, я окончил университет и уезжаю. Не согласились бы вы взять на себя мои уроки? — Это был перст судьбы, Никита Константинович с радостью согласился, и проблема заработка в мгновение ока разрешилась.

Между тем началась Русско–японская война, и Никита Константинович получил повестку. На этот раз он сидел в раздумье уже не в вестибюле университета, а на скамейке в Александровском саду и не ощущал патриотического порыва. Ему не хотелось идти на войну, а особенно в пехоту, в окопы. Мимо шел знакомый студент с газетой в руках. Он–то и показал Никите Константиновичу объявление о наборе студентов вольноопределяющимися во флот. Набор происходил в Петербурге, и на следующий день Никита Константинович покинул Москву, поступил матросом на военный корабль, отправился на Дальний Восток и принял участие в русско–японской кампании.

Ранний революционный опыт не отвратил Никиту Константиновича от политики, после революции он вошел в Одесский флотский совет, состоявший преимущественно из меньшевиков и был командирован в Москву на какую–то глобальную партийную конференцию. К счастью, к этому времени он уже понял всю бессмысленность и жестокость происходящего и в безалаберности тех лет сумел раствориться в пространстве, покинув Одессу, но на конференцию не явившись. И впредь, никогда и нигде не упоминая о былой партийной принадлежности, на пу-

шечный выстрел не приближался ни к чему партийному или номенклатурному. Интуицией он обладал отменной, и она очень ему пригодилась. Собственно говоря, дом из города Переславля-Залесского он перевез в Малаховку для того, чтобы жить в стороне от Москвы, на выселках. Дом—то сначала был выстроен посреди соснового бора, это потом местность застроилась и густо заселилась.

А еще раньше проницательный Никита Константинович навсегда отказался от титульной своей специальности историка. Помимо того, что все гуманитарные науки, как говорил Никита Константинович, «после 1917 года обречены были стать публичными девками», в новых условиях прежняя специальность стала еще и опасна для жизни. И он нашел иное применение разнообразным своим талантам — освоил профессию товароведа, эксперта по фарфору и хрусталу, и преуспел в этом деле чрезвычайно. Стал авторитетнейшим специалистом в своей области и до глубокой старости, до тех пор, пока совсем не ослеп, участвовал в сложнейших экспертизах.

Печально, что рассказы о драматических приключениях, переполнявших молодость Никиты Константиновича, в памяти моей размылись, трансформировались и восстановлению не подлежат. Мифологией же и домыслами заниматься не хочется, очень уж реален и не отдален во времени этот человек. Помню, например, что был в 20-е годы период, когда в коже, шлеме, темных очках и на мотоцикле разъезжал он представителем Иваново-Вознесенского райпотребсоюза по России и, занимаясь самым обыденным на первый взгляд делом, выглядел эдаким моторизованным российским кувбоем.

Из-за острого ощущения спасительности жизни особняком, подальше от властей, от начальства, дальновидный Никита Константинович даже телефон в своем доме не стал устанавливать. Спасительную дистанцию удалось сохранить, а значит сберечь жизнь, достоинство и ощущение относительной свободы.

С семьей Барыковых Никита Константинович познакомился в самом начале 20-х. С Александром Барыковым его связывали дела. Женился Никита Константинович на Елизавете Александровне не только по любви, но и потому, что пришла пора обзаводиться домом. Человеком он был здравомыслящим и даже прагматичным. Что и говорить, Никита Константинович не прогадал, интуиция, как всегда, сработала безотказно. Мужа своего Елизавета Александровна горячо любила, предана ему была беспредельно, и созданный ею удивительный дом выстроен был ради Никиты Константиновича и вокруг него.

В моем детстве родители снимали дачи в дальних деревнях, там было дешевле. И мне были знакомы и деревенский уклад, и устройство сельского дома, известны цветы деревенских палисадников и огородов — золотые шары, маки, мальвы. Я любила, помнила и рисовала лесные и луговые цветы — лютики, мелкие малиновые гвоздички, голубой цикорий, львиный зев. А вот те цветы, которые цвели тем давним июнем в малаховском саду, образовали в памяти особую группу. И всегда, когда в начале лета цветут спирея и жимолость, аквилегия и разбитое сердце, я думаю о Елизавете Александровне и о ее саде в Безымянном тупике.

Мое первое малаховское лето оказалось последним благополучным летом в жизни Елизаветы Александровны. Впереди было шестнадцать лет жизни, но совсем иной — наполненной страданием, терпением и мужеством. Потому что осенью того года погиб Андрей — единственный сын Елизаветы Александровны и Никиты Константиновича.

Андрей был капитаном буксирчика, курсировавшего по Оке, а отец ждал от него большего. Их отношения складывались тяжело, угрюмо, в режиме тлеющего конфликта, дома Андрей почти не бывал — изредка забегал к матери. Только однажды я увидела стремительно прошагавшего по садовой дорожке моряка в белой капитанской фуражке и темно-синем кителе, услышала, как вслед ему хлопнула калитка. От того мгновения остался образ — гневный моряк на фоне сверкающего июньского полдня. Андрею оставалось жить четыре месяца. В туманный октябрьский день, когда Андрей переходил улицу в районе речного порта, его сбила машина. Я хорошо помню ту осеннюю трагическую телефонную весть.

Не случись этого несчастья, все могло бы сложиться в жизни Андрея. Ему было тридцать, он многое повидал, успел повоевать на Балтике, а теперь собирался жениться. Предстоящий брак и оказался причиной последней ссоры Андрея с отцом. Дело в том, что у Андрея уже была невеста. И Никита Константинович даже ездил знакомиться с Вериным отцом и братьями, неподалеку, в Панки. Но вдруг все рухнуло, Андрей встретил другую женщину, оставил Веру и привез к родителям новую невесту — славную женщину, мать маленького мальчика. Елизавету Александровну ребенок обрадовал, новая невеста понравилась, а вот Никита Константинович рассердился на Андрея. Видно потому, что был человеком слова и чувствовал ответственность перед Вериной семьей.

Несколько лет после гибели Андрея по пути с кладбища Вера заходила к Елизавете Александровне и Никите Константиновичу, пила чай, скупно отвечала на вопросы об отце и братьях. Запомнился ее облик — молчаливый, женственный, отстраненный. Я не понимала, радовались ли в Безымянном тупике ее приходам. Наверное, не понимала этого и Вера, появляться перестала, но на кладбище по-прежнему бывала. Время от времени мы с Елизаветой Александровной обнаруживали на могиле Андрея прекрасные букеты, то совсем свежие, то увядающие. В те годы в кладбищенской этой ограде похоронен был один Андрей, довольно долго он пребывал в одиночестве, а теперь там полно народу. Могила Андрея оказалась такой же гостеприимной, как и малаховский дом — приютила множество урн с прахом родственников и знакомых. И родители его похоронены здесь же.

А в тот летний день, пересеченный по диагонали стремительным моряком, я сидела на скамейке, прислонясь спиной к плотной, пружинящей, сияющей белыми соцветиями живой изгороди, и передо мною на высоком пирамидальном жасмине посреди круглой, заросшей цветущей земляникой клумбе зрели тугие бутоны. Я упивалась книгой, выданной Елизаветой Александровной из своих закровов. Героиня книги, гимназистка начала века, до слез хохотала над смешными назва-

ниями городов — Тула и Калуга. И мне они показались уморительными, я заразилась ее настроением и тоже принялась хохотать. К концу первого класса я пристрастилась к чтению, и необъятные книжные возможности, открывшиеся в Малаховке, меня ошеломили. Неповторимый кайф начала лета: скамья в цветущих кущах, интересная книга — остановившееся мгновение детской жизни.

Сад был обширен и высок. Ощущение это возникало из-за строевых сосен. Благодаря соснам пространство сада уходило ввысь, у сада появлялся объем и он казался огромным воздушным кубом. В зависимости от времени лета (ведь у лета много времен) то один, то другой фрагмент сада обретал особый смысл и собственное звучание. В начале июня, ближе к вечеру, посиживали в глубине малинника, на круглой дерновой скамье, окружавшей ствол толстой сосны, перед овальной клумбой цветущих пионов. Но пионы отцветали, и до будущего года место это становилось заброшенным и сиротливым. Зацвел жасмин, и обитаемой становилась другая скамья, перед другой клумбой. Ближе к осени сидели за длинным столом под дикой яблоней. Яблоня обильно плодоносила вязкими на вкус румяными яблочками и усыпала плодами стол, скамью и дорожку.

Другая дорожка — та, что вела от калитки к дому, в течение весны и лета несколько раз меняла облик. В мае возле калитки цвела и благоухала крохотная, но роскошная полянка ландышей. На ландышевую территорию заходить запрещалось круглый год, ландыши оберегали. В июне вдоль дорожки расцветали аквилегии — сиреневые, бледно-лиловые, и забавные розовые цветочки — много-много разбитых сердечек на одном стебле, мал-мала-меньше. Розовый, сиреневый, лиловый — цвета малаховского июня. К концу лета их сменяли флоксы, их запах — запах малаховского августа.

Половину обширного огорода занимали цветочные плантации, засеянные разноцветными ромашками, бархатцами, ноготками и астрами — незамысловатыми, но радостными и приветливыми цветами. Каждому гостю полагался свежий сложносочиненный букет. Незадолго до отъезда очередного гостя Елизавета Александровна вручала мне корзинку, ножницы, и мы отправлялись на плантацию. Неспешно и почти торжественно в корзинку укладывались выбранные Елизаветой Александровной и аккуратно срезанные цветы, из которых уже на террасе формировался букет. Самой мне и в голову не пришло бы сорвать цветок — это было бы кощунством. Я ощущала себя ассистентом Елизаветы Александровны, составлявшей букеты артистично, самозабвенно, да еще по высшей букетной науке, освоенной некогда на специальных цветочных курсах.

Не помню дня, чтобы в центре стола в узкой стеклянной вазе не было бы цветов. Настольный букет ежедневно обновлялся, увядшие цветы заменялись свежими. Букет трансформировался, жил своей жизнью, а засыхая, перекочевывал не на помойку, не в компостную кучу, а на шкаф, где в больших старинных вазах длилась жизнь цветов прошедших лет, осеней и весен. Удивительно, но в дом, наполненный цветами собственного сада, везли и везли букеты — васильки, розы, гладиолусы. И Елизавета Александровна неизменно им радовалась.

Кроме цвета и запаха у сада и дома была мелодия. Она складывалась из боя настенных часов, раз в полчаса отбивавших неторопливое малаховское время, из шума ночного ветра в верхушках сосен, из перестука бесконечных товарняков и тревожных гудков скорых поездов. Сад отделяли от железной дороги соседский дом и глубокий овраг, знакомый всем ездившим по Казанке. В памяти звуки располагаются в том же ряду, что и запахи. Даже если и забываются со временем, то при самом отдаленном намеке оживают со страшной силой.

Елизавета Александровна и Никита Константинович в проявлении чувств были людьми строгими и скупыми. И одновременно на редкость гостеприимными и активно добрыми. Гостей встречали без восклицаний, без изумлений и объятий, стили общения придерживались серьезного. В этот дом люди устремлялись нескончаемым и разнообразным потоком. Всех принимали, кормили, укладывали отдыхать, с интересом выслушивали, приглашали приезжать снова и ждали. Малаховский дом стал родным для множества людей. Время от времени, исключительно из спортивного интереса, Елизавета Александровна принималась подсчитывать посетителей. Рекорд одного из летних месяцев составил сто двадцать человеко-посещений. Сто двадцать человек в течение одного только месяца радушно приняли, вкусно накормили и внимательно выслушали.

То и дело слышалось позвякивание, сигнал того, что калитка отворилась. От калитки к окну комнаты с функциями гостиной, тянулась проволока, что-то хитрое на ней болталось, обо что-то ударялось, позвякивало и сообщало о новом посетителе. Сигнальная система работала безотказно. Дом наполняло множество остроумных, предельно простых, но надежных конструкций. Придумывал и воплощал в жизнь эти вечные двигатели, конечно же, Никита Константинович.

А люди в малаховском доме бывали разные, всех не перечислить. Приходила деревенская женщина Феня в белом платочке и черном плюшевом жакете. Приветливая, немногословная, с дивной улыбкой, обнажавшей розовые десны. Редко удавалось Фене оставить свое хозяйство. Но если выбиралась по делу в Малаховку, непременно заглядывала на часок. Соглашалась выпить чаю, от более основательного угощения отказывалась. Соблюдала субординацию и этикет, непременно в отношениях между барыней и молочницей в те давние-давние времена, когда Феня доставляла в Безымянный тупик деревенское молоко.

У обеих в те годы подрастали маленькие сыновья, Фенин Ваня на год моложе Андрея. И Елизавета Александровна отдавала Фене одежду, из которой Андрей вырастал. Это были бесценные дары. С не ослабевшим за прошедшие десятилетия умилением Феня вспоминала барские кружевца, чепчики и мерехки.

Завязавшись однажды, отношения длились всю жизнь. И в войну Феня расплатилась с Елизаветой Александровной сторицей за то добро, которое видела от нее в прежние годы. С алиментарной дистрофией Елизавета Александровна попала в красковскую больницу и погибала там. Отрывая молоко и картошку от трех своих сыновей, Феня помогла Елизавете Александровне выкарабкаться. Погибая от дистрофии, Елизавета Александровна спасала от бомбежек и голода по-

селившихся в ее доме детей из нескольких дружеских московских семейств. И сохранила всех с Божьей помощью и помощью своего огорода.

Летом 1958 года Елизавета Александровна задумала поселить нас у Фени, в деревне Мотяково, неподалеку от Люберец. Солнечным майским утром, сквозь светлый весенний лес, полянами и опушками, заросшими золотыми купальницами, вывел нас Никита Константинович к Фениной деревне. Никиту Константиновича, а заодно с ним и нас, Феня приняла как дорогих гостей. Мы обо всем договорились, а спустя месяц поселились в Фенином доме — в узеньком, отгороженном от горницы фанерной перегородкой пенальчике, и уютно прожили в нем целое лето. Природа вокруг оказалась чудесная, деревня самая настоящая, отношение доброе, дом славный — с ласточкиными гнездами под голубыми оконными наличниками, а комнатка нарядная, обильно украшенная вышивками — розовыми розами, красными гвоздиками, синими васильками.

В огромном чавкающем хлеву с антрацитово поблескивающими навозными кучами гостеприимные хозяева специально для нашего семейства оборудовали отхожее место — отгородили кусочек хлева и завесили его мешковиной. Это сейчас я поражаюсь контрасту между свежавыкрашенными полами, накрахмаленными занавесками, выбеленной сияющей печкой, запахом родниковой чистоты в доме и черным провальным хлевом. А тем летом хлев казался мне таинственным, пространство его — необъятным, ну а запах навоза нравился с младенчества, со времен летних деревенских обиталищ. Папа тогда еще убедил меня в том, что нет на свете ароматов прекраснее, чем запахи сена и навоза. И я с ним совершенно согласна — сено и навоз в том же ряду, что ландыши и сирень.

Чаще всех приезжал в Малаховку самый близкий Никите Константиновичу человек — Лев Глебович Мищенко, сын того самого Глеба, в чьем доме вырос Никита Константинович и вместе с которым окончил гимназию. Судьба этой семьи поразительна по трагизму даже в контексте прошедшей эпохи.

В 1917 году у супругов Мищенко, Глеба и Валентины, родился сын Лева. Вскоре Глебу пришлось уехать в Березово (то самое, где отбывала ссылку семья Меншикова), а вслед за ним, спасаясь от голода, приехала и семья — жена с крошечным сыном и тетушка, заменившая Валентине мать, а Лева родную бабушку. Глеб с Валею служили в Березовской школе, а еще Глеб, человек широко образованный и сведущий в разных областях знаний, работал по совместительству метеорологом. На их беду с кем-то из сослуживцев не сложились отношения. И когда к Березову приблизилась армия Колчака, Глеб с Валею по доносу оказались среди большой группы заложников.

Никита Константинович рассказывал, будто бы Вале однажды сообщили, что Глеб расстрелян. Сообщение было ложью, издевательской шуткой или способом чего-то от Вали добиться. Но Валя поверила, в отчаянии бросилась на охранника и была им смертельно ранена, а спустя несколько дней, вместе с другими заложниками, погиб Глеб. Бабушка увезла трехлетнего Лева в Москву, к родственникам Глеба — Ольге и Екатерине. Женщины эти при постоянной помощи Никиты

Константиновича вырастили Леву. Я помню сестер старушками — строгую гладко-седую Ольгу Борисовну и тетю Катю в смешных рыжих кудряшках.

Лева стал для Никиты Константиновича сыном и другом, Никита Константинович для Левы — отцом. К началу войны Лева окончил физфак Московского университета и работал по своей специальности, но в первых же числах июля ушел в ополчение, а в октябре, под Вязьмой, попал в окружение и плен. Пройдя бесконечную череду лагерей и совершив несколько побегов, оказался в Бухенвальде, во время очередного переезда снова бежал, очутился в американской зоне, отказался от предложения уехать в Соединенные Штаты, репатриировался, перенес мучительные многомесячные допросы, в награду за все получил десять лет лагерей и срок свой от звонка до звонка отбыл на Печоре. Но выжил, вернулся в Москву и женился на Светлане Ивановой, девушке, которую полюбил еще до войны, в университете. Полтора десятилетия Светлана верно ждала Леву, и вскоре после Левиного возвращения у них родилась Настя, а еще через год Никита, названный так в честь Никиты Константиновича, Левиного дяди Никиты.

Небольшой, лысоватый, очень приветливый человек с лучистыми глазами и чудесной улыбкой, внимательный и общительный, вечно чем-то заинтересованный и воодушевленный — так выглядел Лев Глебович в течение тех лет, что мы с ним встречались в малаховском доме. Повидав на своем веку всякого, определив шкалу истинных ценностей, он считал главным делом жизни воспитание детей.

Лева со Светланой растили детей, жили их интересами, все вместе они ухаживали за старенькими тетушками, при любой возможности приезжали в Малаховку. Лева поровну делил со Светланой заботы о сложном быте, о семье, о воспитании и образовании детей, и это огорчало и сердило Никиту Константиновича. Ему хотелось для Левы другого, хотелось, чтобы он наверстал упущенные годы, реализовал свой талант. Лева азартно и продуктивно работал в центре ядерных исследований, занимался сложнейшими проблемами — чем-то актуальным, связанным с космическими лучами. А вот к головокружительной научной карьере, о которой мечтал для него Никита Константинович, Лева, судя по всему, не стремился, тем более равнодушен был к ее социальному и материальному эквиваленту. Никита Константинович огорчался, укорял Леву. Я слышала однажды, как в ответ на сердитые его упреки, Лева ответил серьезно и вдохновенно: — Дядя Никита, я воспитываю людей!

У Левы было множество друзей, товарищей по несчастью и печорскому лагерю. Дружья жили по всей стране, навещали Леву в Москве, и он привозил их к Никите Константиновичу. Помню приезд ленинградца, печорского Левиного друга Николая Лилеева. А в конце 50-х нашли Леву (а может быть, Лева нашел их) друзья времен немецкого плена. И Лева со Светланой стали ездить в Чехословакию, в ГДР и даже, кажется, во Францию.

Нередко являлось в Малаховку славное сплоченное семейство — Саша Востоков с женой Олей и сыном Сережей. Сашин отец дружил с Никитой Константиновичем с давних времен — то ли с гимназических, то ли с университетских. Ста-

рика Востокова с длинной седой бородой я видела лишь однажды. Но его воспоминания об аресте и тюрьме оказались первыми в длиннейшем ряду прочитанных мною текстов такого рода. Мне, четырнадцатилетнему подростку, Никита Константинович дал эту растрепанную кипу машинописных листов с некоторым сомнением. Я прочла их, не отрываясь, и потрясена была бесконечно. Но сейчас помню один—единственный факт — некоторое время Востоков находился в одной камере с Львом Гумилевым. Хотелось бы перечитать эти мемуары, но, к сожалению, никогда и нигде (в том числе и в Интернете) они мне больше не попадались. А сын Востокова, Саша, был из тех самых детей, что в войну спасались в Безымянном тупике от голода и авианалетов.

Елизавета Александровна очень любила Олю Востокову и очень ее жалела. Подростком Оля оказалась в оккупации (в начале июня ее отправили на каникулы к белорусским родственникам), тяжело работала, мерзла, голодала и в Москву вернулась с болезнью сердца. Молодая, красивая строгой классической красотой, Оля кротко болела, годами мигрировала по больницам и умерла через год после Елизаветы Александровны, едва пережив свое сорокалетие.

Саша Востоков полюбил Олю, явившись в ее огромную коммунальную квартиру в качестве агитатора. У молодого читателя может возникнуть вопрос — кого и за что нужно было агитировать? Этот сюжет мне близок, я и сама однажды работала агитатором. Году в 55-м или 56-м слякотным вечером поздней осени мы с папой отправились в район Бронных улиц. По линии Союза художников отцу моему поручили обойти квартиры шестизэтажного доходного дома начала века и вручить жильцам приглашения на очередные выборы в Верховный Совет СССР.

Работа оказалась нетрудной. Поднимаясь с этажа на этаж, мы с папой звонили во все разномастные звонки, двери беспрепятственно открывались, и в каждой квартире нас встречала небольшая толпа жильцов. Встречала приветливо, не сердясь на то, что мы наследили мокрыми башмаками. Доброта жильцов объяснялась просто. Каждый из них (прежде или ныне) работал агитатором в другом московском доме. Кроме того, сердца смягчало явление агитатора—ребенка. Всюду мы с папой устраивали подобие переклички и ставили чернильным карандашом галочки в длинном замурзанном списке, путешествовавшем во внутреннем кармане папиного пальто. И всем жильцам без исключения вручали нарядные приглашения — красно—оранжевые, со знаменами и гербами. А напоследок папа проникновенно просил сограждан прийти на избирательный участок пораньше, проголосовать за блок коммунистов и беспартийных с утра, а не после обеда.

Вот в таких примерно обстоятельствах и произошла встреча Оли и Саши Востоковых. И хоть жизнь их сложилась нелегко, а расстаться пришлось рановато, брак получился счастливым и не таким уж коротким. Оля успела вырастить сына и даже женить его на иностранной девушке, однокласснице, дочери посла дружественной державы, влюбившейся в него без памяти. Не знаю, как сложилась Сережина судьба без матери, но в конце Олиной жизни ей казалось, что сын устроен неплохо.

Приезжала в Малаховку сестра Елизаветы Александровны — Елена. Войдя в дом, Елена Александровна сразу же наполняла его звонкими театральными интонациями. Голосок травести помещался в крупном фигуристом теле. Муж Елены Александровны, Георгий Абрамович (домашнее имя Жоржик), элегантный господин в стиле ретро, служил в издательстве «Наука». Сам он являлся редко, но регулярно присылал Никите Константиновичу пачки номеров газеты «Unita», печатного органа итальянской коммунистической партии. В те времена желающие читать иностранную прессу удовлетворяли эту потребность с помощью газет коммунистической ориентации. И Никита Константинович выучил итальянский язык, выучил только для того, чтобы читать интереснейшие судебные хроники, повествовавшие из номера в номер о ходе расследования заковыристых итальянских преступлений.

Длились расследования месяцами, комментировались скрупулезно, с мельчайшими подробностями и фотографиями. Приезжая в Малаховку, мы требовали итальянских криминальных новостей, ждали продолжения уже известных историй. И Никита Константинович подробно и обстоятельно вводил нас в курс дела. Это было в тысячу раз интереснее, чем пересказ фильма или книги. Речь шла о событиях реальных, происходящих сегодня, сейчас, еще не завершившихся, о сюрпризах и неожиданных поворотах. Можно было что-то предположить, о чем-то догадаться, отважиться на прогноз, пожалеть жертву или посочувствовать подозреваемому, который вот сейчас, в эту самую минуту, томится в итальянской тюрьме. Неважно, что газеты попадали в руки Никиты Константиновича с опозданием на пару месяцев. Это расхождение во времени мы не учитывали, нас за нашим непроницаемым занавесом, интересовало все, что там у них происходило.

Рассказы и беседы на самые разные темы происходили за большим квадратным столом во время неторопливых основательных трапез. При желании за малаховским столом можно было обрести неплохую эрудицию, не такую уж поверхностную. Течение каждого разговора прерывалось просьбой Никиты Константиновича подойти к узкому стеллажу у окна и вынуть том Брокгауза и Ефрона для уточнения факта, даты, исторической личности. Открывалась нужная страница и вслух прочитывалась соответствующая статья. Никита Константинович любил точность, не терпел домыслов и невежества.

Малаховский «Брокгауз» прожил прекрасную жизнь. Потертые его тома свидетельствовали о том, что весь свой век он непрерывно трудился. Брокгауза с Ефроном купили на книжном развале в начале 20-х, так что малаховская эпоха стала продолжением какой-то другой, предыдущей жизни, тоже, судя по всему, плодотворной.

Во многих знакомых домах золотой стеной стоят плотные ряды брокгаузовских томиков. Они живут в почете, украшают интерьер, с самой лучшей стороны характеризуют хозяев, но чересчур нарядны, аккуратны и грустноваты из-за нечастой востребованности. Малаховский же трудяга с давно стершейся позолотой и полуоторванными корешками всегда пребывал в замечательной форме. Он прини-

мал в жизни дома активное участие, был одной из центральных его фигур и продолжал пополняться сведениями. На форзацах и полях возникали карандашные пометки, записи, уточнения.

Елена Александровна доставляла в Малаховку итальянские газеты, а вместе с ней приезжала ее тезка и неразлучная подруга Елена Вячеславовна. Сначала с дочкой Ириной, а потом в грустном одиночестве. Елене Вячеславовне, насупленной горбоносой женщине с жесткими седыми кудрями было не до общения. Дочь ее Ирина, девушка, похожая на мальчика-подростка, простудилась в студенческой геологической экспедиции, долго и тяжело болела и оказалась первой, разделившей одиночество Андрея в кладбищенской ограде.

На лето прибывало из Луганска семейство любимого племянника Шурика — жена Люба с дочкой Леночкой. Люба, общительная хлопотливая толстушка-хотушка импонировала Елизавете Александровне хозяйственностью и простотой. В один из приездов в красковском роддоме родился у Любы сынок. Я ассистировала Елене Александровне, когда мы забирали Любу с мальчиком из роддома. Мне поручили нести букет из ста разноцветных роз, присланных из Луганска с проводником поезда счастливым отцом. Букет был значительно тяжелее младенца, и чрезмерный его аромат запомнился лучше, чем новорожденное дитя.

Любин отец, казавшийся меланхоликом, работал мастером на шоколадной фабрике «Красный Октябрь». Тоскливый его облик вызывал недоумение. Что-то казалось неправдой — либо унылая личность не работает на шоколадной фабрике, либо нарочно прикидывается меланхоликом, чтобы окружающие не завидовали его счастью.

Любин брат Валя, мальчик моего возраста, приезжал из Краскова, где семейство шоколадного мастера снимало дачу, и катал меня на раме велосипеда. Общение наше происходило на патетическом уровне. — Отгадай — спрашивала я Валу, — кто самый лучший человек всех времен и народов? — Озадаченный Валя не знал ответа и после недолгих раздумий сдавался. — Ленин! — торжествуя сообщила я правильный ответ. А ведь за малаховским столом безо всякой утайки велись самые откровенные разговоры. Никита Константинович люто ненавидел Ленина еще с того самого съезда РСДРП, на котором тот выскочил как чертик на пружине с картавым своим выкриком: — Есть такая партия!

Не склонный к сквернословию Никита Константинович громогласно называл Ленина проституткой и сифилитиком. Пионерская моя сущность вскипала, я понимала, что обязана сообщить о происходящем в милицию, но твердо знала, что выдавать людей подло. Эту мысль мама строго внушила мне еще в первом классе, категорически запретив ябедничать. Видимо, Елизавета Александровна терзания мои заметила и однажды невзначай побеседовала со мной о «подвиге» Павлика Морозова.

Надо сказать, что происходившую вокруг жизнь Никита Константинович оценивал жестко. Интеллигент в первом поколении, он многое повидал, не страдал комплексом вины перед трудовым народом, не сентиментальничал, не рефлексии-

ровал и трезво оценивал ситуацию, прошлую, настоящую и будущую. За сообщением Никиты Константиновича о том, что тротуары в Москве перестали чистить 26 февраля 1917 года, стояла не только точная дата начала вечной гололедицы. Оценка того, что произошло на его глазах после 17-го года, и прогнозы, простиравшиеся далеко вперед, пугали. Боюсь, что время правоту его подтверждает.

Все, что говорил Никита Константинович, было интересно, информативно и выразительно. И Елизавета Александровна слушала мужа внимательно, но если Никите Константиновичу случалось сделать неправильное ударение, Елизавета Александровна немедленно его поправляла, бесстрастно вторгаясь в любой пламенный монолог. Никита Константинович вскипал, но замечание учитывал.

Если же Никита Константинович находился в желчном настроении, спуску не было никакому, даже самому пустяковому явлению жизни. Однажды он присмотрелся к настенному календарю за 1959 год. Заставка изображала пасторальную сценку: румяный паренек в подпоясанной ремнем сизой школьной тужурке и девочка в коричневом форменном платье, белом фартучке и носочках с каемочкой, с букетами разноцветных осенних листьев, взявшись за руки, с отрешенными улыбками направляются якобы в школу. С отвращением глядя на миленькую картинку, Никита Константинович мрачно предрек: — Всюду секс! Погрязнете в разврате! — Слово «секс» я услышала впервые, но запомнила и его и приговор-прогноз. А теперь думаю: может, и в этом он был прав?

Для Никиты Константиновича и Елизаветы Александровны не существовало неинтересных или второстепенных людей. Это их душевное свойство и кажется мне с тех пор главным признаком интеллигентного человека. С тем же внимательным интересом, с которым беседовал он с любимым своимлевой, вникал Никита Константинович в нудные рассказы Николая Николаевича, инспектора пожарной охраны, приезжавшего в Малаховку с тихой бесцветной женой и прехорошенькой дочкой Валей.

Собственно говоря, семейство это приезжало не к Никите Константиновичу и Елизавете Александровне. Формально оно навещало родственницу свою, тачинственную старуху Ольгу Николаевну, двоюродную тетю Никиты Константиновича, летом жившую в мансарде, а зимой в одной из комнат первого этажа. Ольгу Николаевну окружал недобрый ореол. Елизавете Александровне она причинила когда-то какое-то большое зло. Об этом не говорилось, но если в доме был кто-нибудь, кто мог заменить Елизавету Александровну и отнести Ольге Николаевне еду, этот кто-то ее и относил. Елизавета Александровна красиво сервировала поднос и отправляла Ольге Николаевне с посыльным лучшие кусочки — образцы всего самого вкусного из того, что было на столе. Если под рукой была я, то меня и командировали к Ольге Николаевне. Нет, обид Елизавета Александровна не прощала, но была человеком великодушным, приютила неприятную старуху, старую, одинокую и больную и долгие годы ухаживала за ней.

С подносом в руках я поднималась по лестнице вдоль полок, забитых перевязанными бечевками кипами приложений к «Ниве», ветхими книгами и брошю-

рами на самые неожиданные темы. Встречались здесь руководства по изготовлению щеток из свиной щетины, по варке мыла и сапожной ваксы в домашних условиях. Никита Константинович твердо знал, что человек может овладеть любым ремеслом и решить любые практические задачи, если жизнь потребует. А жизнь заставляла его и мыло варить, и сапожную ваксу, вынуждала осваивать, изобретать, сооружать.

Поднявшись по лестнице, я выходила на открытую террасу. Здесь, под скатом крыши, на узких лежаках, Никита Константинович и Елизавета Александровна спали с ранней весны до поздней осени, до тех пор, пока хватало сил подниматься на второй этаж. Сон на воздухе шел на пользу больному сердцу Елизаветы Александровны.

Через террасу, сквозь наполненную светом и прозрачными остовами старой мебели светлую комнату проходила в следующую, сумрачную, в серебристо-зеленоватых отблесках осиновых крон. У балконной двери, выходявшей в вечно затененную часть сада, слившись воедино с древним креслом, сидела укрытая пледом серая старушка в надвинутой по самые брови вязаной шапочке, персонаж из сказки братьев Grimm. Старушка встречала меня приветливо, но дистанции нарушать не хотелось, потому что виделась она мне злой колдуньей, ослабевшей с возрастом, поистратившей злые чары, но кое-какой порох в пороховницах своих сохранившей.

В лучших сказочных традициях старушку окружали десятки кошек, разномастных и разновозрастных. Кошки никогда не порывались вторгнуться в жилое пространство остального малаховского дома. Они словно соблюдали договоренность, и в комнату Ольги Николаевны взбирались по столбам, подпиравшим давно уже не существовавший балкон, от которого остались только две-три хлипких дощечки да дверь.

Елизавета Александровна, любившая точность, изредка пересчитывала направлявшихся на обед котов и кошек. То их было восемнадцать, то двадцать четыре. То есть в доме шла еще одна жизнь, сепаратная, параллельная основной. Ее поддерживали, но с нею не пересекались. Соседи по Безымянному тупику, зная о кошачьем изобилии, оставляли у калитки газетные свертки со съестными остатками.

На обратном пути я подробно исследовала мансарду, медленно обходила ее по периметру. Усаживалась на диван с торчащими колючими пружинами, сдувала легкую пыль с трехстворчатого зеркала старинного трюмо и отражалась в нем во множестве ракурсов. Выдвигала из орехового комода тяжелый ящик с бельем и вынимала фарфоровую куклу с каштановыми волосами. Разбуженная красавица, воплощенная мечта любой девочки, открывала золотистые глаза с загнутыми ресницами, и мы с нею подолгу смотрели друг на друга. Взрослой тетенькой я обнаружила драгоценную куклу в сарае, в ящике с опилками, и испытала настоящий шок. В опилки ее забросила маленькая дочка пожилого Юрия, младшего брата Елизаветы Александровны, еще не доросшая до этой волшебной красоты.

Продолжая обход мансарды, я устраивалась в маленьком полукруглом креслице и внимательно осматривала столик для рукоделия с множеством выдвигающихся ящичков и открывающихся крышечек, выглядывала из всех окон и озираала сад, представавший сверху в диких ракурсах. Девичий виноград давно уже дотянулся сюда, проник внутрь, и одно из окон по этой причине плотно не закрывалось. Проникшую внутрь виноградную лозу не отрезали, а соорудили для нее в оконной раме вход–желобок, чтобы лоза без помех обвивала дом не только снаружи, но и изнутри. В этом доме с уважением относились к людям, к животным и к растениям. Время в мансарде казалось замершим, и ощущение это подтверждали часы фирмы «Павел Буре» в широкой деревянной раме. Часы остановились давным–давно, в неведомом году, то ли днем, то ли ночью.

Ну и конечно же здесь жили собаки. В те годы, когда нашей семье чудесным образом открылся малаховский дом, в нем (а точнее при нем) жили два пса — Турок (с ударением на втором слоге, хоть и получил имя за смуглоту) и Нырок. У каждого было по теплой просторной конуре, их вкусно кормили, а они исполняли свои обязанности, сторожили дом. Собачек любили, о них заботились, но сантиментов не разводили. Турок жил на террасе и ревностно охранял главный вход. Он относился к своим обязанностям со всей серьезностью, пропускал только самых близких, остальным приходилось обходить дом вокруг и пользоваться черным ходом. При жизни Турка я ни разу не решилась пройти через террасу. Папа попробовал было установить с ним доверительные отношения и, казалось бы, преуспел, но был укушен.

Задний же, «черный» вход в дом охранял добрейший Нырок, мохнатый черно–белый метис лайки. Когда–то Андрей спас Нырка, барахтавшегося в воде возле причала, к которому пришвартовался буксирчик Андрея. Щенку дали соответствующее случаю имя, и долго еще после гибели своего спасителя Нырок жил в Малаховке. После Турка и Нырка жили при доме и другие собаки. Самой последней, чудесной рыжей Лиске, единственной из всех, разрешили жить в доме. Небольшая, пушистая, ласковая, она скрасила Елизавете Александровне последние годы жизни. Елизавета Александровна лежала в кровати или полулежала в старом плетеном кресле–качалке, а Лиску держала за поводок.

Приютила Елизавета Александровна и младшую сестру, одинокую Надежду. Существовала некогда еще одна, самая младшая, самая красивая сестра, пропавшая в лагере. Отказалась сойтись с лагерным начальником и погибла юной, девятнадцатилетней. А Надежда прожила в Малаховке до своего конца, пережила и Елизавету Александровну и Никиту Константиновича. При жизни Андрея Надежде приходилось скитаться, жить на птичьих правах у чужих людей в городе Данкове, откуда происходила семья Барыковых. Андрей с детства не выносил Надежду и не терпел ее присутствия в доме. А после его гибели она навсегда поселилась в Малаховке.

Главным в жизни Надежды была Церковь, Храм в Вешняках. Не знаю, называть ли Надежду чудаковой или все же блаженной? Но жилось с ней трудно. Спасала окружающих Надеждина глуховатость, иначе не было бы от нее спасенья.

Глухота же создавала барьер, защищала отчасти от постоянного назойливого вторжения. Особенно доставалось детям, которых Надежда круглосуточно преследовала поучениями и придирадками. Но зато как вольно дышалось всем, когда она уезжала в свой Данков. К сожалению, это случалось редко, так что передохнуть удавалось только во время церковных ее отлучек. Подрастая, Надежду воспринимали уже иначе. Человек «не от мира сего», наивная, житейски беспомощная, обладавшая несчастной способностью доводить окружающих до «белого каления», Надежда не смогла бы прожить одна, без взрослых.

Церковь наполняла жизнь Надежды смыслом и содержанием. А выглядела она сиротски — всегда в чем-то бесформенном, стоптанном и бесцветном, в сползающем с седой растрепанной головы вылинявшем платке. Попытки сестер чуть-чуть приодеть ее Надежда отвергала, а облик свой, пожалуй что, и культивировала. И за стол никогда не садилась вместе со всеми, клевала что-то в кухне в полном одиночестве, улыбаясь блаженно и приговаривая себе под нос. Молилась наверное, но несомненно, что была в этом доля лицедейства, вошедшего в жизнь Надежды так давно и так органично, что стало ее сутью.

Абсолютными авторитетами были сестра Елена и брат Юрий. Надежда их почитала и слушалась. А Елизавету Александровну, с которой жила постоянно, доводила до бешенства и делала это изобретательно, со вкусом, в кратчайшие сроки добиваясь желаемого результата. С трудом выдерживая Надежду, но жалея ее, Елизавета Александровна владела ситуацией до тех пор, пока была на ногах. А когда слегла, оказалась во власти сестры, заботившейся и о ней и об ослепшем Никите Константиновиче, но от души демонстрировавшей свой специфический нрав.

Уже не вставая с постели, Елизавета Александровна пыталась руководить домом, бразды правления из рук не выпускала. И однажды я столкнулась с Надеждой, когда она, в очередной раз взбесив Елизавету Александровну, выходила из ее комнаты с умильной, прямо-таки пасхальной улыбкой на устах, удовлетворенно приговаривая: — Вот и хорошо, кричи, пожалуйста, ругайся, злись, мне же лучше. Я тебя прощу, и мне зачтется. — И это вовсе не было иезуитством. Надежда была уверена в том, что прощение само по себе есть богоугодное дело.

Жила Надежда в малюсенькой комнатухе, отделенной от большой комнаты одной только занавеской. Однажды, когда Надежда уезжала в Данков и мы встречали в Малаховке Новый год, я спала на ее высокой никелированной кровати и запомнила особую атмосферу этой кельи. Главным в Надеждиной комнате был киот. В киоте иконы большие и маленькие, образки, лампадка, пасхальные яйца. Здесь ощущалось Присутствие. Пламенная пионерка и заядлая атеистка, я его ощутила. Кровать и киот, а оставшееся пространство до самого потолка загромождали реликтовые предметы, перечислить и описать которые я не берусь. В памяти сохранился образ конгломерата, состоявшего из ламп, чернильниц, сахарниц и сухарниц — останков родительского имущества, перевезенного из города Данкова.

Остановившееся мгновение детства, его осколок: зимняя ночь, полоска света из-под ситцевой занавески, красноватое мерцание лампы, золотое —

киота, их искаженные отражения в никелированных шарах, увенчивающих спинку высокой Надеждиной кровати. Мама с папой и Елизавета Александровна с Никитой Константиновичем пьют чай в большой комнате, а я стараюсь не спать, прислушиваюсь к взрослым их разговорам. И утренняя морозная прогулка в Красково в первый день нового года.

После смерти Елизаветы Александровны Надеждина вредность куда-то испарилась, а чудаковатость сошла на нет. Девять лет она преданно и нежно ухаживала за Никитой Константиновичем, которого в предыдущей жизни побаивалась, называла дядей Никитой, хотя и поддразнивала по-детски, «доводила». Никита Константинович оценил Надежду, и от стойкого раздражения, которое она вызывала у него прежде, не осталось и следа. А для того, чтобы после смерти Никиты Константиновича Надежда не осталась бездомной, оформили брак. Ввиду глубокой старости жениха сотрудники ЗАГСа прибыли в Безымянный тупик. После бракосочетания Надежда почувствовала себя женой и всамделишной хозяйкой. Она так и говорила: — Мой муж дядя Никита.

Удивительно, какими ценными и нужными для души стали со временем воспоминания о самых мелких, пустяковых эпизодах малаховской жизни. Знать бы заранее, запасла бы побольше, впрок.

Торжественные походы на рынок. В элегантно, туго перетянутаю поясом черном плаще на желтой репсовой подкладке, который мы вместе купили однажды в магазине «Женская одежда» на Пречистенке, в головной повязке, выглядевшей диковинно, но убедительно, крупная, седая, с прекрасной осанкой, расхаживала Елизавета Александровна по рынку не барыней, но истинной хозяйкой. Строго спрашивала о ценах, проверяла качество, со знанием дела и местной топографии выясняла, из какой деревни продавец, уверенно торговалась, никогда не соглашась на первоначальную цену.

Не допуская и намека на фамильярность, не нарушая дистанции ни на йоту, Елизавета Александровна отчитывала продавцов, если было за что, сурово, но справедливо оценивала товар и вела себя исключительно авторитетно. Продавцы охотно исполняли назначенные им роли, вовремя и к месту подавали реплики, чувствовалось, что спектакль этот им по душе.

Я тенью бродила следом с корзиной для покупок и сгорала от смущения из-за недемократичности Елизаветы Александровны. А если она непререкаемым тоном назначала свою цену, вообще хотела провалиться сквозь землю, такой чудовищный комплекс вины одолевал меня лицом к лицу с колхозным крестьянством. Елизавета же Александровна из всех рыночных баталий выходила не просто победительницей, но напутствуемая одобрительными репликами, уважительными поклонами и приглашениями приходить снова. Всегда со щитом, в ореоле славы.

Хозяйством Елизавета Александровна не занималась, она его вела, без занудства и клинической борьбы за чистоту. Пыль в доме не вытирали — мне кажется, ее просто не было. Пол подметали, а иногда, может быть, даже мыли, но не делали из этого культа. Не могу представить, чтобы гостю предложили разуться — это

было бы нонсенсом. Главной заботой Елизаветы Александровны было накормить сытно и вкусно всех, кто в этот момент находился в доме, и тех, кто мог появиться с минуты на минуту.

Приходили и приезжали неожиданно — телефона — то не было. Кто — то предвещал приезд почтовой открыткой, доходившей из Москвы в Малаховку быстро, дня за два. В любом случае еды всегда хватало на всех. Как это удавалось — тайна. Жили ведь на две пенсии, получали по сто двадцать рублей (максимальная по тем временам пенсия для обычных людей). Правда, никуда не ездили, не покупали одежды, мебели, утвари, техники. Единственной солидной покупкой за все те годы, что я обитала в Малаховке, был тот самый черный плащ с желтым подбоем, не считая копеечных отрезков штапеля на платья и фланели на халаты. Никите же Константиновичу в день рождения дарились уютные байковые ковбойки польского производства, которые он и носил с удовольствием круглый год. Так что непростая задача плотно и вкусно кормить изо дня в день десятки людей решалась успешно.

В течение дня садились за стол трижды. Трапезы устраивались основательные и вкусные. Когда мне (во взрослом уже состоянии) доверяли делать покупки, я получала точные указания, что, где, какого качества и в каком количестве нужно купить. И из простых этих продуктов готовился чудный малаховский обед. Кроме первого, второго и третьего непременно подавались салаты и закуски. Из картошки, моркови, кислой капусты и растительного масла изготавливались изумительные блюда. Годами муж упрекает меня за то, что я не в силах реконструировать эти простые кушанья, что нет в моих салатах, по якобы малаховским рецептам, малаховского обаяния. Банальная докторская колбаса по два двадцать и простецкая селедка из бочки превращались на малаховском столе в деликатесы. Сырники считались пирожными и получались еще вкуснее. Еды хватало с избытком на протяженные, насыщенные беседами и рассказами, обеды и ужины. Завтраки проходили в ином темпе, быстро и деловито. Традиционная сервировка стола способствовала ощущению основательности и изобилия, об ее упрощении или отступлении от однажды заведенного порядка не могло быть и речи. Тарелки разных размеров, столовое серебро, салфетки — только так и никак иначе.

В крошечной кухне существовала своя эстетика — у каждой кастрюльки свое место на полке, у каждого ковшика свой гвоздик, каждый нож вставлялся в свою щель между бревен нештукатуренной стены и там упруго подрагивал. Некоторые ножи от многолетнего служения так истончились, стали такими гибкими, что превратились в тонко позванивающие серебряные музыкальные инструменты. А разделочные доски разных размеров и форм от долгого употребления обрели цвет, фактуру и качество изделий из драгоценных древесных пород.

Так сложились долгие биографии кухонных этих предметов и столько всего они повидали на своем веку, что завоевали свои собственные неотъемлемые права. Положить капустный салат в ту мисочку, что привыкла к картофельному, или нарезать овощи на дощечке, предназначенной для обваливания сырников в сухарях, было бы бестактностью, а может даже и хамством.

Тарелки разных диаметров, вилки–ложки и прочие фарфоры–фаянсы жили в резном буфете, многоэтажном сооружении в затейливом псевдорусском стиле, втиснутом в тесный темноватый коридор. Предметы легко находились на ощупь, так стабильно располагались в буфетных недрах эти группы и пирамиды. Гармония царила в малаховском буфете, в малаховской кухне и на малаховском обеденном столе.

Отдельные предметы заслужили право и честь никогда стола не покидать. Узкая стеклянная вазочка с вечно обновляющимся букетом, стоявшая точно посередине стола. Вместительная сахарница толстого розового стекла, всегда доверху наполненная рафинадом. Белые сахарные кубики мерцали в розовом стекле, драгоценно посверкивали гранями и казались самоцветами. Громоздилась на столе горка разнокалиберных чайных чашек, самых любимых, самых заслуженных, с трещинками и щербинками. Поблескивали в стакане серебряные ложечки, тоненькие, похудевшие за долгую жизнь, «съеденные» семейными поколениями.

За обеденный стол усаживалось столько народу, сколько оказывалось в этот момент в доме. Если же места не хватало, детей устраивали за письменным столом возле итальянского окна. Доминировала на его дубовой столешнице большая бело–розовая раковина, хранительница мелочей. Скучных бытовых разговоров за малаховским столом не велось. Не бывало здесь сетований на дороговизну, на отсутствие денег, на жизненные трудности. Все жили тяжело, но в те давние времена среди людей этого круга не принято было жаловаться на жизнь.

Крохотный кусочек малаховской кухни выгородили под умывальную комнату с дачным жестяным умывальником, но с мраморной раковиной. На пространстве не более одного квадратного метра умещалось немало чудес. Какую дивную ретроспективу представлял собою один только длинный ржавый гвоздь с сотнями нанизанных на него бритвенных лезвий — свидетелями всех советских эпох. Выбрав в очередной раз щеки и подбородок (Никита Константинович носил усы), он нанизывал лезвие на гвоздь, не подозревая о том, что пополняет уникальную коллекцию. Если существовали в те времена коллекционеры бритвенных лезвий, то сердца их затрепетали бы при виде этого ржавого гвоздя, униженного насмерть спрессованными лезвиями.

Все, что висело на стенах дома, стояло и лежало на полках и стеллажах в коридоре, на лестнице и на террасе, каждая вещица из всего этого множества была одушевлена и подразумевала собственную историю. Ничто не выбрасывалось, потому что все могло пригодиться, пойти в дело. Никита Константинович мыслил остро, конструктивно, придумывал неожиданные, небанальные решения. Дом и сад переполняли его ноу–хау, а сам он вечно был поглощен и воодушевлен осуществлением очередной идеи. Задумал как–то вырастить в саду дальневосточное растение актинидию. Дело было в конце 50–х, эпоха бурных садово–огородных новаций еще не настала, широко распространенное ныне, тогда это растение в Подмоскovie встречалось редко. Добыли отросток, и начался многолетний эксперимент. Этапы жизни актинидии вызывали живейший интерес у всех друзей и род-

стенников. Никита Константинович подробно докладывал о приключениях растения и трудностях его роста, история эта длилась годами. Не помню, дождалась ли урожая, но актинидия прижилась, ее толстенькая тугая лиана обвивала ствол старой вишни, листьев становилось все больше, что-то даже цвело.

А вот малаховский огород всегда функционировал продуктивно и спланирован был красиво. Морковные, укропные, петрушечные грядки окаймляли его зеленым кружевом, картофельные кусты дружно цвели желто-сиреневыми цветами, на горках компоста среди лиан, листьев и цветов рождались потомства кабачков и роскошных полосатых тыкв. Помидоры встречались красные и желтые, круглые и длинненькие — «дамские пальчики». А в огромном малиннике без устали плодоносили кусты не только малиновой, но и желтой малины с крупными сладкими ягодами.

Ничего не консервировали и не солили, больших запасов на зиму не делали, не удавалось — очень много было летних едоков. Но летний стол был еще щедрее и наряднее, чем в иные времена года. Гости охотно предлагали помощь, ее принимали как само собой разумеющуюся, и все с энтузиазмом выполняли полученные задания. Вскопать огород, окучить картошку, прополоть грядки, обработать вредителей с куста крыжовника, набрать малины к столу или подготовить ее кусты к зиме — на каждое из этих дел находились добровольцы. Садово-огородные работы роднили с малаховским миром. Когда впервые мы приехали в Малаховку вместе с будущим моим мужем, то сразу же отправились в огород копать грядки, и через полтора часа Женя чувствовал себя своим человеком в доме.

Летом хозяйственные и садово-огородные заботы не выпускали Никиту Константиновича из дома. Только однажды отправились мы с ним на лесопилку за опилками для хозяйственных нужд, и целый день азартно возили в тачке пушистые золотые охапки. А вот осенью появлялось свободное время. И 28 сентября, в день рождения Никиты Константиновича (а еще через две недели — Елизаветы Александровны) мы втроем (Никита Константинович, папа и я) отправлялись на прогулку.

Прошедшее лето куда-то кануло, а будущее — то ли будет, то ли нет, сегодняшняя реальность — беспросветный многомесячный школьный марафон. И вдруг — снова простор, горизонты, настоящая живая жизнь. Никита Константинович выбирал замечательные маршруты. И в голову не приходило, что совсем рядом, в недалеких малаховских окрестностях столько воли, такие пустынные поля, такой сосновый бор. Наслаждаешься воздухом, далью, ходьбой, рассказами, разговорами.

Однажды отправились в заброшенный карьер, и среди геологических напластований и окаменелостей Никита Константинович прочел увлекательную лекцию о планете Земля и ее недрах. А какой захватывающий, упоительно долгий и обстоятельный рассказ о блистательном лорде Роджере Меннерсе Ретленде, уступившем славу гениального драматурга одному своему знакомому, выслушали мы однажды на одной из прогулок. Иногда Никита Константинович вспоминал об экспедициях, которые ему приходилось проводить в разные годы, и рассказывал о них увлекательно, подробно, с научно-популярными отступлениями, описаниями ин-

триг и сочными характеристиками людей, фигурантов этих почти детективных историй. Классическое гимназическое образование, филологическое университетское, отменно тренированная память, богатейший жизненный опыт создали неисчерпаемый и нестареющий интеллект Никиты Константиновича. А ведь он был не книжным червем, но практиком, умельцем, освоившим множество видов разного рода мастерства.

С прогулки возвращались замерзшие, с проветренными мозгами, обветренными лицами, с волчьим аппетитом. Предвкушали трапезу, не простую, а именниную. В теплом доме обнаруживали новых гостей, усаживались за стол и снова погружались в разговоры и рассказы. Уезжали поздно, в черной бесснежной осенней мгле. За калиткой, до самого поворота к станции, все оглядывались на окна, за которыми оставались в одиночестве близкие люди, давали себе обещание приехать в следующее же воскресенье. Увы, удавалось это редко. И приходило коротенькое письмецо или почтовая открытка с беспокойными вопросами: все ли в порядке, здоровы ли, когда приедем? И с обратным адресом — Безымянный тупик, 4.

Никогда уже не придется переступить порог малаховского дома. Но можно сделать это мысленно и тогда уж сколько угодно бродить по комнатам, трогать живущие в доме предметы, впитывать запахи и прислушиваться к звукам. Светлая угловая комната — и столовая, и гостиная, и спальня Никиты Константиновича, и его кабинет. Никогда ничем не занавешенное сдвоенное итальянское окно сквозь кусты белой сирени смотрит в сторону калитки и Безымянного тупика. Двумя другими окнами комната повернута к кусту жасмина посреди круглой клумбы, к маленькой столярной мастерской, к той части сада, что всегда в тени. Комната нарядная и приветливая. Квадратный обеденный стол, не пустынный, а обитаемый, обжитой множеством уютных предметов, уже упоминался. О письменном столе с морской раковинной, об узком высоком стеллаже с Брокгаузом и Ефроном речь тоже шла. Есть еще туалетный столик с нагромождением нужных и ненужных, десятилетиями не востребованных вещиц, со вставшим на дыбы и многократно отраженным в трехстворчатом зеркале фарфоровым конем без одного копытца. Зеркало множит все, что населяет комнату, все предметы и предметики, всех гостей и хозяев.

Вся стена над кроватью Никиты Константиновича, от окна и до печки, завешена картинами, подаренными в разные годы папой. И моим детским рисункам тоже нашлось на ней место. Один из папиных этюдов — вечеряющий пасмурный московский переулочек, почти гризайль, повешен в противоположном углу комнаты, таким образом, чтобы, засыпая и просыпаясь, Никита Константинович мог рассматривать его и обнаруживать в силуэте свесившегося из-за забора дерева сходство с чьим-нибудь профилем или с каким-то животным.

Над туалетным столиком и коротким выцветшим диванчиком замысловатой формы (козеткой), часы в дубовом футляре (те самые, что каждые полчаса отбивают малаховское время), пара фарфоровых тарелок со смутными датскими пейзажами, резной шкафчик из хотьковских мастерских и бронзовый барометр. У барометра особый статус, к нему постоянно апеллируют, в него всматриваются,

легонько постукивают ногтем по стеклу, наблюдают за стрелкой, строят планы или меняют их в соответствии с ее поведением. Барометр не предмет, он — существо.

Комната Андрея, ставшая после его гибели комнатой Елизаветы Александровны, выглядит иначе. Дикий виноград так густо обвивает окно снаружи, а плющ — изнутри, что оно пропускает совсем мало света, да и тот зеленоватый. В комнате вечный полумрак. Овальный стол у окна, над столом матовый стеклянный абажур с подъемным механизмом и полуосыпавшейся зеленой бисерной бахромой. На стене в узких рамках два шелковых черно-белых гобелена со спасающимися от летнего дождя полуобнаженными девушками, юношами и овечками. На громоздком шкафу охапки засохших цветов в вазах матового стекла, букеты, хранящие воспоминания о давнем лете, о многих летах, о множестве лет, об их красках и запахах. Комната мерцающая, зеленоватая, похожая на аквариум. Не сумрачная, но задумчивая. За окном сад, зеленый — летом, белый — зимой.

И еще одна комната, вечно мимикрирующая. То это обиталище серой старушки в шапочке, до поры до времени переселявшейся на зиму из мансарды, то комната с гигантской ванной-монстром доисторических размеров и очертаний. И я жила в ней во время летних каникул. Здесь, в этих стенах, впервые ощутила чудо отдельного жилья. Комната казалась удивительно комфортабельной, хотя в те времена оборудована была двумя предметами — матрасом на ножках и венским стулом. А вместо стола — широким подоконником. Главное, существовала лампочка в изголовье, и совершенно беспрепятственно можно было читать все что хочешь хоть всю ночь напролет.

Чуть не забыла еще одну комнатенку — летнюю каморку под лестницей, ведущей в мансарду. На топчане, на столе, на полу корзины, ведра, коробки — укрытый мохнатой пыльной пеленой и от этого монохромный давний хлам. Заброшенная, одичавшая, но такая уютная, такая соблазнительная комнатка! Не стоило и мечтать о том, чтобы пожить в ней на отшибе. Елизавета Александровна отчего-то не разрешала заходить в эту комнатку, запертую на хлипкий проволочный крючок.

В последний при ее жизни приезд Елизавета Александровна поручила нам с Женей собрать урожай яблок с единственной старой антоновки, крючковато нависавшей над террасой. Мы сложили полновесные яблоки (каждое как желтая планета) в плетеную корзину и принесли Елизавете Александровне полюбоваться, вдохнуть антоновский аромат. И так огромен оказался контраст между холодными сияющими плодами, нашим азартом, бодрой осенней погодой и лежавшей в сумеречной комнате печальной Елизаветой Александровной, что антоновские яблоки, вид их и запах, теперь уж навечно связаны с нашей последней встречей.

В тот же день Елизавета Александровна вспомнила эпизод из своей юности, о которой, так же как и о детстве, никогда не рассказывала прежде. Вспомнила, как целый год семья жила в Пятигорске — сопровождала работавшего там по контракту отца. Как сидели все вместе на лужайке перед домом, за столом, покрытым вышитой льняной скатертью, пили чай из самовара с замечательными мамиными пирогами. Проходивший мимо незнакомый господин подсел к столу, попро-

сил чаю и пирога. Мама налила чай в стакан с подстаканником, подала кусок пирога. Господин с удовольствием выпил чаю, похвалил пирог, попросил еще кусок и достал из кармана портмоне. Оказалось, что он принял маму Елизаветы Александровны за хозяйку чайного заведения, а пьющую чай семью за компанию посетителей. Наутро в благодарность за приветливый прием человек этот прислал Барыковым удивительный букет — огромный, состоявший из множества разных цветов, выстроенный посредством каких-то креплений наподобие сложного архитектурного сооружения. Елизавета Александровна описала устройство букета, подробно перечислила все цветы, его составлявшие. Получив такой необыкновенный, сложно сконструированный гигантский букет, следовало его разобрать и разделить на части, в результате чего из одного букета получалось множество. Елизавета Александровна так и поступила и украсила дом букетами — большими, средними и маленькими. А в следующий раз точно такой же букет получила Елизавета Александровна осенью, в октябре, ко дню своего рождения, от молодого, славного, больного туберкулезом человека, с которым однажды познакомилась в пятигорском парке.

В позднейшие, уже постмалаховские времена приснилось мне несколько не простых, не случайных, щемяще грустных снов о доме и о саде. Сад во снах был так ужасающе пуст, как не бывает в жизни, огород перепахан, дом заполнен чужими, нелепо расставленными вещами и неприкаянно слоняющимися чужими людьми. Сны эти не забылись, не растаяли в яви, так же как и другие, внятные, подробные, совсем как в жизни, в которых являлись мне Никита Константинович и Елизавета Александровна. Тревожные, будоражащие душу сны, изредка утешающие, но чаще, гораздо чаще, укоряющие.



В обратной
перспективе



На затоптанном паркетном полу опустевшей комнаты с эркером среди разного грустного хлама обнаружилась потерянная фотография, наклеенная на пожелтевший кусок картона. На фото компания уважаемых европейцев, расположившихся в обществе сфинкса на фоне египетской пирамиды. Публика в первом ряду оседлала ослов, всадники и всадницы второго ряда предпочли верблюдов. Дамы в шляпах, повязанных газовыми шарфами, мужчины в английских кепи. Мрачно-непроходимые аборигены-погонщики в экзотических белых одеяниях. Среди путешественников два подростка и одна пожилая дама. Фото вечернее — тени от сфинкса и путешественников длинные, всадники и проводники усталые. Бодрее других держится худенькая женщина на верблюжонке (на фотографии вторая слева), строго глядящая в объектив и сохраняющая, несмотря на необычность ситуации, прекрасную осанку. Это Серафима Петровна Кожевникова, урожденная Калмыкова. Фото сделано жаркой египетской зимой 1908 года.

Каждую зиму, оставив пятерых детей в Сивцевом Вражке (дом Тарасовой, квартира 10) на попечение родственников, нянек, гувернанток и гувернеров, Серафима Петровна отправлялась в путешествие. К дальним странствованиям она пристрастилась с девических времен, да и вообще готова была к нестандартным поступкам. К примеру, с детства страдая от зубной боли и боясь зубных врачей, решила эту проблему кардинально — в двадцать пять лет отправилась в Париж, и там за огромные деньги маг-стоматолог удалил Серафиме Петровне все собственные зубы и вместо них вставил фарфоровые, изумительной красоты.

Купеческая семья Серафимы Петровны происходила из города Козлова. Замуж она вышла за земляка, толкового человека Николая Кожевникова. Семья Кожевниковых поселилась в Москве, родились дети — три сына и две дочери. Сначала снимали квартиру, а потом купили в Хлебном переулке доходный дом с просторным двором и флигелем и стали домовладельцами.

Серафима Петровна прожила семьдесят два года и умерла в начале 50-х, но за несколько дней до того, как я подняла с полу старинную египетскую фотографию, то есть почти через сорок лет после своей смерти, она была здесь, в комнате с эркером, рядом со старшей дочерью Маней, Марией Николаевной, удивившей из жизни после долгого, восьмидесятидвухлетнего пребывания в ней.

Случилось так, что в последний земной день Марии Николаевны я оказалась рядом и свидетельствую, что она была в сознании, здраво реагировала на происходящее, ела с ложечки тертое яблоко, хвалила и просила добавки, внятно отвечала на вопросы, мои и Серафимы Петровны. Сама я, увы, Серафиму Петров-

ну не повидала, но ощущала ее присутствие и слышала слова дочери, к ней обращенные. Очевидно, что Серафима Петровна была в этот наиважнейший день возле дочери своей Манечки.

Мелкими движеньями, щепотью, Мария Николаевна снимала с себя что-то лишнее («обиралась», как говорят в народе), готовилась к уходу. И негромко беседовала со своей мамой и давно умершей двоюродной сестрой. В детстве и юности Мария Николаевна нежно дружила с кузиной и неудивительно, что в этот день и она оказалась рядом. В обычной своей манере, так же спокойно и приветливо, как с матерью и сестрой, разговаривала Мария Николаевна и со мной. В комнате было тихо, тепло, умиротворенно.

На книжном стеллаже в изголовье дивана в пластмассовой рамочке всегда висела репродукция из журнала — портрет темноглазой девочки-подростка. Портрет утренний, детское лицо освещено утренним светом. На портрете девочка выглядит по-домашнему, она не причесана, блестящие волосы распущены и перекинуты на грудь. Может быть это дочь художника. Автора этой живописной работы я не знаю, но портрет, судя по репродукции, мастерский. Это, конечно же, XIX век, а художник западной школы. Девочка, по словам Марии Николаевны, поразительно похожа на рано умершую кузину. С детства вглядываясь в изображение, я заметила, что девочка с портрета чутко реагирует на происходящее: сочувствует, жалеет, подбадривает, о чем-то предупреждает. Меняется выражение ее глаз, становится то грустным, то лукавым, улыбка появляется и исчезает. Через несколько дней после ухода Марии Николаевны я забрала эту не имеющую материальной ценности репродукцию в пластмассовой рамочке и теперь девочка живет с нами. А так как Мария Николаевна навсегда вплелась в жизнь нашей семьи, неразрывна с нею, то значит и девочка, похожая на кузину, не рассталась с Марией Николаевной.

С кузиной Мария Николаевна дружила, а вот с родной сестрой Серафимой, названной так в честь матери, с самого детства отношения складывались коряво. Вот Серафима—то и не зашла в комнату Марии Николаевны в последний ее земной день, хотя и жила рядом, в соседней комнате, за стенкой. Не могла простить старшей сестре померещившуюся обиду, последнюю в ряду многих призрачных, давнишних и недавних, бережно вынашиваемых и пестуемых в течение долгой жизни.

Серафиме к этому дню исполнилось восемьдесят пять, но маленькая, худенькая, с живым умом и острым интеллектом, она была удивительно сохранна и бодра. Ослепнув в восемьдесят лет, в кратчайшие сроки изучила азбуку Бройля и победила в конкурсе на быстроту чтения в своей возрастной группе (разумеется, Серафима утаила, сколько человек ее возрастной категории участвовало в конкурсе).

А в тот день, о котором идет речь, она деловито сновала по длиннейшему коммунальному коридору, хозяйничала на кухне, живо общалась с соседями, звонила приятельницам, только вот к нам ни разу не заглянула. Самой Серафиме предстояло прожить еще восемь лет.

Грустно, но над сестрами вечно висело облако обиды, то и дело разбивавшееся на множество мелких обид. Казалось, что Серафима—дочь, внешне точная копия матери, обиделась на мать и сестру еще до своего рождения. Не встречавшаяся с Серафимой—матерью в жизни, по абсолютному сходству с дочерью я сразу же распознала ее на египетской фотографии.

А вот Мария Николаевна оказалась женщиной иного, противоположного типа. Высокая, когда—то худая, почти истощенная, с возрастом ставшая грузной, породистым профилем, носом с горбинкой, светлыми глазами, полуприкрытыми крупными выпуклыми веками, изломом бровей, серебряной сединой — всем своим обликом ассоциировалась она с палаццо, каналами, гондолами, с итальянским Ренессансом. Трудно сказать, возникли эти параллели в моем сознании сами по себе или уже после того, как я узнала о навязчивых подозрениях Серафимы по поводу истинного происхождения старшей сестры.

Осенью 1898 года Серафима Петровна оказалась в Италии. Счастливее всего жилось ей в Венеции, и в этом волшебном городе она задержалась. А через семь месяцев после возвращения домой у Серафимы Петровны родилась дочь Манечка. Недоношенная девочка явилась на свет слабенькой, и ее сразу же упаковали в пуховые оренбургские платки. Выхаживая дитя, Серафима Петровна проявила столько заботы и терпения, что воспоминаний об этом периоде жизни хватило на две долгих жизни ее дочерей. А в семье поговаривали, будто бы Симочка привезла Манечку из Венеции.

С неослабевающей обидой, к месту и не к месту, Серафима—дочь вспоминала семейную легенду, хотя сама ничуть не пострадала от чрезмерной порции материнской любви, излитой на сестру. Сама—то Серафима родилась через четыре года после сестры, и всю жизнь язвила ее обида, что не пришлось ей испытать того напора материнской заботы, который достался Мане. А не пришлось потому, что Серафима родилась крепким и жизнеспособным младенцем. Короче говоря, обижалась Серафима Николаевна на мать и сестру за двоих — за себя и отца. Вечное соперничество с сестрой и желание ни в чем не уступать ей вызвало к жизни еще одну легенду: Серафима утверждала, будто ее собственное происхождение восходит к материнской поездке в Англию. И если Марию зачали на Адриатике, то саму ее в туманном Альбионе.

Отчужденность сестер заметна даже на детских фотографиях. Две прелестные девочки, одетые в прехорошенькие платьица с кружевными пелеринами и высокие башмаки на пуговках, среди обвитых гирляндами декораций фотоателье «Ивановъ и Лаврентьевъ» (город Козлов, Московская улица, дом Полянского), не только не похожи друг на друга, но и ничем не связаны. Каждая пребывает в одиночестве, существует в собственном пространстве, сама по себе. И характеры их оказались разными. Неряха Маня одежду свою и игрушки разбрасывала, где и как попало. Сима, антипод сестры, с раннего детства поражала окружающих щепетильной аккуратностью. Если Маня оставляла свое имущество в неподходящем месте, Сима предмет подбирала и не ленилась отнести на чердак. И когда Маня наконец

замечала пропажу платьев, книжек и игрушек, то неизменно обнаруживала свои вещички на чердаке, сложенными Симиными стараниями в аккуратные стопки и кучки. Выводов из назидательных сестринских акций Мария Николаевна так и не сделала и быту уделяла мало внимания. Иные у нее были приоритеты в течение восьмидесяти девяти лет жизни.

О скрупулезной аккуратности Серафимы Николаевны можно складывать легенды. Символ ее — нитяные перчатки, лежавшие в специальной пакетике и существовавшие исключительно для натягивания капроновых чулок. — Я не так богата, чтобы рисковать единственными чулками, — справедливо замечала Серафима. И была права, потому что, натягивая тонкие чулки, немудрено сделать затяжку, а то и дырку. Все мы не так богаты, чтобы рисковать чулками, однако специальных перчаток не было, нет и, судя по всему, не будет ни у кого, кроме Серафимы.

А однажды четырехлетняя Сима совершила удивительную акцию, на языке сегодняшнего дня — перформанс. Обыкновенно в доме Кожевниковых выращивали к Пасхе целое стадо гиацинтов. Луковицы выписывали из Голландии и украшали цветами пасхальный стол и все подоконники. В давний вечер Страстной субботы взрослые ушли в церковь, а оставшаяся без присмотра Симочка оборвала все до единого гиацинтовые колокольчики и тщательнейшим образом, чередуя лиловые с розовыми, выложила из них железную дорогу, протянула ее через анфиладу огромной квартиры. Оценив титанический труд дочери, вернувшиеся с Пасхальной заутрени родители не стали на нее сердиться. Хотя и огорчились.

Комната взрослой Серафимы представляла собой жилище аскета — скучноватое, пресное жилище, по-своему идеальное. Каждый предмет имел определенное раз и навсегда место. Ничего случайного, лишнего, иррационального. Свойство это, кстати говоря, очень помогло Серафиме, когда настигла ее полная слепота.

Местью же Марии Николаевны в ответ на преследовавшие ее всю жизнь обличения Серафимы бывали лишь лукавые рассказы о романических приключениях сестры, скорее комплиментарные, чем компрометирующие. Судя по этим рассказам, долгие годы Серафима запросто очаровывала нравившихся ей мужчин, используя для достижения своей цели неожиданные и творческие приемы.

Действительно ли Манина и Симиная мама была неверна мужу в течение всей их семейной жизни теперь уж не узнать. Но то, что спустя годы сорокалетняя Серафима Петровна, мать пятерых детей, влюбилась в двадцатипятилетнего студента, гувернера своих сыновей, это чистая правда. И не просто влюбилась, но оставила мужа, достойнейшего человека, и более сорока лет прожила счастливо с Владимиром Михайловичем, бывшим студентом и гувернером. Ей даже удалось добиться того, что дети ее, сыновья и дочери, не отвернувшись от отца, полюбили и Владимира Михайловича, обожавшего Серафиму Петровну до последней минуты ее жизни.

До конца дней Владимир Михайлович исповедовал толстовство, а в студенческие годы совершил паломничество в Ясную Поляну. Явившись в дом Толстого, встречен был кем-то из родственников, расспрошен о цели визита и огорошен ка-

тегорическим отказом в аудиенции. И в тот момент, когда Владимир Михайлович уже собирался уйти несолоно хлебавши, вышел Лев Николаевич. Толстой пригласил гостя в кабинет, расспросил о жизни, поинтересовался, какое произведение нравится ему больше остальных. Владимир Михайлович честно признался, что более всего ценит «Круг чтения». Толстой обрадовался, сказал, что и сам думает так же, оставил студента обедать. Целый день провел Владимир Михайлович в семье Толстых. Соединившись с Владимиром Михайловичем, Серафима Петровна тоже стала толстовкой и, само собой, вегетарианкой.

Родственники, подозревавшие молодого гувернера в меркантильности, потерпели фиаско. После октябрьского переворота Серафима Петровна лишилась всей своей значительной собственности, но ни минуты не сетовала ни на жизнь, ни на ход истории, а всего лишь перебралась с просторного шестого этажа собственного дома в его же тесный подвал. Таким образом адрес ее изменился незначительно, но пришлось поменять род занятий. Серафима Петровна, воспитанная в лучших традициях цивилизованных российских семейств, не только получила прекрасное образование, но и много чего умела делать руками. И нашла свою нишу, стала шить солдатские шинели. Соседей по дому раздражали коммерческие успехи бывшей домовладелицы и они вызвали фининспектора. Инспектор явился, спустился в подвал, среди груд солдатских шинелей увидел худенькую седую женщину и задал ожидавшим расправы кляузникам риторический вопрос: — На кого жалуетесь, сволочи?

Революция отняла у Серафимы Петровны двух сыновей, самого младшего — мальчика, гимназиста, расстрелянного без суда и следствия, и старшего — студента, погибшего в Добровольческой армии. Но в навалившейся жути, преодолевая абсурд продолжавшегося существования, мужественная Серафима Петровна продолжала жить бесстрашно и невозмутимо рядом с любимым человеком. А спустя десятилетия, в минуту смерти жены, Владимир Михайлович, по канувшей в веках традиции, остановил настенные часы и никогда больше не заводил их. Вот Владимира Михайловича я застала и смутно помню этого чудаковатого сутуловатого старомодного человека.

В большой и разветвленной семье Марии Николаевны, совсем как в родовитых английских фамилиях, приняты были браки между двоюродными и троюродными сестрами и братьями, между дядьями и племянницами. Маня и Сима тоже вышли замуж за двоюродных братьев. Мужем Марии Николаевны стал Петр Владимирович Калмыков (родной племянник Серафимы Петровны), тоже козловский житель (собственный дом зерноторговцев Калмыковых стоял на Сенной площади города). Мать Петра Владимировича была англичанкой, урожденной Энж, и сам он, высокий сухощавый узколицый человек с церемонными повадками, соответствовал некоему условному образу английского джентльмена.

О свекрови-англичанке Мария Николаевна вспоминала с нежностью и восхищением. И действительно, судьба этой женщины необычна. Мать множества детей, совсем еще молодой женщиной она тяжело заболела и несколько лет прове-

ла в психиатрической клинике. По всем прогнозам именно там и должны были бы закончиться ее дни. Но внезапно скончался муж, отец огромного семейства, и дети остались совсем одни. Навсегда, казалось бы, отгородившейся от жизни женщине сообщили о смерти мужа. И произошло чудо — не произнеся ни слова, она мгновенно встала, собрала вещи, вернулась домой, возглавила семью и до глубокой старости ею руководила. Болезнь проявлялась лишь в одном — руки ее никогда не находились в покое, постоянно двигались. И за обеденным столом, спокойная и деловитая, не останавливаясь ни на секунду, она передвигала предметы.

Марию Николаевну с Петром Владимировичем связывало общее детство и самые нежные отношения сложились между ними еще в ранней юности. Конечно же, в молодости у Марии Николаевны случались увлечения. Но истинной ее страстью стал театр. Мария Николаевна боготворила Вахтангова и занималась в его III студии. Театральная карьера не сложилась, неважно по какой причине. Но артистизмом пронизана вся ее жизнь. И наша семья была среди постоянных зрителей и участников собственного ее театра. Ни разу не слышали мы от Марии Николаевны сетований и жалоб на происки и коварство, разрушившие ее артистическую судьбу. Однако печаль о несостоявшейся жизни в театре существовала. Но грусть эта скрашивалась прелестным юмором и способностью оценивать факты собственной биографии, даже самые драматические, с большой долей иронии.

Самоирония — спасительное, счастливейшее свойство характера, помогала Марии Николаевне выживать в экстремальных условиях. Во времена же вахтанговской студии Мария Николаевна ненадолго забывала о влюбленном в нее Петре Владимировиче и самозабвенно предавалась увлечениям, пусть даже и платоническим. К примеру, роману с красавцем индусом, с которым бешено целовалась на дровяной поленнице во дворе студии в Мансуровском переулке. Знаменитая Вахтанговская студия находилась некогда в доме № 3 по Мансуровскому переулку, а наша семья, с которой Мария Николаевна дружила долгие годы, жила рядом — в доме № 5. Уверена, что десятки лет, едва ли не каждый вечер приходя в наш дом и уходя от нас, Мария Николаевна задумывалась о совпадении жизненных своих маршрутов. Она поступила в студию на ее закате, с Вахтанговым близко не сталкивалась. Тем более удивительна рассказанная ею история. Свидетельствую, что человеком Мария Николаевна была скромным, не склонным к созданию эго-апокрифов.

Во время последнего посещения тяжело больным Вахтанговым своей студии (тогда уже театра), студийцы выстроились в ряд и, понимая трагизм и необратимость происходящего, с особым чувством слушали напутствие Мастера. Но Мария Николаевна не слышала слов Вахтангова, она впала в странное состояние, внутри нее звучала мольба-заклинание: — Господи, сделай так, чтобы ему не страшно было умирать!

А после смерти Евгения Багратионовича кто-то из ближайших учеников, присутствовавших на заключительной его жизненной дистанции, рассказал Марии Николаевне, что незадолго до конца Вахтангов попросил позвать ту девушку, сту-

дийку Кожевникову, которая в тот, последний раз так удивительно на него смотрела. Вахтангову показалось, что девушка эта сможет помочь ему, облегчить страдания. Увы, но Марию Николаевну то ли не нашли, то ли не искали.

Расставшись с театром, разлуки этой так и не пережив, Мария Николаевна вышла замуж за Петра Владимировича Калмыкова, ставшего к этому времени инженером, строителем элеваторов. Отношения между Марией Николаевной и Петром Владимировичем сложились чудесные. Но жили они в России, поэтому приняли участие во всех катаклизмах эпохи.

Теперь уже можно сказать, что Петру Владимировичу здорово повезло. Первый раз его посадили в конце 20-х, в «вегетарианские» времена, когда был еще шанс выжить и даже выйти на относительную свободу. И хоть первый свой срок Петр Владимирович отбывал на Соловках, Мария Николаевна весело, без признаков трагизма рассказывала о своих поездках на багажной полке в компании с двухлетним Алешей на свидания к мужу.

Однажды, когда прибыли на место и осталось только переправиться через озеро, оказалось, что погода штормовая и о переправе не может быть и речи. Но ждать Мария Николаевна не могла, не вернувшись вовремя в Москву, она лишилась бы работы, а ведь нужно же было на что-то жить, растить сына и отвозить мужу передачи. Мария Николаевна умолила старого рыбака, оставила Алешу на чьем-то случайном попечении, в крошечной тьме, в шторм, чудом не погибнув, добралась до острова и повидалась с Петром Владимировичем, отвезла ему передачу. Свидание длилось двадцать минут.

Был и второй посадочный эпизод, во времена жестокие, в конце 30-х, в городе Рыбинске. Петра Владимировича обвинили во вредительстве, учиненном на строительстве самого крупного в Европе элеватора, самим им и спроектированного. Но и эта ситуация рассосалась чудесным образом. В неуправляемом репрессивном потоке, в переполненной тюремной камере Петр Владимирович оказался вместе с начальником своим, проходившим по тому же делу. От общего их следствия обстоятельство это ускользнуло и спасло обоих от верной гибели.

Оказываясь на очередном допросе, Петр Владимирович выслушивал сообщение следователя о том, что против него получены показания начальника. Аналогично поступал следователь и с начальником, сообщая ему о показаниях Петра Владимировича. Вернувшись в камеру, однодельцы сверяли обвинения, вырабатывали стратегию и тактику поведения, и таким образом помогали друг другу противостать злодейской ситуации. Ни тот, ни другой ни одного обвинения ни против себя, ни против кого бы то ни было, так и не подписали. Видимо, до самых страшных зверств в их случае не дошло, оба выдержали допросы, и Петра Владимировича выпустили. Редко, но случались и такие казусы.

А через много лет в семье Калмыковых разразилась иная драма. После тридцати пяти лет идиллического брака Петр Владимирович оставил Марию Николаевну, ушел к другой женщине, к сослуживице, предпринимавшей последние попытки создать семью. Все могло бы окончиться легким испугом, но женщина забе-

ременела, путь назад был отрезан, чистейший человек попал в капкан. Произошла жизненная нелепость, в которой Петр Владимирович оказался заложником своих представлений о чести, о совести, о долге. Обожавший Марию Николаевну и безгранично ей доверявший Петр Владимирович подробно рассказывал о случившемся, пытался советоваться, наивно мечтал о том, как было бы славно, если бы вместе с Манечкой они воспитывали будущего его ребенка.

Не в переносном смысле, а в самом прямом, Мария Николаевна умирала от горя. Базедова болезнь, которой она страдала и раньше, разбушевалась. Болезнь продемонстрировала Марии Николаевне самые страшные и крайние свои формы — судороги, спазмы, нервное расстройство, глаза едва не вываливались из орбит. Драма обратилась трагедией. В ответ на упреки и напоминания Марии Николаевны об эпизодах долгой их жизни, о том, как мучительно она навещала его в ссылке, Петр Владимирович простодушно изумлялся: — А мне казалось, Манечка, что тебе это нравилось.

Последней попыткой изменить ситуацию, вернуть ее на круги своя, стала совместная с моими родителями пароходная поездка по Оке до города Горького и обратно по Волге и каналу имени Москвы. Шлягером того лета была песня: *«Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня, самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня»*. Вот под этот сотни раз в течение дня повторявшийся рефрен и проходила последняя общая неделя жизни Марии Николаевны и Петра Владимировича Калмыковых, неделя, не оправдавшая надежд. На обратном пути, кстати сказать, проплывали мимо того самого злополучного элеватора, из-за которого Петр Владимирович едва не погиб в 30-е.

Поздними вечерами, пешком возвращаясь вместе с мамой моей из института, Мария Николаевна пересказывала сослуживице, другу и преданному человеку содержание очередной, произошедшей накануне душераздирающей сцены. К концу рассказа, начинавшегося на предельном надрыве и полном слез, обе уже до слез хохотали. Артистизм Марии Николаевны, способность увидеть ситуацию со стороны, юмор и категорическое нежелание заточить себя в какой бы то ни было башне поднимали ее на такую высоту, с которой личная трагедия виделась в ином, комическом, а значит и спасительном ракурсе. Короче говоря, Мария Николаевна выжила и выкарабкалась из обрушившегося ужаса, не исковеркав чудесного характера и не повредив своему душевному миру. Калмыковы расстались навсегда, но время от времени Петр Владимирович присылал Марии Николаевне письма с посвященными ей стихами и описаниями снов. Один из сюжетов запомнился — в своем сне бедный Петр Владимирович стоял на солнечной лесной тропинке и грыз собственную голову.

В одиночестве Мария Николаевна прожила тридцать два года, и ни разу никто не слышал упреков, сетований, злых или запальчивых слов по адресу Петра Владимировича. А ведь Мария Николаевна вовсе не была скрытным человеком, не таила неразгаданных и опасных бездн, наоборот, отличалась исключительным, реликтовым простодушием. И поэтому жизненное пространство вокруг одинокой

Марии Николаевны пульсировало, оно было теплым, уютным и густо населенным. В нем обитали и хорошо себя чувствовали разные персонажи — взрослые и дети, близкие и дальние родственники, соседи по квартире и ученики.

Существовала семья сына. Думаю, не бывало на свете свекрови более неприхотливой и спокойно доброжелательной, чем Мария Николаевна. Она уважала право человека на выбор, на свой вкус и стиль жизни, не давала оценок и не пыталась влиять на события. Кротко, с детским любопытством и заинтересованностью наблюдала коловращение жизни. Рассказывая о семейных сюжетах сына и внуков, соблюдала кристальную объективность, ни на что не сетовала и не делала выводов. На вопрос, нравится ли ей невестка, отвечала: — Ее любит Алеша. — Между собою и окружающими Мария Николаевна оставляла спасительный зазор, защищавший от многого из того, что губит человеческие отношения. Попросту говоря, в душу не лезла, до печенки не доставала, мозги не продалбливала.

Точно так же она относилась к соседям по огромной коммунальной квартире. И надо сказать, что коммуналки более пасторальной, чем квартира № 20 мне видеть не приходилось. Но ведь и соседок, настроенных так же дружелюбно, как Мария Николаевна, не сыщешь. А поскольку Мария Николаевна первой навестила мою маму в родильном доме, то и я с самого рождения навещала эту идиллическую квартиру, хорошо знала ее народонаселение, топографию и живо интересовалась событиями и новостями. Мария Николаевна рассказывала о соседях в той же спокойной эпической манере, что и о многочисленных родственниках.

Вот и я не могу удержаться от краткого очерка, посвященного квартире № 20. В разное время живали в двадцатой квартире разные люди, но не бывало в ней коммунальной фамиллярности. Бытовали уважительные имена—отчества. В первую очередь вспоминается Ариадна Константиновна, потому что ее отец—адмирал владел некогда квартирой № 20, да и сама Ариадна Константиновна прожила в ней до девяноста лет. Белотелая, холеная, отменно причесанная и любезная, целый год Ариадна Константиновна готовилась к очередному дню своего рождения. В ожидании этого события силами домашней портнихи, неспешно, со многими примерками, традиционно шилось платье — новое платье Ариадны, интриговавшее женское население квартиры. До глубокой старости у Ариадны Константиновны были поклонники и она их берегла. Ариаднины ухажеры компенсировали пережитую некогда женскую обиду. Дело в том, что много лет муж Ариадны Константиновны, выходя по ночам по малой нужде, перед возвращением к спящей жене умудрялся заглянуть ненадолго к соседке по квартире. Этот ватерклозетный роман длился долго и раскрылся случайно. Но нет худа без добра, и благодаря пережитой обиде Ариадна до глубокой старости оставалась в отменном женском тоне, а соседки по—доброму ей завидовали. Один из поклонников, пузатенький старичок—дьякон из ближнего Подмосковья, усаживался в уютное кресло возле Ариадниной кушетки, на которой та возлежала в позе мадам Рекамье, и нежно поглаживал полные ее ноги. Старинные друзья неторопливо беседовали, вспоминали общую молодость.

Свою женскую статью Ариадна блюла свято. От щедрот ее перепадало и соседкам. Парикмахерши, маникюрши и мозольные операторши в квартире № 20 не переводились, приходили на целый день, мигрировали из комнаты в комнату с та-зиками теплой воды и другими профессиональными орудиями. В двадцатой квартире ценили сервис и привечали людей, способных его обеспечить.

Сапожник Островский, обслуживавший двадцатую квартиру, а заодно и нашу семью, жил в соседнем доме (теперь там фундаментальный каменный забор, отделяющий от мира жизнь бывших членов бывшего Центрального Комитета бывшей партии бывшего Советского Союза). А в те времена двухэтажный дом Островского чудесным образом сохранял старомосковскую планировку и даже ампирный интерьер: прихожую, обшитую деревянными панелями медового цвета, точеные балясины и широкие ступени ведущей на антресоли лестницы. Такие же балясины окружали прихожую по периметру. Это старинное деревянное хозяйство излучало тепло и свет, хранило воспоминания об уюте давно прошедших, канувших в небытие времен.

Лестницу завершало огромное, во всю стену, зеркало с резной консолью. Небывалое зеркало и торжественная лестница провоцировали видения. Мерещились отражения обнаженных плеч, букли, веера, канделябры, лакеи, вдова Клико, старушка Ростова, акушерка, доставленная среди ночи кучером Степаном, горничная с грелкой, кружка Эсмарха, чучело медведя со стеклянными глазками и серебряным подносом для визитных карточек... Завораживающий перечень можно варьировать и продолжать бесконечно.

В реальности же по облицованным драгоценным деревом антресолям и старинной лестнице, отражаясь в царственном зеркале, деловито сновал местный люд — мужички в выцветших майках и сатиновых шароварах, тетки во фланелевых халатах с прорехами. Судя по всему, люд ценил доставшееся ему от прежней жизни зеркало, потому что разбили его уже на моей памяти, то есть не ранее, чем на сороковом году советской власти.

В обществе Марии Николаевны или без нее, будоража воображение романтическими ассоциациями и любуясь своими отражениями, мы с папой поднимались на антресоли и сворачивали в коридор, подробностей которого, возможно что и достойных лестницы и прихожей, толком рассмотреть не удавалось. Мерещились в сумраке корыта, гроздь электросчетчиков и прочие коммунальные банальности. Лестница с прихожей тоже освещались слабовато, но все же поярче чем коридор. Существовал тонкий нюанс — прихожая, имевшая статус подъезда, освещалась за счет домоуправления, а вот за освещение коридора платили сами жильцы.

Итак, свернув в коридор, мы нащупывали нужную дверь и входили к сапожнику, маленькому, худому, похожему на галку сердитому еврею в майке, солдатских галифе и галошах на босу ногу. Сапожник сидел на низенькой скамеечке под свисавшей с потолка голой лампочкой на длинном шнуре, в руках держал сапожный инструмент, а в зубах гвозди. Вокруг сновало огромное семейство. Жена сердитого Островского, безмятежная с виду русская женщина, подарила мужу

сонм ребятишек, веснушчатых, курносых, широколицых и русоголовых. Островский трудился в поте лица, не покладая рук и не поднимая головы. Обыкновенно, не глядя на нас, Островский произносил два слова — называл сумму, причитавшуюся за работу. Но если мы приходили с Марией Николаевной, встречал нас любезнее, чем без нее.

Шляпница в квартире № 20 была не приходящая, а своя — милейшая Араксия Львовна. Буквально из ничего она ловко соорудила эффектные чалмы и перделывала устаревшие шляпы в нечто актуальное. И мне она соорудила из мерлушковой мужской ушанки хорошенькую шапочку с меховым помпоном. Высоченные квартирные потолки позволили Араксии Львовне выстроить в узенькой комнатке антресоль. В этом славном скворечнике жил иногородний мальчик, ученик художественной школы.

Если Мария Николаевна, подобно камертону, задавала тон жизни этой отнюдь не вороньей слободки, а человеческого содружества, то лидером его была Валентина Самойловна, деловитая, распорядительная и, что немаловажно, партийная дама. Под ее руководством квартира боролась за звание «квартиры коммунистического быта». Аполитичные, но аккуратные жильцы, соблюдавшие нормы человеческого общежития в соответствии с полученным в дореволюционном детстве воспитанием, а вовсе не потому, что хорошо изучили кодекс строителя коммунизма, без труда победили в соревновании и скромно гордились победой.

Большеглазая ученая дама Анна Борисовна, похожая на пожилую газель, доктор физико–математических наук с трудным характером, составляла оппозицию единой квартирной фракции. Зато сын ее Саша, невестка Оля и их черно–белая спаниелиха, напротив, вызывали всеобщую симпатию. В размолвках между свекровью и невесткой квартирное население неизменно занимало Олину сторону, а коллективное расположение достигло такого градуса, что молодой семье разрешили ночевать в темной кладовке при кухне, коммунальном владении, рядом с соленьями и вареньями Светланы Ивановны. Эта деятельная рачительная хозяйка, круглосуточно готовившая, хлопотавшая и рьяно ухаживавшая за брутальным красавцем мужем мечтала только о том, как бы переделать все дела, улечься на диван, зажечь торшер и почитать интересную книжку. Увы, время это так и не настало. А сын ее, озорник Боря, вечерами приставал к старенькой бабушке с каверзными вопросами: — Ба, ты хоть знаешь, кто такой Хрущев? — спрашивал студент. — А как же, — бойко отвечала бабушка — конечно знаю, это наш вошь (имелся ввиду «вождь»).

Вот только пара угрюмых бирюков, обитавших за стеной у Марии Николаевны, не кружилась в идиллическом квартирном хороводе. Я не помню имен этих хмурых людей, считавших день прожитым понапрасну, если не удалось отложить на черный день хотя бы рубль. А когда старики умерли чуть ли не в один день, наследники — отдаленные родственники, накрепко запершись, несколько дней потрошили комнату: отдирали плинтусы, срывали обои, выковыривали паркетины. И по слухам немало полезного нашли в многочисленных тайниках, вроде бы и золотые чер-

вонцы там были, и бриллианты. Старики умерли, а в их комнату с согласия районных властей перебралась Мария Николаевна. Очень уж нравился ей огромный нарядный эркер. Вот тогда—то Серафима и воссоединилась с сестрой, поселилась в прежней комнате Марии Николаевны, переехав (с разрешения тех же добрых властей) из бывшего родительского дома, того самого, в котором жила еще с первым мужем—кузеном и где, расставшись с кузеном, не выходя из квартиры, вышла замуж вторично, за мужа соседки.

Из той самой квартиры, где долгие годы, сначала неприязненно, а после смерти общего супруга вполне дружно, жили две женщины с одинаковой фамилией. Моральное же и физическое превосходство всегда оставалось за Серафимой. Склероз не затронул блестящего ее мозга, и тем более снисходительна была она к давно побежденной сопернице, которой случалось выходить из дома с чайником в руках вместо предполагавшегося ридикюля. Уже на улице обнаружив свой промах, соседка в ужасе звонила в звонок, и Серафима не только любезно открывала ей дверь, но даже не смеялась над ее конфузом. Вообще же прежние свои браки Серафима вспоминала пренебрежительно, потому что настоящей любовью считала последнюю, существовавшую в форме многолетней связи с немолодым и прочно женатым человеком.

Одновременно с Серафимой поселилась в квартире № 20 славная компания. В комнаты покинувших арбатские края семейств Анны Борисовны и Светланы Ивановны въехали четыре женщины: тихая старушка в монашеском одеянии, дочь ее Клавдия Васильевна — нервная женщина без характерных примет, молоденькая внучка Мила и крошечная правнучка Анжела.

Семью встретили приветливо, малышку Анжелу, прехорошенькую мулаточку, сразу и дружно полюбили. Поначалу настороженные, новсёлы расслабились, оказались людьми скромными, мирными и религиозными, каковых раньше в двадцатой квартире не наблюдалось. Крошка Анжела подрастала на просторах нескончаемого коммунального коридора и необъятной кухни, а соседи наперебой зазывали в гости. Оказалось, что Милу с раннего детства неудержимо влекло к африканскому континенту, она мечтала о кукле—негритенке, а когда подросла, подружилась с чернокожим молодым человеком, студентом Института имени Патриса Лумумбы, в народе именуемом «лумумбарием» (чудовищное здание института, истинный архитектурный монстр, своей бессмысленной и несоразмерной с окружающей средой громадой, наподобие вставшей на дыбы гигантской могильной плиты, угрожающе нависает над беззащитными колумбариями Донского кладбища).

А когда Анжеле исполнилось четыре года, в квартиру № 20 явились представители африканской страны. Взглянув на девочку и определив по понятным им признакам, что ребенок действительно их, представители удалились. И через несколько дней вместе с отцом, завершившим учебу, Анжела отбыла на свою историческую родину. Предполагалось, что и Мила со дня на день последует за дочерью. Увы, случилось иначе.

Через много лет Тимофеевым прислали фотографию, сделанную в день совершеннолетия Анжелы. На диване, покрытом роскошным, музейного уровня ковром, в окружении мелких африканских женщин, сутуловатых и сухоньких (кожа да кости), восточная принцесса неземной красоты. На голову выше окружающих, стройная, светлокожая, с шапкой вьющихся волос и сияющими глазами на тонком личике, единственная из всей компании одетая в европейский, восхитительно воздушный наряд, не представимый в российских широтах и российских обстоятельствах, среди родственниц неопределенного возраста, облаченных в костюмы национальные, экзотические. В приложенном к фотографии коротеньком письмеце сообщалось, что Анжела окончила лицей в городе Лондоне, где жила все эти годы вместе с отцом, ненадолго вернулась на родину и собирается продолжить образование в Европе. И больше никогда никаких известий от Анжелы не приходило.

С африканскими же пристрастиями Мила не рассталась, она по-прежнему не могла полюбить белого человека, и через пару лет после отъезда Анжелы у Милы родилось следующее темнокожее чудо, превратившееся со временем в оборотистую девочку. Вслед за Любочкой явился Темчик. Двадцатая квартира невозмутимо и доброжелательно следила за растущей семьей, нянчила детишек, к отцу их относилась приветливо, но надежд на него не возлагала. Никто не знал, из какой африканской страны прибыл этот деловитый, вечно хлопочущий по коммерческой части человек, во всяком случае, он тоже был лумумбарцем. А вот чего не было в квартире № 20, так это признаков ксенофобии. Ни разу не слышала я обидных прозвищ или пренебрежительных интонаций в адрес славного Милюного семейства.

Серафима Николаевна, нутром почуявшая в крошечном мальчугане будущего мощного мужчину, привязалась к Темчику, в младенчестве своем беленькому и черноглазому. С возрастом Темчик посмуглел и превратился в роскошного гиганта, брутального, загадочного и совершенно нездешнего. Длинноногая бойкая Любочка прекрасно адаптировалась в московской жизни и неплохо устроила свою собственную, а вот Темчик явно очутился не в той географической точке, в которой следовало ему проживать свою молодую жизнь. И теперь в случайных компаниях Темчик неприкаянно слоняется по Арбату, а Мила, в зрелом возрасте все же соединившая судьбу с белокожим человеком, на своего красавца сына, не пожелавшего как следует изучить даже русскую грамоту, кажется, рукой махнула.

Собственно говоря, теперь – то в квартире № 20 живет богатый человек, которому приглянулись необъятные апартаменты, а прежние ее обитатели развезлись по всей Москве. Марии Николаевны к этому времени уже не было на свете, а Серафима успела переехать в новый район и пожила недолго в маленькой однокомнатной квартире. Новое окно выходило в зеленый двор, и все свое последнее, девяносто второе лето Серафима просидела на маленьком балкончике, наслаждаясь шелестом листвы, запахами лета и отражая атаки комаров.

Если бы не настойчивость Марии Николаевны, вряд ли повидала бы я в детстве майский ландышевый лес, Архангельское в пуантилистическом осеннем ис-

полнении, черные деревья на опустелых предзимних пространствах Нескучного сада. Мама, вымотанная непрестанной работой, папа, ошалело влюбленный в Москву и одержимый московскими пейзажами, сама я, городской ребенок, считали луга и леса принадлежностью лета, его прерогативой. Но Мария Николаевна не могла лишиться себя и нас этих удовольствий — очередного ландышевого сезона или листопада в лесу. Так что при ее жизни мы реже, чем после нее, обкрадывали себя.

Вечерами, когда Мария Николаевна бывала у нас, мы непременно шли ее провожать. На протяжении традиционного маршрута Мария Николаевна то и дело заставляла всю компанию останавливаться и любоваться красотой вечерних небес. Даже после того, как случилось несчастье и умер сын, и всем нам казалось, что жизнь ее окончена, настал момент, когда Мария Николаевна подняла голову и вновь восхитилась звездным небом. Перед глазами грузная фигура на тонких ногах, вроде бы с трудом удерживающая равновесие, пошатывающаяся, но с запрокинутой в ночное небо серебряной головой, а на слуху умоляющий призыв: — Ну взгляните же на небо!

Восхищаться и удивляться так, как восхищалась и удивлялась Мария Николаевна мог только мой папа. Их диалоги состояли из изумленных возгласов, округленных глаз и удивленно поднятых бровей. Удивлялись они всему: природе, погоде, политическим новостям, происшествиям в транспорте, уличным диалогам, телевизионным сюжетам. У нас, людей взрослых, трезвых и здравомыслящих, эти чрезмерные эмоции вызывали снисходительные усмешки, скептические ухмылки и иронические переглядывания.

Услышав или увидев что-нибудь удивительное, Мария Николаевна и папа перезванивались. Уверена, Мария Николаевна охотно подписалась бы под манифестом, когда-то нацарапанным папой на бумажном клочке, обнаруженном среди бесчисленных его набросков и записей: «Неповторимость зримого мира... Беспредельное извлечение красоты из обыденности». Оба они, подобно Козьме Пруткову, считали, что «глядя на мир, нельзя не удивляться»... и не восхищаться.

Вот, для примера, одна из совместных их акций, — иллюстрация «извлечения красоты из обыденности». Однажды в начале осени папа писал в ЦПКИО им. Горького алые сальвии на фоне окружающего огромную клумбу ландшафта. Осень стояла теплая, цветы и не думали увядать, но трест Мосгорозеленение распорядился очистить клумбы и газоны от цветов прошедшего лета. Работницы треста пожалели вывозить на свалку свежие, совсем еще живые цветы, и редким осенним посетителям разрешили срывать их в любом количестве. Папа оставил работу и трижды курсировал между парком и квартирой № 20 в обнимку с огромными пыляющими охапками. Цветы папа сдавал Марии Николаевне, а та делила их на букеты и с восторгом разносила по комнатам многочисленных соседей.

Летние каникулы мы проводили вместе с Марией Николаевной. В путешествии на волжском теплоходе до Астрахани, в Паланге, всюду она была с нами. Давним летом оказались мы в рыбацьем поселке на окраине города Бердянска. В первый же вечер, чудный, лунный, с уютными, оплетенными виноградом дворишками,

с мерцающим теплым морем, я ощутила славную эту местность чуждым пространством. Бывают такие немотивированно противопоказанные тому или иному человеку места. Питьевая вода (действительно омерзительная), духота, плоское пространство — все оказалось не по душе.

Переполненный пляж простецкого курорта представлял собою узкую полосу серого песка между морем и автомобильной трассой со скопищем неряшливых тентов, под которыми множество голых компаний долгими жаркими часами играло в карты. Первое время я томилась, но потом нашлись какие-то способы существования. Тем более что в чуждой среде мы не были одиноки.

Обыкновенно, куда бы мы ни поехали на лето, к нам непременно присоединялись знакомые. Вот и в Бердянск мы взяли с собой домашнюю портниху Галину Дмитриевну с дочкой Люсей (дочь белобрысой Галины Дмитриевны оказалась смуглой красавицей—осетинкой) и мамину ученицу — ученую женщину Дину с женолюбивым мужем (попросту говоря, бабником) и дочкой Кирочкой (разбитной отроковицей). А позже прибыла на машине семья сына Марии Николаевны. Алеша с женой и младшим сыном побыли несколько дней и уехали, а двенадцатилетнего Петю оставили нам.

Азартный Петя сразу же присоединился к картежной компании, и возбужденные его выкрики целыми днями разносились над пляжем. На закате огромным сачком, Петей же и сооруженным, мы ловили бледно-розовых креветок на дальнем лимане. А еще этот славный подросток потрясал окружающих специфической эрудицией. С самого раннего возраста он мог, не задумываясь ни секунды, назвать цену любого существующего в природе предмета. Петя знал сколько стоит килограмм пряников, холодильник, сапожная щетка, банка майонеза, электрическая лампочка, автомобиль «Москвич», стакан семечек. Удивительные способностигодились Пете в жизни. Он вырос бизнесменом, то преуспевающим, то терпящим бедствие, но несомненно одаренным, рискованным, рожденным для такого рода деятельности, счастливо унаследовавшим гены предков своих, работающих и предприимчивых купцов первой гильдии.

В первой половине дня того давнего бердянского лета мама готовила обед и варила компоты (тошнотворную бердянскую воду можно было употреблять только в виде наваристого компота). Во второй половине врачевала. К счастью, она захватила из Москвы баночку с мазью календулы и с помощью ее содержимого излечила целую плеяду запаршивевших от грязи и дурной воды курортников. Прослышав о чудесном средстве, к нам устремились незнакомцы и незнакомки с фурункулами и нарывами, образовавшимися в самых неожиданных, иногда интимных местах. Мама (врач по призванию, не по судьбе) промывала чирьи, смазывала их календулой и если анатомия позволяла, перевязывала. Мазь она расходовала бережно, но все равно процесс этот напоминал евангельское чудо.

Папа начинал утро с очереди за молоком. Занимал ее часов в пять утра, по холодку, а к десяти, если повезет, добирался до цели. Но времени даром не терял, ожидая молока, рисовал наброски. Выполнив хозяйственную обязанность и с удо-

вольствием поплавав в теплом Азовском море, папа принимался за дело. Бердянская природа его не вдохновляла. Не выходя из хаты, папа писал по памяти любимую Москву, зимнюю, бело-голубую. Струя зимней московской прохлады освежала душный бердянский июль.

Вечером мы шли на берег и шлепали по воде в направлении рыбацких баркасов, причаливавших метрах в десяти-пятнадцати от берега. Зайдя в воду по пояс, покупали у рыбаков диски бледных камбал, связки глянцевитых черных бычков и прочую азовскую рыбешку. В море рыбакам разрешалось продавать свой улов. Но не дай бог совершить сделку на берегу! Это противозаконное действие грозило наказанием. Каким именно, не знаю, но очевидно серьезным, потому что бердянские рыбаки не нарушали запрета.

От гнусной ли воды, от нескончаемой ли жары, от всего ли вместе, но Мария Николаевна тяжело заболела. Обессиленная, в состоянии почти бессознательном, попросила вынести кровать в виноградник, под руку с мамой кое-как добрела до нее, рухнула и несколько дней и ночей провела там в забытьи и в пятнистой тени, которой хватило на то, чтобы укрыть Марию Николаевну от солнечного зноя и лунного света. Болела она так тяжело, что не верилось в выздоровление. Но выздоровела, воскресла.

Тем временем Бердянск стал ареной удивительного природного явления, а мы его свидетелями и участниками. Рыбачий поселок оказался на пути мириад мигрирующих божьих коровок и превратился в их перевалочный пункт. Эти трогательные жучки, скопившиеся в чудовищных количествах, оказались не так милы и пасторальны, как в штучном виде. На несколько дней пляж вымер. Картежники свернули тенты и укрылись в хатах. Стоило человеку выйти на берег, как в то же мгновение он покрывался жесткой рыжей коростой кусачих вонючих насекомых. Очевидно божьи коровки испытывали дискомфорт и раздражения своего не скрывали.

В эти дни отдыхающая публика разделилась на два лагеря, на две неравные части. При желании из этого деления можно было бы сделать далеко идущие выводы. Подавляющее большинство народа, выскочив из воды, судорожно хватало полотенца, облепленные божьими тварями, и с омерзением стряхивало сотни насекомых разом в солоноватую азовскую воду. Одиночки, среди которых, конечно же, оказалась Мария Николаевна, поступали противоположным образом. Они заплывали далеко в море, вылавливали унесенных ветром и волнами жучков, сажали на голову и транспортировали на берег для просушки. Скажу честно, наша семья сохраняла нейтралитет и не вмешивалась в процесс естественного отбора. Божьих коровок мы не топили, но и не спасали, и стряхнув жучков с полотенца не в воду, но на песок, убегали без оглядки с кишачего и шевелящегося красно-рыжего пляжа.

Четвертого августа мы отпраздновали день рождения Марии Николаевны. Тем летом ей исполнилось шестьдесят четыре года, она ведь родилась еще в прошлом веке. И многие августы в этот день мы с мамой старались добраться до дач-

ного поселка Валентиновка, где Мария Николаевна владела узеньким фанерным сарайчиком в глубине сада и наслаждалась летом, цветами, запахами земли и травы. Семейство сына жило рядом, в том кусочке большого деревянного сруба, который принадлежал Калмыковым.

В лето моего поступления в институт, готовясь к экзамену по рисунку, я каждый день приезжала в Валентиновку рисовать подросткового Петю, высокого, атлетически сложенного. У каждого из внуков Марии Николаевны было свое амплуа, раз и навсегда определившее их семейный статус. Добродушный Петя, будущий бизнесмен, считался простаком. Володя, в пять лет зачитывавшийся энциклопедиями и поглощавший знания с удивительной прожорливостью, был, вне всякого сомнения, большим умником. Мальчики четко исполняли назначенные им роли. Однажды, когда я рисовала Петю, Володя подошел ко мне с толковым предложением: — Оль, ты фигуру нарисуй Петькину, а голову мою, тогда у тебя получится то, что надо. — Конечно же, Мария Николаевна равно любила обоих внуков, но к Пете относилась с особой щемящей нежностью.

Болезнь под сенью бердянского виноградника была из ряда многих и тяжелых, уже преодоленных и еще предстоявших Марии Николаевне болезней. Каждый раз казалось, что вот уж эта болезнь последняя и на этот раз преодолеть ее не удастся, и всякий раз выздоровление становилось чудесным воскрешением. Но для того, чтобы счастливые воскрешения происходили, требовался человек, спасатель, протягивавший руку, за которую Мария Николаевна с готовностью хваталась, вовсе не торопясь погрузиться в иную реальность. Каждодневным этим спасателем была моя мама.

Мария Николаевна лежала на кровати с запрокинутой головой и полузакрытыми глазами. Смертельно бледная, выключенная из жизни, красивая трагической, почти театральной красотой. Осунувшийся ее профиль и пугал и завораживал. Приходила мама и начинался процесс реанимации. Ставился чайник, произносилась какая-нибудь фраза, пробуждавшая слабый интерес, отсутствующий взгляд начинал медленно оживать. С нескольких попыток, с трудом удерживая равновесие, Мария Николаевна садилась в кровати, свешивала ноги. С маминой помощью надевала халат, тапочки, пошатываясь, тяжело опираясь на спинки стульев, перебиралась за стол. Возникал разговор, Мария Николаевна в него включалась, губы ее еще дрожали от слабости, но она уже с удивлением или юмором, напрочь исключавшим насмешку, рассказывала квартирную, семейную или телевизионную новость. Слово за слово, и через час с трудом верилось в трагическую умирающую старуху, потому что за столом сидела прелестная старая дама и оживленно пила чай с вареньем. И текла беседа, веселая или не очень, но всегда живая, занимательная, ни в коем случае не занудная и не назидательная.

К концу вечера, провожая гостью, Мария Николаевна могла уже пройти по длинному коридору до входной двери и даже, опираясь о дверной косяк, в ожидании лифта постоять на лестничной площадке. При этом возникало ощущение, что не с нею поделились силами, а она сама дала вам в этот вечер мощный жизненный

заряд. Немало этих зарядов получила от Марии Николаевны в тяжелые для нее времена моя мама. Мама уверена, что Мария Николаевна значила для нее гораздо больше того, чем была для Марии Николаевны она сама. Увы, но нередко случилось так, что на следующий день мама снова обнаруживала Марию Николаевну обессиленной, обескровленной, ускользящей. И принималась за дело с самого начала. У мамы есть ажурная вязаная шаль. Я хорошо помню тот вечер (мамы не было в Москве, а в редкое ее отсутствие на вахте возле Марии Николаевны оставалась я), когда вывязывался крючком маленький белый кружок, первое звено будущей пышной шали. Вывязывался со словами: — Вот умру, а шаль будет греть Изольду. — Так и вышло. В каждой петле шали, как в древнем орнаменте, зашифровано, запрятано доброе, дружеское, целебное. Шаль греет маму, а когда она накинута на спинку дивана или кресла, еще и украшает комнату.

Мария Николаевна была рукодельным человеком. Для маленькой нашей дочери она связала три платица: серое шерстяное с темно-синими полосами — на каждый день, травянисто-зеленое выходное и летнее, кружевное, брусничного цвета. Из всей своей одежды дочь выростала за один сезон, а вот платья, связанные Марией Николаевной не на вырост, а впору, почему-то носились подолгу, странным образом росли вместе с Наташей. Вся детская одежда дочери роздана давным-давно, а с этими платицами я расстаться не в силах.

А вот еще чудо. На широком подоконнике нависавшего над переулком эркера росли удивительные цветы, и среди них вечно цветущий жасмин, порцию аромата которого получал каждый входящий или всего лишь приоткрывший дверь комнаты. Внезапная струя запаха мгновенно, прежде чем осознаешь это, меняет настроение в ту или иную сторону. Запах жасмина менял его в лучшую. Мы множество раз пытались укоренить отросток, действовали по всем правилам ботанической науки, но ничего не выходило. И однажды терпение Марии Николаевны лопнуло. — Умру, а вы так и останетесь без жасмина, — констатировала Мария Николаевна, и взялась за дело сама. Этот отросток укоренился мгновенно. Конечно, нашему десятилетнему жасмину далеко до того, что рос на подоконнике эркера. Тот удивительный жасмин цвел сотней цветков, на нашем их десяток. Мощной ароматной волны не получается, но когда очередной бутон распускается и пахнет почти так же, как пах в комнате с эркером его прародитель, нам кажется, что это привет от Марии Николаевны.

А однажды, поздней осенью, предпоследней в жизни Марии Николаевны, пересекая по дороге к ней проходной двор, мама увидела в асфальтовой щели белый цветок с желтой сердцевинкой. Ближайшей ночью ему предстояло замерзнуть, поэтому мама выкопала трепещущее существо и принесла Марии Николаевне. Цветок немедленно посадили в горшок, и все те годы, что последовали за давней осенью, множество таких же цветочков распускается в большом круглом сосуде у нас дома. Цветет существо, когда ему заблагорассудится, по несколько раз в год, размножается со страшной силой, расселяется по знакомым домам и называется безвременником или выскочкой, а по-научному — зефирантесом.

Не только у цветов, но и у птиц Мария Николаевна вызывала доверие. Канарейки несли яйца, из яиц вылуплялись птенцы, успешно подрастали. Мама сдавала молодняк в зоомагазин на Арбате по три рубля за птицу. Два кенара из тех, что явились на свет в квартире № 20, прожили свои жизни в нашей семье. Мария Николаевна назвала их Леней и Сережей в честь Леонида Собинова и Сергея Лемешева. Леня и Сережа пели изумительно, удивляли разнообразием залиvistых трелей и замысловатых колен, потому что Мария Николаевна обучила их пению по всем правилам этого искусства. Заботясь о преемственности, помещала молодую, неумелую птицу за темной занавесочкой, отделявшей юношу от взрослого певца. Внимание молодого кенара ничто не отвлекало, ему приходилось часами слушать пение профессионала и поневоле перенимать колена и трели.

Особое место в жизни Марии Николаевны занимал чудо-ящик — телевизор. Среди наших знакомых Мария Николаевна оказалась первой владелицей этого необыкновенного аппарата. Жившая аскетически, не помышлявшая ни о каких бытовых чудесах и усовершенствованиях, Мария Николаевна делала исключение только для этого чуда техники и даже меняла старые модели на более современные. Казалось, что с помощью чудо-ящика она отчасти компенсировала те радости, которых лишила ее жизнь. Разумеется, в иных исторических обстоятельствах Мария Николаевна стала бы путешественницей, как и мама ее Серафима Петровна. Поездила бы по миру, насмотрелась бы всякой всячины. Но пришлось стать кино-путешественницей (спасибо Сенкевичу).

При другом жизненном раскладе и везении Мария Николаевна не рассталась бы и с театром. Но она с ним разлучилась, оставшись азартным и преданным зрителем спектаклей, транслировавшихся по телевизору. Смотрела по много раз с заинтересованностью профессионала, но без профессионального предубеждения и ревнивой настороженности, упивалась игрой любимых актеров. Конечно же, на первом месте оставались свои, вахтанговские. Но вот что странно — на моей памяти Мария Николаевна не бывала в театре. Наверное, театр значил для нее больше того, что значит он для обычного зрителя. В театре она хотела, но не смогла прожить жизнь, а переступать порог того мира, в котором для тебя не нашлось места, больно.

Мария Николаевна огорчалась — отчего жизнь течет от младенчества к старости, а не наоборот, отчего нельзя повернуть эту реку в обратном направлении, чтобы начиналась она с глубокой старости, не спеша двигалась бы сквозь все возрасты в направлении детства и постепенно сходила на нет, сама собой, незаметно и безболезненно. 29 декабря 1998 года исполнилось десять лет со дня смерти Марии Николаевны. Целое десятилетие мы живем без нее. Но вот Марина Цветаева считала, что не следует отождествлять смерть человека с самим человеком. И правда, лучше порадоваться, что мы были друзьями, что столько дней, месяцев, десятилетий провели вместе. Она ведь из тех людей, что украшают собой жизнь окружающих, ближних и дальних. Жаль не существует единицы измерения радости человеческого общения, потому что в случае Марии Николаевны цифра эта была бы замечательно высока.

В качестве приложения к тексту привожу рецепт кулича из семьи Кожевниковых–Калмыковых, переданный Марией Николаевной из рук в руки дочери моей Наталье и существующий с тех пор в нашей семье.

Итак, на 1 кг муки полтора стакана молока, 6 яиц (отдельно сбивать желтки и белки), 300 гр. масла (перетопить), 1–2 стакана сахара, 40–50 грамм дрожжей, 3 чайные ложки соли, 1/2 порошка ванилина, 5–6 измельченных зерен кардамона (или измельченную шкурку лимона). В полутора стаканах теплого молока растворить дрожжи, добавить 1/2 стакана муки, размешать, накрыть и поставить опару в теплое место.

Когда объем опары увеличится вдвое, добавить в нее соль, яичные желтки (1 желток оставить для смазки), стертые с сахаром и ванилином, масло. Все перемешать, добавить взбитые в пену яичные белки и остальную муку. Тесто должно быть не очень густым, но хорошо вымешанным, так, чтобы свободно отставало от рук. После этого тесто надо накрыть и поставить в теплое место. При увеличении объема в 2 раза добавить промытый и просушенный изюм, цукаты, миндаль, очищенный от кожи и измельченный. Все это смешать с тестом перед раскладкой в формы. Для получения более пышного кулича форму заполнять на 1/3 высоты.

Формы подготовить: дно покрыть кружком белой промасленной с двух сторон бумаги, смазать хорошенько маслом (можно обсыпать мукой или сухарями), накрыть полотенцем. Когда тесто поднимется на 3/4 высоты смазать яйцом и на 50–60 минут поставить в духовку. Непременно поворачивать, чтобы не подгорело.



Витя
Гордон
и все-все-все



Обворожительная юная женщина на фотографиях, хранящихся в нашем доме — это Витя Дворкин, будущая Виктория Ильинична Гордон. Их автор — Художник, отменный рисовальщик, гравер, живописец. Фотографии сделаны в середине 30-х, в апофеозе восторженного романа, случившегося в Витиной жизни. Роман, к счастью, так и остался платоническим. В решающий день, после которого не было бы пути назад, Витина мама попросту непустила Художника в свою квартиру в Барыковском переулке, а рыдающую Витю заперла в комнате. Так что семью Художника Витя, если и потревожила, то не разрушила, грех на душу не взяла, и до конца своих дней (наступившего, увы, слишком скоро и очень преждевременно) Художник прожил в родной своей семье. А Витя, пройдя сквозь горнило нескольких, разного накала увлечений, в конце 1940 года, двадцати четырех лет от роду, вышла замуж за своего ровесника, Льва Гордона, многообещающего физика и альпиниста. Вместе с мужем спортивная Витя совершала восхождения и покоряла горные вершины, путешествовала на автомобиле по Союзу и демократическому зарубежью. Витя слевой прожили вместе сорок девять лет, до самого Витинога конца.

Через несколько лет после Витинога смерти Лев Исидорович оставил арбатскую квартиру вместе со всем ее содержимым: книгами, фотографиями и семейным архивом. С одним только рюкзаком уехал он проживать еще одну жизнь в город Нюрнберг, чтобы в этой новой жизни путешествовать по Европе и совершать восхождения, теперь уже в Альпах. А работы Витины и семейные фотоальбомы отдал нам. Вот как оказались у нас фотографии, сделанные Художником.

Фотографии изумительны, потому что и в этом виде искусства Художник был так же одарен, как и во всех прочих. Всю жизнь Виктория Ильинична бережно хранила свои изображения, но мало кому показывала. Из-за особенностей традиционного воспитания стеснялась смелых композиций и одновременно гордилась ими. И действительно, девушка на фото прелестна. Жаль, что в портфолио каждой женщины нет таких замечательных свидетельств былого.

Несомненно, что кроме прелестной внешности Виктория Ильинична обладала еще и талантом. А к внешности и таланту прилагались: доброта, щедрость, открытый и веселый нрав, увлеченность людьми, работой, событиями, жажда новых знакомств и впечатлений, готовность к помощи, то есть талант дружбы. Удивительны плотность, качество и судьбоносность встреч, случившихся в моей жизни благодаря Вите. В 66-м году я окончила школу и решила поступать в Строгановку на отделение промграфики. На экзамене мгновенно получила двойку, выбыла из игры.

Предстояло готовиться к следующей попытке, копошиться, что-то предпринимать, с кем-то советоваться. И через полгода после моего провала папа вдруг вспомнил о Вите, с которой учился одновременно, но на пару курсов моложе, в художественном училище.

Витя давно уже сделала подобие карьеры и была председателем подсекции промграфики графической секции Московского Союза Художников. Конечно, сегодняшнему уху титул этот не говорит ни о чем, но сорок лет назад Витя пользовалась влиянием. Стать председателем секции или подсекции можно было двумя путями. Один, наиболее распространенный, был путь сложной интриги, предполагавший активное участие в борьбе группировок и честолюбий — настоящая партизанская война в масштабах Союза Художников. Но существовал и другой путь, когда в отцы-командиры (или матери-командириши) художники выбирали симпатичного всем, даже антиподам, порядочного человека. Этот путь как раз и был Витиным.

Руководящей и организационной деятельностью Витя занималась отважно, с азартом, страстно погружалась в ее пучины, отдавалась непростому делу всем существом, старалась быть справедливой. Она ощущала себя человеком на своем месте (популярное в те годы выражение). Вихри, закручивавшиеся вокруг нее и веявшие над нею, Витю увлекали и ничуть не пугали.

Папа придумал отвести меня к Вите в надежде на полезные советы, а может, и конкретную помощь, и протекцию (попросту говоря, блат) для поступления в институт. Он годами встречался с Витей на выставках, и неизменно приветливая ее улыбка свидетельствовала о том, что Витя ничуть не изменилась, не почувствовала себя бонзой, а осталась тем же славным интеллигентным человеком, каким была прежде. Папа позвонил Вите, она легко и охотно согласилась познакомиться со мной, и на следующий же день мы пришли в ее квартиру в Спасопесковском переулке.

Квартиру эту, из первых кооперативных, купили в конце 30-х годов Левины родители. Изначально мрачноватую, темноватую, Витя преобразила ее в разноцветный радушный дом. И встретила нас так приветливо и радостно, что и теперь я вспоминаю эту встречу с изумлением. С первой же минуты Витя горячо занялась мною и моей судьбой.

Ко дню счастливого знакомства с Витей я заработала уже несколько месяцев трудового стажа, потому что школу окончила не с одним только аттестатом зрелости, но и со свидетельством о присвоении звания машинистки-стенографистки (на дворе стояла эпоха тотального принудительного производственного обучения). Припоминаю, что в течение нескольких месяцев после окончания школы я даже могла кое-что застенографировать, но эти слабые навыки, за невостребованностью, быстро атрофировались.

С большим скрипом осваивая новые умения, печатанию на машинке я с грехом пополам выучилась (спасибо учительнице нашей Римме Порфирьевне) и на следующий же день после провала на экзаменах, не желая сидеть на шее у родите-

лей, поступила на работу в Заочный народный университет искусств. Но вскоре сбежала из этого чудного заведения потому, что не могла вынести ежедневного восьмичасового ничегонеделанья. Второй мой заход в ЗНУИ, более плодотворный (в качестве педагога), случился спустя целую вечность, через девятнадцать лет. Но это уже другая история.

Факультет наш располагался в Потаповском переулке в подвале со сводами XVII века. И сам Заочный университет, и удивительные его сотрудники, все, за редким исключением, яркие индивидуальности — художники, искусствоведы, организаторы учебного процесса, заслуживают отдельного, пространного и внятного рассказа. С этим абсолютно уникальным учебным заведением связаны многие годы жизни моего отца, да и полтора десятка моей. В тот первый, краткий, юношеский заход в это учебное заведение, в дружелюбной атмосфере, окруженная яркими, своеобразными людьми, занятыми благородным делом, я изнывала от безделья.

Потому что с работой, которую нужно было выполнить за неделю, я без труда справлялась часа за три. Дни напролет приходилось томиться, сочинять псевдодела, слоняться по окрестным подвальчикам, экспедициям и складам — подразделениям университета, трепаться по телефону, подолгу простаивать в очереди за пирожными в магазине «Чай-кофе» на Мясницкой. Время тянулось бесконечно, бессмысленно, непродуктивно, я изнывала, уставала, домой возвращалась разбитая. А ведь надо было в институт готовиться. Короче говоря, синекура эта оказалась не по мне.

Тем временем папа присмотрел для меня другое место работы. Из подвала XVIII века я переехала в другой подвал, века XIX, еще глубже первого. Высоко над головой мерцала узенькая полоска асфальта, и виднелись одни только башмаки прохожих. В то время как из подвала Заочного университета запросто можно было разглядеть всю нижнюю половину проходящей мимо взрослой человеческой фигуры — от подошв до талии.

Новое учреждение называлось Зональным управлением детских специализированных санаториев центральных областей Министерства здравоохранения РСФСР (ЗУДССЦО Минздрава РСФСР). Замысловатым названием, практически не поддававшимся аббревиатуре, и объяснялся выбор новой службы. Дело в том, что отец мой высоко ценил и собирал такого рода казусы. Давно уже, проходя по переулку, папа читал и перечитывал удивительную вывеску. И когда я озаботилась своим трудоустройством, немедленно отправился в приглянувшееся учреждение, выяснил, что оно остро нуждается в машинистке и предложил мою кандидатуру.

Прожив существенную часть жизни в эпоху андеграунда, я любила городские подземелья. Думаю, из этой-то привязанности и произошло пристрастие мое к московскому метро, разветвленному городскому подвалу. Подвал нового места работы находился не более чем в ста метрах от другого подвала, того, в котором прошло немало дней моего детства. А знающие люди, москвоведы (не по профессии, но по рождению и душе) говорят, что все подвалы в нашем старомосковском регионе сообщаются между собой подземными венами и артериями.

Поступив на работу в Зональное управление, я как бы вернулась в жилье няньки своей, славной дворничихи тети Кати Королевой, совмещавшей воспитательские функции с дворницкими (то есть одной рукой воспитывавшей меня, а другой подметавшей наш двор и фрагмент Еропкинского переулка). Пахучая, пропитанная человеческими и земляными ароматами тети Катина квартира—нора, существовала во тьме, потому что жители ее яростно экономили электричество. Страсть к экономии электричества (стоившего в те времена сущие копейки) заразила всех жителей нашего дома: обитавших ниже уровня мирового океана, на одном с ним уровне и существенно выше него. Вот и под потолком подвального коридора тети Кати Королевой горела лампочка не более пятнадцати ватт. Хотя жильцы легко обходились и без нее, потому что на ощупь распознавали в своем обиталище каждую щелочку, каждую трещинку, каждый бугорок. Тем более, что Катин коридор (он же кухня) освещался четырьмя (по числу соседских семейств) примусами. Подвал же Зонального Управления, в отличие от подвала тети Кати, пах мужским одеколоном «Саша» и прямо—таки сиял, потому что бюджетные организации электричество не экономили и чудесным плодом цивилизации пользовались от души.

И скучать в этом подвале не приходилось. Работы хватало, день пролетал незаметно. Начальников было двое, оба бритоголовые отставники. Первый, отставной генерал, узкий серьезный человек в строгом коричневом костюме, был командиром конторы; второй, полковник в отставке, широкогрудый весельчак и остроумец в узорчатом свитере — ее комиссаром. Он—то и употреблял от души одеколон «Саша» (не внутрь, не внутрь — только снаружи). Запах «Саши» зависал в помещении плотным облаком, потому что вентилировалось помещение плоховато. Славные, кстати говоря, оказались дядьки, незлые, шутливые, оба похожие на Фантомаса, супер—героя эпохи.

Имелся у нас и собственный шофер Костя, молодой человек, изнывавший от зевоты. Утром он привозил фантомасов на службу (каждого по отдельности), а вечером отвозил домой (тем же манером). В течение дня фантомас—генерал с поста не отлучался, работал, не покладая рук, обедал на рабочем месте — ел что—то диетическое из аккуратных баночек. Фантомаса—полковника, мужчину jovialного облика, Костя увозил куда—то во второй половине дня и часа через два возвращал нам сытым, довольным и чрезвычайно воодушевленным.

И у меня был обеденный перерыв. Заботливые фантомасы, желая развеять Костино томление, приказали ему отвозить меня на обед на казенной «Волге». Ехать кратким путем — проезжать на автомобиле сто метров до моего дома было бы полным абсурдом, поэтому Костя делал круг — объезжал квартал по периметру, удлинняя дорогу в несколько раз и тратя на нее не менее пяти минут. Хорошо еще, что фантомасы позволили возвращаться с обеда самостоятельно, и на обратный путь, пользуясь проходным двором, я тратила не более минуты. Был у меня и собственный кабинет —точная копия подвальной тети Катиной каморки, в которой она обитала некогда вместе с почти взрослым сыном и дочерью—подростком.

Одной из моих обязанностей стала сортировка почты. Я просматривала письма, определяла, кому какое из них предназначено, раскладывала корреспонденцию аккуратными стопочками и на пластмассовых подносах с розочками разносила бумажки по кабинетам. А потом уж часами перепечатывала на машинке ответы фантомасов на просьбы и жалобы, поступавшие из детских санаториев. Больше всех хлопот доставлял Пуховицкий туберкулезный санаторий. За три месяца службы в Зональном управлении мне довелось прочесть и перепечатать десятки документов, свидетельствовавших о неблагополучии пуховицкого королевства. Проблем было всего две, но зато каких!

Во-первых, бессовестно злоупотреблял служебным положением директор санатория. С его благословения к хряку, принадлежавшему всему санаторию, то и дело приводили из соседних сел свиноматок. И за большие деньги, к собственному при этом удовольствию, хряк этих окрестных свиноматок покрывал. Это был супер-хряк, пуховицкий секс-символ, и совершенно естественно, что его домогались многие свиноматки, а особенно их хозяева. Подлость же ситуации заключалась в том, что деньги, заработанные коллективным хряком, директор клал в собственный карман, ни с кем не делился, и на бюджет санатория не переводил ни копейки. Жалобы на эксплуатацию гиперсексуальных возможностей хряка поступали от анонима и написаны были тем же почерком и с той же орфографией, что заявки на кухонные котлы и постельное белье, приходившие от завхоза санатория. Жалобы и заявки, касавшиеся хозяйственной сферы, я передавала фантомасу-генералу.

Второй проблемой Пуховиц были несчастные случаи, в результате которых девочки-подростки то и дело беременели от подростков-мальчиков, пациентов того же санатория. Дети лечились в санатории по полгода, и за это время беременность успевала не только свершиться, но и обнаружиться. Письма про ЭТО я относала фантомасу-полковнику, следившему за нравственностью вверенных ему подразделений.

Не исключено, что алчный директор, нещадно эксплуатируя либидо хряка, неведомо для себя способствовал этой напряженной эротической атмосфере. Жаль, что я так и не узнала, удалось ли московскому руководству стабилизировать ситуацию в Пуховицах, потому что мне пришлось покинуть Зональное управление и предпринять под Витиным руководством серию наскоков на графический дизайн.

Когда к Вите обращались за советом или помощью, она не экономила время и душевные силы, не скаредничала, не ленилась, а щедро, изобретательно и горячо использовала свои возможности. И резину при этом не тянула, а сразу набирала нужный телефонный номер, кого-то с кем-то сводила, что-то предпринимала. Благодаря Вите, с Витиной легкой руки, образовывались многие дружбы и завязывались замечательные знакомства.

В день нашей первой встречи Витя бросила одномоментный взгляд на предъявленные рисунки и акварели, ничуть ими не заинтересовалась, но мгновенно

но принялась устраивать мою судьбу. Одновременно ей пришло в голову несколько идей. Сначала она предприняла попытку определить меня в контору к художнику Игорю Кравцову, под началом которого красивые девушки и талантливые юноши ваяли упаковки для игрушек. Веселая и аппетитная работа в хорошей компании. К тому же рядом с домом, на Кропоткинской набережной, напротив Стрелки Москвы—реки. Этот сюжет развития не получил.

Тогда Витя решила, что я срочно должна выучиться искусству ретуши и ею зарабатывать на жизнь, все остающееся время отдавая чистому искусству. Именно так поступал один знакомый художник — кормился ретушью, а душу отдавал живописи. И меня отправили в Перловку, где в старом доме посреди зимнего сада у суровой дамы с короткой седой стрижкой и выразительным, потемневшим от жизненных перипетий лицом я получила два или три урока ретуши.

Преждевременно поверивший в мой ретушерский талант давний приятель родителей Павел Григорьевич Гиленсон (редактор «Стройиздата» и добрый человек редкостного обаяния) сразу же выдал реальный заказ — следовало отретушировать фотографию американского небоскреба, тщательно прорисовав окошки, все до единого. Меня охватил ужас, а перспектива стать пожизненным ретушером окошек вогнала в тоску. Одним словом, идея захирела недели через две после своего зарождения (хотя небоскреб с грехом пополам я отретушировала и даже получила за работу целых шесть рублей — немалые деньги), а дом в Перловке и зимние яблони в саду остались в воспоминаниях смутной черно—белой фотографией.

Наконец Витя окончательно определилась с моим трудоустройством и выбрала курс на недавно образовавшийся отдел промграфики учреждения под названием Специальное художественно—конструкторское бюро Министерства легкой промышленности РСФСР — СХКБ—легпром («Мы жили в эпоху аббревиатур» — неплохое название для мемуаров). На должность главного художника отдела пригласили Витиного приятеля Михаила Матвеевича Шварцмана. Витя сразу же сообщила мне, что «Мишка — гений», а я приняла это сообщение как аксиому и впоследствии о доверчивости своей не пожалела.

Надо признаться, что к работе в качестве художника—промграфика я была, мягко говоря, не готова. Поэтому первым делом Витя отдала меня в ученье к своему другу, Геннадию Васильевичу Чучелову. Формируя отдел, Михаил Матвеевич пригласил трех маэстро — Геннадия Чучелова, Александра Шумилина и Бориса Кузнецова, художников, достигших в области графического дизайна истинных высот. Предполагалось, что именно они зададут планку, к которой будут стремиться все остальные, более и менее начинающие художники.

Геннадий Васильевич (один из трех маэстро) с готовностью помогал каждому, кто в его помощи нуждался. Более того, все желающие бестрепетно, а порой и бесцеремонно, оккупировали на годы мастерскую Геннадия, без зазрения совести пользовались его инструментами, красками, бумагой, а самое главное, временем и помощью. Геннадий Васильевич, не скупясь, открывал профессиональные секреты, учил, показывал, помогал, спасал положение. Проку ему от этого не было ника-

кого, да никому и в голову не приходило, что прок мог бы быть. Я стала одной из тех, кто воспользовался его гостеприимством, добротой и добросовестностью.

Мастерской Геннадию Васильевичу служила разгороженная стеллажами на две неравные части комната в родном его доме. Здесь он родился, здесь жили и умерли его родители. В мастерской Геннадий трудился с раннего утра до позднего вечера, а к ночи отправлялся домой, к жене, дочкам и теще.

Мастерская находилась за Абельмановской заставой, на улице Войтовича (б. Старообрядческой), в одном из деревянных двухэтажных домов, сгруппированных вокруг старообрядческого Храма и составлявших некогда слободу. В суровые, далеко не вегетарианские времена матери Геннадия Васильевича доверяли распределять по назначению те немалые средства, которые жертвовали на благотворительность московские старообрядцы. Естественно, что и сам Геннадий был человеком верующим. Только недавно я поняла, как строго он соблюдал правила, но делал это так необременительно для окружающих, так деликатно и незаметно, что никого не мучила совесть от собственного безверия и несовершенства. Вера для Геннадия Васильевича была делом естественным и сугубо личным.

Изредка заходил приятель Геннадия, священник, настоятель старообрядческого Храма. Они с Геннадием уединялись в его закутке, тихо беседовали, немного выпивали. Уединение это было весьма относительным, потому что закуток отгораживала от остального помещения только ситцевая занавеска. Но за занавеску нам хода не было, этой черты мы не переступали. За столиком у окна Геннадий работал, а в торце закутка висела большая картина — копия «Семейного портрета» Ван-Дейка. Геннадий Васильевич окончил реставрационное отделение питерской Академии художеств, и мастерски сделанная копия была его дипломной работой. Ни одного предмета мебели, на который можно было бы прилечь, в мастерской не существовало, все время Геннадия принадлежало работе.

Наша компания устраивалась в «большой» комнате, за длинным столом, и сооружала по мере производственной необходимости временные вибрирующие плоскости. Мы вели себя мирно, локтями не толкались, в ауре Геннадия конфликты не возникали. Чужие друг другу, разнородные люди, вблизи Геннадия Васильевича мы соблюдали толерантность. Странно, но совместное многомесячное, а для кого-то и многолетнее сидение в славной мастерской сотрудничеством не стало и ничуть нас не сблизило. То есть той собственной школы, о которой, возможно, задумывался Геннадий, в тот раз не получилось.

Захаживали к Геннадию художники, вышедшие из его мастерской в прежние времена: знающий себе цену, похожий на Александра III, но еще красивее, общепризнанный талант Саша Шумилин, не без превосходства поглядывавший окрест холодновато-насмешливым светло-серым взором. Вечно провоцирующий окружающих на скандал, встрепанный, рыжий, злой, но тоже очень талантливый Марлен Шпиндлер. Со временем Марлен Шпиндлер, тяжело больной, прикованный к инвалидному креслу, занял место в ряду самых ярких и самобытных живописцев.



1. Александр Вениаминович и Зинаида Яковлевна Бари. Филадельфия. 1870-е гг. **2.** Старшие дети Бари: Анна, Ольга, Евгения, Виктор, Лидия, Владимир. Москва. 1 января 1889. **3.** Младшие дети Бари (сверху вниз): Мария, Георгий, Екатерина. Москва. 1899



1. Дом Бари. Москва, Архангельский переулок, 10. Фотография 1900 г. **2.** Фотография, сделанная к серебряной свадьбе А.В. и З.Я. Бари. Справа налево, сидят: Генриетта Сергеевна (мать А.В. Бари), Виктор с Георгием, Мария, Анна, Екатерина; стоят: Евгения, Ольга, Лидия, Владимир. Москва. 1898. **3.** В доме Бари. На 2-м плане, 1-я слева — Ольга Бари; на 1-м плане, 1-й справа — Семен Айзенман. Райки. 1906



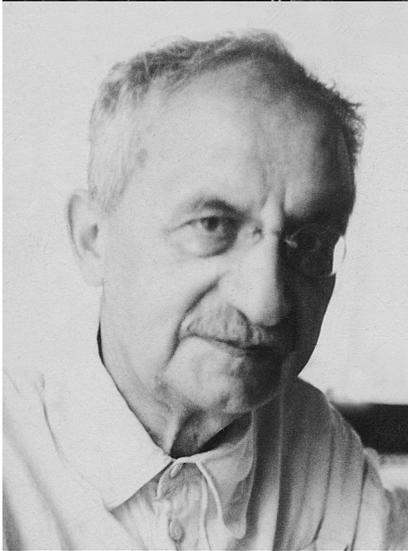
1. Владимир Григорьевич Шухов и Александр Вениаминович Бари. Москва. 1880-е гг. 2. XVI Всероссийская торгово-промышленная и художественная выставка. Гиперболоидная башня Шухова на фоне главного павильона. Нижний Новгород. 1896. Фотография М.П. Дмитриева



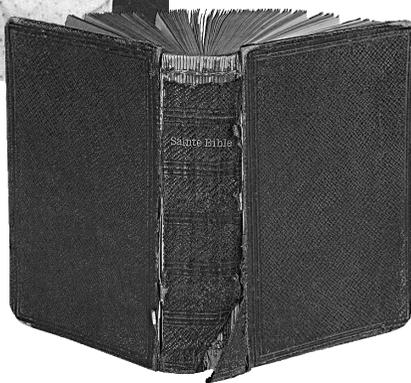
1. Ольга Бари. Рим. 1903. 2. Прогулка на Медвежьих озера. Слева направо: А. Пастернак, Б. Пастернак, Л. Бари, С. Айзенман, М. Бари, М. Шамшина, В. Бари, Е. Бари. 1907. 3. Пикник на Медвежьих озерах. Слева направо: С. Айзенман, Б. Пастернак, А. Пастернак, Г. Бари, неизв., Л. Бари, О. Бари, М. Бари, Е. Бари. 1907. 4. На даче Пастернаков. Справа налево, в 1-м ряду: О.А. Бари, П.Д. Эттингер, Р.И. Пастернак с дочерьми Лидией и Жозефиной, Л.А. Бари; во 2-м ряду: Б. Пастернак, Л.Г. Левин, А. Пастернак, Л.О. Пастернак, неизв. Райки. 1907



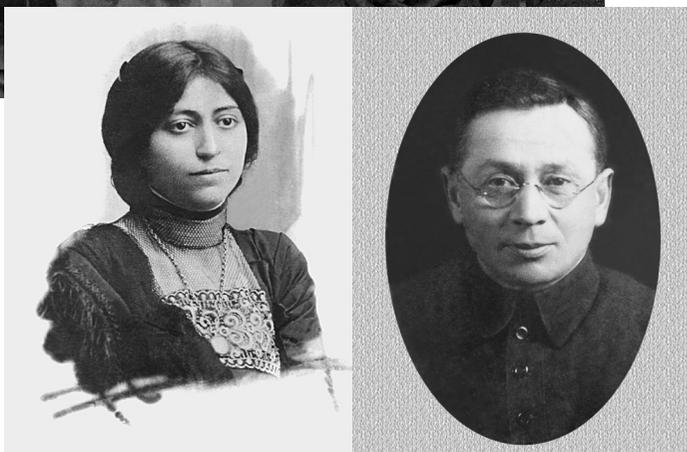
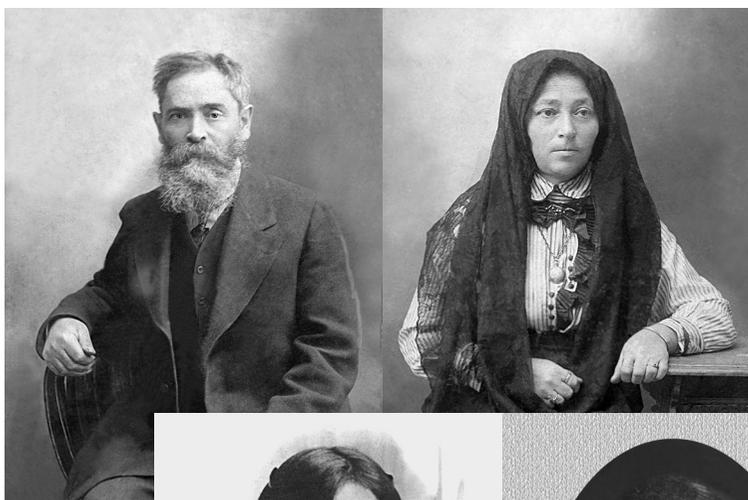
1. Семен Борисович Айзенман и Ольга Александровна Бари. Свадебная фотография. Москва, Архангельский переулоч. 15 сентября 1913. 2. О.А. и С.Б. Айзенман с дочерью Таней. Москва. 1915. 3. С.Б. Айзенман с дочерью Татьяной и сыном Алексеем на Пречистенском бульваре. Москва. 1921. 4. О.А. Бари-Айзенман с учениками. Москва. 1928. 5. Семья Айзенман. Геленджик. 1927



1. Николай Петрович Крымов с учениками. В верхнем ряду, 6-й слева — Алексей Айзенман. Московский изотехникум памяти 1905 года. Москва. 1937. **2.** Семен Борисович Айзенман. Москва. 1950-е гг. *Фотография В.И. Костина.* **3.** Ольга Александровна Бари-Айзенман. Звенигород. 1953. *Фотография А.Н. Дорошевича* **4.** Татьяна Семеновна Айзенман. Москва. 1954.



1. Григорий Михайлович и Анастасия Михайловна Фарбштейны, Клара Михайловна Фарбштейн-Айзенман, Мария Айзенман. Ялта. 1890-е гг. **2.** Мария Айзенман. Ялта. 1900-е гг. **3.** М.Б. Айзенман-Фирлеевич с Димой, внуком Е.Х. Аксентовой. Армавир. Конец 1930-х гг. **4.** Реликвия семьи Айзенман — Библия на французском языке. Переплет с взрезанным корешком



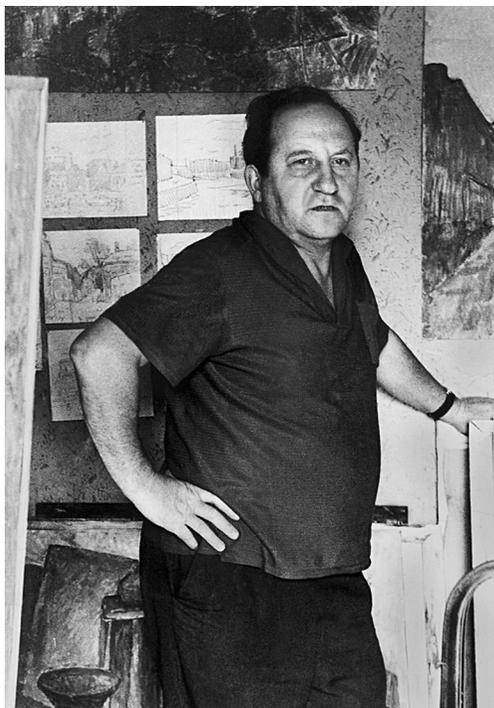
1. Исаак Маркович Спиваков. Сумы. 1900-е гг. 2. Софья Борисовна Спивакова. Сумы. 1900-е гг.
3. Рахиль Исааковна Дасковская (Спивакова). Сумы. 1910-е гг. 4. Фауст Львович Дасковский. Конец 1920-х гг.
5. Марк Спиваков и Иза Дасковская с пойнтером Грезой. Курск. 1925. 6. Р.И. Дасковская с дочерьми
Изой и Таней. Харьков. 1933



1. Восьмой класс школы № 50. Во 2-м ряду, в центре — Иза Дасковская и Оля Лысяк. Новосибирск. Май 1936. 2. Изольда Дасковская (1-я справа) с однокурсницами. Томск. 1939



1. Изольда Фаустовна Дасковская и Алексей Семенович Айзенман в Мансуровском переулке. Москва. Май 1948. 2. Изольда и Алексей с дочерью Ольгой. Москва. Май 1948.
3. И.Ф. Дасковская с Ольгой. Москва. 1 мая 1950. 4. Семья Айзенман. Москва. 1953



1. А.С. Айзенман. Москва. 1970-е гг. Фотография В. Костионова. 2. И.Ф. Дасковская с котенком Котиком. Москва. 2001. 3. Евгений и Ольга Вельчинские с дочерью Натальей. Москва. 1979



1. Детская компания во дворе дома № 5/6 по Мансуровскому переулку. Москва. 1954. 2. Третий отряд пионерского лагеря Московского института тонких химических технологий. Плаксинино. 1955



1. Дом Лоськова. Москва, Мансуровский переулок, 4. Фотография 1910-х гг. 2. Рахиль Соломоновна Азарх с дочерью Анной Матвеевной (Нусей) и внуками Димой и Наташей. Москва, Мансуровский переулок. 1954



1. Елизавета Александровна Барыкова. Малаховка (?). Конец 1950-х гг. 2. Никита Константинович Мельников. Малаховка. 1970-е гг. Фотография Е.Л. Вельчинского. 3. Маня и Сима Кожевниковы. Козлов. 1905. 4. Мария Николаевна Калмыкова. Москва. 1970-е гг. Фотография А.П. Калмыкова



1. Витя Дворкинд. Харьков. 16 мая 1922. 2. Виктория Ильинична Гордон. Москва. 1940-е гг.
3. Уголок комнаты Е.Н. Зельдович-Гальпериной в Нижнем Кисловском переулке. Москва. 1970-е гг.
Фотография Е.Л. Вельчинского. 4. Лиза Зельдович со старшей сестрой. Подмосковье. 1907.
5. Елизавета Наумовна Зельдович-Гальперина со шпицем. Москва. 1920-е гг.



1. Художники отдела промышленной графики на празднике в СХКБ.
На 1-м плане, 2-я справа — Алла Александровна Левашова, 3-я справа — Нина Григорьевна Беус;
на 2-м плане, 2-й справа — Михаил Матвеевич Шварцман; на 3-м плане, 3-я справа — гостья художников,
певица Алла Борисовна Пугачева. Москва. Ноябрь 1968. Фотография Ю. Дворянникова. **2.** М.М. Шварцман
на фоне знаков, разработанных под его руководством. Москва. Начало 1970-х гг.

В мастерской Геннадия было тесно и деловито. Никто не болтался без дела, все старательно трудились. Трепались во время совместных трапез. Чаепитий ради приятного времяпрепровождения не бывало. На просторной кухне устраивалась одна основательная трапеза, не слишком продолжительная, но уютная. Я с увлечением ездила в мастерскую Геннадия. Ровно ничего не умея, в этой концентрированной атмосфере удалось, как ни странно, научиться чему—то минимальному. Это был массивированный метод обучения, метод погружения.

Мне нравился не короткий путь в мастерскую. На Чертольском холме (возле бассейна «Москва») влезала в шестнадцатый троллейбус и старомосковским маршрутом — по набережной мимо Кремля, вдоль Яузы, через Таганскую площадь, минуя Абельмановскую заставу и Птичий рынок, доезжала до улицы Войтовича, проходила под железнодорожным мостом, шла круто загибавшейся вправо улочкой мимо возвышавшейся над малоэтажной местностью мрачноватой колокольни. Лестница двухэтажного, окруженного палисадником серенького домика Геннадия уютно пахла старым пыльным деревом. И в пути в мастерскую, и в самом домике присутствовала грустноватая прелесть прошедшей окраинной жизни.

Геннадия Васильевичу не чужд был собирательский азарт. Трезвенник, он коллекционировал бутылки из—под спиртных напитков. Каждое воскресенье отправлялся на недалекий Птичий рынок к знакомым старьевщикам, всю неделю накапливавшим товар. Бутылки добывались на московских помойках и свалках, куда попадали из посольств, ресторанов и домов, населенных сотрудниками дипломатического корпуса. Дизайн бутылок, этикетки, все это интересовало Геннадия Васильевича сугубо профессионально. На длинных, во всю стену, полках стояли невиданные в наших краях бутыли, бутылки и бутылочки. Противоположная же стенка, визави бутылочной, постепенно заполнялась, а позже заполнилась вся, сверху донизу, коллекцией бронзовой пластики — распятиями, образками, панагиями. И соседство это вовсе не казалось нонсенсом или курьезом, просто другого места в мастерской не было.

Маленькие бронзовые иконки некогда брали с собой в дорогу, прибывали на могильные кресты на сельских кладбищах. Само собой, все мы, вслед за Геннадием, вошли в раж, тоже принялись собирать бронзовые образки. Можно ли процесс этот назвать коллекционированием? Вряд ли. Коллекционирование подразумевает разведку, поиск, напряженный собирательский труд. Наша ситуация была иной. Примерно раз в месяц в наш отдел приходил кудрявый белокурый Коля — малый с большущим рюкзаком. Из рюкзака вываливал кучу бронз, добытых в отдаленных деревнях. Продавались бронзы недорого, от рубля до десяти. Геннадий, самый увлеченный и азартный среди нас, вступил с Колей в сепаратные отношения и постепенно стал обладателем немалого собрания.

И Витя, конечно же, заразилась собирательским вирусом, принялась коллекционировать ключи и спичечные этикетки, увлеклась, погрузилась в эту стихию. Ведь каждый человек рождается в том или ином возрасте и проживает в нем жизнь, длинную или не очень. Витя прожила свою более чем семидесятилетнюю

жизнь совсем юным человеком. Взрослея, я становилась старше и старше Вити. В самом начале нашего знакомства, когда мне было восемнадцать, а ей пятьдесят, я уже была чуть-чуть старше нее. Ее импульсивное, свежее, категорическое восприятие жизни казалось почти подростковым. На даче, которую они с Львом Исидоровичем снимали много лет в академическом поселке, любимыми ее подругами становились девочки-подростки. Она радостно участвовала во всех затеях, летних увлечениях, вносила свою лепту в игры и выдумки. С восторгом пересказывала совместные их приключения. Только и слышалось: Нинка Брицке, Катька Трубецкая, Машка Несмеянова, упоминались какие-то «мертвяки», чердаки, розыгрыши и шалости. Но происходило неизбежное — девочки подрастали, становились старше Вити, совместное дачное веселье сменялось бытом, мужьями, младенцами.

Работала Витя много и успешно. Загоралась любой идеей, любым сюжетом. Когда-то, в хрущевские времена, виртуозно рисовала для ВДНХ смешных кукурузных персонажей, увлеченно работала над оформлением молодежного фестиваля 57-го года. Витя фонтанировала, увлекалась и вместо заказанных двух-трех вариантов бумажных игрушек или плакатов выдавала десятки и сотни. Работы получались забавными, заразительно веселыми, радостными.

А когда пришла мода на стилизацию народного искусства, Витя стала пионером этого жанра. Обладая чувством меры и вкусом, Витя остроумно интерпретировала народные сюжеты, их стилистику и цветовое решение. Работы ее принимались художественными советами на ура. Я не помню Витиных профессиональных неудач и разочарований. Все у нее получалось артистично и легко. Художественному совету нравились Витины работы, она то и дело попадала в десятку.

Но наступил день, когда Витя распрощалась с общественной деятельностью, добровольно (что в московской практике случалось чрезвычайно редко) оставила все свои посты и передала бразды молодежи. Произошло это в результате забытых уже разборок, когда исключали кого-то за что-то из Союза Художников, и Витя оказалась в числе двух или трех членов правления, отважно проголосовавших против чьих-то драконовских намерений. Акция эта в масштабах МОСХ`а и в контексте времени была диссидентской, смелой, отнюдь не невинной, как может показаться из сегодняшнего далека. В глубине души Витя надеялась, что народ не отпустит ее на покой. Однако она обольщалась, протестов не последовало, и Витя преждевременно, находясь в отличной форме, переполненная общественным темпераментом, осталась не у дел.

Огорчалась Витя недолго, сразу же увлеченно занялась бумажной пластикой, придумала делать серию бумажных фигурок по мотивам любимого художника Хуана Миро. Ей мало было одних только репродукций, и Витя создала вокруг себя мир Миро. Видоизменившись, персонажи Миро вышли за пределы плоскости, обрели объем, едва ли не ожили. Они заполнили квартиру, и без того густо населенную всякой прелестной всячиной: сухими букетами, народными игрушками, забавными вещицами, старинными предметами, коллекцией ключей. Над развалистым диваном висели две огромных репродукции Кранаха, фрагменты портретов —

женского и мужского, над квадратным столом — рисунки Дмитрия Исидоровича Митрохина, им самим Вите подаренные, а еще офорты Витинового приятеля, молодого художника Юлия Перевезенцева.

Юлика Перевезенцева Витя и Геннадий Васильевич обожали и восхищались его восходящим талантом. Однажды, для поощрения и примера, меня взяли в гости к Юлику, Рае и Пете Перевезенцевым. Жило славное семейство в Каретном ряду, в большой комнате огромной диковатой коммунальной квартиры. Рая с Юликом перегородили комнату шкафами на отсеки и закутки, получилось сложное пространство — отдельный уютный мир. Украшением чудного дома был ребенок — шестилетний эстет и меломан Петя. Усаживаясь на горшок, деликатный и целомудренный ребенок просил родителей ставить на проигрыватель что-нибудь из Баха, а звук делать погромче.

В тот раз Геннадий Васильевич вез Юлику драгоценный подарок, старинную немецкую монографию — офорты Рембрандта. То есть офорты — офортисту! По этой причине визит был торжественным. Редкостную книгу Геннадий Васильевич привез с войны. Это был единственный его трофей, подобранный во дворе опустошенного замка в Пруссии, извлеченный из кучи обреченных на сожжение книг. Геннадий Васильевич прошел всю войну и закончил ее в Берлине. Через много лет, уже в 86-м году, на поминках по Геннадию, мы с Раей узнали от его однополчанина, что Днепр Геннадий Васильевич форсировал не один раз, а несколько, потому что трижды возвращался на лодке за солдатами своего взвода.

Геннадий Васильевич умер в год своего шестидесятилетия от сердечной болезни, стремительно развившейся после вынужденного переселения из деревянного родительского домика в микрорайон Марьино, в квартиру с окнами на юго-запад, мучительно жаркую. На похороны этого замечательного человека пришло множество народу: фронтовые друзья, бывшие соседи, художники и обожавшие его студенты художественного училища, в котором Геннадий работал последние годы жизни, и где ему удалось создать свою мастерскую. Хоронили Геннадия Васильевича ранней, еще зеленой осенью на Калитниковском кладбище. Мы с Раей заблудились и на отпевание опоздали.

Возвращаюсь в чудесную Витину квартиру. Раскрашенные фломастерами персонажи, отцом которых был испанец Хуан Миро, а мать — Витя, висели на протянутых под потолком лесках, на специальных конструкциях и обручах, изготовленных в лаборатории мужа, давно уже профессора и доктора наук. Плодились и множились новые и новые существа, свободно и забавно трактованные детишки и внучата симпатичных монстриков Миро. Сам Хуан доброжелательно взирал на продолжательницу своего дела с большой фотографии на стене. Увы, теперь эта веселая и трогательная компания лежит тщательно упакованная под нашим диваном. Фломастеры выцветают, бумага ветшает, страшно лишний раз вытаскивать их на свет божий.

Кроме фигурок имени Хуана Миро в папках хранится множество других Витиных изобретений — уморительно смешных, неожиданных, разных. Фантасти-

ческие птицы, дамы, денди, клоуны и клоунессы, тигры, львы, кошки разнообразнейших конфигураций, размеров и пород, бейсболисты, забавные персонажи без имен и названий — все эти создания веселой Витиной фантазии населяли некогда ее гостеприимную нарядную квартиру.

А прототипы бумажных ворон и воронят жили под Витиным окном, чуть ниже балконной решетки, там, где в кроне старого клена долгие годы существовало и ежегодно усовершенствовалось фундаментальное гнездо, в котором на Витиных глазах развивалась жизнь многих поколений большой вороньей семьи. Изо дня в день Витя азартно следила за катаклизмами вороньей жизни, чем могла помогала, увлеченно пересказывала последние новости. Гнездо существует и сейчас, оно все еще чернеет в кленовой кроне под бывшим Витиным балконом.

Частенько, не слишком-то ранним утром, раздавался задорный телефонный звонок: — Оль, вчера Левка здоровенный грейпфрут приволок, приходи завтракать! И поскорей! — Если могла, я бросала дела, подхватывалась и устремлялась привычным маршрутом. Промчавшись по своему Мансуровскому, через Пречистенку, по Левшинскому, по улице братьев Весниных (ныне Денежному переулку), направо по Луначарского (Глазовскому), налево по Плотникову, выходила к магазину «Диета», перебежала Арбат, ныряла в подворотню, а там, через двор, направо, в подъезд и пешком на Витин четвертый этаж.

И вот уже Витя, не дожидаясь звонка, с прелестной, абсолютно солнечной улыбкой радостно распахивает дверь своей тридцать девятой квартиры — услышала мои шаги. Двигается Витя стремительно, говорит быстро, увлеченно, задиристо. Стол уже накрыт и очень затейливо для рядового будничного завтрака: экзотические по тем временам узорчатые бумажные салфетки, разноцветные стаканчики, блюдечки, соломинки. Все аппетитно, нарядно, ярко. Старинный фарфор и семейное серебро вперемешку с пластмассой (Витя обожала покупать чепуху). Рядом с моей тарелкой маленький подарок — какой-нибудь милый пустяк. Я тоже дарю Вите что-то забавное — запасуюсь заранее.

К завтраку полагается изрядная порция разнокалиберной информации, сообщаемой взахлеб: новости бурного в те годы правозащитного движения (Витя с Левоу рьяные слушатели «Свободы», «Голоса Америки», «Би-би-си»), сплетни из жизни Союза Художников и Комбината графического искусства, сообщения о семейных новостях многочисленных Витиных знакомых. Одновременно происходит осмотр вновь народившихся бумажных персонажей, конструктивных, неожиданных, смешных. Витя наслаждалась веселой этой работой, радовалась восторгам и удивлению окружающих. Счастье, что жизнь позволила ей заниматься этим радостным делом от души, столько, сколько хотелось. Идеи расpirали Витю, а в большой, день ото дня разраставшейся бумажной компании особую группу составляли забавнейшие дамы — многочисленные портреты Витиной ближайшей подруги, замечательной дамы Елизаветы Наумовны Зельдович-Гальпериной.

Елизавета Наумовна Гальперина (в девичестве Зельдович) — это эпоха моей, да и не только моей жизни. 13 января 1967 года мы познакомились с нею в го-

стях у Вити — на Арбате, в Спасопесковском переулке, в доме номер 3/1, на четвертом его этаже. Елизавета Наумовна сразу же положила на меня глаз, она была не из тех, кто упускает человеческую добычу. Раскинуть сети и обольстить было для Елизаветы минутным делом, а я не мешкала и охотно попала в дружеский невод. И отправилась провожать эту, как мне тогда показалось, почти древнюю, маленькую, вроде бы даже горбатенькую старушку до недалекого ее дома. На самом—то деле старушка была не такая уж и дряхлая — всего—то шестидесяти пяти лет от роду.

Мела та самая ностальгическая московская метель, завивалась вихрями, а нам предстояло преодолеть две трети опустевшего по причине позднего времени Арбата и пересечь по диагонали Арбатскую площадь. Мы двигались медленно, наклонно (градусов примерно под сорок пять), арбатское пространство преодолевали с трудом, то и дело прятались в переулках и подворотнях от мчавшихся навстречу поземок, но высоты духовной не теряли и продолжали вести интеллектуальную беседу.

И после того новогоднего вечера я множество раз сворачивала с Арбатской площади в Нижний Кисловский переулок, подходила к дому, наискосок от Моссельпрома, тому самому, вдоль которого переулок делает плавный поворот направо и вниз, открывала тяжелую дверь старинного подъезда, поднималась на несколько ступенек (Елизавета жила в бельэтаже), звонила в медный звонок, входила в темноватый коридор и оказывалась наконец в большой трехконной комнате (стена дублировала изгиб фасада и поворот переулка). В замечательной комнате, пожалуй, что и не в комнате, а в особом мире.

Полутьму густо меблированного помещения наполняло множество удивительных предметов. Английские часы с бронзовым циферблатом и эмалевой небесной сферой глубокого синего цвета с золотыми звездами и светилами, восходящими и заходящими в соответствии со временем суток. Бронзовая менора, принадлежавшая некогда дедушке—раввину. Старинный чайный стол на резной пузатой ноге с аппетитным беспорядком на толстенной круглой столешнице.

За круглым столом ежевечерне собиралась забредавшая на огонек публика. Здесь—то, под сенью узкого высокого поставца, в глубинах которого за стеклянными гранеными дверцами драгоценно мерцало нечто чудесное, разноцветное, и велись бесконечные арбатские разговоры. Те самые, которые в среде московской интеллигенции принято называть «кухонными». Но я с термином этим согласиться никак не могу, потому что на кухнях коммунальных квартир (ровесники—земляки подтвердят) рискованные разговоры не велись. Понятие «кухонные разговоры» возникло в хрущевские оттепельные времена, когда некоторые жители коммунального московского центра действительно переселились в отдельные квартиры, в пятиэтажные «хрущобы». Но наши друзья и знакомые еще долгие годы продолжали жить в коммунальных квартирах московского центра.

Главным источником света в комнате Елизаветы Наумовны служила высокая лампа в форме фарфоровой китайской вазы с тонкой талией и длинной шеей, обвитой тесно прильнувшим к ней то ли змием то ли драконом. Уникальная, драго-

ценная лампа, сверху донизу виртуозно расписанная замысловатым золотым узором. Присмотренная и купленная в 30-е годы в комиссионном магазине, лампа происходила едва ли не из дворца в Ораниенбауме, где до самой войны вроде бы сохранялся ее двойник. Что стало с парной ораниенбаумской лампой неизвестно, но та, что попала в дом Елизаветы Наумовны, долгие годы освещала уютные «Елизаветинские» вечера.

Можно сладостно и бесконечно долго перечислять не поддающиеся пересчету предметы и предметики, заполнявшие Елизаветино жилище, все его полки, шкафчики, углы и закоулки. Все участники комнатного ансамбля, старинные и современные, пустяковые и бесценные, что-то помнили и о чем-то напоминали своей хозяйке. Изящный пюпитр красного дерева, принадлежавший некогда мужу-скрипачу, ушедшему осенью 41-го года в ополчение и тогда же пропавшему без вести, помнил, к примеру, о довоенных субботних вечерах, когда в комнате играл скрипичный квартет, в котором один только муж Елизаветы Наумовны не был профессионалом. Он был бухгалтером и прекрасным музыкантом.

Отец Елизаветы Наумовны, владелец издательства «Антика» Наум Зельдович, умер в начале революции, мать в 20-е годы уехала в Палестину вместе с семьей старшей дочери, муж, как уже было сказано, пропал без вести в сорок первом. Елизавета Наумовна осталась с обожаемой, выросившей ее няней Марией Федоровной Перепеловой. Няня тихо жила за ширмой, заботилась о Елизавете Наумовне, ухаживала за ней, как в детстве, варила супы и каши. В последовавшие за няниной смертью долгие годы Елизавета Наумовна уже не обедала, не завтракала и не ужинала, а только пила чай, одна или в хорошей компании. Множество раз в течение дня совершался торжественный ритуал заваривания чая. Все мы дружно считали, что чая вкуснее Елизаветино не бывает.

Елизавета Наумовна была бескорыстным ловцом душ и коллекционером друзей, разборчивым и талантливым. Ей удавалось сохранять дружбы, образовавшиеся в детстве и юности, в давно прошедшие, но не канувшие эпохи, она берегла их, лелеяла, давала новые импульсы. Дружбы разветвлялись, в ряды друзей вливались новые персонажи, принадлежавшие следующим поколениям. Она равноправно дружила с бабушкой — своей гимназической подругой, дочью подруги и ее юной внучкой. Среди друзей были давно повзрослевшие, немолодые уже школьники, которых Елизавета Наумовна в военные и послевоенные годы учила рисованию.

Друзья жили своими жизнями, временами по разным причинам подолгу отсутствовали, переживали катаклизмы собственных судеб, а спустя годы снова рассаживались за круглым столом под китайским фарфоровым драконом и сходу включались в застольную беседу. Собравшись вместе, совершенно разные люди, иногда увидевшие друг друга впервые, с первой же чашки чая превращались в гармоничную компанию, мгновенно проникались взаимным расположением и доверием, и принимались рассказывать друг другу что-нибудь занимательное, нередкое, как теперь говорят, сугубо эксклюзивное.

То есть само по себе право бывать у Елизаветы Наумовны служило как бы рекомендацией, гарантией порядочности, знаком качества. Похоже, что в большинстве случаев так оно и было. В гостях у Елизаветы Наумовны все чувствовали себя интересными людьми, расходились не просто с ощущением содержательного вечера, но и чрезвычайно довольные своей в нем ролью. Устроенные саркастически, мы любили подшучивать над чайными застольями, над светскими повадками Елизаветы Наумовны — прирожденной хозяйки салона. Но все без исключения дорожили возможностью приходить запросто в этот первостатейный московский дом.

Елизавета любила сводить людей друг с другом, щедро делилась знакомствами и друзьями. С разными и неожиданными людьми познакомилась я благодаря Елизаветиной общительности, всех не перечислить. Удивительным оказалось знакомство с художником-анималистом Верой Амелунг, давней приятельницей Елизаветы Наумовны. Случилось так, что заболел маленький мальчик, сын Витиной и Елизаветиной подруги. Болезнь развивалась стремительно, прогнозы делались зловещие. И однажды пасмурным, почти уже зимним днем, нас с Витей делегировали на Гоголевский бульвар, в большой доходный дом, расположенный в самом его устье.

Вера Амелунг — сухощавая, стриженная, серо-седая, очень уже пожилая дама, жила в подвале этого громадного многоэтажного дома. Обладая множеством разнообразных умений, она еще и на картах прекрасно гадала. Кстати говоря, все, что было ею сказано в тот раз о мальчике и его болезни, впоследствии осуществилось в точности. Мальчик выздоровел, вырос, окончил университет, стал чудеснейшим человеком, но прожил на свете недолго — совсем еще молодым скоропостижно скончался от сердечной болени.

Блуждая подвальными лабиринтами в поисках Вериной каморки, мы стучались последовательно во все встречавшиеся по ходу нашего странствования двери. Не получая ниоткуда ни отзвука, ни приглашения, мы решительно толкали очередную дверь, и почти каждая оказывалась незапертой и отворялась беспрепятственно. Навеки запечатлелись в памяти две открывшихся нашим взорам картины. Первый сюжет — огромная затейливо татуированная спящая спина на фоне нарядного, во всю стену, ковра, затканного замысловатыми узорами, чем-то спине этой родственными. И второй — минимально меблированное помещение, простейший квадратный стол посередине (кажется, что и без клеенки), топорный стул, на стуле в состоянии глубокой задумчивости босой мужик в трусах, устремивший остановившийся взор на полупустую трехлитровую банку с чайным грибом. Неплохо жилось Вериным соседям: тепло — раздетым среди зимы, и доверчиво — дверей-то не запирали.

Итак, мы пришли к Вере, заранее заручившись ее согласием раскинуть карты. Даром своим Вера не злоупотребляла, пользовалась им редко, в случае крайней необходимости. Само по себе посещение гадалки, да не какой-нибудь бабки, а аристократки древнего рода с фамилией совершенно необычайной, предприятие загадочное, из ряда вон выходящее, поэтому настроились мы серьезно и

торжественно. Не уверена, но кажется, что огромный дом на Гоголевском бульваре до октябрьского переворота принадлежал Вериной семье, все Верины родные, конечно же, исчезли без следа, а сама Вера жила, как уже было сказано, в подвале собственного дома, где же еще? Но жила не в одиночестве, а с русскими борзыми редкостной красоты. В те дни, когда мы с Витей пришли к Вере, с нею жили мать и сын, Аргунь и Терзай, и были они потомками других, давних борзых, живших в Вериной семье, а позже с одной только Верой, с незапамятных времен. Родословную Аргуни и Терзая Вера знала до мелочей, потому что вырастила и бабок их, и дедов, и прадедов.

В темной пустоватой подвальной комнате, под амбирными часами, украшенными одинокой белой колонкой, в маленьком полукруглом креслице, компактно свернувшись, дремала розовато-белая Аргунь. В кресле она казалась маленькой, изящной, пластикой своей и шелковистостью более всего походила на белую лебедь. Но только до тех пор, пока не соскочила с кресла, не расправилась во весь рост, не продемонстрировала всю свою стать. Терзай же, сын Аргуни, вырос раза в полтора крупнее матери.

Борзые верно служили Вере. Более того, они ее кормили. Режиссер Бондарчук снимал их в фильме «Война и мир» в сцене охоты Наташи Ростовской. Вера сопровождала собак на съемки, получала суточные, которых с лихвой хватало на прокорм всем троим. А когда съемки закончились, Бондарчук, полюбивший собачек, продолжал их подкармливать. Снимались Аргунь с Терзаем и в фильме «Анна Каренина». Все мы видели, как Майя Плисецкая, сама похожая на лебедь, выгибая изумительный стан, прогуливалась с Вериными борзыми по съемочной площадке.

Дверь в полуподвальное Верино жилище то и дело открывалась без стука. Запросто обращаясь на «ты», соседи разных возрастов и обличий о чем-то спрашивали, что-то сообщали, просто заглядывали и обещали зайти попозже. А однажды в проеме возникла фигура страшноватого гиганта (может что и проснувшегося владельца татуированной спины), сипло сообщившего: — Вер, мы с Витькой тебе бочонок капусты заквасили, к вечеру прикантуем. — Вера выслушала сообщение благосклонно и объяснила, что все дети, выросшие на ее глазах в течение тех десятилетий, что прожила она в арбатском дворе, с нею дружат, а когда вырастают, то помогают, чем могут. И главное украшение комнаты, амбирные часы с изящной белой колонкой не семейная реликвия, а найден дружками ее на соседней помойке.

Конечно же, я предложила вывести собак на прогулку. Вера, скептически усмехнувшись, позволила прогулять изящную Аргунь. Прогулка потребовала максимальных физических усилий. От ужаса мне показалось, что мощь и напор Аргуни равны нескольким лошадиным силам.

Только однажды пришлось мне побывать в Верином доме. Но несколько раз я видела, как Аргунь и Терзай стремительно влекли легконогую Веру по заиндевевшему или весенне-тополиному Гоголевскому бульвару. Тонкая женщина с резким профилем, в берете, влекомая парой бело-розовых борзых, напоминала античного героя, несущегося на крылатой колеснице.

Через несколько лет после нашего визита Веру переселили с Гоголевского бульвара в новый микрорайон Чертаново, улучшили ее жилищные условия. Постаревшая, больная, разлученная с друзьями и соседями, содержать собак она уже не могла. Аргунь и Терзая передала в чьи-то надежные руки, а сама очень скоро умерла в своей однокомнатной квартире.

От Веры Амелунг возвращаюсь к Елизавете Наумовне, удивлявшей друзей силой духа и повседневным мужеством. Не перечить больниц, в которые попадала она с сердечными и всякими иными приступами. Обыкновенно в больницу ее увозили ночью, в карете скорой помощи, в самом критическом состоянии. Наутро, узнав от соседки о случившемся, Витя Гордон оповещала публику, и к вечеру у справочной очередной больницы, где бы она ни находилась, выстраивалась небольшая очередь друзей. Являлись не с пустыми руками, а с непременным больничным набором, включавшим в себя шоколадку, вилку и пачку рублевых бумажек.

Шоколадка под подушкой (с легкой руки отца ее, умершего в начале революции, но успевшего пристрастить любимую дочь к сладкой жизни) была предметом первой необходимости и требовалась Елизавете Наумовне для круглосуточного поддержания тонуса и бодрости духа. Вилка — для сохранения человеческого достоинства (Елизавета Наумовна не могла есть больничную котлету ложкой). Рубли — для налаживания добрых отношений с младшим медицинским персоналом. Система работала без сбоев. Вот только иногда у Елизаветы Наумовны скапливалось слишком много вилок. Шоколадки и рубли лишними не бывали.

И тщеславие не было чуждо Елизавете Наумовне. Она обожала парады друзей, проходившие через очередную больничную палату. Наши посещения нередко превращались в шоу, парад—алле, устраиваемые Елизаветой Наумовной перед случайными соседями—зрителями. Критическое состояние, в котором она обыкновенно попадала в больницу, ничего не меняло. Ну, а мы исправно исполняли назначенные роли, Елизавету Наумовну не подводили и едва успевали смеяться друг друга.

В любом состоянии, как бы плоха она ни была, Елизавета умудрялась выглядеть персонажем екатерининской эпохи. Воздушная седина способствовала успеху этого фокуса. Взбитые белоснежные волосы и абсолютная бледность в сочетании с подкрашенными губами и подведенными глазами ассоциировались с пудренными париками и мушками. Удивительно, но сторбленная, с давно и безнадежно деформированным позвоночником, Елизавета казалась грациозной дамой с образцовой осанкой. Никаких тапочек, только высокие каблуки. И даже тогда, когда уже сломана была шейка бедра, Елизавета Наумовна просила меня присмотреть ей новые туфли на каблуках, но только не на таких высоких, как обычно. Учитывая туфельный дефицит, согласна была и на красные.

Когда пришла пора и Елизавете Наумовне покидать Арбат, многочисленные друзья пришли на помощь, явились упаковывать вещи. Полумертвая Елизавета, обессилено распростертая на диване, руководила нашими действиями, распределяла участки работы. Мы разбирали и увязывали стопки предметов, похожие то

ли на геологические напластования, то ли на сталагмиты. Высокие эти терриконы давно уже стали подобием мебели, красиво закутанной в изредка обновляемые платки и шали с любимыми Елизаветиными розами. По мере разборки и упаковки терриконы эти открывали нашим взорам срезы минувших эпох. Мы ощущали себя археологами, а комнату Елизаветы Наумовны — Геркуланумом.

Если сверху лежали приглашения на недавние вернисажи и относительно свежие поздравительные открытки не более чем десятилетней давности, то по мере продвижения вглубь попадались свидетельства более отдаленных эпох. Нашлись наконец—то продуктовые карточки, потеря которых в 1943 году едва не стоила жизни Елизавете Наумовне и ее нежно любимой няне, Москвы во время войны не покидавших. Еще глубже обнаружилось приглашение на выборы в Верховный совет СССР, состоявшиеся 12 декабря 1937 года. Няню, Марию Федоровну Перепелову, приглашали «притти на выборы и отдать свой голос за лучшую стахановку Метростроя, летчицу, парашютистку, активную комсомолку тов. Федорову Т.В.», а также «голосовать за кандидатуру стойкого большевика — Председателя Совнаркома РСФСР товарища Булганина Н.А.»

В самом низу стопки, на полу, отчасти к нему прилипнув, лежала абонентская книжка Московской телефонной сети, датированная каким—то из 900—х годов XX века (увы, не помню каким именно). Отец Елизаветы Наумовны, издатель Наум Зельдович, был одним из первых абонентов Московской телефонной сети.

Казалось, что в момент обнаружения документа Елизавета Наумовна находилась в почти бессознательном состоянии — с глазами, подернутыми пленкой, лежала без сил на диване. Однако на мое сообщение о забавной находке среагировала живо, очнулась и тут же спрятала раритет в ридикюль. И спустя полгода, после очередного ее возрождения из пепла (то есть возвращения из больницы), не без труда погрузившись в такси, мы с Елизаветой Наумовной отправились на прием к начальнику Кутузовского телефонного узла и подарили ему редкий документ. Тронутый подарком начальник не остался в долгу и распорядился немедленно, вне всякой очереди, установить телефон в новой Елизаветиной квартире. Несомненно, что Елизавета Наумовна была находчива, в меру предприимчива и умела общаться с самыми разными людьми.

Эпопея с выселением из арбатского дома была длительной, болезненной, и в очередной раз продемонстрировала незаурядную коммуникабельность Елизаветы Наумовны, а также силу ее духа. Состояние здоровья иллюзий не оставляло. Казалось, что этого потрясения она не перенесет. Так же подумали и те, от кого зависело качество, а главное — местоположение новой квартиры. Начальственная дама, с которой почти умирающая Елизавета вступила в проникновенную телефонную связь, проявила немислимое благородство и распорядилась не выбрасывать старушку—художницу на окраину, а дать ей двухкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте, визави с домом Брежнева. Исполкомовская вершительница судеб ощутила себя благодетельницей, ни минуты не сомневаясь в том, что в самое ближайшее время отменная квартира вновь поступит в ее распоряжение.

Не тут—то было! Хотя в тот день, когда ее имущество поехало на новую квартиру, сама Елизавета Наумовна в критическом состоянии, на «Скорой», доставлена была в больницу и помещена в реанимацию. Из последних сил, лежа, руководила она сборами и окончательно рухнула только в день переезда. Пролежала в больнице полгода. Мне поручила контакты с домоуправлением и внесение квартплаты. Полгода я выслушивала сетования по поводу того, что квартиры раздают не нормальным людям, а помирающим дохлякам, в результате чего жилплощадь понапрасну простаивает и дряхлеет.

Переезд произошел в начале сентября, а ближе к весне Елизавета Наумовна вышла из больницы и наконец—то прибыла в новую свою квартиру. Конечно, второго арбатского салона не получилось. Не было больше круглого стола, мало осталось сил. Чай пили на узенькой кухне, за маленьким раскладным столиком. Но друзья, все те же, приходили в гости регулярно. Вот только теперь Елизавета Наумовна предпочитала, чтобы приходили по очереди, а не скапливались толпами. Она растягивала удовольствие общения, смаковала его.

Круглого стола не было потому, что, предчувствуя неизбежный переезд, Елизавета Наумовна заранее распорядилась своим имуществом. Стол, поставец, часы, пюпитр и многое другое задумала продать в Тарханы, имение Лермонтова. На несравненно более выгодные предложения охотников за антиквариатом отвечала отказом. Не без тщеславия представляла себе, как сроднившиеся с нею предметы окажутся в экспозиции музея. Подсчитала, что до конца жизни ей хватит тех трех тысяч, которые посулил заплатить представитель музея за целую кучу бесценных вещей.

Подсчитала, но, к счастью ли, к сожалению ли, ошиблась. Деньги эти Елизавета истратила задолго до своего конца. Хорошо еще, что оставались кое—какие мелочи, интересовавшие антикваров. Жаль только, что до Тархан, по свидетельству людей там бывавших, замечательные Елизаветины вещи не добрались и экспозицию музея не украсили. Очевидно, осели по дороге у знатоков и ценителей.

Отдавая вещи в Тарханы, Елизавета Наумовна решила и друзей своих, не откладывая на «потом», во избежание недоразумений, одарить при жизни. Кому—то достались бронзовые подсвечники, кому—то оловянное блюдо с рельефами, кто—то получил старинный географический атлас. То есть «всем сестрам — по серьгам». А чудную библиотеку Елизавета завещала молодому другу — историку Виталию.

Сначала почти, а потом и окончательно ослепшая, с переломом шейки бедра и пышным букетом разнообразнейших болезней, на заключительном этапе уже не вставая с постели, Елизавета Наумовна прожила в новой квартире более девяти лет. До самого конца ее не оставили ни друзья, ни присутствие духа. А в наших домах живут вещицы, подаренные ею не случайно, а обдуманно. Мне, например, Елизавета подарила нитку вишневых янтарных бус, подарила потому, что у остальных подруг были сыновья, а у меня дочь, и у бус, таким образом, перспектива. Янтарные бусы эти не просто красивы, но имеют еще и свою историю.

В середине 20-х муж Елизаветы Наумовны отправился по профессиональным своим делам в буржуазную Литву. Жена заказала ему янтарные бусы, остро необходимые в качестве дополнения к вышитой в украинском стиле батистовой блузке изумительно тонкой работы. Вкус и требовательность капризной Елизаветы Наумовны муж хорошо знал и, пересмотрев множество янтарных бус, единственно нужных ни в Вильнюсе, ни в Каунасе не обнаружил. То есть заказанного аленького цветочка не добыл.

Вернувшись в Москву и сойдя с трамвая, шедшего от площади Белорусского вокзала до Арбатской площади, он подходил уже к дому, как вдруг увидел на углу старика перса в длинном халате и чалме. На коричневой худой руке перса висела длинная нитка бус из крупного янтаря апельсинового цвета. То есть те самые бусы, которые муж тщетно искал в Литве! С годами с бусами произошла метаморфоза. По неизвестной причине из апельсиновых они сделались вишневыми, и в таком качестве продолжают существовать в нашем доме.

Елизавета Наумовна страстно любила кошек (а особенно их изображения) и розы (в любом виде). В те годы в каждой московской галантерее продавались штапельные платки с розами на белом или черном фоне (действительно очень красивые), в изобилии выпускавшиеся текстильной промышленностью и стоившие недорого — рубль тридцать или два пятьдесят, в зависимости от размера.

Штапельный платок с розами — лучший подарок Елизавете по любому поводу или вовсе без повода. Очередной платок набрасывался на очередную стопку предметов, на ширму, на спинку кресла и органично вписывался в интерьер, выстроенный хозяйкой комнаты наподобие театральных декораций. Что не удивительно, потому что в середине 20-х Елизавета Наумовна училась в лаборатории-мастерской материальной культуры при театре Революции по специальности «художник театра», а в 30-м году макет ее постановки спектакля «Балаган» для Дома культуры им. Горбунова даже экспонировался на выставке Профинтерна в Париже.

А с 1919 по 1924 год Елизавета Наумовна училась во ВХУТЕМАС`е у Александра Шевченко и рано умершей Любви Поповой, почитала учителей своих и часто вспоминала. Рисовала же до тех пор, пока не ослепла окончательно. Рисовала шариковой ручкой или цветными мелками что-то пасторальное: романтические замки, старые деревья, натюрмортики с участием роз, фарфора, старинных часов и кошек, расписывала кухонные доски. Милые рисунки, славные изделия, трогательные, теплые, очень камерные.

И после смерти Елизаветы Наумовны, когда пришла пора освобождать квартиру, картонный короб с этими рисунками, художественной ценности не имевшими, с семейными фотографиями и разным бумажным сором выставлен был на лестничную площадку. Соседка по дому обнаружила сиротливый короб, позвонила Вите, Витя — нам, Женя тут же поехал на Кутузовский проспект, успел вовремя (дворники еще не вынесли короб с хламом на помойку), и привез рисунки и фотографии к нам домой. У нас они и хранятся.

И вдруг, через двадцать лет после смерти Елизаветы Наумовны, имя ее возникло почти из небытия и зазвучало по-новому. Позвонила общая наша подруга художница Рая Самолюбова и рассказала, что знакомый коллекционер, житель города Венеции и собиратель русского авангарда, приобрел работу Зельдович–Гальпериной вхутемасовского супрематического периода, имя это услышал впервые, пребывает в большом восторге от своего открытия, покупку считает удачей, чрезвычайно заинтригован и мечтает узнать хоть что–нибудь об этой замечательной художнице.

Я бросилась составлять биографическую справку и сопровождала ее чудной фотографией Елизаветы того самого вхутемасовского периода. Фотографию эту (из той же картонной коробки, оставленной на лестничной площадке) Женя по просьбе Елизаветы Наумовны когда–то отреставрировал. Наклеил ошметки покоровившейся от времени фотобумаги на черный картон, переснял, сделал несколько отпечатков.

Теперь оригинал стоит за стеклом книжного шкафа вместе с фотографиями наших бабушек, дедушек и ушедших друзей. На фотографии непривычно черноволосая (мы–то помним ее в серебряном ореоле) молодая Елизавета в обнимку с белым шпицем (отнюдь не с кошкой или котом) полулежит на диване, смотрит в объектив загадочно–интригующим взглядом женщины, знающей цену своему обаянию. Несомненно, что фотографию делал кто–то из Елизаветиных поклонников — поза ее и взгляд неопровержимо свидетельствуют об этом.

Неожиданное возникновение Елизаветы Наумовны в современном художественном контексте стало для нас (нескольких помнящих и по–прежнему любящих ее друзей) большой радостью. Вроде бы давно ушедший друг воскрес чудесным образом и снова присутствует в нашей жизни. Тем более что явлением венецианского коллекционера чудо Елизаветино воскресения не ограничилось. Прошло несколько месяцев, и в свет вышла толстенная книга — фундаментальный труд, посвященный художникам, работавшим во временном промежутке между 1925 и 1935 годами. У книги щемящее название: «Неужели кто–то вспомнил, что мы действительно были...» Автор книги Ольга Осиповна Ройтенберг, профессиональный музыкант, искусствовед, непревзойденный знаток кино, давний друг нашей семьи.

К моменту выхода книги в свет Оли Ройтенберг не было на свете почти четырех года. Но на ее создание она потратила половину жизни. Больной человек, инвалид детства, с трудом передвигавшаяся Ольга Осиповна десятки лет совершала ежедневные подвиги. Обладая сверхъестественным чутьем, смелостью, предприимчивостью на грани авантюризма, попадая в опаснейшие, временами почти криминальные передрыги, она умудрилась разыскать работы множества художников, канувших бесследно, погибших, не продравшихся сквозь дебри трагической эпохи.

С ключом своей Ольга Осиповна являлась в дряхлый домишко, в какую–нибудь забубенную коммунальную квартиру, где некогда, по слухам или в соответствии со старой адресной книжкой, вроде бы жил некий художник. Работ этого художника Ольга Осиповна никогда не видела, судьбу представляла смутно, но,

судя по всему, ее вели волшебные силы. Абсолютно чужие художнику и чуждые искусству люди открывали двери своих квартир и домишек под напором Олиного немереного обаяния и настойчивости.

Более того, Оля умудрялась вскарабкиваться на антресоли и чердаки, рыскала в дровяных сараях и чуланах. Находила и спасала картины, о существовании которых и не подозревали нынешние жители домишек и коммуналок. Был даже мистический эпизод, настоящее чудо, когда она подроспела точно к тому моменту, когда десятки лет хранившиеся за шкафом и захламлявшие коммунальное пространство рулоны решили наконец сжечь. Запалили костер, аутодафе началось, и в этот момент явилась Оля. В тот раз большую часть работ, обреченных на сожжение, удалось спасти. Короче говоря, Ольга Осиповна Ройтенберг выполнила возложенную на нее кем-то миссию — возродила к жизни и вернула истории искусства десятки имен.

Раскрыв книгу, изданную Олиными друзьями, я принялась ее перелистывать, и вдруг открылся передо мной разворот с репродукциями прекрасных работ Елизаветы Наумовны, оказавшихся некогда в Олиных руках. Боже, как счастлива была бы Елизавета, на каком очутилась бы седьмом небе, узнай она об этой книге и о венецианском коллекционере!

А при жизни Елизавету Наумовну, художника, оценил Игорь Витальевич Савицкий. Было это в самом начале 70-х. Московский художник, некогда репрессированный, отбывший срок, после лагеря оказался в ссылке в далеком Нукусе, столице Каракалпакии. И после реабилитации не возвратился в Москву. Директор художественного музея в Нукусе, Савицкий создал грандиозное собрание живописи и графики, своего рода феномен эпохи.

В те годы Савицкий регулярно приезжал в Москву (летом из-за болезни он не мог существовать в узбекском климате и проводил несколько месяцев в Москве), ходил по домам уцелевших художников, а по большей части их наследников, что-то покупал за небольшие деньги, те, которые министерство культуры Каракалпакии могло ему выделить. Хотя и художники, и их наследники счастливы были отдать работы бесплатно.

И Оля Ройтенберг, и Игорь Савицкий, истинные подвижники, знатоки и ценители искусства, спасли от забвения множество имен. Думаю, что работы открытых ими художников далеко не все дожили бы до сегодняшних галерей. Просто физически погибли бы. Это сейчас они стоят дорого, сегодня востребованы и музеями, и частными коллекционерами, продаются на престижных аукционах. А в те годы никого они не интересовали, окружены были в лучшем случае равнодушием, а то и пренебрежением.

Побывал Савицкий и у Елизаветы Наумовны. Мы, друзья Елизаветины, конечно же, порадовались за нее, но никто из нас не потрудился вникнуть в сюжет, поинтересоваться, а что именно отдала Елизавета в Нукус. Знаем только, что вскоре получила она денежный перевод и благодарственную бумагу. Мы оценили благородство Савицкого, который мог бы и не платить ничего, Елизавета и так была

счастлива вниманием к своему творчеству. Надо думать, ушли в Нукус и работы вхутемасовского периода, вроде той, что приобрел венецианский коллекционер, ощущающий себя счастливым открывателем нового имени.

Елизавета Наумовна умерла в конце декабря 1984 года, восьмидесяти двух лет от роду, одна, в больничном коридоре. Когда—то в Комбинате графического искусства принято было прощаться со скончавшимся художником торжественно, со сменявшимся каждые пять минут почетным караулом братьев—художников, в помещении мастерской — на улице Немировича—Данченко.

Обычай этот нравился Елизавете Наумовне, ей тоже хотелось такого прощания. Своим замыслом она не раз делилась с окружающими, живо представляя себе неотвратимую скорбно—торжественную процедуру. Увы, к 1984 году традиция прощания с художниками в помещении мастерской угасла — коллектив постарел, смерти участились, люди зачерствели. Прощались с Елизаветой Наумовной в крематории, поминки справляли в ее опустевшей квартире. Прибыл из Питера племянник, унаследовавший по завещанию драгоценную лампу—вазу, пришли друзья. А я в это время лежала с высокой температурой и Елизавету Наумовну не провожала.

Но едва только фрагмент этого текста, в котором речь идет о Елизавете Наумовне, появился в журнале «Наше Наследие» (№ 83—84 за 2007 г.), чудо ее воскрешения продолжилось. От Валентины Федоровны Тейдер, ученицы, сотрудницы и продолжательницы дела Виктора Дмитриевича Дувакина, я узнала, что в отделе устной истории научной библиотеки МГУ имеются магнитофонные записи разговоров Виктора Дмитриевича с нашей Елизаветой Наумовной. В «кутузовские» уже времена Виктор Дмитриевич и Марина Васильевна Радзишевская побывали в гостях у Елизаветы Наумовны (трижды в феврале 1980 года и один раз в марте 81—го) и записали ее рассказы о прожитой жизни. Пока магнитофонную запись не «отцифровали» (вот до каких времен мы дожили!) я услышала только крошечный кусочек из их бесед, длившихся в общей сложности семь часов. Оказалось, что еще в 2001 году, в одной из передач радио «Свобода», посвященной гимназическому образованию в России, прозвучали ее воспоминания о гимназии Хвостовой. Зазвучал знакомый голос, и из дальней дали возникло видение комнаты, освещенной фарфоровой лампой с драконом, и седовласая наша Елизавета, уютно устроившаяся в уголке дивана. В радиоэфире Елизавета Наумовна очутилась в чудной компании — с давней подругой своей и одноклассницей, мастером художественного слова Еленой Константиновной Гальпериной—Осмеркиной, с лингвистом Александром Александровичем Реформатским и гимназическим его другом, генетиком и биофизиком Николаем Владимировичем Тимофеевым—Ресовским. А ведь о посещениях филологов мы знали, но в суть их, так же, как в случае с Савицким, отчего—то не вникали, пошучивали глуповато, мол, Елизавета—то наша решила в веках остаться.

В те же зимние дни 68—го года, когда случилась встреча с Елизаветой Наумовной, предъявила меня Витя и Михаилу Матвеевичу Шварцману. Однажды вечером она срочно вызвала меня в Спасопесковский. Оказалось, что Михаил Матвее-

вич и дочка его, пятнадцатилетняя Надя, неожиданно зашли в гости, и Витя решила непременно нас познакомиться. Надя и Михаил Матвеевич увлеченно рисовали на больших листах торшона. Благодаря счастливому обыкновению Михаила Матвеевича, разговаривая — рисовать, в домах, где он бывал, сохранились графические свидетельства шварцмановских посещений. Некоторые рисунки с текстами и датами, по ним легко оживить в памяти ушедший в прошлое вечер, давние разговоры и обстоятельства. В память того спасопесковского вечера у меня хранятся рисунки двух Шварцманов — Михаила и Надежды. Ко мне они попали после Витиной смерти.

А тогда я была представлена Шварцману, искоса, но заинтересованно рассмотрена синим ироническим взором и мгновенно вычислена. Оказалось, что еще до войны Михаил Матвеевич вместе со своим школьным товарищем Юрой Рябинным (бабушкиным учеником) бывал в нашем доме и помнил бабушку («старушку Бари», как он ее называл), нашу комнату и бабушкино признание, что она любит «маленьких итальянцев» больше мастеров Высокого Возрождения. Так что теплым чувством, возникшим у Михаила Матвеевича, я обязана не только Витиной рекомендации, но и своей бабушке, Ольге Александровне, умершей за много лет до того зимнего арбатского вечера. И благодаря этому теплomu чувству меня, ровно ничего не умеющую, приняли на работу в замечательное СХКБ.

Организовала и возглавила бюро мощная и влиятельная личность, блестящая женщина, художник–модельер Алла Александровна Левашова. Левашова задумала поднять уровень массовой советской моды и пригласила в СХКБ самых талантливых модельеров, конструкторов, закройщиков и швей, а также небольшую толпу красавиц–манекенщиц. А отдел промышленной графики понадобился для придания дополнительного лоска швейному заведению. Чтобы все было как у людей.

Отдел наш ваял фирменные стили швейных, обувных, трикотажных фабрик, разбросанных по городам, городишкам, поселкам городского типа — по бесконечным российским просторам. По приказу министра легкой промышленности все эти несчастные должны были, не рассуждая, в обязательном порядке, заказывать нашему отделу нечто непонятное, дорогостоящее, о чем и представления не имели, а если и имели, то «в гробу видали». Впрочем, деньги—то за всю эту красоту они платили не свои кровные, а абстрактные, просто переводили нечто виртуальное с одного счета на другой. То есть отпущенные на это мероприятие государственные средства из одного государственного кармана перемещались в другой, тоже государственный — нормальный советский абсурд.

Прозорливая Левашова пригласила Шварцмана на должность главного художника отдела промграфики и назначила оклад, на который семья существовала более или менее безбедно, а сам Михаил Матвеевич мог не отвлекаться на рутинную, тягостную работу. Спасибо ей за это большое, низкий поклон и светлая память!

Художников в наш отдел Шварцман набирал по своему вкусу. С аппетитом и даже азартом он составил ансамбль, который при всем желании нельзя было бы назвать гармоничным. Уж очень разные персонажи склублились в отделе промграфики — разновозрастные, разнофактурные, диаметрально противоположных гене-

тических замесов и характеров, маэстро с амбициями и полные неумехи, еще и не начинавшие входить в профессию. При сверхъестественной интуиции Шварцмана, при удивительной его зоркости, остром интересе к человеческим личностям и взаимоотношениям между ними, такой букет не мог быть собран случайно. Во всяком случае, серых и скучных персонажей в отделе не завелось, а материала для наблюдений оказалось немерено, через край. Как бы то ни было, но на долгие годы два присутственных дня — вторник и пятница, стали самыми интересными, насыщенными и даже счастливыми днями нашей жизни. В те времена мы были для Шварцмана прекрасной аудиторией, готовой усвоить все, что он преподносил нам, мгновенно и доверчиво. А Михаил Матвеевич был эпицентром всего происходящего, его дрожжами, арбитром, личность его завораживала. Категорически и страстно многие из нас вдруг отринули то, что нравилось прежде, и с поразительной готовностью восприняли новое, предложенное взамен прежнего. Плохого не предлагалось, напротив, перед нами открылось множество новых миров. Но одновременно на годы закрылись прежние. Вкусы и пристрастия Шварцмана надолго стали нашими вкусами. Михаил Матвеевич на разные сроки завладел сознанием многих из нас. Даже лексикон наш изменился и пополнился множеством шварцмановских словечек и выражений, по которым и сейчас еще мгновенно определяется «наш человек».

Если по какой-то причине присутственный день отменялся, мы, увлеченные друг другом, встречались, отправлялись куда-нибудь, радовались своему обществу. И то, что через несколько лет идиллическое время миновало, вовсе не перечеркивает тот счастливый период, который мы прожили вместе. Неплохую часть жизни всем нам удалось провести в замечательной компании (и даже кое-чему научиться), а Михаил Матвеевич создал свою школу фирменного знака. Знаки наши и сейчас еще явственно сигнализируют о своем происхождении.

В один из присутственных дней Михаил Матвеевич познакомил нас с подобием манифеста, придавшим ощущение особой значительности делу, которым мы занимались. Текст этот всем понравился, мы декламировали его и даже распевали на разные лады. Вот он, этот манифест:

Мы порываем с сухим заученным дизайном — геометрическими комбинациями, нивелирующими своеобычное, неповторимо индивидуальное, порываем с иллюстративной ложнозначительностью, с назойливой тематичностью, несвойственной структуре знака. Мы новыми трансформациями спонтанно воплощаем извечную мечту о магическом знаке, напряженно ищем полноты означенности, высокой знаковой независимости, благого молчания иератического тавра.

Вот какое загадочное, романтическое кредо сформулировал Михаил Матвеевич для общего нашего пользования! Правда, кое-кого смущало словосочетание «иератическое тавро», понятие это еще не прижилось в нашем лексиконе и ассоциировалось с чем-то сомнительным, наподобие эротического клейма.

Попытка сообщить нечто о том, кем стал Михаил Матвеевич к концу земной своей жизни, была бы беспомощной. Тем более, что последние годы общения наше со Шварцманом ограничивалось телефонными поздравительными звонками. Окруженный ореолом, легендами и апокрифами (нередко самим же им сочиненными или спровоцированными), он дожил до абсолютного признания, почитания и элитарных галерей. А во времена наших вторников и пятниц Шварцман готов был общаться и радоваться жизни с тем же энтузиазмом, что и все мы. Присутственные дни наполнялись разговорами серьезными и шутивными, утрамбовывались беседами, в которых «высокие» сюжеты перемежались всяческой чепухой. Стоит ли говорить, что между собой мы называли (да и сейчас называем) Шварцмана просто Матвеевичем.

Шварцман умел восхититься, поощрить, взглянуть особенным взглядом, в результате чего все ощущали себя талантливыми, а женщины еще и привлекательными. Совместные сидения вокруг длинного стола, поглощение огромных порций новых сведений, появление на арене друзей Шварцмана (личностей чрезвычайно интересных), и, наконец, долгие трапезы в подвальном буфете (царстве, подвластном буфетчице Вале) под сенью льва, написанного на буфетной стене самим Михаилом Матвеевичем — все это составляло содержание стремительно пролетавших вторников и пятниц. Шварцмановского льва в растительном окружении позднее замуровали по распоряжению десантировавшейся на место Левашовой простецкой партийной тетки со швейной фабрики. Думаю, что и теперь еще лев как-то существует под слоем крошащейся плитки из серого ракушечника.

Стержнем наших встреч становились серьезные занятия — совместное сидение над принесенными эскизами. Ничтожные сами по себе, эскизы эти становились отправной точкой, с которой начиналось путешествие вглубь, вширь, вдаль и ввысь. Вполне целомудренные мозги некоторых из нас впитывали всякую всячину и интенсивно ею насыщались. Во время многочасовых сидений Михаил Матвеевич говорил и рисовал одновременно. Чужая почеркушка или чья-то случайная фраза становились началом очередного шварцмановского рисунка и интереснейшего экскурса.

Рисунки выходили разные, простые и замысловатые, сопровождалась текстами, серьезными и шутивными. В каждом из них отпечаток того давнего дня, когда рисунок родился на длинном СХКБ`ешном столе. Фокус заключался в том, чтобы пересидеть остальных и в тот момент, когда Михаил Матвеевич встанет из-за стола и рассеянно отодвинет рисунок в сторону, оказаться к рисунку ближе всех и схватить его. Тут требовались выдержка, быстрота реакции и некоторая даже цепкость.

С окончанием присутственного дня общение не заканчивалось. В том или ином составе расходились по разным маршрутам. Кто-то непременно сопровождал Михаилу Матвеевичу. Неторопливо, беседуя, двигались небольшой толпой по направлению к книжным магазинам. Впереди Шварцман, невысокий, кряжистый, кудряво-бородатый. Букинистический на Качалова, «Дружба» и «Академкнига» на Тверской — эти точки обследовались очень тщательно. По открытым Шварцма-

ном маршрутам мы азартно рыскали по книжным, случалось, покупали диковинки. И в результате у каждого из нас образовалась неплохая библиотека, в значительной степени состоящая из тех книг, на которые обращал наше внимание Шварцман. Вкусом он обладал отменным и глаз имел острый.

Пристрастились мы и к экспедициям в мебельные комиссионки. Левашовский оклад позволял Михаилу Матвеевичу некоторые излишества. Все его увлечения отличались страстностью и увенчивались исключительными результатами. Если уж пришла пора покупать мебель, то на горизонте возникал стол эпохи Ренессанса, в руки сами шли едва ли не готические стулья. Как было не заразиться этим увлечением? Мы им и заражались, вот только нашим результатам до шварцмановских далековато.

Дружно ездили на Преображенку, в мебельную комиссионку, в сумрачных глубинах которой обнаруживались истинные чудеса: старинные зеркала с резными консолями, огромные, величиною с небольшой дом, буфеты, украшенные изображениями фантастических зверей и птиц, сундуки с музыкальными крышками, благородные секретеры карельской березы с потайными ящичками.

А однажды к нашей мастерской подкатил грузовик, и торжествующий Женя с помощью шофера выгрузил из его кузова старинный мольберт — удивительный, двусторонний, дубовый, с бронзовыми деталями и подъемным механизмом. Мольберт был огромен, более того, грандиозен. К мольберту прилагалось видение — то возбужденно подбегающий к этому монстру, то отбегающий от него призрак художника в блузе с большой круглой палитрой и пучком кистей в руках, остервенело работающий над огромным, социально значимым жанровым полотном. А может, над двумя сразу — мольберт—то был двусторонним.

И я поняла опрометчивый Женин поступок, не осудила его — как было удержаться от удивительной преображенской покупки? Мольберт кое—как втиснули в крошечное помещение, четверть века он простоял в мастерской монументом неизвестному художнику—передвижнику, никому из наших не пригодился, а когда пришла пора мастерскую покидать, переместился к другим людям, продолжил странствование во времени и пространстве.

Прослышав о существовании нашего отдела и о духе в нем царившем, к нам потянулись люди с удивительными предложениями и приношениями. Кто—то из наследников каких—то коллекционеров собирался уезжать в дальние страны, у кого—то иные были причины, но то и дело приходил очередной коробейник, и длинный стол заполнялся удивительными предметами. То грудой старинного дагестанского серебра, то ворохом гравюр музейного достоинства. Возникали на столе старопечатные книги, лубки, пасхальные брелоки от Фаберже, египетские скарабеи, древние камни из раскопок. Самое удивительное, что при зарплатах в восемьдесят рублей мы все же умудрялись кое—что покупать.

Время от времени ездили к Шварцманам в гости — к Ираиде Александровне, Михаилу Матвеевичу и Наде. У семьи было два места жительства: одна комната — на 3—й Кабельной улице, в Новых домах, выстроенных в начале 30—х по аме-

риканскому проекту, вторая, тоже коммунальная — в подмосковном городе Люберцы. Комната в Люберцах служила Михаилу Матвеевичу мастерской. Мы приезжали туда оравой и поодиночке. Смотрели живопись и рисунки. Это был ритуал серьезный, напряженный, очень ответственный — Михаил Матвеевич зорко следил за реакцией гостей. В мастерскую тянуло, влекло, хотелось увидеть новые доски, прикоснуться (в буквальном смысле) к старым. Доски можно и нужно было потрогать, погладить, ощутить ладонью выстрадавшую многослойную поверхность, помня и сожалея о том, что в ее глубине навеки замурованы прекраснейшие формы, принесенные в жертву форме позднейшей, не менее прекрасной, по выражению Шварцмана, «обетованной».

Спустя годы две коммунальные комнаты объединились в одной квартире, на 3-й Кабельной. Эта квартира, в отличие от необъятных и замысловатых старомосковских квартир, принадлежала к разряду скромных окраинных коммуналочек. Население ее: соседка Танька — «сама себе гинеколог», старичок со старушкой «заложу ногу за ушко», а также другие персонажи, были хорошо нам знакомы и даже симпатичны по блестящим бурлесковым новеллам Михаила Матвеевича.

Феномен существования иных, необъятных и драгоценных миров за обшарпанными дверьми, выходящими в коммунальные коридоры, знакомы всем москвичам. Фантасмагорические эксперименты эпохи с пространством, местом и временем. Вот и в шварцмановском доме происходило это чудо. Мы входили в унылый подъезд, поднимались по узкой лестнице, попадали в тусклый коридор, открывали невыразительную дверь и оказывались в волшебных покоях, в чертоге. Темнокрасный персидский ковер во всю стену, та самая (готическая вперемешку с ренессансной) мебель с Преображенского рынка, вписавшаяся в комнату естественно и органично, дивные иконы, ряды живописных досок, папки с рисунками — волшебный мир, концентрат чудесного.

Мы сами, наши семьи, наши родители, взаимоотношения разного рода — в те годы все это живо интересовало Михаила Матвеевича. При глубочайшей погруженности в себя и абсолютной самодостаточности, он обладал еще и ресурсом, позволявшим заинтересованно вглядываться в жизни окружающих его людей, а иногда и внедряться в сердцевину чужой ситуации. Активная эта заинтересованность порой приводила к жертвам. Увы, такие случаи бывали и порой губили отношения. Все мы грустили, когда ушел из СХКБ Геннадий Васильевич Чучелов, которого Шварцман называл на итальянский лад славным именем Чучеллио. Что-то произошло между ними, взаимно озорчительное и обидное. А ведь, набирая команду, именно Геннадия Васильевича Шварцман пригласил в отдел первым своим помощником.

Они дружили и даже собирались вместе в Италию, когда Левашовой удалось организовать эту невероятную по тем временам поездку. План с самого начала был фантастическим, он только казался реальным. Итальянские красоты поманили-помаячили, да и растаяли в пресловутом сфумато. Хотя кому-кому, а этим двум художникам поехать в Италию нужно было бы непременно. Однако в райко-

ме партии с этим не согласились, и Геннадий Васильевич с Михаилом Матвеевичем, как им и полагалось по советской табели о рангах, получили по райкомовской оплеухе. Так что приготовленные в поездку нарядные рубашки и галстуки скромнейший Геннадий Васильевич обновил, а потом и донашивал, на родине.

В Италию же поехали тетеньки из бухгалтерии и отдела кадров, а представителем художников (вместо Шварцмана и Чучелова) — начальница отдела фурнитуры Лючия Олеговна. Удивительно, как это ее пустили туда с таким подозрительно итальянским именем. По рассказам путешественниц, среди итальянцев имя пользовалось большим успехом и вносило теплую ноту в контакты с аборигенами.

Съездили дамы замечательно — себя показали, на людей поглядели и отдохнули чудесно. До четырех часов исправно ездили на экскурсии, болтались по магазинам, но уж после четырех из номеров ни ногой. Полеживали на удобных койках, вязали шарфы из итальянского мохера, совмещали приятное с полезным. В те времена шерстяные нитки запрещалось перевозить через границу. В мотках легко было спрятать валюту или еще что-нибудь запрещенное. Поэтому, отоварившись дешевым мохером, следовало как можно быстрее (поездка-то продолжалась всего шесть суток) превратить его в изделие. Для скорости вязали длиннющие шарфы на спицах толщиной в бревно. Грустно, но ни Геннадий Васильевич, ни Михаил Матвеевич в Италии так и не побывали.

Не все уходили из отдела так же тихо и смиренно, как Геннадий Васильевич. Кто-то покидал контору со жгучей обидой, с камнем за пазухой. Увы, случались и такие печальные сюжеты. К счастью, художники, пришедшие позже, не первого призыва, а последующих, не переживали столь бурных коллизий. Дистанцию, масштаб личности Михаила Матвеевича, формы взаимоотношений они ощущали и устанавливали аккуратнее, точнее, мудрее.

Всем нам Михаил Матвеевич дал бесконечно много, вот только каждый воспринял ровно столько, сколько было ему по мерке. Говорить о себе, что мы ученики Шварцмана, не приходится. Думаю, что учеников среди нас немного, если они вообще существуют. Да и могли ли они быть, нужны ли были — вот вопрос. Многим очень хотелось стать учениками, некоторым что-то мерещилось, но удалось ли кому-нибудь?

Михаил Матвеевич — тема неисчерпаемая. К счастью, хотя бы в этом редком случае нет оснований казнить тем, что в очередной раз произошел казус под названием «нет пророка в своем отечестве». Все мы прекрасно понимали, с кем свела нас судьба. Да и сам Михаил Матвеевич немало этому пониманию способствовал. Даже если и было в его самоощущении нечто гипнотическое, жалеть об этом не приходится. Просто с самого начала он помог нам с большой точностью определить свое, шварцмановское место в соответствующей системе координат. И разного рода обиды, ссоры, страсти не уничтожили этого понимания. И не так уж плохо, что мы не канонизировали Шварцмана, не засахарили безжалостно образ этого человека. Сентиментальные апокрифы только выхолостили бы память о нем. Увы, но настал момент, когда отдел наш стал для Шварцмана обузой. Тем не менее, длился этот аль-

янс (а с некоторых пор мезальянс) девятнадцать лет, до тех пор, пока Михаил Матвеевич, не выдержав новой, неблагоприятной атмосферы, за год до пенсии не ушел с работы. Это была уже глубоко постлевашовская эпоха, давным-давно на место скончавшейся зимою 1974 года Аллы Александровны пришли хамы, а некоторые из нас, тоже, увы, по-хамски, коряво, незлегантно ушли из отдела.

Один за другим мы придумывали обиды, разбрелись в разные стороны, как будто в отместку за ту увлеченность, в которую сами же, без всякого принуждения, некогда ринулись с головой. Один из нас, на поминках по Михаилу Матвеевичу, произнес от общего имени пафосную речь, и в ответ мы услышали от Ираиды Александровны, что Шварцман говорил обо всех нас в те кризисные времена: — Я кормлю их грудью, а они норовят ее отгрызть. — Что ж, это справедливо! Не знаю, понесли ли ущерб наши индивидуальности от мощного воздействия личности Шварцмана. Да и стоило ли этими индивидуальностями так уж дорожить? Бесценных же приобретений оказалось множество.

И когда в ноябре 1997 года все мы встретились на отпевании Михаила Матвеевича в Храме Живоносного источника Богородицы в заснеженном Царицыно, то ощутили нашу общность, даже с теми, с кем не виделись множество лет, расстались когда-то холодно, с кем давно уже обитаем в разных галактиках. Но есть шутики, выражения, оценки, недоговоренности, понятные только нашему кругу, пусть даже и распавшемуся. К счастью, многие человеческие связи, образовавшиеся под сенью Шварцмана и с его благословения, не только не распались, но укрепились, расцвели и стали дружбами на всю жизнь.

Встрече в предзимнем Царицыно предшествовала еще одна, предпоследняя, произошедшая полутора годами раньше, в Третьяковке, на огромной выставке Шварцмана. Значительное событие обставлено было не без помпезности, как оно того и заслуживало. Поразило, что в шестьдесят девять лет (совсем немного по нынешним временам) Михаил Матвеевич выглядел старцем, почти праотцем. Приглашая необъятную толпу в залы, Михаил Матвеевич произнес: — Приглашаю вас в Третье тысячелетье!

А в те, может и не лучшие, но прежние времена — времена возникновения и расцвета нашего отдела, Михаил Матвеевич был обаятельнейшим сорокалетним мужчиной (конечно же, на наш взгляд весьма уже пожилым), очень еще земным, азартным, горячим. Рисунки его тех лет и темперамент казались мне страстными, чувственными. С каждым годом этот первоначальный слой уходил все глубже (отнюдь не исчезая), на первооснову наслаивались другие слои, более тонкие и сложные, дополняющие, усложняющие первоначальное — земное и чувственное. Живопись перестала быть просто живописью и обрела иное качество, о чем замечательно сказал священник, друживший со Шварцманом и отпевавший Михаила Матвеевича. Судя по всему, они понимали друг друга на глубоком и тонком уровне.

Михаил Матвеевич, глубоко верующий человек, захотел, тем не менее, чтобы его кремировали, а прах развеяли — он не любил рвов. Но развеять прах у родных духу не хватило. Над могилой его, на Донском кладбище, под старым кленом,

черный мраморный крест необычайной красоты. Особым (шварцмановским) шрифтом на кресте высечено — «ЧЕРТОГ ТВОЙ ВИЖДУ».

Шварцман был главным художником нашего отдела, а Нина Григорьевна Беус его начальником. Глядя из сегодняшнего далека в другое далеко, позавчерашнее, удивляюсь чутью Левашовой. Начальница наша Нина Григорьевна ну никак не соответствовала начальственному стереотипу. Пригласив Нину Григорьевну на эту должность, Левашова сделала неожиданный выбор, однако, как показало время, талантливый и точный. Особенной, неформальной атмосферой, сложившейся в нашем отделе, ничуть не похожей на ту, что царил в советских учреждениях, мы, несомненно, на пятьдесят процентов обязаны Нине Григорьевне. Женщина с яркой, почти экзотической внешностью (гречанка по отцу, российская аристократка по матери), с миндалевидными глазами и непосредственными манерами, эмоциональная, всегда нарядная — в замысловато накрученной чалме, в серебряном звоне цепей и подвесок, в развевающемся ярком крепдешине (а не в шевиоте, не в кримплоне и не в джерси, в которые облакались обыкновенно начальственные фигуры и тела) Нина Григорьевна имиджем своим поражала воображение окружающей публики (и продолжает поражать ныне). А ведь жизнь не расслабляла эту прекрасную даму, напротив, держала в ежовых рукавицах. В детстве оставила фактической сиротой — отца Нины Григорьевны расстреляли, мать, смолянку, окончившую институт с шифром (маленькой, осыпанной брильянтами царской короной из червонного золота на голубом муаровом банте) и статусом фрейлины императрицы, отправили в лагерь, откуда через много лет она вернулась совершенно сломленным человеком. А корону на голубом банте на глазах четырнадцатилетней Нины Григорьевны сунул в карман галифе энкаведешник.

И осталась девочка на попечении тетушки, сестры матери, мужа которой постигла та же участь, что и отца Нины Григорьевны. Галина Николаевна тоже окончила Смольный институт, но не с шифром, а с золотой медалью. Медалью сестры распорядились лучше, чем шифром — еще при нэпе снесли в торгсин и на вырученные червонцы купили два чудных берета и две пары прынелевых туфелек. Точно такие же туфли, в память о тех, торгсиновских, через много-много лет Нина Григорьевна привезла из города Сиднея, где провела два божественных месяца у дальнего родственника, славного человека, отыскавшегося в новейшие времена на далеком континенте.

Но как бы ни складывалась ее судьба, Нина Григорьевна унынию не предавалась, не трусила, не робела, за словом в карман не лезла, смело бралась за осуществление самых фантастических проектов, и могла бы издать пособие по выживанию в экстремальных условиях советской и постсоветской действительности. Вот уже лет тридцать никакая нам Нина Григорьевна не начальница, служебные отношения остались в далеком прошлом, но сменились дружескими, почти родственными. Все эти годы мы не устаем восхищаться жизнелюбием, дееспособностью, силой духа и душевным здоровьем этой женщины. На фоне полного, кстати говоря, отсутствия склероза!

Каждый год, 21 января, мы (сообщество подруг) собираемся в крошечной нарядной квартирке Нины Григорьевны среди мишуры, блесков и серебряного звона, овеваемые воздушными нарядами хозяйки и запахом хороших духов, дружно верещим и шумно празднуем очередной день рождения в своей замечательной компании, родившейся в том самом левашовском СХКБ. Вот только мужчины, прежде водившиеся в изобилии, сошли на нет. Куда—то все они подевались, эти мужчины: одни растворились в иных мирах, другие переселились в мир виртуальный и навеки оконечили перед экранами мониторов, кто—то чрезмерно заматерел, некоторые необратимо замаэстрились (выражение Михаила Матвеевича), остальные потеряли интерес к нашему обществу. Да без них вроде бы и веселее, и неприужденнее. Каждая из подруг заслуживает отдельной новеллы (повести, романа), но эту цепочку стоит сплести в другой раз, иначе никогда не добраться до точки.

А в годовщину образования нашего замечательного отдела совсем еще молодая (сорока четырех лет от роду) начальница резво вскочила на длинный, уставленный яствами праздничный стол, за которым обыкновенно происходили консультации и художественные советы, и лихо пробежала на высоких каблучках с одного его конца на другой, не задев ни бутылки, ни рюмки, ни тарелки. И в те же как раз времена художник Александр Андреевич Васин (будущий прадед нашего будущего внука) присвоил Нине Григорьевне титул «Лучшие ноги МОСХа», а уж Александр—то Андреевич смыслил в женской красоте. В ту памятную многим годовщину на Нине Григорьевне было прелестное платье от Шанель, купленное по счастливому случаю за двадцать рублей в комиссионке на улице Горького (случались и такие чудеса). На днях, спустя сорок лет после того давнего события, Нина Григорьевна подробно описала мне это чудное платьице из черной шелковой тафты, с маленьким круглым воротничком, застежкой на мелких пуговках, с рукавами три четверти, заниженной талией и пышной юбкой с двумя встречными складками, отделанной понизу тремя рядами черного шелкового сутажа. Платье вспомнилось потому, что неделю назад Нина Григорьевна извлекла его из шкафа и подарила Инночке, взрослой дочери Саши Шумилина, одного из трех наших маэстро. Инна приехала в Москву из города Беэр—Шева на похороны отца, не дожившего до семидесятилетнего своего юбилея. Тоненькой Инночке платьице от Шанель оказалось впору. А сегодняшняя мода счастливым образом совпала с модой сорокалетней давности. Возвратившись домой, Инночка в тот же день обновила платье, и друзья ее утверждают, что точно в таком же (один к одному) изображена на давнем фото прелестная Жаклин Кеннеди. С одной стороны, жаль, конечно, что платьице оказалось не эксклюзивным, но с другой стороны, Жаклин Кеннеди это вам не фунт изюма.

Итак, давний папин замысел познакомить меня с Викторией Ильиничной и приистекшая из этого замысла дружба, привели к многообразным последствиям. Познакомив меня с Геннадием Васильевичем и Михаилом Матвеевичем, пристроив в СХКБ, Витя определила на десятилетия вперед род наших с Женей занятий, увлечений, круг друзей. Наша жизнь пошла так, а не иначе с Витиной легкой и доброй руки.

Встреча с Витей Гордон редкая удача. Я понимала это и тогда, когда Витя была жива и здорова, и теперь, когда ее давно уже нет на свете. Витя умудрилась умереть в день моего рождения, 27 января 1989 года.

Всю жизнь Витя отличалась фотогеничностью. Чудесная девочка, подросток редкостной прелести, обворожительная юная альпинистка в бикини на фоне снежных вершин, женщина на пике расцвета. И абсурдом среди этих радостных, лирических, трогательных фотографий живой Вити оказалась толстая пачка фото, сделанных в ритуальном зале Митинского крематория. Что заставило Льва Исидоровича пригласить фотографа для того, чтобы он нащелкал и напечатал во множестве экземпляров изображения Вити в гробу, окруженном толпой провожающих? Мы прощались с Витей под нескончаемой чередой магниевых вспышек.

Я не знала, что делать с пачкой этих скорбных снимков. Даже во сне сообщала, как с ними поступить? И однажды в предутреннем сновидении явилась мне Витя и посоветовала немедленно отправиться на Крылатские холмы и сжечь эти странные фотографии. Я обрадовалась Витиному предложению, вскочила и через десять минут была на холмах. Фотографии вспыхнули с поразительной готовностью и в одну секунду сгорели дотла. Тут же налетел ветерок, пепел взвихрился и рассеялся. Решение оказалось простым и конструктивным, совершенно в Витином вкусе.

1999–2007



Истории
из истории
советского
костюма,
а также
сопутствующие
им истории
в жанре
эго-истории



Бразды пушистые взрывая...

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

Голь на выдумки хитра.

Русская народная поговорка

Взрывая бразды памяти, вспоминаю датского карикатуриста Херлуфа Бидструпа. Не нравились мне его карикатуры, казались пошловатыми. А по душе мне был Леонид Сойфертис, публиковавший артистичные свои рисунки в журнале «Крокодил». Я ведь выросла на «Крокодиле», потому что тетушка моя была его сотрудником и зарабатывала на жизнь писанием так называемых рецензий. Тысячи людей из уголков и весей, мечтая опубликоваться в популярном печатном органе, присылали в журнал свои карикатуры. А те, которые рисовать не умели, формулировали, кто как мог, замыслы пришедших им в голову сатирических сюжетов. Тетушка моя живо реагировала на присланное, объясняла, почему карикатура не может быть напечатана, а идея использована. Хотя изредка кое-что из присланного в печать все же проникало. Подобной поденщиной в литературных, художественных и научно-технических журналах десятки лет зарабатывали на жизнь мириады гуманитариев и технарей. Благодаря этой благословенной рутинной работе, обеспечивавшей скромное пропитание семьи, рецензенты могли заниматься творчеством или фундаментальной наукой и создавать нетленные ценности (в просторечии «нетленки»).

Причем тут Бидstrup? А при том, что только один его комикс казался мне смешным. Черда картинок изображала удаляющуюся от зрителя соблазнительную, щегольски одетую женскую фигурку. Некий персонаж фигуркой заинтригован, распален, в возбуждении мчит за ней, настигает, женщина оборачивается и... о ужас! о разочарование! оказывается не молодой соблазнительной женщиной, а крючконосой каргой преклонного возраста, к тому же с хищным оскалом.

Вот и я намеренно шла себе по Поварской и чуть впереди, на противоположном тротуаре, увидела женщину в сияющем белом одеянии, облика (со спины) ангельского, разве что без крыльев. Белая шляпа с белейшим пером, белая меховая курточка, белые лайковые брючки, белые сапоги. И даже кудри из-под шляпки вились серебряные.

Сегодня встретить на московской улице хорошо одетую женщину не диво. Но слишком уж тщательно и продуманно одета была моя незнакомка. Очень мне захотелось взглянуть на нее поближе. И я, подобно бидstrupовскому преследователю, устремилась вослед женщине в белом. Как и следовало ожидать, произошел аналогичный казус — дама оказалась не юной девой, а женщиной лет семидесяти с хвостиком. Но выглядела не смешно, а трогательно, потому что выражение лица имела доброе, простодушно счастливое, и по улице шествовала торжественной поступью, гордясь нарядом и радуясь ему. Конечно же, лет сорок, тридцать или даже

двадцать назад чудные эти вещи смотрелись бы на ней уместнее, но вряд ли были доступны. И я принялась вспоминать обстоятельства, перипетии и переживания, а также минуты азарта и восторга, пережитые благодаря эпизодам счастливого обретения предметов одежды в те времена, когда на дворе и не пахло рыночной экономикой, когда появление новой вещи становилось волнующим и праздничным событием. А некоторые удачи становились знаковыми, оказывались своего рода вехами на (высокопарно говоря) жизненном пути. С сегодняшней колокольни переживания наши и ликования кажутся мелкотравчатыми, убогими, ситуации — ничтожными. Но в сюжетах этих и эпизодах кажется что-то отразилось. В сущности, какая разница, сквозь какую призму заглядывать в собственное прошлое. Тем более, что жанр эго-истории где-то там прописался и имеет отныне право на существование. Можно ведь попытаться рассказать обо всей этой чепухе более или менее занимательно?

Про то, во что одевались мы и наши родители Дефицит всего на свете наступил лет за тридцать до моего рождения. И с этого момента весь текстиль, существовавший в московских домах (тот, что не обменяли на съестное в годы военного коммунизма), обречен был на череду реинкарнаций. Во многих семьях живы истории удивительных перевоплощений бабушкиных салопов, дедушкиных фраков, плюшевых занавесей, украшавших канувшие в вечность гостиные, а также прочих тряпичных изделий, имевшихся к началу революции в домах среднего достатка. Из наших семейных преданий известно, что уже в начале 20-х бабушкино бархатное концертное платье обернулось двумя детскими пальтишками. А вот дедушкин смокинг дожил до начала 30-х. И только в эпоху развитого социализма из него сшили костюм для моей тетушки, студентки Института истории, философии, литературы и искусства, знаменитого ИФЛИ.

Перешивали наряды домашние портнихи — скромные, но ценные кадры. Вот и в нашем доме, уже в 60-е годы, каждую среду появлялась бодрая маленькая женщина — домашняя портниха Галина Дмитриевна. Галина Дмитриевна бралась за любую работу, ничем не гнушалась, шила быстро, с одной примеркой, а то и вовсе без нее. Деньги за работу брала смешные — от рубля до десяти. Вещи, сшитые Галиной Дмитриевной, сидели неплохо, вроде бы были к лицу, но век их оказывался на удивление коротким. Что-то вытягивалось, почему-то распарывалось, где-то начинало тянуть. Но нас это не смущало и не отпугивало, ведь шила-то Галина Дмитриевна не из новых тканей, а из всяческого старья.

Кроме нас клиентками Галины Дмитриевны стали все наши подруги, приятельницы подруг, а также родственницы и соседки приятельниц. Круг заказчиц постоянно расширялся, а еженедельные явления домашней портнихи, несмотря на некоторую обременительность, создавали ощущение перманентного праздника.

Нашу единственную восемнадцатиметровую комнату, в которой каждую среду происходила эта уютная дамская тусовка, разделял на две равные половины

тяжелый, почти театральный занавес терракотового цвета. Дальняя, светлая ее половина служила моему отцу—художнику мастерской. В ней обитал мольберт, подаренный папе—студенту Михаилом Васильевичем Нестеровым, а также допотопная, рожденная в Италии еще до прихода к власти Бенито Муссолини, пишущая машинка «Оливетти». Жизнь свою «Оливетти» прожила в чьем—то интеллигентном московском доме, а на склоне лет постаревшая, но все еще работоспособная, перебралась в наш, может и не такой интеллигентный, но тоже неплохой.

На «Оливетти» папа двумя пальцами печатал письма—консультации сотням учеников, проживавшим во всех уголках Советского Союза. Работал папа в Заочном народном университете искусств. То есть на жизнь зарабатывал тем же способом, что и тетушка моя, внештатная сотрудница журнала «Крокодил». Аналогично гуманитариям и технарям, подвизавшимся в разного рода журналах, многие московские художники кормили себя и свои семьи работой в благословенном ЗНУИ, обучали живописи и рисунку десятки тысяч самодеятельных художников. Вот такая вот армия любителей изобразительного искусства проживала некогда на просторах нашей Родины. И, кстати говоря, заочное это обучение давало удивительные, диковинные плоды. Впрочем, это тема особая, к ней мы еще вернемся.

Итак, собственная папина живопись громоздилась вдоль стен и на стенах развешивалась, а на свободном пространстве пола раскладывались работы учащихся. Папа стоял у мольберта или сидел за машинкой, а в это время по другую сторону занавеса происходили примерки. Девушки и дамы разного возраста и различной комплекции (среди нас встречались тонкие и толстые, юные и семидесяти—с—лишним—летние) публично разоблачались, Галина Дмитриевна напяливала на дам и на девушек заготовки, скалывала булавками, что—то приметывала. А надо сказать, что в описываемые времена нижнее дамское белье не первое, не второе, и даже не третье десятилетие переживало не лучшую свою пору. Оно оставалось все тем же, что стало в середине 50—х годов причиной одного оскорбительного международного инцидента.

Дело в том, что одним из главных событий, ознаменовавших окончание эпохи холодной войны, стало прибытие в Москву (с дружеским, разумеется, визитом) мужчины редкостного шарма и небывалого очарования, любимца всех женщин планеты — французского актера Ива Монтана и его очаровательной жены Симоны Синьоре. Приезд парижских прелестников вызвал всеобщий экстаз, принимали их с безоглядным российским радушием — водили, возили, кормили, дарили и даже кое—что показывали.

И совершенно напрасно. Потому что, возвратившись в свой Париж, неблагодарный Ив Монтан (надо думать, при пособничестве Симоны Синьоре) опозорил всех советских женщин разом, затеяв и осуществив выставку нижнего дамского белья, приобретенного в московских универсамах. Ехидная выставка представила на посмешище всему миру разноцветные фланелевые панталоны на резинках (с начесом и без), предметы, мягко говоря, не изящные.

Кроме того, по слухам, экспозицию дополняли бюстгалтеры необъятных размеров, сшитые из прочной саржи советского качества (советское значит отличное) — основательные сооружения, более всего напоминавшие конскую сбрую, с надежными ляжками, железными крючками и костяными пуговицами. Панталоны и бюстгалтеры существовали в дамских гардеробах годами, десятилетиями, ушивались и расставлялись по мере надобности, переходили от матери к дочери, украшались артистически поставленными заплатами, тщательно заштопывались и виртуозно реставрировались. Говорят, на издевательской выставке фигурировали и такие экземпляры. Видно, поработали на французского киноактера внутренние враги, постарались начинающие диссиденты. Само собой, после такого антисоветского демарша имя Ива Монтана надолго предали анафеме. А Ив и Симона, скорее всего, просто досадовали на самих себя, сожалели, что, вопреки советам друзей, уговаривавших не ездить в СССР после венгерских событий 1956 года, не устояли и предприняли путешествие.

В этом контексте вспоминается история одних славных фланелевых панталон, начавшаяся на излете нэпа. Семья скромных, но прозорливых предпринимателей из южного российского города вовремя, не дожидаясь раскулачивания, свернула немудреный свой бизнес. Небольшой капитал семья обратила в золотые изделия и заточила их в необычный сейф (более похожий на колумбарий), предусмотрев для каждого предмета индивидуальную камеру. Сейф—колумбарий, как догадывается читатель, представлял собою тщательно простеганные байковые штаны, в каждой ячейке которых был заключен один—единственный предмет, одно золотое изделие. На протяжении долгой жизни штанов ткань неоднократно дублировали, швы укрепили, и год от года байковый сейф становился все плотнее и все надежнее. И ни один из заточенных в сейфе предметов за все эти годы ни разу не увидел белого света даже в дырочку. Десятилетиями, в разных обстоятельствах, покидая родной город на короткое время и надолго, в жару и в холод, владелица сейфа надевала эти надежные многослойные стеганные панталоны.

Обидно, но когда в иной уже реальности беспечные потомки стеганый сейф распотрошили, а ценные предметы поделили между собой, заслуженные штаны не отправили на покой, не сохранили в качестве семейной реликвии, а взяли да и спустили в мусоропровод. А ведь предмет этот мог бы стать жемчужиной коллекции Ива Монтана, если она где—нибудь еще существует. Завершая сюжет, нужно сказать, что среди московских дам той поры не принято было называть штаны штанами. Женщины попроще называли их трико, более рафинированные и образованные — десу.

Короче говоря, пока папа за занавесом писал пейзаж или письмо заочнику, на нашей половине дефилировали разновозрастные дамы в вышеописанных одеяниях. У нас не было большого зеркала. Висело на стене овальное, в резной раме. И чтобы увидеть фрагмент своего туловища, нужно было взгромоздиться на стул. Бедные наши стулья (остатки бабушкиного приданого), не какие—нибудь простецкие, кондовые, а венские, красного дерева терпеливцы, сколько же вы вы-

страдали! Кто только на вас не взгромождался, не топтался неуклюже, не крутился вокруг своей оси. Сколько центнеров (да каких там центнеров, тонн!) женской плоти пришлось вам на себе вынести. Следы многолетнего насилия по сию пору хранят потрескавшиеся ваши сидения.

Прервать еженедельное дефиле мы не могли, и не только из-за того, что оказались заложниками собственного гостеприимства. Но и потому, что сами пользовались услугами Галины Дмитриевны. В голове моей то и дело вызревали идеи очередных нарядов, состряпанных малыми средствами из подручного материала. Синяя «пионерская» плиссированная юбка, подаренная к моему двенадцатилетию, размачивалась, разглаживалась, и из образовавшегося метража к шестнадцати годам сооружалось выходное платье — творческая удача Галины Дмитриевны.

Из останков чего-то мамино, крепдешинового, выношенного едва ли не дотла, вкупе с сохранившимся лоскутком того самого концертного платья, в котором бабушка на заре XX столетия посещала фортепьянные концерты приезжих знаменитостей Никиша и Гофмана, дававшиеся московскими зимами в Дворянском собрании (чудного платья, в начале 20-х перевоплотившегося в два детских пальтишка), выкраивалась миленькая блузка с бархатной отделкой. Из-за скудости средств десятилетиями в моде оставались изделия комбинированные, затейливые, сооруженные из разнородных и разномастных материй.

А вот еще сюжет из той же оперы. Некие узорчатые полотняные шторы в 1933 году прибыли из Германии вместе с маминой тетушкой, покинувшей эту страну после прихода Гитлера к власти. Десятилетиями украшали чудесные шторы интерьер родственного дома, за годы преданной службы не вылиняли и не прохудились. Но к началу 60-х хозяевам надоели, и одну из штор подарили нам. Разлученная с сестрицей своей, выстиранная и отутюженная, совсем как новая, штора немедленно подверглась реинкарнации. Сначала перевоплотилась в эффектный костюм с юбкой «годэ», а через год — в сарафан и сумку на ремне (изготовленную мной собственноручно). Голь, как уже было сказано, на выдумки хитра.

А однажды целых полгода Галина Дмитриевна шила нам наряды совершенно бесплатно. Вот как это случилось. Раз примерно в неделю, вечерами, свободными от мамино института и от моей художественной школы, мы отправлялись на промысел — добывать пропитание на грядущую неделю. Дело это было не простое, но мы с мамой владели технологиями. Днем ходить по магазинам не имело смысла, их переполняли взмыленные приезжие из ближнего и дальнего Подмосковья, а также из прилегающих к Подмосковию областей. Самые ранние электрички так и назывались «колбасными». Загадка тех лет: длинная, зеленого цвета, пахнет колбасой, что это? Ответ — подмосковная электричка. Пассажиры «колбасных» электричек, запряженные в рюкзаки и заплечные мешки, обвешенные торбами, прямо с вокзала разбредались по московским магазинам и образовывали очереди.

Трудовые коллективы — фабричные и заводские, прибывали организованно, на автобусах, доезжали до центра, пришвартовывались на задворках, и от туда уже совершали свои набег. Бывало, сидишь себе за письменным столом у

окна, обращенного в переулок, пишешь сочинение или решаешь квадратное уравнение, как вдруг слышишь гул — «гром гремит, земля трясется». А это пятьдесят пассажиров автобуса, припарковавшегося на задворках Пречистенки, старые и малые, женщины и мужчины, представители пролетариата, передового крестьянства и провинциальной интеллигенции, запыхавшиеся, но целеустремленные, мчатся наперегонки по нашему Мансуровскому переулку в магазин на Остоженке. Прослышали, будто в магазине под названием «Четвертый» выбросили докторскую колбасу (ту самую, за два двадцать). Или мороженых кур. Или их яйца. Зрелище душераздирающе унижительное. Жаль людей, стыдно за себя, москвичку. Но, что было, то было.

К вечеру орды изнуренных не москвичей, тяжело нагруженные, довольные или не довольные результатами, умученные, осунувшиеся, столицу покидали. На смену им являлись аборигены. Вот и мы с мамой позволяли себе роскошь пройтись, не спеша, по мерцающему огоньками Комсомольскому проспекту, по сумеречной Фрунзенской набережной. Именно в этом московском регионе, неподалеку от нашего дома, сконцентрировались самые приятные и перспективные продовольственные магазины. Обойдя несколько торговых точек, всего за два–три часа случилось нам обрести и сосиски, и печень говяжью, а бывало, что и свежемороженой трески отхватить килограмма полтора. То есть малой кровью обеспечить семью провизией на неделю вперед.

Рейд по магазинам совмещался с неторопливой прогулкой, любованием закатными небесами, прекрасным во все времена года Нескучным садом, его отражением в водах Москвы–реки, с взаимными рассказами и разговорами. И однажды в пустынном проходном дворе между набережной и проспектом мы с мамой нашли черно–бурую лисицу. Не сбежавшую из питомника, а принявшую обличье роскошной горжетки, вроде тех, что фигурировали в фильмах про ненашенскую жизнь. Лиса, серебристо–черная, пышная, многозначительная, лежала на грязном асфальте, посверкивала стеклянными глазками, вроде бы даже подмигивала нам. Мы оторопели, оглянулись по сторонам, не заметили ни единой живой души, подняли лисицу с асфальта, сунули в кошелку с треской и принесли домой. Своего рода ремейк сказки про хитроумную лисицу, прикинувшемуся мертвой, подобранную в таком качестве (старухе на воротник) возвращавшимся с рыбалки стариком, коварно сожравшую весь стариковский улов и благополучно скрывающуюся.

Случай этот произошел в теплое время года, то есть ни с чьих плеч животное соскользнуть не могло. То ли вор, похитивший драгоценный мех, бросил добытое сокровище, спасаясь от погони, то ли еще что–то таинственное приключилось с нашей лисой, но вот таким странным образом оказались мы обладателями чернобурки, совершенно нам не нужной. Потому что в нашем кругу горжетка из чернобурки стала бы натуральным нонсенсом. В нашем демократическом сознании этот прекрасный мех, да еще в виде горжетки, олицетворял нечто чуждое, мещанское, сугубо буржуазное. А вот в кругу Галины Дмитриевны чернобурки котируются.

лись высоко, у Галины Дмитриевны глаза засияли сапфировым светом при виде нашей лисицы. Мы с мамой с радостью отдали ей удивительную находку, а взамен благодарная Галина Дмитриевна смастерила нам целую кучу нарядов.

Непрерывный швейный процесс вносил в будничную жизнь праздничную ноту, провоцировал грезы, активизировал творческое начало. Вообще—то не склонная к моделированию, коротая тоскливые часы за школьной партой, я вырисовывала на тетрадных листках в клетку и в линейку фасоны будущих юбок и блузок, придумывала, как скомбинировать разнообразного генезиса лоскутки, чтобы родилось нечто прекрасное, и жизнь засверкала новыми красками.

ПРО СИНЕЕ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ, С БЕЛОЙ КАЕМКОЙ Однажды мужу маминой ученицы, мелкому спортивному функционеру, крупно повезло — обвалилась командировка в Чехословакию. И муж ученицы привез жене из дружественной страны то ли майку, то ли футболку. Но промахнулся с размером, предмет оказался маловат. Продать заграничную вещь за хорошие деньги ничего не стоило, но щедрая ученица, мамина почитательница и поклонница, поступила иначе. Она решила сделать маме приятное и подарить ценную вещь мне.

Ученица приходила на занятия раз в неделю, и жить семь дней в ожидании обещанного подарка было бы невыносимо. Ученица догадалась о моем нетерпении и предложила не тянуть резину, а назавтра же прийти за вожделенным предметом. Тем более, что жила она неподалеку, на Новинском бульваре, на задах американского посольства, в доме, выстроенном в 30-е годы в виде парохода. То есть с галереями, имитирующими палубы, с окнами—иллюминаторами и квартирами, похожими на двухэтажные каюты. В конструктивистском доме предполагалось жить коммунально, построили даже отдельное здание столовой, в которой нужно было завтракать, обедать и ужинать коллективно. По этой—то причине кухни в квартирах отсутствовали.

На следующее утро мы с папой отправились на Новинский бульвар (школу я прогуляла). Папа бывал в доме—пароходе и раньше, но решил освежить впечатления. Потому что была у отца моего страсть к московским лестничным клеткам. Он любил их и высоко ценил. Что представляла собою лестничная клетка в солидном доходном доме, выстроенном в начале века, или в фундаментальном сооружении сталинской эпохи? А было это убедительное пространство — теплое, светлое, с прекрасным старомосковским видом, открывавшимся из большого окна с широким подоконником. Входили во все подъезды и поднимались на все этажи совершенно свободно, потому что в природе не существовало еще домофонов и кодовых замков. Можно ли представить более комфортные условия для работы художника, лишённого мастерской, теснящегося со своими холстами и прочими живописными причиндалами там же, где живет и ежеминутно функционирует его семья? Тем более для художника, влюбленного в Москву? Немало прекрасных творческих мгновений пережил мой отец на московских лестничных площадках во все времена го-

да при всех состояниях природы и погоды. Случалось даже, что добросердечные домохозяйки, польщенные интересом художника к своей лестничной клетке, поили папу горячим чаем и угощали бутербродами и пирожками.

Правда, когда папины аппетиты распространились на лестничные площадки высотного здания по адресу Котельническая набережная, дом 1/15, для их удовлетворения потребовалось добыть специальное разрешение. Предполагались большие трудности, но тут ему исключительно повезло, история произошла почти рождественская. Папа запасся ходатайством Московского союза художников и записался на прием к управляющему этого престижного дома. И в назначенный день и час не без волнения вошел в необъятный кабинет. Вошел, увидел сидевшее в глубине кабинета начальственное лицо и остолбенел.

За письменным столом, почти таким же фундаментальным, как само высотное здание, сидел Васька Стригалов, наш бывший сосед по коммунальной квартире. За много лет до этой встречи семья Стригаловых покинула наш дом, и мы не подозревали о Васькином ошеломляющем карьерном росте. Помнили только, что был Вася славным малым, работал слесарем, а после работы посещал школу рабочей молодежи. И хотя был женатым человеком и даже отцом дочери Светланы, очень боялся свирепой, яростной и вечно всклокоченной матери своей Настасьи Филипповны. Настасья Филипповна продолжала воспитывать взрослого Ваську, и если сын возвращался домой «выпимши», лупила шалопая шваброй. Спасаясь от швабры, сын бегал вокруг круглого стола, стоявшего посреди стригаловской комнаты, но мать всегда его настигала.

Васька сразу узнал папу. Оказалось, что за годы нашей разлуки он окончил школу рабочей молодежи, вступил в партию, повысил свою квалификацию и поднялся по служебной лестнице. Папе он обрадовался как родному, встретил его по-свойски и охотно разрешил посещать подведомственные ему лестничные клетки, попросил только кисти о стены не вытирать. А папа своими глазами увидел, каких удивительных результатов добилась Настасья Филипповна строгим воспитанием. А впрочем, неясно, когда можно подводить черту и оценивать воспитательные итоги. Ведь если бы Васька не сделал головокружительной карьеры, не отказался бы от титульной, рабочей своей профессии, может, прожил бы подольше, не умер бы в сорок пять от фармакологической интоксикации. Не объедался бы из года в год дефицитными лекарствами, недоступными простым смертным, лечился бы от простуды сушеной малиной и аспирином, а не неведомыми заморскими средствами, погубившими простодушного человека. Не умер бы, здоровый и удачливый, в расцвете сил и лет. То есть советская власть дала Ваське все, но не объяснила, как этим «всем» пользоваться.

Об обстоятельствах Васиной смерти, случившейся через несколько лет после неожиданной встречи двух бывших соседей, мы узнали случайно. На следующий день после Васиных похорон потерявшая память Настасья Филипповна (немощная к этому времени старушка) прибрела к нашему дому и уселась на ступеньке подъезда. Новый свой адрес Настасья Филипповна позабыла, а из соседей преж-

них лет помнила одну только мою маму. К ней она и пришла. К счастью, в тот же вечер удалось найти невестку, Васину жену Таню, сотрудницу московского метрополитена, и вернуть Настасью Филипповну в осиротевшую семью.

Единственный раз произошло у папы на одной лестничной клетке подобие инцидента. Шероховатость случилась в большом сером доме сталинской архитектуры. Дом этот папа давно уже внес в список перспективных и наконец до него добрался. Поднимаясь с этажа на этаж, с аппетитом делая наброски в альбоме, он нашел самую эффектную точку обзора и на следующий день явился с этюдником. Только-только установил его, укрепил холст, собрался уже краски из тюбиков выдавливать, как вдруг сверху спустился гражданин в пиджаке и при галстуке (не в домашней, заметьте, одежде, не в каких-нибудь зубубенных вытянутых трениках). Гражданин вежливо, но в категорической форме предложил папе спуститься этажом ниже, а еще лучше — двумя.

Озадаченный папа не стал спорить (не соваться же со своим уставом в чужой монастырь), выполнил требование, спустился ниже, и хотя живописного его пыла странное происшествие не остудило, домой вернулся в недоумении. Такого в папиной лестничной практике еще не случалось. Задуманный пейзаж был написан, а спустя время эпизод разъяснился. Оказалось, что гражданин в пиджаке нес караул возле дверей квартиры академика Сахарова, сосланного в город Горький. Все годы ссылки, сменяя друг друга, чекисты несли круглосуточную службу возле пустой квартиры диссидента. Не стояли, конечно, стоймя, а сидели на стульчике, зверски скучали, позевывали, попивали чаек, но глаз с объекта не спускали. И когда все разъяснилось, папа, вечно напевавший во время работы песни советских композиторов, несколько дней не мог отделаться от «Сормовской лирической» с зачином: «Под городом Горьким, где ясные зорьки...» (слова Е.Долматовского, музыка Б.Мокроусова).

Возвращаюсь к подарку ученицы. Сосед ученицы по коммунальной квартире, действительно похожей на тесную двухэтажную каюту, без лишних слов выдал газетный сверток. До дома было двадцать минут пешего ходу, но нетерпение меня снедало. Спустившись на лестничный марш, я развернула газету и ужасно огорчилась. В свертке обнаружилось нечто ядовито синее, сугубо спортивное, с белой каемкой. Вещица показалась мне абсолютно чуждой, простецкой. Но делать нечего, дареному коню в зубы не смотрят. Папу вид с захламленных, застекленных мутными стеклами галерей-палуб тоже разочаровал, даже на его вкус оказался убогим, неинтересным.

Дома я нехотя примерила неказистый джемперок. И обомлела! Подарок ученицы шел мне необычайно. Простецкая синяя футболка совершила чудо: многочисленные мои недостатки отступили на задний план и совершенно неожиданно обнаружилось достоинства, о существовании которых я и не подозревала. Оказывается вполне ничтожный предмет, ядовито синий, хлопчатобумажный, с белой каемкой, обладал энергетикой, изменившей самоощущение подростка. Удивительное дело!

Благодаря синей хлопчатобумажной футболке чехословацкого производства к пятнадцати своим годам я была экипирована прекрасно. У меня появился наряд, в котором не стыдно было появиться на открытии выставки или поэтическом вечере. Состоял он из этой самой синей футболки с белой каемкой, из сшитой Галиной Дмитриевной черной вельветовой юбки, из черных же (собственноручно перекрашенных из рыжих) чулок в резинку и фетровых ботишков на молнии с грустноватым названием «Прощай, молодость!» Черные чулки, между прочим, в те времена смотрелись круто.

ПРО ВЯЗАЛЬНЫЙ БУМ Бескрайние горизонты и новые возможности открылись перед советскими женщинами с наступлением вязальной эры. Внезапно появилась на прилавках магазинов шерстяная пряжа. Появилась и вскоре исчезла. Но импульс был дан, получен кем надо, а механизм запущен. Вязали, конечно, и в прежние годы, но такого размаха, которого достигло искусство вязания к середине 60-х, история советских женских ремесел не знала. Сотни тысяч, миллионы женщин научились вязать крючком и на спицах. Вязать всегда, вязать везде, до дней последних донца...

И хотя дефицитом в мгновение ока стали и пряжа, и спицы, и крючки, женского пыла это не остудило. Умельцы–заводчане, используя подручные материалы, принялись изготавливать крючки и спицы разных конструкций и разного диаметра и успешно реализовывать их среди окружающей женской массы. Пряжи не было, но женские души жаждали творчества, руки их чесались, фантазия работала, мужья и дети жаждали обнов. Изобретательность советской женщины не знает пределов. Исчерпав все ресурсы: распустив и перевязав заново все древние, поеденные молью кофты, все изношенные шерстяные носки и все допотопные бабушкины шали — все трикотажное, что только нашлось в сундуках и на антресолях, принялись обдумывать способы добычи сырья. Решения находили, иногда не банальные.

Некая алчущая пряжи изворотливая вязальщица, анонимная героиня, обнаружила в магазине «Детский мир» одеяла, на две трети чисто шерстяные. Технология изготовления одеял была такова, что вещь получалась плотная, наподобие валенка, тухловато зеленого цвета, весом три килограмма. Теоретически одеяло можно было распустить и получить два килограмма шерстяных ниток. Один килограмм весила синтетическая нить, придающая одеялу особую прочность. Весть об одеялах распространилась по Москве со скоростью звука, и они мгновенно стали дефицитом. Но однажды вечером очередная мамина ученица, возбужденная и раздумывавшаяся, ворвалась в нашу квартиру со свертком, в котором таилось это проклятое одеяло.

В этом месте повествования, в порядке лирического отступления, конспективно, не столько в одеяльном контексте, сколько в контексте эпохи, хочется изложить историю Гали Ф., своего рода очерк нравов. Черноокая Галя прибыла из горо-

да Ставрополя и выучилась в столице на химика–технолога. Высшее образование было получено, оставалось выйти замуж и прописаться в Москве. Но московского жениха не нашлось, а подвернулся череповецкий Толя, тоже не желавший покидать столицу. Московской невесты не нашлось и для Толи.

Однако коллективный разум двух семейств, ставропольского Галиного и череповецкого Толиного, нашел решение. Состоялось две свадьбы. Одна истинная, но не официальная. Другая официальная, но не истинная. Первая свадьба сочетала браком Галя и Толю. Было все: свадебное платье, фата, ужин с шампанским, крики «горько», киносьемка. Но в ЗАГС Толя с Галей в тот раз не пошли, ограничились благословением двух семейств. Второе бракосочетание было официальным, но фиктивным, и произошло у Гали с бывшим земляком, якобы разошедшимся с женой–москвичкой, прописавшим Галя в своей комнате возле станции метро «Аэропорт» и получившим от Гали–Толиных родственников серьезную сумму на улучшение жилищных условий истинной своей семьи. Короче говоря, дело самое что ни на есть житейское.

А для того, чтобы соседи официального, но не истинного Галиного мужа не разоблачили аферы прежде времени, пришлось имитировать семейную жизнь. Параллельно, но конспиративно, на никому не известной территории осуществляя ее с истинным мужем — череповецким Толей. А чтобы разоблачительная пленка, зафиксировавшая истинную Гали–Толину свадьбу, не попала в руки врага, ее надежно спрятали, доверили моей маме. Свадебный кино–компромат несколько лет таился в нашем платяном шкафу.

Образцово–показательно, на зависть соседям живя в одной комнате с фиктивным мужем, готовя ему завтраки и ужины, имитируя нежность и стирая бельешко, Галя тем временем понесла (конечно же, от Толи, истинного своего мужа). И спустя всего семь месяцев (то есть досрочно) родила девочек двойняшек. Недоношенные девочки остались на пару месяцев в роддоме. И пока государство доводило их до кондиции, Галя утрясала ситуацию, приводила ее к разумному знаменателю. Тем более, что теперь, с двумя детьми, никакие соседи не были ей страшны. Хотя по каким–то остаточным конспиративным соображениям близнецов из роддома забирал не отец их Толя и не фиктивный супруг без имени, а мой муж Женя. Он и доставил Галин приплод в комнату возле станции метро «Аэропорт». А фиктивный муж навсегда исчез с Галиного горизонта для того, чтобы на нем по праву мог взойти белокрысый Толя.

Обретенную комнату Галя каким–то замысловатым, противозаконным способом обменяла на жилплощадь в Бабьем городке, на набережной Москвы–реки. Новое жилье располагалось в выселенном, готовом к сносу деревянном домишке. На месте Бабьего городка вовсю строился Центральный дом художника (в просторечии «сарай»). Галин домишко пустовал, и семья захватила две квартиры. Но тайно. Толя прорубил дверь в стене уборной и таким образом соединил свою квартиру с незаконно захваченной. То есть для того, чтобы попасть из одной квартиры в другую, нужно было пройти сквозь анфиладу отхожих мест.

Строительную площадку срочно освобождали, семью с малолетними детьми в гуманные социалистические времена на улицу не выбросили, и в кратчайшие сроки семейство получило квартиру в Теплом Стане. Далее история Галиной семьи, в том числе и быстро взрослевших двойняшек, развивалась (и продолжает развиваться) столь же затейливо (ни Галя, ни дочери ее простых путей не ищут). Но вышеописанный ее фрагмент я изложила потому, что ощущаю странное сходство между хитросплетениями Галиной судьбы и хитро сплетенным одеялом, сотканным из трех нитей — двух шерстяных и одной синтетической.

Итак, Галя раскинула перед нами зеленое одеяло и, ощущая законный приоритет (так как выстояла многочасовую очередь в «Детском мире»), подала заявку на две его трети: одну синтетическую (для прочности) и одну шерстяную. Мама, человек азартный, явственно представила себе, что скоро, очень скоро, мы станем обладателями целого килограмма вожденной зеленой пряжи, и она наконец сможет приняться за вязание.

Работа, как мне помнится, началась в тот же вечер. Сразу выяснилось, что труд предстоит титанический. Чисто шерстяные одеяльные нити следовало отделить от синтетических плевел — не только распустить одеяло, но и разделить три нити, смотать их в отдельные клубки. То есть процесс требовал синхронного участия трех человек. Мою душу предстоявший трудовой подвиг леденил, Галину воодушевлял, а мама не привыкла отступать перед трудностями. Взялись за дело, и кошмар начался. Изо дня в день, вечер за вечером мы распускали зеленое чудище, мучительно раздирали цеплявшиеся друг за друга нити. Мохнатое и шершавое осязательное ощущение живо в кончиках пальцев до сих пор, где-то оно затаилось глубоко-глубоко, на клеточном уровне. Но долго ли, коротко ли, работа завершилась. Не менее трети ниток ушло в отходы, но все же из опротивевшей шерсти мама умудрилась связать жилет, чудовищно теплый, никому не нужный, стоящий колом, валенок валенком. Яблоко от яблони, как говорится...

Одеяльная неудача ничуть не остудила мамино вязального пыла, и три последующих десятилетия наша семья, близкие и дальние родственники, друзья и знакомые разных призывов облачались в мамины изделия, среди которых встречались истинные шедевры. Шедевром оказался первый же связанный крючком полосатый джемпер. Впервые я надела чудесную вещь на вернисаж, происходивший в выставочном зале Союза художников, в большой старомосковской квартире в Ермолаевском переулке. Явилась едва ли не первая, а приходившие вслед за мною знакомые, пораженные джемпером, ахали и восхищались красотой его и оригинальностью. Я чувствовала себя именинницей, ликовала, как вдруг дверь зала в очередной раз отворилась и в дверном проеме возникла родная моя тетушка в точно таком же джемпере, как у меня. Один к одному.

Я и забыла, что мама моя, вечно стремившаяся всех вокруг осчастливить, вдохновленная дизайнерской удачей, решила ее повторить, и из оставшихся ниток связала второй джемпер, авторское повторение первого, для сестры своего мужа — моей тетушки. Торжество превратилось в пародию. И хотя мне, юной и то-

щей девице, джемпер шел больше, чем моей коренастой тетушке, двум абсолютно идентичным изделиям не было места в пространстве одного вернисажа.

Едва не плача от огорчения и обиды, чувствуя себя обесчещенной, я покинула вернисаж, вышла на Патриаршие (в те времена еще Пионерские) пруды и уселась на ту самую, знаковую, впоследствии легендарную, булгаковскую скамью. Первой публикации романа «Мастер и Маргарита» предстояло появиться в журнале «Москва» только через шесть месяцев, в ноябре 1966 года. Тетушку же мою, человека иронического склада, высоко ценившую смешные, пусть даже и каверзные ситуации, происшествие рассмешило. И вечером, саркастически хохоча, она вспомнила по аналогии историю, случившуюся в Москве в начале века. О том, как одна дама, устраивая званый вечер, решила унижить («посадить в калошу», «опустить») другую даму. Для этой цели она подослала к сопернице шпионов и узнала, из какой материи та сшила платье для предстоящего раута. После чего, не пожалев средств, выписала из Парижа точно такую же ткань и обила ею всю мебель в своей гостиной.

Про воплощения горного козла (*История душегрейки**) Давним зимним вечером мама вернулась домой с чем-то объемистым, завернутым в крафт-бумагу и перевязанным крест накрест шпагатом, взволнованная неожиданной, незапланированной, из ряда вон дорогой покупкой. Оказалось, что бывшая ее ученица (опять ученица!), а потом и многолетняя приятельница Ирма, завлекла маму в ГУМ. Ирма, генеральская дочь, любила поболтать по магазинам (теперь это называется шопингом), многое могла себе позволить, то есть слеплена была из иного теста, чем моя мама, озабоченная исключительно прокормом семьи.

Короче говоря, две молодые женщины, прогуливаясь по Государственному универсальному магазину, увидели шубу, о покупке которой мама и не помышляла, хотя остро в ней нуждалась, потому что мерзла в ветхом пальтишке бог весть какого срока. Шуба была большая, серебристо-серая, кудреватая, сшитая из шкуры горного козла. Так, во всяком случае, значилось на ярлыке. Маме и в голову не пришло бы заглядываться на столь роскошную вещь, если бы не Ирмина настойчивость. Ирма и деньги на шубу одолжила, и уговорила маму отдавать долг частями, в течение целого года.

Шуба очень шла маме и замечательно грела ее некоторое время, но потом вдруг стремительно облысела и перешла в другой разряд, стала одеялом. Уютнейшим! Десяток лет дневные сны всех членов нашей семьи (всего-то троих) проходили исключительно под шкурой горного козла. Мы бы и дальше с удовольствием укрывались шубой, если бы однажды не позвонила пылкая наша приятельница и не сообщила, что на ее горизонте появился бедствующий скорняк. И если есть в наших сердцах хоть капля жалости и сочувствия, мы должны немедленно найти человеку работу. И сама она непременно закажет скорняку какой-нибудь меховой ремонт.

Мы честно признались, что в нашем доме имеется одна–единственная меховая вещица — облысевшая шуба, давно позабывшая и о горном своем происхождении, и о последующем воплощении. В ответ в ультимативной форме приятельница потребовала предъявить шубу специалисту, который и решит ее дальнейшую судьбу. Не в силах сопротивляться дружескому напору мы согласились.

Через пару дней раздался звонок, и в дверь протиснулся огромный кокон с женским лицом. Пришлица слой за слоем снимала с себя отрепья, бывшие некогда кофтами, платками, жилетками. Ни на одном из одеяний почему–то не было пуговиц, все предметы скалывались английскими булавками. Безо всякого смущения, не спеша, с некоторой даже аффектацией, одежды свои женщина–скорняк складывала на стуле стопкой, а булавки рядом, кучкой (сегодня ее раздевание можно было бы назвать концептуальным). Длилась процедура долго, наконец, стриптиз завершился, и результат изумил нас. Из огромного кокона–кочана вылилась мелкая особа, похожая на хлипкого бесцветного подростка.

Бедный наш козлик, приготовленный к осмотру, беспомощно распростершись на тахте, ожидал вердикта. Взглянув на него безо всякого интереса (а на какой интерес мог он рассчитывать?) скорняк с места в карьер принялась перечислять экзотические меха, в которые в прежние дни ей доводилось кутать плечи. Упоминались особые сорта каракуля, разные виды лис, а также такие пушные звери, как серебристая норка, койот, шиншилла, скунс, горностаи и прочие жертвы человеческой алчности.

Выяснилось, что гостя наша живет с юной дочерью в дальнем Подмоскovie, что дочь учится в МГУ и собирается стать экономистом, что сама она потомственный скорняк, и что мама ее обслуживала московскую артистическую элиту. Перечислив редкостных пушных зверей, встреченных ею на жизненном пути, скорняк приступила к перечислению имен, знакомых нам по афишам, а также адресов в границах бульварного кольца, по которым жили владельцы роскошных мехов. Мы тоже жили в пределах бульварного кольца, и это нас взбодрило.

Выпив чаю, скорняк нас утешила, сообщила, что козлик не безнадежен, и она попытается выкроить из огромной лысой шкуры душегрейку сорок четвертого размера. Без надежды на успех, с чувством вины перед ни в чем не повинным козликом, отданным на растерзание сомнительному скорняку, мы распрощались и с ним и с новой нашей знакомой. Но ненадолго. Скорняк зачастила в нашу квартиру. Программа всех визитов складывалась одинаково.

Сначала в дверь протискивался гигантский кокон, затем следовал стриптиз с расстегиванием английских булавок, явление крошечного существа, воспоминания о мехах, перечисление громких имен. И в обратном порядке: облачение в многочисленные слои, подробное застегивание булавок, расставание до следующей встречи. В промежутке короткая примерка и длительное чаепитие. Ни рожек козлика, ни его ножек, ни шкурки мы ни разу не видели. Примеряла я бумажную конструкцию, засаленные и пожелтевшие детали которой скалывались на мне булавками из той самой кучки. Процесс затягивался, но мы не сетовали, поили скорняка

чаем с бутербродами и ждали следующего визита, хотя на само предприятие махнули рукой. И как же мы изумились, когда поздней весной из мешковинной торбы, наподобие Венеры, родившейся из пены, или Ивана–царевича, выскочившего из котла с кипящим молоком, возник наш преобразившийся козлик. Оборотившись душегрейкой, в новом своем воплощении козлик активно включился в жизнь семьи. Но не сразу, потому что лето стояло жаркое, и сезон душегрейки наступил только в ноябре. То есть целых полгода козлик наш оправлялся от перенесенного шока.

Странный скорняк оказался классным специалистом. Других меховых вещей в доме не было, и никогда больше не встречались мы с загадочной женщиной. Что же касается душегрейки, то носила я ее целую вечность, годы спустя перешла она, как и положено, к дочери, и долго еще сохраняла неплохую форму. Но постепенно козлик наш облысел вторично, окончательно постарел, пожелтел и теперь живет на даче, на свежем воздухе.

Конечно же, я полностью солидарна с членами общества Greenpeace. Убийство животных не приветствую, мехов практически не ношу. Горного козлика, загубленного по человеческой прихоти более полувека назад, жаль. Но так уж случилось, что все эти годы, перевоплощаясь, присутствует он в нашей жизни. И спасибо странному скорняку, мастеру своего дела, за чудесную душегрейку!

ПРО КУРТКУ ИЗ ВЫВОРОТНОЙ КОЖИ О куртке из тонкой лайки, качественной кожи или бархатистой замши мечтать не приходилось. Как, впрочем, и о любом другом кожаном или замшевом изделии. Такая одежда была уделом совсем других людей, стоила заоблачных денег и добывалась по особому благу. Теперь трудно поверить, но некогда замшевая или кожаная вещица придавала ее владельцу, а также членам его семьи особый статус. Однажды одна третьеклассница спросила другую третьеклассницу (дочь наших знакомых): — В вашей семье есть замшевое или кожаное? — Услышав в ответ, что ни замшевого, ни кожаного в семье не имеется, скорчила презрительную гримаску и интерес к однокласснице потеряла.

Впрочем, иногда каким–то чудом кто–то из знакомых обретал нечто кожаное или замшевое. Заведующий кафедрой художественно–технического оформления печатной продукции Московского полиграфического института, старший научный сотрудник знаменитого своей прогрессивностью Института технической эстетики Воля Николаевич Ляхов чудом таким обладал. Этот блестящий человек, молодой и энергичный, любимец студентов и студенток, щеголял в куртке спортивного покроя, сшитой из толстой выворотной кожи цвета горького шоколада (без примеси сливок или молока) с пуговицами в виде маленьких футбольных мячей.

Воля Николаевич на свое счастье был «выездным», то есть принадлежал к тому тонкому слою граждан, которых нехотя, но все же выпускали за рубежи Родины. Побывал Воля Николаевич и в Болгарии.

А ведь просто так, взять да и поехать в Болгарию, было невозможно. Поездке предшествовал ряд процедур, апофеозом которых становилось посещение ра-

йонного комитета партии. Специальная комиссия, состоявшая из старичков ветеранов, придирчиво рассматривала человека, проверяла его на вшивость и благонадежность, задавала каверзные вопросы. К испытанию готовились, читали передовицы, заучивали состав политбюро, зубрили даты партсъездов. Воля Николаевич прошел райкомовское чистилище, съездил в Болгарию и обрел чудесную куртку. Статус Воли Николаевича был таков, что о зависти речь не шла, а помечтать о такой же куртке не запрещалось.

Но однажды случилось чудо. Давним зимним утром с подружкой Леной мы оказались возле комиссионного магазина на улице Николая Заморенова. В этой комиссионке продавались вещи детских размеров (детским вещам в СССР полагалось стоить недорого). А так как в те времена нашими размерами были детские, существовал шанс задешево обрести здесь заманчивый предмет одежды. Какой-нибудь батник, водолазку, свитер-лапшу. Только нужно было приехать к открытию магазина.

Итак, потоптавшись минут пятнадцать перед входом, мы дождались открытия, первыми ворвались в торговый зал и сразу же увидели висевшую на вешалке девственно свежую куртку, в точности такую, как у Воли Николаевича. Из выворотной кожи цвета горького шоколада с пуговицами-мячами. Я обомлела и глазам своим не поверила. Что это — мираж? Более того, куртка стоила 120 рублей, дорого, но не запредельно же! Денег на своей работе мы получали по восемьдесят рублей в месяц, то есть стоила куртка всего-то полторы наших зарплаты. О, счастье! О, перо Жар-птицы!

Конечно же, ста двадцати рублей у меня не было, следовало срочно их добыть. Выписанный и отложенный товар по советским торговым законам хранился в течение часа. То есть через шестьдесят одну минуту куртка могла превратиться в саднящее душу воспоминание. Действовать следовало быстро и конструктивно. Тем более, что к этому времени муж мой Женя завершил срочную службу в рядах Советской Армии и остро нуждался в приличной гражданской одежде. Демобилизовался Женя летом и прибыл в Москву налегке: в пилотке, гимнастерке, брюках-галифе и кирзовых сапогах.

То есть такая роскошь, как куртка из выворотной кожи Жене и в сладком сне не снилась. По счастью, Женина сестра Инна жила неподалеку, и на нее можно было положиться. Выписав чек и оставив Лену стеречь куртку, я бросилась к телефону-автомату. Нашлись две копейки. Инна, любящая сестра и верный друг, оценила небывалую удачу и, не раздумывая, взялась добыть деньги и доставить их в сжатые сроки. Время пошло...

Ситуация складывалась напряженная. Наше стремительное появление в торговом зале, мгновенная и алчная реакция на куртку ошарашили продавщиц. Редкостная вещь кому-то предназначалась и через минуту после открытия магазина должна была переместиться на другую вешалку, ту самую, на которой висел так называемый «отложенный товар». Но кто-то замешкался, кого-то мы опередили, и момент был упущен. Так что целый час нам с Леной предстояло провести часовы-

ми при вожденной куртке. И в отличие от часовых, несущих караул возле мавзолея Ленина, прожить этот час в обстановке недоброжелательной, враждебной. Не знаю, выдержала ли бы я этот накал ненависти в одиночку. Но со мной была Лена, воительница и любительница экстремальных ситуаций.

Завязалось своего рода противоборство, от которого магазинное пространство разве что не искрило. И мы с Леной и продавщицы не сводили глаз с циферблата часов на стене торгового зала. То и дело я выходила на улицу и вглядывалась в морозную мглу, из которой должна была материализоваться Инна со ста двадцатью рублями. Продавщицы злорадно переглядывались, мы с Леной держали оборону, вели задиристый диалог, рассчитанный на уши продавщиц, и готовились, в случае фиаско, уйти, не потеряв лица. Но за пять минут до нашего поражения пришла Инна. Вес был взят, куртка куплена и на пару десятилетий вперед стала второй Жениной кожей. Социальный статус семьи подросток — в доме появилось нечто кожаное (пусть даже и выворотное).

Промелькнула жизнь, много жизней. Умер молодым Воля Николаевич. Волею судьбы его правнук оказался нашим внуком. Кто-то вырос, кто-то постарел. Только не куртка. Судя по всему, она нетленна. Не изменив ни формы, ни цвета, такая же шоколадно-коричневая, висит себе в стенном шкафу, есть не просит, никому не мешает. И даже смотрится вполне актуально.

Про плюшевый шушун* В начале 70-х годов с легкой руки Михаила Матвеевича Шварцмана, главного художника отдела промграфики Специального художественно-конструкторского бюро, повалились мы ездить на Преображенский рынок. Чего только не было на замечательной Преображенке! В первую очередь комиссионный мебельный — ущелье с ответвлениями, меблированный лабиринт Минотавра. Встречался и антиквариат изумительного качества, но основную массу составляли вещи просто уютные, старенькие, со своей историей, нам неведомой, но тем более интересной и загадочной. Множество забавных покупок совершило наше сообщество в этом магазине.

Имелся на Преображенке и другой магазин, аналогичный мебельному. Из конца в конец торгового зала размером с небольшой ангар протянуты были штанги-вешалки, впритирку увешанные одежками (шкурками, оболочками), облекавшими некогда множество человеческих организмов. Предметы эти, почти слипшиеся, так тесно они висели, представляли собой конгломерат, спаянный из ушедших времен и свершившихся судеб. Плотные ряды одежек (шкурки, оболочки) — сюртуки, спрессованные с армяками, выстраивались в страшноватенькую модель эпохи. Вглядываясь в эту ретроспективу, чудилось, будто можно реконструировать судьбы прежних владельцев, носителей одежд, вообразить, чему все эти предметы, почти одушевленные, были свидетелями, а чего — участниками.

Каким образом попадало на рынок все это шмотье мы не знали. Состояние вещей бывало разным — от совершеннейшей рванины до предметов идеаль-

* Шушун — ...шубейка, телогрея, душегрейка; ...Шушун старушечий, как у просвири, долгий, до-низу... (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка).

ной сохранности. Приятели наши обретали на Преображенке необыкновенные туалеты — смокинги, кожаные пальто стиля «ранний Муссолини» (выражение это пустил в оборот Михаил Матвеевич Шварцман), ветхие шифоновые блузки, украшенные артистической ручной вышивкой, платья, траченные молью, но все еще изумительно красивые и породистые.

Конечно, для того чтобы ощутить вкус к странным покупкам, требовалось обладать несколькими качествами: во-первых, любить старину, во-вторых, испытывать азарт от ее поиска и ощущать его (поиска) интригу, и третье — уметь преодолеть брезгливость. Потому что вещи были откровенно грязны, пропитаны пылью и смрадом, происхождение имели сомнительное. У человека, впервые переступившего порог магазина, увидевшего ряды неаппетитных предметов и вдохнувшего их специфический аромат, возникало желание бежать без оглядки. Но если хватало духу брезгливость преодолеть и приблизиться к вешалкам, процесс затягивал, да еще как!

Следует учесть, что мода на одежду ретро была в те годы уделом избранных. Широкой моде на «винтадж» (одежду, извлеченную из бабушкиного сундука) предстояло возникнуть в далеком будущем. Я совершила в этом магазине одну единственную покупку, но очень удачную — купила длинное приталенное пальто, сшитое из черного шелкового плюша по моде 20-х годов. К этому времени пальтишку было лет пятьдесят. Шелковый плюш сохранился изумительно, выглядел как новый, но подкладка и ватин являли отвратительные лохмотья. Стоил шушун недешево — пятнадцать рублей. И все же суммой этой можно было рискнуть, а потом уж решить, как обойтись со странным приобретением — выбросить или попытаться реанимировать.

Вернувшись с покупкой домой, я рискнула продемонстрировать ее маме только после того, как, чихая и кашляя от взвихрившейся из-под подкладки полувекковой пыли, выпорола внутренности, завернула их в газету «Вечерняя Москва» и вынесла на помойку. На следующий день шушун отправился в химчистку, потом переместился в ателье и вернулся ко мне посаженным на шелковую подкладку и новенький ватин. Бархатистое, теплое, уютное получилось пальтецо. Вещь ожила, заслужила высокую оценку окружающих, из которых самым авторитетным ценителем был, конечно же, Михаил Матвеевич. Он-то и присвоил одежде звание «шушуна». Сначала-то преображенская покупка называлась просто «плюшовкой».

Шушун я носила долго, с удовольствием куталась в мягкий уютный воротник. За годы нашего альянса шушун не претерпел никакого ущерба, но изменились мои параметры, и пришлось спрятать его в домашние закрома. Прошли годы, подросла дочь, и исторический шушун снова извлекли на свет божий. Настала его третья жизнь, прошелестела по 90-м и завершилась, не принеся плюшевому облику никакого урона. И снова шушун, престарелый, теперь уже восьмидесятилетний, но все еще довольно сохраннный, находится в состоянии спячки, отдыхает. Разбудит ли его когда-нибудь кто-нибудь для какой-нибудь надобности, есть ли у шушуна шанс обрести еще одну, теперь уже четвертую жизнь? Поживет — увидит...

Про овчинный тулуп* (*История его и предыстория*) Тень овчинного тулупа промелькнула в эпиграфе к этому тексту. Напоминаю: «Бразды пушистые взрывая, / Летит кибитка удалая. / Ямщик сидит на облучке / В тулупе, в красном кушаке». Точно такие же тулупы и тулупчики, как в эпоху Пушкина и Даля (российский лексикограф датского происхождения явился на свет всего через два года после солнца русской поэзии с африканскими корнями), почти не изменившиеся в течение полутора веков, продолжала выпускать отечественная промышленность. Вот только кушаки, пусть даже и красные, отменили за ненужность сразу после октябрьского переворота. А так как и ямщики перевелись одновременно с кушаками, то в середине 60–х годов XX века тулупы взяла на вооружение продвинутая, преимущественно гуманитарная московская молодежь. Овчинные тулупы вошли в большую моду.

Отечественное происхождение овчинных тулупов создавало иллюзию их доступности. И действительно, они были доступны жителям глубокой провинции, потому что швейные фабрики по производству тулупов существовали именно там. В провинции их носила не рафинированная публика, а ночные сторожа и сельские жители, существовавшие в естественной природной среде, то есть на ветру и морозе. Вот потому–то в мечтах об овчинных тулупах мы обращали взоры не на далекий запад, не в цивилизованную Европу, а в собственную российскую глубинку. Ибо только в провинции был шанс обрести вожаемое овчинное чудо. К примеру, начинающий искусствовед Ира, приятельница моей тетушки, носила такой тулуп и выглядела в нем прелестно. Хорошо было Ире — ее муж–поэт сохранил связи со своей малой родиной и добыл для любимой женщины премилый тулупчик.

Однажды и мне померещилась подобная удача. Случилось это, когда Женю призвали в ряды Советской Армии, и он неожиданно–негаданно очутился в далекой Чите. Климат в этом городе и его окрестностях резко континентальный, морозы случаются лютые, без тулупов жителям не обойтись. Побывав в Забайкалье, я и сама в этом убедилась. Никакой занятой мануфактуры я из читинского вояжа не привезла, зато, к удивлению окружающих, спустилась с трапа с гроздьё стеклов для керосиновых ламп, счастливо обретенных в читинской скобяной лавке. В Москве они почему–то не продавались, а я остро нуждалась в ламповых стеклах, потому что с увлечением отливала в них свечи, вошедшие в те времена в большую моду.

Жене хотелось меня порадовать, и хотя он не из тех людей, что запросто вступают в контакты с нужными людьми, все же что–то удалось разузнать, во всяком случае, выяснить адрес тулупной фабрики. В письмах, которыми в течение двух армейских лет мы с Женей обменивались ежедневно, прослеживается след его хлопот. Дело могло бы завершиться триумфально, но, увы, не завершилось. Потому что цех, «пошивавший» женские модели овчинных тулупов, ни с того ни с сего сгорел среди бела дня. К счастью, Женя демобилизовался раньше, чем его восстановили (если восстановили вообще).

А если бы благое Женино намерение осуществилось, тулупу пришлось бы проследовать тем же путем, что и множеству посылок и бандеролей, избороздивших страну из Читы в Москву и обратно. Женя посылал книжки, купленные в заме-

* *Тулуп* – полная шуба без перехвата, а халатом, обнимающая все тело, весь стан; простой *тулуп* бывает овчинный, бараний... *Поточенный* молью тулупишка. ...*Держись вошь своего тулупа!* (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка).

чательном книжном магазине на читинской улице Ленина (в Москве дефицитные), а также украшения, изготовленные им самим из всякого подручного материала. По хорошей традиции, сохранившейся со времен читинского острога (томившиеся в нем декабристы коротали время, изготавливая такого рода поделки), Женя, половину армейского срока подвизавшийся в роли истопника, ковал железные кольца, отливал из бутылочного стекла украшения, собрал из отшлифованных двухкопеечных монет ожерелье, а к нему браслет — из монет пятикопеечного достоинства. Прекрасные, кстати говоря, изделия, по тем временам авангардные, не потерявшие актуальности и сегодня.

Мне тоже хотелось порадовать Женю, и я посылала ему разные разности: московские конфеты, болгарские сигареты, кубинские сигары (поразительно дешевые в те времена) и даже бутылки вина, пересыпанные семечками. С одной стороны, в долгом пути семечки сохраняли бутылки в целости и сохранности, с другой — маскировали их от зоркого ока военного начальства.

Нужно объяснить, откуда бралось такое огромное количество семечек, способное наполнить целый посылочный ящик. А семечки эти прибывали к нам с Украины. Некогда папин ученик, а потом многолетний друг Влас Филиппович Евтушенко, присылал нам посылки с деревенскими гостинцами. К пятидесятилетию советской власти, например, мы получили пятьдесят чудных, пересыпанных подсолнечными семечками полновесных куриных яиц, снесенных собственными курами Власа Филипповича.

Прибывая с Украины в Москву, семечки-путешественницы недолго гостили в столице и отправлялись в Забайкалье, в город Читу, страхуя уже не яйца, но бутылки вина (конечно же, не крепленого, а сухого). Пересыпать хрупкое и бьющееся семечками — украинская традиция. И в этом месте я не могу не процитировать самого Власа Филипповича. История им описанная случилась то ли в самом конце войны, то ли вскоре после ее окончания. Где же еще возникнуть этому сюжету, как не здесь, на этих страницах? Воспроизвожу рассказ Власа Филипповича с точностью, сохраняя стилистику, орфографию и пунктуацию. Итак:

К дню 23 февраля солдатам из дому присылают кому поздравительную телеграмму, кому открытки, а кому и посылки с лакомством. Наша рота тоже получила к этому празднику несколько посылок, в мой адрес тоже пришла посылка, я ее конечно ожидал, и уверен был ее мне пришлют. Когда я раскрыл коробок, в нем были аккуратно вложены куриные яички белые чистые как ватман, все они сохранились целыми, черные крупные семечки которые не дали разбиться. На самом доньшке лежал большой кусок сала, такой завидный толстый. Ребята, кто меня окружил и любопытствовал, восхищались, так как единственная посылка с Украины была, с «Хохландии» так в шутку говорили. Конечно, в момент мы с лучшими моими товарищами разделили все по частям, но яички мой друг Петька Кунаев ловко умело просверлил и выдув все содержимое с них,

скорлупа невредимая и смотрела сферической формой очень красиво, и Кунаев мне сказал: ты ведь как художник должен расписать эти скорлупы, мол, грех их уничтожать...

Вот я и соблазнился, взял и расписал их черным по белому... срисовал с газеты все Политбюро во главе с вождем... — яиц хватило на каждую голову! Солдаты нашей роты все видели, хвалили меня, даже завидовали как мастерски получилось, а действительно на круглой форме выгодно как-то смотрится. Но не долго суждено было жить правителям на скорлупе яичка куриного, увидел ротный, наш капитан, он меня одним своим взглядом чуть ли не съел. «Недоумок! Что ты придумал? Разве на таком дерьме можно изображать Политбюро!» Пришлось резинкой все стирать, так как давить тоже ротный не велел.

А яичница отменная была, тот же Кунаев ее сжарил на сале, один запах даже вызывал слюни, а что куснятина-то и говорить не стоит.

Время шло, Женя демобилизовался, покинул Читу, а образ овчинного тулупа переместился на периферию сознания и продолжал необременительно там существовать. И тут друзья наши, геологи-разведчики — подруга Наташа с мужем и малолетней дочерью, получили назначение на золотые прииски в Читинскую область. Поселок, в котором поселились ребята, назывался Итака (с ударением на первом слоге, в отличие от мифологического). Селение это располагалось в глубине тайги, в трехстах километрах от Читы. Я мало знаю о таежной жизни друзей, потому что Наташа (в отличие от меня) немногословна, и своими рассказами окружающих не изнуряет. Известно только, что приоритеты в поселке Итака иные, чем в столице, другая там система ценностей, иначе расставлены акценты. Потому что, вернувшись через пару лет в Москву (прииск оказался неперспективным — золота там кот наплакал, с гилькин нос), резюмировала: — Ежели мужик не вмерзает ночью в лужу и наутро его не надо из нее выковыривать, значит это хороший муж. Других критериев не бывает, и нечего с жиру беситься.

В Москве тулупы по-прежнему оставались экзотикой и дефицитом, а в поселке Итака они имелись в свободной продаже. Наверное, благодаря тулупам, сладко спали, доживали до утра, и даже не простужались вмерзшие в лед работяги с прииска, золотоискатели. Вот только если мужские тулупы в сельпо продавались, то женские, напротив, отсутствовали. Потому что цех, сгоревший в женину солдатскую бытность, несмотря на прошедшую с тех пор пятилетку, все еще лежал в руинах.

Короче говоря, верная подруга Наташа купила вожделенный тулуп (не для меня, но для Жени), туго его свернула, зашила в простыню и отправила ценный груз на родину. Как преодолевал тулуп триста таежных километров, отделявших его от Читы, не знаю. Может и на вертолете. А в Чите его погрузили в багажный вагон, он провел в нем четверо с половиной суток, и вот она, столица нашей Родины, Москва, Казанский вокзал!

Много лет тулуп служил Жене, овчина не старела, на бег времени не реагировала, но вот нитки сгнили. Ничего не поделаешь, пришлось швы продублировать, прошить их нитками нового поколения. Нам—то труд этот был бы не под силу, но не имей сто рублей, а имей сто друзей! Есть у нас приятель, взявшийся реанимировать тулуп. Выпускник элитарного вуза, кандидат технических наук, путешественник, писатель, горнолыжник, мореплаватель, пересекший на парусном судне Атлантический океан, член двух творческих Союзов, мастеровитый человек (и все это в одном лице!), в непростые новейшие времена Володя освоил новые ремесла, обзавелся оборудованием на все случаи жизни, принялся изготавливать нужную людям продукцию и не дал пропасть женам своим и детям. Вот и тулупу нашему приятель дал новую жизнь, спасибо ему за это большое. И теперь тулуп живет на даче и даже успешно функционирует, защищая от ветров и морозов нас и наших гостей.

Про лайковый пиджак Некогда, в апофеозе эпохи застоя, довелось мне побывать на фабрике «Черемушки», выпускавшей женское белье, на первый взгляд схожее с импортным, и почти такое же дефицитное. Требовалось изготовить эскизы ярлыков, дабы придать отечественному бельишку еще более товарный вид. Миссия моя была не так проста, как может показаться на первый взгляд. Женская половина нашего отдела надеялась, что я сумею договориться с руководством фабрики о бартере (слово это в нашем лексиконе отсутствовало, но понятие существовало). Мы мечтали, чтобы за работу заказчики расплатились с нами не виртуальными деньгами, переведенными со счета фабрики на счет конструкторского бюро, а реальными изделиями — кружевными трусиками, бюстгалтерами и поясами для чулок (эра колготок для широкой массы советских женщин еще не настала).

Увы, ничего не вышло, не смогла я войти в контакт с фабричным руководством, надежд подруг своих не оправдала, мечты о бюстгалтерах и нарядных трусах рухнули. Хотя прошла по цехам и своими глазами увидела горы нежнейших кружев, предназначавшихся, увы, не нам. Не знаю, правомерно ли сегодня, в разгаре первого десятилетия XXI века, назвать это кружевное буйство гламуром? И вообще, существовал ли в брежневскую эпоху (вроде как при царе Горохе) гламур? Но так хочется употребить хоть раз в жизни это малопонятное, но такое остро современное словцо! Пусть даже и некстати.

И все же не хочется, чтобы гипотетический читатель вообразил, будто три десятилетия назад мы все еще носили фланелевые панталоны с резинками во вкусе Ива Монтана. Отнюдь нет, к этому времени уже появились способы добычи пристойного белья. Можно было купить у спекулянтов (или у хороших знакомых по спекулятивной цене) магические сертификаты и попытаться с уверенным видом пройти мимо амбалов, зорко охранявших от чужеродной публики вход в валютный магазин «Березка». Конечно же, был шанс оробеть, не сойти за свою, проколоться на фейс-контроле и вляпаться в неприятность, но ведь нужно же было тратить на что—то накапливавшийся в организме адреналин.

Был и другой путь, умеренно адреналиновый. В историческом центре Москвы, неподалеку друг от друга: в Столешниковом переулке, наискосок от памятника Юрию Долгорукому, там, где нынче обосновалось кафе «Бианко» («проведение корпоративных мероприятий, банкеты, фуршеты»), а также на углу Кузнецкого моста и Неглинки (теперь это Слот-клуб) издавна существовали известные каждому столичному жителю общественные туалеты. С восьми утра и до восьми вечера в сортирах шел торг. Использовать эти муниципальные учреждения по первоначальному назначению было бы нонсенсом, потому что кабинки служили примерочными. Там-то, в общественных туалетах и обретали мы необходимые мелочи. Но приходилось держать ухо востро, потому что облапошить могли запросто. Как-то раз в одном из этих пунктов я купила модные оранжевые босоножки и примчавшись в счастливом возбуждении домой, обнаружила, что обе босоножки на левую ногу.

А однажды, в тот момент, когда я еще только опасливо присматривалась к продавцам, по лестнице загромыхали сапоги, и в туалетное заведение ворвался милицейский наряд, состоявший из крепких женщин бальзаковского возраста в серо-голубых мундирах и кокетливых пилотках (напоминаю на всякий случай, что истинный, натуральный «бальзак» это не пара лет вокруг пятидесяти, а год-два вокруг тридцати, не более). Невозможно не оценить деликатности властей: в женский туалет — женский наряд. Вслед за вторжением милиционерш произошли: имитация всеобщего испуга, фальсификация переполоха, визги, кудахтанье, брань, кого-то выволокли из кабинок на свет божий, других увели под конвоем. Но стоило наряду удалиться, как наступило мгновенное успокоение, все вернулось на круги своя, и торг продолжился как ни в чем не бывало.

Из общественного сортира на углу Кузнецкого и Неглинной возвращаюсь на станцию метро «Профсоюзная», в тот самый день, когда, огорченная неудачей, возвращаясь с фабрики «Черемушки», я заглянула в ближайший универмаг — в вечной надежде отыскать в навозной куче жемчужное зернышко. И жемчужина обнаружилась, да не одна, а множество жемчужин, целое ожерелье! На длинной металлической штанге висела вереница темно-синих пиджаков и изумрудных курток небывалого, экзотического происхождения, пересекших океан и прибывших в Москву с другого полушария, из фантастической страны Аргентины. Сшиты куртки и пиджаки были из натуральной лайки — тонкой и шелковистой. Не в какой-нибудь хитрой элитарной комиссионке, а в самом обыкновенном посконном универмаге свободно продавались всамделишные лайковые пиджаки и куртки латиноамериканского происхождения, изящного покроя и чудных цветов. Оценить экстраординарность явления может только тот, кто жил в те годы.

Неправдоподобная встреча с пиджаком произошла за пятнадцать минут до начала обеденного перерыва, то есть без четверти два по московскому времени. Таким образом, для того, чтобы добыть деньги на покупку пиджака, у меня был не один жалкий часик, а целый час плюс еще пятнадцать минут — бездна времени! Я выписала чек и ринулась ловить такси. Поймала мгновенно, призналась во всем таксисту, обрисовала задачу. Таксист оказался понимающим человеком, оценил си-

туаацию и заразился моим азартом. С Профсоюзной улицы мы помчались в Мансуровский переулок, в нашу квартиру, где на блюдечке с голубой каемкой вовсе не лежало нужной мне суммы (пиджак—то стоил сто шестьдесят рублей!) Тридцать—сорок можно было наскрести, а остальные следовало раздобыть в самые сжатые сроки. Добрый таксист согласился ждать у подъезда.

В стареньком нашем трехэтажном доме родились и дочь моя, и я, и мой отец. Раньше в каждой из шести квартир жили испокон века знакомые люди, почти родственники, но к середине 70-х коренные жители разъехались. И только на третьем этаже по-прежнему жила тетя Полина Крошина, некогда заменявшая мою закапризничавшую няню. В те времена я каждое утро отправлялась на третий этаж, и целый день паслась в семье тети Поли. Крошины жили в просторной комнате, где кроме самой тети Поли помещались дядя Паша, Шура с Томой (почти взрослые девочки) и три гигантских фикуса с распорыренными лоснящимися листьями, произраставшие из трех оцинкованных бельевых баков. Пахло в комнате сытно, хотя и кислотовато. Мой дневной сон происходил в супружеской постели тети Поли и дяди Паши, на никелированной кровати с шишечками, отгороженной от фикусов темно-красным плюшевым пологом, среди пуховых перин и множества подушек в цветастых наволочках. Уютно спалось на крошинском ложе!

Некогда существовал в Москве институт «ответственных по подъезду». Несомненно, что должность эта была не так проста, как может показаться на первый взгляд, не всякий для нее годился, не за одну только чистоту подъезда отвечал «ответственный». Под пристальным и неусыпным его оком находились все жильцы дома. Дядя Паша, коренастый, бритый наголо человек в потертом до лысоватости кожаном пальто и скрипучих сапогах, занимавший с послевоенных времен этот ответственный пост, обладал существенными преимуществами. Один только дядя Паша владел ключами от подвала нашего дома и одна только тетя Поля сушила белье на чердаке. Прочие жители обходились веревками, натянутыми под кухонными потолками. По этой причине все кухни нашего дома вместе со своими обитателями вечно плыли под влажными простынными парусами, но зато все жильцы волей-неволей становились эквилибристами и ловко развешивали немудрящее свое бельецо при помощи длинейших палок.

В нашем доме обязанности ответственного по подъезду были несложными. И без того все жили на виду у всех. И если о прошлой жизни соседей, происходившей до вселения в наш дом, никто не знал ничего, о настоящей все знали все. Однажды семья наша совершила чудесную покупку, не полагавшуюся нам по имущественному нашему статусу. Мы купили холодильник «Север», и оказались в центре внимания, потому что холодильниками в конце 50-х обладали единицы. Чудо это свершилось потому, что папе обломилась потрясающая «халтура» — неожиданный заработок, к тому же почти по специальности. Затевались съемки фильма «Василий Иванович Суриков». Сценарий завершен был вокруг «Боярыни Морозовой». Как известно, для этой картины Суриков написал множество этюдов. Целый зал Третьяковки занимают эти превосходные портреты. Но снимать в кино оригиналы

нельзя, поэтому потребовалось изготовить копии. Вот тут-то папе и пригодилась школа копийного цеха, работой в котором он некогда так тяготился. И несколько месяцев — осенними, зимними и весенними утрами, пешком — по Остоженке, Волхонке, Ленивке, через Каменный мост, папа отправлялся в Лаврушинский переулок, расставлял этюдник в «морозовском» зале, усаживался перед очередным портретом и до закрытия музея копировал, копировал и копировал. Сурикова папа любил с детства, поэтому работал с удовольствием и даже с профессиональной пользой. Иногда я спутствовала папе, часами слонялась по залам, волей-неволей что-то запоминала, а кое-какие картины даже полюбила. В результате пристрастилась к Третьяковке и в зимние месяцы именно там прогуливала школу. Самое безопасное, уютное было местечко. И коржики в буфете продавали отменные. О лимонаде и говорить не стоит!

Завершив работу, папа получил такую кучу денег, что мы смогли купить отменную вещь — холодильник «Саратов». Покупка наша вызвала среди соседней ажиотаж. Дворовые подруги мои приникали к окну (благо жили мы на первом этаже), расплющивали носы, рассматривали диковинку и об увиденном докладывали родителям. Как только холодильник водворился в красном углу, явился дядя Паша с инспекцией. С шутками и прибаутками, с усмешечками (такое у него было амплуа — балагур а-ля Василий Теркин), но въедливо дядя Паша выспросил, откуда взялись такие бешеные бабки у бедного художника, с какой это радости замахнулись мы на роскошную покупку. Родители и не думали скрывать нашей удачи, наоборот, хотели ею поделиться. Похоже, что к обязанностям, некогда возложенным на дядю Пашу, он прикипел душою. Хотя к нашей семье относился беззлобно, по-соседски, почти дружески. А еще от кинематографической эпопеи осталась гора масляных красок, выписанных киностудией с большим запасом и доставленных в самом начале работы прямо на дом. Вообразить папино воодушевление при виде груды коробок с красками может только живописец. Оставшиеся «суриковские» краски добрые кинематографисты у папы не отобрали, и хватило их ему надолго.

С Крошиными связано прекраснейшее событие моей жизни. В семье нашей существовало несколько запретов и вытекающих из них традиций. Считалось, к примеру, что до пяти лет детям нельзя есть мороженое. Впервые событию этому суждено было происходить ровно в пять лет, независимо от времени года, и обстоялось оно торжественно. Так случилось и со мной. То есть наутро после дня моего рождения, в январскую стужу, мы с Тamarой Крошиной отправились на растворившуюся в морозном мареве Крымскую площадь и купили у закутанной до бровей лоточницы эскимо на палочке. Эскимо, мечтой о котором я жила уже не первый год, представляло собой усеченный конус, обернутый в тоненькую серебряную фольгу. Один рубль и еще десять копеек доверены были Томе и помещены ею в варежку. Я трепетала, боялась, как бы Тома не потеряла деньги. Но все обошлось благополучно, мы купили эскимо и пустились в обратный путь. По дороге я с упоением облизывала заиндеветшую фольгу, и хотя язык покалывало, наслаждалась волшебным ощущением и предвкушала счастье, ожидавшее меня дома. Так и вышло: до-

ма эскимо торжественно развернули, положили на блюдечко, всей семьей, во главе с бабушкой, отправились на кухню, поместили блюдечко на плиту вблизи газовой горелки, на моих глазах мороженое растаяло, шоколадная глазурь расплавилась, мне вручили серебряную ложечку с выгравированным на черенке бабушкиным вензелем, и в таком вот жидком тепловатом качестве я впервые испробовала божественный продукт. И было так вкусно, что с тех пор я предпочитаю изрядно подтаявшее мороженое. Счастье это случилось в конце января 53-го года. А если бы историческая карта легла иначе, и отец народов не скончался бы вскоре после сладчайшего события моей жизни, а родители, опасаясь за состояние гланд моих и аденоидов, отложили бы дегустацию до весны, может, я и не попробовала бы никогда московского эскимо на палочке. Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения, это общеизвестная банальность.

Короче говоря, в случае с лайковым пиджаком я надеялась только на тетю Полю, знала, что родство, образовавшееся в те дни, когда я, пятилетняя, паслась под сенью ее фикусов, не забыто. Высадившись из такси, вихрем взлетела на третий этаж. Ко дню аргентинского пиджака тетя Поля стала уютной, вечно растрепанной добродушной старушкой. По-детски крест-накрест укутанная в серый деревенский платок (концы связаны узлом за спиной), ласково приговаривая что-то, подолгу кормила голубей на окрестных помойках. Сама щей и борщей не варила, передоверила это дело Томе. В тот день, на мое счастье, голубей тетя Поля уже покормила, просьбе моей вняла, покопалась в комоде, развязала тряпицу и деньги выдала. А добрый таксист без проволочек домчал к магазину ровно к окончанию обеденного перерыва. Я обрела чудо-пиджак и в состоянии эйфории полетела домой. Не на крыльях, но на метро. Тайна появления в свободной продаже синих лайковых пиджаков и изумрудных курток сразу же разъяснилась. Пиджаки и куртки странновато, мягко говоря, пахли, и вовсе не кожей. Отчего обоняние мое притупилось в магазине, и отказалась ли бы я от покупки, вовремя учуяв вонь, неизвестно.

На следующий день, проигнорировав запах, я надела пиджак и отправилась на работу. Коллеги мои испытали двойной шок. Первый — от красоты пиджака, второй — от его запаха. Не успела я смутиться, огорчиться, оправдаться, как открылась дверь учреждения и появилась Рита, редкостной красоты девушка истинно ботичеллиевского облика. Вдобавок к прочим изумительным статьям Рита обладала длинными волосами редчайшего оттенка. Ритины глаза сияли, а чудные волосы цвета красного дерева струились по изумрудной лайке новой аргентинской куртки, смердевшей точно так же, как и мой синий пиджак. Я приободрилась.

Увы, но пиджачно-курточную радость нам обоим пришлось отложить на несколько месяцев, в течение которых запах выветривался. Рите повезло, у нее был балкон, на нем изумрудная куртка и провисела всю зиму. А у нас балкона не было, так что аргентинскую пиджачную вонь пришлось вынюхать самим и в полном объеме. Но к весне запах развеялся, и я вышла в нем к людям. А по остальным показателям вещь оказалась отменная. Этот предмет тоже стал знаковым и вошел в коллекцию раритетов.

ПРО БОЛГАРСКУЮ ДУБЛЕНКУ Я была первоклассницей, когда в нашем доме раз в месяц стал появляться пожилой элегантный джентльмен Яков Львович. Яков Львович усаживался за наш круглый стол, раскрывал пухлый портфель, вынимал и аккуратно раскладывал перед собой ведомости и квитанции, что-то заполнял, получал от мамы сто рублей (а после реформы 61-го года — десять), неспешно беседовал с родителями, зимою соглашался выпить чашку чая. И так из месяца в месяц, из года в год. Яков Львович служил агентом Госстраха и приходил за ежемесячным взносом.

Многие наши знакомые пользовались услугами страховых агентов, страховали от несчастного случая свою собственную жизнь, но чаще жизнь детей. Только таким образом можно было накопить деньги на крупную покупку. Например, на диван для того же подрастающего ребенка. Регулярно откладывать десятки и копить деньги дома мало кому удавалось. В нашей семье денег до очередной полочки не хватало никогда, и никакие накопления дольше двух недель просуществовать не могли. А вот десять рублей, отданные раз в месяц Якову Львовичу, где-то там сохранялись, и через пять лет превращалась в огромнейшую сумму — в шестьсот рублей. А если хватало духу и оптимизма застраховаться на десять лет, впереди маячил целый капитал — одна тысяча двести рублей. Инфляции-то в те давние годы не было почти никакой. А если и была, то ее как-то не замечали.

Таким образом, очень редко, раз в пять или десять лет (бег времени не был таким стремительным как ныне), возникала иллюзия богатства. Года за полтора до окончания страховки семья начинала строить планы. По мере приближения срока выплаты волнение нарастало, настроение повышалось, предстояло осуществление мечты. Мама продолжала страховать мою уже взрослую жизнь для того, чтобы по окончании срока купить что-нибудь капитальное. очередной срок страховки закончился к моему тридцатилетию, и мы получили шестьсот рублей. Мама мечтала, что на эти деньги я куплю себе настоящую шубу, которой у меня никогда не было (козлиную душегрейку, при самом теплом к ней отношении, настоящей шубой считать все-таки нельзя).

Во времена тотального дефицита покупка шубы, даже при наличии денег, делом оказалась непростою. Что-то замечательное продавалось в комиссионных магазинах, но гораздо дороже шестисот рублей. К тому же знакомые владелицы шуб, употребляя отвратительное слово «мездра», предупреждали, что если эта субстанция окажется некачественной, деньги можно считать выброшенными. А выбросить на ветер деньги, скопленные в результате шестидесяти визитов страхового агента, оторванные от шестидесяти маминых зарплат, было бы кошунством.

Побродив по комиссионкам, но так и не вникнув в суть этой самой мездры, я поняла, что вряд ли смогу осуществить мамину мечту. Как вдруг приятельница моя, владелица нескольких шуб, предложила продать одну. Лишившись магазинных иллюзий и почувствовав, что деньги вот-вот разойдутся, я согласилась и стала обладательницей длинной кроличьей шубы, белой с черными подпалинами. В день обретения новой шубы дом наш покрылся слоем тоненьких кроличьих ворсинок.

Похоже, кроличью мездру выделали плохо, а я совершила легкомысленную, скоропалительную покупку. Прозрение пришло сразу, но очень не хотелось огорчать маму. Я скорбела, но делала вид, что рада шубе безмерно. Однако носить ее не решалась и очень сердилась на приятельницу, сбавившую мне барахло.

Но провидение смилостивилось над нами. Шубой я владела недолго, приятельница усовестилась и позвонила с новым предложением, даже с двумя. Она сообщила, что на горизонте появилась болгарская дубленка, а шубу можно продать, и уже найдена покупательница — новая кроличья жертва. Став, по существу, сообщницей приятельницы, никаких угрызений я не испытала, муки совести оставила ей, а сама воспарила и вспомнила, как и полагается в подобных случаях, анекдот про еврея и козу, сначала поселившуюся в доме, а потом, ко всеобщему облегчению, его покинувшую.

Итак, ситуация с шубой разрешилась, деньги вернулись в семью, и мы с приятельницей отправились в гостиницу «Спутник», где остановились ее знакомые — два болгарских аспиранта. Я никогда не бывала в гостиницах для интуристов, чувствовала себя скованно, смутилась от померещившейся пренебрежительной мины на физиономии швейцара и пожалела, что согласилась на новую авантюру. Но едва мы вошли в номер и я увидела дубленку, раскинувшуюся на казенной гостиничной койке, сомнения мои испарились. Мне и во сне не снилось, что я могу стать обладательницей такой нечеловеческой красоты. Еще шоколаднее, еще аппетитнее Жениной куртки из выворотной кожи, мягчайшая дубленка, отороченная шелковистым козым мехом, изящно, с чувством меры расшита была шелками, синим и белым.

Судьба дубленки складывалась непросто. Впервые братья славяне привезли ее в Москву, направляясь по научной надобности на Кубу. В Москве они надеялись с легкостью продать дубленку, на вырученные деньги закупить нужного кубинцам товара и выгодно сбыть его в Гаване. Но в свой первый приезд дубленка хозяйку не нашла, всем оказалась маловата, узковата, и пришлось ей лететь на мятежный остров Свободы. Что она там делала — понятия не имею, скорее всего, лежала в чемодане. Вряд ли кубинцы испытывают потребность в дубленках. И когда болгары завершили кубинские гастроли, дубленка полетела через океан в обратном направлении, вернулась в Москву и остановилась в гостинице «Спутник» на Ленинском проспекте. И если бы мы с ней не встретились в тот давний благословенный день, назавтра и ей и сопровождавшим ее аспирантам пришлось бы, несолоно хлебавши, возвратиться в Софию.

Как только я надела дубленку и взглянула на нас с нею в зеркало, стало ясно — мы созданы друг для друга и теперь уж не расстанемся никогда. Вглядываясь в детали и ловить блох (в переносном, разумеется, смысле) я не стала и приняла ее безоговорочно. И только дома обнаружила, какие муки пришлось претерпеть дубленке, как жизнь истерзала ее, бедную. Видно, пытаюсь натянуть неземную красоту на крупные тела, многочисленные претендентки безжалостно рвали нежную плоть, с мясом вырывали крючки. Никакой досады от этих изъязнов я, как ни стран-

но, не ощутила. Наоборот, дубленка стала мне ближе. Обретение уже не казалось недоразумением, а наш с нею союз мезальянсом. Тем более, что дубленкины раны Женя в тот же день аккуратно заклеил и закамуфлировал козьим мехом.

А надо сказать, что на встречу с болгарскими аспирантами, опасаясь совершить очередную опрометчивую покупку, денег я не взяла. Деньги—то за проданную накануне кроличью шубу, чтобы не растратить их ненароком, с утра пораньше я отнесла в сберкассу. А в сберкассе—то как раз начался обеденный перерыв. Невозможно недооценить роли разного рода обеденных перерывов. То и дело тот или иной обеденный перерыв вторгался в мою жизнь, а ныне вторгается в повествование. Пауза, спасительная в истории с аргентинским пиджаком, но томительная в случае с дубленкой и аспирантами.

Короче говоря, все впятером (мы с приятельницей, пара аспирантов и дубленка) отправились в сберкассу. Пакет с дубленкой аспиранты из рук не выпускали, передача ее могла состояться только в обмен на деньги. И хотя ничего не могло быть естественней, чем в ожидании открытия сберкассы пригласить аспирантов домой, по хорошей российской традиции обмыть покупку, уютно провести этот час за чаем или кофеем, предложить иностранцам (пусть даже и болгарам) зайти в гости я не решилась. Потому что помнила об истории, случившейся за несколько лет до нашей встречи с дубленкой.

Некогда у бабушки с дедушкой были друзья, супружеская пара, художники. У друзей имелся сын Жорж, а у бабушки с дедушкой дочь Татьяна и сын Алексей. Семьи дружили, помогали друг другу в жутковатые времена. Но в 1926 году друзья уехали в Голландию, потому что имели голландские корни и родственников в Гааге. Связь между семьями прервалась. А в середине 60-х, по прошествии всех времен, пятидесятилетний Жорж, седовласый красавец, преуспевающий профессор—ортопед, возник на нашем горизонте. Приехал в Москву по профессиональной надобности, для обмена опытом с другим ортопедом — российским. И отправился гулять по старой Москве, по местам, которые помнил с детства. Шел мимо нашего дома, вспоминал папу моего, тетюшку — детских своих приятелей, увидел в окне вазу с кистями, догадался, что обитают здесь художники, но и представить не мог, что одни и те же люди в течение сорока с лишним лет могут жить в одном и том же месте. Однако зашел и убедился, что такое случается. И с тех пор, бывая в Москве, Жорж непременно приходил в гости. И даже привозил кое—какие подарки. Мы, люди щепетильные, не оставались у Жоржа в долгу, отдаривались книгами по искусству, пластинками. Жили мы, как уже было сказано, в коммунальной квартире, тесно и просто, и ущербности от этого обстоятельства не ощущали. Хотя с точки зрения Жоржа (владельца дома в Базеле и шале в Альпах), конечно же, убого.

Квартира полна была чужих людей, ремонта в ней не было никогда (в 18-м году, когда наши в ней поселились, было не до ремонта, а уж потом тем более). То есть чад от всех керосинок, всех керогазов и всех буржеек никуда не делся, осел на стенах и потолках, и таким образом историческая память обо всех без исключения советских эпохах в квартире нашей материализовалась.

И вот однажды раздается звонок, я открываю дверь и вижу лощеного иностранца — в золотых очках, светлых замшевых туфлях, песочном костюме, с перекинутым через руку плащом цвета беж. Круглолицего и лысоватого. Иностранец общается кое-как, что привез посылку от Жоржа, что шофера, доставившего его к нашему дому, отпустил на час и время это намеревается провести у нас в гостях.

Мы, можно сказать, в неглиже. Папа в лямочной майке и сатиновых шароварах, заляпанных масляной краской, с зажатыми в кулаке кистями — только что от мольберта. Я в кургузом халатике, из которого давно выросла. Вид непрезентабельный, что и говорить! В коридор высыпали соседи, тоже выглядят не авантжно, но сильно любопытствуют. Мы смущены, а в голубеньких глазах иностранного визитера живейший интерес к нашему быту. Он даже пребывает в некотором ажио-таже, взволнованно вертит плешивенькой головкой, зыркает по сторонам, посверкивает стеклышками очков, поблескивает фарфоровыми зубками, спешит все рассмотреть, запомнить, набраться уникальных, недоступных простому иностранцу впечатлений. Представляет, наверное, как будет делиться ими в Западной своей Европе. Смотрит на нас с умилением, с ласковым любопытством, но и с некоторой опаской, будто на площадке молодняка в зоопарке. Вроде как на братьев своих меньших. Попросился в уборную, полюбовался ржавым доисторическим бачком, склизкими стенами, воспользовался треснутым унитазом (о туалетной бумаге мы тогда и не слыхивали, обходились вчерашними газетами, выписывая их исключительно для этой цели).

Мы с папой чувствуем себя неловко, тем более что ни тетушки, ни мамы нет дома. Они хотя бы поговорили с иностранцем на каком-нибудь его языке. Я свой убогий английский употребить не решаюсь, а папа восклицает что-то по-французски, то по-немецки, припоминает фразы, осевшие в сознании с детства, похотывает. Дурацкая ситуация его смешит и он искренне веселится. От нашего чая иностранец отказался, побрезговал наверное. Сидим, пережидаем час, поживаемся, посматриваем на часы, ждем шофера. И избавляемся наконец от Жоржиного посланца!

Посылочка, кстати сказать, оказалась самая ничтожная — плащ-болонья детского размера. К этому времени болоньи-то и у нас вышли из моды, не говоря уж о Европе. То есть посылка эта была лишь поводом для того, чтобы заслать иностранного гостя в наши дебри, погрузить на часок в густую советскую реальность. Что и говорить, коварно поступил с нами друг наш Жорж, подставил, сдал иностранцу. Но зато устроил своему протееже презабавную экскурсию.

Вот это-то воспоминание и обуяло меня, когда встал вопрос: приглашать болгарских аспирантов в гости или не приглашать. И хотя давно уже теткой моей провозглашен был (а мною охотно подхвачен) горделивый лозунг: «а мы ТАК живем!», я смалодушничала, закомплексовала по поводу нашего быта, людей в гости не позвала. Стыдно. Не того, что оставила заезжих аспирантов без чашки чая, а того, что вроде бы обидела родной свой дом, в котором семья наша прожила всю жизнь. Неловко получилось!

Дубленка повысила мой жизненный тонус, и однажды на стадионе в Лужниках, где малолетняя дочь моя Наташа принудительно занималась фигурным катанием, нарядную мою дубленку назначили Снегурочкой. Да что там Снегурочкой! Обретенная в годы махрового застоя, дубленка дожила до иных времен, и в конце 80-х, на пике перестройки и ускорения, нас с нею запечатлели на обложке журнала «Огонек». На фотографии мы на Крымском мосту, в рядах многотысячной демонстрации, в состоянии эйфории. Врать не буду, изображение крошечное. Но узнаваемое. А главное — неоспоримое свидетельство того, что мы с дубленкой худо-бедно, а все же поучаствовали в процессе демократизации общества. Жаль, конечно, что безо всякого успеха.

Вдохновленные удачным вложением пятилетних накоплений, мы снова застраховали мою давно уже взрослую жизнь, и ежемесячно в доме нашем продолжал появляться страховой агент. Увы, не Яков Львович, покинувший к этому времени земную юдоль, а обычная невыразительная тетенька. Болгарская же дубленка существует и сегодня, как память. Лежит себе в шкафу по соседству с плюшевым шушуном. Вроде как в гербарии. Вот только стала она отчего-то совсем крошечной, узенькой, почти детской. Или это со мною что-то приключилось?

Дубленку я носила с вязаными шальями, истинными произведениями искусства, связанными не простой вязальщицей, а старшей моей подругой, художницей Викторией Ильиничной Гордон. Но, видно, одних только шалей дубленке не хватало, ей хотелось большего. И возникла овечья шкура, тоже вещь дефицитная, почти экзотическая. Фрагмент белой овечьей шкуры прибыл в Москву из Закарпатья в самодельном фанерном ящике. Прислал шкуру ученик, самодеятельный художник. Дело в том, что в Заочном народном университете, упоминавшемся уже в главе «Про то, во что одевались мы и наши родители», учились жители всех российских областей и советских республик. У многих имелись собственные хозяйства: сады и огороды, крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица. И кое-кто присылал московским педагогам образцы своей продукции. Долгие годы ученик, рыбачивший в волжской дельте, присылал вяленую рыбу. И не одну только простецкую, хоть и вожденную воблу, но и вяленых представителей самых элитарных видов рыб. Лесник из сибирской тайги снабжал нас кедровыми орехами, а жители южных регионов — фруктами и овощами из личных садов и огородов.

В заочном университете существовал кодекс, которому неукоснительно следовали все педагоги. Получив посылку из глубинки, следовало в кратчайшие сроки выслать ответную, по цене эквивалентную — с красками и кистями, с книгами по искусству, с отсутствующими в провинции лекарствами, в которых обыкновенно нуждались сами учащиеся и их семьи. Происходил перманентный бартер, укреплявший дружеские связи, растягивавшиеся на десятилетия. Никто не был в долгу друг у друга или в обиде. Вот и взамен овечьей шкуры, бывшей некогда овцой, возвращенной моим закарпатским учеником, в Закарпатье отправились ленинградская акварель «Черная речка», московская гуашь и китайские колонковые кисточки разных номеров. К счастью, дефицитная ленинградская акварель, а так-

же колонковые кисточки, недоступные простым москвичам, для нас проблемы не составляли. Эти товары продавались в ларьке Союза художников по предъявлению соответствующего удостоверения. Так что и мы тоже были не лыком шиты, тоже имели доступ кое к какому дефициту.

Но ведь овечью—то шкуру в первозданном виде на голову не напялишь. Требовалось обратиться к шапке. А знакомой шляпницы (в прежние времена шляпницы назывались «модистками») у нас не было. Пришлось кинуть клич, мгновенно услышанный. Оказалось, что мама сослуживица, дама из театральной среды, регулярно принимала в своей квартире именно такого мастера, в котором остро нуждалась овечья шкура. И я получила приглашение в тот самый высотный дом на Котельнической набережной, с лестничных площадок которого, с разрешения бывшего соседа Васьки Стригалова, папа писал некогда прекрасный наш город. И однажды вечером я вошла в одну из квартир этого мрачноватого дома. Посреди просторной темноватой комнаты (люстры с несколькими рожками не хватало для освещения стольких кубометров жилой площади), в окружении молчаливых разновозрастных женщин, сидела в кресле грузная, очень уже пожилая дама, одетая в черное, шелковое, почти концертное платье. Царственная и поразительно похожая на Клавдию Шульженко. И доведись этой эстрадной певице на старости лет подрабатывать изготовлением шляп, она, надо думать, была бы окружена точно такой же почтительной атмосферой, что и дама в кресле.

Старая дама встретила меня благосклонно. А узнав, что шапка нужна не столько мне, сколько новой моей дубленке, порадовалась за нас троих (дубленку, меня и будущую шапку) и сообщила, что по многолетним ее наблюдениям тотальное неблагополучие советских женщин коренится именно в этом казусе — невстрече новых пальто с новыми же шляпами. Либо, в ожидании новой шляпы, пальто дряхлеет, либо новая шляпа стареет, так и не дождавшись нового пальто. Подобно людям, шляпы и пальто, шубы и шапки не совпадают во времени и пространстве, а запоздалые их встречи печальны и полны разочарований.

Овчину дама одобрила, а пожелания по поводу фасона будущей шапки не то чтобы отвергла, но вроде бы не услышала. Заразившись настроением всеобщего трепета и почитания, я охотно вручила судьбу овчины в ее пухлые руки. И через некоторое время получила славную папаху, лохматую, слегка легкомысленную, но вполне убедительную, а самое главное, безоговорочно принятую болгарской дубленкой. Приятно еще и то, что именно в нашем доме, на нашей вешалке произошла тихая, но радостная встреча двух земляков, вынужденных эмигрантов — моей болгарской дубленки и Жениной куртки из выворотной кожи.

Про шляпы и про тараканов Папаху из овчины я носила с удовольствием, а вот настоящие шляпы мне категорически не шли. И все же кое—какие шляпные впечатления накопились, тем более что я всегда с наслаждением внимала дамам, предававшимся упоительным воспоминаниям о былых шляпках — своих собственных,

бабушкиных, тетушкиных, а также увиденных некогда в трофейных фильмах. Дамы описывали в мельчайших подробностях, вдохновенно и сладострастно, шляпы фетровые, бархатные, из итальянской соломки, широкополые и без полей, с высокой тульей и низкой, «таблетки» с вуалетками, шляпы украшенные лентами, синелькой, цветами, фруктами и перьями. С придыханием вспоминали модисток, равных которым теперь уж не сыщешь. Вслушиваясь в шляпные рассказы, до поры до времени я и не подозревала, что и бабушка моя, мамина мама, тоже была модисткой.

Временное дозволение Сумской ремесленной управы, выданное бабушке, мещанке города Глухова Черниговской губернии, «на право производства в г. Сумах и его уезде шляпочного мастерства», увенчанное гербом Российской империи и удостоверенное замысловатыми подписями ремесленной головы, старшины и письмоводителя, обнаружилось среди ошметков семейного архива совсем недавно, в новейшие уже времена. Знала бы раньше, вслушивалась бы в шляпные мемуары трепетнее.

И у мамы моей во времена моего детства была черная велюровая шляпка, скромная, маленькая, очень ей шедшая, кажется, единственная за всю жизнь. А вот среди московских девочек популярностью пользовались фетровые капоры старообразных фасонов и сомнительных расцветок — преимущественно грязновато бордовые и темно-зеленые. Кстати говоря, слово «бордовый» отца моего коробило, услышав его, он мучительно морщился и терпеливо объяснял, что не бывает «бордового» цвета, а есть цвет бордо. Цвета капоров его, живописца, ужасали (к фасонам он был равнодушен), поэтому по счастливому случаю, но на мою беду, мне купили шапочку звучного вишневого цвета из чисто шерстяного трикотажа. Славную шапочку, теплую, скроенную на спортивный, конькобежный манер — с мыском, белой полоской ото лба к затылку, и завязками. Родителей шапочка восхитила, а я ее возненавидела. На самом-то деле я мечтала о платке, простецком, клетчатом, по-старушечьи подвязывающемся под подбородком, потому что такие платки носили самые авторитетные в нашем дворе девочки — подвальные жительницы (не авторитетные носили капоры). Но платок на голове малолетней дочери казался родителям моим социальным нонсенсом, а шапочка, как на грех, оказалась изумительного качества и я обреченно носила ее из года в год, до тех пор, пока не взбунтовалась. И толчком к бунту послужило явление двух необыкновенных в нашей реальности девочек, натуральных француженок, более того, парижанок!

Юные парижанки вместе с матерью своей, элегантною дамой в просторном мантии и изумительной широкополой шляпе, опоясанной мерцающей серебристой лентой, воспользовавшись хрущевской оттепелью, прибыли в гости к тетке своей, дружившей, в свою очередь, с моей тетушкой. Сестры встретились после многолетней разлуки. Не знаю, ликовали ли по этому поводу они сами (может и грустили), но окружающие пребывали в состоянии эйфории. Приезд француженок пришелся на весенние каникулы, девочки говорили по-русски, поэтому произошла череда встреч, потрясших меня до глубины души и во многом перевернувших мое созна-

ние. Ну несколько не походили новые знакомые на школьных и дворовых моих подружек! Из другого они были слеплены теста, иначе разговаривали, двигались, одевались, даже выражения лиц у них были иные.

Голову старшей девочки, невзирая на холодноватую московскую весну, укрывали одни только каштановые кудри, головка младшей повязана была хорошеньким шелковым платочком. Вот в одну из наших весенних встреч, во время прогулки в Коломенском, я и сорвала с головы дурацкую детскую шапочку, не в силах терпеть ее дальше. Бунт против вишневой шапки созрел не без участия Этель Лилиан Войнич, чей роман «Овод» я с упоением читала в те же мартовские дни, коротая время между встречами с француженками. Своим примером литературный персонаж, плод воображения английской писательницы, укрепил мою волю и дал силы для противостояния, которое и не понадобилось, потому что бунт мой мама приняла кротко и вишневую шапочку сразу же отдала какому-то нуждавшемуся в ней ребенку. А платочек на голове француженки оказался аргументом в мою пользу, и с тех давних пор я повязываюсь платками, не потеряв интереса к шляпкам, особенно старинным.

А ведь какие изумительные шляпы обнаруживаются на старых семейных фотографиях! Великолепное качество снимков позволяет с помощью лупы разглядеть причудливые их детали. Казалось бы, шляпы эти канули в вечность одновременно с Российской империей и тогда же истлели. Ан нет, некоторые подзадержались. Среди обитавших некогда в арбатских наших окрестностях чудаковатых старых дам (язык не поворачивается назвать их сумасшедшими старухами), встречалась одна точно в такой же шляпке, как на старых фотографиях. Это было удивительное сооружение, оснащенное кружевной вуалью и увенчанное замысловатой композицией из цветов и перьев. Шляпу старая дама не снимала круглый год, только зимой повязывала сверху пухлым, траченным молью шарфом. Замечательную вещь мне удалось однажды рассмотреть вблизи, и очень подробно.

Давним летом владелица шляпы повстречалась мне на троллейбусной остановке возле Арбатской площади. Давно уже заинтригованная поразительной конструкцией, я, конечно же, влезла в троллейбус вслед за старушкой (хотя быстрее и проще было бы добежать до дома переулками и проходными дворами), пристроилась рядом и принялась изучать искоса это выцветшее ветхое чудо. Обнаружилось, что некогда роскошные, а ныне облезлые перья это остатки хвоста обглоданной жизнью птицы, от тельца и головки которой остался один только проволочный каркас; бывшие розы и незабудки претерпели диффузию и по цвету неотличимы друг от друга; что вуаль вовсе не кружевная, а просто дырявая.

Но вот что удивительно — несмотря на огромный ущерб, нанесенный изумительной вещи временем и житейскими обстоятельствами, шляпа, подобно древним руинам на гравюрах Пиранези, выглядела не жалко, а торжественно и даже значительно. Это была уже и не шляпа, а символ ушедшей эпохи, памятник ей. Как и сама ее обладательница, невозмутимо передвигавшаяся по Москве середины 60-х в кружевных митенках на дряблых, покрытых старческой гречкой руках. И не-

брежний румянец под дырявой вуалью, и рукава-фонарики не делали даму смешной или нелепой. Потому что кроме шляпы, митенок и батистовой блузки в мелкий горошек сохранила она с прежних времен образцовую осанку, несуетливую поступь, безмятежное достоинство. Для полноты картины нужно добавить, что поверх блузки надето было подобие сарафана, сооруженного из облысевшего бархатного платья (драгоценного некогда гранатового цвета) с отрезанными рукавами, а отечные ноги втиснуты в разношенные порыжелые кеды. Для того времени наряд странный, для сегодняшнего дня актуальный — винтажный.

В троллейбусе прямо напротив нас растопырилась сразу на двух сиденьях громоздкая старуха в платке и вигоневой кофте, может и ровесница замечательной моей дамы. Высокомерно оглядев мою соседку, старуха щербато осклабилась и язвительно подмигнула, явно рассчитывая на взаимопонимание: — Ишь, барыня на вате, вырядилась людям на смех! Видать, совсем сбрендилла, тараканы в голове завелись! — Но дама моя и бровью не повела. То ли ей дела не было до того, что думают о ней окружающие, то ли была она глуховата. Кстати говоря, сквозь дырявую вуаль я разглядела бровь, выщипанную в тоненькую ниточку.

Конечно же, бабкино высказывание про тараканов в голове было всего лишь метафорой, но как же я изумилась, когда, покосившись на заворожившую меня шляпу, на заскорузлом, некогда розовом лепестке и вправду увидела парочку крошечных таракашек — тараканьих младенцев. А на соседних с розою незабудках шевелилась целая стайка таких же. Видно, только что вылупились они в шляпных глубинах и сразу же выползли на свет, на людей посмотреть, себя показать.

Однако ни от новорожденных таракашек, ни от теткиной метафоры не возникло в душе моей ни ужаса, ни брезгливости. Тараканы не вызывали у меня ни малейшего негатива, потому что с детства я привыкла к нашей квартирно-коммунальной фауне. Под нашим домом, выстроенным в конце предыдущего века, существовал обширный подвал, сообщавшийся с другими, по слухам, многокилометровыми городскими повалами, в которых шла своя, неведомая нам жизнь. Предположения о таинственной жизни подвалов, годы спустя, подтвердили диггеры, исследователи московского андеграунда.

Разнообразная живность проникала на наш первый этаж непосредственно из подвала. Ночами под паркетными полами сновали и громко топали мышинные толпы, мешали спать. Мы долго терпели, но наконец терпение наше иссякло, и мы принялись заряжать мышеловки. И каждую ночь они оглушительно выстреливали (а мы просыпались в ужасе и холодном поту), потому что мыши наши оказались неопытными и очень доверчивыми. Не требовалось даже сыра, чтобы заманить их в мышеловки, неискушенным зверькам хватало корочки поджаренного черного хлеба. То есть охота на мышей шла успешно. Но когда количество жертв перевалило за полсотни, а топот под полом ничуть не ослабел, мы отступили, признали за мышами право на равное с нами существование. А может, просто устали от душегубства. Кроме мышей соседствовали с нами и другие представители фауны. По ночам старинную чугунную ванну оккупировали десятки упитанных черных

слизней — крупных улиток без панцирей. Слизни неторопливо перемещались по стенкам ванны (добросовестно очищая их от грязи), нас ничуть не боялись, вели себя солидно, по-хозяйски, а к утру мирно уползли в отверстие для слива воды. И как только они догадывались в крошечной тьме о приближении рассвета?

Что же касается тараканов, то их у нас жило целых два вида. Одни самые обычные, рыжие, так называемые пруссаки, безвредные, хотя и вызывавшие некоторую брезгливость. И другие, крупные, похожие на огромных черных жуков. На этих и рука не поднималась, так они были значительны. Тем более что в квартире бытовало суеверие, что если раздавишь черного таракана — накликаешь несчастье. То есть никакой фобии мы к соседям нашим меньшим не испытывали. Исключение составляли одни лишь клопы, кровососущие насекомые, в 50-е годы оккупировавшие столицу и вызывавшие омерзение и всеобщую ненависть. Но об этих тварях и вспоминать не хочется.

Однако от мышей и тараканов возвращаюсь к шляпам. Хотя с незабываемой встречи с юными француженками и проистекшего из нее бунта я носила исключительно демократические платки, время от времени, замороженная разноцветными колпаками (гладенькими шелковистыми или аппетитно ворсистыми шляпными заготовками), обмирала перед витринами шляпных мастерских. И порой заходила внутрь, напяливая на голову какое-нибудь готовое изделие, гляделась в зеркало и в очередной раз убеждалась, что шляпы не идут мне категорически. Хотя в глубине души продолжало тлеть подобие шляпной мечты.

Как вдруг появилась у меня ученица, женщина средних лет, жизнью побитая, пребывавшая к моменту нашей встречи в состоянии давней и глубокой депрессии. В учебное наше заведение в большинстве своем попадали люди с непростыми судьбами и характерами, пережившие разнообразные жизненные катаклизмы, но продолжавшие искать себя и надеяться на перемену участи.

Вот и Антонина Ивановна оказалась таким человеком. Робкие ее рисуночки — облака за окном, нарисованные твердым карандашом на тетрадных листках в клетку, показались мне славными, трогательными. Во время первой встречи глаза Антонины Ивановны сочились слезами, веко дергалось, руки катастрофически дрожали. Требовалось срочно поддержать человека, и я принялась вовсю расхваливать рисунки. И это было правильно, потому что Антонина Ивановна приободрилась, взяла быка за рога и двинулась в избранном направлении семимильными шагами. По моему же совету поступила на работу в музей. Терла шваброй полы, драила лестницу, изучала искусство.

И вскоре вместо скромных карандашных рисунков стала приносить большие пастели — жизнеутверждающие натюрморты с цветами, фруктами и овощами, нарисованные талантливо и чрезвычайно аппетитно. Удавались Антонине Ивановне и портреты, особенно детские. Человек деловитый, она стала получать заказы от знакомых. Большим успехом творчество ее пользовалось на родине — Антонина Ивановна происходила из небольшого прикарпатского городка. Там же жили ее родители. Некогда москвичи, после войны они обосновались в Прикар-

пятье и всю жизнь мечтали о том, чтобы дочь их вернулась в столицу. По этой—то причине Антонина Ивановна вышла замуж за первого попавшегося москвича, прожила с ним немало ужасающих лет, претерпела бездну унижений и похоронила мужа, скончавшегося от белой горячки. Намаялась, исковеркала нервную систему и изрядный кусок жизни, но обрела московскую прописку.

Тем временем обожавший Антонину Ивановну отец, неутомимый труженик, накопил деньги на кооператив для дочери. Иван Иванович был лучшим в своем городе шляпным мастером. И Антонина Ивановна тоже смыслила в шляпном деле. Очень огорчали ее мои простецкие платки, просто приводили в отчаяние. И в один из приездов отца Антонина Ивановна нас познакомила, как оказалось, с прицелом. Иван Иванович внимательно рассмотрел меня, поставил диагноз, прописал черные широкополые шляпы, и вскоре с оказией они стали прибывать в Москву. Не раз отправлялась я на Киевский вокзал встречать с очередным прикарпатским человеком очередную черную шляпу. Конечно же, ни одна мне не шла, но не хотелось огорчать Ивана Ивановича, я восхищалась, благодарила, и в ответ получала следующую. В результате чего образовался небольшой запас черных широкополых шляп.

В Москве Антонина Ивановна так и не прижилась, но боялась разочаровать родителей, жизнь положивших на московскую идею. Только после их смерти вернулась она в свой городок и принялась ездить сначала в недалекую Венгрию, а потом в Польшу, к знакомым знакомых, да не просто так, а на заработки — за скромную плату и содержание рисовать портреты хозяев и их детей, украшать фруктово—овощными натюрмортами чьи—то особняки и коттеджи. И на родине в самые тяжелые 90—е годы рисование ее спасало — в лучших традициях заказчики расплачивались с Антониной Ивановной натурой: снабжали овощами со своих огородов, кормили обедами. Пару раз в году Антонина Ивановна наезжала в Москву, проводывала пустующую квартиру, звонила, приезжала в гости. А в последнем разговоре намекнула, что постриглась в монахини и уходит в монастырь, католический, в Прикарпатье известный. Если благословят, будет писать иконы.

Шляпы Ивана Ивановича долго лежали без применения, но теперь, кажется, у них появилась перспектива. Одна шляпа уже определилась — ей загнули поля и превратили в треуголку для внука Егора. Треуголка получилась превосходная, очень идет Егору — он в ней вылитый Джек—воробей. Пожалуй, что и оставшиеся шляпы можно будет приспособить для каких—нибудь веселых затей.

А совсем недавно, в связи со шляпами, напомнили о себе тараканы. Выяснилось, что существует—таки между ними мистическая связь. Нынешним летом, возле дома, на столбике низенькой ограды, отделяющей газон от тротуара, увидела я шляпу, велюровую, глубокого шоколадного цвета, похожую на шляпку белого гриба. Фасон шляпки (с волнистым, замысловато сформированным краем) неопровержимо свидетельствовал о том, что она явилась на свет в середине прошедшего века. Конечно же, я не прошла мимо шляпки, алчно ее схватила, рассмотрела и поняла, что она абсолютно девственна. Никто ее не носил, может, и примерял,

но следов соприкосновения с чьей-либо головой атласная шляпкина подкладка не сохранила. Ликуя, я притащила шляпку домой, но не примерила сразу, отвлеклась на хозяйственные манипуляции, на телефонный звонок, выскочила за хлебом. Шляпка пролежала на табуретке часа полтора, а когда наконец я взяла ее в руки, то к изумлению своему увидела в шляпкиной глубине тесно сгрудившуюся компанию — небольшую семейку рыжих тараканчиков, выползшую на свет божий из уютного своего гнездышка, из-под сияющей золотистой подкладки.

Увы, годы не пошли на пользу ни мне, ни тараканам — в новейшие, посткоммунальные времена с безобидными жучками воевали не на жизнь, а на смерть, и успешно. Я передернулась от отвращения (и куда только подевалась бывшая моя толерантность), схватила шляпку, сунула ее в полиэтиленовый пакет, бросилась к мусоропроводу, раскрыла алчную его пасть и... остановилась.

Зачем горячиться? Можно ведь поступить разумнее. Ну не расставаться же так грубо с почти уже антикварной вещицей, к тому же родом из детства? И хотя обыкновенно я задним умом крепка, но на этот раз затормозила вовремя, сама себя схватила за руку. Короче говоря, все кончилось благополучно, тараканы выселены, шляпка жива и здорова, и, быть может, настанет день, когда я рискну ее примерить. А вдруг она окажется мне к лицу?

Про джинсы и батники Можно ли представить человека последней трети XX столетия без джинсов? Вопрос риторический. Но ведь на пространстве СССР среднестатистические граждане о настоящих американских джинсах и не помышляли. Реальностью были индийские. Москвичи, например, могли обрести индийские джинсы, отстояв километровую очередь в «Детском мире». Очередь, дабы не загромождать торговые залы, вилась обыкновенно по лестнице, достигала верхнего этажа и заворачивала вниз. То есть, заняв ее на первом этаже, предстояло в замедленном темпе подняться на четвертый, а потом спуститься на второй или третий, туда, где «выбросили» вожденный товар. Не каждый соглашался пройти многочасовой марафон ради паршивеньких индийских джинсов.

К счастью находились люди (авангард советской молодежи), не без блеска решавшие проблему приличных джинсов. Вернее, находившие американским джинсам отечественную альтернативу. Самые одаренные, вроде поэта Эдуарда Лимонова (талантливые во всем — и в творчестве, и в ремесле), научились шить джинсы не хуже американских. Лимонов обшивал гуманитариев своего круга. При желании, по ходатайству знакомого молодого поэта, и мы могли бы влиться в ряды лимоновской клиентуры. Но у нас был свой собственный лимонов. Не поэт, но спасатель на водах.

Звали его Дефани. Такое эффектное имя нельзя считать ни прозвищем, ни кличкой, только псевдонимом. Я любовалась Дефани с самого детства, потому что мы с ним учились в одной школе. Той весной, когда я переходила во второй класс, Дефани школу заканчивал. Так что пересеклись мы только однажды, на церемонии

«последнего звонка». Мероприятие заключалось в том, что первоклассники, выстроившись шеренгой перед такой же шеренгой десятиклассников, по сигналу директора подбегали к выпускникам и вручали им букетики ландышей. А самая миловидная первоклассница (если не миловидная, значит блатная — дочка завуча или внучка директора) пробегала между шеренгами, звеня колокольчиком и символизируя тем самым последний школьный звонок.

Но и в последующие годы я часто встречала Дефани, потому что жили мы по соседству, а дружил он с братом подружки моей Ленки. Через год после окончания школы они с Генкой (Ленкиным братом) стали жертвами Московского фестиваля молодежи и студентов, случившегося летом 57-го года. Жертвами фестиваля я называю самых простодушных (и не обязательно молодых) людей, которым открылось вдруг существование иных цивилизаций, иных миров, иного образа жизни, иной манеры поведения. Раньше—то, по простоте душевной, они об этом и не подозревали. А иностранцы, продемонстрировав все свои преимущества, через две недели уехали, и что было делать оставшимся с новыми знаниями и впечатлениями, с этим глотком кислорода, недостаточным для дальнейшей жизни? Зато из менее простодушных свидетелей и участников фестиваля тогда же начали формироваться отряды будущих диссидентов.

Фестиваль умножил ряды фарцовщиков. В их ряды становились самые рискованные, оборотистые, практически мыслящие люди, как из первой категории (простодушных), так и из второй (не простодушных). Значение слов «фарца» или «фарцовка» общеизвестно. Это спекуляция, перепродажа вещей, добытых у иностранцев (всего—навсего мелкий бизнес). А вот происхождение этих слов неясно даже составителю «Словаря русского арго» (издание Московского государственного университета имени Ломоносова, М.: Азбуковник — Русские словари, 2000) господину Елистратову. Он и сам не знает, то ли это сближение с простонародным словом «фарт» (счастье, удача), то ли со словом «форс» (спесь, щегольство), а может, произошли слова эти от уголовного «фэрц» (рубль), или (о ужас!) восходят корнями к языку идиш, и связаны каким—то образом (кошмар какой!) с названием мужского полового органа, подвергнутого обряду обрезания.

Детей в то фестивальное лето в организованном порядке из Москвы удалили. Вот и я пребывала в пионерском лагере. А 28 июля 1957 года, в день открытия фестиваля, молодые мои родители (не жертвы и не диссиденты) ошавев от впечатлений, бродили до поздней ночи по городу, балдели, но о малолетней дочери не забывали. Полвека в домашних книжных завалах живет книжка Михаила Шарова «Маленькие становятся большими», на форзаце которой десятка два разноязычных восторженных восклицаний, оставленных неведомыми иностранцами — делегатами московского фестиваля.

Итак, Дефани я отношу к «жертвам» фестиваля. Был он самым натуральным красавцем отменного роста, а черты лица имел наподобие античных. Они с Генкой, (тоже эффектным малым) обыкновенно фланировали по Остоженке и Пречистенке (в те времена Метростроевской и Кропоткинской улицам). А одеты были

в те самые брюки–дудочки, пиджаки с широченными плечами и башмаки на толстых каучуковых подошвах, что и комические стилиаги, которых так хлестко высмеивал в своих карикатурах мой любимый художник Леонид Соифертис. На картинках в журнале «Крокодил» стилиаги выглядели потешно и глупо, а вот в жизни наоборот, романтично и интригующе. Дефани так вообще гляделся суперменом.

Дефани с Генкой вовсе не были золотой молодежью, а происходили из скромных малоимущих семей. И приходилось как–то крутиться, зарабатывать на жизнь, пусть даже и фарцевать. Профессий они сменили немало, одно время работали моделями, прогуливались длинноногие по подиуму, демонстрировали обувь фабрики «Скороход». В позднейшие времена, когда мы с Женей ощутили острый джинсовый голод и попали к Дефани, он служил спасателем на Москве–реке, а потом, на наших глазах, перешел на работу в трест «Мосозеленение». Трудно представить Дефани, высаживающим деревца на обочинах столичных магистралей. В тресте он только числился, потому что советская власть терпеть не могла людей свободных профессий, считала их тунеядцами и высылала из Москвы за сто первый километр.

Зарабатывал Дефани не озеленением, а шитьем — шил первоклассные джинсы, не хуже фирменных. Настоящая джинсовая ткань была таким же дефицитом, как и сами джинсы, но Дефани, человек творческий, нашел выход из положения. Он шил брюки джинсового покроя из тканей самых разнообразных. Оказалось, что очень клево смотрятся джинсы, сшитые из грубой пальтовой ткани, из брезента или из ткани технической. В таких то ли джинсах, то ли брюках присутствовал особый шик. Когда мы с Женей открыли Дефани и подарили его отделу, приятели наши и сослуживцы, во главе с Михаилом Матвеевичем, стали его преданными клиентами. Михаил Матвеевич высоко ценил талантливых людей, независимо от того, в какой области они себя проявляли.

Жил Дефани в Кропоткинском переулке, на первом этаже, в доме, обреченном на снос. Окна пришлось забить фанерными щитами (защита от любопытных и фининспектора), а посреди комнаты свисала с потолка веревочная петля. Была такая мода — замутить что–нибудь диковинное в своем жилище, ужасно оригинальное. Хорошо было пройтись босыми, вымазанными краской ногами по собственному потолку, или оклеить стены этикетками от всех, когда–либо выпитых с друзьями бутылок портвейна «777», солнцедара или плодово–ягодного (плодово–выгодного) вина. Изощрялись, кто как мог, тестировали себя на степень свободы от условностей, эпатировали ближних.

Брюки, сшитые Дефани по джинсовым законам, неизменно удавались и носились до тех пор, пока ткань не истлевала. Альянс наш длился несколько лет. А когда домик в Кропоткинском снесли, Дефани, блистательный житель столичного центра, очутился на московской окраине, в Перово. Дважды мы побывали в его однокомнатной квартирке, пропахшей лекарственным запахом. Наш последний визит Дефани вытерпел с трудом, а когда выпроваживал нас, из крошечной кухни уже выглядывала его подружка с приготовленным для инъекции шприцем. «Перов-

ские» джинсы так и не состоялись, а вместе с ними канул в вечность великолепный Дефани. В течение нескольких лет стараниями Дефани мы были упакованы в замечательные, талантливые джинсы (пусть даже из пальтовой ткани). Но что носить сверху? Джинсы нуждались в батниках (батник — приталенная рубашка с отложным воротником и пуговицами на планке). А где их взять, эти батники? Нашелся специалист и по батникам.

Надо сказать, что наше конструкторское бюро было презабавнейшим местом. Руководила им Алла Александровна Левашова, человек влиятельный и энергичный. Талантливый стратег и тактик, она решала поставленные перед нею задачи конструктивно и находчиво. А задачи ставились непростые. Однажды Левашовой поручили решить важную проблему. Московские базы и склады затоварены были немалым количеством лежалого кашемира, темно-синего и черного. Кашемир хранился на складах лет двадцать и местами подгнил.

В кратчайшие сроки наши модельеры (из лучших, надо сказать, в стране) создали модные приталенные пальто на поролоне, но не простые, а расшитые сверху донизу в русском стиле красивым тамбурным швом (стилизация народного искусства уже вошла в моду, но еще не надоела). Пальто требовалось распродать поскорее (ткань—то была гниловата), и поэтому стоили они дешево. Женский народ на одном дыхании расхватал оригинальные недорогие пальтишки и целый сезон радостно их носил. К следующему сезону кашемир расползся, лета не перенес, а поролон «заломался». Но вещь стоила так дешево и столько радости принесла покупателям, что зла на швейную промышленность никто не держал. Склады освободились от одного балласта для того, чтобы заполниться другим.

Замечательна была и «вельветовая» эпопея. За несколько предыдущих десятилетий на тех же складах скопились горы разноцветного вельвета. Эта прекрасная, актуальная во все времена ткань отчего—то не раскупалась, требовался импульс, нужно было срочно создать вельветовую моду. Левашова взялась за дело и справилась с задачей блестяще. Провели удачную рекламную кампанию, создали заманчивые образцы, и московских женщин охватило вельветовое безумие. Пришлось даже открыть специализированный магазин «Бирюса» (в честь популярной песенки про одноименную сибирскую речку). Наши модельеры придумали и сапоги тачать вельветовые, и сумки шить из вельвета, и шляпы. Я уж не говорю про юбки и пиджаки.

Бодро решая подобные задачи, Левашова обеспечила себе свободу действий и собрала под крыло первоклассных модельеров и великолепных исполнителей. Но особый колорит конструкторскому бюро придавал отряд высоких, красивых, раскованных девушек—манекенщиц (теперь их называли бы топ—моделями). Своя у них была жизнь, правила ее и критерии. Исходил от манекенщиц особый аромат, интригующий молодых наших художников и художниц. В течение рабочего дня манекенщицы непрерывно переодевались в открытом взорам, облицованном зеркалами закутке, на перекрестии всех путей, демонстрируя чудные пропорции, прелестные формы и редкостное белье.

В небольшую толпу красавиц–манекенщиц затесался один–единственный манекенщик, тоже красивый и высокий. Это был элегантный человек с такими изысканными старомодными манерами, что хотелось назвать его господином. Олег одевался и держал себя, как дипломат, полномочный представитель второстепенной европейской державы. И вместе с тем было в нем что–то милое, складывающееся из непривычных интонаций, голоса своеобразного тембра и забавной многозначительности, почти напыщенности. Олег окончил Институт народного хозяйства, но титульной своей специальностью предпочел свободную профессию. Мы знали, что жил он со старенькой бабушкой, трогательно о ней заботился, подрабатывал шитьем. Шил в числе прочего те самые батники, в которых остро нуждались джинсы Дефани.

С тканью для батников проблем не было. По соседству с нашим учреждением, на Ваганьковском рынке, расположенном напротив одноименного кладбища, существовал (да и сейчас существует) замечательный магазин под народным названием «Лоскуты». В ваганьковские «Лоскуты» люди съезжались со всей Москвы, а нам было до них рукой подать. Дважды в неделю (в присутственные дни) мы рылись в грудах отрезов и отрезков, откапывали и покупали за копейки ситцевые, сатиновые и крепдешиновые лоскуты — остатки многометровых рулонов. А надо сказать, что в советской текстильной промышленности всегда работали первоклассные художники. И в ворохах лоскутов находились замечательно красивые ткани, истинные шедевры. Вот мы и покупали их в огромном количестве, на всякий случай, на будущее. А в дело пошла мизерная часть запасов. Чудные тряпочки дожили до сегодняшнего дня. Давно уж никто ничего не шьет себе сам, все покупаем в готовом виде (то бишь *pret a porte*, как говорят в народе), а лоскуты выбрасывать жалко.

Так вот, из лоскутов этих Олег и шил нам батники. Изготавливались они без примерки. Достаточно было назвать свой размер. И хотя дважды в неделю мы с Олегом встречались на работе, для передачи готового изделия назначалась встреча где–нибудь в центре, на нейтральной территории, на каком–нибудь углу или перекрестке. Из солидного кейса, с Олегом неразлучного, извлекалось завернутое в газету изделие и церемонно вручалось заказчику с такой серьезностью, будто это не рубашка, а верительная грамота.

На наших глазах, неожиданно для всех, Олег женился на ботичеллиевской Рите, той самой художнице (а по совместительству и по причине ослепительной красоты еще и манекенщице), одновременно с которой мы бездумно купили когда–то аргентинские изделия из вонючей лайки. Рита и Олег жили дружно, относились друг к другу нежно. И все горевали, когда случилась трагедия. Сначала погиб при странных обстоятельствах друг Олега. Олега арестовали, вины его в случившемся ужасе не обнаружили, он вышел на свободу, устроил свои дела, позаботился о будущем Риты и... повесился. Видно, что–то ужасное пришлось ему пережить в застенках, не мог он с этим жить дальше.

Когда–то Олег демонстрировал головные уборы, и сделана была серия крупных (в натуральную величину) эффектных снимков Олега в шляпах разных фа-

сонов. Годы спустя после его гибели фотографии эти продолжали украшать витрины универмагов и шляпных мастерских, время от времени попадались на глаза. Встретишься внезапно со взглядом Олега, укоризненно смотрящим на тебя с давней фотографии, и вздрогнешь от оторопи и грусти. А батники «от Олега» вместе с джинсами «от Дефани» мы долго и бережно носили.

ПРО ОБУВЬ Не исключено, что у читателя этого текста возникнет закономерный вопрос: а с обувью—то как? На ноги—то что надевали? Как решалась обувная проблема в те допотопные времена? Ну что ж, можно не без ностальгического драйва припомнить парочку обувных историй.

С обувью обстояло еще сложнее, чем с одеждой. Вообще—то в те времена людям нашего круга обуви требовалось немного. Обходились малым: башмаки демисезонные — на весну и на осень, что—нибудь на зиму (неплохо бы сапоги, но гондились и фетровые боты «прощай молодость»), босоножки на лето. Нужны были «выходные» туфли, что—то приличное для посещения театра, консерватории, праздничного вечера с танцами. Выходными туфлями дорожили, холили их, лелеяли, в свободную минуту вынимали из коробки и любовались.

А для продления жизни башмаков, ботишков, туфель и босоножек существовали на свете сапожники. Ценнейшие люди, старорежимные мастера, чинившие нашу обувь и продлевавшие ее век до бесконечности. Имелся такой сапожник и у нас. Звали его Островский и жил он в арбатских окрестностях, в Гагаринском переулке.

Из года в год, зимними, весенними и осенними вечерами мы с папой относили Островскому в сетке—авоське семейную нашу обувь с протершимися подметками и сбившимися каблуками, а домой в той же авоське возвращали обувь реанимированную, готовую к дальнейшей службе. Все наши башмаки и босоножки Островский знал наизусть, потому что чинил их множество раз. Кстати говоря, «авоська» произошла от слова «авось», и придумал его в 30—е годы для своей репризы актер Хенкин, известный остроумец. Невесомую, но вместительную авоську совали в карман на всякий случай: авось по дороге попадется что—нибудь съестное.

Но постепенно обувные потребности подрастали. Нельзя сказать, что они росли как на дрожжах, но что—то менялось, вдруг захотелось чего—то получше фетровых ботишков, поизысканнее. Возникли безосновательные мечтания об импортной обуви. Отечественная, произведенная на фабриках «Скороход» и «Парижская коммуна», продавалась свободно, но была она самая что ни на есть кондовая. А обувного импорта, осуществлявшегося на девяносто девять процентов из стран народной демократии, на всех не хватало. Особенно высоко котировалась чешская обувь фирмы «Цебо». Но годилась и польская, и болгарская, и какая угодно.

Невозможно забыть о чуде, случившемся в начале 60—х — о нашествии на Москву итальянских туфель на гвоздиках. Дорогущих, по шестьдесят рублей пара, шикарных: лаковых, замшевых, комбинированных, с пряжками, перепонками, ре-

мешками и бантами — каких угодно, всех цветов радуги. Я в те времена была мала, и итальянское чудо, весь этот блеск, лоск, все это драгоценное мерцание воочию наблюдала исключительно на отменных ногах соседки, золотоволосой Анжелики, юрисконсульта важного министерства. У Анжелики итальянские туфли имелись в нескольких экземплярах, разных цветов и фасонов, ко всем костюмам джерси, прописавшимся в советской действительности одновременно с итальянскими туфлями. И сама Анжелика, и туфли ее зависти не вызывали, одно восхищение.

Время шло, замаячило окончание школы, завершавшееся, как водится, выпускным балом. С осени одноклассницы мои говорили только о платьях и туфлях на гвоздиках. Традиционно и то и другое непременно должно было быть белого цвета. Проблему моего платья решили малой кровью с помощью домашней портнихи Галины Дмитриевны, а сорок рублей на туфли мы с мамой накопили к весне. Накопить—то накопили, да где их взять, эти туфли?

Свободно белые туфли продавались в специализированных магазинах. Люди, намеревавшиеся вступить в брак и подавшие заявление об этом намерении в ЗАГС (отдел записи актов гражданского состояния) получали приглашительный билет в «Салон для новобрачных». Приглашение позволяло жениху с невестой купить самое необходимое для будущей супружеской жизни: пару женских туфель, пару мужских башмаков, некоторое количество постельного и носильного белья, свадебное платье с фатой, кое—что из утвари, обручальные кольца. А также набор продуктов для свадебного пиршества (в который входили, между прочим, дефицитные лакомства вроде красной рыбы и финской сырокопченой колбасы). Перед женихами и перед невестами распахивались двери свадебного ателье и свадебной парикмахерской. На все эти съедобные и несъедобные предметы, а также услуги, в приглашительных билетах имелись соответствующие купоны, отрезавшиеся по мере приобретения товара и осуществления сервиса. Во избежание спекуляции и разного рода перепродаж. Государство на кривой козе не объедешь.

Но кое—кто объезжал. Доподлинно известно о случаях, когда две osoby (мужского пола и женского), сговорившись, подавали в ЗАГС фиктивное заявление, получали приглашение в свадебный салон, отоваривались по максимуму, а в назначенный день регистрировать брак не являлись. Могло бы дойти до полного безобразия, но работники ЗАГС`а опомнились, и на самом начальном этапе — в момент подачи заявления, стали ставить в паспорта специальные штампики. А штамп в паспорте это уже не шутка, мало ли что... Сервелат—то съешь, а штамп—то останется.

Обыкновенно невесты с женихами реализовывали все купоны, не отказывались ни от одной покупки. Но мне повезло, в окрестностях нашей семьи назревал брак. Друзья моей тетушки, студенты МГУ, искусствовед Ира и поэт Юра, собирались пожениться. Люди бедные, они о свадебных нарядах не помышляли, но заветным приглашением обладали. Добрые ребята согласились поехать со мной в свадебный салон и купить мне белые туфли. Настал заветный день, и мы втроем прибыли в свадебный магазин возле метро «Автозаводская». В кармане моем бы-

ло ровно сорок накопленных рублей, именно столько стоили импортные туфли нужного мне калибра. Свадебный салон потряс воображение. А обувной отдел являл собою царство белых туфель: сияющих и лоснящихся. Сердце мое затрепетало, происходило нечто нереальное, сказочное: вот я, а вот моя мечта. И это не сон. Сейчас, сию минуту я смогу выбрать любую пару из этого сказочного изобилия.

Среди белоснежной роскоши зарубежного происхождения, чуть в стороне, как скромные бедные родственницы, стояли одни единственные туфли отечественного производства, тоже узконосые и тоже на тоненьких каблучках. Такие же, да не такие, какие-то неубедительные. Зато стоили они не сорок рублей, а всего-навсего двадцать пять. Ира с Юрой, гаранты моего счастья, внезапно проявили горячий интерес к предстоящей покупке и с жаром, на два голоса, принялись уговещивать меня, уговаривать не тратить бешеных денег на непрактичные импортные туфли, не выбрасывать их на ветер, а купить дешевые, советские, ничем от импортных не отличающиеся. И я малодушно поддалась уговорам, не выдержала красноречия их и напора, застеснялась мещанских своих притязаний, купила отечественное изделие. Заплатила деньги в кассу, получила коробку с туфлями, не рядную, импортную, а грубую, из серого картона, склеенную кое-как в инвалидной артели. И вместо радости обретения ощутила досаду. На себя. А пятнадцать сэкономленных рублей тут же одолжила своим благодетелям. Оказывается, именно столько стоила брусничная блузка, приглянувшаяся Ире с Юрой.

Покидая свадебный салон, я и не думала очутиться здесь снова, да еще в самое ближайшее время. Вот, в качестве вставной новеллы, эта дурацкая история, приключившаяся в конце июня сорокалетней давности. В тот день я возвращалась из Строгановки, с просмотра, на котором определяли, можно ли допустить человека до вступительных экзаменов или не стоит засорять им ряды абитуриентов. Я прошла просмотр без труда и возвращалась домой окрыленная, мне даже почудилось, будто появился шанс поступить в институт. На крыльях этой иллюзии я почти летела прямым Ленинградским проспектом, все вперед и вперед. Не хотелось спускаться в метро, хоть я и тащила огромную папку, набитую натюрмортами и обнаженными моделями. Папка была самодельная, плоховато склеенная, с хлипкими веревочными ручками и сомнительными тесемками. Да еще парусила под июньским ветерком.

Но возле станции метро «Динамо» остановила меня бойкая миловидная особа, девушка Света, прибывшая накануне из города Сочи на собственную свадьбу. С московским женихом Света познакомилась прошлым летом на пляже цековского санатория. Светин папа был в городе Сочи одним из первых лиц — то ли партийным функционером, то ли хозяйственным. И отец жениха, в столичном масштабе гораздо скромнее Светино, но тоже не лыком шит. А сама Света на прошлой неделе окончила Ростовский педагогический, английское отделение. То есть брак намечался отменный, отнюдь не мезальянс. Света разыскивала салон для новобрачных, хотя все необходимое для свадьбы уже имелось. Платье из шелкового гипюра сшила лучшая сочинская портниха, белых туфель папа привез из ГДР две па-

ры — на выбор, барахла всякого в багаже вагон и маленькая тележка. Не хватало только обручальных колец. Обычные Света не хотела, потому что слышала об особенных, модных, не гладких, как у бабки и матери, а с алмазной гранью. Я принялась объяснять Свете, как проехать в известный мне свадебный салон, но Света объяснений моих слушать не стала, а с простодушным напором предложила ее проводить. Боясь показаться спесивой столичной жительницей, я согласилась. Должны же москвичи держать марку, так думала я в ту далекую пору. Осложняла жизнь разваливавшаяся на глазах папка с работами. Свету это не смущало, и мне некуда было деваться.

В знакомом новобрачном салоне нужных колец не оказалось, и мы двинулись в следующий. Полная радужных жизненных перспектив, с сочинским загаром и задором, Света бодро бежала впереди меня, то и дело оборачивалась, трещала, рассказывала о женихе, о встрече на пляже, делилась планами. Планы были блистательные: в свадебное путешествие поедут в Карловы Вары, жилищный кооператив построят самое позднее к декабрю, с мебельным гарнитуром проблем не будет, «Жигули» у жениха новые. Собирались сегодня объехать свадебные салоны на машине, но жениха срочно вызвали на работу, в ЦК комсомола. А до завтрашнего дня, при Светином—то темпераменте, ждать сил нет!

Хорошо было Свете налегке, а мне—то с моей папкой несладко пришлось. Сколько раз входили мы в метро и выходили, влезали в вагоны и вылезали, ввинчивались в толпу, поднимались по эскалаторам и спускались, какие пространства преодолели под землей и по земле, теперь уж не вспомнить. И в каждом очередном салоне я любовалась белыми туфлями, теми самыми, о которых грезил целый год, но которых по слабости характера не обрела. И по той же слабости таскалась с ветшавшей на глазах папкой за незнакомой девицей из курортного города. До вечера мы объехали несколько свадебных салонов, но колец с алмазной гранью так и не нашли. А когда магазины позакрывались, Света потеряла ко мне интерес, сухо попрощалась и заторопилась в светлое будущее.

Маме, обеспокоенной долгим моим отсутствием, правду я не сказала, постеснялась, свалила все на длительную процедуру просмотра. Чувствовала себя дура душой, хотя и не совсем. Потому что устояла и не отдала Свете сеточку для волос, которую цепкий сочинский взгляд сразу же приметил на моей голове. Сеточка эта представляла собой ничтожную, эфемерную, но модную и исключительно дефицитную в том сезоне вещицу. Мне эту сеточку подарила перед расставанием (все—таки одиннадцать лет вместе проучились) соседка по парте, Элка. У Элкиного отца, секретаря парторганизации ГУМ`а, имелся ход и к сеточкам, и к прочим диковинкам. Но человеком он был скромным, старорежимным, порядочным, да и времена на дворе стояли пуританские, и ничем особенным Элка среди нас не выделялась. Хотя, конечно, одевалась лучше одноклассниц.

Все наше совместное свадебно—салонное путешествие сеточка не давала покоя напористой Светочке. Предлагались разные варианты: обмен (не помню на что), покупка (сначала за пять рублей, а потом и за десять), подарок (на память о

знакомстве). Сеточка не была мне нужна (гораздо нужнее были пять рублей, а тем более десять), в тот день я надела ее единственный раз в жизни, исключительно ради просмотра. Тем более удивительно, как устояла я против Светиноного нахрапа и сумела сказать категорическое «нет»? Видно, смутно догадывалась, что умение в нужный момент сказать это категорическое слово одно из важнейших жизненных умений. А злополучные выпускные туфли, купленные в брачном салоне, оказались на удивление прочными, наилучшего советского качества. Носила я их несколько лет, без всякого удовольствия, до тех пор, пока они не вышли из моды окончательно. Сносить так и не смогла. И все эти годы сожалела о тех, не случившихся.

А вот еще одна обувная история. Однажды мы с подружкой моей Леной, той самой, вместе с которой добывали некогда куртку из выворотной кожи, направлялись в институт. Учились мы на вечернем отделении, и в тот день предстояло сдавать английские «тысячи». Что это такое? Всего—навсего тысячи английских слов, которые полагалось перевести в течение семестра. Выбирался несложный английский текст, подсчитывалось путем простого умножения в столбик количество содержащихся в нем знаков, все это кое—как переводилось, а результаты кропотливого труда демонстрировались педагогу. Врать не буду, для скорости я переводила тысячи с помощью друга семьи Марии Николаевны. Мария Николаевна преподавала английский, рыться в словарях мне не хотелось, и я беззастенчиво пользовалась знаниями ее и добротой.

До института добирались долго. Возле станции метро «Новослободская» садились в автобус семьдесят второго маршрута и минут сорок тряслись в нем, обыкновенно стоя, потому что ехали на занятия в час пик. Чтобы не скучать, встречались с Леной в самом начале пути. С Леной и правда не было скучно. Остроумная и озорная, на долгом пути в институт Лена развлекалась сама, развлекала меня и окружающих. Произносила рискованные монологи, провоцировала забавные диалоги, шалила. Так мы и коротали дорогу. Билетов не брали, по экономическим соображениям и из чувства социального протеста — транспорт работал из рук вон плохо. И оштрафовали нас за пять с половиной лет всего дважды — прямая выгода. Обыкновенно, прежде чем втискиваться в автобус, в перманентной надежде на удачу заходили в ближайший обувной магазин. И однажды оказались возле него в момент формирования очереди. То есть человек пятьдесят уже скопилось, но это было самое ее начало. Очереди предстояло стать тысячной, потому что «выбросили» потрясающие сапоги. Очертаниями своими сапоги опережали наше представление о грядущей моде. Высоченные, до колен, тупоносые, на квадратных каблуках, со шнуровкой. Я сразу поняла, что ради таких сапог согласна на «хвост» по английскому. Лене сапоги не годились. Ей, низенькой, кругленькой, они были противопоказаны. Но Лена меня не бросила, не помчалась сдавать тысячи, а образовала группу поддержки.

Растущая на глазах очередь представляла собою напряженный, спянный общей идеей не коллектив, но конгломерат. Женщины стояли вплотную друг к другу, создавая нечто, подобное извивающейся мускулистой змее. Стоило разомкнуть

эту цепь, образовать щель, как в нее непременно втиснулась бы наглая личность извне. И попробуй потом личность эту исторгнуть. Очередь состояла из соперников и в то же время сообщников. Общие чувства: напряжение, страстное желание обретения, готовность к отпору объединяли участников очереди. Одиночество в очереди опасно, того и гляди кто-нибудь скажет: — Вас здесь не стояло. — Непременно нужно объединиться с кем-то, почти подружиться, создать кратковременный союз. В состоянии покоя очередь немногословна, недоверчива, наэлектризована. Хочется, очень хочется верить в удачу, но не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Внутреннее напряжение очереди так велико, что взрыв может произойти мгновенно. Не дай бог его спровоцировать неправильным поведением.

Но случались в очередях и нетипичные ситуации. Вспоминается иная очередь, позднейшая, склублившаяся в торговом зале магазина «Кабул» еще в эпоху дефицита, но уже на занимавшейся заре демократии. В тот раз в продажу поступили афганские кожаные сумки, которые «давали в одни руки» в любом количестве. По этой причине очередь двигалась медленнее, чем могла бы. Выстояв часа два, я поняла, что опаздываю на встречу и придется уйти несолоно хлебавши. Обыкновенно в подобной ситуации очередь радуется, как говорится: «меньше народу — больше кислороду». Но в тот раз стоявшая позади меня женщина предложила: — Давайте я куплю сумку, а завтра мы с вами встретимся. — Я согласилась и на глазах изумленной очереди, ошарашенной небывалым актом взаимного доверия, оставила милой женщине тридцать рублей (вполне серьезные деньги) и написала на клочке бумаги номер своего телефона. Написала и в состоянии душевного подъема (почти эйфории), напевая про себя «возьмемся за руки, друзья...», отправилась по делам. Славная песня в описываемые времена приближалась к пику своей популярности.

В тот же вечер добрая женщина позвонила по телефону, а наутро мы с нею встретились возле булочной, неподалеку от зоопарка, взаимно растроганные и умиленные. А когда выяснилось, что у обеих имеются юные дочери, то немедленно побратались (посестрились) и договорились помогать друг другу в добывании всяческого дефицита. И хотя знакомство это продолжения не имело, возникла кратковременная иллюзия, будто теперь-то уж все мы будем жить дружно и относиться друг к другу по-человечески.

А та давняя очередь за сапогами на шнуровке, случившаяся в зените эпохи застоя, двигалась довольно быстро. И всего-то часа через полтора (ну не чудо ли?) я обрела фантастические сапоги. С коробкой небывалой длины мы с Леной прибыли в институт. Опоздали на зачет по английскому всего на пару часов. Увидав фирменную коробку, педагог наш ничуть не рассердилась. Не могла одна советская женщина не понять другую такую же при виде обувной коробки импортного происхождения. То есть удача буквально преследовала меня в тот день — я обрела небывалые сапоги, сдала английские тысячи и заподозрила, что жизнь удалась!

Вечером я с гордостью предъявила сапоги семье и соседке Ларисе. Семья порадовалась за меня, а Лариса разнервничалась, кинулась к телефону, позвонила жившим неподалеку младшим сестрам, и через десять минут две звезды, две

красавицы, две певицы, близнецы Света и Люся уже звонили в дверь нашей квартиры. Сапоги ошеломили Свету с Люсей, сестры разволновались, хотя были не лыком шиты и не лаптем щи хлебали. Света с Люсей были девушками «выездными», побывали на других континентах и обуви повидали. Шок, испытанный близнецами при виде новых моих сапог, польстил мне чрезвычайно.

Наутро Света с Люсей стояли у дверей обувного магазина возле метро «Новослободская». Очередь, образовавшаяся накануне, переползла на следующий день, добровольцы дежурили всю ночь, составляли списки, с рассвета отмечались каждый час, не явившихся на переключку безжалостно вычеркивали, все шло своим чередом. Шансов купить сапоги у близнецов не было. То есть в тот раз Свету с Люсей постигла неудача, а к неудачам они не привыкли, на неудачу рассердились и презрительно заклеямили чудесные мои сапоги ортопедической обувью. Я не обиделась, поняла переживания девчонок. Неудача с сапогами никак не отразилась на судьбах Светы и Люси, все у них в конце концов сложилось неплохо. Певчие близнецы с мужьями и дочерьми давно уже переместились в небольшой городок под Нью-Йорком и в очередях за сапогами не стоят.

Сладостный этот текст можно было бы продолжать бесконечно, извлекая из недр памяти полузабытые одежно-обувные истории, но надо же меру знать и заканчивать общение с гипотетическим читателем на оптимистической ноте. Встреча с чудесной незнакомкой в белом, давшей, неведомо для себя, импульс этому тексту, случилась на Поварской улице в начале декабря прошлого года. А сегодня, 11 июня, стою я на остановке возле станции метро «Полежаевская», жду троллейбуса, как вдруг устремляется ко мне пожилая дама и глядит в глаза так доброжелательно, так улыбочиво, будто мы с нею старые знакомые.

— Не скажете ли — спрашивает дама, не обращая внимания на нависающие над остановкой часы с крупным циферблатом и внятыми цифрами, — сколько сейчас времени? — Десять минут второго — отвечаю я с готовностью, понимая, что вопрос всего лишь повод вступить в беседу, и испытываю при этом странно поднятое чувство. Женщина вся в белом. Белые джинсы, белоснежная блузка с пышным кружевным жабо (неожиданное сочетание, но вполне убедительное), белейшая шляпка из итальянской соломки, сумочка, туфельки — все белое. Но самое удивительное — на даме белые нитяные перчатки (вещь в нынешнем быту редкая), точно такие, какие носила в середине 50-х годов моя тетушка.

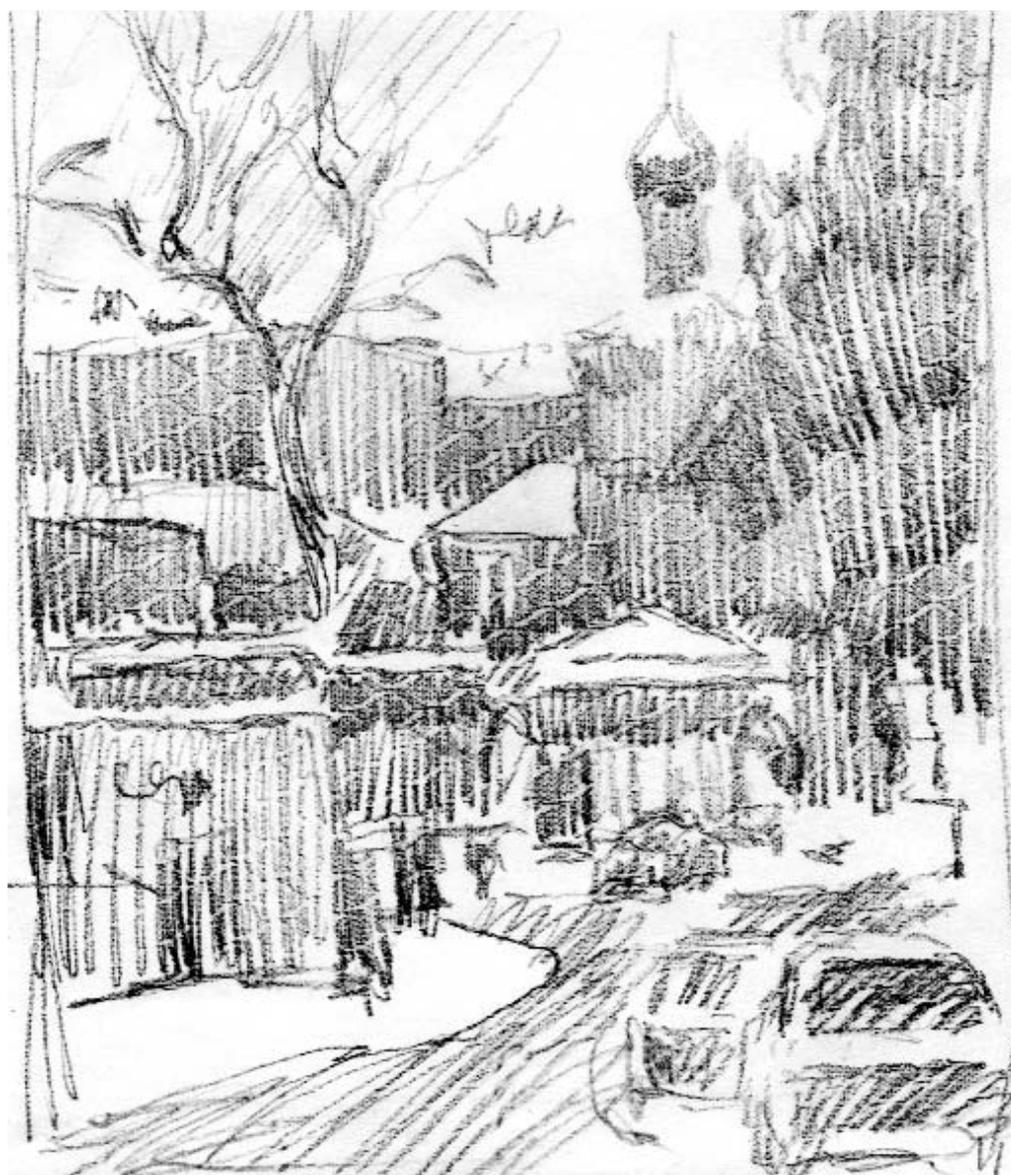
Разговор завязывается мгновенно и длится минут двенадцать или пятнадцать, из которых шесть или семь мы ждем троллейбуса шестьдесят пятого маршрута и столько же на нем едем. Впрочем, разговором общение наше назвать трудно, потому что это был монолог, из которого я узнала, как целый год дама обменивала квартиру в прекраснейшем, экологически чистом районе Жулебино на жилье в грязных замусоренных Кузьминках, а все для того, чтобы проще добираться до театров и концертных залов (в Жулебино с транспортом туговато); что в подъезде нового ее дома страшная грязь, в то время, как в точно таком же соседнем доме изумительно чисто; выслушала сетования по поводу особенностей российского мента-

литета, отдельные обладатели которого упорно пренебрегают чистотой; удивилась тому, с какими трудностями раздобыла дама летние перчатки, эти самые, сетчатые, нитяные. — Зачем вам перчатки летом? — издевательски спрашивали продавцы, когда дама моя обращалась к ним за помощью. На что она отвечала с достоинством: — Я с детства приучена к чистоте, не привыкла выходить на улицу без перчаток и прикасаться ко всей этой грязи пальцами.

Все двенадцать (или пятнадцать) минут я внимала даме с восторгом, не понимая его причины. И вдруг меня осенило — дама—то эта та самая декабрьская незнакомка с Поварской, вот откуда мне знакомо ее лицо, серебряные локоны из—под шляпки, счастливое выражение некрасивого милого лица.

И вот уж новая моя знакомая раскланивается, горячо желает мне самого лучшего (а я ей), направляется к троллейбусным дверям, сейчас она сойдет на Песчаной площади. Уже расставшись, вослед ей, спрашиваю: — Простите, мне знакомо ваше лицо, не встречались ли мы с вами в районе Поварской? — Конечно, — отвечает дама, ничуть вопросу моему не удивившись — в Жулебино—то нас с Поварской расселили. Я ведь на Поварской родилась и так ее люблю, что езжу туда не реже двух раз в неделю. Мне там и дышится легче, чем в этих загаженных Кузьминках. Тут троллейбусные двери отворились и женщина в белом, немолодая муза моя, фея чистоты, легко соскочила с подножки и весело помахала мне сумочкой. Клянусь, все так и было! Завершающую повествование оптимистическую ноту чудесным образом подбросила сама жизнь. Текст этот прочла моя молодая подружка и позавидовала: — Хорошо вам было, таким пустякам радовались, из—за такой чепухи ликовали. Нам—то хуже приходится.

Декабрь 2006 — июнь 2007



«Если мне
что-то дано,
я должна
это высказать»



Из письма ...Помните, я рассказывала Вам о нашей мастерской в доме на набережной? Мастерская в трехэтажном доме, выстроенном в конце прошлого века для фабричных рабочих. В тех краях много было маленьких фабричек и некоторые до сих пор живы. Дом тухлявый, на ладан дышит. А местность по теперешним временам престижная. Короче говоря, инвесторы делят территорию, дом вот-вот снесут, и сетовать не приходится. Можно только благодарить судьбу, четверть века позволившую пользоваться этим спасительным помещением.

Так вот, за стеной у нас мастерская старушки-скульптора. Все годы мы раскланивались при редких встречах, но никогда не разговаривали. Старушка (зовут ее Юлией Николаевной Скрябиной) еще в те времена, когда была не старушкой, а красивой пятидесятилетней женщиной, выглядела чудачкой. Среди художников такое случается и ничуть не удивляет. Но теперешний ее облик невероятен. Пожалуй, что и сорок лет назад не приходилось встречать такие фигуры даже в нашем с вами арбатском заповеднике, где водились престранные старушки «из бывших».

По виду Юлия Николаевна самая настоящая пустынноца, старица в перепоясанном вервием одеянии, горбатенькая, с посохом. Темное ее одеяние не кажется унылым, сшито оно талантливо, артистично. Иногда сверху надевается диковинная клочковатая жилетка из разнородных кусочков швами наружу, мечта хиппи всех времен и народов. На ногах разношенные мужские башмаки, единственно подходящая обувь для искореженных ее ног. Лицо породистое, взгляд острый, ироничный. Последние годы я изредка встречала ее в переулке, видела выходящей из ближнего храма, но только теперь, в результате надвигающегося выселения впервые зашла в ее мастерскую. Если можно назвать так помещение, в котором она живет и работает.

Представьте себе две маленьких комнатки без дневного света (несколько лет назад стекла выбили и она, дабы не искушать шпану, забила их фанерой), с лампочкой в сорок ватт, потому что платить за электричество нечем, и она старается не слишком обременять государство. Имеется еще крохотная кухня, заполненная до потолка конгломератом из окаменевшей глины и разнородного хлама. Нет ни кровати, ни матраса, ни подушки. Зато есть старинная электроплитка с открытой спиралью. Запах ужасный — в доме перманентный засор канализации, комнаты не проветриваются, и в изобилии обитают крысы. Из мебели имеется стол, на котором она рисует, и тумбочка с иконами и лампадкой.

Пенсии Юлия Николаевна не получает, не стала ее оформлять, а в мастерской живет потому, что: во-первых — ближе к монастырю, а во-вторых — не хо-

чет появляться в своей квартире из-за соседей, по логике сегодняшнего дня с нетерпением ожидающих старушкиной смерти. А так как Юлия Николаевна не бывала в своей квартире уже три года, соседи объявили всесоюзный розыск. По существующим правилам, если в течение какого-то срока человека не находят, жилплощадь можно считать освободившейся. Надо отдать должное милиции, она Юлию Николаевну нашла. А Юлия Николаевна в курсе сегодняшней криминальной ситуации, у нее круглосуточно работает радио, поэтому она заявила милиционеру, что входит в группу риска, к которой относятся ныне все одинокие пожилые москвичи.

В прошлые годы, когда передвигаться ей было легче, она обедала в монастыре. Теперь добираться туда трудно, но монастырские о ней помнят, навещают, приносят хлеб. В этом смысле с Юлией Николаевной просто, она легко и охотно соглашается взять деньги или съестное, если приношение соответствует тому, что она ест (она вегетарианка, не употребляет еды заморской, ничего рафинированного, только натуральное и самое простое).

Но самое удивительное — мастерская. Стены и потолки расписаны ветхозаветными и евангельскими сюжетами. Места в мастерской мало, поэтому одно изображение перетекает в другое. Росписи теснят друг друга, вытесняют. Их мало кто видит, но и эти немногие вряд ли понимают необычность явления. Дело в том, что Юлию Николаевну не благословили показывать эту неканоническую живопись. Может, она и правда не каноническая, но великолепная. Каноны Юлия Николаевна знает, но не следует им. Пишет так, как чувствует и понимает. Перед тем как покинуть мастерскую, ей придется сбить росписи, самой уничтожить их, чтобы не оставлять на поругание. Она уже начала было это делать, кое-что стерла, но не удержалась, и на освободившихся плоскостях написала новые, еще лучшие прежних. А когда нет красок Юлия Николаевна рисует. Рисует тем, что под рукой, например, шариковой ручкой, плотно заполняя изображением плоскость любого размера. Как-то из-за сломанной ноги не пошла на Рождественскую службу (впервые в жизни) и всю ночь рисовала ее, с начала и до конца. Нарисовала все песнопения и тропари, все молитвы. Рисунок во весь лист ватмана потребовал столько времени, сколько длится Всенощное бдение. Как можно за несколько часов сделать такой сложный, подробный, многодельный рисунок, непонятно. Нечто из серии чудес, как и все прочее. Представьте: ветхий дом, в нем лишенное дневного света тесное, сырое, душное помещение. То ли нора, то ли пещера, то ли ранние христианские катакомбы. Густой, годами настоящий запах вечно испорченной канализации. Крысы. И в этом невозможном для жизни пространстве обитает старая женщина, скрюченная и хромая, но бодрая и пребывающая в завидном творческом тоне. В неправдоподобных житейских условиях в истощенном старческом теле, более всего напоминающем мощи, кипит жизнь Духа высочайшего накала. В немощном мафусаиловом обличье живет молодой дееспособный человек, переполненный идеями и непрерывно воплощающий их в жизнь.

К себе Юлия Николаевна строга. Показала как-то толстую пачку рисунков. Сюжет один — Богоматерь Умиление, но повторенный множество раз, до тех пор,

пока не получилось то, что нужно. И это все тоже будет уничтожено. Передать работы куда-то (кому-то) Юлия Николаевна не может из-за наложенного запрета, принятого ею с покорностью. И росписи и рисунки обречены. Но это ничуть не отражается на процессе работы. Юлия Николаевна рисует с тем же пылом, как если бы делала это на века. Говорит: — Если мне что-то дано, я должна это высказать. И выскажу!

Похоже, так оно и есть. Вот Вам сюжет: захожу я однажды к Юлии Николаевне и вижу новую фреску (Преполовение), написанную на месте прежней, полустертой. Фигура Христа в человеческий рост, на первом плане удивительные красные цветы и едва намеченная сине-зеленая волна. Красота неопишная. Юлии Николаевне приятно мое восхищение, и без всякой досады она говорит: «Видите — на воду краски не хватило. Я цветную тушь с белилами малярными смешиваю, купила когда-то много пузырьков, а вот теперь и синяя и зеленая закончились. Ну ничего, это неважно, если нужно, чтобы я это дописала, краска будет!»

Вернулась я в свою мастерскую и решила на всякий случай взглянуть, нет ли чего подходящего среди папиных красок, каких-нибудь остатков. На успех ничуть не надеюсь, потому что после папиной смерти раздала краски его ученикам. Остались в мастерской ящички с тюбиками полностью выжатыми или выжатыми почти до основания. Тюбики эти, скрученные в свинцовые трубочки, окаменевшие, рука не поднимается выбросить — они кажутся мне живыми. Есть даже те, что от бабушки остались, им лет по девяносто.

Так вот, открываю я один из таких ящичков (своего рода захоронение) и вижу поверх груды скукоженных свинцовых старичков сияющий, абсолютно девственный и даже запаянный тюбик темперы казеиново-масляной с наклейкой «Кобальт зеленый светлый». То есть в точности тот цвет, которым Юлия Николаевна начала писать волну. Что вы на это скажете? Не чудо ли? В восторге мчусь к Юлии Николаевне, предвкушаю ее удивление и радость. Ничуть не бывало. Юлия Николаевна реагирует обыденно и говорит невозмутимо: «Вот видите, я же говорила, если нужно, чтобы я это Преполовение дописала, краска будет».

К предстоящему выселению относится смиренно, сказала: «Стресса не будет». А что будет, не знает. Ее зовут в монастырь, в богадельню, но она туда не хочет. Склоняется к странствованию. Но какое странствование, если в прошедшую зиму она и до монастыря дойти не могла. Есть вариант возвращения в квартиру, в которой ей принадлежат три комнаты из четырех. Юлия Николаевна не была там три года, и бездну времени не платила за квартиру. Что с этим комнатами за это время произошло — неизвестно. Но она верит, что в нужный момент путь будет указан. Говорит: «Меня хотят взять измором, я понимаю — это испытание и я должна его выдержать». В характере Юлии Николаевны начисто отсутствуют уныние, брюзжание и жалобы, зато присутствует довольно безжалостная ирония, а также живейший интерес ко всему на свете, задиристость и озорство.

Юлия Николаевна красавица. Волосы густые, блестящие, уложенные в черно-седую старинную прическу. А ведь она их никогда не моет, условия мастерской

этого просто не позволяют. И глаза редкостного разреза и такого же редкого сизого цвета. Зубы, само собой, отсутствуют. Время от времени из-за нашей общей трухлявой стены доносится ангельское пение. Это Юлия Николаевна распевает псалмы. На входной двери в мастерскую с внешней ее стороны собственноручно отлитое гипсовое распятие, а над дверным проемом одной из комнат тексты, замечательно написанные на ватмане церковно-славянским шрифтом. Один из них гласит: «КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕКЪ ТАК ЖЕ ХОРОШЪ, КАКЪ И ВСЯКИЙ ДРУГОЙ, ЕСЛИ ОН НЕ СЧИТАЕТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ ДРУГИХЪ... Джек Лондон "Сынъ солнца"». И второй: «...НО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА БЫВАЮТЪ СИЛЬНЕЕ НАСЪ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВСЕГДА СИЛЬНЕЕ НАСЪ. НО МЫ-ТО ЛЮДИ...» Церковно-славянским шрифтом Юлия Николаевна владеет превосходно. Я решила записывать кое-что из ее рассказов. Пусть в самом бледном, отрывочном виде останется хоть что-то от ее монологов.

* * *

— Когда мама болела и умирала, она все про себя понимала и сама приготовила одежду для похорон: сшила платье, чепчик достала шелковый, 30-х годов, очень изящный, вышивка рококо (мама сама вышивала), все это примерила, посмотрела на себя в зеркало, понравилась себе, потом все сняла, сложила аккуратно и спокойно легла. А я не понимала что происходит, я-то думала, что я ее поправляю. Мама мне сказала тогда: — Вот ты за мной ухаживаешь, а понимаешь, что когда я умру ты останешься совсем одна? — А я ей совершенно спокойно ответила: — Почему одна? Я останусь с Господом нашим Иисусом Христом. — И точно так и получилось. Прошло уже двадцать лет, а я не одна, видите, я, слава тебе Господи, с Господом нашим Иисусом Христом.

Когда мама умирала, в другой комнате ждали ее родственники, всего двенадцать человек. Тогда их было двенадцать, а теперь стало пятьдесят. Они были уверены, что я умру вместе с мамой. И сама я так думала. А когда мама умерла, а я осталась, родственники сказали, чтобы я отдохнула. И я действительно пошла в другую комнату и легла на кровать. Но потом вдруг подумала: — Что же это я лежу, ведь читать по маме должна я сама. — Вскочила и три дня и три ночи от мамы не отходила, читала. И поняла, что осталась жить для того, чтобы поминать маму, молиться за нее. И не только за нее, но и за всех своих родственников, за всех предков. Я ведь донская казачка, а казаков почти не осталось. И кто-то должен их поминать. Предков нужно поминать. Вот по радио выступала Татьяна Визбор, и ее спросили, какой она национальности. Она ответила, что в ней пять кровей. Ну что же, спаси ее Господи, очень хорошо, что пять. Ну а во мне-то одна-единственная, казацкая. И я должна своих поминать.

Кроме мамы у меня никогда никого не было, и после маминой смерти я хотела в монастырь пойти скоропослушницей. Решила ехать в Мукачево. Вы говорите там католический монастырь? А я и не знала. Ну, все равно. Я решила поехать в Мукачево, деньги у меня были (я как раз работу сдала), от-

правилась на вокзал, а когда билет покупала, побоялась называть ту станцию, где нужно было пересадку делать. Чтобы не догадались, куда я еду. Я ведь из семьи репрессированных, моего папу в 39-м году расстреляли. А кассирша, спаси ее Господи, все про меня поняла и спрашивает: — Вам билет до конца? — Я отвечаю: — Да, до конца. — Села в поезд и покатила. И доехала до самого конца. Вышла на конечной станции, прочла название — ужас! — Червонноармейск! Приехала на самую западную границу. Боже, это что же скажут? Дочь Николая Андреевича Скрябина приехала на западную границу! Что теперь будет? Перепугалась страшно, кинулась в кассу, тут же купила обратный билет и сразу же поехала обратно. Доехала до станции, на которой надо пересадку делать, вышла на привокзальную площадь и сразу увидела объявление: «На Почаев». Ну думаю, это Господь меня направляет. Села в автобус и поехала в Почаев.

Я очень интересно странствовала, столько всего повидала, такое со мной в пути приключалось! Я ведь и в Киеве была. И попала на выставку Пиромани. Это необыкновенная живопись, ее нельзя описать!

В Храме маму очень уважали, и когда она умерла, ее три батюшки отпевали. В память о маме они хотели и обо мне позаботиться, и задумали упрячь меня в монастырь. А для меня это совершенно исключено. Я должна быть одна, наедине с Господом, я это и маме обещала. А в монастыре все матушка решает, каждую мелочь. Матушкино слово там — закон. А я так не хочу, мне этого не надо.

Когда я из странствия возвратилась, то отцу Александру на исповеди рассказала обо всем, что со мной приключилось. Он меня строго выслушал и сказал, сердито так: — Хватит вам по стране шляться. Поезжайте в Пюхтицкий монастырь. Там вас ждут. — Я так удивилась! Кто меня ждет? Откуда они про меня знают? И говорю отцу Александру: — Батюшка, вы же меня знаете, ну какая из меня монахиня? — а сама смеюсь. А он повторяет, и снова так строго: — Поезжайте! Вас там ждут. — Я и решила: если отец Александр велел, надо ехать. Думаю: поеду, а там посмотрю. Действительно меня ждут или он просто так сказал? Поехала на вокзал, узнала про билеты, платок черный надела. А так я никогда черный платок не ношу. И вот тут со мной такое случилось, что я раз и навсегда поняла: нет мне пути в монастырь! Господу это не угодно. Мне даже из Москвы уезжать нельзя. И я десять лет из Москвы не выезжала. Да, так мне было сказано, совершенно определенно, а как именно, об этом я вам рассказать не могу. Но мне стало совершенно ясно, что Господь закрыл мне путь в монастырь.

* * *

— А в 92-м году я снова отправилась странствовать. Добралась до самого Краснодара. Там в семье у одного батюшки жила, у отца Николая. Храм свой они из молельного дома переделали. Крест на крыше установили, снаружи

выкрасили, а внутри расписали. У них там замечательно, очень благостно. Хотя расписан храм очень слабо, непрофессионально, даже удивительно, до чего примитивно. Но ведь это неважно, какого качества росписи. Вы понимаете, что я имею в виду? Тут важно не качество, а совсем другое. В этом Храме росписи примитивные, но в них есть главное. А от той, что у них над входом, я буквально не могла оторваться, часами перед ней стояла. Хотя написано наивно: в центре огромный Спаситель в позолоченном нимбе, а вокруг маленькие святые. Написано наивно, а самое важное есть.

Я у них появилась в ужасном виде. По дороге совершенно обтрепалась. Бомж и бомж! Если бы вы только мою обувь видели! Я сама, когда на свои ноги смотрела, смеялась. Я ведь сначала в Ростове целый месяц жила. Днем в Храме, а ночью на вокзале. И выглядела так, что однажды на вокзальной площади меня милиционеры остановили. Я вышла из здания вокзала и еще издали увидела, что они стоят вдвоем и на меня смотрят. Я нисколько не испугалась, не стала сворачивать в сторону, а пошла на них и прямо им в брюхо уперлась. Они на меня смотрят в упор и грозно спрашивают: — Бродяга? — А я весело так отвечаю: — Нет, не бродяга! Паспорт показать? — Тогда они спрашивают: — А почему так одета? — А я им в ответ опять весело: — А в дороге обтрепалась, сплю на вокзале, остановиться негде.

А жила я там так долго потому, что ждала ответа на свое прошение. Я ведь казачка, из Новочеркасска. И хотела, чтобы мне дали кусок земли, чтобы я ее обрабатывала и с нее жила. И ждала ответа на свое прошение. И получила. Мне ответили, чтобы я подыскала себе подходящий кусок земли и написала заявление. И я пошла искать эту землю. Дошла до Краснодара и оказалась у этого батюшки, у отца Николая. Господь меня туда привел. Меня одна женщина в их Храм направила. Я когда в первый раз к ним пришла, службу отстояла и ко Кресту подошла, у батюшки при виде меня даже челюсть отвалилась. Он потом говорил, что когда меня увидел, у него шок случился. Я ко Кресту подошла и он меня спросил: — Кто такая? Откуда взялась? — Я сказала, что из Москвы, и он велел подойти к нему после службы. И взял меня к себе матушке по хозяйству помогать. Они далеко от Храма живут, батюшка на службу на велосипеде ездит. И все уговаривал меня на багажник сесть. А я говорю: — Нет уж, я сама свалюсь, и вы упадете, лучше я пешком пойду. — Так что ему тоже пришлось не ехать, а вести велосипед за руль.

Матушка его такая ревнивая оказалась, это что-то невероятное. Первое, что сказала мне: — Я очень ревнивая. — А батюшка действительно такой красавец, что мимо просто так не пройдешь. От него там все прихожанки без ума. И молодой еще, тридцати лет. Ну, думаю, ничего, знала за кого шла, вот и терпи. А то, что ты ревнивая, спаси тебя Господи, так мне это до фени.

Мне у отца Николая очень хорошо жилось. Вся семья удивительно талантливая, на редкость. У батюшки такой вкус, которому я больше своего до-

веряла. Матушка музыкальная, в Храме регентует. А дети вообще гениальные. Особенно Федька, младший, даже представить не могу, что из него получится. Я матушке по хозяйству помогала, на огороде работала. Я могу на огороде работать, мама меня всему научила. Я и работала, с раннего утра и до позднего вечера. И чувствовала себя как в раю. В земном конечно. И ела с батюшкой и матушкой за одним столом. А у них в комнате на полу огромный ковер, необыкновенно нарядный, мягкий, пушистый, и телевизор шикарный, самый наисовременнейший. И они всей семьей: батюшка, матушка и четверо детей утром и вечером на этом ковре сидят и смотрят «Санта–Барбару». Каждое утро и каждый вечер по два раза. А я встану на пороге, смеюсь про себя, и говорю: — Пожалуйте к столу! — И хоть батюшка много раз и очень настойчиво повторял: — Уезжайте в Москву! — мне не хотелось уезжать, и я не ехала. Мне там действительно было хорошо, несмотря на то, что отец Николай склонялся к Унии, и настоящие православные его Храм посещали неохотно. Один раз поздно вечером я дверь на звонок открыла, а там человек за батюшкой приехал, требу нужно было совершить. Человек этот меня спросил: — Батюшка православный? — Если по совести, я должна была бы ответить: — Не знаю. — Но ведь батюшка меня приютил, оказал гостеприимство, поэтому я покривила душой и сказала: — Православный.

А когда я собралась уезжать и сказала об этом матушке, она очень удивилась и сказала: — А я думала, вы будете моих детей воспитывать. — А я ей спокойно так ответила: — Не буду, потому что у нас с вами разные взгляды на воспитание и вообще мы совсем разные. — Я считаю, что детей нужно готовить к жизни и прививать им самостоятельность, а матушка наоборот, хочет, чтобы дети от нее во всем зависели, до самых мелких мелочей. А я с этим категорически не согласна и взглядов своих от матушки не скрывала. Я свои взгляды никогда и ни от кого не скрываю.

Но этот отец Николай самый настоящий красавец. Один раз явился на службу в коротенькой такой накидушке. Униатской. Ну, театр и театр! Красиво необыкновенно, но к Храму никакого отношения не имеет. Правда, больше он ее не надевал, наверное ему сказали. Вообще, батюшка с матушкой прекрасно одевались. Когда они в отпуск уезжали, батюшка себе костюм сшил белый, потрясающий, щегольской. У самого лучшего краснодарского портного. А у матушки платье было кружевное, нарядное. Я один раз дверь за ними закрывала, когда они вечером в гости уходили и заметила, что под этим кружевом у матушки ничего не было! Совершенно ничего!

* * *

— С Унией я ничего общего иметь не желаю. А они меня осаждают, ну просто насилуют. Проникают повсюду. Видите, я написала Марона–пустынника? Он был учеником Иоанна Воина. Знаете Храм Иоанна Воина? Если идти от Октябрьской площади мимо Иоанна Воина, пройдете большой дом и на той же

стороне Храм Марона–пустынника. Его недавно открыли. И когда я в этот Храм зашла и стала икону разглядывать, то увидела, что крест написан латинский. Я так возмущилась, что пришла и тут же написала по–своему. Видите, вот Марон–пустынник и настоящий православный крест.

Да–да, не удивляйтесь, они повсюду проникают. Раньше мы с мамой всегда ходили в Храм Николая–угодника. Николай–угодник самый главный, самый важный русский святой. И мы с мамой много лет туда ходили. Я там давно не была, потому что добраться трудно, и мне неудобно людей затруднять. Ведь меня по восемь человек в троллейбус сажают и высаживают. Но как–то раз я там оказалась на ранней исповеди. Причастилась, а после этого нужно ко Кресту подойти. Батюшка вынес Крест, гляжу, а крест–то переделан из православного в латинский. К латинскому кресту я подойти не могу. Пошла по Храму искать крест православный. С трудом нашла в углу один, который они забыли переделать, приложилась. И потом пожаловалась батюшке, что была в Храме, где все кресты униатские. Батюшка спрашивает: — Это где же? — А я говорю: — Может быть, это бестактно — говорить где? — Батюшка только брови поднял удивленно, и я ему сказала. Он промолчал, но позже, когда отец Александр вынес Крест и очень выразительно специально на меня посмотрел, я увидела, что он тоже латинский. Это они таким способом дали мне понять, что я сбрендила. Что делать, пришлось приложиться...

* * *

— Католики во что бы то ни стало хотят меня в монастырь упечь, подстраивают ловушки. С благословения Патриархии. Хотят сделать приятное своему Мишелю Камдессю, или Шредеру, кто там у них... Теперь они на меня через ЮНЕСКО наезжают. Я с ними разговариваю очень вежливо, чтобы не было международного скандала. Потому что они ведь запросто могут меня арестовать и упечь в Международный трибунал, в Гаагу. С ними лучше не связываться. Я вам рассказывала, как они мне подарки дарили?

Первый раз меня вызвали тут неподалеку и выдали огромную коробку. На этикетке написано — Швейцария. Мне самой ничего оттуда не надо было, и я решила, что отвезу коробку в один дальний Храм. Как я ее домой дотащила сама не знаю. Шла от подоконника до подоконника. Но донесла. За мной две женщины шли, одна в кошелке пакетик гуманитарного сахара несла и еще какую–то мелочь. Другая тоже. И я слышала, как они между собой переговаривались, почему это ей (то есть мне) столько дали? Мне было неудобно. Я бы с радостью все раздала.

Открывать коробку я не собиралась, перевязала покрепче и наутро поехала в Храм. Чтобы до этого Храма добраться нужно доехать до метро «Бабушкинская», там полчаса на автобусе и еще полчаса пешком. Автобусы переполнены, но в один я все–таки втиснулась. Всю дорогу стояла, коробку держала на весу. Потому что народу полно, а внизу ведь ноги. Вышла и по-

лями дошла до Храма. Пришла и говорю бабушке: — Бабушка, а я вам подарок привезла. — А бабушка отвечает: — Нам ничего не нужно, у нас все есть. — А у них и правда все есть. У них целые поля капусты, свеклы и моркови.

Притащилась с этой коробкой обратно. В нашем Храме все это тоже ни к чему. У них полные подвалы подарков. А моя соседка Наташа, та, с которой мы раньше жили, целых тридцать лет, ходит вокруг и на коробку поглядывает. И говорит: — Юлия Николаевна, а я знаю, что в этой коробке, у меня мама такую же получила, там все может испортиться. — Ну, я и отдала им, тем более, что там колбаса копченая оказалась, радость ее Вадима, которого я ненавидела. А Наташа мне шестьдесят рублей отвалила. А что? Я взяла.

В другой раз мне Роза позвонила из нашего дома. У нас в доме, где я живу с 32-го года, Роза, упокой Господи ее душу, была «Домком». Я ее знаю с самого начала, хороший человек. Она не могла нам с мамой явно свою симпатию высказывать, мы ведь семья репрессированных, но она это по-другому делала, мы с мамой всегда знали, что Роза к нам очень хорошо относится. Вот эта самая Роза звонит мне как-то раз по телефону и говорит: — Юлия Николаевна, приходите за подарком. — Не ходить неудобно, женщина она очень хорошая, мама к ней прекрасно относилась, я и пошла. Пришла в ее квартиру, а одна комната у нее ото всего освобождена, стоит только маленький столик, за столиком сидит Роза Соломоновна, перед ней конторские книги, а рядом на стуле пожилой мужчина. Вся комната от пола до потолка коробками заставлена.

Мужчина смотрит на меня приветливо и говорит: — Юлия Николаевна, вам прислали подарок американские католики. — По-русски говорит хорошо, но так, что ясно — долго жил за границей. Я на это очень вежливо отвечаю: — А мне ничего не надо, я ничего этого не ем. — А он: — Ну, возьмите хотя бы рис. — А я ему: — Как раз рис-то я и не ем. — А что же вы едите? — Я ем только хлеб, — и хитро так добавляю: — отечественный...

Конечно, я могла бы сразу уйти, но мы с ним минут сорок разговаривали, потому что международный скандал мне ни к чему. Зачем их злить? А Розе я сказала: — Отдайте кому-нибудь другому, тут полно ветеранов. — А Роза говорит: — Другому мы не можем, это прислали лично вам. Вы хотя бы распишитесь, что получили. — А я хитрая, отвечаю Розе: — Зачем же я буду расписываться за то, чего не брала?

* * *

— Когда мама болела и умирала я все делала, чтобы ее поправить. И сама ела только то, что можно было маме. С тех пор я вегетарианка, животной пищи не ем. И иностранного не ем. Хлеб только ржаной. Со мной вообще сложно. Я ем только то, что ем, и ношу только свое.

Один раз пришла женщина моего возраста, но одета по-модному — юбка короткая, туфли на каблуках, волосы завитые. Она хотела в моей кварти-

ре комнату получить и пришла познакомиться, посмотреть, что за бабка такая тут живет. На вид вполне приятная женщина. Посмотрела на меня так умильно и говорит: — Юлия Николаевна, мы вас приоденем. — Я засмеялась, а про себя говорю: — Э, милая, меня приодеть нельзя, со мной не так-то просто. Я ношу только то, что ношу.

Посмотрите, вот это сшито из шелкового полотна 30–х годов. Такого сейчас нет ни у кого. Если нужно, можно пришить рукава, это просто, ну а если еще и выстирать, то будет выглядеть прекрасно. Вы знаете, как я свои платья крою? У них только два шва и дырка для головы. Просто, удобно, прекрасно проветривается, и сшить можно за один вечер. Меня вполне устраивает это платье, я им очень довольна, но если бы попался недорогой темно-синий сатин или еще лучше ситец, только непременно гладкий и обязательно темно-синий, не черный, можно было бы сшить новое, это просто. Вот только ноги обматывать нечем. Для этого лучше всего вафельное полотно подходит, полотенчатое. Главное, чтобы лен или хлопок, без примеси, потому что синтетики я не ношу.

* * *

— Я когда спать ложусь и к Господу перед сном обращаюсь, сама на себя смеюсь и говорю: — Господи, ну до чего же у тебя бабка смешная! — И постоянно благодарю Господа за все, что Он мне посылает. За все—за все! А посылает Он мне через людей. Не успеваю утром глаза открыть, а уже благодарю. И на сон грядущий благодарю. И в течение всего дня ежеминутно. Мама любое дело всегда оканчивала словами: — Богу слава! — И когда заканчивала акафист переписывала, текст отчеркивала и внизу писала: Богу слава!

Мама была талантливее меня, мудрее и великодушнее. Она была самая настоящая—пренастоящая православная. И бабушка, мамина мама, тоже. И тетя, крестная моя мать. Эти три женщины были истинно православными. Я о них молюсь ежеминутно. И о папе моем Николае Андреевиче. Я очень долго не могла до Храма дойти, но восемнадцатого декабря чудом дошла. А девятнадцатого как раз Николай Угодник. Как я помолилась замечательно, с каким счастьем! Оставила записку и так и написала: *об упокоении Николая Андреевича и его жены*. Потому что обязательно хотела его с мамой связать.

Я только к концу службы смогла до Храма дойти, но все же подошла к батюшке. Хотя и видела, как он устал. А у него еще несколько человек в очереди на исповедь стояли. Я подошла и объяснила, что со мной было, почему я так давно в Храме не была. И батюшка приказал мне каяться. А я засмеялась и говорю: — Как же я буду каяться, если сейчас чувствую себя счастливой? — Тогда батюшка велел мне купить вот эту книжечку о том, как готовиться к исповеди. Я купила, принесла домой, встала вот тут, за столом, не раздеваясь, и полдня читала, не могла оторваться. А Евангелие я читаю каждый день, потому что мне отец Александр так велел. А вот Правила ежедневные не читаю, и батюш-

ка меня за это ругает. Но ведь когда я в Храм подолгу не хожу, это ведь не случайно. Это Господь меня не пускает. Потому что знает, что я художник и должна не только молиться, но еще и рисовать.

* * *

— Вот и в монастыре меня спрашивают: — Что вам нужно? — А потребности у меня от минимальных до максимальных. Я ведь несколько месяцев до монастыря дойти не могла и написала целых три листа, вроде исповеди. А Зина, которую матушка благословила ко мне заходить, отнесла батюшке. Я там все о себе написала, и с чего все началось, тоже написала.

Я несколько лет работала на фабрике Сакко и Ванцетти, дизайнером. Бесплатно, денег они мне не платили, потому что я числилась в Комбинате прикладного искусства. Но я все равно приходила на фабрику каждый день к восьми часам утра и директор, Исаак Аронович, очень хороший человек, который каждое утро сам стоял в проходной, видел, что я никогда не опаздываю. Так вот, они задумали сделать нашу советскую ручку-самописку по паркеровскому образцу. К сорокалетию советской власти. Но нужно было придумать другое оформление, и меня командировали на химический завод подбирать подходящую эмаль. Мне там дали разные эмали, замечательные, белые, они прекрасно на металл ложились. И предупредили, что одна эмаль, лучшая, самая вредная. А я легкомысленная была и стала с этой эмалью экспериментировать в обычных условиях. Хотя там был вытяжной шкаф.

Однажды ночью мне стало так плохо, что мама даже соседа нашего разбудила, доктора, упокой Господи его душу, он этажом ниже жил, очень хороший человек, интеллигентный, настоящий врач. Доктор пришел, сказал, что ничего страшного, но утром надо обязательно вызвать районного врача. Утром пришла Софья Николаевна, она в тот день дежурила. Прекрасная женщина, замечательный человек, упокой Господи ее душу. Она сразу же лаборантку прислала, а та никак не могла анализ взять. Милая такая девушка, молоденькая, Спаси ее Господи, разволновалась и сказала, что такого просто не может быть. Она глазам своим не поверила, гемоглобин у меня оказался — сорок, с таким гемоглобином уже не живут.

Софья Николаевна в больницу меня отдавать не велела, стала сама каждый день заходить. И эти две женщины, мама и Софья Николаевна, меня спасли. Софья Николаевна наблюдала, а мама выхаживала. Каждое утро делала сок из пяти морковок и одной свеклы. Терла на терке и выжимала. Теперь-то я понимаю, какой это труд. А из дорогого только фолиевую кислоту покупала. Она в крошечных пузырьках продавалась и стоила очень дорого. А ведь мы с мамой на одну ее пенсию жили, она семьдесят рублей получала за отца. Фолиевая кислота — самое важное для жизни, это то, что в зелени содержится. Я и написала, что мне нужна майская крапива. Так и написала:

— Майская крапива нужна всем людям в течение всего года. — Юмор и ирония спасают меня всю жизнь и во всех обстоятельствах.

Мама меня выхаживала полгода. И выходила. Но тогда моя болезнь и началась. Я написала: — Нужна майская крапива, листья одуванчиков, пропущенный лук и чеснок. — А из монастыря вот такой пук щавеля принесли. А я щавель не ем. И лососину я им обратно отдала. Зачем мне этот деликатес? Хоть она и камчатская. И чернослив не взяла, потому что он французский, на упаковке написано. От католиков мне ничего не надо. Мне и чернослив их не нужен, какой бы он там замечательный ни был.

С этой паркеровской ручкой целая история вышла. Ручка великолепная, я прекрасно ее устройство изучила. Но, во-первых, она дорогая, а во-вторых, к ней требуются особые чернила. И я решила изобрести свою ручку, не хуже паркеровской, но дешевую, и чтобы можно было заправлять обычными чернилами.

Я пошла в техническую библиотеку, запросила нужный мне материал, во все вникла как следует (чертежи я читаю с легкостью) и придумала свою собственную ручку. Но в фабричную лабораторию меня не пускали, а мне нужно было свою ручку испытать для того, чтобы подать заявку в патентное бюро. И я добилась своего, попала в настоящую лабораторию. Сейчас расскажу как. Я еще в Баку занималась музыкой, и когда мы в Москву переехали, мама сразу же нашла мне учительницу. Замечательную! Елена Петровна была замечательная, необыкновенная женщина. У нее было множество учеников, но я самая любимая. Не потому что одаренная, а просто любимая. А еще у Елены Петровны был любимый племянник. И два раза в год у нас дома устраивались детские праздники. Папа мой был герой гражданской войны, в те времена заместитель председателя Мособлисполкома, у нас была четырехкомнатная квартира, так что праздники устраивали у нас. Приносили торты, лимонад, мама пироги пекла. И племянник Елены Петровны, Андрей Александрович, на этих праздниках всегда бывал. Мама с Еленой Петровной решили, что когда я вырасту, мы с Андреем Александровичем поженимся. Андрей Александрович старше меня на десять лет.

Потом—то все изменилось... Мы стали семьей репрессированного, нам это ежеминутно давали почувствовать, все, начиная с соседки, кончая дворничихой, которая за мной с метлой гонялась. Но я всю жизнь прожила с ощущением, что у меня есть жених. Хотя Андрей Александрович никогда за мной не ухаживал, и мы только один—единственный раз остались с ним наедине.

У Елены Петровны были именины, а я у нее всегда в этот день бывала. И один раз мы вместе с Андреем Александровичем вышли с именин и пошли к метро. Андрей Александрович шел по тротуару, а я по мостовой. Это было почти безопасно, потому что Елена Александровна жила в Большом Харитоньевском, а в те времена машины там ездили редко. И Андрей Алексан-

дрович сердито меня спросил: — Почему вы не идете по тротуару? — Я, ни слова не говоря, послушно поднялась на тротуар, но при этом внимательно следила, чтобы между нами сохранялось расстояние побольше. Я боялась, что он обо мне что-нибудь подумает. И так мы с ним дошли до метро и разъехались в разные стороны.

Потом Андрей Александрович стал академиком, сначала проректором, а когда в партию вступил, то и ректором одного института. Он герой соцтруда, у него несколько сталинских премий, несколько орденов Ленина, все, что можно было в этой стране получить, все у него было. Он несколько лет назад умер, уже под девяносто. Ну вот, несмотря на то, что он стал таким большим человеком, я никогда к нему ни с чем не обращалась. И только когда мне понадобилась лаборатория для испытания моей авторучки я ему позвонила и он сразу же назначил мне встречу.

Я пришла к нему в точно назначенный час, он вызвал какого-то человека, и тот повел меня в лабораторию. И один их профессор стал выпытывать, в чем мое изобретение. Но меня предупредили, чтобы я ни за что не раскрывала главного, чтобы мою идею не украли. И мы с этим профессором так друг против друга и просидели целый час, он выпытывал, а я не выдавала. И заявки на свою авторучку так и не подала.

* * *

— А про француженку, которую ко мне ЮНЕСКО подслало, я вам не рассказывала? Как-то раз возвращаюсь из Храма, а навстречу такая длинная, тощая, перекошенная, шея набок свернута. Я и подумала, сейчас просить будет, а у меня ничего нет. Подошла ко мне, штанишки на ней такие розовые, до колен, волосы длинные висят, и говорит: — Я Вас видела в Храме, вы для меня воплощение духовного начала, я хочу вам помочь, устроить вас в монастырь. И почему это в тот раз, когда кончилась служба и начался ливень, вас не оставили в монастыре на ночь? — Я ей спокойно объясняю, что ничего мне ни от кого не надо, а в тот раз, когда дождь пошел, на меня Зина собственноручно надела теплый плащ на подстежке и я дошла до дома сухая, веселая и счастливая. Вон он за дверью висит, этот плащ. Хотя я прекрасно могла и без него обойтись.

И стала эта длинная Натали каждый день в Храме и на улице подходить и со мной заговаривать. Один раз я пришла в Храм, а сумку на стул поставила. Она у меня не закрывалась, я ее только после этого случая зашила. Стою, слушаю, а сзади какая-то женщина вошла и свою сумку рядом с моей поставила. И что-то возится, и возится. Я оборачиваюсь, а эта длинная в розовых штанишках что-то запихивает мне в сумку и сверху еще кидает носовой платок. А платок-то к слезам, вы разве не знали? Есть такая примета, мне двоюродная сестра один раз так сделала, я после этого несколько месяцев плакала.

Я тут же кидаюсь к своей сумке, платок перекидываю в ее сумку, дальше вытаскиваю очень красивый бальзам (это мне-то бальзам), потом еще что-то такое же красивое и говорю: — Забирайте, мне ничего вашего не надо. — Длинная заплакала и говорит: — Если вы не хотите у меня ничего взять, тогда отдайте батюшке. — Я тут же, во время службы, подхожу к алтарю и батюшке: — Батюшка, можно вас на пару слов? Так и так, эта длинная сказала, чтобы я ее подарки вам отдала. — Батюшка говорит: — Не ко мне, не ко мне, к матушке. — Я дождалась матушку на улице и говорю ей: — Вот, заберите пожалуйста эти французские подарки и скажите этой длинной, чтобы оставила меня в покое. — А матушка вздохнула так горестно и говорит: — Ну что мне с ней делать! — Я так и не поняла, к кому это относилось, ко мне или к Натали этой длинной.

И это еще не конец! Эта длинная полгода меня преследовала, я даже в Храм перестала ходить, пряталась от нее. Так она свои подарки стала в монастыре оставлять. Один раз игрушечный компьютер пыталась подsunуть, с экраном, игра какая-то, в другой раз сверточек белый, не знаю, что в нем было. Я пришла в монастырь, а сестры мне говорят: — Вам подарок из Франции. Я ничего этого не взяла, оставила сестрам, пусть делают что хотят. А однажды эта Натали за мной погналась, так я от нее со своей клюкой со всех ног удирала. Удираю, а она догоняет. Руку вытянула, сама сзади бежит, а рука ее длинная уже впереди меня болтается. И в этой длинной руке пакет с супом. Бежит, пакет передо моим носом держит и кричит: — Мы вас будем кормить. — А я такое вообще не ем, супы какие-то в пакетах, которые у них на складах залежались, а они ими кормить нас вздумали.

И с вами я должна объясниться. Скажите, то, что вы мне приносите, это откуда? Лично от вас или мне это присылают? Если от вашей семьи — я с благодарностью принимаю. Но я подумала, а вдруг это католики в художественном фонде засели и через вас передают. Пока там Карапетян был, я была спокойна. Но теперь, когда он ушел, наверняка там католики окопались. Ну и что, что у вас нет знакомых католиков, у меня раньше тоже не было. Зато теперь столько появилось, жить не дают, преследуют, со всех сторон помощь предлагают. А я одного только хочу, чтобы они меня оставили в покое.

Я хитрая, я батюшек, которые к униатам приближаются, сразу распознаю. И отца Николая, того, из Краснодара, распознала. Когда он стал говорить, что раньше в Храме сидели и что службу можно не на церковно-славянском отправлять, я сразу поняла, к чему он клонит. Я ему тогда сразу же отчеканила, что если хоть раз увижу, что в Храме сидят, то порога этого Храма больше не переступлю. А мое мнение для батюшки этого краснодарского что-то да значило, как-никак я из Москвы, не просто так... Я и сейчас в Храме стою, со сломанной ногой, хотя пятки мои сопротивляются, не хотят стоять, болят страшно. А я им на это говорю: — Как бы вы ни болели, а я буду стоять и выстою всю службу.

* * *

— Католики хитрые, они меня со всех сторон обложили. Недавно я в магазин пошла. Туда дошла хорошо, а назад не могла через переулок перейти. Там около бензоколонки камушков метра два, а я через них перебраться из-за ноги не могу. Ждала минут десять, никто мимо не шел. Стояла рядом машина, в ней шофер сидел, молодой парень, из новых русских. Я попросила помочь мне перейти, а он отказался. Наконец две большие девочки появились, из школы наверное возвращались. Они—то мне и помогли. Очень хорошие девушки, спаси их Господи! Довели меня до дома, и одна попросила разрешения пройти в туалет. Я ей говорю: — Пожалуйста, только у меня там не убрано. — Она посмотрела и не пошла.

А через несколько дней слесарь из домоуправления явился, хотя я его не вызывала, и спрашивает: — Почему у вас такая грязь и запах? — Я ему ответила, что это не грязь, а строительный мусор, а кроме того, я сейчас из дома не выхожу и не могу дойти до помойки. А вчера звонок в дверь, я открываю, там Ангелина Михайловна с третьего этажа, мужик из домоуправления и с ними клерк в белой рубашке и с портфелем. И сразу в кухню. И говорит: — Если ваше начальство из Союза художников вам не поможет мы вас выслем из-за антисанитарии.

А на меня такое озорство вдруг напало, я как закричу: — Не пугайте меня! Я вас не боюсь! Меня нельзя запугать! Меня ЮНЕСКО который год насилует, а я и то не боюсь! Выведу по первому требованию! — Клерк перепугался и, не оглядываясь, побежал к двери. А я вслед грозно так кричу, а про себя смеюсь. А потом, когда они ушли, я все продумала и поняла, что на самом деле все это очень серьезно, что это ЮНЕСКО их и подослало. Ту девушку, которая в туалет попросилась, подослали проверить, что там у Юлии Николаевны творится. После девушек слесаря прислали, а потом этого клерка. Все это одна система.

Но меня не испугаешь, я привыкла к тому, что за мной следят. Я всю жизнь под прицелом. Но теперь я все—таки хочу попросить, чтобы мне из монастыря двух мужчин прислали и они этот мусор строительный на тележке вывезли. Хотя это непросто, они ведь без благословения матушки и батюшки ничего не сделают, ни одного шага. Сначала они должны благословения испросить. Если смогу, попробую до монастыря дойти, попрошу матушку.

А клерка этого я вспоминаю с удовольствием. Это человек из будущего. Самый настоящий. Он уже перешагнул через всю эту сегодняшнюю мерзость и находится в будущем. Я это поняла, потому что я сама из будущего, тоже перешагнула через мерзость и понимаю много такого, что другим пока закрыто.

* * *

— Вы не удивляйтесь, что я босиком вам дверь отперла. Я сейчас как раз чулки шью. Видите, у меня тут от старых чулок кусочки. Это не страшно, что

разного цвета. Я ведь могла бы себе и новые купить. Но теперь не бывает чулок из чистого хлопка. Даже если написано, что хлопок 100%, я в это не верю. Когда я во второй раз в этом году из дома вышла, то пошла в магазин «Москвичка». В первый раз на Всенощную Пасхальную пошла. В Храме мне все обрадовались, а батюшка даже пошутил: — Юля со своим посохом пришла. — Я же теперь как настоящая бабка хожу, с палкой. Матушка велела мне всю службу сидеть. Я исповедалась, причастилась, потом на Заутреню осталась. Было замечательно! Такой праздник!

А в «Москвичку» я пошла для того, чтобы купить нитки чулки шить. Там продавались наши, отечественные, но на них написано: хлопок с лавсаном. А зачем мне лавсан? Мне лавсан ни к чему. Такими нитками даже шить неприятно. Девушка—продащица, приветливая такая, спаси ее Господи, говорит: — Бабушка, возьмите эти нитки, они очень хорошие. — Но мне неприятно с лавсаном. Я купила индийские. Это ничего, что индийские, они же не с Запада. Тем более, что раньше я очень интересовалась йогой. Видите, у меня на столе фотографии двух знаменитых йогов?

Но вы посмотрите, что написано на нитках: «мерсиризованные». Вы не знаете, что это такое: «мерсиризованные»? Вот и я думаю, что чем-то обработаны. Если бы я это в магазине заметила, я бы их конечно не купила. Но теперь уж ничего не поделаешь, придется шить этими!

Сейчас передо мной вот такая задача стоит: мне нужно себя обувью на лето обеспечить. Я и подумала: ведь я скульптор. Значит, вполне могу вырезать деревянную подметку. Мы с мамой во время войны носили такие сандалии, на деревянной подошве. Очень удобные. Я такие же хочу сделать, подошву вырежу из дерева, по ноге, и останется только ремень приделать или веревку, чтобы на палец надевать. Конечно, сейчас потруднее будет, у меня ведь нога сломанная, видите, кривая ножка. Но я ведь скульптор, училась у Екатерины Федоровны Белашовой, а настоящий скульптор много чего может сделать. Правда сейчас похолодание ожидается, так что пока мне сандалии ни к чему.

* * *

— В Храм я не ходила почти целый год, но рисовала все, что в это время происходило. Вот это нарисовала на Крестопоклонной неделе. В Храм я пойти не могла, рисовала целую неделю и все это время у меня такое молитвенное настроение было, которое даже в Храме редко случается. Я еретик, видите, Христа на кресте написала уже воскресшим. И сделала это сознательно. А концы у Креста заостренные, потому что он кое-кого попирает. Я все продумала и знаю, кого хочу написать вот здесь, внизу. Но не представляю, как это сделать. Ведь лежа у меня не получится. Наверное, это Господь закрыл мне путь, потому что мысли мои еретические. А кого здесь нужно написать я знаю. Ведь все это сегодняшний день. Вот здесь я хочу нарисовать

Еву с яблоком, проросшим атомным взрывом. А тут Адама, который схватил кувалду и пробил ею земную твердь для того, чтобы высунуться туда, куда высовываться не следовало.

Посмотрите, это Воскресение Христово, я его к празднику написала. А потом наступило Преполование, и я написала вот эту воду. Волна — это и есть Преполование. А наверху Троица, написана не по канону. Я прекрасно понимаю, что это ересь, но все равно пишу, потому что так чувствую. Если я что-то чувствую, если мне что-то дано, я должна это высказать. Батюшка позволил мне рисовать, а показывать запретил. Я и не показываю. А вам показываю, потому что вы художник. А вот дальше написано по Откровениям, но не Иоанна Богослова, а самого Христа. Сами-то Откровения меня не так уж и интересуют. Меня интересует то, что будет после, когда все обновится: земля, небо, воды. Видите, это люди, которые пришли к источнику уже после того, как все обновилось. Вот этот первый пришел и позвал остальных. Все пришли: старики, женщины, детей принесли. Но для того, чтобы это дописать, мне нужны две вещи: помост и розовая краска. Помоста мне самой не сделать, и розовая краска кончилась. А как бы я это новое небо разделала! Я уж знаю как...

А эта роспись не окончена, потому что мне трудно на станок взбираться, и у меня нет страховочных веревок. Но мне кажется, что и так получилось неплохо. Вот-вот, вы правильно говорите, это графика. Пусть так и остается. Без страховочных веревок мне ее все равно не закончить. А эта икона веселая, это Вознесение Господне. Видите, я нарисовала праздничное песнопение, тут все пляшут и поют. А краски мне Господь посылает. Я и сама не знаю, откуда они берутся. Но видите, есть пока.

Это Рождество пресвятой Богородицы в виде дерева. Такого канона нет, но я так чувствую. Смотрите, вот наши праотцы, от Адама. Вот Авраам, Иаков, Исаак, Давид, Моисей, Аарон, вот пророки. А в этом месте дерево раздваивается. И вот что я хочу вам сказать! Что бы вам ни говорили, запомните: Богородица родилась в еврейской семье. Да-да, Спасителя нашего родила еврейская девочка! Сейчас всякое говорят, но вы не верьте! Конечно, евреи другие, чем мы, но я их уважаю.

Я однажды пошла на кладбище, мне тогда очень тяжело было, я маму незадолго до этого похоронила и думала, что не смогу без нее жить. Приехала на кладбище в очень тяжелом состоянии (мама на Немецком похоронена) и шла по дороге рядом с одной женщиной. Эта женщина, пожилая еврейка, приятная такая, интеллигентная, со мной заговорила. И пока мы с ней шли она мне очень важные вещи объяснила. Я этот разговор на всю жизнь запомнила и очень ей за него благодарна.

А в этом месте, где дерево раздваивается, видите, Богородица нарисована, тут она на руках у родителей, а вот она одна, а это Спаситель. Эта ветвь наша, христианская. Здесь я нарисовала патриарха Тихона, Св. Франциска,

Блаженного Августина. Вот другие наши святые. Видите, на этой ветви листья, цветы, плоды. А на другой листьев и цветов нет. Эта ветка пока голая. Здесь евреи своего мессию ждут. Ну и Бог с ними, пусть ждут, если им так хочется! Нам—то что до этого?

А вот тут у меня два Предтечи. Это Иоанн, который Первое пришествие предсказал. А это Илия—пророк. Для меня он здесь самый важный. Илья—пророк возвестил о Втором пришествии, которое вот—вот произойдет. А сверху, над Илией, должен быть лик Спасителя. Я его нарисовала, на сама прибить не могу, теперь это для меня слишком высоко. Я была бы вам очень благодарна, если бы вы мне помогли. Гвозди и молоток я приготовила.

* * *

— Я всех людей уважаю, просто все разные. Они одни, мы другие. Я очень уважаю арабов. У папы была прекрасная библиотека, очень ценная. Я всю ее продала, сознательно. В те времена, когда я продавала, за том русского классика давали по рублю, за «Робинзона Крузо» семь, за «Декамерона» — десять. А когда я «Дафниса и Хлою» принесла, там настоящий переполох случился. Пока я к окошку шла, меня за руки хватили, просили продать. Но тогда нельзя было этого делать, я могла попасться. Когда я в окошко эту книгу протянула, там такое началось!.. Они глазам не поверили. Дали мне за нее двенадцать рублей. Я понимаю, они ее в тридцать раз дороже продали, но это совершенно неважно.

Так я про арабов говорила. У папы было два тома подарочного издания «Тысячи и одной ночи». Необыкновенное издание, даже сейчас такого не встретишь. Сейчас для нарядности целлофанируют, а тогда никакого целлофана не было. Обложка была... ну как драгоценный камень. От нее невозможно было оторваться. На обложке арабские орнаменты и внутри арабские рисунки. Я в детстве читала, ничего конечно не поняла. А когда задумала продать, решила перечитать. Что меня особенно поразило, так это то, что через каждые две фразы — «Слава Аллаху!» Я их очень за это уважаю. За то, что они так почитают Аллаха. И хоть нас они не признают, считают неверными, это совершенно неважно. Я им желаю всегда быть такими же — почитать Господа Бога.

Книги у меня всегда были в идеальном состоянии, потому что я их обрачивала. У папы были все издания Академии 37-го года, самые ценные. Их жена двоюродного брата потаскала все до одного, а вместо них напихала всякую чушь. Я этого сразу не заметила, потому что книги были обернуты. Ну да Бог с ней, это все неважно.

Посмотрите, это борьба Иакова с Господом. Я много думала и поняла, в чем смысл этой борьбы. Почему они боролись целую ночь? Ведь Господь мог сразу же Иакова победить. Как вы думаете, почему? Мне стало ясно, что Господь это сделал для того, чтобы Иаков почувствовал уверенность, ощутил

свою силу. Ведь на рассвете Господь открыл Иакову, что от него произойдет целый народ. А человек, от которого произойдет народ, должен быть в себе уверен. Но мои мысли еретические, мне их высказывать запрещено. Поэтому меня и не благословили все это показывать. А я против патриархии никогда не пойду и если мне скажут — сразу же все это собою и уничтожу.

* * *

— А я вам рассказывала, как я решила подзаработать? Года полтора назад написала рассказ и отнесла в журнал «Сельская молодежь». Я этот журнал выбрала потому, что рассказ подходит им по тематике. Написала рассказ и сделала к нему рисунок. Молодой человек, редактор в журнале, рассказ прочел и сказал, что писать я умею, но нужно сократить, потому что у них в журнале мало места. Но когда я назад ехала, то поняла, что сокращать ничего нельзя и больше в их редакции не была. Это то, что со мной случилось в действительности. Баба Лиза — это я. Вы сами поймете, когда читаете.

О ТОМ, КАК БАБА ЛИЗА КОЛХОЗУ ПОМОГАЛА

Ода к Радости

Ходишь, ходишь по нашей земле, терпеливой, все нам прощающей, ездешь, ездешь — столько людей встретишь, и никакие они не «простые», а всяк — сам собою, особый.

И все друг другу нужны.

Елизавета Александровна — одна из нас.

Ее знакомая однажды удивилась: — а я думала, что Вы — простая...

Другая, приобняв ее за плечи, представила окружающим: — Лиза у нас простая...

Сама Елизавета Александровна видит — каждый человек — это особый мир, чудо, но мы, в повседневности и легкомыслии привыкаем ко всему и перестаем думать о себе, как о чуде.

Да и некогда нам раздумывать.

Москвичка, легко идет на разговор, с удовольствием рассказывает о всяких событиях, веселых или трудных, а то и вовсе невысказанных.

Умеет радоваться — жизнь в любом случае прекрасна и полна сюрпризов, загадок, сурова или щедра, награждая — всякая она, тем и дорога. Было, конечно, разное. Но Ода-то — к радости: вспоминать о хорошем в людях — веселее. И здоровее. И оригинальнее нынче.

Начала она сразу:

— Той зимой простудилась я, начала кашлять, а это уж совсем, решила ехать летом в деревню, прогреть себя, куда-нибудь южнее, но не на юг.

Ни санаторий, ни Дом отдыха, ни дача не годились, нужен был физический труд на воздухе.

Записалась на курсы повышения квалификации в пчеловодстве, успела написать реферат, как требовалось, но надо было ехать, лето уже наступило, времени терять было нельзя.

Сшила из клеенки добротный мешок, сложила в него вещи летние и на осень и посмотрела на карту: Воронежская, Липецкая, Тамбовская... Чернозем. В Тамбовской подвизался преподобный Серафим Саровский — «Тамбовской страны украшение» поется в акафисте Преподобному.

В то время место это было закрытое, ни о чем расспрашивать было нельзя, а я и не расспрашивала, просто поехала в ту землю.

Приехала в Тамбов, вещи оставила на хранение в автомате на вокзале, запомнила код и пошла в Областное управление пчеловодства, узнала, что сейчас все на пасеках на кочевке, а через месяц все соберутся в Тамбов на Сельхозвыставку, можно будет поговорить с пчеловодами.

Надо было устраиваться на месяц — искать работу.

В Областном управлении сельского хозяйства мне назвали несколько адресов договариваться на месте и я поехала по колхозам — предлагать рабочие руки.

Нормальная магистральная бетонка так нужна, так работает усердно и так хороша, что к ней сразу привыкаешь как к норме и о ней не думаешь: обычные заботы наши о том, что мешает и что приходится преодолевать.

От магистрали — асфальтированные дороги.

Рейсовые автобусы.

Поездила на автобусах немало: в колхозах на меня моргали глазами в недоумении, как бы ошарашенно — москвичка приехала искать работу в Тамбове. Не вмещалось в сознании. Непонятно было. Наконец, приехала в очередной колхоз, дождалась председателя, он, проходя мимо меня, на ходу, сказал просто, как само собою разумеющееся и естественное — страда, так о чем речь? — «на ток» (произносится с ударением на «а»).

Определили меня «младшей уборщицей» на ток.

И взялась я за дело: надо было приготовить место для зерна — сушить.

Асфальтированная площадка, просторная, не площадка, а площадь между двумя объемистыми деревянными закромами, то есть, где будут хранить зерно.

Эту площадку стала чистить так, как если бы хозяин на своем участке, под свое зерно. Чтобы чисто.

Выметала изо всех щелей песок, из ямок землю выковыривала, вычищала траву, что пробивалась в трещинах, выпалывала до травинки. Только что не вылизала: ведь, под зерно, под хлеб. И — радовалась работе, солнцу, воздуху, простору, воле, чистоте. Глянула, а за сараем председательский трудяга — «Москвич», за рулем председатель и площадка готова к приему зерна. До сих пор помню мое состояние, горожанки, сумевшей сделать крестьянское дело и — вовремя.

Часто вспоминаю по-хорошему, по теплому, с улыбкой и — «на ток», и чистую площадку, и, как наутро уже было зерно на чистой площадке, на току.

В городе — иные радости, но таких, как в том колхозе — быть не может.

Потому, что началась работа в бригаде весь солнечный день. Дождей в те дни не было. Ворошили зерно, чтобы сохло — чистыми босыми ногами, бродили, вспахивая его.

Высохло.

Запустили самоходную машину — вот веселое было делание!

На карнавале не так весело: не было хохота и хлопнушек, но объединял радостный азарт общей работы.

Там у машины сбоку есть такое колесико рулевое, когда надо, его крутят, чтобы не сбивалась с пути, а впереди устроен гребок метра три шириной, он сгребает зерно, оно подается, разделяясь на две части — вверх, справа, выдувается пустое, а слева ссыпается полное и надо поторапливаться: подвесить под плотную струю зерна пустое ведро, а наполнится — быстро снять следующее, а полное скорее бежать, ссыпать в кучку, к готовым и бежать обратно, успеть поменять ведра: машина — то идет, зерно — струей — поспевай.

Вокруг машины народу было много, все при деле, менялись, помогали друг другу, делали одно, нужное всем дело — сообща.

Может, это гены: предки одолевали мамонта не в одиночку, одолели — вот и праздник, хоть пой, хоть пляши.

А, может, радость в нас всегда есть, только ищет выхода, когда бы ей явить себя, да и является по-разному.

Но уверена — в общей радости приготовленное зерно — хлеб будет куда как хорош, вкусен — порадует: изначальная Радость сеет вокруг — радость.

Мне, горожанке, — веселие, на зерно в колхоз приезжала бы каждый год, да обстоятельства не позволяли, городская суета.

А ежедневно... из года в год, всю жизнь — труд крестьянский — самый требовательный, назавтра не отложишь, не поленишься: земля не позволит.

Конечно, есть комбайны, но не сравнить же: хлеб требует на всех стадиях творения его — теплых рук человеческих, уважения и души.

А комбайн — железка. Равнодушная! Тяжело давит на драгоценную землю. Да и горючее ему подавай, запчасти, ремонтируй, и зерну и воздуху осложняй жизнь и экологию вокруг. Специальная МТС обслуживания. Да грузовики к нему подъезжают за зерном — конвейером, утрамбовывают бедную нашу богатую землю, а она — кормилица.

Сложно — то как!

Слышно, ученые думают над тем, как напитать человека без натуральной пищи, скажем, проглотил таблетку и — без проблем.

Хотя из нашего собственного опыта — беспроблемного ничего не бывает: жизнь тем и хороша, что преподносит — то есть «предлагает под нос» — сюрпризы.

Правильно, — комбайнер тоже хороший человек, мастер своего дела, они с комбайном одно целое, «понимают» друг друга, это можно понять: человек в любом деле будет стремиться к мастерству, ибо он, изначально — творец.

Но лошадка — лучше: живая.

Она — помощник давнишний, проверенный и, главное — друг, все понимающий, верный.

В страду, каждый год приезжали в колхоз крестьянки из Западной тогдашней Украины зарабатывать — на дом, на свадьбу или на машину. Работали по договору. Зарабатывали хорошо, плюс натурой — зерном, другими припасами.

Ну, это же настоящие, умеющие работать на земле.

И работать в бригаде с такими — это то, что надо. Однако — не просто. Горожанке — то. Да и — постарее их годами.

Были молодые женщины, была одна старше меня, наверняка потомственная крестьянка — такие и есть истинные хозяева земли: нетороплива, спокойна, молчалива, никаких лишних движений, суетливости, делает то, что нужно, так, как нужно, ловко, привычно — споро.

Необыкновенная пластика движений — засмотреться можно. Рядом с нею работать — сама становишься другой, безо всякой городской шелухи, чаще всего надуманной, искусственной. Когда приехала в Москву, встретила со знакомой талантливой художницей, у нее — своя радость: удалось! (начало восьмидесятых) попасть в группу — поездка по Италии, за неделю — девять городов, да каких!

Италия. Для художника. Да и для любого, чего там скрывать. Я порадовалась вместе с нею. Но не стала рассказывать о той радости, что поселилась во мне, теперь уже вообще переделала меня, оздоровила — не к месту было: слишком уж разные ценности. Работа в бригаде. Участвовать в сложнейшем деле — делать хлеб. Это — не путешествие. Хотя бы и в саму Италию. Хотя бы и в непростые восьмидесятые, — это же не девяностые. Тоже, впрочем, непростые.

Вот, сложили мы зерно в закрома. И расселись все, кто на чем в этом прохладном хранилище — отдохнуть, побеседовать — все такие разные, объединенные общей заботой. С нами главный начальник — старшая уборщица на току, бабонька шустрая, работяга, лет ей отроду не счесть, а, пожалуй, года обтекают таких, не старя, но прибавляя властности. Такая маленькая, сухонькая, когда надо ядовитенькая, острого ума и дерзкого языка.

Я сказала: — Ну, Мария Петровна — министр.

Главный агроном улыбнулась: — Культуры.

Я возразила принижению статуса: — Ну, нет, тут посерьезнее, внутренних, пожалуй, дел.

К горожанке относились справедливо, а я не чувствовала себя «неумехой» среди них. Мне было хорошо, естественно — вольготно.

А было и так.

В самый разгар сортировки зерна, в жаркой работе мы все были, вдруг прибегают запыхавшись, дед, всполохнутый какой-то, взлохмаченный, не пьяный, или не очень выпивши, и сразу, сходу — ко мне: — Ты, бабка, откуда такая взялась?! У нас таких нету!

Говорю: — Такая же, как все здесь.

— Нет, у нас таких нету. Пойду крест варить (на могилку, значит).

Ну, спектакль. Поднялось во мне озорство, мы уже кричали:

— У вас — все такие, как и я!

— Нет, у нас нет таких! Пойду крест варить!

— Ну, если нету, так плохо! Очень жаль.

А все собрались зрителями вокруг нас, усмеваются: бабка Лиза с дедом Петькой спектакль дают.

Убрали зерно, пошли девчата на свекольное поле, полоть — тяпать сорняки.

Это — во весь горизонт поле свеклы, великолепная сочная ботва, кра-савица и рядом с корнеплодом, корень в корень! — сорняк, и он, вредный, поднимается выше ботвы.

Ну, вот, как уничтожить того паразита, вредителя, не повредив ни свеклы, ни ботвы?

Девчата взяли меня в бригаду, понимала, — хотели помочь.

Привезли нас на это поле, жарко уже было.

Дали мне хорошо заточенную тяпку, показали, как тяпать, сами, втроем, пошли вдоль грядок — к горизонту, тяпая на ходу. Но я не могла подсечь траву, не повредив самой свеклы.

Не получалось: это же надо уметь!

Повозилась с тяпкой — нет, не умею, только нужное секу, а корень сорняка, как раз, оставляю. Тяпку отложила.

Ну, что делать?

И стала я делать то, что могла, как сделала бы на своих двух сотках — выдергивать вручную сорняк с корнем, каждый.

Каждый корень — вон, а корнеплод присыпаю землицей там, где ямка от сорнякова корня осталась.

Привезли обед на грузовике.

К тому времени прополола уже, примерно, 3м х 2. Чисто так.

Как комнату к празднику.

А девочки уже от горизонта идут, тяпками помахивают на ходу, ведут светские беседы. Легкие такие, раскованные, — привычно им: прошли — и чисто, сорняков не видеть.

Это потом уже я узнала, что тяпать сорняки придется пять раз за лето.

И только мои зм х 2 больше тяпать не надо будет и я знала, не сомневалась, что моя свекла будет слаще, вкуснее: я же ее руками обихаживала, озабоченная желанием помочь.

А — что? Ведь известно, что цветы комнатные знают хозяйку, знают, кто к ним подходит с добром, а кто недружествен.

После обеда я больше на занималась «голубой» работой.

Отдыхала в тенечке.

Только однажды дарят мне девочки головной платок штапельный, а я таких расписных не ношу, не взяла.

Потом приготовили вкусные оладьи из сырой картошки, угостили, да полстакана красненького поднесли.

Оладьи съела, не хотела огорчать их, ведь они для угощения и затеяли оладьи.

Только пото-о-ом поняла — да они же хотят «заплатить» мне за мои зм х 2!

Над моею кроватью в общежитии висела телогрейка, хоть и ношенная, но добротная, я и спросила: — Чья?

Они обрадовались: — Бери, баба Лиза.

Заработала, значит.

Ну, спасибо им, телогрейка пригодилась, столько лет согревала зимой, пока не расплзлась совсем.

Тут подошло время расчета. Выписали мне 25 рэ, «по найму» же — я была им рада-радешенька: не за деньгами приехала, за здоровьем. Да в то время были у меня свои — в Москве заработала на поездку.

Обрадовалась же, что сумела крестьянским трудом заработать. Трудным. И не была в бригаде неумехой.

А жили мы в «общежитии». Определили нам, приезжим помощникам, бесхозную хату. Ночевать в ней было можно, поправлять не имело смысла, отжила свое, а колхоз молодец, набирал мощность.

До колхоза ходил рейсовый автобус, дорога хорошая и строилась новая, уже насыпь была приготовлена, сравняли бугры, ухабы, вдоль насыпи современная дорожная техника. И на перекрестке дороги — площадь просторная, а ближайший домик — наше общежитие.

Входную дверь можно было закрывать, а можно и не закрывать (замка не было), чтобы не утруждать себя, открывая ее. Войдешь — бывшая кухня с русской печью и постелью, там сейчас жили муж с женой — она в поле с тяпкой, он строил склад. В жилую комнату двери не было, а висела про-

стыня, отгораживая женское общежитие и там несколько кроватей, а жили тогда мы вдвоем с приезжей из Западной Украины, молодой, весьма общительной крестьянкой, современной и нашим дням девяностых.

На поле работала опытно, профессионально.

В этой комнате часто собирались парни, молодые мужики, как в свой клуб и когда я приходила «домой», то они разрешали! мне быть там, я им, оказывается, не мешала. Хорошо.

Однажды я разговорилась с ними и спросила одного тридцатилетнего тракториста, уже лысоватый, он выглядел старше, — достаточно-ли получает, он ответил: — Достаточно.

— Пьешь?

— Пью.

— Почему? Чего не хватает?

— Всего хватает. Но — скучно.

— Почему?

— Не женат, на танцы уже поздно — стар.

— А какая же не дура совсем пойдет за пьющего? Хоть и в достаток?

Значит, один достаток, сам по себе, ничего не дает. Не даст полноты жизни. Пустое.

Полноту жизни человек может организовать себе только сам, в любых условиях.

Нужен внутренний настрой, желание и мужество, чтобы быть и оставаться собою. А не одним из стада, которое определено на стрижку, да на шашлык.

Неужество? Лень? Безразличие? Что есть алкозависимость? Проще и привычнее заглушить в себе человеческое, жизненное, создать иллюзию, когда можно вообразить себе и поверить, что «Вася» его уважает.

Человеку необходимо уважение.

Кто бы он ни был, кем бы ни входил в общество.

На беду, по слабости согласен и на иллюзию уважения.

А то проснулась я ночью от шума.

Прислушалась, а нас в комнате трое.

Сон слетел мгновенно, как и не было, захлестнуло гневом.

Встала спокойная, гневу не дала выхода, молча одела мою телогрейку и пошла к выходу. Соседка окликнула: — куда Вы, баба Лиза?

Ушла в ночь.

Вышла, глянула — звезды...

И все остальное — вовсе никчемное...

Не — «огромное небо», а — Вселенная, вся Вселенная, несказуемая, неопоставимая, властная, и в Ней — маленькая, иного масштаба — Земля.

Со своей мелкой, ничтожной суетой.

Нет, не могу передать, какой явила себя Вселенная...

А вокруг, на Земле — хаты в садах, темными массивами, нигде ни огня, ни человека, в дальнем конце села, большого, протяженного, видно, молодежь играет — песни, смех...

В городе небо — в просветах стеклобетонных джунглей, луна — запуталась в ветвях деревьев — и все равно: небо — это небесное, нездешнее, земля — это земное.

Беспредельность и ограниченность.

И сколько бы ни строили АЭС для освещения мегаполиса, сколько бы ни заливали потоками света и россыпью фонарей, рекламной пестротой, сравнения нет: луна — это нездешнее, Вселенная.

Земные люди на луне или Марсе — ничего не меняет: несоразмерно.

И вот — человек в темноте земной, освещенный луной и околдованный звездами и было небо, расширявшее земное до своей шири: человек и небо...

А из земной темноты, по дороге приближалась фигура.

Я смотрела на звезды.

Подходил мужчина.

Видел — привычная площадь, перекресток, вокруг ни человека, ни огня.

Посередине стояла бабка в телогрейке. Одна.

Подошел, постоял. Выпивши немного.

Соображал, кто такая и чего стоит.

— Чего стоишь?

— На звезды смотрю

— Тоже мне, Ломоносов.

Помолчал.

А я смотрела на звезды, руки в карманах.

Понял:

— А-а-а! Ты приехала из Москвы, из общежития тебя выжили.

Я смотрела на звезды.

— Что же ты будешь всю ночь стоять. Пойдем ко мне, переночуешь.

— Семья есть?

— Нету.

— Мать, отец?

— Мать в своем доме, недалеко.

— Постояю. Под звездами — редкий случай.

— Да ты что! Устрою тебя хорошо, итти недалеко.

— Спасибо. Постояю.

Помолчал, Вынул из кармана яблоко, протянул мне.

Взяла, положила в карман.

Ушел.

Снова — под звездами, объятая Небом — земля.

Песни вдали смолкли.

Побледнело небо у горизонта.

Яснее обозначились хаты с садами.

Начиналась симфония Рассвета.

Окончился первый день августа — День Преподобного Серафима.

Начинался день Илии Пророка.

Пошли женщины в храм, а кто — на раннюю работу.

Начинался крестьянский рабочий день. И я собиралась в храм, в другую деревню, накануне отпросилась на полдня.

И думала: вот, село большое, своего народу много, приезжие помощники, да всяких деловых людей бывает довольно — потребовалась еще дорога, но — все знают все обо всех — вот, понял же, кто я такая — незнакомая, объяснил себе, почему эта «незнакомка» стояла одна среди ночи.

И тактично повел себя.

А и здоров же мужик наш. И — настоящий.

Пришлось однажды долго ждать рейсового автобуса, на остановке уже много народу и люди стали — привычно — останавливать попутные грузовики, разъезжались, и осталась я одна на остановке. Сумерки начинала вечер. Стало неуютно, как то сразу — одиноко.

Решилась и я остановить грузовик.

Первый же остановился, я сказала, до какой остановки мне нужно, молча усадили меня третьей между водителем и напарником, и — понеслись, погромыхивая всеми трясущимися частями верного, насквозь знакомого и потому — не просто железного, а «товарища».

Такое сразу ощущение возникло. Верность и надежность.

Вот, на полном ходу, да на газу «до упора», одна рука на руле, другой достаёт откуда-то из-под себя водочную бутылку и — из горлышка, запрокинув головушку. Передал напарнику. И тот приложился. Я оторопела.

Дорога — бетонка магистральная, однако, скорость-то. И — из бутылки — все «повторяют», передают друг другу через меня...

По обе стороны дороги — посадки. Уже темнеет все гуще...

На полном ходу — к моей остановке, я стала собираться выходить, но, не замедляя ходу — мимо, я про себя ахнула, но смолчала...

Подъем, наш грузовик мчит посередине дороги, встречных слава Богу нет, скорость та же, газ до упора, но встречного-то видно не будет, пока он поднимается на горку с той стороны. Нас он тоже не увидит... А тот тоже может посередине, да — газует...

Стала читать «Отче наш».

Промчались мимо посадок, возникло незнакомое открытое место — изъезженный, измученный колесами мощных машин чернозем...

Вдруг — стоп. Остановились.

Не обернувшись, водитель выдал одно слово:

— Вылезай.

Вылезай—то вылезай, спасибо, конечно, и низкий поклон тебе, но место незнакомое, кругом — никого и нечего, даже машин уже нету и так и не встретилось...

Было бы непростительно предложить денег, а я и не осмелилась, даже в тот момент и в мыслях не могло появиться.

Не позволяла естественность нормальных, здоровых взаимоотношений, чистота и мужественность. Настоящая. Никакой «шелухи». Было простое, молчаливое — помочь человеку. Привычно.

Может, подсознательно, это и удержало меня, горожанку, от обморока со страху.

Пока вылезала с вещами — по-прежнему молча, не повернув головы, смотря перед собой, сказал нужное, не больше:

— Налево, по дороге — дойдешь до твоей хаты.

Вот так.

Он, значит, знал, что я работаю на пасеке, на кочевке, знал, где я живу, у кого, знал, что от моей остановки, которую я ему назвала, до хаты придется идти через все большое село, а уже темно, и народ в селе, наверное, всякий — и подвез меня почти к самой хате, ближе было невозможно.

Торопился — темноло, и одной тетке, да еще приезжей, да горожанке в незнакомом месте — неладно.

Автобусы рейсовые, грузовики — водители всех знают, и своих, и приезжих, а я каждый день ездила на пасеку и обратно, примелькалась.

Часто вспоминаю эту поездку: будь здоров, дорогой, пусть ничто тебя не берет, будь счастлив, хороший человек.

Уже потом—потом догадалась, что в водочной бутылке была, скорее всего вода. Но это ничего не меняло: трезвыми они не были. Силен человек, спаси его, Господи.

А на подъеме, в темноте — сначала возникнет ореол света фар встречного и он увидит сначала свет фар нашего грузовика.

Как я нашла пасеку, как проработала помощником пчеловода, пока не собрали семьи на зимовку, как мне пчелы устроили испытание и как я это приняла — это другой разговор, другая поэма. Другая песня.

Надобно сказать, что сближает нас с бабой Лизой, Лизочкой, не только отношение к ценностям и жизнелюбие, но и то, что я бывала в Тамбовской области в те же времена и воспоминания Елизаветы Александровны дополняют мои воспоминания, а это всегда интересно и сближает.

Мне не пришлось больше побывать в той земле, а жаль.

Если удастся, то поеду, но, уже, теперь — в Саров.

Написала и засомневалась: жизнь гораздо сложнее, полна противоречий, борьбы, поражений и побед, о всем рассказывать — толстенный том не вместит. Да и необъятного, как сказано, не вместить.

Пусть хоть немного, но Ода—то — к Радости.

К рассказу прилагается рисунок: женщина в платке и телогрейке стоит на краю Земли, над нею громадное небо со звездами, среди звезд Богоматерь с младенцем, ангел-хранитель Рафаил, Илия-пророк. На Земле травы, цветы, Серафим Саровский с медведем. Дата — 16.10.97 — в этот день Юлия Николаевна написала рассказ и нарисовала рисунок. Имеется еще одно произведение на ту же тему — большая нарядная аппликация с использованием фольги и конфетных фантиков. Изображена Вселенная, в ее центре — крошечная зелено-розово-голубая Земля. Невысоко над Землей парят Адам с Евой, царь Давид, Михаила Ломоносов, люди, звери и растения.

* * *

— Деревня эта, где я жила, огромная, богатая. Там молокане живут. Они не как мы, другие — в церковь не ходят, не крестятся. Я сначала жила у молочанки Ани, а потом перешла в гостиницу. Муж у Ани тракторист, есть дочка. А мать Анина — наставница молочанская, она раз пришла на меня поглядеть и подарила огурец. Конечно, я его есть не стала, а выбросила в пруд. Там много прудов нагорожено, для коров. Деревня богатая, коровы в каждом дворе, да не по одной. Я в этих прудах карасиков ловила, деток карасиных. Закидушка у меня всегда с собой, в кармане. Нацеплю на крючок кусочек хлебца и закидываю. Этих карасиков Аня мне жарила. Но им нельзя рыб убивать, поэтому они ждут пока рыба сама подойдет. А мне это не нравится. А им не нравилось, что я крещусь.

* * *

— Да, мне говорили, что я умею писать. Просто мне повезло с учителем литературы, я часто его вспоминаю. Я всех школьных учителей люблю вспоминать, но его особенно. И я у него была особенной ученицей. Я всю русскую классику прочла еще в школе и прекрасно в ней ориентировалась. Только Достоевского не читала, потому что в те времена он был запрещен. А потом, когда разрешили, я взяла в библиотеке «Братьев Карамазовых», посмотрела и думаю: неужели на такую толстенную книгу нужно время тратить? И читать не стала. Но содержание конечно знаю. А наш учитель русскую литературу не преподавал, он ею жил, спаси Господи его душу! Он был еврей с очень сложным отчеством, я из уважения хотела выучить, но так и не смогла.

Я на разные темы писала. Вы видели мой проект памятника Петру I? Видите, я и каркас сделала, хотела предложить им свой вариант, получше чем у Зураба. А по поводу этого памятника, которым они Москву испоганили, я послала письмо на самый верх. Я им всю правду написала, и очень аргументировано. Все, и насчет того, что Петру в Москве не место, что его здесь не любили за бритье бород, за унижение перед иностранцами. И про гравью «Как мыши кота хоронили» написала, про то, что Петр-то и есть этот самый кот.

Я этого запутавшегося в снастях кузнечика раздраконила в пух и прах. Все разобрала подробно, как скульптор–профессионал: и саму фигуру, и постамент, и место, которое они погубили. Я дам вам почитать, если найду с Божьей помощью этот листок. А вскоре после того, как я это письмо отправила, возвращаюсь однажды поздно из дальнего Храма (праздник был, я сейчас забыла какой, но это легко восстанавливается по церковному календарю, можно проверить).

Иду от метро, на улице ни души, вдруг вижу: мужчина, крупный, переходит дорогу. И сразу ко мне, и говорит: «С праздником вас!» Я спокойно отвечаю: — Спасибо, вас тоже. — Он говорит: — Я грузин — А я ему: — Слава Господу! Рада за вас. — А он: — У нас сегодня тоже праздник, день грузинской святой, царицы Нины. — Я говорю: — В таком случае с двойным вас праздником,— а про себя думаю: наверное, это Зураб и есть. Узнал про мое письмо. Тут к нам женщина подходит с мальчиком, и этот грузин говорит: — Познакомьтесь, это моя сестра с сыном. — Ну что ж, очень приятно. — Постояли, поговорили, а теперь я уверена: это точно Зураб и был, собственной персоной, хотел посмотреть, что за бабка такая его памятник в пух и прах разделала.

А в другой раз пошла в Новодевичий монастырь. Отстояла службу, а потом в садике села посидеть. И рядом со мной оказались муж и жена, пожилые, оба грузины. Мы немного поговорили, а потом они стали меня про Петра расспрашивать. А я не такая дура, я все про них поняла и схитрила — сказала, что считаю памятник профессиональным. И они были очень довольны, и я выпуталась.

С Петром у меня отношения особые. Реформы Петра — мой конек. Я про них знаю все. Когда я окончила школу, пришла подруга и сказала: — Пошли в институт. — В какой? — В Станкин. — Пришли на экзамен, я совершенно не волновалась, вошла в аудиторию и вижу: огромное окно, зеленое, во всю стену, за окном лето, сад, в большой комнате мы с экзаменатором. Взяла билет — реформы Петра. Ну, думаю, тут и говорить не о чем, я все про это знаю. Села за стол, смотрю в окно: сад, птицы поют.

Так и просидела, не сказала ни слова и ничего не написала, сама не знаю почему. Получила заслуженное, вышла, а подружка меня поджидает, она двойку по математике схватила и говорит: — Пошли в автомеханический, его только что открыли и всех принимают, кто в другие институты провалился. — Мы пошли, тут же поступили, и я там два года проучилась. И очень довольна. Хотя бы потому, что там я общалась со студентами. А потом началась война. Институт эвакуировали в Барнаул, а я не поехала. Мы с мамой остались в Москве.

Тогда еще бабушка жива была. Мама правильно рассчитала, что если мы уедем, то нам обратно не вернуться. Ведь мы же семья репрессированного и никто нас в папину четырехкомнатную квартиру не впустит.

— Писать я всегда любила и с 82-го года вела дневники. У меня там, в квартире, целый шифоньер набит дневниками. У меня даже так бывало, что я просыпалась, садилась и по три-четыре часа писала все и обо всем. И обо всех! Чистую правду. Читать мои дневники нельзя. Я так и писала на первой странице каждой тетради: «Прошу не читать!». Хотя те, кому нужно, тут же прочитывали. Бабка такого, извините, ранга, как я, всю жизнь под прицелом у КГБ. А как вы думаете — дочь Николая Андреевича Скрябина? Я такое о наших правителях там понаписала, так их разделала, что меня и сейчас могут за это упечь кое-куда. Очень даже просто! Я точно знаю, что в КГБ мои дневники прочли. У меня в квартире один «молодой русский» поселился, из их ведомства, он обо всем, что я делала, узнавал в тот же день. Например, я подала заявление, чтобы мне разрешили приватизировать этот дом, а он уже на следующий день сказал, что я неправильно заявление составила, и объяснил, как надо было. Так что мы с ним все друг о друге знали. И это хорошо. Он хотел, чтобы я одну свою комнату на его имя переписала, а после моей смерти всю квартиру собирался выкупить. А я не согласилась, мне это ни к чему. Дома у меня из мебели один только буфет остался. Но такой, какой ни одному «молодому русскому» и не снился. Там одни стекла зеркальные такие, что второго такого не сыщешь. Всю остальную мебель я продала. У нас в доме профессор с женой живет, очень известный, по зоологии, у них дома сплошной антиквариат. Профессор у меня напольные часы купил, которые к этому буфету полагались, раскладной стол и стулья. Они с женой все это прекрасно отреставрировали, и я очень довольна, что вещи у них. Они хорошие люди, спаси их Господи. У часов не было маятника, но звон исключительный. Профессор мне заплатил за них сорок рублей. А буфет им не был нужен, вот он и остался. Так этот «молодой русский», сосед, на мой буфет глаз положил. Как-то заглядываю в чуланчик кухонный, смотрю: огромная такая резная палка, на которую занавески вешают, и вырезана в точности под мой буфет. Тут мне все стало ясно, и я со смехом говорю этому молодому русскому: — Что, мой буфет готовитесь получить? — Что-то потом с этим молодым русским случилось. Отец его мне сказал, будто он в аварию попал и разбился насмерть. Но я не верю, думаю, они это нарочно придумали, чтоб бабке мозги запудрить. Я в этой квартире три года не была и не знаю, что там происходит.

Я прекрасно умею жить в коммунальной квартире и ладить с соседями. Главное правило — не попадаться друг другу на глаза. С прежними соседями, с Наташей и с Вадимом, с которыми я прожила двадцать шесть лет, мы никогда не ссорились. Правда, на кухню я не выходила и готовила в комнате на плитке. Кухня была в их полном распоряжении. Этот Вадим очень неприятный человек и меня всегда мучило, что я не могу за него молиться. Как за такого молиться? Дурак, алкоголик, потаскун, тащит все подряд, ничего от

него не спрячешь... С Наташей обращается ужасно, бьет ее, с любовницей со своей Валькой на глазах у Наташи в нашей же ванной комнате делает то самое... Но потом подумала: но почему же я его так ненавижу? Неужели в нем нет совсем ничего по-человечески хорошего? Он же служил на атомной подводной лодке, а я знаю как это тяжело. И еще я знаю, что тем, которые служили на атомных лодках, разрешается делать все, что они захотят. И когда я это как следует обдумала, то поняла, что как человек он даже лучше своей жены Наташи. И страшно этому обрадовалась, потому что теперь я могла за него молиться. И молюсь до сих пор, какой бы он ни был ужасный. И когда этот Вадька, которого я раньше ненавидела, получил повышение, и из обыкновенного мичмана на подводной лодке сделался капитаном запаса, я пошла в магазин, купила такую плоскую бутылочку коньяка и поздравила его с повышением.

А когда однажды Наташа вернулась домой после аборта и совершенно больная лежала в постели, я вошла в их комнату, посочувствовала ей и подарила пять рублей. А пять рублей были тогда большие деньги, особенно для меня. Так что с соседями ладить я всегда умела.

И с этим молодым новым русским мы жили дружно. Это был единственный сосед, при котором я готовила в кухне, а не в комнате. Единственный за все годы! Я так ему и говорила: — Когда вы дома, вы мне не мешаете, когда вас нет, я не скучаю. — Мы прекрасно ладили, понимали друг друга, охранники его были чудесные люди, а девки, которые к нему приходили толпами, специально выходили в кухню, чтобы посмотреть на меня как на диковинку. А я там стояла и, как ни в чем не бывало, жарила оладьи и охотно с ними разговаривала, если они этого хотели.

Только один единственный раз он мне сделал выволочку за то, что по телефону я позволила себе что-то лишнее, когда ему кто-то звонил, какая-то его очередная девка. Что-то такое добавила от себя. Так после этого я вообще не стала к телефону подходить. Мне-то ведь все равно никто не звонит. Так что мы друг другом были вполне довольны.

А когда он вроде бы погиб, и его родственники устроили сорок дней (хотя я до сих пор не уверена, что они меня не обманули), я оделась и собралась уходить. Так сестра его вышла из комнаты и говорит: — Юлия Николаевна, а мы рассчитывали, что вы будете с нами за столом. — А я ответила: — Нет, не буду, за вашим столом мне не место, потому что я ничего не ем и не пью. — Я же понимаю, зачем я им была нужна за их столом. А потому, что я верующая.

* * *

— Я люблю на смотровую площадку ходить, к университету, мне нравится там гулять. Там Храм Пресвятой Троицы и если есть служба, то я захожу. А если нет, просто гуляю, но на скамейки не сажусь, потому что всегда кто-ни-

будь рядом сядет. Сажусь на травку — славно и хорошо. И еще я там рисую. А один раз иду по аллее от университета, а навстречу женщина, интеллигентная, очень приятная, без претензий, без фасона. Просто интеллигентный человек. Подошла, заговорила и обратно со мной пошла. Она профессор из университета, что-то там по литературной части. Мы долго разговаривали, и я ей все о себе рассказала, а она мне о себе. Она из общества защиты Фета. А я, когда услышала про Фета, засмеялась и говорю шутливо: — А, дворянский поэт! — дала понять, что в курсе дела. Женщина эта очень озабочена устройством музея, я ей рассказала про буфет и пообещала им отдать. И она сразу же дала мне пятьдесят рублей. По тем временам целое состояние. И оставила свой адрес и телефон. Так что это уже их буфет, музейный.

* * *

— А вот еще смешной случай. У меня был журнал «Курьер ЮНЕСКО» и в нем статья одной американки, лауреатки Нобелевской премии, про то, что от атомных электростанций вреда меньше, чем от гидроэлектростанций. Я страшно возмутилась, и решила написать опровержение. Написала и отнесла в журнал «Вопросы философии», потому что он рядом с моим домом. Там мою статью прочли и говорят: — Написано интересно, но тема не наша. Это для «Курьера ЮНЕСКО». — А «Курьер ЮНЕСКО» тоже рядом со мной, на Садовом кольце. Пришла туда, вышел ко мне очень представительный пожилой мужчина, принял меня любезно и тут же мою статью внимательно прочел. Я с детства очень люблю О`Генри, особенно «Короли и капусту». Помните, там есть выражение: «он улыбался как довольная акула»? Вот и этот мужчина читал то, что я написала, и улыбался, как довольная акула. Но сказал, что если бы я была лауреатом Нобелевской премии или еще кем-нибудь в этом роде, они бы меня обязательно напечатали, а так не могут, не по рангу. Да мне и самой это было очевидно, просто хотелось высказаться. А статью мне позже вернули вместе с очень вежливым и аргументированным ответом. Наверное, все в редакции прочли и от души посмеялись — какая-то бабка нобелевскую лауреатку отчихвостила. А мне как раз это и надо было. А сейчас я хочу написать о клонировании. Это безобразие нужно прекратить, и немедленно!

* * *

— Я согласна, чтобы вы дали прочесть рассказ подруге. Поступайте на свое усмотрение. Она верующая? В церковь ходит? Как зовут? Это хорошо, что имя не переменяла, я таких людей уважаю. А муж где? А как сына зовут? Крещеный? Чем зарабатывает? А на что она сама живет? Жаль, что все так сложно. Вы передайте ей: нечего биться в запертую дверь, с этим нужно кончать. Бог с ним, с компьютером! Жизнь нужно переменить в главном. Вот ведь сначала в самолете был винтовой двигатель. И делалось все, чтобы уве-

личить скорость. Дошли до предела, добились минимального веса, усовершенствовали все, что только можно было усовершенствовать. И уткнулись в стену. Больше ничего изобрести было нельзя. И тогда придумали турбовинтовой двигатель и появились новые возможности. Вот и вашей подруге нужно придумать свой турбовинтовой двигатель, а не биться в глухую стену, как она сейчас делает. И тогда все переменится. Передайте ей это обязательно.

* * *

— Вы знаете, а из монастыря перестали приходить. Сказали, что сейчас пост, а во время поста вроде бы посещения нежелательны. Хотя какие это посещения? Это помощь. Ну ничего, я Господу за все благодарна. Значит так нужно. Ведь с монастырем у меня отношения сложные, и все из-за ЮНЕСКО, которое эту французскую Натали на меня натравило с ее супчиком в пакете. ЮНЕСКО из-за меня и на монастырь наезжает, через Патриархию. А больше всего на свете я боюсь навредить монастырю. Но все равно, нас с матушкой никто и никогда поссорить не сможет. Матушка умнейший человек, она знает, как поступать во всех случаях жизни, но я поняла, что должна монастырских от себя освободить.

Я очень люблю монастырь, это было лучшее время в моей жизни, когда я к ним ходила обедать. Меня на это батюшка благословил. Спросил на исповеди: — Чем же вы живете? — А я ему: — Сама не знаю. — А я и правда не знаю. Но теперь это время, когда я к ним обедать ходила, закончилось, и это правильно. Зимой я не могла дойти до монастыря, и это не случайно. Господь закрыл мне этот путь. Значит так надо и я ему за это благодарна. И сейчас живу замечательно. Подумайте: с 75-го года у меня мастерская тридцать три метра, для работы вполне достаточно, домик маленький, трехэтажный, наверху жильцы, внизу художники. О таком можно только мечтать. Это неважно, что полы проваливаются, что канализация не работает, для меня это не имеет никакого значения. Меня спрашивают: что будет дальше, что вы будете делать? А я об этом и не думаю. Я знаю, будет так, как захочет Господь, как Господу нужно.

А еще я Господу благодарна за то, что он не дал мне мастерства. Если бы он дал мне мастерство, у меня не было бы воображения. А без воображения я не могла бы делать то, что делаю. Мастерства у меня никогда не было, оно мне не давалось, меня за это и Екатерина Федоровна ух как ругала. Но и похвалила однажды, и эту ее похвалу я всю свою жизнь помню. А вот руки у меня действительно золотые, хоть и уродливые. У нас в доме, в Совете ветеранов, главным один экстрасенс. Я к ним пришла однажды, села и руки на стол положила. Он прямо взвился: — Мужские руки! — А я ему: — Не мужские, а крестьянские, наследственные, золотые, все могут сделать.

В институте я закончила четыре курса факультета монументальной скульптуры. И все эти годы по рисунку у меня было три с плюсом, не боль-

ше. А на четвертом мне поставили двойку. И если бы не Екатерина Федоровна, которая по композиции меня всем в пример ставила, меня запросто могли бы из института вытурить, а этого я не могла допустить из-за мамы. Но не вытурили, а перевели на факультет обработки металла. А там к нам в группу пришел новый педагог — пожилой, маленького такого росточка, то-нюсенький, личико ужасно некрасивое, обезьянье. Он, как только вошел, сразу сказал: — Знаю, знаю, сейчас начнете на меня карикатуры рисовать, и я на них буду в виде обезьянки. — Так этот Борис Федорович Ланге все во мне переменял, научил рисовать, благодаря ему я поняла, что рисунок может быть цветным. Видите, этот рисунок не одноцветный, он цветной! А научил меня этому Борис Федорович Ланге, спаси Господи его душу. А может быть он еще и жив, ведь живут же некоторые больше ста лет...

* * *

— Я хочу с вами своей радостью поделиться. Когда у меня тут в 92-м году окно разбили и забрались, у меня кое-что пропало, и в том числе исчезла моя любимая сковородка. Прекрасная сковородка, чугунная. А теперь, после того, как тот клерк из домоуправления приходил, и я стала все в кухне вычищать, и много чего нужного нашла, в том числе и божественного, то наткнулась и на сковородку. Я так обрадовалась, потому что: во-первых, я несколько лет страшно грешила на людей, которые на самом деле ее не брали, а во-вторых, я могу теперь готовить деликатесы, которые невозможно приготовить в кастрюльке. Вот, готовлю себе завтрак. У меня оставался хлеб, я его размочила, сейчас добавлю вашего чеснока, лука и получится вкуснейшее блюдо. И еще я нашла в этой огромной куче две упаковки индийской синьки для белья. Я купила ее несколько лет назад из-за прекрасного цвета, видите, какой изумительный, вот здесь и там, на потолке. Сестра монастырская, которая сама иконы пишет, когда увидела этот цвет, даже удивилась, сказала: — Какой цвет необыкновенный! — Я счастлива, что смогу теперь отдать ей оба пакета. Себе не оставлю, все отдам в монастырь. Я радуюсь, если могу что-нибудь для них сделать. И Ангелине Михайловне сказала, что очень благодарна за эту комиссию в главе с клерком. Если бы они тогда не пришли я бы никогда не нашла ни сковородку, ни синьку, ни многое другое, очень для меня важное. Я же вам говорила, что не бывает в жизни ничего случайного.

* * *

— Посмотрите, что у меня есть! Позавчера я была в Храме Христа Спасителя и увидела, что там выдают вот такие красивейшие бумаги с гербами и печатями. Я спросила, как можно такое получить. Оказывается, для этого нужно пожертвовать не меньше пятидесяти рублей. Я пошла, встала неподалеку и быстро собрала эту сумму, мне же даже нищие подают. Глупо тратить деньги

на то, чтобы набивать брюхо, гораздо приятнее пожертвовать на Храм. Хотя по характеру я страшная обжора. И Господь правильно делает, что не позволяет мне объедаться.

На обратном пути решила купить картошки. Осенью мне из монастыря привезли мешок пророщенной, во-о-от с такими ростками. Но я пророщенную не ем. Мне мама еще в детстве объяснила, что пророщенной картошкой очень даже просто можно отравиться. Я удивляюсь, как ее монастырские едят. Они считают, что если перекрестить, то все годится. Но я же не святая, и понимаю, что от моего крестного знамения чуда произойти не может.

Так вот, я хотела купить картошку, потому что по радио сказали, что в такую страшную жару из организма выводится кальций. Для пожилых людей это особенно опасно, а в картошке кальций содержится в большом количестве. Но нужно было подождать, пока принесут новый мешок. И пока ждала, купила банан, хотя вообще я бананы не ем. И даже когда однажды рядом со мной неожиданно остановился грузовик и шофер протянул мне целую гроздь бананов, я от нее отказалась. А в этот раз купила, и сама себе удивилась. Но очистить банан не успела, потому что в этот момент принесли картошку. И с бананом в сумке пошла дальше. Иду и думаю, интересно, для кого же я этот банан купила? По дороге зашла в монастырь, а там маленькая девочка, и мне сразу же стало ясно, что банан—то этот я для нее и купила! Со мной всегда так происходит — ничего случайного в моей жизни не бывает.

* * *

— А теперь я строю планы, как заработать на ведро цемента. Или еще лучше — на три. А песок я сама достану и сделаю прекрасный профессиональный раствор. Цемент мне нужен для того, чтобы заделать щели в полу и в стенах, потому что опять появились крысы. Я хочу попросить Ангелину Михайловну, чтобы мне разрешили поливать на рассвете двор. Утром не жарко, я бы справилась, и заработала бы на цемент. Я еще осенью хотела договориться в ЖЭКе, чтоб меня взяли дворником, но не за деньги, а за овощи. Они могли бы расплачиваться со мной овощами, и им было бы выгодно, и мне хорошо. Но у меня всю зиму было плохо с ногами, и этот план не осуществился. А сейчас я вполне могла бы поливать двор в такую жару. Всем было бы от этого только хорошо. Это нестрашно, что 30 градусов, хотя для меня лучше было бы 14.

А еще я могу вставлять стекла, и делаю это прекрасно. Вставила бы, протерла и получилась бы картинка. Еще я могу поправить угол дома и профессионально зацементировать фундамент. Я скульптор—монументалист и такую работу сумею сделать прекрасно. Для красоты могу положить руст (руст — это имитация камня или кирпича, если вы не знаете). Положила бы руст, а за это получила бы три ведра цемента. Это было бы справедливо, как вы считаете?

Вообще—то, с крысами и мышами я в прекрасных отношениях. Но ведь они ходят повсюду и на ногах переносят заразу, поэтому приходится от них избавляться. Но убивать их я не могу, я даже траву жалею, а это живые разумные существа. У меня жила одна крыска, с которой мы были в прекрасных отношениях. Но случилось так, что я случайно ее ранила. Я не хотела, чтобы она свила гнездо, и в щели, из которой эта крыска выходила, ворошила палкой. И не заметила, что из палки торчал гвоздь. И однажды эта крыска вышла и села посреди комнаты. И это было так, как бывает, когда приходят за помощью. И на следующий день повторилось.

Она сидела посреди комнаты и ждала от меня помощи. А что я могла сделать? И тогда я взяла ее в руки и ощутила такой комок мышц, такую силу, которую вы даже представить себе не можете, и не дай Бог вам когда-нибудь ощутить подобное. У человека такого густка мышц не бывает. Я скульптор, я знаю. Я не знала, что с ней делать, и вынесла ее на улицу. Самое лучшее в моем случае это, конечно, кот-крысолов. Я присматривалась к разным котам, но бродячего мне не хотелось, потому что с ним нужно ехать к ветеринару, а мне это трудно. Пользоваться мышеловками и крысоловками я не могу, а кот — это ведь естественно, правда? Теперь я хочу в монастыре попросить, чтобы они дали мне на время своего кота, и он разогнал бы моих крыс.

* * *

— Нет-нет, мусор выносить не надо. Во-первых, это не ваш имидж. И потом сегодня большой праздник — Казанской Божьей Матери. Казанская очень строгая. Сегодня работать нельзя. Николай-угодник и Казанская самые строгие. У меня был один случай, после которого я зареклась в праздники работать. Мне в Московском товариществе художников, называлось МТХ, заказали хрустальную люстру для Дома литераторов. А я в хрустале ни хрена, прошу прощения, не смыслю. Но первую люстру сделала очень удачную. Вот такую огромную, деревянную, ее по моему эскизу резали знаменитые братья-резчики из Загорска. Директор Дома литераторов, когда пришел в МТХ, просто обалдел и сразу же ее купил. Дом литераторов в те времена был не там где сейчас, а помните, в том доме, с башенками, в котором смешение всех стилей.

Сначала люстру повесили в ресторане, но там потолки шесть метров, люстра потерялась, и ее пришлось перевесить в кабинет директора. Но и там она смотрелась плохо. Но все-таки мне заказали вторую. Нужно было срочно ее сдать, и хотя я прекрасно знала, что на Николу-угодника работать нельзя, все-таки как раз в этот день ее заканчивала. Наутро принесла в МТХ, повесила и стала ждать директора. А директор МТХ, чудесный человек, Алексей Иванович (если бы он сейчас жил, то непременно был бы «новым русским»), вошел, увидел эту новую люстру, тут же схватил длинную дере-

вянную указку, стал бить по всем этим хрустальным стекляшкам, которые я там приделала, и орать: — Что это такое? Это что такое? — И на глазах у всех он эту люстру буквально избил. После этого случая я зареклась в праздники работать.

* * *

— Но униаты меня не оставляют. На Праздник в монастыре устроили обед. И меня тоже пригласили, пожалели бабку. Роскошный, просто великокняжеский обед. Дали рыбу, прекрасно запеченную в тесте с кабачками. Я так не умею. И еще по бутерброду с кусочком осетрины. Я его съела, хотя перед тем дважды отказывалась взять, когда мне ее приносили в красивой упаковке. А потому, что я чихать на нее хотела, на эту осетрину. Я ведь еще помню ту, настоящую осетрину, которую в Елисеевском продавали, как войдешь — слева. Там на витрине всегда лежал свежайший осетр, косо так срезанный. Надо было видеть, как продавец в белейшем фартуке острейшим ножом отрезал от этого огромного осетра кусок, как он его заворачивал! Причем сначала непременно в специальную промасленную бумагу. Вот это была настоящая осетрина!

Так вот, моя знакомая, которую я в монастыре в тот раз встретила, славная такая девушка, спаси, Господи, ее душу, подарила мне Акафист Пресвятой Богородице. И когда я принесла его домой и рассмотрела, то страшно возмутилась Там, буквально на каждой странице, тоненький, еле заметный православный крест перекрывает крест латинский. Я думаю, что Акафист этот напечатали в типографии при монастыре. Они вынуждены все делать так, как хотят униаты. Но я этого терпеть на должна и не буду. И посмотрите, что я сделала с этим Акафистом. Я вырезала все униатские кресты и орнаменты, которые тоже составлены из латинских крестов и нарисовала настоящие православные кресты. А из того, что осталось, сделала свой Акафист. Нарисовала 16 листов. Кое-что получилось неудачно, но некоторые рисунки гениальные. Особенно Успение. Успение я рисовала бесчисленное количество раз. Потому что на это меня благословил сам Амвросий Оптинский, из всех оптинских старцев самый для меня важный. Не удивляйтесь, сейчас расскажу, как это произошло.

Один раз батюшка в проповеди сказал: — Я знаю, у вас у всех дома иконы от пола до потолка повешены. А на самом деле икон должно быть всего три: Спасителя, Богородицы и Николая-чудотворца. Остальные можете снять. — А у меня как раз так и было — от пола и до потолка. Я пришла домой и моментально все сняла. Там всякие были: репродукции из дореволюционного «Огонька», всякое другое. Я их аккуратно сложила стопочкой и принесла в Храм, за свечной ящик. Женщина за ящиком стала их перебирать. И одну, Успение Богородицы, сразу перевернула. А там печать, она у меня и сейчас перед глазами, и на печати написано: Амвросий Оптинский.

И я поняла, что этой иконой Амвросий благословил мою маму, когда она к нему в Оптину пустынь на богомолье ходила. А я про это забыла. Женщины за ящиком увидела мое огорчение и говорит: — Хотите забрать? — А я отвечаю: — Нет, раз уж так получилось, пусть останется тут. — И когда пришла домой, сразу же написала Успение. И с тех пор постоянно его рисую, и каждый раз пишу на обороте: «по благословиению Амвросия Оптинского». Я считаю, что он так меня благословил, через маму. Видите, здесь я его самого нарисовала. Мне кажется, вышло гениально. Получилось замечательно, и я должна отнести этот рисунок матушке. Но откладываю, потому что повторить точно так же уже не смогу. Но я считаю, что этот Акафист мой ответ униатам!

* * *

— Я вам рассказывала про парадокс времени? Моя тетушка, старшая маминна сестра, умница–переумница, всегда рассказывала притчу про то, как Спаситель с учениками шел по берегу и они увидели три корабля. Один плыл медленно, другой быстрее, а третий мчался. Ученики спросили, что это значит. И Спаситель им объяснил, что тот корабль, который плывет медленно, это их время, сегодняшнее, тот, что плывет быстрее, это время будущее, а тот, что мчится — это то время, которое наступит перед концом света. А у меня есть на этот счет своя гипотеза.

Я считаю, что каждый человек рождается со своим собственным ритмом. Вот я, например, получила свой при рождении, от мамы. И всю жизнь с ним живу. Собственный ритм человека не меняется во всю жизнь. А время на этом нашем шарике, который вертится, идет все быстрее и быстрее. Вот ведь при Онегине жили гораздо медленнее нас. Но быстрее, чем те люди, которые жили при Шекспире. А мы живем еще быстрее. И поэтому я не чувствую, что мне 78 лет. Ведь когда я рисую, то работаю сутками, и в три часа ночи чувствую себя бодро. Значит на самом деле мне не 78 лет, а гораздо меньше. Неважно, сколько именно, но меньше! А из меня хотят сделать старницу. И очень успешно делают! А знаете, моя гипотеза про парадокс времени нашла подтверждение.

Когда в 92–м году я собралась надолго уезжать из Москвы, то самые ценные вещи взяла с собой, а три больших иконы отвезла в Лавру. Пришла в иконописную мастерскую, ею тогда заведовал брат Лука, молоденький–премолоденький. Он ушел, а меня с девочками оставил. Там четверо девчат иконы писали. Сначала они повели меня обедать. Никогда этого обеда монастырского не забуду — картошку с капустой! Замечательный был обед! А потом все вместе пошли меня на станцию провожать. Приглашали остаться переночевать, но я твердо сказала: — Нет, нет! Домой! — И по дороге рассказала девочкам о своей гипотезе. Так они просто обалдели, остановились прямо посреди дороги и глаза выпучили. И рассказали, что в лампаду, которую возжигают каждое Пасхальное Воскресенье у Гроба Господня,

всегда наливали одинаковое количество масла. И этого масла хватало ровно на год, от одного Пасхального Воскресения до другого. А в последние годы масло в лампаде остается. И остаток этот с каждым годом увеличивается. Вот как! А я этот парадокс времени на себе почувствовала.

* * *

— Когда папу в 39-м году расстреляли, мы с мамой сразу в Храм побежали. Мама потом жалела, что раньше не пошли. Надо было пойти к Никите Великомученику, может быть отмолили бы. Но с другой стороны, если бы раньше пошли, когда папа был еще жив, то его могли бы расстрелять только за то, что мы пошли в Храм. Очень даже просто. Ну а когда мы узнали, что папа расстрелян, тут уж мы побежали в Храм с легкой душой. И ходим, и ходим с тех пор, и правильно делаем.

Папа мой, Николай Андреевич, на самом деле мне отчим. Так уж Богу было угодно, чтобы у моей мамы было два мужа, один инженер, дворянин, а второй герой гражданской войны, коммунист. Мой настоящий отец убежал за границу, и правильно сделал, я так маме и сказала. Не убежал бы — к стенке бы поставили. Мама говорила, что я в отцовскую породу. Он был начальник электрической станции, на которой мама работала секретарем-машинисткой. Это было в Новочеркасске, столице войска Донского. На этой электрической станции все были в нее влюблены, потому что мама моя была необычайно обаятельная и добрая, даже в старости. Мы с мамой совершенно разные. Если бы нас с ней избрали присяжными заседателями, и мы бы выносили приговор, мама для самого страшного преступника нашла бы такие слова, чтобы его оправдали. А я бы настаивала на том, чтобы он получил все, что заслужил.

Мой настоящий отец был инженер, а значит изобретатель. И я знаю про себя, что я изобретатель, может и не такой как отец, но тоже изобретатель. Я чувствую, что это его гены. А про то, что Николай Андреевич не родной мой отец, мама сказала мне только в 41-м. Она тогда заболела очень страшно, мы думали не выживет. И одновременно умирала бабушка. Время было такое... не рассказать.

Маме, наверное, хотелось исповедаться, и еще ей важна была моя реакция, поэтому она и рассказала мне правду. А я что? Я ничего. У меня ведь была мама, а она для меня единственный авторитет среди людей. Наши патриархи это другое, а мой единственный авторитет среди людей — моя мама. Так было и так остается! Если она считала правильным сделать именно так, значит это и было единственно правильным. А Николая Андреевича я люблю, поминаю его каждый день и думаю о нем постоянно. И когда думаю об Николае Угоднике или рисую его, всегда вспоминаю Николая Андреевича. Николай Андреевич был необыкновенный человек, всем навстречу открытый. И настоящий убежденный коммунист. От мамы я верующая, а от Ни-

колая Андреевича я реалист. Я так той француженке патлатой и сказала: — Я человек новой советской формации, поймите вы это наконец.

Настоящий мой отец был дворянин и чистокровный донской казак. И мама донская казачка. Мама мне всегда говорила: — Запомни, ты чистая. — И я это в себе чувствую, ощущаю свои гены. А Николай Андреевич был чисто русский. Родился в Белой Глине. Про Белую Глину говорили, что это центр революционного движения на юге России. Вот он во все это и влип. А человек был прекрасный, лучший из всех неверующих.

У Николая Андреевича было только два близких друга. Один, Иван Федорович Ткачев, суровый, несгибаемый, не улыбочивый такой, самый настоящий непоколебимый коммунист. А другой, Александр Иванович Тодорский, полная противоположность — русский богатырь, веселый, добродушный, с густыми белокурыми кудрями. Он написал маленькую книжечку про гражданскую войну, называется «Год с винтовкой и плугом», и сам Ленин обратил на нее внимание. Представляете, какую роль это сыграло в его жизни? Сама-то я эту книгу не читала. Я вообще никакого диалектического материализма никогда не читала, потому что мне это было абсолютно неинтересно. Никакого там Маркса, Энгельса. И понятия не имею, о чем они писали. Я только удивляюсь, почему преподаватель в институте мне по этому предмету всегда четверку ставил, я ведь ни одной строчки не прочла и ни одного слова на его лекциях не слышала.

У Александра Ивановича Тодорского была жена — Рудя Черняк, еврейка. Я ее видела один-единственный раз, когда мы к ним на дачу ездили. Она вышла к нам такая серьезная, насупленная, посмотрела строго из-под бровей, ни разу не улыбнулась — сильный человек, настоящая коммунистка. Она у них была наркомом по химии. Ее взяли самой первой. Александр Иванович с Иваном Федоровичем жили тогда в доме Правительства, знаете, на набережной?

Папе моему, Николаю Андреевичу, дали десять лет без права переписки, Ивану Федоровичу тоже, а Александру Ивановичу — пятнадцать с правом переписки. Вы понимаете, в чем разница — с правом переписки и без права переписки? Десять лет без права означало расстрел. И Александр Иванович прекрасно это знал. Он говорил, что когда ему приговор зачитали, он бухнулся на колени перед этой тройкой и до самой земли ей, этой тройке, поклонился. Мы с мамой думаем, что это его отец отмолил, он у него был священник.

Александр Иванович все это сам рассказал, когда его реабилитировали и он пришел к нам в чине генерала и в полной генеральской форме. Когда он вошел к нам, то даже потолки стали выше, а квартира засияла вся. Он же не мог не прийти к семье своего погибшего друга. Они ведь дружили еще с Царицына, все трое: Николай Андреевич, Александр Иванович и Иван Федорович.

У папы было три ордена Боевого Красного Знамени. А еще портсигар из чистого золота и золотые часы за Царицын. На нем так и написано: «Николаю Андреевичу Скрябину за Царицын». Еще была шашка, не простая, а именная, за Закавказье. Когда папу арестовали, то портсигар и шашку конфисковали, а часы мы сами уже после реабилитации отнесли в Музей Революции. Вы знаете, я слышала, что когда шли бои за Царицын, его то брали, то оставляли, то снова брали, у Сталина там какие-то финансовые махинации были, и поэтому он всех свидетелей уничтожил.

Это, конечно, хорошо, что Иверскую восстановили. Но сделали это не по религиозным соображениям, а для того, чтобы военную технику на Красную площадь не пускать. Когда по радио объявили, что военных парадов больше не будет, я тут перед динамиком целую манифестацию устроила. И сказала им, прямо в динамик, что проклинаю того, кто это сделал! Проклинаю!

Когда я была еще девочкой мы все втроем каждый год ходили на трибуны на Красную площадь. Николаю Андреевичу всегда давали три билета. Ну а потом, когда папу арестовали и расстреляли, уже не ходили, но каждый год смотрели, как эта замечательная техника по Садовому кольцу возвращается с парада прямо мимо наших окон. От этих пушек с громаднейшими стволами все в квартире тряслось и громыхало. А эти, за бугром, когда увидели нашу силу, хвосты поджали, поняли, что с нами лучше не связываться.

* * *

— А этого вы еще не видели, посмотрите: Воскресение Господне. Как я смогла это написать, сама не понимаю. Нет, вы представить не можете, потому что не знаете, каково мне сейчас. Что я сейчас чувствую. У меня с ногами такое творится, что сейчас я даже босиком не смогла бы на улицу выйти. Но ведь я это написала, несмотря ни на что, а значит, так было нужно, значит, это произошло помимо меня, от меня независимо.

Вот тут, справа от Спасителя, Богородица. Слева жены-мироносицы. В центре, в красном — Мария Магдалина. Рядом с ней, в белом, светлейшая княгиня Елизавета Федоровна. Я ее потому во всех пасхальных сюжетах рисую, что ее погубили как раз на Пасху. С другой стороны от Марии Магдалины великомученица Варвара. А вот эти все — мои родные. Не сами конечно, а их небесные покровители. Я их специально среди жен-мироносиц поместила, чтобы они всегда со мной рядом были. В лиловатом — это мама, святая Елизавета, вверху, в середине, бабушка моя, Анна. А над ней другая Анна, великомученица. А это мамина сестра, Ксения, моя крестная. Она была необыкновенный человек, удивительный, Христова невеста. Она в Храме помогала и приходила туда раньше всех, когда двери еще не отпирали, и уходила всех позже. А вот эта, в зеленоватом, прабабушка моя, Анастасия.

Теперь они со мной будут здесь до тех пор, пока существует эта мастерская. А когда скажут убираться, я сразу же уйду, не говоря ни единого сло-

ва, только сначала попрошу пескоструйный аппарат. Направлю струю сначала на эту стену, потом на остальные, и с легкостью все уничтожу. Все—все, пескоструйкой... Здесь работы на полдня, не больше. Останутся голые стены с дырками, вот и все. Сперва я хотела нимбы женам—мироносицам написать, но потом места пожалела. С нимбами бы все не поместились.

Преподобного Серафима я тоже во всех пасхальных сюжетах рисую. Потому что он во всякий день года встречал людей словами: — Христос воскрес! — Во всякий день в течение всего года! Но в этот раз я его рисовать не собиралась, он сам явился. Я рисовала жен—мироносиц и вдруг, сама не знаю почему, все бросила и стала на совершенно другой стене рисовать Преподобного Серафима. Я и сама не знаю, как это вышло. И видите, как удачно получился лик, какой у него взгляд соболезнующий. Хотя портретного сходства нет. Я так торопилась его написать, что мне некогда было пролистать книжку и найти его прижизненное изображение. А теперь и не знаю, нужно ли оно, это портретное сходство. И надо ли дописывать фигуру. А вы знаете, как Преподобный Серафим обращался к людям, которые к нему приходили? Ваше Боголюбие, да—да, ваше Боголюбие.

Они, которые нас выселяют, не понимают, что это особое место, что это не просто моя мастерская, что это не моя мастерская. Я еще в 92—м году объяснила им, что весь этот дом нужно отдать мне. Я бы его приватизировала, себе бы оставила только то, что у меня есть сейчас, не больше, и все очень разумно устроила бы. В этом доме организовала бы мастерские для художников, а в соседних домах квартиры для военных, которые без жилья мучаются. У меня есть прекрасный план, я все продумала, до мелочей, и знаю, как это сделать по принципу самокупаемости. И ни копейки у государства не попросила бы. Обошлась бы своими силами. Я и у военкома была, и у всех штатских начальников. Все меня очень уважительно выслушали, согласились со мной во всем, но помочь не смогли. А ведь на самом деле выселяют нас не люди, а те самые враги, которые всюду меня подстерегают. Даже не враги, а Враг! Вы понимаете, о ком я говорю?

* * *

— Это не случайно, что из—за своей ноги я вот уже три года подряд не могу пойти на Крещенское повечерие, на котором мы с мамой всегда бывали. Но я же в это время рисую! А от моего рисования Врагу рода человеческого ух как тошно! Вы думаете, почему я сейчас по стенке хожу, на ногах не держусь? Это его стараниями! Он всегда делал все, чтобы мне помешать, а я все равно рисовала, как бы мне ни было трудно!

Один раз я все—все приготовила — холст, краску в банке развела, уже кисть в руку взяла и вдруг локтем задела гипсовую голову, тяжеленную, пудовую. И эта голова упала мне на ногу. Как она ее не расплющила — непонятно. Я обе свои ноженьки одинаково люблю, ладоньки мои, обе жалею,

но вот этой всегда больше достается. И пока я ее обихаживала, ноженьку мою, пока все устраивала, прошло часа полтора. То есть эти полтора часа Он у меня отнял. Всегда что-нибудь да подстроит, то одно, то другое. Чаше всего я краску опрокидываю. А бывает, что она у меня последняя. Вы и представить себе не можете, как мне от Него достается. Но это только укрепляет мою уверенность в том, что я должна рисовать! Несмотря на все Его старания!

А сегодня Враг рода человеческого мне особенно мешал, ведь сегодня Богоявление. Я дождалась двенадцати часов и пела, а до и после двенадцати рисовала! Богоявление особый праздник — в этот день Господь является в трех лицах. Мама говорила, что Богоявленская вода даже сильнее Крещенской. И я так думаю, хотя может быть эта мысль и еретическая. Один батюшка в своей проповеди нам с мамой подробно объяснил, почему Богоявление еще важнее Крещения, но только я забыла почему. Нет-нет, сегодня мусор выносить нельзя, хоть у меня его целая гора накопилась. Я же вам говорю, сегодня Богоявление, и с грязью возиться нельзя, грех.

Сегодня самое лучшее время для гадания. Сама-то я никогда не гадала. С одной стороны потому, что православным этого делать никак нельзя, батюшки запрещают, а мама с бабушкой и крестная были самые настоящие православные, а с другой стороны из-за Николая Андреевича, самого настоящего коммуниста, который не знаю что с нами сделал бы, если бы мы стали гадать.

После сегодняшней ночи у меня особенное состояние, совершенно необыкновенное, и поэтому я несколько не переживаю из-за этой неприятности с плиткой. Я случайно задела за шнур, а она упала и почти перестала греть. Хотя теперь, зимой, она конечно нужна. Я ведь ее из самого Тамбова везла, милую мою. Я знаю, это Враг отомстил мне за то, что я, несмотря на все его происки, всю ночь рисовала. Можно было бы в монастыре попросить, чтобы починили, но это долгий путь, потому что на все нужно благословения испрашивать. Один раз я попросила, так за меня и сестрам пришлось ходатайствовать, и мамушке, и бабушке, много времени прошло, пока починили. Ну что ж, ничего страшного, просто придется изменить образ жизни. Можно и без плитки обойтись, если будет хлеб.

* * *

— Я благодарна Господу за то, что родилась в Новочеркасске, в 21-м году, от такой мамы, как у меня, от такой бабушки, от такой крестной, за то, что у меня такой отчим и такой отец. Лучшего времени и места нельзя было и придумать. Я ежеминутно благодарю за это Господа. Но ведь я и не подозревала, как сложится моя жизнь. Ведь в детстве я была центром огромной семьи, потому что все мамины родственники около Николая Андреевича крутились, карьеры свои делали, и очень удачно. Мне никому не приходилось завидо-

вать, потому что у Николая Андреевича я была единственная дочь, он меня очень любил и у меня было все. Я была самая настоящая элита. Этого и вообразить нельзя было, в каком я окажусь положении.

Но я думаю: у Господа хозяйство большое, ведь эта Земля со всеми ее жителями с их собственным разумом и свободной волей всего лишь крошечная крошечка в огромном, бесконечном мире. О котором мы совсем ничего не знаем. И самым умным человеком всех времен и народов я считаю Сократа, который говорил, что чем больше человек знает, тем яснее он понимает, что не знает ничего.

И все же каждый человек для чего-то Господу да нужен. Если я живу так, как я живу, значит и это для чего-то нужно. Значит я должна что-то сделать. Или моя жизнь должна стать для кого-то уроком, должна показать кому-то, что так тоже бывает. Ведь каждому человеку Господь дает свой талант, который он должен вернуть ему с прикупом. Все дело в прикупе! Именно в прикупе!

Я точно знаю, что Господь проклял коммунистов. Я с 39-го года пою псалмы, все подряд, особенно не задумываясь. Но когда началась перестройка, меня вдруг осенило, и я поняла, что в сто восьмом псалме говорится про моего папу, Николая Андреевича, про всю нашу семью и лично про меня: «Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде».

Так точно и случилось, я осталась совершенно одна, дом мой разрушен, вернуться туда я не смогу никогда. Все точно так, как сказано в Псалме.

* * *

— Я вам рассказывала про случай с Николаем Чудотворцем? Ну как же, сейчас расскажу...

Мы с мамой всегда ходили в Храм Николы Угодника. Там староста был замечательный, Никанор Митрофанович, упокой Господи его душу. Он мог бы и священником стать, если б захотел, очень даже просто, но пожелал остаться старостой. В Храме его очень уважали.

Один раз служба уже закончилась, но люди еще не разошлись, общались друг с другом, к иконам прикладывались. И мы с мамой тоже. И в это время вошли молодые супруги. Мы с мамой сразу догадались, что это муж с женой. Во-первых, по тому, как они в Храм вошли, с какими серьезными лицами, а во-вторых, по тому, как они уважительно себя друг с другом держали. Нам с мамой сразу стало ясно, кем они друг другу приходятся.

Эти молодые супруги сразу же подошли к Никанору Митрофановичу и стали ему что-то рассказывать. А после этого купили десять самых дорогих свечей и поставили их Николаю-угоднику. Все десять! Самых дорогих! И ушли! А мама подошла к Никанору Митрофановичу (а Никанор Митрофано-

вич очень уважал маму, как и все в этом Храме), и мы узнали, в чем дело.

Оказывается, накануне эти молодые супруги отправились покататься на лыжах (а было как раз воскресенье) в какое-то хорошо известное им место. По накатанной лыжне углубились в лес, вдоволь накатались, устали и присели под кустом перекусить бутербродами, или что там у них с собой было. Перекусили и решили еще покататься. А рюкзак оставили под кустом. Тем временем стало смеркаться, надо было торопиться на электричку, и они вернулись за своими вещами. Смотрят — все вещи на месте, а партбилета нет! Туда-сюда, нет партбилета! Вы представляете, что это такое — партбилет потерять? Это же представить себе немислимо! А уже темнеет... Делать нечего, отправились в обратный путь.

Возвращаются они по той же самой лыжне грустные-прегрустные, а навстречу им старичок. Остановился и спрашивает: — Ну как, покатались? А почему такие грустные? — А они ему: — Да вот, дедушка, так и так, несчастье у нас, партбилет потеряли. — А старичок и говорит: — Да не потеряли вы его, он под кустиком тем лежит. — Да мы там все осмотрели, все перекопали, нету его там! — А вы вернитесь да еще раз посмотрите. Там он и лежит, под тем самым кустиком.

И что же, вернулись к тому кусту, смотрят: так и есть — лежит себе на снежку как ни в чем не бывало. Обрадовались, приехали домой, все матери рассказали. А мать им говорит: — Так это же сам Николай-чудотворец был, вы что же, не поняли? — Вот они и пришли на следующий день в Храм, Николаю-угоднику свечи поставить. Все потом удивлялись — подумайте, десять самых дорогих свечей, и все Николаю-чудотворцу! А Никанор Митрофанович всем прихожанам эту историю пересказывал.

* * *

— Я вам говорила, что мне даже нищие подают? И я беру, и не вижу в этом ничего зазорного. Потому что дающий нищему, дает самому Господу нашему Иисусу Христу. И для дающего это даже важнее, чем для того, кому подают.

Один раз я шла по площади трех вокзалов и меня обогнала женщина — страшная, худющая, предельно истощенная, предельно! Волосы такие... серые... клоками... какие бывают только у предельно, предельно несчастных людей. Прошла мимо меня, обернулась, посмотрела внимательно и подала рубль. А сама предельно несчастная, предельно! Но ей нужно было мне подать, ей это было необходимо. И я ее прекрасно понимаю.

А в другой раз в День военно-морского флота я пришла в Парк Культуры имени Горького. Хотела на морячков посмотреть и каши гречневой из их котла попробовать, но опоздала, все уже расхватили. Я об этом ничуть не пожалела и пошла просто так прогуляться по аллее. Иду себе, гуляю, а навстречу три морячка в тельняшках, а с ними девушка. Высокая, приятной наружности, пышная, все при ней. Морячки мимо прошли, а девушка остано-

вилась и дала мне что-то, кажется тоже рубль. А ведь сама-то она какая несчастная! Вы подумайте, что может быть ужаснее, чем девушка, которая всем доступна. А она как раз такая и была, я сразу догадалась.

Но чаще всех я вспоминаю одну старушку-нищую, старенькую-престаренькую, лет девяноста, которая подала мне копеечку. Ведь это как надо довериться человеку, чтобы копеечку ему подать! Это очень непросто — подать копеечку! А мне эта старушка доверилась, и не ошиблась. Я эту старушку всю жизнь, до самой смерти буду вспоминать, Спаси ее Господи.

Из письма ...А вот вам новый сюжет. Неделю назад с обычным продуктовым набором (геркулес грубого помола, лук, чеснок, постное масло нерафинированное, непременно с запахом, хлеб с отрубями), прихожу я в мастерскую. Конечно же, по пути к Юлии Николаевне каждый раз посещает меня мысль о том, в каком виде я ее застаю и застану ли вообще. Но в этот раз отвлеклась на что-то другое.

Итак, отпираю подъезд, вхожу и вижу, что дверь Юлии Николаевны запечатана бумажной полоской с печатью. Не скажу, что сердце мое обрывается (подспудно я к подобной ситуации готова), но чувствую себя ошарашенной и думаю: — Вот и все! Все закончилось!

Поднимаюсь к верхней соседке, звоню, спрашиваю: — Ангелина Федоровна! Что с Юлией Николаевной? — А ничего, — отвечает Ангелина Федоровна — с ней все в порядке. — Но где она, куда ее дели? — Да никуда не дели, она там, у себя. — А как же печать? Дверь-то опечатана! — Ну и что? Просто пришли и запечатали, потому что на стук она не отзывалась. — И давно опечатали? — Да с неделю... Вот, несколько дней уже дозваниваюсь в мэрию, хочу спросить, по какому праву живого человека опечатали? На вашем месте я бы пошла в дирекцию и устроила там скандал. Я бы и сама пошла, но у меня рука в гипсе.

Естественно, почувствовав облегчение, я рванулась сорвать печать, о чем и сообщила соседке. Однако соседка, неторопливо закурив сигарету, многозначительно покачала головой: — Ну не знаю, не знаю, конечно, это ваше дело, поступайте как знаете, но все-таки печать... — Абсурдный аргумент сработал, я призадумалась. И правда, все-таки печать...

Окликнув Юлию Николаевну и убедившись, что она жива, не голодна и даже, кажется, бодрa, попросила ее подождать, и прежде чем отправиться для выяснения странной ситуации в ДЭЗ, позвонила мужу посоветоваться. Муж оценил ситуацию здраво и сказал, что если пойти в ДЭЗ, то можно навлечь на голову Юлии Николаевны пожарную или эпидемиологическую инспекцию. А стоит только проверяльщикам увидеть мастерскую Юлии Николаевны, как ее тут же вышвырнут из мастерской, а помещение отберут у художественного фонда. А выселение куда бы то ни было для Юлии Николаевны равнозначно гибели.

На самом-то деле меня поражает фатализм соседей. Дом, выстроенный еще в XIX веке, давным-давно обветшал, перекрытия деревянные, трухлявые. Готовит

Юлия Николаевна на электрической плитке с открытой спиралью. Плитка стоит на табуретке и то и дело падает. Захламленное (мягко говоря) ее жилище — самая настоящая пороховая бочка. Я уж не говорю о полчищах крыс и о запахах (особенно летом). Честное слово, не знаю, как повела бы себя я на месте соседей. Хотя бы верхних, живущих над Юлией Николаевной — милиционера Федора с женой и двумя дочками. Судя по всему, сами соседи (совестливые люди) не хотят брать грех на душу, но не прочь, чтобы кто-то из нас (то есть из Союза Художников) заварил эту кашу.

Короче говоря, преодолев рефлекторный испуг перед печатью, я к Юлии Николаевне вошла. А полоска бумаги с магической меткой так и осталась болтаться на косяке двери и болтается вот уже вторую неделю. На мой вопрос, знает ли она, что вот уж неделю как опечатана, Юлия Николаевна бодро ответила, что не знает, но догадывается в чем дело. По ее мнению виновата ценная библиотечная книжка, взятая несколько лет назад в библиотеке Крутицкого подворья и до сих пор не возвращенная. Прежняя библиотекарша это терпела, а новый библиотекарь (навверняка мужчина) рассердился и в отместку за невозвращенную книгу опечатал дверь.

Книжка же лежит в ее квартире, в закрытой на щепку девятиметровой комнате, в том самом старинном буфете «под красное дерево», в котором хранятся «криминальные» дневники Юлии Николаевны. В буфете, давно уже обещанном женщине-профессору, пекущейся о музее Афанасия Фета и когда-то подарившей Юлии Николаевне пятьдесят рублей (по тем временам громадные деньги). Драгоценная книга завернута в бумагу, а сверху еще и в чистую холщовую тряпицу.

Юлия Николаевна поручила мне связаться с соседями, родственниками того «молодого нового русского», который тоже рассчитывал на старинный буфет и предусмотрительно заказал оконный карниз в том же стиле, но года четыре назад вроде бы погиб в автомобильной катастрофе. По плану Юлии Николаевны я должна проникнуть в квартиру, найти книжку и сдать ее в библиотеку Крутицкого подворья. Однако от этого поручения я намерена уклониться, потому что соседи вряд ли впустят меня в комнату Юлии Николаевны. Маловероятно также, что буфет «под красное дерево» все еще существует. Сомнительна и сама квартира, ведь Юлия Николаевна не появлялась в ней года четыре, а не платила за нее целую бездну лет. По нынешним правилам достаточно не платить за квартиру всего полгода для того, чтобы человека выписали с его жилплощади. Вполне возможно, что именно это с Юлией Николаевой и произошло.

Хотя Юлия Николаевна вроде бы и не ведала, что мастерская ее опечатана, тем не менее снарядилась по-дорожному: теплый платок, шаль, переметная сума с документами, всеми — вплоть до древних расчетных книжек за телефон и электричество. Надо думать, об акции дирекции Юлия Николаевна все же знала, ждала выселения и даже по мере сил к нему подготовилась. Как разрешится эта ситуация — неясно. Но если она почует, что за ее спиной я проявляю какую бы то ни было инициативу, то заподозрит католические происки и откажет мне от дома. Одним словом, продолжение следует...

— Здесь некоторые считают меня чуть ли не святой, чуть ли не Преподобным Серафимом. Вот именно, вы правильно сказали, «держат за Серафима Саровского». Одна тут пришла, бухнулась на колени и давай край моего платья целовать. Я ее подняла и объяснила, что никакая я не святая, а самый обыкновенный человек. И от остальных отличаюсь только тем, что грешна больше других.

Так она через несколько дней снова явилась. Постучалась и говорит: — Я вам деньги принесла. — А я не открыла и говорю из-за двери: — Мне кажется, мы договорились, что приходить ко мне вы не будете. А то, что принесли, отдайте в монастырь. — А она: — Я вам и овощи принесла. — А я ей: — Вот и замечательно, отнесите все в монастырь, а мне от вас ничего не нужно.

Мне ни к чему, чтобы меня считали святой в то время как я самая настоящая грешница. Меня гораздо больше устраивает, чтобы меня, как вы говорите, держали за художника, а не за святую.

* * *

— Дело в том, что в Прощеное воскресенье я не могла в Храм пойти. Из-за ног. И сказала об этом сестре, которую матушка благословила ко мне заходить. Так батюшка сам пришел, все тут освятил, исповедал меня, причастил. Ему все понравилось, он сказал, что у меня хорошо. Но теперь возникло другое затруднение, тоже очень серьезное. Даже не знаю, как его разрешить. Похоже, что в этот раз я не смогу проголосовать. Это со мной случается впервые. В прошлый раз, когда я вышла из дома, какой-то мужчина на машине предложил меня подвезти в избирательный участок, и я с благодарностью его предложение приняла. Но второй раз такое чудо повториться не может.

А если Господь этого захочет и я все-таки смогу дойти до избирательного участка, то даже не знаю, за кого и голосовать. Наверное, за Элли Памфилову, мне кажется, что при ней установится настоящая демократия. А может быть за того, пожилого, с нерусской фамилией. Да-да, за Амана Тулеева. Мне кажется, он добрый человек. И Подберезкин умнейший человек! И Зюганов! Они все очень нужны, все на своем месте, и я не одобряю Жириновского, который решил снять свою кандидатуру. С другой стороны, как я пойду на выборы в таком виде? Посмотрите, как я теперь выгляжу. Я боюсь, если они меня увидят, всей избирательной комиссии плохо станет.

* * *

— Я хочу рассказать вам историю про судака, которого вы мне в прошлый раз принесли. Сядьте, эту историю нужно слушать сидя. Ваш судак оказался замечательный, настоящий красавец! Я так им восхищалась, пока чистила,

что он у меня уже как бы в желудке очутился. Вычистила, нарезала крупными кусками и собралась жарить... Но не тут-то было! Оказалось, что у обеих моих плиток крысы провода перегрызли. И тогда я решила пойти на второй этаж, к соседям. Положила судака в бидон, взяла свою клюку и отправилась. Шла долго, наверное целый час. Цепляла клюкой за перила, подтягивалась и взбиралась на ступеньку. Самое сложное было — поворот. Но я и с поворотом справилась. Взобралась на второй этаж, позвонила. Дверь Леночка открыла. Я ей говорю: так и так. И Леночка очень приветливо отвечает: — Я все сделаю, не беспокойтесь! — Потом я тем же путем спустилась (спускаться легче было) и стала ждать.

Через некоторое время стук в дверь. Открываю, а там целая делегация. Первой идет Ангелина Федоровна. В руках у нее такой белый пластиковый подносик, на подносике салфетка, на салфетке один помидорчик и штук десять прекрасных клубничин. Сервировано, как в лучшем ресторане. В «Праге» например. За Ангелиной Федоровной Леночка с мисочками, а в мисочках куски моего судака. Поджарено так, как невозможно в обыкновенной плите поджарить. Наверное, у них микроволновка. Все куски золотистые, со всех сторон подрумянены совершенно одинаково, прожарились на всю глубину, я бы так никогда не смогла, да и никто не смог бы.

И Ангелина Федоровна мне говорит: — Юлия Николаевна, вы на меня не обижаетесь? — А я ей отвечаю: — Что вы, Ангелина Федоровна! Разве вы виноваты, что этот ваш Путин с самим Папой Римским встречается? А в понедельник главный их бес приезжает, этот, как его... Клинтон. — А меня отсюда выселяют, потому что перед Клинтоном во что бы то ни стало хотят выслужиться. Я прекрасно понимаю, чего они добиваются! Не знаете? А вот чего: выдворить меня из Советского Союза! Но это им не удастся, пусть не стараются. Даже если я этого их Клинтона на голом асфальте под дождем встречу.

А я их не боюсь, всех этих униатов, вместе с их любимым Клинтоном и Папой Римским. Свой путь я сама выбрала. Не они мне его навязали, а я сама выбрала и иду им. Хотя мне ох как тяжело! Я и не думала, что так будет. Но Спаситель еще не то терпел, а потом его и вовсе распяли...

Если меня матушка в богадельню возьмет (не в монастырь! в монастырь я не пойду! только в богадельню!), то когда вы ко мне туда придете, принесите что-нибудь мелкое, чтобы всем хватило. Лучше всего пастилу, ее можно на много маленьких кусочков поделить. А еще стержни для рисования и бумагу. Только сначала благословения у матушки испросите, без этого в монастыре нельзя.

* * *

— Вот видите, Господь меня не оставляет. Вчера одна женщина приходила, с которой я несколько лет назад в монастыре познакомилась. Всем известная Мария Ильинична, та, которая заграничными поездками командует, подо-

шла ко мне и говорит: — Вам хотят помочь две женщины. — Одной, той, которая тут командовать начала (окна хотела открыть и всякое прочее), я отказала, а другая, Карина, два года не заходила, а вчера вдруг пришла. Она при одном Храме состоит, недавно восстановленном, и пришла потому, что они левый придел уже расписали, а теперь центральный неф подготовили. И батюшка их захотел мои работы посмотреть. Выяснить, гожусь ли я им. Но когда эта Карина увидела, в каком я теперь виде, она сказала: — Наверное, вы уже не сможете работать. — А я ей отвечаю: — Как бы не так! Как раз наоборот! Еще как смогу! Вот сейчас—то как раз и могу, как никогда прежде не могла! Я сейчас такая яростная, что мне только стены и не хватает! А на то, как я выгляжу, внимания не обращайтесь. То, что сейчас перед вами — это только видимость.

Мы с Кариной чайку попили, поговорили, она взяла кое-что из рисунков батюшке своему показать и часов в десять ушла. А сегодня вы пришли. Только я подумала: вот если бы пришел сейчас кто-нибудь всемогущий, какой-нибудь волшебник, Путин, например, и сказал бы: — Юлия Николаевна, загадайте любое желание, но только одно-единственное! — И я, не задумываясь ни на минуту, ответила бы: — Мне нужен картон два двадцать на три (для эскиза росписи центрального нефа) и еда на неделю. Чтобы я могла рисовать и ни о чем постороннем не думать. — Тут я, конечно, начала фантазировать, какой именно еды мне бы хотелось. И напридумывала целое меню. Как раз то, что вы мне принесли. Про рыбу я тоже подумала, но Путину говорить не стала. Без рыбы я вполне могу обойтись, это уже роскошь. А вы мне и рыбу принесли! Да еще царскую. Форель — царская рыба. Я это знаю потому, что в Баку мы с папой и мамой жили именно что по-царски. Да и в Москве тоже, пока папу не арестовали.

Вот видите, не оставляет меня Господь! А помощь посылает через людей. Так что мне остается только прислушиваться к тому, что мне предлагают, и отказываться от того что мне не годится.

А хотите завтра на именины попасть? К самому Илье Сергеевичу? Я вам такую картинку дам, с которой Вас любая охрана беспрепятственно пропустит. У самого Глазунова на именинах побываете...

* * *

— У меня достаточно юмора и иронии по отношению к самой себе и я вполне могу представить себя странником. Когда-то, еще в советское время, у меня был такой план на случай, если бы соседи выгнали меня из дома. Я бы продала все ценное, что еще оставалось, и купила бы трехколесный велосипед. Приделала бы к нему такой ящик, как у мороженщиков, положила бы туда смену белья и первым делом поехала бы в Моссовет. Попросила бы там, чтобы мне сделали вкладыш в паспорт, на котором было бы написано: *Податель сего — странник. И ничего странного в этом нет. НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ*

предоставлять страннику ночлег и работу по силам. Я была просто в восторге от своих способностей, от того, какое удачное слово подобрала — НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ. Это слово совершенно точно обозначает то, что я имела в виду. НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ — а там пускай каждый сам для себя решает и делает, как захочет.

Так вот, на этом велосипеде с ящиком, в точности как у мороженщика, я бы отправилась по русским деревням и станицам искать работу. А работаю я прекрасно, на огороде могу делать все что угодно. Когда я у отца Николая жила целое лето, я их запущенный огород преобразила. У меня была большая грядка с укропом, так я ее пропалывала каждый день. Еще тогда, когда ростки были по одному миллиметру, я отличала сорняки от укропа и выдергивала их с корешками. Так что когда укроп вырос ни единого сорняка в его рядах не было.

* * *

— Я прекрасно понимаю, что никакой я не живописец, никогда живописцем не была и ничего в живописи не понимаю. Я скульптор. Но и как скульптор тоже не очень. Это про меня Алла Пугачева поет: «Мудрых преподавателей слушал я невнимательно, все что ни задавали мне, делал я кое-как». Я, когда эту песню слушаю, всегда смеюсь. Во мне много веселья и при любом удобном случае я стараюсь его выплескивать. Если в человеке есть веселье, он обязательно должен его выплескивать и делиться им с окружающими. Я и одна, сама с собой, всегда смеюсь, если мне смешно.

А в институте у меня по рисунку было три нуля. Зато по композиции одни пятерки! Екатерина Федоровна даже посылала других студентов учиться у меня композиции. Я прекрасно понимаю, что никакой живописной ценности у того, что я делаю, нет. Да я к этому и не стремлюсь. То, чем я занимаюсь, это вообще не живопись. Это что-то другое. Я и сама не знаю, что именно. Может быть даже богословие... Мне важно передать то, до чего додумалась только я, и чего раньше не было. Поэтому—то мои иконы и не канонические. А по канону мне писать неинтересно, я ведь не иконописец и делать этого не обязана. Хотя больше всего на свете боюсь впасть в ересь. А все эти католики, лютеране, баптисты, иеговисты и прочие сектанты прекрасно это чувствуют и хотят перетянуть меня к себе. И выдворить из СССР. Устроили на меня самую настоящую охоту.

Я прекрасно понимаю, что любой ребенок чувствует цвет лучше меня, а о такой технике, как у Саши Соколова мне и мечтать нечего. Вот он настоящий иконописец, он даже для Иверской икону написал. Хотя и у меня есть две настоящих иконы. Одна, Вознесение, сейчас не в Москве, но я точно знаю, что там, где она находится, рано или поздно она свое дело сделает. Один художник, член выставкома, на который я ее носила (представляете, до чего я додумалась со своей придурковатостью — икону понесла на вы-

ставком!), художник этот, высокий такой, худой, рыжий, хотел у меня эту икону взять, а взамен предлагал свой пейзаж. А на кой ляд мне его пейзаж? Даже если и Левитана? Или этого, как его... Саврасова?

* * *

— О том, ЧТО со мною будет, и ГДЕ я буду, я совершенно не беспокоюсь. Господь устроил так, что я совершенно одна, и каждый день я Его за это благодарю. Он дал мне эту мастерскую. Не просто так, а по моей просьбе. Я только недавно поняла, что именно о ней и просила Господа. Еще когда жила по-царски с мамой и папой в отдельной квартире. С нами тогда жила моя двоюродная сестра Таня. Она около моего папы делала карьеру. По линии НКВД. Как и все остальные мамини родственники. И Таня, которая была на пять лет старше, всегда мне страшно завидовала. Она так страшно завидовала, что я молилась и говорила Господу, что готова жить даже в подвале, только бы она перестала завидовать. И вот вам пожалуйста! Как я просила, так и вышло. Двадцать пять лет я в этой мастерской! А что это такое, если не подвал?

Таня и маме моей завидовала ужасно. Когда был жив папа, мама одевалась совершенно исключительно, с безупречным вкусом. Маму одевала одна портниха, которая мечтала через папу познакомиться с артистом, который играл Сталина. А через этого артиста и с самим Сталиным. Чтобы обшивать его баб. А шила она замечательно, с безупречным вкусом! И Таня страшно завидовала, и старалась во всем маме подражать, до самой маленькой мелочи.

Потом папу арестовали и в 39-м году расстреляли, а Таня осталась жить в нашей квартире в папином кабинете. Сама я Таню никогда и нисколько не боялась, а мама очень боялась. Таня это чувствовала, и для того, чтобы мы не забывались, нарочно оставляла на кухонном столе свое удостоверение сотрудника НКВД. Я постоянно читаю за нее Покаянный канон. Ей это очень нужно, потому что когда она была жива, то делала ужасные вещи, совершенно ужасные. А я у этой маминой портнихи, Елизаветы Александровны, спаси Господи ее душу (ее, наверное, уже нет, ей и тогда было лет шестьдесят или даже семьдесят), научилась шить. И даже сшила на заказ два платья. Я сделала все точно так, как Елизавета Александровна, и одна заказчица за безупречное исполнение повысила мне плату.

Конечно, я никогда не думала, что окажусь в таком положении, в котором оказалась сейчас. Ведь до чего дошло — я уже целую неделю не рисую! Не могу рисовать! Такого и вообразить нельзя было. Но я благодарна Господу за то, что Он меня ТАК испытывает. Такое не каждому дается! О таком испытании можно только мечтать. И я благодарна Ему за это и верю, что он определит, как мне жить дальше. И где. И прекрасно понимаю, что моя теперешняя жизнь, как бы тяжела она ни была, ничто по сравнению с тем, что

происходит в стране. Я каждый день молюсь Господу о том, чтобы мы наконец перестали быть придурками. Потому что сейчас мы самые настоящие придурки!

* * *

— Вы знаете, я подумала—подумала и поняла, что на самом деле все эти зверства, которые сейчас со мной происходят, не католики учиняют, а Зураб! Квартиру мою от меня заперли, туда мне путь закрыт. В монастырь матушка отказалась меня брать. Нигде мне нет места. За всем этим стоит ЮНЕСКО, а действуют они через Зураба. Я чувствую, что сейчас вокруг моего имени такое происходит, даже представить страшно! Что именно — я не знаю, но могу догадаться, дофантазировать. А все из-за того письма, которое я на самый верх написала про этого кузнечика в снастях. И еще написала о том, что нечего Москву переделывать и фарватер у реки менять. Нужно просто выстроить другую Москву. И сделать это в точке пересечения трех великих держав — Украины, Белоруссии и России. Конечно, это трудно, но мы ведь не беднее Бразилии.

Про Оскара Нимейера, который город Бразилиа построил, я прочла все, что можно было прочесть. Про других архитекторов я прочесть не успела, а про Нимейера прочла и преклоняюсь перед ним. Он самый настоящий гений! Так что же: они могли выстроить город, а мы нет? И мы должны поступить так же. Вот этого—то Зураб мне и не может простить. А в том письме, которое я на самый верх послала, я такой эпитафия поставила, почти как у пушкинского «Памятника», только у Пушкина на латыни, а я по—русски написала: «Я памятник воздвиг. Себе!» И за это—то они и хотят выдворить меня из СССР. Хорошо работают! Ой, Зураб, Зураб...

Из писем ...Наконец терпение соседей иссякло, и они развернули бурную деятельность по выселению Юлии Николаевны. Выяснилось, что сосед по квартире, в которой Юлия Николаевна прописана, категорически отказывается впустить ее обратно. Что путь в монастырь ей тоже закрыт. Поразмыслив несколько дней и посоветовавшись с бабушками, матушка отказала ходатаю от Союза Художников. Хорошо зная Юлию Николаевну, она представляет себе всю сложность ее негибаемого характера, ее ершистость и неуступчивость. Случались уже неприятности со старушками, которые, оказавшись в монастырской богадельне и столкнувшись со строгим монастырским уставом, захотели обратно, на волю, в мир. Поэтому теперь в богадельню предпочитают брать тех, кто бездвиген и лишен речи. За такими старушками монахини ухаживают замечательно, лечат их и содержат в идеальной чистоте. Но Юлия Николаевна — другой случай...

За свою квартиру Юлия Николаевна не платила лет двадцать, и комнаты ее не приватизированы. Несколько лет она даже не переступала ее порога. Таким образом, вариант обмена комнат на возможность жить в приличном пансионате

исключается. Пенсия у Юлии Николаевны не оформлена, и на учете в Собесе она не состоит. Не числится она, как дочь репрессированного, и в обществе Мемориал. То есть нет ни одной формальной зацепки, которая дала бы возможность определить ее хоть куда-нибудь.

Отцовская квартира сыграла в жизни Юлии Николаевны коварную роль. Годами жила она настороже, шарахалась от всякого, если ей мерещилось, что этот кто-то посягает на ее комнаты. А посягали многие: соседи разных призывов, дальние родственники из ближнего и дальнего Подмоскovie, их подраставшие дети, а также множество случайных и неслучайных знакомых.

Все напрасно! Отказано всем! То ли еще существующие, то ли уже нет, комнаты эти неприкосновенны. Был шанс у одного бизнесмена, некогда рекомендованного Юлии Николаевне Краснодарской епархией. В обмен на московскую жилплощадь бизнесмен посулил коттедж в пригороде Краснодара и квартиру в центре города, но что-то произошло, и он бесследно исчез. Одним словом, ситуация эта называется «собака на сене».

Тем временем Юлия Николаевна подготовилась к выселению. Все, что возможно, со стен снято. Иконы переправлены в монастырь и где-то там свалены. Стенные росписи стерты. Юлия Николаевна умудрилась — таки добиться пескоструйного аппарата, и на ее глазах бригада пескоструйщиков стерла все изображения. Исчезло все: Воскресение, Вознесение, жены-мироносицы с лицами бабушки, тетушки и Великой княгини Елизаветы Федоровны, Серафим Саровский с медведем, Марон-пустынник, Преподобный Григорий, Иоанн-Предтеча, Илия-Пророк, сонмы ангелов, архангелов, серафимов, толпы людей — свидетелей чудес, явленных Спасителем и изображенных Юлией Николаевной на стенах мастерской. За пару часов все это многоцветье превратилось в размытую радугу. Исчезли контуры и очертания, но цвет уничтожить не удалось. Он остался и по-прежнему сияет. Наполняет комнаты и светится. Сойдя со стен, цвет превратился в самостоятельную субстанцию, и извести его невозможно.

Все имущество Юлии Николаевны, состоящее из вороха пожелтевших бумаг и нескольких древних лоскутов, собрано в полусгнившие ящики. Кроме материализовавшегося цвета украшают помещение только полотнища паутины, прежде существовавшие на втором плане, а теперь ставшие главными.

Соседям более всего досаждают запах, наполняющий подъезд и лестницу. Аромат действительно сложный, шокирующий непривычного человека. Представьте себе букет, составленный из множества компонентов, в том числе из запахов гниющего старого дерева, годами сочащейся из-под пола протухшей воды, крысиного и мышиного помета. Букет этот облагораживают запахи красок и лампадного масла, и внутри мастерской этот сложный настой давно уже не кажется мне противным. Хотя в подъезде он ощущается иначе, и соседей легко понять. Удивительно другое — как долго они терпели.

После того, как со стен стерли живопись, Юлия Николаевна сдала, скрючилась в запятую, голос ее изменился — из звонкого стал глуховатым. Как ее еще дер-

жат больные ноги — непонятно. Но веселье ее пока не оставило и она то и дело его выплескивает. Сила характера и мощь стержня, на который нанизана ее жизнь, ошарашивают. Оказывается, бывает и так.

Вообразить Юлию Николаевну живущей с кем-нибудь в чьем-нибудь доме невозможно. Представления ее о правилах жизни так безапелляционны, а сама она так авторитарна, что подобное соседство может выдержать только святой. При физической немощи дух ее так силен, характер так крут, а взгляд так зорок, что, общаясь с нею, находишься в ежеминутном напряжении. Да и немощь ее особого свойства. При всей своей крохотности и кажущейся ветхости, Юлии Николаевне ничего не стоит перекантовать из одного угла мастерской в другой ее угол скульптурный станок, сваренный из цельнометаллических рельсов, весом не менее ста килограммов. Я не могу его с места сдвинуть, а Юлия Николаевна ворочает запросто. Удивительно, но за полтора-два часа сидения (стояния) в ее мастерской я устаю так, что еле доползаю до дома.

* * *

... 30 июня, в пятницу, пришла я к Юлии Николаевне и обнаружила, что замочные петли на ее двери замотаны проволокой. Поднялась к соседке, спрашиваю: — Где Юлия Николаевна? — В монастыре. — Какое счастье! Когда же ее увели? — Вчера.

Радостная, бегу в монастырь. В приподнятом настроении ломлюсь в богадельню, расспрашиваю встречных, где найти Юлию Николаевну. Никто ничего не знает, в монастыре ее нет. Наконец знакомая моя Ирина, монастырская швея, рассказывает, что накануне Юлия Николаевна приходила в Храм, побыла немного и ушла. Зная, что еще неделю назад ей требовалось минут пять для того, чтобы пройти несколько шагов до двери, в версию прихода-ухода не верю. Ирина стоит на своем, но узнав о моем намерении отправиться в милицию и заявить об исчезновении Юлии Николаевны, раскалывается и сообщает, что вчера же Юлию Николаевну переправили в странноприимный дом. Выясняется также, что сопровождать ее благословили Олю, обыкновенно торгующую хлебом в монастырской лавке.

Иду к Оле. Оказывается, что накануне вечером два дворника под руководством и при участии главного инженера ДЭЗа привезли Юлию Николаевну в монастырь и оставили, наподобие подкидыша, на скамейке под стеною Храма, где в это самое время шла служба. Думаю, замысел подкинуть старушку в Храм принадлежит соседям, и на самом деле конструктивен. Видно соседи решили, что если уж Юлия Николаевна очутится в монастырских стенах в таком беспомощном и даже плачевном состоянии, то ее непременно возьмут в богадельню... Но случилось иначе — Юлию Николаевну не оставили в монастыре, а вместо этого послушница Ольга отвезла Юлию Николаевну в странноприимный дом.

В дом этот Юлия Николаевна прибыла налегке (Оля только и успела, что сбежать за ее паспортом), поэтому попросила привезти ей Евангелие, геркулес и папку с рисунками. Я решила не тянуть резину, а взять все необходимое и отвезти

Юлии Николаевне. Не тут—то было! Вернувшись в мастерскую, из которой ушла не более часа назад, я обнаружила на двери замок и остаток вечера посвятила общению с работниками ДЭЗа, которых просила всего лишь открыть дверь и позволить мне взять вышеуказанное: Евангелие, геркулес и папку с рисунками. Главный инженер ДЭЗа, поначалу отнесшийся к просьбе с пониманием, проверил мои документы и принялся обзванивать начальство

— Бабушка какую—то евангелию просит привезти, — объяснял главный инженер Владимир Владимирович начальнику ДЭЗа Александру Александровичу. Однако, согласившись на эту акцию так и не получив, решение вопроса перенес на понедельник. Из кабинета главного инженера я позвонила Юлии Николаевне. — Юлия Николаевна, вам очень плохо? — спросила я. — Мне хорошо! Это удивительно, но мне прекрасно! — с пафосом ответила Юлия Николаевна. — Господь определил, где мне быть!

* * *

...В назначенный инженером понедельник я вошла в мастерскую Юлии Николаевны и обнаружила, что все помещение залито жижей гнусоватого розового цвета антикрысиного назначения. Отрава успела загустеть и превратиться в желе. Под этой—то неаппетитной, опасной для жизни людей и животных субстанцией и погребено все художественное наследие Юлии Николаевны (та его часть, которую она не уничтожила сама).

Подавленная неутешительным посещением мастерской направилась я в странноприимный дом. Он представляет собой малогабаритную однокомнатную квартиру на первом этаже девятиэтажного дома, принадлежащую монахине в миру. Эта женщина лет семидесяти, принявшая иночество в девятнадцать, поселила у себя двадцать бездомных человек. Мужчины и женщины, все вместе, спят на сложносочиненных нарах, представляющих собой многоуровневое мягкое лежбище. Девять человек — в кухне, остальные — в комнате. Юлия Николаевна поселилась в кресле, расположенном в прихожей размером не более трех квадратных метров, напротив совмещенного санузла. В кресле она и спит. Впрочем, это для нее не ново. Оказываясь, живя в мастерской, она годами спала сидя. Причем не в кресле, а на табуретке. Я думала, что постелью ей служит ворох слежавшихся бумаг в дальней комнате, но спросить, на чем она спит, так и не решилась. Юлия Николаевна не терпит расспросов, любопытствующих подозревает в связях с ЮНЕСКО, с Зурабом Церетели, с Папой Римским. Таким людям Юлия Николаевна даже дверь не открывает.

Сидя в кресле в маленькой квадратной прихожей, выглядит Юлия Николаевна нарядно благодаря кофточке в цветочек и сарафану, которыми принудительно заменили черную ее хламиду. Вымытые волосы оказались еще роскошнее, чем можно было предположить. Глаза тоже. А вот с ногами плохо — они гноятся и маловероятно, что их удастся подлечить в таких условиях.

Как бы ужасно ни было положение Юлии Николаевны, остальным жителям странноприимного дома еще хуже. На единственной кровати в алькове живет парализованный старик. Прежде он работал электриком в местном ЖЭКе, но потом

заболел и сестра Елена взяла его к себе. И для того, чтобы прописать старика, оформила с ним фиктивный брак. Здесь же обитает его мать (фиктивная свекровь сестры Елены), выглядящая значительно моложе сына. У нее еще восемь детей, все москвичи, но живет она здесь. Есть тут теряющий зрение восемнадцатилетний мальчик и слепнущая журналистка. Живут супруги—врачи, попавшие в автокатастрофу и одновременно потерявшие жилье. На полу в состоянии глубочайшей депрессии лежит девочка лет двадцати, у нее случаются приступы амнезии. Повыше, на уровне высокого стола (или серванта) обитает сорокапятилетняя Люся с милым интеллигентным лицом. Тех же, кто клубился за закрытой дверью кухни, я не разглядела..

Вместе с этими обездоленными людьми живут у сестры Елены три бандита. Двоих, мужа и жену, я видела. Это крепкие сорокалетние люди с волчьими физиономиями. Поселились они здесь самовольно, потому что соседи по лестничной площадке забили снаружи дверь квартиры и запретили ее жителям пользоваться подъездом. Целых полгода пришлось входить в квартиру через окно. Бандиты про это прознали, влезли в окно и теперь их не выгонишь. Сестра Елена мечтает о силачах—защитниках, но таких нет. Она обращалась за помощью даже к главе «Черной сотни», но и у черной сотни кишка оказалась тонка. Бандиты всех запугали и взяли ситуацию под контроль. Более того, с плакатом «Подайте на странноприимный дом» они стоят у церкви и собирают подаяние.

В последнее время гонения соседей поутихли благодаря выданной Комитетом по правам человека бумаге. Сестра Елена с гордостью повторяет, что теперь они обрели легитимность. Единственный постоянный доход странноприимного дома — пенсия самой матушки. Все остальное — случайное, эпизодическое. Возникали на горизонте журналисты, приезжали телевизионщики. Все сняли, обо всем спросили, кто—то что—то показал по какой—то программе. После передачи люди приносили еду, одежду, но недолго. Как обычно вскоре все рассосалось.

* * *

...Выйдя из странноприимного дома, я оповестила об увиденном друзей. Друзья отреагировали адекватно и ринулись собирать «гуманитарную помощь». А через пару дней после первого моего посещения состоялся телефонный разговор с сестрой Еленой, которая, во—первых, пожаловалась на Юлию Николаевну, а во—вторых, продиктовала длинный список лекарств, необходимых ее питомцам.

Юлия Николаевна, по ее словам, капризничает и всем мешает. Она даже сравнила Юлию Николаевну с каким—то дедом Кутеповым, самым противным за все времена ее постояльцем. Дед Кутепов был злобный ругатель, переходил из одних рук в другие, нигде не задерживался, и по сведениям матушки его выдворили даже из Афонского подворья. Сестра Елена считает, что именно он сократил жизнь ее подруги, сестры Нины, вместе с которой и жила Елена с тех пор, как их изгнали из монастыря. Короче говоря, сестре Елене Юлия Николаевна ужасно не нравится, она сердится на нее и говорит: — Юля, как вы могли не оформить себе пенсию? И какое

вы имели право лишиться квартиры, оставленной вам родителями? — И правда, свою квартиру, оставленную сестре Елене ее родителями она использовала с большей пользой, чем наша Юлия Николаевна.

Утром того дня, когда лекарства, купленные на средства друзей, вместе с пуховыми одеялами, пожертвованными моей троюродной сестрой, и прочим съедобным и несъедобным гуманитарным скарбом мы с подружкой должны были отвезти в странноприимный дом, раздался телефонный звонок. Звонила Люся, та самая славная женщина из компании сестры Елены. Люся предложила встретиться в городе и поговорить.

При встрече Люся объяснила, что еду привозить не нужно, потому что «благотетелей хватает», все забито крупами, что одежды тоже в избытке. У парализованного дедушки под кроватью хранится, к примеру, тридцать две пары тренировочных штанов.

Оказалось, что на самом деле Юлия Николаевна вовсе не капризничает и не хамит, а ведет себя кротко, сидит в кресле, читает Евангелие, пытается рисовать и благословляет окружающих. Но чудовищно всех раздражает. Стоит ей подняться с кресла, чтобы отправиться в сортир, до которого всего — то один шаг, как вся публика начинает на все лады ее материть.

Люся сказала: — Представьте себе восемнадцать злобных нищих, собравшихся вместе. Если вы читали художественную литературу, то можете вообразить, что это такое. Это самый настоящий Брехт. Ужасное место, хотя если бы я сюда не попала, меня бы и на свете уже не было. Меня сюда с перерезанными венами привезли. Юлии Николаевне у нас очень плохо. Жалко бабушку. А с вами я хотела встретиться для того, чтобы вы представляли себе реальную ситуацию.

Один из подопечных сестры Елены, юрист по образованию, выяснил, что Юлия Николаевна вовсе не потеряла московской прописки, а следственно и своей жилплощади. И все же никаких реальных шансов устроить ее жизнь пока нет. Для того, чтобы приватизировать комнаты нужно ликвидировать многолетнюю задолженность по квартплате. И совершенно неизвестно, как поведет себя Юлия Николаевна, если все это будет проделано. Согласится ли она пойти навстречу тому человеку, который рискнет взяться за это многотрудное и рискованное дело? Человек она непредсказуемый и очень подозрительный.

Узнав, что комнаты все еще принадлежат ей, Юлия Николаевна почувствовала себя собственницей, хозяйкой положения, и сформулировала свои претензии следующим образом: — Меня привезли не туда! Нужно увезти меня отсюда, и как можно скорей! Мне нужна двухкомнатная квартира с двумя ваннами: черной и белой. Почему с двумя — объясню потом. И еще с огородом, с которого я могла бы жить. А еще лучше, если это будет трехкомнатная квартира и дача.

Глумится ли Юлия Николаевна над окружающими, вовсе лишенными своего угла, или говорит всерьез, понять трудно. На меня же она обиделась, потому что приехали мы с подружкой вроде бы не только к ней, то есть привезли одеяла и лекарства не лично для нее, а для всей компании. В результате Юлия Николаевна насупи-

лась и замкнулась. Сестры Елены мы не застали. У нее случился сердечный приступ во время посещения какого-то монастыря и она осталась там на ночь. В этот раз навстречу нам выскочила из кухни парочка молодых накрашенных теток. Принимая привезенное добро, они, ерничая и хихикая, благодарили: — Спаси Господи!

Короче, драматическая ситуация обрела оттенок фарса, пафос снизился, что ничуть не облегчает положения Юлии Николаевны. Юлия Николаевна день и ночь сидит на своем стуле, трофические язвы ее гноятся, сама она раздражает окружающую публику и подвергается гонениям и насмешкам. Ухаживает за ней Люся — кормит, перевязывает. Подлечить ее можно было бы в Пятой градской больнице, которая находится под патронажем Православного сестричества, однако попасть туда нелегко. Для этого, сказала матушка Елена, нужно обратиться в секретариат Владыки Сергия, что на Малой Коммунистической. А являться туда нужно с ходатайством от Союза Художников. Я бы попробовала это сделать, но согласится ли Юлия Николаевна лечь в больницу?

* * *

...На следующий день после нашего визита Юлии Николаевне, просидевшей в прихожей странноприимного дома почти неделю, стало совсем плохо, и у нее поднялся жар. Скорая помощь увезла Юлию Николаевну в ближайшую больницу. Вчетвером пытались ее одеть, но Юлия Николаевна не далась. Она ведь скульптор, силачка, а протест, поднявшийся в ней в результате пребывания в гостях у матушки Елены, силы ее удесятил.

Больница оказалась для Юлии Николаевны раем. Впервые за много лет у нее появилась кровать. Лежит она в светлой просторной палате на двоих. Три раза в день являются прихожанки ближайшего Храма и кормят Юлию Николаевну с ложечки завтраком, обедом и ужином. — Как вам здесь, Юлия Николаевна? — спросила я ее. — Мне очень даже неплохо! — ответила Юлия Николаевна, радостно хихикнув.

Сейчас Юлия Николаевна похожа на личинку, из которой бабочка уже вылупилась и улетела. Почти бесплотная, она не встает, не садится и головы с подушки не поднимает. В таком положении ее и кормят. Ест она ловко, много и с большим удовольствием. Сказала, что всегда просит вторую порцию, но не всегда дают. А из глубины эфемерной телесной оболочки сияют мощным синим светом два глаза — натуральные сапфиры.

Чуть что, Юлия Николаевна затевает молитву или запекает псалом. А молитв она знает множество — редкостных, длиннейших. Молится и поет изумительно — заслушаешься. Медперсонал в растерянности коченеет. То есть ситуации ей, несмотря на физическую слабость, Юлия Николаевна владеет полностью.

В больнице она уже месяц, от лечения отказывается, позволяет только зеленкой язвы гноящиеся мазать, и врачи не знают, что с ней делать. Я рассказала ухаживающим за ней церковным женщинам и о самой Юлии Николаевне и о пресловутых трех комнатах. Вдруг кто-нибудь заинтересуется этим жильем и безнадежная ситуация чудесным образом разрешится. У самой Юлии Николаевны есть нес-

сколько вариантов решения этой проблемы. Сначала мне было предложено найти двоюродного внучатого племянника. Известны его имя, отчество и фамилия, а также специальность. Племянник врач, но название города, в котором он живет, Юлия Николаевна помнит не точно. То ли Светлогорск, то ли Святогорск, то ли еще какой-то горск... Еще известно, что мать этого племянника ветеринар и в свое время вылечила от смертельной болезни маленькую собачку, принадлежавшую жене финского президента. Какого президента и когда это было — неясно. Теперешний — то финский президент вообще женщина... Юлия Николаевна посоветовала начать розыски внучатого племянника с ветеринарной академии. Предполагается, что племянник возьмет ее к себе, оплатит многолетний долг за квартиру, а Юлия Николаевна, так и быть, квартиру эту приватизирует и племяннику завещает. Если не передумает... С другими племянниками, достигаемыми, живущими под Москвой, Юлия Николаевна дела иметь не хочет.

На вопрос, отчего же раньше она не вспоминала про внучатого племянника и мать его, ветеринара, зачем так долго тянула, Юлия Николаевна умудрилась гордо вскинуть бессильно лежавшую на подушке голову, состроить высокомерную гримаску и с пафосом ответить: — Раньше мне было не до этого! Я рисовала! Я должна была доказать, что я художник!

Узнав, что поиск племянника может растянуться на годы, а так долго находиться в больнице невозможно, Юлия Николаевна предложила действовать либо через батюшку из Храма, либо через Патриархию. Сказала, что придумала вариант ликвидации многолетнего долга — так и быть, она согласна оформить пенсию по старости, и пусть эту пенсию вычитают до тех пор, пока не погасят весь долг за квартиру. Неважно, сколько лет это продлится, ее устраивает любой вариант.

Еще можно связаться с другим батюшкой, из города Дмитрова, которому Юлия Николаевна в обмен на келью согласна расписать Храм. В конце концов можно обратиться к Илье Глазунову, покровителю всех православных художников, как сам он недавно объявил по радио. Обсудив эти варианты с навестившей Юлию Николаевну прихожанкой ближнего Храма, мы решили, что они чересчур замысловаты.

— Есть еще одна возможность! И самая простая! — неожиданно и с апломбом сообщила Юлия Николаевна. — Выйти замуж! И такой человек есть! В Храме! И он меня ждет! Давно!

От устройства матримониальной затеи я уклонилась, предложила, чтобы этим занялся кто-нибудь из монастырских ее знакомых. Подумав, Юлия Николаевна сказала, что без благословения матушки никто этого делать не станет, а получить благословение вряд ли удастся. На матушку, не взявшую ее в богадельню, Юлия Николаевна обижена.

Пока остановились на моем предложении — обратиться к руководству больницы с просьбой связать Юлию Николаевну с соответствующими городскими службами и попросить в обмен на три ее комнаты (в кирпичном доме в центре Москвы) комнатку в приличном пансионате, а не в какой-нибудь чудовищной богадельне. Выйдет из этого что-нибудь или нет? При физической немощи и незаживающих

язвах, сердце у Юлии Николаевны здоровое, давление идеальное, характер в высшей степени независимый и очень непростой. Можно ли сварить с ней хоть какую-то кашу — неясно. Боюсь, что вряд ли.

* * *

...Казалось, пребывая долгие годы в ситуации экстремальной, Юлия Николаевна израсходовала все силы и должна была бы рухнуть. Физически она действительно рухнула, ноги ей отказали. Однако о духе ее и характере сказать этого нельзя. Напротив, энергия душевная и психическая вроде бы даже удвоилась, а может и удесятерилась. Ощувив себя едва ли не миллионершей (после того, как подопечный сестры Елены, бывший юрист, выяснил, что три комнаты все еще числятся за Юлией Николаевой), она затеяла с окружающими странную игру, которая, судя по всему, ее забавляет и развлекает. Обладая подобием собственности, а следовательно капиталом, принялась манипулировать людьми. Не раз намекала Юлия Николаевна, что и я могла бы принять участие в конкурсе на роль ее опекуна, что и у меня есть шанс. Не желая осложнять наши отношения, я пропускала намеки мимо ушей. Но настал день, когда предложение было сформулировано впрямую: «опека в обмен на жилплощадь». По возможности мягко, но категорически я от предложения отказалась. И тогда Юлия Николаевна глянула на меня искоса, исподлобья, остренько так, колюче, и сказала язвительно: «Зря! Зря отказываетесь. Неплохой куш могли бы сорвать!»

И такой жутью повеяло на меня от этой фразы, что я сказала себе: «Все! Пора делать ноги. Пора передать эту эстафетную палочку следующему на дистанции». Похоже, что и вправду я была приставлена к Юлии Николаевне для снабжения продовольствием. Несколько лет худо-бедно с задачей справлялась, а теперь миссия моя закончена. Ни о каком воссоединении с Юлией Николаевой и речи быть не может, а значит дальнейшее мое присутствие в ее жизни будет самым настоящим «сусанизмом» (выражение, заимствованное у приятельницы и происходящее от оперного Ивана Сусанина, заведшего доверившихся ему поляков в лесную глушь).

Сегодня окружена Юлия Николаевна заботливыми людьми, исповедующими православную, а не католическую или какую-нибудь иную, неприятную ей веру, вниманием их владеет и существует в сказочных для себя условиях. Годами Юлия Николаевна повторяла: — Господь меня определит! Приведет куда мне нужно. — Так и случилось — после всех испытаний Господь определил ее наилучшим образом. Она сыта, ухожена и окружена добрыми людьми. К тому же имеет капитал (пусть пока еще призрачный, эфемерный) и знает ему цену. И если толково распорядиться, капитал этот поможет ей найти подходящего опекуна.

А тут наступил август, мы уехали из Москвы, а когда вернулись, я узнала, что много раз звонили новые знакомые Юлии Николаевны (прихожане окормляющего больницы Храма) и напоминали, что пора Юлию Николаевну из больницы забирать, что держать ее там больше не могут, что я должна поторопиться. И действительно, на следующий же день после моего возвращения раздался очередной звонок. Я объяснила милой, судя по голосу, даме, что прихожусь Юлии Николаевне всего лишь

соседкой по мастерской и забрать ее к себе не могу, да и не хочу. Дама меня поняла, но через пару дней позвонила другая, потом третья, четвертая, наконец некий джентльмен, на этот раз с упреками. Пришлось снова объяснить ситуацию и обрисовать узы, связывающие нас с Юлией Николаевной. Звонки прекратились.

* * *

...Более года я ничего не знала о Юлии Николаевне, не до этого мне было. А оказалось, что за это время много чего произошло. За четыре месяца, проведенных в больнице, Юлия Николаевна пришла в себя, отлежалась, отъелась и ни за что не хотела покидать райское местечко. Однако больничное терпение истощилось, и после ряда попыток выписать Юлию Николаевну, затея эта увенчалась успехом. И в октябре месяце чудесным образом Юлия Николаевна очутилась в родном своем Храме и поселилась в двухэтажном приходском доме.

А узнала я о новой жизни Юлии Николаевны от ее племянника! Да-да, от племянника, про которого за годы долгих и подробных своих рассказов Юлия Николаевна не упомянула ни разу! Не от одного из двух владельцев водочного бизнеса и не от врача, сына удачливого ветеринара. Оказалось, есть еще один, художник, житель ближнего Подмосковья.

Удивительная женщина не вынимала из рукава козырной карты даже при самых удручающих обстоятельствах. Морочила голову, бестрепетно манипулируя преисполненными сочувствия добровольцами. Как говорится, дурила нашего брата. Кто и каким образом убедил ее вспомнить о племяннике-художнике — не знаю. Но уверена, что Юлия Николаевна о племяннике не забывала — память-то у нее блестящая! А племянник, оказывается, пять лет жил в ее доме — все годы, что учился в институте. После чего Юлия Николаевна по своему обыкновению с ним рассорилась.

Человек этот сообщил, что дело движется в нужном направлении: происходит приватизация драгоценных комнат, и соседи склоняются к тому, чтобы впустить Юлию Николаевну в квартиру, но только вместе с племянником. А еще практичный племянник интересовался, как бы ему вступить во владение мастерской. Сам-то он член областного Союза Художников, а мастерская принадлежит Союзу московскому. С легкой душой я направила его в МОСХ и дала необходимые телефоны и адреса.

* * *

...Честно говоря, после того, как объявился племянник Юлии Николаевны (судя по телефонному разговору, человек деловой и конструктивный), я и думать о ней забыла. Чрезвычайно странно, но и сама она, и все с нею связанное, выпало на несколько лет из моей памяти, будто сбросила я какой-то груз.

Прошло более пяти лет и вдруг что-то засвербило, возникло ощущение незавершенности сюжета. И я отправилась в Храм, с которым некими узами связано было семейство наше в течение всего XX столетия. Это тема отдельная. При

этом—то храме пять лет назад и обосновалась Юлия Николаевна. Туда—то ее и взяли из больницы, в которой она благополучно обитала несколько месяцев.

Явилась я в Храм и принялась расспрашивать всех подряд — тетеньку за свечным ящиком, старушек, надраивавших подсвечники: — не знаете ли, что случилось с художницей жившей лет пять назад при вашем Храме? — Никто из них вспомнить Юлию Николаевну не мог, и меня отправили к старосте Храма.

— Скажите — спросила я старосту — не знаете ли вы, какова судьба Юлии Николаевны Скрябиной, художницы, которая жила при вашем Храме?

— Почему же не знаю? Знаю, конечно! А вы ей кто?

— Соседка по мастерской.

— Все с вашей Юлией Николаевной в порядке, в своей квартире живет.

— Не может быть! Как же ей удалось в квартиру прорваться? Сосед ведь категорически не пускал, даже дверь сейфовую поставил.

— А мы их тепленькими взяли. Сосед дома был, а жена его как раз из магазина возвращалась. Вот мы и вошли, с племянником Юлии Николаевны. А вскоре после этого жена соседа, который Юлию Николаевну не пускал и смерти ее поджидал, скончалась (видно, стресса не перенесла), а племянник, тот еще фрукт, с ним договорился, купил ему однокомнатную квартиру, так что теперь у них четырехкомнатная, в шикарном доме. Мы ведь Юлию Николаевну лежачую привезли, а теперь она расходилась, даже банкеты с красной рыбой устраивает. Приглашала меня раза два, я ходил, но больше туда ни ногой. Она нас тут так достала, что мы не знали куда от нее деваться. Проезжаю иной раз мимо ее дома, смотрю на окна, вижу — свет горит. Значит жива. А вы сходите к ней.

— Нет уж, не пойду.

— Ха-ха-ха, я вас понимаю.

Вот такой вот примерно разговор произошел у нас со старостой храма. Пути Господни неисповедимы, но будем считать, что в нашем случае это и есть как раз тот самый пресловутый happy end!

В ???

Вельчинская О.А.

Квартира № 2 и ее окрестности: Московское ассорти. - М.: Русский путь, 2009. - ??? с.; ил.

ISBN ????????

Живые, остроумные, яркие воспоминания художницы О.А. Вельчинской повествуют о московской и подмосковной жизни полувековой и более давности - семья и предки автора, друзья и знакомые (среди которых А.А. Ахматова, Л.О. и Б.Л. Пастернаки, Г.Г. Нейгауз), коммунальный быт, соседи разных призывов, смешные и грустные истории, приключавшиеся с ними, и многое другое. Забавные московские реалии, памятные старым москвичам, и малоизвестные сведения об истории московских переулков, домов и их обитателях - художнике Н.П. Крымове и писателе С.С. Заяицком, генерале А.А. Брусилове и поставщике Двора ее императорского величества Н.П. Ламановой, инженере В.Г. Шухове, актрисе Ц.Л. Мансуровой, революционном деятеле В.И. Ленине.

В мемуарные очерки органично вплетаются сохранившиеся в семейном архиве свидетельства прошлого, начиная с эпохи знаменитого прадеда, инженера А.В. Бари, - дореволюционные газетные вырезки, письма, документы первых пореволюционных лет и периода военного коммунизма, НЭП`а и сталинского времени... Увлекательное повествование, от которого трудно оторваться, доведено до наших дней, прошлое сопоставляется с современностью, порой в самых неожиданных ракурсах. Издание иллюстрировано фотографиями и документальными материалами из семейных архивов. + ??? Воспоминания интересны широкому кругу читателей разных поколений.

УДК ?????

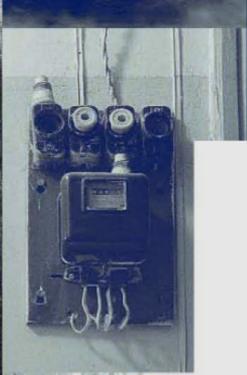
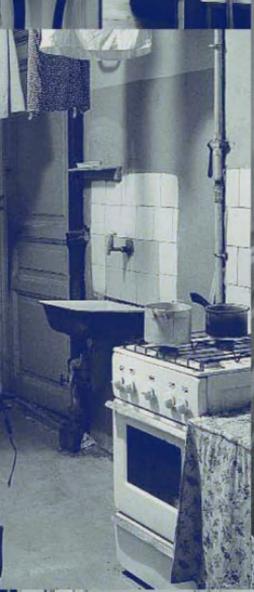
ББК ?????

Выходные данные

Ольга Алексеевна Вельчинская
КВАРТИРА № 2 И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ
Московское ассорти

Редактор
Корректор

Техн. инф.



Позажный план
Обоение № 1 Магсаровскому пер. ул. д. № 5/в
максимого района нвар. № 2 ОТД. милиц. №

в копии с документов оснований
на строитель г. 1) оскимьяданы

